РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Чхиквишвили И. И.
Шамота Н. З.

Л. ТОЛСТОЙ

ВОСКРЕСЕНИЕ

●

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА . 1976

Вступительная статья
К. Ломунова

Р1
Т53

Иллюстрации
Л. Пастернака, Е Лансере, А. Кокорина

Т $\frac{70301\text{-}110}{028(01)\text{-}76}$ подписное

©Издательство «Художественная литература», 1976 г.

ТОЛСТОЙ РАННИЙ И ПОЗДНИЙ. ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека. Огонь этот жжет, греет и освещает... Настоящий поэт сам невольно и с страданьем горит и жжет других. И в этом все дело.

Л. Толстой.
Записная книжка. 1870 г.

Уже первые произведения молодого Толстого — повести «Детство» и «Отрочество», кавказские и севастопольские военные рассказы, «Утро помещика» — убедили современников в том, что в русскую литературу пришел новый большой художник. Читатели и критики поверили в это раньше, чем сам Толстой, подписывавший свои первые повести и рассказы «Л.Н.» и «Л.Н.Т.».

Повесть Толстого «Детство» появилась в журнале «Современник» в год смерти Гоголя, а двумя годами позднее там же была напечатана повесть «Отрочество». «...В 10-м № «Современника»,— писал Тургенев одному из знакомых,— Вы найдете повесть Толстого, автора «Детства»,— перед которою все наши попытки кажутся вздором. Вот наконец преемник Гоголя — нисколько на него не похожий, как оно и следовало. Жаль, что цензура многое выкинула» [1].

Опустевший со смертью Гоголя «патриарший престол» отечественной литературы Тургенев без колебаний готов был передать молодому Толстому. «Лев Николаевич,— писал он,— стал во мнении всех в ряду наших лучших писателей — и теперь остается ему написать еще такую же вещь, чтобы занять первое место, которое принадлежит ему по праву — и ждет его» [2].

---

[1] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. II. М., Изд-во АН СССР, 1961, с. 241.

[2] Там же, с. 247.

Первенствующее положение Толстого в русской литературе упрочилось с появлением его великих романов «Война и мир» и «Анна Каренина». Они принесли писателю сначала европейскую, а затем и всемирную известность и славу.

«Львом русской литературы» назвал И. А. Гончаров автора «Войны и мира».

Вслед за великим историческим романом Толстого появился его великий роман о современности. О нем восторженно писал Достоевский: «Анна Каренина» есть совершенство как художественное произведение... с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться» [1]. Восхищаясь шестой и седьмой частями романа, Достоевский называл Толстого «богом искусства». В конце статьи об «Анне Карениной», помещенной в «Дневнике писателя» за 1877 год, Достоевский подчеркивал: «...Такие люди, как автор «Анны Карениной»,— суть учителя общества, наши учителя, а мы лишь ученики их» [2].

В заключительных главах романа «Анна Каренина» уже сильно звучат мотивы, которые предвещали крутой перелом во взглядах писателя, определивший направление и содержание его дальнейшего творчества. Духовный перелом этот, происшедший на рубеже 70-х и 80-х годов, сильно напугал и Тургенева и Достоевского. Им, как и многим другим современникам Толстого, казалось тогда, что он навсегда потерян для литературы.

Весной 1880 года Тургенев ездил в Ясную Поляну и от имени юбилейного комитета пригласил Толстого принять участие в торжествах, связанных с открытием памятника Пушкину. Но миссия Тургенева неожиданно для него полностью провалилась: Толстой отказался участвовать в Пушкинском празднике. «Тургенева этот отказ так поразил,— пишет биограф Толстого,— что когда после Пушкинского праздника Ф. М. Достоевский собирался приехать из Москвы к Льву Николаевичу и стал советоваться об этом с Тургеневым, тот изобразил настроение Льва Николаевича в таких красках, что Достоевский испугался и отложил исполнение своей заветной мечты» [3].

Письма Достоевского к жене, отправленные тогда из Москвы, подтверждают это с полной очевидностью. «Сегодня,— писал Федор Михайлович,— Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже может быть совсем сошел» [4].

Незадолго до кончины Достоевский познакомился с письмами Толстого

---

[1] Ф. М. Достоевский. Полн. собр. художественных произведений, т. XII. Л., ГИЗ, 1930, с. 209.

[2] Там же, с. 233.

[3] П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. II. М.— Пг., Госиздат, 1923, с. 179.

[4] Ф. М. Достоевский. Письма, т. IV. М., Гослитиздат, 1959, с. 154.

к его родственнице А. А. Толстой. В них автор «Анны Карениной» объяснял смысл пережитого им духовного переворота. Читая эти письма, Достоевский «хватался за голову и отчаянным голосом повторял: «Не то, не то!»

Тургенев лишь на два с половиной года пережил Достоевского. В предсмертном тургеневском письме к Толстому есть такие строки: «Милый и дорогой Лев Николаевич! Долго Вам не писал, ибо был и *есмь*, говоря прямо, на смертном одре... Пишу же я Вам собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником — и чтобы выразить Вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности!.. Друг мой, великий писатель Русской земли — внемлите моей просьбе!» [1]

О запрещенной в России «Исповеди» Толстого Тургенев отозвался как о «вещи замечательной по искренности, правдивости и силе убеждения», хотя нашел, что ее автор отрицает и жизнь и искусство. Но и в это время Тургенев утверждал: «Толстой едва ли не самый замечательный человек современной России» [2]. Тургеневу хотелось верить, что в толстовской «Исповеди» выразился «кризис», какие уже случались с его другом и раньше, и он с ним справится, как справлялся в былые годы. Но этот новый «кризис» привел, как говорил сам Толстой, к перевороту в его миропонимании, к разрыву с дворянским классом, к которому писатель принадлежал по рождению и воспитанию, к переходу на сторону народа.

«Новый» Толстой не был понят и принят критикой. Представители эстетической критики, еще недавно прославлявшие художественный гений автора «Войны и мира» и «Анны Карениной», после появления его «Исповеди» и трактата «Так что же нам делать?» заявили, что Толстой — моралист и проповедник *убил* Толстого-художника. Представители критики социологической заговорили о *раздвоенности* взглядов и творчества писателя, о *разладе* между Толстым-мыслителем и Толстым-художником. Так возникла легенда о «двух Толстых», получившая широкое распространение и в России и на Западе.

В снискавшей на Западе большую популярность книге Эжена Мельхиора де Вогюэ «Русский роман» не только утверждалась мысль о том, что существуют два Толстых — художник и социальный реформатор, но и предлагалось по-разному к ним относиться. В «позднем» Толстом Вогюэ увидел опасного пропагандиста идеи «уничтожения общественного зла посредством коммунизма» [3].

Миф о двух Толстых оказал влияние и на раннюю марксистскую критику. Г. В. Плеханов «делил» Толстого на «гениального художника и крайне слабого мыслителя» [4]. Основным противоречием писателя он считал противо-

---

[1] И. С. Тургенев. Письма, т. XIII, кн. 2, с. 180.

[2] Там же, с. 89.

[3] Vicomte E. M. de Vogüe. Le Roman Russe. Paris, 1888, 2 édition, p. 336.

[4] Г. В. Плеханов. Искусство и литература. М., Гослитиздат, 1949, с. 655, 665 и 721.

речие между художником-жизнелюбцем и моралистом-аскетом. С Толстым-художником, признавался Плеханов, ему радостно, а с Толстым-мыслителем «страшно». По его мнению, Толстой до конца дней чувствовал себя родовитым барином, совершенно равнодушным к судьбе народа.

Дооктябрьская критика — русская и зарубежная — растерялась перед противоречивостью Толстого. И не удивительно! «Лев Толстой,— говорит Горький,— был самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия» [1].

Лишь гению В. И. Ленина оказалось под силу создать целостную концепцию мировоззрения и творчества Толстого. Она основана на анализе, характеристике и оценке *всего* наследия писателя — его художественных и теоретико-публицистических произведений. Ленин не отделяет Толстого-художника от Толстого-мыслителя, не противопоставляет и не «сталкивает» их. По верному замечанию Луначарского, ленинская оценка великого писателя «многосторонняя и диалектична» [2].

Ленин дал глубочайшую характеристику *эпохи* Толстого, определив ее исторические границы, содержание и направление ее развития. Это была эпоха подготовки народной революции в России. Благодаря гениальному ее освещению Толстым она выступила «как шаг вперед в художественном развитии всего человечества» [3].

В кричащих противоречиях мировоззрения и творчества Толстого В. И. Ленин увидел не капризы его собственной мысли, а отражение реальных противоречий эпохи.

«Поздний» Толстой, которого буржуазная критика игнорировала, хоронила, обличала, ниспровергала, как могла, получил в статьях Ленина высочайшую и вполне заслуженную оценку, как и Толстой, написавший «Анну Каренину» и другие произведения «допереломной» поры его творчества.

Авторы легенды о двух Толстых по сути дела перечеркивали всю вторую половину творческой жизни писателя, все, что он создавал в 80-е, 90-е и 900-е годы. Ленинская оценка наследия Толстого, «взятого как целое» [4], помогает увидеть нерасторжимую связь всех этапов его жизненного и творческого пути, установить общее и особенное в его идейных и художественных исканиях, определявших переходы от одного этапа к другому.

Читатель этой книги встретится с Толстым ранним и поздним — автором «Севастополя в декабре месяце», написанного в середине 50-х годов, и «Хаджи-Мурата», созданного в середине 900-х годов. Что общего в этих и

---

[1] А. М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 14. Гослитиздат. М., 1951, с. 307.

[2] А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., Изд-во «Худож. лит.», 1967, с. 447.

[3] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 19.

[4] Там же, т. 17, с. 210.

других вошедших в книгу произведениях Толстого, между которыми лежат 30, 40, 50 и более лет?

Нельзя ответить на этот вопрос, не попытавшись сопоставить раннее и позднее творчество Толстого,— чтобы увидеть начальный и заключительный этапы его большого писательского пути.

Ранний Толстой представлен в томе двумя рассказами («Севастополь в декабре месяце», «Три смерти») и двумя повестями («Два гусара», «Утро помещика»). Каждое из этих произведений настолько примечательно, что они позволяют охарактеризовать едва ли не все главные грани творчества молодого Толстого.

«Почти в каждом новом произведении,— говорит об их авторе Н. Г. Чернышевский,— он брал содержание своего рассказа из новой сферы жизни» [1]. В самом деле, жизнь Николеньки Иртенева, рассказанная Толстым в трилогии «Детство», «Отрочество» и «Юность», совершенно не похожа на жизнь героев его кавказских и севастопольских военных рассказов или героев повести «Казаки».

Повести «Детство», «Отрочество» и «Юность», вместе с ненаписанной «Молодостью», должны были составить роман «Четыре эпохи развития». Становление, формирование характера Иртенева прямым образом связано с воздействием на него среды, меняющейся с каждой новой «эпохой» его жизни.

Чернышевский отметил: «Как расширяется постепенно круг жизни, обнимаемой произведениями графа Толстого, точно так же постепенно развивается и самое воззрение его на жизнь... С новыми лицами вносятся и новые симпатии в его поэзию,— это видит каждый, припоминая сцены университетской жизни Иртенева. То же самое надобно сказать о рассказе графа Толстого «Утро помещика»...» [2]

И действительно, в сценах университетской жизни Иртенева из повести «Юность» с симпатией обрисованы его новые знакомые и друзья студенты-разночинцы. Показано здесь их умственное и нравственное превосходство над героем-аристократом, исповедовавшим кодекс человека comme il faut [3]. В «Утре помещика» вполне искреннее стремление молодого Нехлюдова облагодетельствовать своих крепостных крестьян выглядит как наивная мечта недоучившегося студента, который впервые в жизни увидел, как живет его «крещеная собственность».

Очень высоко оценив трезвый реализм «Утра помещика», Чернышевский так охарактеризовал его особенности: «...граф Толстой с замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи. Он умеет переселяться в душу поселянина,— его мужик чрезвычайно верен своей натуре,— в речах его мужика нет прикрас, нет риторики, понятия крестьян передаются у графа Тол-

---

[1] «Л. Н. Толстой в русской критике». М., Гослитиздат, 1952, с. 106.

[2] Там же.

[3] светского человека *(франц.)*.

стого с такою же правдивостью и рельефностью, как характеры наших солдат... В крестьянской избе он так же дома, как в походной палатке кавказского солдата» [1].

Так Чернышевский определял степень демократизма или, говоря словами его соратника Н. А. Добролюбова, «степень народности» раннего толстовского творчества. Как видим, это была очень высокая степень: в середине 50-х годов никто другой из русских писателей не был удостоен подобной оценки на страницах некрасовского «Современника» — журнала, в котором, кстати сказать, были напечатаны все первые вещи Толстого.

Сохранил ли писатель эту рано достигнутую им «степень народности» своего творчества? Да — и развил и углубил соответственно новым условиям русской жизни.

Пройдут десятилетия. И Владимир Ильич Ленин скажет Горькому, прочитав его книгу о Толстом: «И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было» [2].

Чтобы отчетливее представить себе движение народной темы в более чем полувековом творчестве великого писателя, Горький сравнивал мужиков из «Утра помещика» и из романа «Воскресение» и находил, что мужик у Толстого *растет:* «...Это уже разные мужики, хотя бы только потому, что у вторых недоверие к барской философии еще более резко выражено», и это, подчеркивал Горький, «действительные, реальные мужики» [3].

В ранних произведениях Толстого беды крепостной деревни показаны так, что, как говорил Тургенев, становилась очевидным для всех безнравственность крепостничества и необходимость его отмены [4]. В позднем творчестве Толстого слышны могучие гулы «великого народного моря, взволновавшегося до самых глубин» [5].

«Севастополь в декабре месяце» открывает цикл толстовских рассказов о героической обороне Севастополя в Крымскую войну 1853—1855 гг.

Народно-героическая, военно-патриотическая тема, начатая в толстовском творчестве севастопольскими рассказами, получила развитие на страницах «Войны и мира». Кавказские военные рассказы («Набег», «Рубка леса», «Разжалованный») и рассказы о Севастопольской обороне, поразившие читателей суровой правдой о войне, яркими образами русских солдат и офицеров, подготовили Толстого к созданию батальных сцен «Войны и мира» и, много лет спустя, «откликнулись» в военных сценах «Хаджи-Мурата».

В севастопольских рассказах впервые Толстой применил тот метод психологического анализа, который был назван Чернышевским методом изображения «диалектики души». Особенность его состояла в том, что, показывая

---

[1] «Л. Н. Толстой в русской критике», с. 107

[2] М. Горький. Т. 17, с. 39.

[3] М. Горький. История русской литературы. М., Гослитиздат, 1939, с. 293.

[4] И. С. Тургенев. Письма, т. III, с. 85.

[5] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 71.

душевные переживания человека в трудные или даже опасные моменты его жизни, Толстой раскрывал весь «психологический процесс», со всеми переходами одного чувства в другое, со всей быстрой и порою бессвязной переменой и путаницей мыслей. Так написаны «внутренние монологи» офицера Праскухина в рассказе «Севастополь в мае» и корнета Ильина в повести «Два гусара».

Говоря о раннем творчестве Толстого, мы нередко употребляем слово *впервые*. Нельзя не сказать, что в повести «Два гусара» Толстой, как это замечено биографом писателя, «впервые на пятом году его литературной деятельности» дал чудесно написанный женский портрет [1]. Героиня этой повести юная Лиза, привлекающая своей способностью «радоваться жизнью», чистой совестью, деятельным характером, заставляет вспомнить о Наташе Ростовой, как Турбины — отец и сын — заставляют вспомнить о Василии Денисове и Федоре Долохове из «Войны и мира». Разумеется, повесть «Два гусара» имеет самостоятельное значение. Но работа над произведением о той поре, «когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света», о «времени 1800-х годов» (так сказано в начале «Двух гусаров») явилась первым обращением Толстого к эпохе «Войны и мира».

Любопытна творческая история повести «Холстомер». В 1861 году Толстой написал первую редакцию, через два года пытался ее переработать, затем отложил надолго и в 1885 году создал новую редакцию повести. Исследователи, сопоставив первую и окончательную редакции «Холстомера», показали, что главное отличие состоит в резком усилении обличительного пафоса произведения. Если в первой редакции повести речь идет о владеющем людьми странном и противоестественном «чувстве собственности», то в ее окончательной редакции обличается «право собственности», его преступность и жестокость.

Два этапа работы над «Холстомером» необыкновенно много дают для понимания перемен в умонастроении писателя, оказывавших глубокое влияние на его художественное творчество.

В литературе о Толстом бытует мнение, что автор «Войны и мира» и «Анны Карениной» был по преимуществу художником-психологом, а творец «Воскресения» и других поздних произведений был прежде всего художником-социологом. Однако, при несомненном усилении гражданственных, социальных мотивов в позднем творчестве Толстого, он и в ту пору оставался глубочайшим сердцеведом. Свидетельством этого служат, в частности, его повести 80-х и 90-х годов «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Дьявол», «Отец Сергий».

«Начал «Отца Сергия» и вдумался в него,— пишет Толстой в дневнике 1890 года.— Весь интерес — психологические стадии, которые он проходит».

---

[1] Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., Изд-во АН СССР, 1957, с. 30.

Драматическая история блестящего придворного князя Касатского, ставшего монахом-затворником и потом вернувшегося из монастыря в мир, рассказана с глубочайшим зондированием души этого гордого, самобытного человека, порвавшего путы сначала светской, а затем и церковной славы...

Величайшим произведением позднего Толстого является роман «Воскресение», создававшийся на протяжении десяти лет, наполненных поистине героической борьбой, которую писатель вел своим словом художника и публициста, стремясь, как он говорил, «поторопить наступление нового века».

«...Страдание о несчастиях, несправедливости людей, о бедности их, о заключенных в тюрьмах, о злобе людей, об угнетении — все это действует на его впечатлительную душу и сжигает его существование»,— так в дневниковой записи 1881 года С. А. Толстая охарактеризовала настроение и самочувствие писателя в пору выхода в свет «Исповеди» [1].

Источником этих настроений служили картины русской жизни, какой она стала к началу 80-х годов. «Переполненная Сибирь, тюрьмы, войны, виселицы, нищета народа, кощунство, жадность и жестокость властей...» — перечисляет Толстой в письме к Н. Н. Страхову (июнь 1881 г.) причины, толкнувшие революционеров-народников на убийство царя Александра II. Пройдет еще несколько лет, и Толстой сформулирует в дневнике «обвинительный акт» против самодержавия: «Думал: вот 7 пунктов обвинительного акта против правительства. 1) Церковь, обман суеверия... 2) Войско, разврат, жестокость, траты. 3) Наказание, развращение, жестокость, зараза. 4) Землевладение крупное, ненависть бедноты города. 5) Фабрики — убийство жизни. 6) Пьянство. 7) Проституция».

Нетрудно увидеть, что все эти «пункты» легли в основу художественных картин романа «Воскресение». Они же определяют содержание основных публицистических произведений Толстого 80-х и 90-х годов. Это говорит об органической связи «Воскресения» с публицистикой писателя — связи, определившей открытую, прямую публицистичность многих страниц романа.

Известно, что Толстому трудно давалась художественная форма его великих романов (15 начал «Войны и мира», 11 начал «Анны Карениной»!). И «Воскресение» в этом смысле не было исключением.

Еще в 70-е годы Толстого увлек замысел произведения о путешествующем по России человеке. Тогда он не был осуществлен. Толстой о нем вспомнил, выстраивая сюжет «Воскресения»: герою романа приходится много ездить и удается многое увидеть.

В 70-е же годы Толстой задумал написать сказку-памфлет о дюлях (перевернутое «люди»), живших где-то в «неизвестной середине Африки». Пу-

---

[1] «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891». М., Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928, с. 44.

тешественник, от лица которого ведется рассказ, изучает следующие стороны жизни дюлей: 1) Браки и семья, 2) собственность, 3) суды, 4) администрация, 5) торговля, 6) обучение, 7) наука, 8) религия. Путешественника поражает контраст условий жизни, в которых находятся «дюли работающие, то есть производящие что-нибудь новое посредством труда, и дюли разрушающие, уничтожающие». Неосуществленный замысел сказки о дюлях так же, как и неосуществленный замысел романа о человеке, путешествующем по России, нашел отражение в программе романа «Воскресение», вобравшей в себя многие творческие замыслы писателя.

Сама русская действительность с ее все более обострявшимися противоречиями способствовала тому, что программа нового романа Толстого становилась все более масштабной. Пристально всматриваясь в крутую ломку всего старого уклада русской жизни, писатель пришел к выводу: «Революция экономическая не то что может быть. А не может не быть. Удивительно, что ее нет». Эти слова появились в дневнике Толстого летом 1881 года, то есть в ту пору, когда в стране сложилась революционная ситуация, возникшая вследствие подъема и обострения классовой борьбы в деревне. И хотя реакции удалось тогда одержать победу, Толстой сохранил убеждение, что время неминуемой «развязки» приближается.

Весной 1892 года Толстой писал своему единомышленнику и другу Г. А. Русанову: «Какая будет развязка, не знаю, но что дело подходит к ней и что так продолжаться, в таких формах, жизнь не может,— я уверен». Тому же Русанову, тремя годами ранее, Толстой доверительно сообщил о своем намерении написать о современности большое эпическое произведение, «роман, широкий, свободный, вроде «Анны Карениной», в который без напряжения входило бы все, что кажется мне понятым мною с новой, необычной и полезной людям стороны».

Это признание Толстой через некоторое время дополнил, развил и конкретизировал в следующей дневниковой записи: «...Стал думать, как бы хорошо писать (теперь) роман de longue haleine [1], освещая его генерешним взглядом на вещи. И подумал, что я бы мог соединить в нем все свои замыслы, о неисполнении которых я жалею, все, за исключением Александра I и солдата: и *разбойника,* и *Коневскую,* и *Отца Сергия,* и даже *переселенцев,* и *Крейцерову сонату, воспитание.* И *Миташу,* и *записки сумасшедшего,* и *нигилистов.* И так мне весело, бодро стало».

Толстой полагал, что роман «большого дыхания», посвященный современности, мог «поглотить» десять названных здесь сюжетов, в том числе и сюжет «коневской повести», с которым исследователи обычно связывают весь начальный период работы Толстого над «Воскресением» [2], считая ее «зерном» замысла романа.

---

[1] длинный *(франц.).* Буквально: большого дыхания.

[2] См.: Е. Добин. Жизненный материал и художественный сюжет. Л., «Советский писатель», 1956, с. 92—94.

Известный судебный деятель сенатор А. Ф. Кони нередко знакомил Толстого с различными историями, которыми была богата его судебная практика. Рассказал он писателю и о деле проститутки Розалии Они, осужденной за кражу денег у пьяного «гостя». После суда к Кони пришел молодой присяжный заседатель (как выяснилось впоследствии, виновник падения Розалии) и сказал, что хочет жениться на осужденной. Как ни уговаривал его Кони отказаться от этого намерения, молодой человек был непреклонен, и только скорая смерть Розалии в тюремной больнице от сыпного тифа положила конец этой житейской драме. «Назидательный» ее характер увлек Кони, и он поведал о ней Толстому [1].

Как уже было сказано выше, сюжет «Воскресения» вырос не из одного, а из многих «зерен». Нашла в нем свое место и «коневская повесть», послужив своеобразной «моделью» взаимоотношений главных героев романа (до их встречи на суде).

О том, сколько сил ума и сердца вкладывал писатель в разработку творческой программы «Воскресения» и каким он себе представлял будущий роман, свидетельствует его дневник: «Как бы я был счастлив, если бы записал завтра, что начал большую художественную работу.— Да, начать теперь и написать роман имело бы такой смысл. Первые, прежние мои романы были бессознательное творчество. С «Анны Карениной», кажется больше 10 лет, я расчленял, разделял, анализировал; теперь я знаю, что́ что́ и могу все смешать опять и работать в этом смешанном...»

Только очень наивный читатель может понять это признание так, что «Войну и мир» и «Анну Каренину» Толстой написал «бессознательно» и лишь впоследствии, пережив перелом в мировоззрении, стал «обдумывать» то, что он пишет. Достаточно прочитать его статью «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» (1869), чтобы увидеть, как глубоко и всесторонне была обдумана автором программа эпического произведения о «грозе двенадцатого года».

Называя в дневнике свои великие романы плодом «бессознательного творчества», Толстой имеет в виду их «безрелигиозный» характер. Заметим, что в трактате «Что такое искусство?», увидевшем свет в один год с романом «Воскресение», все свои произведения, написанные до «Исповеди», Толстой относит к «безрелигиозному» искусству.

Внимательный читатель заметит, что в приведенной выше дневниковой записи Толстого речь идет не о том только, что отличает «Воскресение» от «Войны и мира» и «Анны Карениной», а и о том, что их сближает и объединяет.

До того как началась работа над «Воскресением», писатель, по его словам, более десяти лет «расчленял, разделял, анализировал» все, происходившее тогда в России. Об этом он подробно рассказал в трактате

---

[1] А. Ф. Кони. Избранные произведения, т. 2. М., Госуд. изд-во юридической литературы, 1959, с. 270, 274, 275.

«Так что же нам делать?» и других публицистических произведениях 80-х годов.

Для того чтобы создать художественное произведение о современности, Толстой должен был, по его словам, «все смешать опять и работать в этом смешанном». Художник-реалист не может создавать картины живой жизни, следуя законам ее научно-логического изучения. Воссоздавая картины живой жизни, он видит ее в цельном, нерасчлененном, «смешанном» виде, изображая людей и события такими, как они есть. Приверженность Толстого законам художественного реализма на всех этапах его творчества и связывает роман «Воскресение» с его предшествующими эпическими произведениями. Это их родство Толстой подтвердил и тем, в частности, что сказал о «Воскресении»: «Оно написано в моей старой манере».

Эпичность «Войны и мира» (судьба народа и родины, как главный предмет изображения) и романная форма «Анны Карениной» (судьба главной героини в основе сюжета произведения) соединились в «Воскресении», образовав оригинальную художественную форму романа «широкого, свободного», «большого захвата», как ее называет сам Толстой в письмах и дневниковых записях.

Когда мы читаем у Ленина, что «Толстой с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милитаризм, «законный» брак, буржуазную науку» [1] — мы прежде всего вспоминаем роман «Воскресение». И это понятно: ни в одном другом произведении Толстого — ни до «Воскресения», ни после него — не обнажены с такой глубиной и мощью социально-классовые противоречия дворянско-буржуазного общества. В ярких и резко-контрастных картинах и сценах сталкиваются и противопоставляются художником роскошная, построенная на корысти и лжи господская жизнь и полная нужды, лишений и всяческих притеснений жизнь трудового народа. Принадлежащие к высшей знати светские, военные, духовные и иные «превосходительства» охарактеризованы в романе, как люди «непромокаемые», то есть равнодушно-холодные, глухие к голосу совести, неспособные к состраданию и добру.

Горестная судьба главной героини романа Катюши Масловой изображена как типическая судьба человека из низов. «История арестантки Масловой,— замечает писатель,— была очень обыкновенная история». Обесчещенная и брошенная Нехлюдовым, она была выгнана на улицу его тетушками, у которых жила в горничных, и через короткое время попала в публичный дом. А потом — ложное обвинение в краже денег, суд, тюрьма и ссылка на каторгу. И только по дороге в Сибирь она встретилась с людьми, которые помогли ей вернуть утраченную ею веру в жизнь, в возможность найти свое счастье.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 70.

Этих людей — осужденных царским судом революционеров — Катюша называет чудесными людьми. «Она,— говорит автор романа,— поняла, что люди эти шли за народ против господ».

В «Воскресении» впервые в творчестве Толстого появляются образы революционеров. Писатель не скрывает своего восхищения их мужеством и героизмом, постоянной готовностью к самопожертвованию ради освобождения народа. Но он не скрывает также и того, что не сочувствует их методам борьбы за переустройство общества. Горький, резко критиковавший толстовское учение о непротивлении злу насилием, находил, однако, что «проповеднику пассивного отношения к жизни» Толстому «пришлось признать и почти оправдать в «Воскресении» активную борьбу» [1]. В. А. Поссе слышал, как Горький говорил, что в последней части «Воскресения» Толстой «с любовью обрисовал русских революционеров» [2].

Заметим, что в «Воскресении» изображены русские революционеры 70-х и 80-х годов — народовольцы и народники. Новое поколение участников русского освободительного движения — пролетарских революционеров — придет в литературу с Горьким, с его повестью «Мать» и драмой «Враги».

Завершается роман «Воскресение» тем, что для воскресшей духовно и физически его главной героини начинается новая жизнь. А главного героя, князя Нехлюдова, Толстой заставил в финале романа обратиться к Евангелию, задумав позднее приобщить его к крестьянской жизни. (Летом 1900 года в дневнике Толстого появилась такая запись: «Ужасно хочется писать художественное, и не драматическое, а эпическое — продолжение «Воскресения»: крестьянская жизнь Нехлюдова».) Пусть этот замысел не получил осуществления, но он в высшей степени характерен для позднего Толстого.

Роман «Воскресение» стал величайшим романом мировой литературы на рубеже двух веков не только потому, что он написан рукой гениального художника, рядом с которым в Европе тогда, как говорил Ленин, поставить было некого [3], а и потому, что в нем был сконцентрирован такой колоссальный заряд социальной активности, какого до той поры не знало мировое искусство. Это почувствовали и отметили как прогрессивные, так и реакционные силы России и Запада.

В феврале 1901 года по настоянию К. П. Победоносцева синод принял решение об отлучении Толстого от церкви, и тут же началась травля писателя в печати. Это было прямым ответом реакционного лагеря на появление «Воскресения».

А вот один из первых откликов прогрессивного лагеря: «Вы,— писал В. В. Стасов Толстому 1 января 1900 года,— стоаршинной кистью нарисовали все начинающееся новое поколение людское наше», идущее «к но-

[1] М. Горький. История русской литературы, с. 4.

[2] В. А. Поссе. Мой жизненный путь. М.— Л., «Земля и фабрика», 1929, с. 169.

[3] М. Горький, т. 17, с. 39.

вой жизни и на новые дороги — да еще как! ... И вот чем начинается столетие» [1].

В дореволюционной России роман Толстого печатался с громадными купюрами: из 123 глав романа лишь 25 оставил нетронутыми цензорский карандаш. Во французской газете «Юманите», когда ее редактором был Жан Жорес, «Воскресение» было опубликовано полностью. «Вандалы, которым пришелся не по вкусу антимилитаризм Толстого,— говорилось на страницах «Юманите»,— изуродовали «Воскресение». Мы же полагаем, что ... этот труд должен остаться неприкосновенным, каким он был выстрадан и пережит художником, его создавшим» [2].

Толстой работал над своим последним романом с особенным увлечением. «Воскресение» увлекало его не только масштабностью и серьезностью замысла («Многое важное надеюсь высказать. Оттого так и увлекаюсь»,— признается он в одном из писем 1898 г.). Роман увлекал его и новизной чисто художественных задач («...В сущности же предаюсь любимому делу, как пьяница, и работаю с таким увлечением, что весь поглощен работой»,— признается он в другом письме той же поры).

С таким же увлечением поздний Толстой работал над повестью «Хаджи-Мурат». Эта вещь создавалась писателем на таком же подъеме социальной и творческой его активности, как и «Воскресение». И то, что «Хаджи-Мурат» написан на историческом материале, ничуть не помешало Толстому поставить в повести наисовременнейшие и острейшие вопросы. А если говорить о художественной стороне, то нельзя не признать «Хаджи-Мурата» одним из самых новаторских произведений русской и мировой литературы начала XX века.

В «Хаджи-Мурате» Толстой, по его признанию, стремился сопоставить «два полюса властного абсолютизма» — европейский, олицетворяемый Николаем I, и азиатский, олицетворяемый Шамилем. Оба эти властителя, а также их ставленники, используя любые средства, в том числе самые свирепые и подлые, разжигали национальную рознь и ненависть. Толстой называет «двумя главными противниками той эпохи» не народы — русских и горцев, а «Шамиля и Николая». Под жестокие жернова войны попадают и горцы разоряемых аулов, и добрый, простой, отличный человек — русский солдат Петр Авдеев. Жертвой войны становится и главный герой повести.

«Хаджи-Мурат» написан с предельным лаконизмом, не помешавшим художнику создать на редкость выпуклый, живой образ главного героя. «Есть такая игрушка английская peepshow: под стеклушком показывается то одно, то другое. Вот так-то показать надо человека Хаджи-Мурата: мужа, фанатика и т. п.». В этой дневниковой записи Толстого четко поставлена за-

---

[1] «Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878—1906». Л., «Прибой», 1929, с. 236.

[2] «Литературное наследство», т. 75. Толстой и зарубежный мир. Кн. I. М., Изд-во «Наука», 1965, с. 587.

дача: раскрыть сложность характера героя повести. Но если в «английской игрушке» показывается «то одно, то другое» без всякой связи, то в толстовском герое взаимосвязаны разные стороны его характера, и положительные, и негативные («Как он был бы хорош,— говорит писатель о Хаджи-Мурате,— если бы не этот обман» — «обман веры»). Есть в нем, однако, сторона, доминирующая над всеми другими: «отстаивает жизнь до последнего». Сказано это о кусте полевого репья, раздавленного колесами. Но это сказано и о Хаджи-Мурате... Вот этим-то он более всего дорог автору.

Прославлением мужества, стойкости, социальной активности примечателен поздний толстовский рассказ «За что?». С большой симпатией даны здесь образы Иосифа Мигурского, участника польского восстания 30-х годов минувшего века, и его жены Альбины. За попытку к бегству из ссылки Мигурский приговорен к тысяче палочных ударов и вечному поселению в Сибири. Жена Мигурского, Альбина, разделившая с мужем все тяготы его первой ссылки, поехала с ним и в эту вечную ссылку.

Ненавидевший Николая I всеми фибрами души, Толстой говорил, что в рассказе «За что?» он выразил овладевший им «особый прилив нежности к польскому народу». С горячей симпатией и сочувствием великий писатель относился и ко всем другим угнетенным и порабощенным народам.

Закончив рассказ «За что?», Толстой задумал написать большое художественное произведение о русской революции 1905—1907 годов. «Все больше и больше думается о значении дилеммы, разрешаемой революцией. Очень хочется написать»,— читаем мы в дневнике Толстого за 1906 год. Как и во все предыдущие десятилетия, так и в конце жизни писателя, работа над историческими замыслами сопрягалась с работой над произведениями о современности. В этом находит выражение то единство творческих устремлений, которое связывает в единую цепь все звенья долгого и сложного писательского пути Толстого.

К. ЛОМУНОВ

ВОСКРЕСЕНИЕ

РОМАН

Матф. Гл. XVIII. Ст. 21. Тогда Петр приступил к нему и сказал: господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз? *22.* Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз.

Матф. Гл. VII. Ст. 3. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?

Иоанн. Гл. VIII. Ст. 7. ...кто из вас без греха, первый брось на нее камень.

Лука. Гл. VI. Ст. 40. Ученик не бывает выше своего учителя; но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его.

I

Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивающуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и ни выгоняли всех животных и птиц,— весна была весною даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки; галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда, и мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди — большие, взрослые люди — не переставали обманывать и мучать себя и друг

друга. Люди считали, что священно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира божия, данная для блага всех существ,— красота, располагающая к миру, согласию и любви, а священно и важно то, что́ они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом.

Так, в конторе губернской тюрьмы считалось священным и важным не то, что всем животным и людям даны умиление и радость весны, а считалось священным и важным то, что накануне получена была за номером с печатью и заголовком бумага о том, чтобы к девяти часам утра были доставлены в нынешний день, 28-го апреля, три содержащиеся в тюрьме подследственные арестанта — две женщины и один мужчина. Одна из этих женщин, как самая важная преступница, должна была быть доставлена отдельно. И вот, на основании этого предписания, 28-го апреля в темный вонючий коридор женского отделения, в восемь часов утра, вошел старший надзиратель. Вслед за ним вошла в коридор женщина с измученным лицом и вьющимися седыми волосами, одетая в кофту с рукавами, обшитыми галунами, и подпоясанную поясом с синим кантом. Это была надзирательница.

— Вам Маслову? — спросила она, подходя с дежурным надзирателем к одной из дверей камер, отворявшихся в коридор.

Надзиратель, гремя железом, отпер замок и, растворив дверь камеры, из которой хлынул еще более вонючий, чем в коридоре, воздух, крикнул:

— Маслова, в суд! — и опять притворил дверь, дожидаясь.

Даже на тюремном дворе был свежий, живительный воздух полей, принесенный ветром в город. Но в коридоре был удручающий тифозный воздух, пропитанный запахом испражнений, дегтя и гнили, который тотчас же приводил в уныние и грусть всякого вновь приходившего человека. Это испытала на себе, несмотря на привычку к дурному воздуху, пришедшая со двора надзирательница. Она вдруг, входя в коридор, почувствовала усталость, и ей захотелось спать.

В камере слышна была суетня: женские голоса и шаги босых ног.

— Живей, что ль, поворачивайся там, Маслова, говорю! — крикнул старший надзиратель в дверь камеры.

Минуты через две из двери бодрым шагом вышла, быстро повернулась и стала подле надзирателя невысокая и очень полногрудая молодая женщина в сером халате, надетом на белую кофту и на белую юбку. На ногах женщины были полотняные чулки, на чулках — острожные коты, голова была повязана белой косынкой, из-под которой, очевидно умышленно, были выпущены колечки вьющихся черных волос. Все лицо женщины было той особенной

белизны, которая бывает на лицах людей, проведших долгое время взаперти, и которая напоминает ростки картофеля в подвале. Такие же были и небольшие широкие руки и белая полная шея, видневшаяся из-за большого воротника халата. В лице этом поражали, особенно на матовой бледности лица, очень черные, блестящие, несколько подпухшие, но очень оживленные глаза, из которых один косил немного. Она держалась очень прямо, выставляя полную грудь. Выйдя в коридор, она, немного закинув голову, посмотрела прямо в глаза надзирателю и остановилась в готовности исполнить все то, что от нее потребуют. Надзиратель хотел уже запереть дверь, когда оттуда высунулось бледное, строгое, морщинистое лицо простоволосой седой старухи. Старуха начала что-то говорить Масловой. Но надзиратель надавил дверь на голову старухи, и голова исчезла. В камере захохотал женский голос. Маслова тоже улыбнулась и повернулась к зарешетенному маленькому оконцу в двери. Старуха с той стороны прильнула к оконцу и хриплым голосом проговорила:

— Пуще всего — лишнего не высказывай, стой на одном, и шабаш.

— Да уж одно бы что, хуже не будет,— сказала Маслова, тряхнув головой.

— Известно, одно, а не два,— сказал старший надзиратель с начальственной уверенностью в собственном остроумии.— За мной, марш!

Видневшийся в оконце глаз старухи исчез, а Маслова вышла на середину коридора и быстрыми мелкими шагами пошла вслед за старшим надзирателем. Они спустились вниз по каменной лестнице, прошли мимо еще более, чем женские, вонючих и шумных камер мужчин, из которых их везде провожали глаза в форточках дверей, и вошли в контору, где уже стояли два конвойных солдата с ружьями. Сидевший там писарь дал одному из солдат пропитанную табачным дымом бумагу и, указав на арестантку, сказал:

— Прими.

Солдат — нижегородский мужик с красным, изрытым оспою лицом — положил бумагу за обшлаг рукава шинели и, улыбаясь, подмигнул товарищу, широкоскулому чувашину, на арестантку. Солдаты с арестанткой спустились с лестницы и пошли к главному выходу.

В двери главного выхода отворилась калитка, и, переступив через порог калитки на двор, солдаты с арестанткой вышли из ограды и пошли городом посередине мощеных улиц.

Извозчики, лавочники, кухарки, рабочие, чиновники останавливались и с любопытством оглядывали арестантку; иные пока-

чивали головами и думали: «Вот до чего доводит дурное, не такое, как наше, поведение». Дети с ужасом смотрели на разбойницу, успокаиваясь только тем, что за ней идут солдаты и она теперь ничего уже не сделает. Один деревенский мужик, продавший уголь и напившийся чаю в трактире, подошел к ней, перекрестился и подал ей копейку. Арестантка покраснела, наклонила голову и что-то проговорила.

Чувствуя направленные на себя взгляды, арестантка незаметно, не поворачивая головы, косилась на тех, кто смотрел на нее, и это обращенное на нее внимание веселило ее. Веселил ее тоже чистый, сравнительно с острогом, весенний воздух, но больно было ступать по камням отвыкшими от ходьбы и обутыми в неуклюжие арестантские коты ногами, и она смотрела себе под ноги и старалась ступать как можно легче. Проходя мимо мучной лавки, перед которой ходили, перекачиваясь, никем не обижаемые голуби, арестантка чуть не задела ногою одного сизяка; голубь вспорхнул и, трепеща крыльями, пролетел мимо самого уха арестантки, обдав ее ветром. Арестантка улыбнулась и потом тяжело вздохнула, вспомнив свое положение.

II

История арестантки Масловой была очень обыкновенная история. Маслова была дочь незамужней дворовой женщины, жившей при своей матери-скотнице в деревне у двух сестер-барышень помещиц. Незамужняя женщина эта рожала каждый год, и, как это обыкновенно делается по деревням, ребенка крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося ненужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода.

Так умерло пять детей. Всех их крестили, потом не кормили, и они умирали. Шестой ребенок, прижитый от проезжего цыгана, была девочка, и участь ее была бы та же, но случилось так, что одна из двух старых барышень зашла в скотную, чтобы сделать выговор скотницам за сливки, пахнувшие коровой. В скотной лежала родильница с прекрасным здоровым младенцем. Старая барышня сделала выговор и за сливки и за то, что пустили родившую женщину в скотную, и хотела уже уходить, как, увидав ребеночка, умилилась над ним и вызвалась быть его крестной матерью. Она и окрестила девочку, а потом, жалея свою крестницу, давала молока и денег матери, и девочка осталась жива. Старые барышни так и называли ее «спасенной».

Ребенку было три года, когда мать ее заболела и умерла. Бабка-скотница тяготилась внучкой, и тогда старые барышни взяли

девочку к себе. Черноглазая девочка вышла необыкновенно живая и миленькая, и старые барышни утешались ею.

Старых барышень было две: меньшая, подоброе — Софья Ивановна, она-то и крестила девочку, и старшая, построже — Марья Ивановна. Софья Ивановна наряжала, учила девочку читать и хотела сделать из нее воспитанницу. Марья Ивановна говорила, что из девочки надо сделать работницу, хорошую горничную, и потому была требовательна, наказывала и даже бивала девочку, когда бывала не в духе. Так между двух влияний из девочки, когда она выросла, вышла полугорничная, полувоспитанница. Ее и звали так средним именем — не Катька и не Катенька, а Катюша. Она шила, убирала комнаты, чистила мелом образа, жарила, молола, подавала кофе, делала мелкие постирушечки и иногда сидела с барышнями и читала им.

За нее сватались, но она ни за кого не хотела идти, чувствуя, что жизнь ее с теми трудовыми людьми, которые сватались за нее, будет трудна ей, избалованной сладостью господской жизни.

Так жила она до шестнадцати лет. Когда же ей минуло шестнадцать лет, к ее барышням приехал их племянник-студент, богатый князь, и Катюша, не смея ни ему, ни даже себе признаться в этом, влюбилась в него. Потом через два года этот самый племянник заехал по дороге на войну к тетушкам, пробыл у них четыре дня и накануне своего отъезда соблазнил Катюшу и, сунув ей в последний день сторублевую бумажку, уехал. Через пять месяцев после его отъезда она узнала наверное, что она беременна.

С тех пор ей все стало постыло, и она только думала о том, как бы ей избавиться от того стыда, который ожидал ее, и она стала не только неохотно и дурно служить барышням, но, сама не знала, как это случилось,— вдруг ее прорвало. Она наговорила барышням грубостей, в которых сама потом раскаивалась, и попросила расчета.

И барышни, очень недовольные ею, отпустили ее. От них она поступила горничной к становому, но могла прожить там только три месяца, потому что становой, пятидесятилетний старик, стал приставать к ней, и один раз, когда он стал особенно предприимчив, она вскипела, назвала его дураком и старым чертом и так толкнула в грудь, что он упал. Ее прогнали за грубость. Поступать на место было не к чему, скоро надо было родить, и она поселилась у деревенской вдовы-повитухи, торговавшей вином. Роды были легкие. Но повитуха, принимавшая на деревне у больной женщины, заразила Катюшу родильной горячкой, и ребенка, мальчика, отправили в воспитательный дом, где ребенок, как рассказывала возившая его старуха, тотчас же по приезде умер.

Всех денег у Катюши, когда она поселилась у повитухи, было сто двадцать семь рублей: двадцать семь — зажитых и сто рублей, которые дал ей ее соблазнитель. Когда же она вышла от нее, у нее осталось всего шесть рублей. Она не умела беречь деньги и на себя тратила и давала всем, кто просил. Повитуха взяла у нее за прожитье — за корм и за чай — за два месяца сорок рублей, двадцать пять рублей пошли за отправку ребенка, сорок рублей повитуха выпросила себе взаймы на корову, рублей двадцать разошлись так — на платья, на гостинцы, так что, когда Катюша выздоровела, денег у нее не было, и надо было искать места. Место нашлось у лесничего. Лесничий был женатый человек, но, точно так же как и становой, с первого же дня начал приставать к Катюше. Он был противен Катюше, и она старалась избегать его. Но он был опытнее и хитрее ее, главное — был хозяин, который мог посылать ее куда хотел, и, выждав минуту, овладел ею. Жена узнала и, застав раз мужа одного в комнате с Катюшей, бросилась бить ее. Катюша не далась, и произошла драка, вследствие которой ее выгнали из дома, не заплатив зажитое. Тогда Катюша поехала в город и остановилась там у тетки. Муж тетки был переплетчик и прежде жил хорошо, а теперь растерял всех давальщиков и пьянствовал, пропивая все, что ему попадало под руку.

Тетка же держала маленькое прачечное заведение и этим кормилась с детьми и поддерживала пропащего мужа. Тетка предложила Масловой поступить к ней в прачки. Но, глядя на ту тяжелую жизнь, которую вели женщины-прачки, жившие у тетки, Маслова медлила и отыскивала в конторах место в прислуги. И место нашлось у барыни, жившей с двумя сыновьями-гимназистами. Через неделю после ее поступления старший, усатый, шестого класса гимназист, бросил учиться и не давал покою Масловой, приставая к ней. Мать обвинила во всем Маслову и разочла ее. Нового места не выходило, но случилось так, что, придя в контору, поставляющую прислуг, Маслова встретила там барыню в перстнях и браслетах на пухлых голых руках. Барыня эта, узнав про положение Масловой, ищущей места, дала ей свой адрес и пригласила к себе. Маслова пошла к ней. Барыня ласково приняла ее, угостила пирожками и сладким вином и послала куда-то свою горничную с запиской. Вечером в комнату вошел высокий человек с длинными седеющими волосами и седой бородой; старик этот тотчас же подсел к Масловой и стал, блестя глазами и улыбаясь, рассматривать ее и шутить с нею. Хозяйка вызвала его в другую комнату, и Маслова слышала, как хозяйка говорила: «Свеженькая, деревенская». Потом хозяйка вызвала Маслову и сказала, что это писатель, у которого денег очень много и который ничего не

пожалеет, если она ему понравится. Она понравилась, и писатель дал ей двадцать пять рублей, обещая часто видаться с нею. Деньги вышли очень скоро на уплату зажитого у тетки и на новое платье, шляпку и ленты. Через несколько дней писатель прислал за нею в другой раз. Она пошла. Он дал ей еще двадцать пять рублей и предложил переехать в отдельную квартиру.

Живя на квартире, нанятой писателем, Маслова полюбила веселого приказчика, жившего на том же дворе. Она сама объявила об этом писателю, и она перешла на отдельную маленькую квартиру. Приказчик же, обещавший жениться, уехал, ничего не сказав ей и, очевидно, бросив ее, в Нижний, и Маслова осталась одна. Она хотела было жить одна на квартире, но ей не позволили. И околоточный сказал ей, что она может жить так, только получив желтый билет и подчинившись осмотру. Тогда она пошла опять к тетке. Тетка, видя на ней модное платье, накидку и шляпу, с уважением приняла ее и уже не смела предлагать ей поступить в прачки, считая, что она теперь стала на высшую ступень жизни. И для Масловой теперь уже и не было вопроса о том, поступить или не поступить в прачки. Она с соболезнованием смотрела теперь на ту каторжную жизнь, которую вели в первых комнатах бледные, с худыми руками прачки, из которых некоторые уже были чахоточные, стирая и гладя в тридцатиградусном мыльном пару с открытыми летом и зимой окнами, и ужасалась мысли о том, что и она могла поступить в эту каторгу.

И вот в это-то время, особенно бедственное для Масловой, так как не попадался ни один покровитель, Маслову разыскала сыщица, поставляющая девушек для дома терпимости.

Маслова курила уже давно, но в последнее время связи своей с приказчиком и после того, как он бросил ее, она все больше и больше приучалась пить. Вино привлекало ее не только потому, что оно казалось ей вкусным, но оно привлекало ее больше всего потому, что давало ей возможность забывать все то тяжелое, что она пережила, и давало ей развязность и уверенность в своем достоинстве, которых она не имела без вина. Без вина ей всегда было уныло и стыдно.

Сыщица сделала угощение для тетки и, напоив Маслову, предложила ей поступить в хорошее, лучшее в городе заведение, выставляя перед ней все выгоды и преимущества этого положения. Масловой предстоял выбор: или унизительное положение прислуги, в котором наверное будут преследования со стороны мужчин и тайные временные прелюбодеяния, или обеспеченное, спокойное, узаконенное положение и явное, допущенное законом и хорошо оплачиваемое постоянное прелюбодеяние, и она избрала последнее. Кроме того, она этим думала отплатить и своему соблазни-

телю, и приказчику, и всем людям, которые ей сделали зло. Притом же соблазняло ее и было одной из причин окончательного решения то, что сыщица сказала ей, что платья она может заказывать себе какие только пожелает,— бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми плечами и руками. И когда Маслова представила себе себя в ярко-желтом шелковом платье с черной бархатной отделкой — декольте, она не могла устоять и отдала паспорт. В тот же вечер сыщица взяла извозчика и свезла ее в знаменитый дом Китаевой.

И с тех пор началась для Масловой та жизнь хронического преступления заповедей божеских и человеческих, которая ведется сотнями и сотнями тысяч женщин не только с разрешения, но под покровительством правительственной власти, озабоченной благом своих граждан, и кончается для девяти женщин из десяти мучительными болезнями, преждевременной дряхлостью и смертью.

Утром и днем тяжелый сон после оргии ночи. В третьем, четвертом часу усталое вставанье с грязной постели, зельтерская вода с перепоя, кофе, ленивое шлянье по компатам в пеньюарах, кофтах, халатах, смотренье из-за занавесок в окна, вялые перебранки друг с другом; потом обмывание, обмазывание, душение тела, волос, примериванье платьев, споры из-за них с хозяйкой, рассматриванье себя в зеркало, подкрашивание лица, бровей, сладкая, жирная пища; потом одеванье в яркое шелковое обнажающее тело платье; потом выход в разукрашенную, ярко освещенную залу, приезд гостей, музыка, танцы, конфеты, вино, куренье и прелюбодеяния с молодыми, средними, полудетьми и разрушающимися стариками, холостыми, женатыми, купцами, приказчиками, армянами, евреями, татарами, богатыми, бедными, здоровыми, больными, пьяными, трезвыми, грубыми, нежными, военными, штатскими, студентами, гимназистами — всех возможных сословий, возрастов и характеров. И крики и шутки, и драки и музыка, и табак и вино, и вино и табак, и музыка с вечера и до рассвета. И только утром освобождение и тяжелый сон. И так каждый день, всю неделю. В конце же недели поездка в государственное учреждение — участок, где находящиеся на государственной службе чиновники, доктора — мужчины, иногда серьезно и строго, а иногда с игривой веселостью, уничтожая данный от природы для ограждения от преступления не только людям, но и животным стыд, осматривали этих женщин и выдавали им патент на продолжение тех же преступлений, которые они совершали с своими сообщниками в продолжение недели. И опять такая же неделя. И так каждый день, и летом и зимой, и в будни и в праздники.

Так прожила Маслова семь лет. За это время она переменила два дома и один раз была в больнице. На седьмом году ее

пребывания в доме терпимости и на восьмом году после первого падения, когда ей было двадцать шесть лет, с ней случилось то, за что ее посадили в острог и теперь вели на суд, после шести месяцев пребывания в тюрьме с убийцами и воровками.

III

В то время когда Маслова, измученная длинным переходом, подходила с своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, который соблазнил ее, лежал еще на своей высокой, пружинной с пуховым тюфяком, смятой постели и, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутюженными складочками на груди, курил папиросу. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что предстоит ему нынче сделать и что было вчера.

Вспоминая вчерашний вечер, проведенный у Корчагиных, богатых и знаменитых людей, на дочери которых предполагалось всеми, что он должен жениться, он вздохнул и, бросив выкуренную папироску, хотел достать из серебряного портсигара другую, но раздумал и, спустив с кровати гладкие белые ноги, нашел ими туфли, накинул на полные плечи шелковый халат и, быстро и тяжело ступая, пошел в соседнюю с спальней уборную, всю пропитанную искусственным запахом эликсиров, одеколона, фиксатуаров, духов. Там он вычистил особенным порошком пломбированные во многих местах зубы, выполоскал их душистым полосканьем, потом стал со всех сторон мыться и вытираться разными полотенцами. Вымыв душистым мылом руки, старательно вычистив щетками отпущенные ногти и обмыв у большого мраморного умывальника себе лицо и толстую шею, он пошел еще в третью комнату у спальни, где приготовлен был душ. Обмыв там холодной водой мускулистое, обложившееся жиром белое тело и вытершись лохматой простыней, он надел чистое выглаженное белье, как зеркало, вычищенные ботинки и сел перед туалетом расчесывать двумя щетками небольшую черную курчавую бороду и поредевшие на передней части головы вьющиеся волосы.

Все вещи, которые он употреблял,— принадлежности туалета: белье, одежда, обувь, галстуки, булавки, запонки,— были самого первого, дорогого сорта, незаметные, простые, прочные и ценные.

Выбрав из десятка галстуков и брошек те, какие первые попались под руку,— когда-то это было ново и забавно, теперь было

совершенно все равно,— Нехлюдов оделся в вычищенное и приготовленное на стуле платье и вышел, хотя и не вполне свежий, но чистый и душистый, в длинную, с натертым вчера тремя мужиками паркетом столовую с огромным дубовым буфетом и таким же большим раздвижным столом, имевшим что-то торжественное в своих широко расставленных в виде львиных лап резных ножках. На столе этом, покрытом тонкой крахмаленной скатертью с большими вензелями, стояли: серебряный кофейник с пахучим кофе, такая же сахарница, сливочник с кипяченными сливками и корзина с свежим калачом, сухариками и бисквитами. Подле прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка «Revue des deux Mondes». Нехлюдов только что хотел взяться за письма, как из двери, ведшей в коридор, выплыла полная пожилая женщина в трауре, с кружевной наколкой на голове, скрывавшей ее разъехавшуюся дорожку пробора. Это была горничная покойной, недавно в этой самой квартире умершей матери Нехлюдова, Аграфена Петровна, оставшаяся теперь при сыне в качестве экономки.

Аграфена Петровна лет десять в разное время провела с матерью Нехлюдова за границей и имела вид и приемы барыни. Она жила в доме Нехлюдовых с детства и знала Дмитрия Ивановича еще Митенькой.

— С добрым утром, Дмитрий Иванович.

— Здравствуйте, Аграфена Петровна. Что новенького? — спросил Нехлюдов шутя.

— Письмо от княгини ли, от княжны ли. Горничная давно принесла, у меня дожидается,— сказала Аграфена Петровна, подавая письмо и значительно улыбаясь.

— Хорошо, сейчас,— сказал Нехлюдов, взяв письмо, и, заметив улыбку Аграфены Петровны, нахмурился.

Улыбка Аграфены Петровны означала, что письмо было от княжны Корчагиной, на которой, по мнению Аграфены Петровны, Нехлюдов собирался жениться. И это предположение, выражаемое улыбкой Аграфены Петровны, было неприятно Нехлюдову.

— Так я ей скажу подождать,— и Аграфена Петровна, захватив лежавшую не на месте щеточку для сметания со стола и переложив ее на другое место, выплыла из столовой.

Нехлюдов, распечатав пахучее письмо, поданное ему Аграфеной Петровной, стал читать его.

«Исполняя взятую на себя обязанность быть вашей памятью,— было написано на листе серой толстой бумаги с неровными краями острым, но разгонистым почерком,— напоминаю

вам, что вы нынче, 28-го апреля, должны быть в суде присяжных и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы, с свойственным вам легкомыслием, вчера обещали; à moins que vous ne soyez disposé à payer à la cour d'assises les 300 roubles d'amende, que vous vous refusez pour votre cheval [1], за то, что не явились вовремя. Я вспомнила это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же.

Кн. *М. Корчагина*».

На другой стороне было прибавлено:

«Maman vous fait dire que votre couvert vous attendra jusqu'à la nuit. Venez absolument à quelle heure que cela soit [2].

М. К.».

Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже два месяца производилась над ним княжной Корчагиной и состояла в том, что незаметными нитями все более и более связывала его с ней. А между тем, кроме той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой молодости и не страстно влюбленных, у Нехлюдова была еще важная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сейчас сделать предложения. Причина эта заключалась не в том, что он десять лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил ее, это было совершенно забыто им, и он не считал это препятствием для своей женитьбы; причина эта была в том, что у него в это самое время была с замужней женщиной связь, которая, хотя и была разорвана теперь с его стороны, не была еще признана разорванной ею.

Нехлюдов был очень робок с женщинами, но именно эта-то его робость и вызвала в этой замужней женщине желание покорить его. Женщина эта была жена предводителя того уезда, на выборы которого ездил Нехлюдов. И женщина эта вовлекла его в связь, которая с каждым днем делалась для Нехлюдова все более и более захватывающей и вместе с тем все более и более отталкивающей. Сначала Нехлюдов не мог устоять против соблазна, потом, чувствуя себя виноватым перед нею, он не мог разорвать эту связь без ее согласия. Вот это-то и было причиной, по которой Нехлюдов считал себя не вправе, если бы даже и хотел этого, сделать предложение Корчагиной.

На столе как раз лежало письмо от мужа этой женщины. Увидав этот почерк и штемпель, Нехлюдов покраснел и тотчас же по-

---

[1] если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф в 300 рублей, которые вы жалеете истратить на покупку лошади *(франц.)*.

[2] Матушка велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно когда угодно *(франц.)*.

чувствовал тот подъем энергии, который он всегда испытывал при приближении опасности. Но волнение его было напрасно: муж, предводитель дворянства того самого уезда, в котором были главные имения Нехлюдова, извещал Нехлюдова о том, что в конце мая назначено экстренное земское собрание и что он просит Нехлюдова непременно приехать и donner un coup d'épaule [1] в предстоящих важных вопросах на земском собрании о школах и подъездных путях, при которых ожидалось сильное противодействие реакционной партии.

Предводитель был либеральный человек, и он вместе с некоторыми единомышленниками боролся против наступившей при Александре III реакции и весь был поглощен этой борьбой и ничего не знал о своей несчастной семейной жизни.

Нехлюдов вспомнил о всех мучительных минутах, пережитых им по отношению этого человека: вспомнил, как один раз он думал, что муж узнал, и готовился к дуэли с ним, в которой он намеревался выстрелить на воздух, и о той страшной сцене с пею, когда она в отчаянии выбежала в сад к пруду с намерением утопиться и он бегал искать ее. «Не могу я теперь ехать и не могу ничего предпринять, пока она не ответит мне»,— подумал Нехлюдов. Он неделю тому назад написал ей решительное письмо, в котором признавал себя виновным, готовым на всякого рода искупление своей вины, но считал все-таки, для ее же блага, их отношения навсегда покончеными. Вот на это-то письмо он ждал и не получал ответа. То, что не было ответа, было отчасти хорошим признаком. Если бы она не согласилась на разрыв, она давно бы написала или даже сама приехала, как она делала это прежде. Нехлюдов слышал, что там был теперь какой-то офицер, ухаживавший за нею, и это мучало его ревностью и вместе с тем радовало надеждой на освобождение от томившей его лжи.

Другое письмо было от главноуправляющего имениями. Управляющий писал, что ему, Нехлюдову, необходимо самому приехать, чтобы утвердиться в правах наследства и, кроме того, решить вопрос о том, как продолжать хозяйство: так ли, как оно велось при покойнице, или, как он это и предлагал покойной княгине и теперь предлагает молодому князю, увеличить инвентарь и всю раздаваемую крестьянам землю обрабатывать самим. Управляющий писал, что такая эксплуатация будет гораздо выгоднее. При этом управляющий извинялся в том, что несколько опоздал высылкой следуемых по расписанию к первому числу трех тысяч рублей. Деньги эти вышлются с следующей почтой. Замедлил же

[1] поддержать *(франц.)*.

он высылкой потому, что никак не мог собрать с крестьян, которые в своей недобросовестности дошли до такой степени, что для понуждения их необходимо было обратиться к власти. Письмо это было и приятно и неприятно Нехлюдову. Приятно было чувствовать свою власть над большою собственностью, и неприятно было то, что во время своей первой молодости он был восторженным последователем Герберта Спенсера и в особенности, сам будучи большим землевладельцем, был поражен его положением в «Social statics» [1] о том, что справедливость не допускает частной земельной собственности. С прямотой и решительностью молодости он не только говорил о том, что земля не может быть предметом частной собственности, и не только в университете писал сочинение об этом, но и на деле отдал тогда малую часть земли (принадлежавшей не его матери, а по наследству от отца ему лично) мужикам, не желая противно своим убеждениям владеть землею. Теперь, сделавшись по наследству большим землевладельцем, он должен был одно из двух: или отказаться от своей собственности, как он сделал это десять лет тому назад по отношению двухсот десятин отцовской земли, или молчаливым соглашением признать все свои прежние мысли ошибочными и ложными.

Первого он не мог сделать, потому что у него не было никаких, кроме земли, средств существования. Служить он не хотел, а между тем уже были усвоены роскошные привычки жизни, от которых он считал, что не может отстать. Да и незачем было, так как не было уже ни той силы убеждения, ни той решимости, ни того тщеславия и желания удивить, которые были в молодости. Второе же — отречься от тех ясных и неопровержимых доводов о незаконности владения землею, которые он тогда почерпнул из «Социальной статики» Спенсера и блестящее подтверждение которым он нашел потом, уже много после, в сочинениях Генри Джорджа,— он никак не мог.

И от этого письмо управляющего было неприятно ему.

IV

Напившись кофею, Нехлюдов пошел в кабинет, чтобы справиться в повестке, в котором часу надо быть в суде, и написать ответ княжне. В кабинет надо было пройти через мастерскую. В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной и развешаны были этюды. Вид этой картины, над которой он бился два года, и этюдов, и всей мастерской напомнили ему испытанное

[1] «Социальная статика» *(англ.)*.

с особенной силой в последнее время чувство бессилия идти дальше в живописи. Он объяснял это чувство слишком тонко развитым эстетическим чувством, но все-таки сознание это было очень неприятно.

Семь лет тому назад он бросил службу, решив, что у него есть призвание к живописи, и с высоты художественной деятельности смотрел несколько презрительно на все другие деятельности. Теперь оказывалось, что он на это не имел права. И потому всякое воспоминание об этом было неприятно. Он с тяжелым чувством посмотрел на все эти роскошные приспособления мастерской и в невеселом расположении духа вошел в кабинет. Кабинет был очень большая, высокая комната, со всякого рода украшениями, приспособлениями и удобствами.

Тотчас же найдя в ящике огромного стола, под отделом *срочные,* повестку, в которой значилось, что в суде надо было быть в одиннадцать, Нехлюдов сел писать княжне записку о том, что он благодарит за приглашение и постарается приехать к обеду. Но, написав одну записку, он разорвал ее: было слишком интимно; написал другую — было холодно, почти оскорбительно. Он опять разорвал и пожал в стене пуговку. В двери вошел в сером коленкоровом фартуке пожилой, мрачного вида, бритый, с бакенбардами лакей.

— Пожалуйста, пошлите за извозчиком.

— Слушаю-с.

— Да скажите — тут дожидаются от Корчагиных,— что благодарю, постараюсь быть.

— Слушаю.

«Неучтиво, но не могу писать. Все равно увижусь с ней нынче»,— подумал Нехлюдов и пошел одеваться.

Когда он, одевшись, вышел на крыльцо, знакомый извозчик на резиновых шинах уже ожидал его.

— А вчера, вы только уехали от князя Корчагина,— сказал извозчик, полуоборачивая свою крепкую загорелую шею в белом вороте рубахи,— и я приехал, а швейцар говорит: «Только вышли».

«И извозчики знают о моих отношениях к Корчагиным»,— подумал Нехлюдов, и нерешенный вопрос, занимавший его постоянно в последнее время: следует или не следует жениться на Корчагиной, стал перед ним, и он, как в большинстве вопросов, представлявшихся ему в это время, никак, ни в ту, ни в другую сторону, не мог решить его.

В пользу женитьбы вообще было, во-первых, то, что женитьба, кроме приятностей домашнего очага, устраняя неправильность половой жизни, давала возможность нравственной жизни; во-вто-

рых, и главное, то, что Нехлюдов надеялся, что семья, дети дадут смысл его теперь бессодержательной жизни. Это было за женитьбу вообще. Против же женитьбы вообще было, во-первых, общий всем немолодым холостякам страх за лишение свободы и, во-вторых, бессознательный страх перед таинственным существом женщины.

В пользу же, в частности, женитьбы именно на Мисси (Корчагину звали Мария, и, как во всех семьях известного круга, ей дали прозвище) было, во-первых, то, что она была породиста и во всем, от одежды до манеры говорить, ходить, смеяться, выделялась от простых людей не чем-нибудь исключительным, а «порядочностью»,— он не знал другого выражения этого свойства и ценил это свойство очень высоко; во-вторых, еще то, что она выше всех других людей ценила его, стало быть, по его понятиям, понимала его. И это понимание его, то есть признание его высоких достоинств, свидетельствовало для Нехлюдова об ее уме и верности суждения. Против же женитьбы на Мисси, в частности, было, во-первых, то, что очень вероятно можно бы было найти девушку, имеющую еще гораздо больше достоинств, чем Мисси, и потому более достойную его, и, во-вторых, то, что ей было двадцать семь лет, и потому, наверное, у нее были уже прежние любови,— и эта мысль была мучительной для Нехлюдова. Гордость его не мирилась с тем, чтобы она даже в прошедшем могла любить не его. Разумеется, она не могла знать, что она встретит его, но одна мысль о том, что она могла любить кого-нибудь прежде, оскорбляла его.

Так что доводов было столько же за, сколько и против; по крайней мере по силе своей доводы эти были равны, и Нехлюдов, смеясь сам над собою, называл себя буридановым ослом. И все-таки оставался им, не зная, к какой из двух вязанок обратиться.

«Впрочем, не получив ответа от Марьи Васильевны (жены предводителя), не покончив совершенно с тем, я и не могу ничего предпринять»,— сказал он себе.

И это сознание того, что он может и должен медлить решением, было приятно ему.

«Впрочем, это все я обдумаю после»,— сказал он себе, когда его пролетка совсем уже беззвучно подкатилась к асфальтовому подъезду суда.

«Теперь надо добросовестно, как я всегда делаю и считаю должным, исполнить общественную обязанность. Притом же это часто бывает и интересно»,— сказал он себе и вошел мимо швейцара в сени суда.

V

В коридорах суда уже шло усиленное движение, когда Нехлюдов вошел в него.

Сторожа то быстро ходили, то рысью даже, не поднимая ног от пола, но шмыгая ими, запыхавшись, бегали взад и вперед с поручениями и бумагами. Пристав, адвокаты и судейские проходили то туда, то сюда, просители или подсудимые не под стражей уныло бродили у стен или сидели, дожидаясь.

— Где окружный суд? — спросил Нехлюдов у одного из сторожей.

— Какой вам? Есть гражданское отделение, есть судебная палата.

— Я присяжный.

— Уголовное отделение. Так бы и сказали. Сюда направо, потом налево и вторая дверь.

Нехлюдов пошел по указанию.

У указанной двери стояли два человека, дожидаясь: один был высокий, толстый купец, добродушный человек, который, очевидно, выпил и закусил и был в самом веселом расположении духа; другой был приказчик еврейского происхождения. Они разговаривали о цене шерсти, когда к ним подошел Нехлюдов и спросил, здесь ли комната присяжных.

— Здесь, сударь, здесь. Тоже наш брат, присяжный? — весело подмигивая, спросил добродушный купец.— Ну что же, вместе потрудимся,— продолжал он на утвердительный ответ Нехлюдова,— второй гильдии Баклашов,— сказал он, подавая мягкую широкую несжимающуюся руку,— потрудиться надо. С кем имею удовольствие?

Нехлюдов назвался и прошел в комнату присяжных.

В небольшой комнате присяжных было человек десять разного сорта людей. Все только пришли, и некоторые сидели, другие ходили, разглядывая друг друга и знакомясь. Был один отставной в мундире, другие в сюртуках, в пиджаках, один только был в поддевке.

На всех был,— несмотря на то, что многих это оторвало от дела и что они говорили, что тяготятся этим,— на всех был отпечаток некоторого удовольствия сознания совершения общественного важного дела.

Присяжные, кто познакомившись, а кто так, только догадываясь, кто — кто, разговаривали между собой о погоде, о ранней весне, о предстоящих делах. Те, кто не были знакомы, поспешили познакомиться с Нехлюдовым, очевидно считая это за особую честь. И Нехлюдов, как и всегда среди незнакомых людей, припи-

мал это как должное. Если бы его спросили, почему он считает себя выше большинства людей, он не мог бы ответить, так как вся его жизнь не являла никаких особенных достоинств. То же, что он выговаривал хорошо по-английски, по-французски и по-немецки, что на нем было белье, одежда, галстук и запонки от самых первых поставщиков этих товаров, никак не могло служить — он сам понимал — причиной признания своего превосходства. А между тем он несомненно признавал это свое превосходство и принимал выказываемые ему знаки уважения как должное и оскорблялся, когда этого не было. В комнате присяжных ему как раз пришлось испытать это неприятное чувство от выказанного ему неуважения. В числе присяжных нашелся знакомый Нехлюдова. Это был Петр Герасимович (Нехлюдов никогда и не знал и даже немного хвастал тем, что не знает его фамилии), бывший учитель детей его сестры. Петр Герасимович этот кончил курс и был теперь учителем гимназии. Он всегда был невыносим Нехлюдову своей фамильярностью, своим самодовольным хохотом, вообще своей «коммунностью», как говорила сестра Нехлюдова.

— А, и вы попали,— с громким хохотом встретил Петр Герасимович Нехлюдова.— Не отвертелись?

— Я и не думал отвертываться,— строго и уныло сказал Нехлюдов.

— Ну, это гражданская доблесть. Погодите, как проголодаетесь да спать не дадут, не то запоете! — еще громче хохоча, заговорил Петр Герасимович.

«Этот протоиереев сын сейчас станет мне «ты» говорить»,— подумал Нехлюдов и, выразив на своем лице такую печаль, которая была бы естественна только, если бы он сейчас узнал о смерти всех родных, отошел от него и приблизился к группе, образовавшейся около бритого высокого представительного господина, что-то оживленно рассказывавшего. Господин этот говорил о процессе, который шел теперь в гражданском отделении, как о хорошо знакомом ему деле, называя судей и знаменитых адвокатов по имени и отчеству. Он рассказывал про тот удивительный оборот, который умел дать делу знаменитый адвокат и по которому одна из сторон, старая барыня, несмотря на то, что она была совершенно права, должна будет ни за что заплатить большие деньги противной стороне.

— Гениальный адвокат! — говорил он.

Его слушали с уважением, и некоторые старались вставить свои замечания, но он всех обрывал, как будто он один мог знать все по-настоящему.

Несмотря на то, что Нехлюдов приехал поздно, пришлось долго дожидаться. Задерживал дело до сих пор не приехавший один из членов суда.

VI

Председательствующий приехал в суд рано. Председательствующий был высокий, полный человек с большими седеющими бакенбардами. Он был женат, но вел очень распущенную жизнь, так же как и его жена. Они не мешали друг другу. Нынче утром он получил записку от швейцарки-гувернантки, жившей у них в доме летом и теперь проезжавшей с юга в Петербург, что она будет в городе между тремя и шестью часами ждать его в гостинице «Италия». И потому ему хотелось начать и кончить раньше заседание нынешнего дня, с тем чтобы до шести успеть посетить эту рыженькую Клару Васильевну, с которой у него прошлым летом на даче завязался роман.

Войдя в кабинет, он защелкнул дверь, достал из шкафа с бумагами с нижней полки две галтеры (гири) и сделал двадцать движений вверх, вперед, вбок и вниз и потом три раза легко присел, держа галтеры над головой.

«Ничто так не поддерживает, как обливание водою и гимнастика»,— подумал он, ощупывая левой рукой с золотым кольцом на безымяннике напруженный бисепс правой. Ему оставалось еще сделать мулине (он всегда делал эти два движения перед долгим сидением заседания), когда дверь дрогнула. Кто-то хотел отворить ее. Председатель поспешно положил гири на место и отворил дверь.

— Извините,— сказал он.

В комнату вошел один из членов, в золотых очках, невысокий, с поднятыми плечами и нахмуренным лицом.

— Опять Матвея Никитича нет,— сказал член недовольно.

— Нет еще,— надевая мундир, отвечал председатель.— Вечно опаздывает.

— Удивительно, как не совестно,— сказал член и сердито сел, доставая папиросы.

Член этот, очень аккуратный человек, нынче утром имел неприятное столкновение с женой за то, что жена израсходовала раньше срока данные ей на месяц деньги. Она просила дать ей вперед, но он сказал, что не отступит от своего. Вышла сцена. Жена сказала, что если так, то и обеда не будет, чтобы он и не ждал обеда дома. На этом он уехал, боясь, что она сдержит свою угрозу, так как от нее всего можно было ожидать. «Вот и живи хорошей, нравственной жизнью,— думал он, глядя на сияющего, здорового, веселого и добродушного председателя, который, широко расставляя локти, красивыми белыми руками расправлял густые и длинные седеющие бакенбарды по обеим сторонам шитого воротника,— он всегда доволен и весел, а я мучаюсь».

Вошел секретарь и принес какое-то дело.

— Очень вам благодарен,— сказал председатель и закурил папироску.— Какое же дело пустим первым?

— Да я думаю, отравление,— как будто равнодушно сказал секретарь.

— Ну, хорошо, отравление так отравление,— сказал председатель, сообразив, что это такое дело, которое можно кончить до четырех часов, а потом уехать.— А Матвея Никитича нет?

— Все нет.

— А Бреве здесь?

— Здесь,— отвечал секретарь.

— Так скажите ему, если увидите, что мы начнем с отравления.

Бреве был тот товарищ прокурора, который должен был обвинять в этом заседании.

Выйдя в коридор, секретарь встретил Бреве. Подняв высоко плечи, он, в расстегнутом мундире, с портфелем под мышкой, чуть не бегом, постукивая каблуками и махая свободной рукой так, что плоскость руки была перпендикулярна к направлению его хода, быстро шагал по коридору.

— Михаил Петрович просил узнать, готовы ли вы,— спросил у него секретарь.

— Разумеется, я всегда готов,— сказал товарищ прокурора.— Какое дело первое?

— Отравление.

— И прекрасно,— сказал товарищ прокурора, но он вовсе не находил этого прекрасным: он не спал всю ночь. Они провожали товарища, много пили и играли до двух часов, а потом поехали к женщинам в тот самый дом, в котором шесть месяцев тому назад еще была Маслова, так что именно дело об отравлении он не успел прочесть и теперь хотел пробежать его. Секретарь же нарочно, зная, что он не читал дела об отравлении, посоветовал председателю пустить его первым. Секретарь был либерального, даже радикального образа мыслей человек. Бреве же был консервативен и даже, как все служащие в России немцы, особенно предан православию, и секретарь не любил его и завидовал его месту.

— Ну, а как же о скопцах? — спросил секретарь.

— Я сказал, что не могу,— сказал товарищ прокурора,— за отсутствием свидетелей, так и заявлю суду.

— Да ведь все равно...

— Не могу,— сказал товарищ прокурора и, так же махая рукой, пробежал в свой кабинет.

Он откладывал дело о скопцах за отсутствием совсем неважного и ненужного для дела свидетеля только потому, что дело

это, слушаясь в суде, где состав присяжных был интеллигентный, могло кончиться оправданием. По уговору же с председателем дело это должно было перенестись на сессию уездного города, где будут больше крестьяне, и потому больше шансов обвинения.

Движение по коридору все усиливалось. Больше всего народа было около залы гражданского отделения, в которой шло то дело, о котором говорил представительный господин присяжным, охотник до судейских дел. В сделанный перерыв из этой залы вышла та самая старушка, у которой гениальный адвокат сумел отнять ее имущество в пользу дельца, не имевшего на это имущество никакого права,— это знали и судьи, а тем более истец и его адвокат; но придуманный ими ход был такой, что нельзя было не отнять имущество у старушки и не отдать его дельцу. Старушка была толстая женщина в нарядном платье и с огромными цветами на шляпке. Она, выйдя из двери, остановилась в коридоре и, разводя толстыми, короткими руками, все повторяла: «Что ж это будет? Сделайте милость! Что ж это?» — обращаясь к своему адвокату. Адвокат смотрел на цветы на ее шляпке и не слушал ее, что-то соображая.

Вслед за старушкой из двери залы гражданского отделения, сияя пластроном широко раскрытого жилета и самодовольным лицом, быстро вышел тот самый знаменитый адвокат, который сделал так, что старушка с цветами осталась ни при чем, а делец, давший ему десять тысяч рублей, получил больше ста тысяч. Все глаза обратились на адвоката, и он чувствовал это и всей наружностью своей как бы говорил: «Не нужно никаких выражений преданности»,— и быстро прошел мимо всех.

VII

Наконец приехал и Матвей Никитич, и судебный пристав, худой человек с длинной шеей и походкой набок и также набок выставляемой нижней губой, вошел в комнату присяжных.

Судебный пристав этот был честный человек, университетского образования, но не мог нигде удержаться на месте, потому что пил запоем. Три месяца тому назад одна графиня, покровительница его жены, устроила ему это место, и он до сих пор держался на нем и радовался этому.

— Что же, господа, собрались все? — сказал он, надевая pince-nez и глядя через него.

— Все, кажется,— сказал веселый купец.

— Вот поверим,— сказал судебный пристав и, достав из кар-

мана лист, стал перекликать, глядя на вызываемых то через pince-nez, то сквозь него.

— Статский советник И. М. Никифоров.

— Я,— сказал представительный господин, знавший все судейские дела.

— Отставной полковник Иван Семенович Иванов.

— Здесь,— отозвался худой человек в отставном мундире.

— Купец второй гильдии Петр Баклашов.

— Есть,— сказал добродушный купец, улыбаясь во весь рот.— Готовы!

— Гвардии поручик князь Дмитрий Нехлюдов.

— Я,—отвечал Нехлюдов.

Судебный пристав особенно учтиво и приятно, глядя поверх pince-nez, поклонился, как будто выделяя его этим от других.

— Капитан Юрий Дмитриевич Данченко, купец Григорий Ефимович Кулешов,— и т. д., и т. д.

Все, кроме двух, были в сборе.

— Теперь пожалуйте, господа, в залу,— приятным жестом указывая на дверь, сказал пристав.

Все тронулись и, пропуская друг друга в дверях, вышли в коридор и из коридора в залу заседания.

Зала суда была большая, длинная компата. Один конец ее был занят возвышением, к которому вели три ступеньки. На возвышении посередине стоял стол, покрытый зеленым сукном с более темной зеленой бахромой. Позади стола стояли три кресла с очень высокими дубовыми резными спинками, а за креслами висел в золотой раме яркий портрет во весь рост генерала в мундире и ленте, отставившего ногу и держащегося за саблю. В правом углу висел киот с образом Христа в терновом венке и стоял аналой, и в правой же стороне стояла конторка прокурора. С левой стороны, против конторки, был в глубине столик секретаря, а ближе к публике — точеная дубовая решетка и за нею еще не занятая скамья подсудимых. С правой стороны на возвышении стояли в два ряда стулья тоже с высокими спинками, для присяжных, внизу столы для адвокатов. Все это было в передней части залы, разделявшейся решеткой надвое. Задняя же часть вся занята была скамьями, которые, возвышаясь один ряд над другим, шли до задней степы. В задней части залы, на передних лавках, сидели четыре женщины, вроде фабричных или горничных, и двое мужчин, тоже из рабочих, очевидно подавленных величием убранства залы и потому робко перешептывавшихся между собой.

Скоро после присяжных судебный пристав односторонней походкой вышел на середину и громким голосом, которым он точно хотел испугать присутствующих, прокричал:

— Суд идет!

Все встали, и на возвышение зала вышли судьи: председательствующий с своими мускулами и прекрасными бакенбардами; потом мрачный член суда в золотых очках, который теперь был еще мрачнее оттого, что перед самым заседанием он встретил своего шурина, кандидата на судебные должности, который сообщил ему, что он был у сестры и сестра объявила ему, что обеда не будет.

— Так что, видно, в кабачок поедем,— сказал шурин, смеясь.

— Ничего нет смешного,— сказал мрачный член суда и сделался еще мрачнее.

И, наконец, третий член суда, тот самый Матвей Никитич, который всегда опаздывал,— этот член был бородатый человек с большими, вниз оттянутыми добрыми глазами. Член этот страдал катаром желудка и с нынешнего утра начал, по совету доктора, новый режим, и этот новый режим задержал его нынче дома еще дольше обыкновенного. Теперь, когда он входил на возвышение, он имел сосредоточенный вид, потому что у него была привычка загадывать всеми возможными средствами на вопросы, которые он задавал себе. Теперь он загадал, что если число шагов до кресла от двери кабинета будет делиться на три без остатка, то новый режим вылечит его от катара, если же не будет делиться, то нет. Шагов было двадцать шесть, но он сделал маленький шажок и ровно на двадцать седьмом подошел к креслу.

Фигуры председателя и членов, вышедших на возвышение в своих расшитых золотом воротниках мундиров, были очень внушительны. Они сами чувствовали это, и все трое, как бы смущенные своим величием, поспешно и скромно опуская глаза, сели на свои резные кресла за покрытый зеленым сукном стол, на котором возвышался треугольный инструмент с орлом, стеклянные вазы, в которых бывают в буфетах конфеты, чернильница, перья и лежала бумага чистая и прекрасная и вновь очиненные карандаши разных размеров. Вместе с судьями вошел и товарищ прокурора. Он так же поспешно, с портфелем под мышкой, и так же махая рукой, прошел к своему месту у окна и тотчас же погрузился в чтение и пересматривание бумаг, пользуясь каждой минутой для того, чтобы приготовиться к делу. Прокурор этот только что четвертый раз обвинял. Он был очень честолюбив и твердо решил сделать карьеру и потому считал необходимым добиваться обвинения по всем делам, по которым он будет обвинять. Сущность дела об отравлении он знал в общих чертах и составил уже план речи, но ему нужны были еще некоторые данные, и их-то он теперь поспешно и выписывал из дела.

Секретарь сидел на противоположном конце возвышения и, подготовив все те бумаги, которые могут понадобиться для чтения,

просматривал запрещенную статью, которую он достал и читал вчера. Ему хотелось поговорить об этой статье с членом суда с большой бородой, разделяющим его взгляды, и прежде разговора хотелось ознакомиться с нею.

VIII

Председатель, просмотрев бумаги, сделал несколько вопросов судебному приставу и секретарю и, получив утвердительные ответы, распорядился о приводе подсудимых. Тотчас же дверь за решеткой отворилась, и вошли в шапках два жандарма с оголенными саблями, а за ними сначала один подсудимый, рыжий мужчина с веснушками, и две женщины. Мужчина был одет в арестантский халат, слишком широкий и длинный для него. Входя в суд, он держал руки с оттопыренными большими пальцами, напряженно вытянутыми по швам, придерживая этим положением спускавшиеся слишком длинные рукава. Он, не взглядывая на судей и зрителей, внимательно смотрел на скамью, которую обходил. Обойдя ее, он аккуратно, с края, давая место другим, сел на нее и, вперив глаза в председателя, точно шепча что-то, стал шевелить мускулами в щеках. За ним вошла немолодая женщина, также одетая в арестантский халат. Голова женщины была повязана арестантской косынкой, лицо было серо-белое, без бровей и ресниц, но с красными глазами. Женщина эта казалась совершенно спокойной. Проходя на свое место, халат ее зацепился за что-то, она старательно, не торопясь, выпростала его и села.

Третья подсудимая была Маслова.

Как только она вошла, глаза всех мужчин, бывших в зале, обратились на нее и долго не отрывались от ее белого с черными глянцевито-блестящими глазами лица и выступавшей под халатом высокой груди. Даже жандарм, мимо которого она проходила, не спуская глаз, смотрел на нее, пока она проходила и усаживалась, и потом, когда она уселась, как будто сознавая себя виновным, поспешно отвернулся и, встряхнувшись, уперся глазами в окно прямо перед собой.

Председатель подождал, пока подсудимые заняли свои места, и, как только Маслова уселась, обратился к секретарю.

Началась обычная процедура: перечисление присяжных заседателей, рассуждение о неявившихся, наложение на них штрафов и решение о тех, которые отпрашивались, и пополнение неявившихся запасными. Потом председатель сложил билетики, вложил их в стеклянную вазу и стал, немного засучив шитые рукава мундира и обнажив сильно поросшие волосами руки, с жестами фокусника, вынимать по одному билетику, раскатывать и читать их.

Потом председатель спустил рукава и предложил священнику привести заседателей к присяге.

Старичок священник, с опухшим желто-бледным лицом, в коричневой рясе с золотым крестом на груди и еще каким-то маленьким орденом, приколотым сбоку на рясе, медленно под рясой передвигая свои опухшие ноги, подошел к аналою, стоящему под образом.

Присяжные встали и, толпясь, двинулись к аналою.

— Пожалуйте,— проговорил священник, потрогивая пухлой рукой свой крест на груди и ожидая приближения всех присяжных.

Священник этот священствовал сорок шесть лет и собирался через три года отпраздновать свой юбилей так же, как его недавно отпраздновал соборный протоиерей. В окружном же суде он служил со времени открытия судов и очень гордился тем, что он привел к присяге несколько десятков тысяч человек и что в своих преклонных годах он продолжал трудиться на благо церкви, отечества и семьи, которой он оставит, кроме дома, капитал не менее тридцати тысяч в процентных бумагах. То же, что труд его в суде, состоящий в том, чтобы приводить людей к присяге над Евангелием, в котором прямо запрещена присяга, был труд нехороший, никогда не приходило ему в голову, и он не только не тяготился этим, но любил это привычное занятие, часто при этом знакомясь с хорошими господами. Теперь он не без удовольствия познакомился с знаменитым адвокатом, внушавшим ему большое уважение тем, что за одно только дело старушки с огромными цветами на шляпке он получил десять тысяч рублей.

Когда присяжные все взошли по ступенькам на возвышение, священник, нагнув набок лысую и седую голову, пролез ею в насаленную дыру епитрахили и, оправив жидкие волосы, обратился к присяжным.

— Правую руку поднимите, а персты сложите так вот,— сказал он медленно старческим голосом, поднимая пухлую руку с ямочками над каждым пальцем и складывая эти пальцы в щепоть.— Теперь повторяйте за мной,— сказал он и начал: — Обещаюсь и клянусь всемогущим богом, пред святым его Евангелием и животворящим крестом господним, что по делу, по которому...— говорил он, делая перерыв после каждой фразы.— Не опускайте руки, держите так,— обратился он к молодому человеку, опустившему руку,— что по делу, по которому...

Представительный господин с бакенбардами, полковник, купец и другие держали руки с сложенными перстами так, как этого требовал священник, как будто с особенным удовольствием, очень определенно и высоко, другие как будто неохотно и неопределенно. Одни слишком громко повторяли слова, как будто с задором и вы-

ражением, говорящим: «А я все-таки буду и буду говорить», другие же только шептали, отставали от священника и потом, как бы испугавшись, не вовремя догоняли его; одни крепко-крепко, как бы боясь, что выпустят что-то, вызывающими жестами держали свои щепотки, а другие распускали их и опять собирали. Всем было неловко, один только старичок священник был несомненно убежден, что он делает очень полезное и важное дело. После присяги председатель предложил присяжным выбрать старшину. Присяжные встали и, теснясь, прошлись в совещательную комнату, где почти все они тотчас достали папиросы и стали курить. Кто-то предложил старшиной представительного господина, и все тотчас же согласились и, побросав и потушив окурки, вернулись в залу. Выбранный старшина объявил председателю, кто избран старшиной, и все опять, шагая через ноги друг другу, уселись в два ряда на стулья с высокими спинками.

Все шло без задержек, скоро и не без торжественности, и эта правильность, последовательность и торжественность, очевидно, доставляли удовольствие участвующим, подтверждая в них сознание, что они делают серьезное и важное общественное дело. Это чувство испытывал и Нехлюдов.

Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их правах, обязанностях и ответственности. Говоря свою речь, председатель постоянно переменял позу: то облокачивался на левую, то на правую руку, то на спинку, то на ручки кресел, то уравнивал края бумаги, то гладил разрезной нож, то ощупывал карандаш.

Права их, по его словам, состояли в том, что они могут спрашивать подсудимых через председателя, могут иметь карандаш и бумагу и могут осматривать вещественные доказательства. Обязанность состояла в том, чтобы они судили не ложно, а справедливо. Ответственность же их состояла в том, что в случае несоблюдения тайны совещаний и установления сношений с посторонними они подвергались наказанию.

Все слушали с почтительным вниманием. Купец, распространяя вокруг себя запах вина и удерживая шумную отрыжку, на каждую фразу одобрительно кивал головою.

IX

Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым.

— Симон Картинкин, встаньте,— сказал он.

Симон нервно вскочил. Мускулы щек зашевелились еще быстрее.

— Ваше имя?

— Симон Петров Картинкин,— быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно вперед приготовившись к ответу.

— Ваше звание?

— Крестьяне.

— Какой губернии, уезда?

— Тульской губернии, Крапивенского уезда, волости Купянской, села Борки.

— Сколько вам лет?

— Тридцать четвертый, рожден в тысяча восемьсот...

— Веры какой?

— Веры мы русской, православной.

— Женат?

— Никак нет-с.

— Чем занимаетесь?

— Занимались мы по коридору в гостинице «Мавритания».

— Судились когда прежде?

— Никогда не сужден, потому как мы жили прежде...

— Не судились прежде?

— Помилуй бог, никогда.

— Копию с обвинительного акта получили?

— Получили.

— Садитесь. Евфимия Иванова Бочкова,— обратился председатель к следующей подсудимой.

Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову.

— Картинкин, сядьте.

Картинкин все стоял.

— Картинкин, сядьте!

Но Картинкин все стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав, склонив голову набок и неестественно раскрывая глаза, трагическим шепотом проговорил: «Сидеть, сидеть!»

Картинкин сел так же быстро, как он встал, и, запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками.

— Ваше имя? — со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсудимой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаге. Дело было настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать два дела разом.

Бочковой было сорок три года, звание — коломенская мещанка, занятие — коридорная в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была, копию с обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бочкова чрезвычайно смело и с такими интонациями, точно она к каждому ответу приговаривала: «Да, Евфимия, и Бочкова, копию получила, и горжусь этим, и сме-

яться никому не позволю». Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как только кончились вопросы.

— Ваше имя? — обратился женолюбивый председатель, как-то особенно приветливо к третьей подсудимой.— Надо встать,— прибавил он мягко и ласково, заметив, что Маслова сидела.

Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, выставляя свою высокую грудь, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя своими улыбающимися и немного косящими черными глазами.

— Звать как?

— Любовью,— проговорила она быстро.

Нехлюдов между тем, надев pince-nez, глядел на подсудимых по мере того, как их допрашивали. «Да не может быть,— думал он, не спуская глаз с лица подсудимой,— но как же Любовь?» — думал он, услыхав ее ответ.

Председатель хотел спрашивать дальше, но член в очках, что-то сердито прошептав, остановил его. Председатель сделал головой знак согласия и обратился к подсудимой.

— Как Любовью? — сказал он.— Вы записаны иначе.

Подсудимая молчала.

— Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя.

— Крещена как? — спросил сердитый член.

— Прежде звали Катериной.

«Да не может быть»,— продолжал себе говорить Нехлюдов, и между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница-горничная, в которую он одно время был влюблен, именно влюблен, а потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только не порядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной.

Да, это была она. Он видел теперь ясно ту исключительную, таинственную особенность, которая отделяет каждое лицо от другого, делает его особенным, единственным, неповторяемым. Несмотря на неестественную белизну и полноту лица, особенность эта, милая, исключительная особенность, была в этом лице, в губах, в немного косивших глазах и, главное, в этом наивном, улыбающемся взгляде и в выражении готовности не только в лице, но и во всей фигуре.

— Вы так и должны были сказать,— опять-таки особенно мягко сказал председатель.— Отчество как?

— Я — незаконная,— проговорила Маслова.

— Все-таки по крестному отцу как звали?

— Михайловой.

«И что могла она сделать?» — продолжал думать между тем Нехлюдов, с трудом переводя дыхание.

— Фамилия, прозвище ваше как? — продолжал председатель.

— Писали по матери Масловой.

— Звание?

— Мещанка.

— Веры православной?

— Православной.

— Занятие? Чем занимались?

Маслова молчала.

— Чем занимались? — повторил председатель.

— В заведении была,— сказала она.

— В каком заведении? — строго спросил член в очках.

— Вы сами знаете, в каком,— сказала Маслова, улыбнулась и тотчас же, быстро оглянувшись, опять прямо уставилась на председателя.

Что-то было такое необыкновенное в выражении лица и страшное и жалкое в значении сказанных ею слов, в этой улыбке и в том быстром взгляде, которым она окинула при этом залу, что председатель потупился, и в зале на минуту установилась совершенная тишина. Тишина была прервана чьим-то смехом из публики. Кто-то зашикал. Председатель поднял голову и продолжал вопросы:

— Под судом и следствием не были?

— Не была,— тихо проговорила Маслова, вздыхая.

— Копию с обвинительного акта получили?

— Получила.

— Сядьте,— сказал председатель.

Подсудимая подняла юбку сзади тем движением, которым нарядные женщины оправляют шлейф, и села, сложив белые небольшие руки в рукавах халата, не спуская глаз с председателя.

Началось перечисление свидетелей, удаление свидетелей, решение об эксперте-докторе и приглашение его в залу заседания. Потом встал секретарь и начал читать обвинительный акт. Читал он внятно и громко, но так быстро, что голос его, неправильно выговаривавший *л* и *р,* сливался в один неперестающий, усыпительный гул. Судьи облокачивались то на одну, то на другую ручку кресел, то на стол, то на спинку, то закрывали глаза, то открывали их и перешептывались. Один жандарм несколько раз удерживал начинающуюся судорогу зевоты.

Из подсудимых Картинкин не переставая шевелил щеками. Бочкова сидела совершенно спокойно и прямо, изредка почесывая пальцем под косынкой голову.

Маслова то сидела неподвижно, слушая чтеца и смотря на него, то вздрагивала и как бы хотела возражать, краснела и потом тяжело вздыхала, переменяла положение рук, оглядывалась и опять уставлялась на чтеца.

Нехлюдов сидел в первом ряду на своем высоком стуле, вторым от края, и, снимая pince-nez, смотрел на Маслову, и в душе его шла сложная и мучительная работа.

X

Обвинительный акт был такой:

— «17 января 188* года в гостинице «Мавритания» скоропостижно умер приезжий — курганский 2-й гильдии купец Ферапонт Емельянович Смельков.

Местный полицейский врач 4-го участка удостоверил, что смерть произошла от разрыва сердца, вызванного чрезмерным употреблением спиртных напитков. Тело Смелькова было предано земле.

По прошествии нескольких дней возвратившийся из Петербурга купец Тимохин, земляк и товарищ Смелькова, узнав обстоятельства, сопровождавшие кончину Смелькова, заявил подозрение в отравлении его с целью похищения бывших при нем денег.

Подозрение это нашло себе подтверждение на предварительном следствии, коим установлено: 1) что Смельков незадолго до смерти получил из банка 3800 рублей серебром. Между тем при описи имущества покойного в порядке охранительном оказалось в наличности только 312 рублей 16 копеек. 2) Весь день накануне и всю последнюю перед смертью ночь Смельков провел с проституткой Любкой (Екатериной Масловой) в доме терпимости и в гостинице «Мавритания», куда, по поручению Смелькова и в отсутствии его, Екатерина Маслова приезжала из дома терпимости за деньгами, кои достала из чемодана Смелькова, отомкнув его данным ей Смельковым ключом, в присутствии коридорной прислуги гостиницы «Мавритании» Евфимии Бочковой и Симона Картинкина. В чемодане Смелькова, при отмыкании его Масловой, присутствовавшие при этом Бочкова и Картинкин видели пачки кредитных билетов сторублевого достоинства. 3) По возвращении Смелькова из дома терпимости в гостиницу «Мавритания» вместе с проституткой Любкой сия последняя, по совету коридорного Картинкина, дала выпить Смелькову в рюмке коньяка белый порошок, полученный ею от Картинкина. 4) На следующее утро проститутка Любка (Екатерина Маслова) продала своей хозяйке, содержательнице дома терпимости свидетельнице Китаевой, бриль-

янтовый перстень Смелькова, якобы подаренный ей Смельковым. 5) Коридорная девушка гостиницы «Мавритания» Евфимия Бочкова на другой день после кончины Смелькова внесла на свой текущий счет в местный коммерческий банк 1800 рублей серебром.

Судебно-медицинским осмотром, вскрытием трупа и химическим исследованием внутренностей Смелькова обнаружено несомненное присутствие яда в организме покойного, подавшее основание заключить, что смерть последовала от отравления.

Привлеченные в качестве обвиняемых Маслова, Бочкова и Картинкин виновными себя не признали, объявив: Маслова — что она действительно была послана Смельковым из дома терпимости, где она, по ее выражению, работает, в гостиницу «Мавританию» привезти купцу денег, и что, отперев там данным ей ключом чемодан купца, она взяла из него 40 рублей серебром, как ей было велено, но больше денег не брала, что могут подтвердить Бочкова и Картинкин, в присутствии которых она отпирала и запирала чемодан и брала деньги. Далее показала, что она при вторичном своем приезде в номер купца Смелькова действительно дала ему, по наущению Картинкина, выпить в коньяке каких-то порошков, которые она считала усыпительными, с тем чтобы купец заснул и поскорее отпустил ее. Кольцо подарил ей сам Смельков после того, как он побил ее и она заплакала и хотела от него уехать.

Евфимья Бочкова показала, что она ничего не знает о пропавших деньгах, и что она и в номер купца не входила, а хозяйничала там одна Любка, и что если что и похищено у купца, то совершила похищение Любка, когда она приезжала с купцовым ключом за деньгами.— В этом месте чтения Маслова вздрогнула и, открыв рот, оглянулась на Бочкову.— Когда же Евфимии Бочковой был предъявлен ее счет в банке на 1800 рублей серебром,— продолжал читать секретарь,— и спрошено: откуда у нее взялись такие деньги, она показала, что они нажиты ею в продолжение двенадцати лет вместе с Симоном Картинкиным, за которого она собиралась выйти замуж. Симон Картинкин, в свою очередь, при первом показании своем сознался, что он вместе с Бочковой, по наущению Масловой, приехавшей с ключом из дома терпимости, похитил деньги и поделился ими с Масловой и Бочковой.— При этом Маслова опять вздрогнула, привскочила даже, багрово покраснела и начала говорить что-то, но судебный пристав остановил ее.— Наконец,— продолжал чтение секретарь,— Картинкин сознался и в том, что дал Масловой порошков для усыпления купца; во вторичном же своем показании отрицал свое участие в похищении денег и передачу порошков Масловой, во всем обвиняя ее одну. О день-

гах же, вложенных Бочковою в банк, он показал согласно с ней, что они приобретены вместе с ним двенадцатилетней службой в гостинице от господ, награждавших его за услуги».

Затем следовало в обвинительном акте описание очных ставок, показания свидетелей, мнение экспертов и т. д.

Заключение обвинительного акта было следующее:

— «Ввиду всего вышеизложенного крестьянин села Борков Симон Петров Картинкин 33-х лет, мещанка Евфимия Иванова Бочкова 43-х лет и мещанка Екатерина Михайлова Маслова 27-ми лет обвиняются в том, что они 17-го января 188* года, предварительно согласившись между собой, похитили деньги и перстень купца Смелькова на сумму 2500 рублей серебром и с умыслом лишить его жизни напоили его, Смелькова, ядом, отчего и последовала его, Смелькова, смерть.

Преступление это предусмотрено 4 и 5 пунктами 1453 статьи Уложения о наказаниях. Посему и на основании статьи 201 Устава уголовного судопроизводства крестьянин Симон Картинкин, Евфимия Бочкова и мещанка Екатерина Маслова подлежат суду окружного суда с участием присяжных заседателей».

Так закончил свое чтение длинного обвинительного акта секретарь и, сложив листы, сел на свое место, оправляя обеими руками длинные волосы. Все вздохнули облегченно, с приятным сознанием того, что теперь началось исследование, и сейчас все выяснится, и справедливость будет удовлетворена. Один Нехлюдов не испытывал этого чувства: он весь был поглощен ужасом перед тем, что могла сделать та Маслова, которую он знал невинной и прелестной девочкой десять лет тому назад.

XI

Когда кончилось чтение обвинительного акта, председатель, посоветовавшись с членами, обратился к Картинкину с таким выражением, которое явно говорило, что теперь уже мы всё и наверное узнаем самым подробным образом.

— Крестьянин Симон Картинкин,— начал он, склоняясь налево.

Симон Картинкин встал, вытянув руки по швам и подавшись вперед всем телом, не переставая беззвучно шевелить щеками.

— Вы обвиняетесь в том, что 17 января 188* года вы, в сообществе с Евфимьей Бочковой и Екатериной Масловой, похитили из чемодана купца Смелькова принадлежащие ему деньги и потом принесли мышьяк и уговорили Екатерину Маслову дать купцу Смелькову в вине выпить яду, отчего последовала смерть Смель-

кова. Признаете ли вы себя виновным? — проговорил он и склонился направо.

— Никак невозможно, потому наше дело служить гостям...

— Вы после скажете. Признаете ли вы себя виновным?

— Никак нет-с. Я только...

— После скажете. Признаете ли вы себя виновным? — спокойно, но твердо повторил председатель.

— Не могу я этого сделать, потому как...

Опять судебный пристав подскочил к Симону Картинкину и трагическим шепотом остановил его.

Председатель, с выражением того, что это дело теперь окончено, переложил локоть руки, в которой он держал бумагу, на другое место и обратился к Евфимье Бочковой.

— Евфимья Бочкова, вы обвиняетесь в том, что 17-го января 188* года в гостинице «Мавритания», вместе с Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой, похитили у купца Смелькова из его чемодана его деньги и перстень и, разделив похищенное между собой, опоили, для скрытия своего преступления, купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?

— Не виновата я ни в чем,— бойко и твердо заговорила обвиняемая.— Я и в номер не входила... А как эта паскуда вошла, так она и сделала дело.

— Вы после скажете,— сказал опять так же мягко и твердо председатель.— Так вы не признаете себя виновной?

— Не я брала деньги, и не я поила, я и в номере не была. Если бы я была, я бы ее вышвырнула.

— Вы не признаете себя виновной?

— Никогда.

— Очень хорошо.

— Екатерина Маслова,— начал председатель, обращаясь к третьей подсудимой,— вы обвиняетесь в том, что, приехав из публичного дома в номер гостиницы «Мавритания» с ключом от чемодана купца Смелькова, вы похитили из этого чемодана деньги и перстень,— говорил он, как заученный урок, склоняя между тем ухо к члену слева, который говорил, что по списку вещественных доказательств недостает склянки.— Похитили из чемодана деньги и перстень,— повторил председатель,— и, разделив похищенное и потом вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу «Мавритания», вы дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?

— Ни в чем не виновата,— быстро заговорила она,— как сначала говорила, так и теперь говорю: не брала, не брала и не брала, ничего я не брала, а перстень он мне сам дал...

— Вы не признаете себя виновной в похищении двух тысяч пятисот рублей денег? — сказал председатель.

— Говорю, ничего не брала, кроме сорока рублей.

— Ну, а в том, что дали купцу Смелькову порошки в вине, признаете себя виновной?

— В этом признаю. Только я думала, как мне сказали, что они сонные, что от них ничего не будет. Не думала и не хотела. Перед богом говорю — не хотела,— сказала она.

— Итак, вы не признаете себя виновной в похищении денег и перстня купца Смелькова,— сказал председатель.— Но признаете, что дали порошки?

— Стало быть, признаю, только я думала, сонные порошки. Я дала только, чтобы он заснул,— не хотела и не думала.

— Очень хорошо,— сказал председатель, очевидно довольный достигнутыми результатами.— Так расскажите, как было дело,— сказал он, облокачиваясь на спинку и кладя обе руки на стол.— Расскажите все, как было. Вы можете чистосердечным признанием облегчить свое положение.

Маслова, все так же прямо глядя на председателя, молчала.

— Расскажите, как было дело.

— Как было? — вдруг быстро начала Маслова.— Приехала в гостиницу, провели меня в номер, там он был, и очень уже пьяный.— Она с особенным выражением ужаса, расширяя глаза, произносила слово *он*.— Я хотела уехать, он не пустил.

Она замолчала, как бы вдруг потеряв нить или вспомнив о другом.

— Ну, а потом?

— Что ж потом? Потом побыла и поехала домой.

В это время товарищ прокурора приподнялся наполовину, неестественно опираясь на один локоть.

— Вы желаете сделать вопрос? — сказал председатель и на утвердительный ответ товарища прокурора жестом показал товарищу прокурора, что он передает ему свое право спрашивать.

— Я желал бы предложить вопрос: была ли подсудимая знакома с Симоном Картинкиным прежде? — сказал товарищ прокурора, не глядя на Маслову.

И, сделав вопрос, сжал губы и нахмурился.

Председатель повторил вопрос. Маслова испуганно уставилась на товарища прокурора.

— С Симоном? Была,— сказала она.

— Я бы желал знать теперь, в чем состояло это знакомство подсудимой с Картинкиным. Часто ли они видались между собой?

— В чем знакомство? Приглашал меня к гостям, а не зна-

комство,— отвечала Маслова, беспокойно переводя глазами с товарища прокурора на председателя и обратно.

— Я желал бы знать, почему Картинкин приглашал к гостям исключительно Маслову, а не других девушек,— зажмурившись, но с легкой мефистофельской, хитрой улыбкой сказал товарищ прокурора.

— Я не знаю. Почем я знаю,— отвечала Маслова, испуганно оглянувшись вокруг себя и на мгновение остановившись взглядом на Нехлюдове.— Кого хотел, того приглашал.

«Неужели узнала?» — с ужасом подумал Нехлюдов, чувствуя, как кровь приливала ему к лицу; но Маслова, не выделяя его от других, тотчас же отвернулась и опять с испуганным выражением уставилась на товарища прокурора.

— Подсудимая отрицает, стало быть, то, что у нее были какие-либо близкие отношения с Картинкиным? Очень хорошо. Я больше ничего не имею спросить.

И товарищ прокурора тотчас же снял локоть с конторки и стал записывать что-то. В действительности он ничего не записывал, а только обводил пером буквы своей записки, но он видал, как прокуроры и адвокаты это делают: после ловкого вопроса вписывают в свою речь ремарку, которая должна сокрушить противника.

Председатель не сейчас обратился к подсудимой, потому что он в это время спрашивал члена в очках, согласен ли он на постановку вопросов, которые были уже вперед заготовлены и выписаны.

— Что же дальше было? — продолжал спрашивать председатель.

— Приехала домой,— продолжала Маслова, уже смелее глядя на одного председателя,— отдала хозяйке деньги и легла спать. Только заснула — наша девушка Берта будит меня. «Ступай, твой купец опять приехал». Я не хотела выходить, но мадам велела. Тут *он*,— она опять с явным ужасом выговорила это слово *он*,— *он* все поил наших девушек, потом хотел послать еще за вином, а деньги у него все вышли. Хозяйка ему не поверила. Тогда он меня послал к себе в номер. И сказал, где деньги и сколько взять. Я и поехала.

Председатель шептался в это время с членом налево и не слыхал того, что говорила Маслова, но для того, чтобы показать, что он все слышал, он повторил ее последние слова.

— Вы поехали. Ну, и что же? — сказал он.

— Приехала и сделала все, как он велел: пошла в номер. Не одна пошла в номер, а позвала и Симона Михайловича и ее,— сказала она, указывая на Бочкову.

— Врет она, и входить не входила...— начала было Бочкова, но ее остановили.

— При них взяла четыре красненьких,— хмурясь и не глядя на Бочкову, продолжала Маслова.

— Ну, а не заметила ли подсудимая, когда доставала сорок рублей, сколько было денег? — спросил опять прокурор.

Маслова вздрогнула, как только прокурор обратился к ней. Она не знала, как и что, но чувствовала, что он хочет ей зла.

— Я не считала; видела, что были сторублевые только.

— Подсудимая видела сторублевые,— я больше ничего не имею.

— Ну, что же, привезли деньги? — продолжал спрашивать председатель, глядя на часы.

— Привезла.

— Ну, а потом? — спросил председатель.

— А потом *он* опять взял меня с собой,— сказала Маслова.

— Ну, а как же вы дали ему в вине порошок? — спросил председатель.

— Как дала? Всыпала в вино, да и дала.

— Зачем же вы дали?

Она, не отвечая, тяжело и глубоко вздохнула.

— Он все не отпускал меня,— помолчав, сказала она.— Измучалась я с ним. Вышла в коридор и говорю Симону Михайловичу: «Хоть бы отпустил меня. Устала». А Симон Михайлович говорит: «Он и нам надоел. Мы хотим ему порошков сонных дать; он заснет, тогда уйдешь». Я говорю: «Хорошо». Я думала, что это не вредный порошок. Он и дал мне бумажку. Я вошла, а *он* лежал за перегородкой и тотчас велел подать себе коньяку. Я взяла со стола бутылку фипь-шампань, налила в два стакана — себе и ему, а в его стакан всыпала порошок и дала ему. Разве я бы дала, кабы знала.

— Ну, а как же у вас оказался перстень? — спросил председатель.

— Перстень он мне сам подарил.

— Когда же он вам подарил его?

— А как мы приехали с ним в номер, я хотела уходить, а он ударил меня по голове и гребень сломал. Я рассердилась, хотела уехать. Он взял перстень с пальца и подарил мне, чтобы я не уезжала,— сказала она.

В это время товарищ прокурора опять привстал и все с тем же притворно-наивным видом попросил позволения сделать еще несколько вопросов и, получив разрешение, склонив над шитым воротником голову, спросил:

— Я бы желал знать, сколько времени пробыла подсудимая в номере купца Смелькова.

Опять на Маслову нашел страх, и она, беспокойно перебегая глазами с товарища прокурора на председателя, поспешно проговорила:

— Не помню, сколько времени.

— Ну, а не помнит ли подсудимая, заходила ли она куда-нибудь в гостинице, выйдя от купца Смелькова?

Маслова подумала.

— В номер рядом, в пустой, заходила,— сказала она.

— Зачем же вы заходили? — сказал товарищ прокурора, увлекшись и прямо обращаясь к ней.

— Зашла оправиться и дожидалась извозчика.

— А Картинкин был в номере с подсудимой или не был?

— Он тоже зашел.

— Зачем же он зашел?

— От купца финь-шампань остался, мы вместе выпили.

— А, вместе выпили. Очень хорошо.

— А был ли у подсудимой разговор с Симоном и о чем?

Маслова вдруг нахмурилась, багрово покраснела и быстро проговорила:

— Что говорила? Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказала, и больше ничего не знаю. Что хотите со мной делайте. Не виновата я, и все.

— Я больше ничего не имею,— сказал прокурор председателю и, неестественно приподняв плечи, стал быстро записывать в конспект своей речи признание самой подсудимой, что она заходила с Симоном в пустой номер.

Наступило молчание.

— Вы не имеете еще ничего сказать?

— Я все сказала,— проговорила она, вздыхая, и села.

Вслед за этим председатель записал что-то в бумагу и, выслушав сообщение, сделанное ему шепотом членом налево, объявил на десять минут перерыв заседания и поспешно встал и вышел из залы. Совещание между председателем и членом налево, высоким, бородатым, с большими добрыми глазами, было о том, что член этот почувствовал легкое расстройство желудка и желал сделать себе массаж и выпить капель. Об этом он и сообщил председателю, и по его просьбе был сделан перерыв.

Вслед за судьями поднялись и присяжные, адвокаты, свидетели и, с сознанием приятного чувства совершения уже части важного дела, задвигались туда и сюда.

Нехлюдов вышел в комнату присяжных и сел там у окна.

Да, это была Катюша.

Отношения Нехлюдова к Катюше были вот какие.

В первый раз увидал Нехлюдов Катюшу тогда, когда он на третьем курсе университета, готовя свое сочинение о земельной собственности, прожил лето у своих тетушек. Обыкновенно он с матерью и сестрой жил летом в материнском большом подмосковном имении. Но в этот год сестра его вышла замуж, а мать уехала на воды за границу. Нехлюдову же надо было писать сочинение, и он решил прожить лето у тетушек. У них в их глуши было тихо, не было развлечений; тетушки же нежно любили своего племянника и наследника, и он любил их, любил их старомодность и простоту жизни.

Нехлюдов в это лето у тетушек переживал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша не по чужим указаниям, а сам по себе познает всю красоту и важность жизни и всю значительность дела, предоставленного в ней человеку, видит возможность бесконечного совершенствования и своего, и всего мира и отдается этому совершенствованию не только с надеждой, но и с полной уверенностью достижения всего того совершенства, которое он воображает себе. В этот год еще в университете он прочел «Социальную статику» Спенсера, и рассуждения Спенсера о земельной собственности произвели на него сильное впечатление, в особенности потому, что он сам был сын большой землевладелицы. Отец его был небогат, но мать получила в приданое около десяти тысяч десятин земли. Он в первый раз понял тогда всю жестокость и несправедливость частного землевладения, и, будучи одним из тех людей, для которых жертва во имя нравственных требований составляет высшее духовное наслаждение, он решил не пользоваться правом собственности на землю и тогда же отдал доставшуюся ему по наследству от отца землю крестьянам. Он на эту же тему и писал свое сочинение.

Жизнь его в этот год в деревне у тетушек шла так: он вставал очень рано, иногда в три часа, и до солнца шел купаться в реку под горой, иногда еще в утреннем тумане, и возвращался, когда еще роса лежала на траве и цветах. Иногда по утрам, напившись кофею, он садился за свое сочинение или за чтение источников для сочинения, но очень часто, вместо чтения и писания, опять уходил из дома и бродил по полям и лесам. Перед обедом он засыпал где-нибудь в саду, потом за обедом веселил и смешил тетушек своей веселостью, потом ездил верхом или катался на лодке и вечером опять читал или сидел с тетушками, раскладывая пасьянс. Часто по ночам, в особенности лунным, он не мог спать

только потому, что испытывал слишком большую волнующую радость жизни, и, вместо сна, иногда до рассвета ходил по саду с своими мечтами и мыслями.

Так счастливо и спокойно жил он первый месяц своей жизни у тетушек, не обращая никакого внимания на полугорничную-полувоспитанницу, черноглазую, быстроногую Катюшу.

В то время Нехлюдов, воспитанный под крылом матери, в девятнадцать лет был вполне невинный юноша. Он мечтал о женщине только как о жене. Все же женщины, которые не могли, по его понятию, быть его женой, были для него не женщины, а люди. Но случилось, что в это лето, в Вознесенье к тетушкам приехала их соседка с детьми: двумя барышнями, гимназистом и с гостившим у них молодым художником из мужиков.

После чая стали по скошенному уже лужку перед домом играть в горелки. Взяли и Катюшу. Нехлюдову после нескольких перемен пришлось бежать с Катюшей. Нехлюдову всегда было приятно видеть Катюшу, но ему и в голову не приходило, что между ним и ею могут быть какие-нибудь особенные отношения.

— Ну, теперь этих не поймаешь ни за что,— говорил «горевший» веселый художник, очень быстро бегавший на своих коротких и кривых, но сильных мужицких ногах,— нешто спотыкнутся.

— Вы, да не поймаете!

— Раз, два, три!

Ударили три раза в ладоши. Едва удерживая смех, Катюша быстро переменилась местами с Нехлюдовым и, пожав своей крепкой, шершавой маленькой рукой его большую руку, пустилась бежать налево, гремя крахмальной юбкой.

Нехлюдов бегал быстро, и ему хотелось не поддаться художнику, и он пустился изо всех сил. Когда он оглянулся, он увидал художника, преследующего Катюшу, но она, живо перебирая упругими молодыми ногами, не поддавалась ему и удалялась влево. Впереди была клумба кустов сирени, за которую никто не бегал, но Катюша, оглянувшись на Нехлюдова, подала ему знак головой, чтобы соединиться за клумбой. Он понял ее и побежал за кусты. Но тут, за кустами, была незнакомая ему канавка, заросшая крапивой; он спотыкнулся в нее и, острекав руки крапивой и омочив их уже павшей под вечер росой, упал, но тотчас же, смеясь над собой, справился и выбежал на чистое место.

Катюша, сияя улыбкой и черными, как мокрая смородина, глазами, летела ему навстречу. Они сбежались и схватились руками.

— Обстрекались, я чай,— сказала она, свободной рукой поправляя сбившуюся косу, тяжело дыша и улыбаясь, снизу вверх прямо глядя на него.

— Я и не знал, что тут канавка,— сказал он, также улыбаясь и не выпуская ее руки.

Она придвинулась к нему, и он, сам не зная, как это случилось, потянулся к ней лицом; она не отстранилась, он сжал крепче ее руку и поцеловал ее в губы.

— Вот тебе раз! — проговорила она и, быстрым движением вырвав свою руку, побежала прочь от него.

Подбежав к кусту сирени, она сорвала с него две ветки белой, уже осыпавшейся сирени и, хлопая себя ими по разгоряченному лицу и оглядываясь на него, бойко размахивая перед собой руками, пошла назад к играющим.

С этих пор отношения между Нехлюдовым и Катюшей изменились и установились те особенные, которые бывают между невинным молодым человеком и такой же невинной девушкой, влекомыми друг к другу.

Как только Катюша входила в комнату или даже издалека Нехлюдов видел ее белый фартук, так все для него как бы освещалось солнцем, все становилось интереснее, веселее, значительнее; жизнь становилась радостней. То же испытывала и она. Но не только присутствие и близость Катюши производили это действие на Нехлюдова; это действие производило на него одно сознание того, что есть эта Катюша, а для нее, что есть Нехлюдов. Получал ли Нехлюдов неприятное письмо от матери, или не ладилось его сочинение, или чувствовал юношескую беспричинную грусть, стоило только вспомнить о том, что есть Катюша и он увидит ее, и все это рассеивалось.

Катюше было много дела по дому, но она успевала все переделать и в свободные минуты читала. Нехлюдов давал ей Достоевского и Тургенева, которых он сам только что прочел. Больше всего ей нравилось «Затишье» Тургенева. Разговоры между ними происходили урывками, при встречах в коридоре, на балконе, на дворе и иногда в комнате старой горничной тетушек Матрены Павловны, с которой вместе жила Катюша и в горенку которой иногда Нехлюдов приходил пить чай вприкусу. И эти разговоры в присутствии Матрены Павловны были самые приятные. Разговаривать, когда они были одни, было хуже. Тотчас же глаза начинали говорить что-то совсем другое, гораздо более важное, чем то, что говорили уста, губы морщились, и становилось чего-то жутко, и они поспешно расходились.

Такие отношения продолжались между Нехлюдовым и Катюшей во все время его первого пребывания у тетушек. Тетушки заметили эти отношения, испугались и даже написали об этом за границу княгине Елене Ивановне, матери Нехлюдова. Тетушка Марья Ивановна боялась того, чтобы Дмитрий не вступил в связь

с Катюшей. Но она напрасно боялась этого: Нехлюдов, сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди, и его любовь была главной защитой от падения и для него и для нее. У него не было не только желания физического обладания ею, но был ужас при мысли о возможности такого отношения к ней. Опасения же поэтической Софьи Ивановны о том, чтобы Дмитрий, со своим цельным, решительным характером, полюбив девушку, не задумал жениться на ней, не обращая внимания на ее происхождение и положение, были гораздо основательнее.

Если бы Нехлюдов тогда ясно сознал бы свою любовь к Катюше и в особенности если бы тогда его стали бы убеждать в том, что он никак не может и не должен соединить свою судьбу с такой девушкой, то очень легко могло бы случиться, что он, с своей прямолинейностью во всем, решил бы, что нет никаких причин не жениться на девушке, кто бы она ни была, если только он любит ее. Но тетушки не говорили ему про свои опасения, и он так и уехал, не сознав своей любви к этой девушке.

Он был уверен, что его чувство к Катюше есть только одно из проявлений наполнявшего тогда все его существо чувства радости жизни, разделяемое этой милой, веселой девочкой. Когда же он уезжал и Катюша, стоя на крыльце с тетушками, провожала его своими черными, полными слез и немного косившими глазами, он почувствовал, однако, что покидает что-то прекрасное, дорогое, которое никогда уже не повторится. И ему стало очень грустно.

— Прощай, Катюша, благодарю за все,— сказал он через чепец Софьи Ивановны, садясь в пролетку.

— Прощайте, Дмитрий Иванович,— сказала она своим приятным, ласкающим голосом и, удерживая слезы, наполнившие ее глаза, убежала в сени, где ей можно было свободно плакать.

XIII

С тех пор в продолжение трех лет Нехлюдов не видался с Катюшей. И увидался он с нею только тогда, когда, только что произведенный в офицеры, по дороге в армию, заехал к тетушкам уже совершенно другим человеком, чем тот, который прожил у них лето три года тому назад.

Тогда он был честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое доброе дело,— теперь он был развращенный, утонченный эгоист, любящий только свое наслаждение. Тогда мир божий представлялся ему тайной, которую он радостно и восторженно старался разгадывать,— теперь все в этой жизни было просто и ясно и определялось теми условиями жизни, в которых он

находился. Тогда нужно и важно было общение с природой и с прежде него жившими, мыслящими и чувствовавшими людьми (философия, поэзия),— теперь нужны и важны были человеческие учреждения и общение с товарищами. Тогда женщина представлялась таинственным и прелестным, именно этой таинственностью прелестным существом,— теперь значение женщины, всякой женщины, кроме своих семейных и жен друзей, было очень определенное: женщина была одним из лучших орудий испытанного уже наслаждения. Тогда не нужно было денег и можно было не взять и третьей части того, что давала мать, можно было отказаться от имения отца и отдать его крестьянам,— теперь же недоставало тех тысячи пятисот рублей в месяц, которые давала мать, и с ней бывали уже неприятные разговоры из-за денег. Тогда своим настоящим *я* он считал свое духовное существо,— теперь он считал собою свое здоровое, бодрое, животное *я*.

И вся эта страшная перемена совершилась с ним только оттого, что он перестал верить себе, а стал верить другим. Перестал же он верить себе, а стал верить другим потому, что жить, веря себе, было слишком трудно: веря себе, всякий вопрос надо решать всегда не в пользу своего животного *я,* ищущего легких радостей, а почти всегда против него; веря же другим, решать нечего было, все уже было решено, и решено было всегда против духовного и в пользу животного *я*. Мало того, веря себе, он всегда подвергался осуждению людей,— веря другим, он получал одобрение людей, окружающих его.

Так, когда Нехлюдов думал, читал, говорил о боге, о правде, о богатстве, о бедности,— все окружающие его считали это неуместным и отчасти смешным, и мать и тетка его с добродушной иронией называли его notre cher philosophe; [1] когда же он читал романы, рассказывал скабрезные анекдоты, ездил во французский театр на смешные водевили и весело пересказывал их,— все хвалили и поощряли его. Когда он считал нужным умерять свои потребности и носил старую шинель и не пил вина, все считали это странностью и какой-то хвастливой оригинальностью, когда же он тратил большие деньги на охоту или на устройство необыкновенного роскошного кабинета, то все хвалили его вкус и дарили ему дорогие вещи. Когда он был девственником и хотел остаться таким до женитьбы, то родные его боялись за его здоровье, и даже мать не огорчилась, а скорее обрадовалась, когда узнала, что он стал настоящим мужчиной и отбил какую-то французскую даму у своего товарища. Про эпизод же с Катюшей, что он мог подумать жениться на ней, княгиня-мать не могла подумать без ужаса.

---

[1] наш дорогой философ *(франц.)*.

Точно так же, когда Нехлюдов, достигнув совершеннолетия, отдал то небольшое имение, которое он наследовал от отца, крестьянам, потому что считал несправедливым владенье землею,— этот поступок его привел в ужас его мать и родных и был постоянным предметом укора и насмешки над ним всех его родственников. Ему не переставая рассказывали о том, что крестьяне, получившие землю, не только не разбогатели, но обеднели, заведя у себя три кабака и совершенно перестав работать. Когда же Нехлюдов, поступив в гвардию, с своими высокопоставленными товарищами прожил и проиграл столько, что Елена Ивановна должна была взять деньги из капитала, она почти не огорчилась, считая, что это естественно и даже хорошо, когда эта оспа прививается в молодости и в хорошем обществе.

Сначала Нехлюдов боролся, но бороться было слишком трудно, потому что все то, что он, веря себе, считал хорошим, считалось дурным другими, и, наоборот, все, что, веря себе, он считал дурным, считалось хорошим всеми окружающими его. И кончилось тем, что Нехлюдов сдался, перестал верить себе и поверил другим. И в первое время это отречение от себя было неприятно, но продолжалось это неприятное чувство очень недолго, и очень скоро Нехлюдов, в это же время начав курить и пить вино, перестал испытывать это неприятное чувство и даже почувствовал большое облегчение.

И Нехлюдов, с страстностью своей натуры, весь отдался этой новой, одобряющейся всеми его окружающими жизни и совершенно заглушил в себе тот голос, который требовал чего-то другого. Началось это после переезда в Петербург и завершилось поступлением в военную службу.

Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в нее в условия совершенной праздности, то есть отсутствия разумного и полезного труда, и освобождая их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную честь полка, мундира, знамени и, с одной стороны, безграничную власть над другими людьми, а с другой — рабскую покорность высшим себя начальникам.

Но когда к этому развращению вообще военной службы, с своей честью мундира, знамени, своим разрешением насилия и убийства, присоединяется еще и развращение богатства и близости общения с царской фамилией, как это происходит в среде избранных гвардейских полков, в которых служат только богатые и знатные офицеры, то это развращение доходит у людей, подпавших ему, до состояния полного сумасшествия эгоизма. И в таком сумасшествии эгоизма находился Нехлюдов с тех пор, как он поступил в военную службу и стал жить так, как жили его товарищи.

Дела не было никакого, кроме того, чтобы в прекрасно сшитом и вычищенном не самим, а другими людьми мундире, в каске, с оружием, которое тоже и сделано, и вычищено, и подано другими людьми, ездить верхом на прекрасной, тоже другими воспитанной, и выезженной, и выкормленной лошади на ученье или смотр с такими же людьми, и скакать, и махать шашками, стрелять и учить этому других людей. Другого занятия не было, и самые высокопоставленные люди, молодые, старики, царь и его приближенные не только одобряли это занятие, но хвалили, благодарили за это. После же этих занятий считалось хорошим и важным, швыряя невидимо откуда-то получаемые деньги, сходиться есть, в особенности пить, в офицерских клубах или в самых дорогих трактирах; потом театры, балы, женщины, и потом опять езда на лошадях, маханье саблями, скаканье и опять швырянье денег и вино, карты, женщины.

В особенности развращающе действует на военных такая жизнь потому, что если невоенный человек ведет такую жизнь, он в глубине души не может не стыдиться такой жизни. Военные же люди считают, что это так должно быть, хвалятся, гордятся такою жизнью, особенно в военное время, как это было с Нехлюдовым, поступившим в военную службу после объявления войны Турции. «Мы готовы жертвовать жизнью на войне, и потому такая беззаботная, веселая жизнь не только простительна, но и необходима для нас. Мы и ведем ее».

Так смутно думал Нехлюдов в этот период своей жизни; чувствовал же он во все это время восторг освобождения от всех нравственных преград, которые он ставил себе прежде, и не переставая находился в хроническом состоянии сумасшествия эгоизма.

В таком состоянии и находился он, когда после трех лет заехал к тетушкам.

XIV

Нехлюдов заехал к тетушкам потому, что имение их было по дороге к прошедшему вперед его полку, и потому, что они его очень об этом просили, но, главное, заехал он теперь для того, чтобы увидать Катюшу. Может быть, в глубине души и было у него уже дурное намерение против Катюши, которое пашептывал ему его разнузданный теперь животный человек, но он не сознавал этого намерения, а просто ему хотелось побывать в тех местах, где ему было так хорошо, и увидать немного смешных, но милых, добродушных тетушек, всегда незаметно для него окружавших его атмосферой любви и восхищения, и увидеть милую Катюшу, о которой осталось такое приятное воспоминание.

Приехал он в конце марта, в страстную пятницу, по самой распутице, под проливным дождем, так что приехал до нитки промокший и озябший, но бодрый и возбужденный, каким он всегда чувствовал себя в это время. «У них ли еще она?» — думал он, въезжая на знакомый, заваленный свалившимся снегом с крыши старинный помещичий, огороженный кирпичной стенкой двор тетушек. Он ждал, что она выбежит на крыльцо на его колокольчик, но на девичье крыльцо вышли две босые, подтыканные бабы с ведрами, очевидно моющие полы. Ее не было и на парадном крыльце; вышел только Тихон-лакей, в фартуке, тоже, вероятно, занятый чисткой. В переднюю вышла Софья Ивановна в шелковом платье и чепце.

— Вот мило, что приехал! — говорила Софья Ивановна, целуя его.— Машенька нездорова немного, устала в церкви. Мы причащались.

— Поздравляю, тетя Соня,— говорил Нехлюдов, целуя руки Софьи Ивановны,— простите, замочил вас.

— Иди в свою комнату. Ты измок весь. И усы уж у тебя... Катюша! Катюша! Скорее кофею ему.

— Сейчас! — отозвался знакомый приятный голос из коридора.

И сердце Нехлюдова радостно екнуло. «Тут!» И точно солнце выглянуло из-за туч. Нехлюдов весело пошел с Тихоном в свою прежнюю комнату переодеваться.

Нехлюдову хотелось спросить Тихона про Катюшу: что она? как живет? не выходит ли замуж? Но Тихон был так почтителен, и вместе строг, так твердо настаивал на том, чтобы самому поливать из рукомойника на руки воду, что Нехлюдов не решился спрашивать его о Катюше и только спросил про его внуков, про старого братцева жеребца, про дворняжку Полкана. Все были живы, здоровы, кроме Полкана, который взбесился в прошлом году.

Скинув все мокрое и только начав одеваться, Нехлюдов услыхал быстрые шаги, и в дверь постучались. Нехлюдов узнал и шаги и стук в дверь. Так ходила и стучала только она.

Он накинул на себя мокрую шинель и подошел к двери.

— Войдите!

Это была она, Катюша. Все та же, еще милее, чем прежде. Так же снизу вверх смотрели улыбающиеся, наивные, чуть косившие черные глаза. Она, как и прежде, была в чистом белом фартуке. Она принесла от тетушек только что вынутый из бумажки душистый кусок мыла и два полотенца: большое русское и мохнатое. И нетронутое с отпечатанными буквами мыло, и полотенца, и сама она — все это было одинаково чисто, свежо, нетронуто, прият-

но. Милые, твердые, красные губы ее все так же морщились, как и прежде при виде его, от неудержимой радости.

— С приездом вас, Дмитрий Иванович! — с трудом выговорила она, и лицо ее залилось румянцем.

— Здравствуй... здравствуйте,— не знал он, как, на «ты» или на «вы», говорить с ней, и покраснел так же, как и она.— Живы, здоровы?

— Слава богу... Вот тетушка прислала вам ваше любимое мыло, розовое,— сказала она, кладя мыло на стол и полотенца на ручки кресел.

— У них свое,— отстаивая самостоятельность гостя, сказал Тихон, с гордостью указывая на раскрытый большой, с серебряными крышками, несессер Нехлюдова с огромным количеством склянок, щеток, фиксатуаров, духов и всяких туалетных инструментов.

— Поблагодарите тетушку. А как я рад, что приехал,— сказал Нехлюдов, чувствуя, что на душе у него становится так же светло и умильно, как бывало прежде.

Она только улыбнулась в ответ на эти слова и вышла.

Тетушки, и всегда любившие Нехлюдова, еще радостнее, чем обыкновенно, встретили его в этот раз. Дмитрий ехал на войну, где мог быть ранен, убит. Это трогало тетушек.

Нехлюдов распределил свою поездку так, чтобы пробыть у тетушек только сутки, но, увидав Катюшу, он согласился встретить у тетушек пасху, которая была через два дня, и телеграфировал своему приятелю и товарищу Шенбоку, с которым они должны были съехаться в Одессе, чтобы и он заехал к тетушкам.

С первого же дня, как он увидал Катюшу, Нехлюдов почувствовал прежнее чувство к ней. Так же, как и прежде, он не мог без волнения видеть теперь белый фартук Катюши, не мог без радости слышать ее походку, ее голос, ее смех, не мог без умиления смотреть в ее черные, как мокрая смородина, глаза, особенно когда она улыбалась, не мог, главное, без смущения видеть, как она краснела при встрече с ним. Он чувствовал, что влюблен, но не так, как прежде, когда эта любовь была для него тайной, и он сам не решался признаться себе в том, что он любит, и когда он был убежден в том, что любить можно только один раз,— теперь он был влюблен, зная это и радуясь этому и смутно зная, хотя и скрывая от себя, в чем состоит любовь и что из нее может выйти.

В Нехлюдове, как и во всех людях, было два человека. Один — духовный, ищущий блага себе только такого, которое было бы благо и других людей, и другой — животный человек, ищущий блага только себе и для этого блага готовый пожертвовать благом всего мира. В этот период его сумасшествия эгоизма, вызванного в

нем петербургской и военной жизнью, этот животный человек властвовал в нем и совершенно задавил духовного человека. Но, увидав Катюшу и вновь почувствовав то, что он испытывал к ней тогда, духовный человек поднял голову и стал заявлять свои права. И в Нехлюдове не переставая в продолжение этих двух дней до пасхи шла внутренняя, не сознаваемая им борьба.

В глубине души он знал, что ему надо ехать и что незачем теперь оставаться у теток, знал, что ничего из этого не могло выйти хорошего, но было так радостно и приятно, что он не говорил этого себе и оставался.

Вечером в субботу, накануне светло Христова воскресения, священник с дьяконом и дьячком, как они рассказывали, насилу проехав на санях по лужам и земле те три версты, которые отделяли церковь от тетушкиного дома, приехали служить заутреню.

Нехлюдов с тетушками и прислугой, не переставая поглядывать на Катюшу, которая стояла у двери и приносила кадила, отстоял эту заутреню, похристосовался с священником и тетушками и хотел уже идти спать, как услыхал в коридоре сборы Матрены Павловны, старой горничной Марьи Ивановны, вместе с Катюшей в церковь, чтобы святить куличи и пасхи. «Поеду и я»,— подумал он.

Дороги до церкви не было ни на колесах, ни на санях, и потому Нехлюдов, распоряжавшийся, как дома, у тетушек, велел оседлать себе верхового, так называемого «братцева» жеребца и, вместо того чтобы лечь спать, оделся в блестящий мундир с обтянутыми рейтузами, надел сверху шинель и поехал на разъевшемся, отяжелевшем и не переставшем ржать старом жеребце, в темноте, по лужам и снегу, к церкви.

XV

Всю жизнь потом эта заутреня осталась для Нехлюдова одним из самых светлых и сильных воспоминаний.

Когда он в черной темноте, кое-где только освещаемой белеющим снегом, шлепая по воде, въехал на прядущем ушами при виде зажженных вокруг церкви плошек жеребце на церковный двор, служба уже началась.

Мужики, узнавши племянника Марьи Ивановны, проводили его на сухонькое, где слезть, взяли привязать его лошадь и провели его в церковь. Церковь была полна праздничным народом.

С правой стороны — мужики: старики в домодельных кафтанах и лаптях и чистых белых онучах и молодые в новых суконных

кафтанах, подпоясанных яркими кушаками, в сапогах. Слева — бабы в красных шелковых платках, плисовых поддевках, с ярко-красными рукавами и синими, зелеными, красными, пестрыми юбками, в ботинках с подковками. Скромные старушки в белых платках, и серых кафтанах, и старинных поневах, и башмаках или новых лаптях стояли позади их; между теми и другими стояли нарядные с маслеными головами дети. Мужики крестились и кланялись, встряхивая волосами; женщины, особенно старушки, уставив выцветшие глаза на одну икону с свечами, крепко прижимали сложенные персты к платку на лбу, плечам и животу и, шепча что-то, перегибались стоя или падали на колени. Дети, подражая большим, старательно молились, когда на них смотрели. Золотой иконостас горел свечами, со всех сторон окружавшими обвитые золотом большие свечи. Паникадило было уставлено свечами, с клиросов слышались развеселые напевы добровольцев-певчих с ревущими басами и тонкими дискантами мальчиков.

Нехлюдов прошел вперед. В середине стояла аристократия: помещик с женою и сыном в матросской куртке, становой, телеграфист, купец в сапогах с бураками, старшина с медалью и справа от амвона, позади помещицы, Матрена Павловна в переливчатом лиловом платье и белой с каймою шали и Катюша в белом платье с складочками на лифе, с голубым поясом и красным бантиком на черной голове.

Все было празднично, торжественно, весело и прекрасно: и священники в светлых серебряных с золотыми крестами ризах, и дьякон, и дьячки в праздничных серебряных и золотых стихарях, и нарядные добровольцы-певчие с маслеными волосами, и веселые плясовые напевы праздничных песен, и непрестанное благословение народа священниками тройными, убранными цветами свечами, с все повторяемыми возгласами: «Христос воскресе! Христос воскресе!» Все было прекрасно, но лучше всего была Катюша в белом платье и голубом поясе, с красным бантиком на черной голове и с сияющими восторгом глазами.

Нехлюдов чувствовал, что она видела его, не оглядываясь. Он видел это, когда близко мимо нее проходил в алтарь. Ему нечего было сказать ей, но он придумал и сказал, проходя мимо нее:

— Тетушка сказала, что она будет разговляться после поздней обедни.

Молодая кровь, как всегда при взгляде на него, залила все милое лицо, и черные глаза, смеясь и радуясь, наивно глядя снизу вверх, остановились на Нехлюдове.

— Я знаю,— улыбнувшись, сказала она.

В это время дьячок, с медным кофейником пробираясь через народ, прошел мимо Катюши и, не глядя на нее, задел ее полой

стихаря. Дьячок, очевидно из уважения к Нехлюдову, обходя его, задел Катюшу. Нехлюдову же было удивительно, как это он, этот дьячок, не понимает того, что все, что здесь да и везде на свете существует, существует только для Катюши и что пренебречь можно всем на свете, только не ею, потому что она — центр всего. Для нее блестело золото иконостаса и горели все свечи на паникадиле и в подсвечниках, для нее были эти радостные напевы: «Пасха господня, радуйтесь, людие». И все, что только было хорошего на свете, все было для нее. И Катюша, ему казалось, понимала, что все это для нее. Так казалось Нехлюдову, когда он взглядывал на ее стройную фигуру в белом платье с складочками и на сосредоточенно радостное лицо, по выражению которого он видел, что точь-в-точь то же, что поет в его душе, поет и в ее душе.

В промежутке между ранней и поздней обедней Нехлюдов вышел из церкви. Народ расступался перед ним и кланялся. Кто узнавал его, кто спрашивал: «Чей это?» На паперти он остановился. Нищие обступили его, он роздал ту мелочь, которая была в кошельке, и спустился со ступеней крыльца.

Рассвело уже настолько, что было видно, но солнце еще не вставало. На могилках вокруг церкви расселся народ. Катюша оставалась в церкви, и Нехлюдов остановился, ожидая ее.

Народ все выходил и, стуча гвоздями сапогов по плитам, сходил со ступеней и рассыпался по церковному двору и кладбищу.

Древний старик, кондитер Марьи Ивановны, с трясущейся головой, остановил Нехлюдова, похристосовался, и его жена, старушка с сморщенным кадычком под шелковой косынкой, дала ему, вынув из платка, желтое шафранное яйцо. Тут же подошел молодой улыбающийся мускулистый мужик в новой поддевке и зеленом кушаке.

— Христос воскресе,— сказал он, смеясь глазами, и, придвинувшись к Нехлюдову и обдав его особенным мужицким, приятным запахом, щекоча его своей курчавой бородкой, в самую середину губ три раза поцеловал его своими крепкими, свежими губами.

В то время как Нехлюдов целовался с мужиком и брал от него темно-коричневое яйцо, показалось переливчатое платье Матрены Павловны и милая черная головка с красным бантиком.

Она тотчас же через головы шедших перед ней увидала его, и он видел, как просияло ее лицо.

Они вышли с Матреной Павловной на паперть и остановились, подавая нищим. Нищий, с красной, зажившей болячкой вместо носа, подошел к Катюше. Она достала из платка что-то, подала ему и потом приблизилась к нему и, не выражая ни малейшего отвра-

щения, напротив, так же радостно сияя глазами, три раза поцеловалась. И в то время, как она целовалась с нищим, глаза ее встретились с взглядом Нехлюдова. Как будто она спрашивала: хорошо ли, так ли она делает?

«Так, так, милая, все хорошо, все прекрасно, люблю».

Они сошли с паперти, и он подошел к ней. Он не хотел христосоваться, но только хотел быть ближе к ней.

— Христос воскресе! — сказала Матрена Павловна, склоняя голову и улыбаясь, с такой интонацией, которая говорила, что нынче все равны, и, обтерев рот свернутым мышкой платком, она потянулась к нему губами.

— Воистину,— отвечал Нехлюдов, целуясь.

Он оглянулся на Катюшу. Она вспыхнула и в ту же минуту приблизилась к нему.

— Христос воскресе, Дмитрий Иванович.

— Воистину воскресе,— сказал он. Они поцеловались два раза и как будто задумались, нужно ли еще, и как будто решив, что нужно, поцеловались в третий раз, и оба улыбнулись.

— Вы не пойдете к священнику? — спросил Нехлюдов.

— Нет, мы здесь, Дмитрий Иванович, посидим,— сказала Катюша, тяжело, как будто после радостного труда, вздыхая всей грудью и глядя ему прямо в глаза своими покорными, девственными, любящими, чуть-чуть косящими глазами.

В любви между мужчиной и женщиной бывает всегда одна минута, когда любовь эта доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного, рассудочного и нет ничего чувственного. Такой минутой была для Нехлюдова эта ночь светло Христова воскресения. Когда он теперь вспоминал Катюшу, то из всех положений, в которых он видел ее, эта минута застилала все другие. Черная, гладкая, блестящая головка, белое платье с складками, девственно охватывающее ее стройный стан и невысокую грудь, и этот румянец, и эти нежные, чуть-чуть от бессонной ночи косящие глянцевитые черные глаза, и на всем ее существе две главные черты: чистота девственности любви не только к нему,— он знал это — но любви ко всем и ко всему, не только хорошему, что только есть в мире,— к тому нищему, с которым она поцеловалась.

Он знал, что в ней была эта любовь, потому что он в себе в эту ночь и в это утро сознавал ее, и сознавал, что в этой любви он сливался с нею в одно.

Ах, если бы все это остановилось на том чувстве, которое было в эту ночь! «Да, все это ужасное дело сделалось уже после этой ночи светло Христова воскресения!» — думал он теперь, сидя у окна в комнате присяжных.

XVI

Вернувшись из церкви, Нехлюдов разговелся с тетушками и, чтобы подкрепиться, по взятой в полку привычке, выпил водки и вина и ушел в свою комнату и тотчас же заснул одетый. Разбудил его стук в дверь. По стуку узнав, что это была она, он поднялся, протирая глаза и потягиваясь.

— Катюша, ты? Войди,— сказал он, вставая.

Она приоткрыла дверь.

— Кушать зовут,— сказала она.

Она была в том же белом платье, но без банта в волосах. Взглянув ему в глаза, она просияла, точно она объявила ему о чем-то необыкновенно радостном.

— Сейчас иду,— отвечал он, берясь за гребень, чтобы расчесать волосы.

Она постояла минутку лишнюю. Он заметил это и, бросив гребень, двинулся к ней. Но она в ту же минуту быстро повернулась и пошла своими обычно легкими и быстрыми шагами по полосушке коридора.

«Экий я дурак,— сказал себе Нехлюдов,— что же я не удержал ее?»

И он бегом догнал ее в коридоре.

Чего он хотел от нее, он сам не знал. Но ему казалось, что, когда она вошла к нему в комнату, ему нужно было сделать что-то, что все при этом делают, а он не сделал этого.

— Катюша, постой,— сказал он.

Она оглянулась.

— Что вы? — сказала она, приостанавливаясь.

— Ничего, только...

И, сделав усилие над собой и помня то, как в этих случаях поступают вообще все люди в его положении, он обнял Катюшу за талию.

Она остановилась и посмотрела ему в глаза.

— Не надо, Дмитрий Иванович, не надо,— покраснев до слез, проговорила она и своей жесткой сильной рукой отвела обнимавшую ее руку.

Нехлюдов пустил ее, и ему стало на мгновенье не только неловко и стыдно, но гадко на себя. Ему бы надо было поверить себе, но он не понял, что эта неловкость и стыд были самые добрые чувства его души, просившиеся наружу, а, напротив, ему показалось, что это говорит в нем его глупость, что надо делать, как все делают.

Он догнал ее еще раз, опять обнял и поцеловал в шею. Этот поцелуй был совсем уже не такой, как те первых два поцелуя: один

бессознательный за кустом сирени и другой нынче утром в церкви. Этот был страшен, и она почувствовала это.

— Что же это вы делаете? — вскрикнула она таким голосом, как будто он безвозвратно разбил что-то бесконечно драгоценное, и побежала от него рысью.

Он пришел в столовую. Тетушки парадные, доктор и соседка стояли у закуски. Все было так обыкновенно, но в душе Нехлюдова была буря. Он не понимал ничего из того, что ему говорили, отвечал невпопад и думал только о Катюше, вспоминая ощущение этого последнего поцелуя, когда он догнал ее в коридоре. Он ни о чем другом не мог думать. Когда она входила в комнату, он, не глядя на нее, чувствовал всем существом своим ее присутствие и должен был делать усилие над собой, чтобы не смотреть на нее.

После обеда он тотчас же ушел в свою комнату и в сильном волнении долго ходил по ней, прислушиваясь к звукам в доме и ожидая ее шагов. Тот животный человек, который жил в нем, не только поднял теперь голову, но затоптал себе под ноги того духовного человека, которым он был в первый приезд свой и даже сегодня утром в церкви, и этот страшный животный человек теперь властвовал один в его душе. Несмотря на то, что он не переставал караулить ее, ему ни разу не удалось один на один встретить ее в этот день. Вероятно, она избегала его. Но к вечеру случилось так, что она должна была идти в комнату рядом с той, которую он занимал. Доктор остался ночевать, и Катюша должна была постлать постель гостю. Услыхав ее шаги, Нехлюдов, тихо ступая и сдерживая дыхание, как будто собираясь на преступление, вошел за ней.

Засунув обе руки в чистую наволочку и держа ими подушку за углы, она оглянулась на него и улыбнулась, но не веселой и радостной, как прежде, а испуганной, жалостной улыбкой. Улыбка эта как будто сказала ему, что то, что он делает,— дурно. На минуту он остановился. Тут еще была возможность борьбы. Хоть слабо, но еще слышен был голос истинной любви к ней, который говорил ему об *ней,* о *ее* чувствах, об *ее* жизни. Другой же голос говорил: смотри, пропустишь *свое* наслажденье, *свое* счастье. И этот второй голос заглушил первый. Он решительно подошел к ней. И страшное, неудержимое животное чувство овладело им.

Не выпуская ее из своих объятий, Нехлюдов посадил ее на постель и, чувствуя, что еще что-то надо делать, сел рядом с нею.

— Дмитрий Иванович, голубчик, пожалуйста, пустите,— говорила она жалобным голосом.— Матрена Павловна идет! — вскрикнула она, вырываясь, и действительно кто-то шел к двери.

— Так я приду к тебе ночью,— проговорил Нехлюдов.— Ты ведь одна?

— Что вы? Ни за что! Не надо,— говорила она только устами, но все взволнованное, смущенное существо ее говорило другое.

Подошедшая к двери действительно была Матрена Павловна. Она вошла в комнату с одеялом на руке и, взглянув укорительно на Нехлюдова, сердито выговорила Катюше за то, что она взяла не то одеяло.

Нехлюдов молча вышел. Ему даже не было стыдно. Он видел по выражению лица Матрены Павловны, что она осуждает его, и права, осуждая его, знал, что то, что он делает,— дурно, но животное чувство, выпроставшееся из-за прежнего чувства хорошей любви к ней, овладело им и царило одно, ничего другого не признавая. Он знал теперь, что надо делать для удовлетворения чувства, и отыскивал средство сделать это.

Весь вечер он был сам не свой: то входил к тетушкам, то уходил от них к себе и на крыльцо и думал об одном, как бы одну увидать ее; но и она избегала его, и Матрена Павловна старалась не выпускать ее из вида.

XVII

Так прошел весь вечер, и наступила ночь. Доктор ушел спать. Тетушки улеглись. Нехлюдов знал, что Матрена Павловна теперь в спальне у теток и Катюша в девичьей — одна. Он опять вышел на крыльцо. На дворе было темно, сыро, тепло, и тот белый туман, который весной сгоняет последний снег или распространяется от тающего последнего снега, наполнял весь воздух. С реки, которая была в ста шагах под кручью перед домом, слышны были странные звуки: это ломался лед.

Нехлюдов сошел с крыльца и, шагая через лужи по оледеневшему снегу, обошел к окну девичьей. Сердце его колотилось в груди так, что он слышал его; дыханье то останавливалось, то вырывалось тяжелым вздохом. В девичьей горела маленькая лампа. Катюша одна сидела у стола, задумавшись, и смотрела перед собой. Нехлюдов долго, не шевелясь, смотрел на нее, желая узнать, что она будет делать, полагая, что никто не видит ее. Минуты две она сидела неподвижно, потом подняла глаза, улыбнулась, покачала как бы на самое себя укоризненно головой и, переменив положение, порывисто положила обе руки на стол и устремила глаза перед собой.

Он стоял и смотрел на нее и невольно слушал вместе и стук своего сердца, и странные звуки, которые доносились с реки. Там, на реке, в тумане, шла какая-то неустанная, медленная работа, и то сопело что-то, то трещало, то обсыпалось, то звенели, как стекло, тонкие льдины.

Он стоял, глядя на задумчивое, мучимое внутренней работой лицо Катюши, и ему было жалко ее, но, странное дело, эта жалость только усиливала вожделение к ней.

Вожделение обладало им всем.

От стукнул в окно. Она, как бы от электрического удара, вздрогнула всем телом, и ужас изобразился на ее лице. Потом вскочила, подошла к окну и придвинула свое лицо к стеклу. Выражение ужаса не оставило ее лица и тогда, когда, приложив обе ладони, как шоры, к глазам, она узнала его. Лицо ее было необыкновенно серьезно,— он никогда не видал его таким. Она улыбнулась, только когда он улыбнулся, улыбнулась, только как бы покоряясь ему, но в душе ее не было улыбки,— был страх. Он сделал ей знак рукою, вызывая ее на двор к себе. Но она помахала головой, что нет, не выйдет, и осталась стоять у окна. Он приблизил еще раз лицо к стеклу и хотел крикнуть ей, чтобы она вышла, но в это время она обернулась к двери,— очевидно, ее позвал кто-то. Нехлюдов отошел от окна. Туман был так тяжел, что, отойдя на пять шагов от дома, уже не было видно его окон, а только чернеющая масса, из которой светил красный, кажущийся огромным свет от лампы. На реке шло то же странное сопенье, шуршанье, треск и звон льда. Недалеко из тумана во дворе прокричал один петух; отозвались близкие другие, и издалека с деревни послышались перебивающие друг друга и сливающиеся в одно петушиные крики. Все же кругом, кроме реки, было совершенно тихо. Это были уже вторые петухи.

Пройдя раза два взад и вперед за углом дома и попав несколько раз ногою в лужу, Нехлюдов опять подошел к окну девичьей. Лампа все еще горела, и Катюша опять сидела одна у стола, как будто была в перешительности. Только что он подошел к окну, она взглянула в него. Он стукнул. И, не рассматривая, кто стукнул, она тотчас же выбежала из девичьей, и он слышал, как отлипла и потом скрипнула выходная дверь. Он ждал ее уже у сеней и тотчас же молча обнял ее. Она прижалась к нему, подняла голову и губами встретила его поцелуй. Они стояли за углом сеней на стаявшем сухом месте, и он весь был полон мучительным, неудовлетворенным желанием. Вдруг опять так же чмокнула и с тем же скрипом скрипнула выходная дверь, и послышался сердитый голос Матрены Павловны:

— Катюша!

Она вырвалась от него и вернулась в девичью. Он слышал, как захлопнулся крючок. Вслед за этим все затихло, красный глаз в окне исчез, остался один туман и возня на реке.

Нехлюдов подошел к окну,— никого не видно было. Он постучал,— ничто не ответило ему. Нехлюдов вернулся в дом с па-

радного крыльца, но не заснул. Он снял сапоги и босиком пошел по коридору к ее двери, рядом с комнатой Матрены Павловны. Сначала он слышал, как спокойно храпела Матрена Павловна, и он хотел уже войти, как вдруг она стала кашлять и повернулась на скрипучей постели. Он замер и простоял так минут пять. Когда опять все затихло и послышался опять спокойный храп, он, стараясь ступать на половицы, которые не скрипели, пошел дальше и подошел к самой ее двери. Ничего не слышно было. Она, очевидно, не спала, потому что не слышно было ее дыхания. Но как только он прошептал: «Катюша!» — она вскочила, подошла к двери и сердито, как ему показалось, стала уговаривать его уйти.

— На что похоже? Ну, можно ли? Услышат тетеньки,— говорили ее уста, а все существо говорило: «Я вся твоя».

И *это* только понимал Нехлюдов.

— Ну, на минутку отвори. Умоляю тебя,— говорил он бессмысленные слова.

Она затихла, потом он услышал шорох руки, ищущей крючок. Крючок щелкнул, и он проник в отворенную дверь.

Он схватил ее, как она была в жесткой суровой рубашке с обнаженными руками, поднял ее и понес.

— Ах! Что вы? — шептала она.

Но он не обращал внимания на ее слова, неся ее к себе.

— Ах, не надо, пустите,— говорила она, а сама прижималась к нему.

. . . . . .

Когда она, дрожащая и молчаливая, ничего не отвечая на его слова, ушла от него, он вышел на крыльцо и остановился, стараясь сообразить значение всего того, что произошло.

На дворе было светлее; внизу на реке треск и звон и сопенье льдин еще усилились, и к прежним звукам прибавилось журчанье. Туман же стал садиться вниз, и из-за стены тумана выплыл ущербный месяц, мрачно освещая что-то черное и страшное.

«Что же это: большое счастье или большое несчастье случилось со мной?» — спрашивал он себя. «Всегда так, все так»,— сказал он и пошел спать.

XVIII

На другой день блестящий, веселый Шенбок заехал за Нехлюдовым к тетушкам и совершенно прельстил их своей элегантностью, любезностью, веселостью, щедростью и любовью к Дмитрию. Щедрость его хотя и очень понравилась тетушкам, но привела их даже в некоторое недоумение своей преувеличенностью. Пришедшим слепым нищим он дал рубль, на чай людям он роздал пятна-

дцать рублей, и когда Сюзетка, болонка Софьи Ивановны, при нем ободрала себе в кровь ногу, то он, вызвавшись сделать ей перевязку, ни минуты не задумавшись, разорвал свой батистовый с каемочками платок (Софья Ивановна знала, что такие платки стоят не меньше пятнадцати рублей дюжина) и сделал из него бинты для Сюзетки. Тетушки не видали еще таких и не знали, что у этого Шенбока было двести тысяч долгу, которые — он знал — никогда не заплатятся, и что поэтому двадцать пять рублей меньше или больше не составляли для него расчета.

Шенбок пробыл только один день и в следующую ночь уехал вместе с Нехлюдовым. Они не могли дольше оставаться, так как был уже последний срок для явки в полк.

В душе Нехлюдова в этот последний проведенный у тетушек день, когда свежо было воспоминание ночи, поднимались и боролись между собой два чувства: одно — жгучие, чувственные воспоминания животной любви, хотя и далеко не давшей того, что она обещала, и некоторого самодовольства достигнутой цели; другое — сознание того, что им сделано что-то очень дурное и что это дурное нужно поправить, и поправить не для нее, а для себя.

В том состоянии сумасшествия эгоизма, в котором он находился, Нехлюдов думал только о себе — о том, осудят ли его и насколько, если узнают о том, как он с ней поступил, а не о том, что она испытывает и что с ней будет.

Он думал, как Шенбок догадывается об его отношениях с Катюшей, и это льстило его самолюбию.

— То-то ты так вдруг полюбил тетушек,— сказал ему Шенбок, увидав Катюшу,— что неделю живешь у них. Это и я на твоем месте не уехал бы. Прелесть!

Он думал еще и о том, что, хотя и жалко уезжать теперь, не насладившись вполне любовью с нею, необходимость отъезда выгодна тем, что сразу разрывает отношения, которые трудно было бы поддерживать. Думал он еще о том, что надо дать ей денег, не для нее, не потому, что ей эти деньги могут быть нужны, а потому, что так всегда делают, и его бы считали нечестным человеком, если бы он, воспользовавшись ею, не заплатил бы за это. Он и дал ей эти деньги,— столько, сколько считал приличным по своему и ее положению.

В день отъезда, после обеда, он выждал ее в сенях. Она вспыхнула, увидав его, и хотела пройти мимо, указывая глазами на открытую дверь в девичью, но он удержал ее.

— Я хотел проститься,— сказал он, комкая в руке конверт с сторублевой бумажкой.— Вот я...

Она догадалась, сморщилась, затрясла головой и оттолкнула его руку.

— Нет, возьми,— пробормотал он и сунул ей конверт за пазуху, и, точно как будто он обжегся, он, морщась и стоная, побежал в свою комнату.

И долго после этого он все ходил по своей комнате, и корчился, и даже прыгал, и вслух охал, как от физической боли, как только вспоминал эту сцену.

«Но что же делать? Всегда так. Так это было с Шенбоком и гувернанткой, про которую он рассказывал, так это было с дядей Гришей, так это было с отцом, когда он жил в деревне и у него родился от крестьянки тот незаконный сын Митенька, который и теперь еще жив. А если все так делают, то, стало быть, так и надо». Так утешал он себя, но никак не мог утешиться. Воспоминание это жгло его совесть.

В глубине, в самой глубине души он знал, что поступил так скверно, подло, жестоко, что ему, с сознанием этого поступка, нельзя не только самому осуждать кого-нибудь, но смотреть в глаза людям, не говоря уже о том, чтобы считать себя прекрасным, благородным, великодушным молодым человеком, каким он считал себя. А ему нужно было считать себя таким для того, чтобы продолжать бодро и весело жить. А для этого было одно средство: не думать об этом. Так он и сделал.

Та жизнь, в которую он вступал,— новые места, товарищи, война,— помогли этому. И чем больше он жил, тем больше забывал и под конец действительно совсем забыл.

Только один раз, когда после войны, с надеждой увидать ее, он заехал к тетушкам и узнал, что Катюши уже не было, что она скоро после его проезда отошла от них, чтобы родить, что где-то родила и, как слышали тетки, совсем испортилась,— у него защемило сердце. По времени ребенок, которого она родила, мог быть его ребенком, но мог быть и не его. Тетушки говорили, что она испортилась и была развращенная натура, такая же, как и мать. И это суждение тетушек было приятно ему, потому что как будто оправдывало его. Сначала он все-таки хотел разыскать ее и ребенка, но потом, именно потому, что в глубине души ему было слишком больно и стыдно думать об этом, он не сделал нужных усилий для этого разыскания и еще больше забыл про свой грех и перестал думать о нем.

Но вот теперь эта удивительная случайность напомнила ему все и требовала от него признания своей бессердечности, жестокости, подлости, давших ему возможность спокойно жить эти десять лет с таким грехом на совести. Но он еще далек был от такого признания и теперь думал только о том, как бы сейчас не узналось все и она или ее защитник не рассказали всего и не осрамили бы его перед всеми.

XIX

В таком душевном настроении находился Нехлюдов, выйдя из залы суда в комнату присяжных. Он сидел у окна, слушая разговоры, шедшие вокруг него, и не переставая курил.

Веселый купец, очевидно, сочувствовал всей душой времяпрепровождению купца Смелькова.

— Ну, брат, здорово кутил, по-сибирски. Тоже губа не дура, такую девчонку облюбовал.

Старшина высказывал какие-то соображения, что все дело в экспертизе. Петр Герасимович что-то шутил с приказчиком-евреем, и они о чем-то захохотали. Нехлюдов односложно отвечал на обращенные к нему вопросы и желал только одного — чтобы его оставили в покое.

Когда судебный пристав с боковой походкой пригласил опять присяжных в залу заседания, Нехлюдов почувствовал страх, как будто не он шел судить, но его вели в суд. В глубине души он чувствовал уже, что он негодяй, которому должно быть совестно смотреть в глаза людям, а между тем он по привычке с обычными, самоуверенными движениями вошел на возвышение и сел на свое место, вторым после старшины, заложив ногу на ногу и играя pince-nez.

Подсудимых тоже куда-то выводили и только что ввели опять. В зале были новые лица — свидетели, и Нехлюдов заметил, что Маслова несколько раз взглядывала, как будто не могла оторвать взгляда от очень нарядной, в шелку и бархате, толстой женщины, которая, в высокой шляпе с большим бантом и с элегантным ридикюлем на голой до локтя руке, сидела в первом ряду перед решеткой. Это, как он потом узнал, была свидетельница, хозяйка того заведения, в котором жила Маслова.

Начался допрос свидетелей: имя, вера и т. д. Потом, после допроса сторон, как они хотят спрашивать: под присягой или нет, опять, с трудом передвигая ноги, пришел тот же старый священник и опять так же, поправляя золотой крест на шелковой груди, с таким же спокойствием и уверенностью в том, что он делает вполне полезное и важное дело, привел к присяге свидетелей и эксперта. Когда кончилась присяга, всех свидетелей увели, оставив одну, именно Китаеву, хозяйку дома терпимости. Ее спросили о том, что она знает по этому делу. Китаева с притворной улыбкой, ныряя головой в шляпе при каждой фразе, с немецким акцентом подробно и складно рассказала.

Прежде всего к ней в заведение приехал знакомый коридорный Симон за девушкой для богатого сибирского купца. Она пос-

лала Любашу. Через несколько времени Любаша вернулась вместе с купцом.

— Купец был уже в экстазе,— слегка улыбаясь, говорила Китаева,— и у нас продолжал пить и угощать девушек; но так как у него недостало денег, то он послал к себе в номер эту самую Любашу, к которой он получил предилекция,— сказала она, взглянув на подсудимую.

Нехлюдову показалось, что Маслова при этом улыбнулась, и эта улыбка показалась ему отвратительной. Странное, неопределенное чувство гадливости, смешанное с состраданием, поднялось в нем.

— А какого вы были мнения о Масловой? — краснея и робея, спросил назначенный от суда кандидат на судебную должность, защитник Масловой.

— Самый хороший,— отвечала Китаева,— девушка образованный и шикарна. Он воспитывался в хороший семейство и по-французски могли читать. Он пил иногда немного лишнего, но никогда не забывался. Совсем хороший девушка.

Катюша глядела на хозяйку, но потом вдруг перевела глаза на присяжных и остановила их на Нехлюдове, и лицо ее сделалось серьезно и даже строго. Один из строгих глаз ее косил. Довольно долго эти два странно смотрящие глаза смотрели на Нехлюдова, и, несмотря на охвативший его ужас, он не мог отвести и своего взгляда от этих косящих глаз с ярко-белыми белками. Ему вспомнилась та страшная ночь с ломавшимся льдом, туманом и, главное, тем ущербным, перевернутым месяцем, который перед утром взошел и освещал что-то черное и страшное. Эти два черные глаза, смотревшие и на него и мимо него, напоминали ему это что-то черное и страшное.

«Узнала!» — подумал он. И Нехлюдов как бы сжался, ожидая удара. Но она не узнала. Она спокойно вздохнула и опять стала смотреть на председателя. Нехлюдов вздохнул тоже. «Ах, скорее бы»,— думал он. Он испытывал теперь чувство, подобное тому, которое испытывал на охоте, когда приходилось добивать раненую птицу: и гадко, и жалко, и досадно. Недобитая птица бьется в ягдташе: и противно, и жалко, и хочется поскорее добить и забыть.

Такое смешанное чувство испытывал теперь Нехлюдов, слушая допрос свидетелей.

XX

Но, как назло ему, дело тянулось долго: после допроса поодиночке свидетелей и эксперта и после всех, как обыкновенно, делаемых с значительным видом ненужных вопросов от товарища

прокурора и защитников, председатель предложил присяжным осмотреть вещественные доказательства, состоящие из огромных размеров, очевидно надевавшегося на толстейший указательный палец, кольца с розеткой из брильянтов и фильтра, в котором был исследован яд. Вещи эти были запечатаны, и на них были ярлычки.

Присяжные уже готовились смотреть эти предметы, когда товарищ прокурора опять приподнялся и потребовал, прежде рассматриванья вещественных доказательств, прочтения врачебного исследования трупа.

Председатель, который гнал дело как мог скорее, чтобы поспеть к своей швейцарке, хотя и знал очень хорошо, что прочтение этой бумаги не может иметь никакого другого следствия, как только скуку и отдаление времени обеда, и что товарищ прокурора требует этого чтения только потому, что он знает, что имеет право потребовать этого, все-таки не мог отказать и изъявил согласие. Секретарь достал бумагу и опять своим картавящим на буквы *л* и *р* упылым голосом начал читать:

— «По наружному осмотру оказывалось, что:

1) Рост Ферапонта Смелькова — 2 аршина 12 вершков».

— Однако мужчина здоровенный,— озабоченно прошептал купец на ухо Нехлюдову.

— «2) Лета по наружному виду определялись приблизительно около сорока.

3) Вид трупа был вздутый.

4) Цвет покровов везде зеленоватый, испещренный местами темными пятнами.

5) Кожица по поверхности тела поднялась пузырями различной величины, а местами слезла и висит в виде больших лоскутов.

6) Волосы темно-русые, густые и при дотрагивании легко отстают от кожи.

7) Глаза вышли из орбит, и роговая оболочка потускнела.

8) Из отверстий носа, обоих ушей и полости рта вытекает пенистая сукровичная жидкость, рот полуоткрыт.

9) Шеи почти нет вследствие раздутия лица и груди».

И т. д., и т. д.

На четырех страницах по двадцати семи пунктам шло таким образом описание всех подробностей наружного осмотра страшного, огромного, толстого и еще распухшего, разлагающегося трупа всеселившегося в городе купца. Чувство неопределенной гадливости, которое испытывал Нехлюдов, еще усилилось при чтении этого описания трупа. Жизнь Катюши, и вытекавшая из ноздрей сукровица, и вышедшие из орбит глаза, и его поступок с нею — все это, казалось ему, были предметы одного и того же порядка, и

он со всех сторон был окружен и поглощен этими предметами. Когда кончилось наконец чтение наружного осмотра, председатель тяжело вздохнул и поднял голову, надеясь, что кончено. Но секретарь тотчас же начал читать описание внутреннего осмотра.

Председатель опять опустил голову и, опершись на руку, закрыл глаза. Купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, насилу удерживался от сна и изредка качался; подсудимые, так же как и жандармы за ними, сидели неподвижно.

— «По внутреннему осмотру оказывалось, что:

1) Кожные черепные покровы легко отделялись от черепных костей, и кровоподтеков нигде не было замечено.

2) Кости черепа средней толщины и целы.

3) На твердой мозговой оболочке имеются два небольших пигментированных пятна, величиной приблизительно в четыре дюйма, сама оболочка представляется бледно-матового цвета»,— и т. д., и т. д., еще тринадцать пунктов.

Затем следовали имена понятых, подписи и затем заключение врача, из которого видно было, что найденные при вскрытии и записанные в протокол изменения в желудке и отчасти в кишках и почках дают право заключить *с большой степенью вероятности,* что смерть Смелькова последовала от отравления ядом, попавшим ему в желудок вместе с вином. Сказать по имеющимся изменениям в желудке и кишках, какой именно яд был введен в желудок,— трудно; о том же, что яд этот попал в желудок с вином, надо полагать потому, что в желудке Смелькова найдено большое количество вина.

— Видно, здоров пить был,— опять прошептал очнувшийся купец.

Чтение этого протокола, продолжавшееся около часу, не удовлетворило, однако, товарища прокурора. Когда был прочитан протокол, председатель обратился к нему:

— Я полагаю, что излишне читать акты исследования внутренностей.

— Я бы просил прочесть эти исследования,— строго сказал товарищ прокурора, не глядя на председателя, слегка бочком приподнявшись и давая чувствовать тоном голоса, что требование этого чтения составляет его право, и он от этого права не отступится, и отказ будет поводом кассации.

Член суда с большой бородой и добрыми, вниз оттянутыми глазами, страдавший катаром, чувствуя себя очень ослабевшим, обратился к председателю:

— И зачем это читать? Только затягивают. Эти новые метлы не чище, а дольше метут.

Член в золотых очках ничего не сказал и мрачно и решительно смотрел перед собой, не ожидая ни от своей жены, ни от жизни ничего хорошего.

Чтение акта началось.

— «188 * года февраля 15-го дня я, нижеподписавшийся, по поручению врачебного отделения, за № 638-м,— опять начал с решительностью, повысив диапазон голоса, как будто желая разогнать сон, удручающий всех присутствующих, секретарь,— в присутствии помощника врачебного инспектора, сделав исследование внутренностей:

1) Правого легкого и сердца (в шестифунтовой стеклянной банке).

2) Содержимого желудка (в шестифунтовой стеклянной банке).

3) Самого желудка (в шестифунтовой стеклянной банке).

4) Печени, селезенки и почек (в трехфунтовой стеклянной банке).

5) Кишок (в шестифунтовой глиняной банке)».

Председательствующий при начале этого чтения нагнулся к одному из членов и пошептал что-то, потом к другому и, получив утвердительный ответ, перервал чтение в этом месте.

— Суд признает излишним чтение акта,— сказал он.

Секретарь замолк, собирая бумаги, товарищ прокурора сердито стал записывать что-то.

— Господа присяжные заседатели могут осмотреть вещественные доказательства,— сказал председательствующий.

Старшина и некоторые из присяжных приподнялись и, затрудняясь тем движением или положением, которое они должны придать своим рукам, подошли к столу и поочередно посмотрели на кольцо, склянку и фильтр. Купец даже примерил на свой палец кольцо.

— Ну и палец был,— сказал он, возвратившись на свое место.— Как огурец добрый,— прибавил он, очевидно забавляясь тем представлением, как о богатыре, которое он составил себе об отравленном купце.

XXI

Когда окончился осмотр вещественных доказательств, председатель объявил судебное следствие законченным и без перерыва, желая скорее отделаться, предоставил речь обвинителю, надеясь, что он тоже человек и тоже хочет и курить и обедать и что он пожалеет их. Но товарищ прокурора не пожалел ни себя, ни их. Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел

несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой (чему еще способствовал его успех у дам), и вследствие этого был глуп чрезвычайно. Когда ему предоставлено было слово, он медленно встал, обнаружив всю свою грациозную фигуру в шитом мундире, и, положив обе руки на конторку, слегка склонив голову, оглядел залу, избегая взглядом подсудимых, и начал.

— Дело, подлежащее вам, господа присяжные заседатели,— начал он свою приготовленную им во время чтения протоколов и акта речь,— характерное, если можно так выразиться, преступление.

Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное значение, подобно тем знаменитым речам, которые говорили сделавшиеся знаменитыми адвокаты. Правда, что в числе зрителей сидели только три женщины: швея, кухарка и сестра Симона, и один кучер, но это ничего не значило. И те знаменитости так же начинали. Правило же товарища прокурора было в том, чтобы быть всегда на высоте своего положения, то есть проникать в глубь психологического значения преступления и обнажать язвы общества.

— Вы видите перед собой, господа присяжные заседатели, характерное, если можно так выразиться, преступление конца века, носящее на себе, так сказать, специфические черты того печального явления разложения, которому подвергаются в наше время те элементы нашего общества, которые находятся под особенно, так сказать, жгучими лучами этого процесса...

Товарищ прокурора говорил очень долго, с одной стороны, стараясь вспомнить все те умные вещи, которые он придумал, с другой стороны, главное, ни на минуту не остановиться, а сделать так, чтобы речь его лилась, не умолкая, в продолжение часа с четвертью. Только один раз он остановился и довольно долго глотал слюни, но тут же справился и наверстал это замедление усиленным красноречием. Он говорил то нежным, вкрадчивым голосом, переступая с ноги на ногу, глядя на присяжных, то тихим деловым тоном, взглядывая в свою тетрадку, то громким обличительным голосом, обращаясь то к зрителям, то к присяжным. Только на подсудимых, которые все трое впились в него глазами, он ни разу не взглядывал. В его речи было все самое последнее, что было тогда в ходу в его круге и что принималось тогда и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тард, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декадентство.

Купец Смельков, по определению товарища прокурора, был тип могучего, нетронутого русского человека с его широкой натурой, который вследствие своей доверчивости и великодушия пал жертвою глубоко развращенных личностей, во власть которых он попал.

Симон Картинкин был атавистическое произведение крепостного права, человек забитый, без образования, без принципов, без религии даже. Евфимья была его любовница и жертва наследственности. В ней были заметны все признаки дегенератной личности. Главной же двигательной пружиной преступления была Маслова, представляющая в самых низких его представителях явление декадентства.

— Женщина эта,— говорил товарищ прокурора, не глядя на нее,— получила образование,— мы слышали здесь на суде показания ее хозяйки. Она не только знает читать и писать, она знает по-французски, она, сирота, вероятно несущая в себе зародыши преступности, была воспитана в интеллигентной дворянской семье и могла бы жить честным трудом; но она бросает своих благодетелей, предается своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдается от других своих товарок своим образованием и, главное, как вы слышали здесь, господа присяжные заседатели, от ее хозяйки, умением влиять на посетителей тем таинственным, в последнее время исследованным наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем внушения. Этим самым свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым Садко — богатым гостем и употребляет это доверие на то, чтоб сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни.

— Ну, уж это он, кажется, зарапортовался,— сказал, улыбаясь, председатель, склоняясь к строгому члену.

— Ужасный болван,— сказал строгий член.

— Господа присяжные заседатели,— продолжал между тем, грациозно извиваясь тонкой талией, товарищ прокурора,— в вашей власти судьба этих лиц, но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникните в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и оградите его от заражения, оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто погибели.

И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокурора, очевидно до последней степени восхищенный своею речью, опустился на свой стул.

Смысл его речи, за исключением цветов красноречия, был тот, что Маслова загипнотизировала купца, вкравшись в его до-

верие, и, приехав в номер с ключом за деньгами, хотела сама все взять себе, но, будучи поймана Симоном и Евфимьей, должна была поделиться с ними. После же этого, чтобы скрыть следы своего преступления, приехала опять с купцом в гостиницу и там отравила его.

После речи товарища прокурора со скамьи адвоката встал средних лет человек во фраке, с широким полукругом белой крахмальной груди, и бойко сказал речь в защиту Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими за триста рублей присяжный поверенный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову.

Он отвергал показание Масловой о том, что Бочкова и Картинкин были с ней вместе, когда она брала деньги, настаивая на том, что показание ее, как уличенной отравительницы, не могло иметь веса. Деньги, две тысячи пятьсот рублей, говорил адвокат, могли быть заработаны двумя трудолюбивыми и честными людьми, получавшими иногда в день по три и пять рублей от посетителей. Деньги же купца были похищены Масловой и кому-либо переданы или даже потеряны, так как она была не в нормальном состоянии. Отравление совершила одна Маслова.

Поэтому он просил присяжных признать Картинкина и Бочкову невиновными в похищении денег; если же бы они и признали их виновными в похищении, то без участия в отравлении и без вперед составленного намерения.

В заключение адвокат в пику товарищу прокурора заметил, что блестящие рассуждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бочкова — дочь неизвестных родителей.

Товарищ прокурора сердито, как бы огрызаясь, что-то записал у себя на бумаге и с презрительным удивлением пожал плечами.

Потом встал защитник Масловой и робко, запинаясь, произнес свою защиту. Не отрицая того, что Маслова участвовала в похищении денег, он только настаивал на том, что она не имела намерения отравить Смелькова, а дала порошок только с тем, чтобы он заснул. Хотел он подпустить красноречия, сделав обзор того, как была вовлечена в разврат Маслова мужчиной, который остался безнаказанным, тогда как она должна была нести всю тяжесть своего падения, но эта его экскурсия в область психологии совсем не вышла, так что всем было совестно. Когда он мямлил о жестокости мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая облегчить его, попросил его держаться ближе сущности дела.

После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое положение о наследственности против первого за-

щитника тем, что если Бочкова и дочь неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько не инвалидируется, так как закон наследственности настолько установлен наукой, что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наследственность из преступления. Что же касается предположения защиты о том, что Маслова была развращена воображаемым (он особенно ядовито сказал: воображаемым) соблазнителем, то все данные скорее говорят о том, что она была соблазнительницей многих и многих жертв, прошедших через ее руки. Сказав это, он победоносно сел.

Потом предложено было подсудимым оправдываться.

Евфимья Бочкова повторяла то, что она ничего не знает и ни в чем не участвовала, и упорно указывала, как на виновницу всего, на Маслову. Симон только повторил несколько раз:

— Воля ваша, а только безвинно, напрасно.

Маслова же ничего не сказала. На предложение председателя сказать то, что она имеет для своей защиты, она только подняла на него глаза, огляпулась на всех, как затравленный зверь, и тотчас же опустила их и заплакала, громко всхлипывая.

— Вы что? — спросил купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, услыхав странный звук, который издал вдруг Нехлюдов. Звук этот был остановленное рыдание.

Нехлюдов все еще не понимал всего значения своего теперешнего положения и приписал слабости своих нервов едва удержанное рыдание и слезы, выступившие ему на глаза. Он надел pince-nez, чтобы скрыть их, потом достал платок и стал сморкаться.

Страх перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все здесь, в зале суда, узнали его поступок, заглушал происходившую в нем внутреннюю работу. Страх этот в это первое время был сильнее всего.

XXII

После последнего слова обвиняемых и переговоров сторон о форме постановки вопросов, продолжавшихся еще довольно долго, вопросы были поставлены, и председатель начал свое резюме.

Прежде изложения дела он очень долго объяснял присяжным, с приятной домашней интонацией, то, что грабеж есть грабеж, а воровство есть воровство и что похищение из запертого места есть похищение из запертого места, а похищение из незапертого места есть похищение из незапертого места. И, объясняя это, он особенно часто взглядывал на Нехлюдова, как бы особенно желая внушить ему это важное обстоятельство, в надежде, что он, поняв его, разъяснит это и своим товарищам. Потом, когда он

предположил, что присяжные уже достаточно проникнись этими истинами, он стал развивать другую истину — о том, что убийством называется такое действие, от которого происходит смерть человека, что отравление поэтому тоже есть убийство. Когда же и эта истина, по его мнению, была тоже воспринята присяжными, он разъяснил им то, что если воровство и убийство совершены вместе, то тогда состав преступления составляют воровство и убийство.

Несмотря на то, что ему самому хотелось поскорее отделаться и швейцарка уже ждала его, он так привык к своему занятию, что, начавши говорить, никак уже не мог остановиться и потому подробно внушал присяжным, что если они найдут подсудимых виновными, то имеют право признать их виновными; если найдут их невиновными, то имеют право признать их невиновными; если найдут их виновными в одном, но невиновными в другом, то могут признать их виновными в одном, но невиновными в другом. Потом он объяснил им еще то, что, несмотря на то, что право это предоставлено им, они должны пользоваться им разумно. Хотел он еще разъяснить им, что если они на поставленный вопрос дадут ответ утвердительный, то этим ответом они признают все то, что поставлено в вопросе, и что если они не признают всего, что поставлено в вопросе, то должны оговорить то, чего не признают. Но он взглянул на часы и, увидав, что уже было без пяти минут три, решил тотчас же перейти к изложению дела.

— Обстоятельства дела этого следующие,— начал он и повторил все то, что несколько раз уже было сказано и защитниками, и товарищем прокурора, и свидетелями.

Председатель говорил, а по бокам его члены с глубокомысленным видом слушали и изредка поглядывали на часы, находя его речь хотя и очень хорошею, то есть такою, какая она должна быть, но несколько длинною. Такого же мнения был и товарищ прокурора, как и все вообще судейские и все бывшие в зале. Председатель кончил резюме.

Казалось, все было сказано. Но председатель никак не мог расстаться с своим правом говорить — так ему приятно было слушать внушительные интонации своего голоса — и нашел нужным еще сказать несколько слов о важности того права, которое дано присяжным, и о том, как они должны с вниманием и осторожностью пользоваться этим правом и не злоупотреблять им, о том, что они принимали присягу, что они — совесть общества и что тайна совещательной комнаты должна быть священна, и т. д., и т. д.

С тех пор как председатель начал говорить, Маслова, не спуская глаз, смотрела на него, как бы боясь проронить каждое слово,

а потому Нехлюдов не боялся встретиться с ней глазами и не переставая смотрел на нее. И в его представлении происходило то обычное явление, что давно не виденное лицо любимого человека, сначала поразив теми внешними переменами, которые произошли за время отсутствия, понемногу делается совершенно таким же, каким оно было за много лет тому назад, исчезают все происшедшие перемены, и перед духовными очами выступает только то главное выражение исключительной, неповторяемой духовной личности.

Это самое происходило в Нехлюдове.

Да, несмотря на арестантский халат, на все расширевшее тело и выросшую грудь, несмотря на раздавшуюся нижнюю часть лица, на морщинки на лбу и на висках и на подпухшие глаза, это была несомненно та самая Катюша, которая в светло Христово воскресение так невинно снизу вверх смотрела на него, любимого ею человека, своими влюбленными, смеющимися от радости и полноты жизни глазами.

«И такая удивительная случайность! Ведь надо же, чтобы это дело пришлось именно на мою сессию, чтобы я, нигде не встречая ее десять лет, встретил ее здесь, на скамье подсудимых! И чем все это кончится? Поскорей, ах, поскорей бы!»

Он все не покорялся тому чувству раскаяния, которое начинало говорить в нем. Ему представлялось это случайностью, которая пройдет и не нарушит его жизни. Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно вел себя в комнатах и которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом в ту гадость, которую он сделал. Щенок визжит, тянется назад, чтобы уйти как можно дальше от последствий своего дела и забыть о них; но неумолимый хозяин не отпускает его. Так и Нехлюдов чувствовал уже всю гадость того, что он наделал, чувствовал и могущественную руку хозяина, но он все еще не понимал значения того, что он сделал, не признавал самого хозяина. Ему все хотелось не верить в то, что то, что было перед ним, было его дело. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчувствовал уже, что он не отвертится. Он еще храбрился и по усвоенной привычке, положив ногу на ногу и небрежно играя своим pince-nez, в самоуверенной позе сидел на своем втором стуле первого ряда. А между тем в глубине своей души он уже чувствовал всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни, и та страшная завеса, которая каким-то чудом все это время, все эти двенадцать лет скрывала от него и это преступление, и всю его последующую жизнь, уже колебалась, и он урывками уже заглядывал за нее.

Наконец председатель кончил свою речь и, грациозным движением подняв вопросный лист, передал его подошедшему к нему старшине. Присяжные встали, радуясь тому, что можно уйти, и, не зная, что делать с своими руками, точно стыдясь чего-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Только что затворилась за ними дверь, жандарм подошел к этой двери и, выхватив саблю из ножен и положив ее на плечо, стал у двери. Судьи поднялись и ушли. Подсудимых тоже вывели.

Войдя в совещательную комнату, присяжные, как и прежде, первым делом достали папиросы и стали курить. Неестественность и фальшь их положения, которые они в большей или меньшей степени испытывали, сидя в зале на своих местах, прошла, как только они вошли в совещательную комнату и закурили папиросы, и они с чувством облегчения разместились в совещательной комнате, и тотчас же начался оживленный разговор.

— Девчонка не виновата, запуталась,— сказал добродушный купец,— надо снисхождение дать.

— Вот это и обсудим,— сказал старшина.— Мы не должны поддаваться нашим личным впечатлениям.

— Хорошо резюме сказал председатель,— заметил полковник.

— Ну, хорошо! Я чуть не заснул.

— Главное дело в том, что прислуга не могла знать о деньгах, если бы Маслова не была с ними согласна,— сказал приказчик еврейского типа.

— Так что же, по-вашему, она украла? — спросил один из присяжных.

— Ни за что не поверю,— закричал добродушный купец,— а все это шельма красноглазая напкодила.

— Все хороши,— сказал полковник.

— Да ведь она говорит, что не входила в номер.

— А вы больше верьте ей. Я этой стерве ни в жизнь не поверил бы.

— Да что же, ведь этого мало, что вы не поверили бы,— сказал приказчик.

— Ключ у нее был.

— Что ж, что у ней? — возражал купец.

— А перстень?

— Да ведь она сказывала,— опять закричал купец,— купчина карахтерный, да еще выпивши, вздул ее. Ну, а потом, известно, пожалел. На, мол, не плачь. Человек ведь какой: слышал, я чай, двенадцать вершков, пудов-от восьми!

— Не в том дело,— перебил Петр Герасимович,— вопрос в том: она ли подговорила и затеяла все дело, или прислуга?

— Не может прислуга одна сделать. Ключ у ней был.

Несвязная беседа шла довольно долго.

— Да позвольте, господа,— сказал старшина,— сядемте за стол и обсудимте. Пожалуйте,— сказал он, садясь на председательское место.

— Тоже мерзавки эти девчонки,— сказал приказчик и в подтверждение мнения о том, что главная виновница Маслова, рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища.

Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный случай воровства серебряного самовара.

— Господа, прошу по вопросам,— сказал старшина, постукивая карандашом по столу.

Все замолкли. Вопросы эти были выражены так:

1) Виновен ли крестьянин села Борков, Крапивенского уезда Симон Петров Картинкин, тридцати трех лет, в том, что 17-го января 188* года в городе N., замыслив лишить жизни купца Смелькова, с целью ограбления его, по соглашению с другими лицами, дал ему в коньяке яду, отчего и последовала смерть Смелькова, и похитил у него деньгами около двух тысяч пятисот рублей и брильянтовый перстень?

2) Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Евфимия Иванова Бочкова, сорока трех лет?

3) Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Екатерина Михайлова Маслова, двадцати семи лет?

4) Если подсудимая Евфимия Бочкова не виновна по первому вопросу, то не виновна ли она в том, что 17-го января 188* года в городе N., состоя в услужении при гостинице «Мавритания», тайно похитила из запертого чемодана постояльца той гостиницы купца Смелькова, находившегося в его номере, две тысячи пятьсот рублей денег, для чего отперла чемодан на месте принесенным и подобранным ею ключом?

Старшина прочел первый вопрос.

— Ну как, господа?

На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить: «Да, виновен»,— признав его участником и отравления и похищения. Не согласился признать виновным Картинкина только один старый артельщик, который на все вопросы отвечал в смысле оправдания.

Старшина думал, что он не понимает, и объяснил ему, что по всему несомненно, что Картинкин и Бочкова виновны, но артельщик отвечал, что он понимает, но что все лучше пожалеть. «Мы сами не святые»,— сказал он и так и остался при своем мнении.

На второй вопрос о Бочковой, после долгих толков и разъяснений, ответили: «Не виновна»,— так как не было явных доказательств ее участия в отравлении, на что особенно налегал ее адвокат.

Купец, желая оправдать Маслову, настаивал на том, что Бочкова — главная заводчица всего. Многие присяжные согласились с ним, но старшина, желая быть строго законным, говорил, что нет основания признать ее участницей в отравлении. После долгих споров мнение старшины восторжествовало.

На четвертый вопрос о Бочковой же ответили: «Да, виновна»,— и по настоянию артельщика прибавили: «Но заслуживает снисхождения».

Третий же вопрос о Масловой вызвал ожесточенный спор. Старшина настаивал на том, что она виновна и в отравлении и в грабеже, купец не соглашался и с ним вместе полковник, приказчик и артельщик,— остальные как будто колебались, но мнение старшины начинало преобладать, в особенности потому, что все присяжные устали и охотнее примыкали к тому мнению, которое обещало скорее соединить, а потому и освободить всех.

По всему тому, что происходило на судебном следствии, и по тому, как знал Нехлюдов Маслову, он был убежден, что она не виновна ни в похищении, ни в отравлении, и сначала был уверен, что все признают это; но когда он увидал, что вследствие неловкой защиты купца, очевидно основанной на том, что Маслова физически нравилась ему, чего он и не скрывал, и вследствие отпора на этом именно основании старшины и, главное, вследствие усталости всех решение стало склоняться к обвинению, он хотел возражать, но ему страшно было говорить за Маслову,— ему казалось, что все сейчас узнают его отношения к ней. А между тем он чувствовал, что не может оставить дело так и должен возражать. Он краснел и бледнел и только что хотел начать говорить, как Петр Герасимович, до этого времени молчаливый, очевидно раздраженный авторитетным тоном старшины, вдруг начал возражать ему и говорить то самое, что хотел сказать Нехлюдов.

— Позвольте,— сказал он,— вы говорите, что она украла потому, что у ней ключ был. Да разве не могли коридорные после нее отпереть чемодан подобранным ключом?

— Ну да, ну да,— поддакивал купец.

— Она же не могла взять денег, потому что ей в ее положении некуда девать их.

— Вот и я говорю,— подтвердил купец.

— А скорее ее приезд подал мысль коридорным, и они воспользовались случаем, а потом все свалили на нее.

Петр Герасимович говорил раздражительно. И раздражительность его сообщилась старшине, который вследствие этого особенно упорно стал отстаивать свое противоположное мнение, но Петр Герасимович говорил так убедительно, что большинство согласилось с ним, признав, что Маслова не участвовала в похищении денег и перстня, что перстень был ей подарен. Когда же зашла речь об ее участии в отравлении, то горячий заступник ее, купец, сказал, что надо признать ее невиновной, так как ей незачем было отравлять его. Старшина же сказал, что нельзя признать ее невиновной, так как она сама созналась, что дала порошок.

— Дала, но думала, что это опиум,— сказал купец.

— Она и опиумом могла лишить жизни,— сказал полковник, любивший вдаваться в отступления, и начал при этом случае рассказывать о том, что у его шурина жена отравилась опиумом и умерла бы, если бы не близость доктора и принятые вовремя меры. Полковник рассказывал так внушительно, самоуверенно и с таким достоинством, что ни у кого недостало духа перебить его. Только приказчик, заразившись примером, решился перебить его, чтобы рассказать свою историю.

— Так привыкают другие,— начал он,— что могут сорок капель принимать; у меня родственник...

Но полковник не дал перебить себя и продолжал рассказ о последствиях влияния опиума на жену его шурина.

— Да ведь уже пятый час, господа,— сказал один из присяжных.

— Так как же, господа,— обратился старшина,— признаем виновной без умысла ограбления, и имущества не похищала. Так, что ли?

Петр Герасимович, довольный своей победой, согласился.

— Но заслуживает снисхождения,— прибавил купец.

Все согласились. Только артельщик настаивал на том, чтобы сказать: «Нет, не виновна».

— Да ведь оно так и выходит,— разъяснил старшина,— без умысла ограбления, и имущества не похищала. Стало быть, и не виновна.

— Валяй так, и заслуживает снисхождения: значит, что останется, последнее счистить,— весело проговорил купец.

Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу: *да, но без намерения лишить жизни.*

Нехлюдов был так взволнован, что и он не заметил этого. В этой форме ответы и были записаны и внесены в залу суда.

Рабле пишет, что юрист, к которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы, по прочтении двадцати страниц юридической бессмысленной латыни, предложил судящимся

кинуть кости: чет или нечет. Если чет, то прав истец, если нечет, то прав ответчик.

Так было и здесь. То, а не другое решение принято было не потому, что все согласились, а, во-первых, потому, что председательствующий, говоривший так долго свое резюме, в этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, отвечая на вопрос, они могут сказать: «Да, виновна, но без намерения лишить жизни»; во-вторых, потому, что полковник очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего шурина; в-третьих, потому, что Нехлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка: «Без умысла ограбления» — уничтожает обвинение; в-четвертых, потому, что Петр Герасимович не был в комнате, он выходил в то время, как старшина перечел вопросы и ответы, и, главное, потому, что все устали и всем хотелось скорей освободиться и потому согласиться с тем решением, при котором все скорей кончается.

Присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с вынутой наголо саблей у двери, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один за другим вышли присяжные.

Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и подал его. Председатель прочел и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к товарищам, совещаясь. Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив первое условие: «Без умысла ограбления», не оговорили второго: «Без намерения лишить жизни». Выходило, по решению присяжных, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели.

— Посмотрите, какую они нелепость вынесли,— сказал он члену налево.— Ведь это каторжные работы, а она не виновата.

— Ну, как не виновата,— сказал строгий член.

— Да просто не виновата. По-моему, это случай применения восемьсот восемнадцатой статьи. (818 статья гласит о том, что если суд найдет обвинение несправедливым, то он может отменить решение присяжных.)

— Как вы думаете? — обратился председатель к доброму члену.

Добрый член не сразу ответил, он взглянул на номер бумаги, которая лежала перед ним, и сложил цифры,— не удалось на три. Он загадал, что если делится, то он согласится, но, несмотря на то, что не делилось, он по доброте своей согласился.

— Я думаю тоже, что следовало бы,— сказал он.

— А вы? — обратился председатель к сердитому члену.

— Ни в каком случае,— отвечал он решительно.— И так га-

зеты говорят, что присяжные оправдывают преступников; что же заговорят, когда суд оправдает. Я не согласен ни в каком случае.

Председатель посмотрел на часы.

— Жаль, но что же делать,— и подал вопросы старшине для прочтения.

Все встали, и старшина, переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прочел вопросы и ответы. Все судейские: секретарь, адвокаты, даже прокурор, выразили удивление.

Подсудимые сидели невозмутимо, очевидно не понимая значения ответов. Опять все сели, и председатель спросил прокурора, каким наказаниям он полагает подвергнуть подсудимых.

Прокурор, обрадованный неожиданным успехом относительно Масловой, приписывая этот успех своему красноречию, справился где-то, привстал и сказал:

— Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452-й и 4 пункта 1453. Евфимию Бочкову на основании статьи 1659-й и Екатерину Маслову на основании статьи 1454-й.

Все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить.

— Суд удалится для постановления решения,— сказал председатель, вставая.

Все поднялись за ним и с облегчением и приятным чувством совершенного хорошего дела стали выходить или передвигаться по зале.

— А ведь мы, батюшка, постыдно наврали,— сказал Петр Герасимович, подойдя к Нехлюдову, которому старшина рассказывал что-то.— Ведь мы ее в каторгу закатали.

— Что вы говорите? — вскрикнул Нехлюдов, на этот раз не замечая вовсе неприятной фамильярности учителя.

— Да как же,— сказал он.— Мы не поставили в ответе: «Виновна, но без намерения лишить жизни». Мне сейчас секретарь говорил: прокурор подводит ее под пятнадцать лет каторги.

— Да ведь так решили,— сказал старшина.

Петр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерения лишить жизни.

— Да ведь я прочел ответы перед тем, как выходить,— оправдывался старшина.— Никто не возражал.

— Я в это время выходил из комнаты,— сказал Петр Герасимович.— А вы-то как прозевали?

— Я никак не думал,— сказал Нехлюдов.

— Вот и не думали.

— Да это можно поправить,— сказал Нехлюдов.

— Ну, нет, теперь кончено.

Нехлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решилась, все так же неподвижно сидели за своей решеткой перед солдатами. Маслова улыбалась чему-то. И в душе Нехлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя ее оправдание и оставление в городе, он был в нерешительности, как отнестись к ней; и отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожали возможность всякого отношения к ней: недобитая птица перестала бы трепаться в ягдташе и напоминать о себе.

XXIV

Предположения Петра Герасимовича были справедливы.

Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу и прочел:

— «188* года апреля 28 дня, по указу его императорского величества, окружный суд, по уголовному отделению, в силу решения господ присяжных заседателей, на основании 3 пункта статьи 771, 3 пункта статьи 776 и статьи 777 Устава уголовного судопроизводства, определил: крестьянина Симона Картинкина, 33 лет, и мещанку Екатерину Маслову, 27 лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы: Картинкина на 8 лет, а Маслову на 4 года, с последствиями для обоих по 28 статье Уложения. Мещанку же Евфимию Бочкову, 43 лет, лишив всех особенных, лично и по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, заключить в тюрьму сроком на 3 года с последствиями по 49 статье Уложения. Судебные по сему делу издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по делу сему доказательства продать, кольцо возвратить, склянки уничтожить».

Картинкин стоял, так же вытягиваясь, держа руки с оттопыренными пальцами по швам и шевеля щеками. Бочкова казалась совершенно спокойной. Услыхав решенье, Маслова багрово покраснела.

— Не виновата я, не виновата! — вдруг на всю залу вскрикнула она.— Грех это. Не виновата я. Не хотела, не думала. Верно говорю. Верно.— И, опустившись на лавку, она громко зарыдала.

Когда Картинкин и Бочкова вышли, она все еще сидела на месте и плакала, так что жандарм должен был тронуть ее за рукав халата.

«Нет, это невозможно так оставить»,— проговорил сам с собой Нехлюдов, совершенно забыв свое дурное чувство, и, сам не зная зачем, поспешил в коридор еще раз взглянуть на нее. В дверях

теснилась оживленная толпа выходивших присяжных и адвокатов, довольных окончанием дела, так что он несколько минут задержался в дверях. Когда же он вышел в коридор, она была уже далеко. Скорыми шагами, не думая о том внимании, которое он обращал на себя, он догнал и обогнал ее и остановился. Она уже перестала плакать и только порывисто всхлипывала, отирая покрасневшее пятнами лицо концом косынки, и прошла мимо него, не оглядываясь. Пропустив ее, он поспешно вернулся назад, чтобы увидать председателя, но председатель уже ушел.

Нехлюдов нагнал его только в швейцарской.

— Господин председатель,— сказал Нехлюдов, подходя к нему в ту минуту, как тот уже надел светлое пальто и брал палку с серебряным набалдашником, подаваемую швейцаром,— могу я поговорить с вами о деле, которое сейчас решилось? Я — присяжный.

— Да, как же, князь Нехлюдов? Очень приятно, мы уже встречались,— сказал председатель, пожимая руку и с удовольствием вспоминая, как хорошо и весело он танцевал — лучше всех молодых — в тот вечер, как встретился с Нехлюдовым.— Чем могу служить?

— Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге,— с сосредоточенно мрачным видом сказал Нехлюдов.

— Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же,— сказал председатель, подвигаясь к выходной двери,— хотя ответы и суду показались несоответственны делу.

Он вспомнил, что хотел разъяснить присяжным то, что их ответ: «Да — виновна», без отрицания умысла убийства, утверждает убийство с умыслом, но, торопясь кончить, не сделал этого.

— Да, но разве нельзя поправить ошибку?

— Повод к кассации всегда найдется. Надо обратиться к адвокатам,— сказал председатель, немножко набок надевая шляпу и продолжая двигаться к выходу.

— Но ведь это ужасно.

— Ведь, видите ли, Масловой предстояло одно из двух,— очевидно желая быть как можно приятнее и учтивее с Нехлюдовым, сказал председатель, расправив бакенбарды сверх воротника пальто, и, взяв его слегка под локоть и направляя к выходной двери, он продолжал: — Вы ведь тоже идете?

— Да,— сказал Нехлюдов, поспешно одеваясь, и пошел с ним.

Они вышли на яркое веселящее солнце, и тотчас же надо было говорить громче от грохота колес по мостовой.

— Положение, изволите видеть, странное,— продолжал председатель, возвышая голос,— тем, что ей, этой Масловой, предстояло одно из двух: или почти оправдание, тюремное заключение, в кото-

рое могло быть зачислено и то, что она уже сидела, даже только арест, или каторга,— середины нет. Если бы вы прибавили слова: «Но без намерения причинить смерть», то она была бы оправдана.

— Я непростительно упустил это,— сказал Нехлюдов.

— Вот в этом все дело,— улыбаясь, сказал председатель, глядя на часы.

Оставалось только три четверти часа до последнего срока, назначенного Кларой.

— Теперь, если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод к кассации. Это всегда можно найти. На Дворянскую,— отвечал он извозчику,— тридцать копеек, никогда больше не плачу.

— Ваше превосходительство, пожалуйте.

— Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова, на Дворянской, легко запомнить.

И он, ласково поклонившись, уехал.

XXV

Разговор с председателем и чистый воздух несколько успокоили Нехлюдова. Он подумал теперь, что испытываемое им чувство было им преувеличено вследствие всего утра, проведенного в таких непривычных условиях.

«Разумеется, удивительное и поразительное совпадение! И необходимо сделать все возможное, чтобы облегчить ее участь, и сделать это скорее. Сейчас же. Да, надо тут, в суде, узнать, где живет Фанарин или Микишин». Он вспомнил двух известных адвокатов.

Нехлюдов вернулся в суд, снял пальто и пошел наверх. В первом же коридоре он встретил Фанарина. Он остановил его и сказал, что имеет до него дело. Фанарин знал его в лицо и по имени и сказал, что очень рад сделать все приятное.

— Хотя я и устал... но если недолго, то скажите мне ваше дело,— пойдемте сюда.

И Фанарин ввел Нехлюдова в какую-то комнату, вероятно, кабинет какого-нибудь судьи. Они сели у стола.

— Ну-с, в чем дело?

— Прежде всего я буду вас просить,— сказал Нехлюдов,— о том, чтобы никто не знал, что я принимаю участие в этом деле.

— Ну, это само собой разумеется. Итак...

— Я нынче был присяжным, и мы осудили женщину в каторжные работы — невинную. Меня это мучает.

Нехлюдов неожиданно для себя покраснел и замялся.

Фанарин блеснул на него глазами и опять опустил их, слушая.

— Ну-с,— только проговорил он.

— Осудили невинную, и я желал бы кассировать дело и перенести его в высшую инстанцию.

— В сенат,— поправил Фанарин.

— И вот я прошу вас взяться за это.

Нехлюдов хотел кончить поскорее самое трудное и потому тут же сказал:

— Вознаграждение, расходы по этому делу я беру на себя, какие бы они ни были,— сказал он, краснея.

— Ну, это мы условимся,— снисходительно улыбаясь его неопытности, сказал адвокат.

— В чем же дело?

Нехлюдов рассказал.

— Хорошо-с, завтра я возьму дело и просмотрю его. А послезавтра, нет, в четверг, приезжайте ко мне в шесть часов вечера, и я дам вам ответ. Так та́к? Ну и пойдемте, мне еще тут нужны справки.

Нехлюдов простился с ним и вышел.

Беседа с адвокатом и то, что он принял уже меры для защиты Масловой, еще более успокоили его. Он вышел на двор. Погода была прекрасная, он радостно вдохнул весенний воздух. Извозчики предлагали свои услуги, но он пошел пешком, и тотчас же целый рой мыслей и воспоминаний о Катюше и об его поступке с ней закружились в его голове. И ему стало унылo и все показалось мрачно. «Нет, это я обдумаю после,— сказал он себе,— а теперь, напротив, надо развлечься от тяжелых впечатлений».

Он вспомнил об обеде Корчагиных и взглянул на часы. Было еще не поздно, и он мог поспеть к обеду. Мимо звонила конка. Он пустился бежать и вскочил в нее. На площади он соскочил, взял хорошего извозчика и через десять минут был у крыльца большого дома Корчагиных.

XXVI

— Пожалуйте, ваше сиятельство, ожидают,— сказал ласковый жирный швейцар большого дома Корчагиных, отворяя бесшумно двигавшуюся на английских петлях дубовую дверь подъезда.— Кушают, только вас велено просить.

Швейцар подошел к лестнице и позвонил наверх.

— Кто-нибудь есть? — спросил Нехлюдов, раздеваясь.

— Господин Колосов да Михаил Сергеевич; а то все свои,— отвечал швейцар.

С лестницы выглянул красавец лакей во фраке и белых перчатках.

— Пожалуйте, ваше сиятельство,— сказал он.— Приказано просить.

Нехлюдов вошел на лестницу и по знакомой великолепной и просторной зале прошел в столовую. В столовой за столом сидело все семейство, за исключением матери, княгини Софьи Васильевны, никогда не выходившей из своего кабинета. Вверху стола сидел старик Корчагин; рядом с ним, с левой стороны, доктор, с другой — гость Иван Иванович Колосов, бывший губернский предводитель, теперь член правления банка, либеральный товарищ Корчагина; потом с левой стороны — miss Редер, гувернантка маленькой сестры Мисси, и сама четырехлетняя девочка; с правой, напротив,— брат Мисси, единственный сын Корчагиных, гимназист VI класса, Петя, для которого вся семья, ожидая его экзаменов, оставалась в городе, еще студент-репетитор; потом слева — Катерина Алексеевна, сорокалетняя девица-славянофилка; напротив — Михаил Сергеевич, или Миша Телегин, двоюродный брат Мисси, и внизу стола сама Мисси и подле нее нетронутый прибор.

— Ну вот и прекрасно. Садитесь, мы еще только за рыбой,— с трудом и осторожно жуя вставными зубами, проговорил старик Корчагин, поднимая на Нехлюдова налитые кровью без видимых век глаза.— Степан,— обратился он с полным ртом к толстому величественному буфетчику, указывая глазами на пустой прибор.

Хотя Нехлюдов хорошо знал и много раз и за обедом видал старого Корчагина, нынче как-то особенно неприятно поразило его это красное лицо с чувственными смакующими губами над заложенной за жилет салфеткой и жирная шея, главное — вся эта упитанная генеральская фигура. Нехлюдов невольно вспомнил то, что знал о жестокости этого человека, который, бог знает для чего,— так как он был богат и знатен и ему не нужно было выслуживаться,— сек и даже вешал людей, когда был начальником края.

— Сию минуту подадут, ваше сиятельство,— сказал Степан, доставая из буфета, уставленного серебряными вазами, большую разливательную ложку и кивая красавцу лакею с бакенбардами, который сейчас же стал оправлять рядом с Мисси нетронутый прибор, покрытый искусно сложенной крахмаленной с торчащим гербом салфеткой.

Нехлюдов обошел весь стол, всем пожимая руки. Все, кроме старого Корчагина и дам, вставали, когда он подходил к ним. И это обхождение стола и пожимание рук всем присутствующим, хотя с большинством из них он никогда не разговаривал, показалось ему нынче особенно неприятным и смешным. Он извинился за то, что опоздал, и хотел сесть на пустое место на конце стола между Мисси и Катериной Алексеевной, но старик Корчагин потребовал, чтобы он, если уже не пьет водки, то все-таки закусил бы у стола,

на котором были омары, икра, сыры, селедки. Нехлюдов не ожидал того, что он так голоден, но, начавши есть хлеб с сыром, не мог остановиться и жадно ел.

— Ну, что же, подрывали основы? — сказал Колосов, иронически употребляя выражение ретроградной газеты, восставшей против суда присяжных.— Оправдали виноватых, обвинили невинных, да?

— Подрывали основы... Подрывали основы...— повторил, смеясь, князь, питавший неограниченное доверие к уму и учености своего либерального товарища и друга.

Нехлюдов, рискуя быть неучтивым, ничего не ответил Колосову и, сев за поданный дымящийся суп, продолжал жевать.

— Дайте же ему поесть,— улыбаясь, сказала Мисси, этим местоимением «ему» напоминая свою с ним близость.

Колосов между тем бойко и громко рассказывал содержание возмутившей его статьи против суда присяжных. Ему поддакивал Михаил Сергеевич, племянник, и рассказал содержание другой статьи той же газеты.

Мисси, как всегда, была очень distinguée [1] и хорошо, незаметно хорошо, одета.

— Вы, должно быть, страшно устали, голодны,— сказала она Нехлюдову, дождавшись, чтоб он прожевал.

— Нет, не особенно. А вы? ездили смотреть картины? — спросил он.

— Нет, мы отложили. А мы были на lawn tennis'e [2] у Саламатовых. И действительно, мистер Крукс удивительно играет.

Нехлюдов приехал сюда, чтобы развлечься, и всегда ему в этом доме бывало приятно, не только вследствие того хорошего тона роскоши, которая приятно действовала на его чувства, но и вследствие той атмосферы льстивой ласки, которая незаметно окружала его. Нынче же, удивительное дело, все в этом доме было противно ему — все, начиная от швейцара, широкой лестницы, цветов, лакеев, убранства стола до самой Мисси, которая нынче казалась ему непривлекательной и ненатуральной. Ему неприятен был и этот самоуверенный, пошлый, либеральный тон Колосова, неприятна была бычачья, самоуверенная, чувственная фигура старика Корчагина, неприятны были французские фразы славянофилки Катерины Алексеевны, неприятны были стесненные лица гувернантки и репетитора, особенно неприятно было местоимение «ему», сказанное о нем... Нехлюдов всегда колебался между двумя отношениями к Мисси: то он, как бы прищуриваясь или как бы

---

[1] изящна *(франц.)*.

[2] теннисе *(англ.)*.

при лунном свете, видел в ней все прекрасное: она казалась ему и свежа, и красива, и умна, и естественна... А то вдруг он, как бы при ярком солнечном свете, видел, не мог не видеть того, чего недоставало ей. Нынче был для него такой день. Он видел нынче все морщинки на ее лице, знал, видел, как взбиты волосы, видел остроту локтей и, главное, видел широкий ноготь большого пальца, напоминавший такой же ноготь отца.

— Прескучная игра,— сказал Колосов о теннисе,— гораздо веселее была лапта, как мы играли в детстве.

— Нет, вы не испытали. Это страшно увлекательно,— возразила Мисси, особенно ненатурально произнося слово «страшно», как показалось Нехлюдову.

И начался спор, в котором приняли участие и Михаил Сергеевич и Катерина Алексеевна. Только гувернантка, репетитор и дети молчали и, видимо, скучали.

— Вечно спорят! — громко хохоча, проговорил старик Корчагин, вынимая салфетку из-за жилета, и, гремя стулом, который тотчас же подхватил лакей, встал из-за стола. За ним встали и все остальные и подошли к столику, где стояли полоскательницы и налита была теплая душистая вода, и, выполаскивая рты, продолжали никому не интересный разговор.

— Не правда ли? — обратилась Мисси к Нехлюдову, вызывая его на подтверждение своего мнения о том, что ни в чем так не виден характер людей, как в игре. Она видела на его лице то сосредоточенное и, как ей казалось, осудительное выражение, которого она боялась в нем, и хотела узнать, чем оно вызвано.

— Право, не знаю, я никогда не думал об этом,— отвечал Нехлюдов.

— Пойдемте к мама? — спросила Мисси.

— Да, да,— сказал он, доставая папироску, и таким тоном, который явно говорил, что ему не хотелось бы идти.

Она молча, вопросительно посмотрела на него, и ему стало совестно. «В самом деле, приехать к людям для того, чтобы наводить на них скуку»,— подумал он о себе и, стараясь быть любезным, сказал, что с удовольствием пойдет, если княгиня примет.

— Да, да, мама будет рада. Курить и там можете. И Иван Иванович там.

Хозяйка дома, княгиня Софья Васильевна, была лежачая дама. Она восьмой год при гостях лежала, в кружевах и лентах, среди бархата, позолоты, слоновой кости, бронзы, лака и цветов и никуда не ездила и принимала, как она говорила, только «своих друзей», то есть все то, что, по ее мнению, чем-нибудь выделялось из толпы. Нехлюдов был принимаем в числе этих друзей и потому, что он считался умным молодым человеком, и потому, что его мат'

была близким другом семьи, и потому, что хорошо бы было, если бы Мисси вышла за него.

Комната княгини Софьи Васильевны была за большою и маленькой гостиными. В большой гостиной Мисси, шедшая впереди Нехлюдова, решительно остановилась и, взявшись за спинку золоченого стульчика, посмотрела на него.

Мисси очень хотела выйти замуж, и Нехлюдов был хорошая партия. Кроме того, он нравился ей, и она приучила себя к мысли, что он будет ее (не она будет его, а он ее), и она с бессознательной, но упорной хитростью, такою, какая бывает у душевнобольных, достигала своей цели. Она заговорила с ним теперь, чтобы вызвать его на объяснение.

— Я вижу, что с вами случилось что-то,— сказала она.— Что с вами?

Он вспомнил про свою встречу в суде, нахмурился и покраснел.

— Да, случилось,— сказал он, желая быть правдивым,— и странное, необыкновенное и важное событие.

— Что же? Вы не можете сказать, что?

— Не могу теперь. Позвольте не говорить. Случилось то, что я еще не успел вполне обдумать,— сказал он и покраснел еще более.

— И вы не скажете мне? — Мускул на лице ее дрогнул, и она двинула стульчиком, за который держалась.

— Нет, не могу,— отвечал он, чувствуя, что, отвечая ей так, он отвечал себе, признавая, что действительно с ним случилось что-то очень важное.

— Ну, так пойдемте.

Она тряхнула головой, как бы отгоняя ненужные мысли, и пошла вперед более быстрым, чем обыкновенно, шагом.

Ему показалось, что она неестественно сжала рот, чтобы удержать слезы. Ему стало совестно и больно, что он огорчил ее, но он знал, что малейшая слабость погубит его, то есть свяжет. А он нынче боялся этого больше всего, и он молча дошел с ней до кабинета княгини.

XXVII

Княгиня Софья Васильевна кончила свой обед, очень утонченный и очень питательный, который она съедала всегда одна, чтобы никто не видал ее в этом непоэтическом отправлении. У кушетки ее стоял столик с кофе, и она курила пахитоску. Княгиня Софья Васильевна была худая, длинная, все еще молодящаяся брюнетка с длинными зубами и большими черными глазами.

Говорили дурное про ее отношения с доктором. Нехлюдов прежде забывал это, но нынче он не только вспомнил, но, когда он увидал у ее кресла доктора с его намасленной, лоснящейся раздвоенной бородой, ему стало ужасно противно.

Рядом с Софьей Васильевной на низком мягком кресле сидел Колосов у столика и помешивал кофе. На столике стояла рюмка ликера.

Мисси вошла вместе с Нехлюдовым к матери, но не осталась в комнате.

— Когда мама устанет и прогонит вас, приходите ко мне,— сказала она, обращаясь к Колосову и Нехлюдову таким тоном, как будто ничего не произошло между ними, и, весело улыбнувшись, неслышно шагая по толстому ковру, вышла из комнаты.

— Ну, здравствуйте, мой друг, садитесь и рассказывайте,— сказала княгиня Софья Васильевна с своей искусной, притворной, совершенно похожей на натуральную, улыбкой, открывавшей прекрасные длинные зубы, чрезвычайно искусно сделанные, совершенно такие же, какими были настоящие.— Мне говорят, что вы приехали из суда в очень мрачном настроении. Я думаю, что это очень тяжело для людей с сердцем,— сказала она по-французски.

— Да, это правда,— сказал Нехлюдов,— часто чувствуешь свою не... чувствуешь, что не имеешь права судить...

— Comme c'est vrai [1],— как будто пораженная истинностью его замечания, воскликнула она, как всегда искусно льстя своему собеседнику.

— Ну, а что же ваша картина, она очень интересует меня,— прибавила она.— Если бы не моя немощь, уж я давно бы была у вас.

— Я совсем оставил ее,— сухо отвечал Нехлюдов, которому нынче неправдивость ее лести была так же очевидна, как и скрываемая ею старость. Он никак не мог настроить себя, чтобы быть любезным.

— Напрасно! Вы знаете, мне сказал сам Репин, что у него положительный талант,— сказала она, обращаясь к Колосову.

«Как ей не совестно так врать»,— хмурясь, думал Нехлюдов.

Убедившись, что Нехлюдов не в духе и нельзя его вовлечь в приятный и умный разговор, Софья Васильевна обратилась к Колосову с вопросом об его мнении о новой драме таким тоном, как будто это мнение Колосова должно было решить всякие сомнения и каждое слово этого мнения должно быть увековечено. Колосов осуждал драму и высказывал по этому случаю свои суждения об искусстве. Княгиня Софья Васильевна поражалась верностью его

[1] Как это верно *(франц.)*.

суждений, пыталась защищать автора драмы, но тотчас же или сдавалась, или находила среднее. Нехлюдов смотрел и слушал и видел и слышал совсем не то, что было перед ним.

Слушая то Софью Васильевну, то Колосова, Нехлюдов видел, во-первых, что ни Софье Васильевне, ни Колосову нет никакого дела ни до драмы, ни друг до друга, а что если они говорят, то только для удовлетворения физиологической потребности после еды пошевелить мускулами языка и горла; во-вторых, то, что Колосов, выпив водки, вина, ликера, был немного пьян, не так пьян, как бывают пьяны редко пьющие мужики, но так, как бывают пьяны люди, сделавшие себе из вина привычку. Он не шатался, не говорил глупостей, но был в ненормальном возбужденно-довольном собою состоянии; в-третьих, Нехлюдов видел то, что княгиня Софья Васильевна среди разговора с беспокойством смотрела на окно, через которое до нее начинал доходить косой луч солнца, который мог слишком ярко осветить ее старость.

— Как это верно,— сказала она про какое-то замечание Колосова и пожала в стене у кушетки пуговку звонка.

В это время доктор встал и, как домашний человек, ничего не говоря, вышел из комнаты. Софья Васильевна проводила его глазами, продолжая разговор.

— Пожалуйста, Филипп, опустите эту гардину,— сказала она, указывая глазами на гардину окна, когда на звонок ее вошел красавец лакей.

— Нет, как ни говорите, в нем есть мистическое, а без мистического нет поэзии,— говорила она, одним черным глазом сердито следя за движениями лакея, который опускал гардину.

— Мистицизм без поэзии — суеверие, а поэзия без мистицизма — проза,— сказала она, печально улыбаясь и не спуская взгляда с лакея, который расправлял гардину.

— Филипп, вы не ту гардину,— у большого окна,— страдальчески проговорила Софья Васильевна, очевидно жалевшая себя за те усилия, которые ей нужно было сделать, чтобы выговорить эти слова, и тотчас же для успокоения поднося ко рту рукой, покрытой перстнями, пахучую дымящуюся пахитоску.

Широкогрудый, мускулистый красавец Филипп слегка поклонился, как бы извиняясь, и, слегка ступая по ковру своими сильными, с выдающимися икрами ногами, покорно и молча перешел к другому окну и, старательно взглядывая на княгиню, стал так расправлять гардину, чтобы ни один луч не смел падать на нее. Но и тут он сделал не то, и опять измученная Софья Васильевна должна была прервать свою речь о мистицизме и поправить непонятливого и безжалостно тревожащего ее Филиппа. На мгновение в глазах Филиппа вспыхнул огонек.

«А черт тебя разберет, что тебе нужно,— вероятно, внутренно проговорил он»,— подумал Нехлюдов, наблюдая всю эту игру. Но красавец и силач Филипп тотчас же скрыл свое движение нетерпения и стал покойно делать то, что приказывала ему изможденная, бессильная, вся фальшивая княгиня Софья Васильевна.

— Разумеется, есть большая доля правды в учении Дарвина,— говорил Колосов, развалясь на низком кресле, сонными глазами глядя на княгиню Софью Васильевну,— но он переходит границы. Да.

— А вы верите в наследственность? — спросила княгиня Софья Васильевна Нехлюдова, тяготясь его молчанием.

— В наследственность? — переспросил Нехлюдов.— Нет, не верю,— сказал он, весь поглощенный в эту минуту теми странными образами, которые почему-то возникли в его воображении. Рядом с силачом, красавцем Филиппом, которого он вообразил себе натурщиком, он представил себе Колосова нагим, с его животом в виде арбуза, плешивой головой и безмускульными, как плети, руками. Так же смутно представлялись ему и закрытые теперь шелком и бархатом плечи Софьи Васильевны, какими они должны быть в действительности, но представление это было слишком страшно, и он постарался отогнать его.

Софья Васильевна смерила его глазами.

— Однако Мисси вас ждет,— сказала она.— Подите к ней, она хотела вам сыграть новую вещь Шумана... Очень интересно.

«Ничего она не хотела играть. Все это она для чего-то врет»,— подумал Нехлюдов, вставая и пожимая прозрачную, костлявую, покрытую перстнями руку Софьи Васильевны.

В гостиной его встретила Катерина Алексеевна и тотчас же заговорила.

— Однако я вижу, что на вас обязанности присяжного действуют угнетающе,— сказала она, как всегда, по-французски.

— Да, простите меня, я нынче не в духе и не имею права на других наводить тоску,— сказал Нехлюдов.

— Отчего вы не в духе?

— Позвольте мне не говорить отчего,— сказал он, отыскивая свою шляпу.

— А помните, как вы говорили, что надо всегда говорить правду, и как вы тогда всем нам говорили такие жестокие правды. Отчего же теперь вы не хотите сказать? Помнишь, Мисси? — обратилась Катерина Алексеевна к вышедшей к ним Мисси.

— Оттого, что то была игра,— ответил Нехлюдов серьезно.— В игре можно. А в действительности мы так дурны, то

есть я так дурен, что мне по крайней мере говорить правды нельзя.

— Не поправляйтесь, а лучше скажите, чем же мы так дурны,— сказала Катерина Алексеевна, играя словами и как бы не замечая серьезности Нехлюдова.

— Нет ничего хуже, как признавать себя не в духе,— сказала Мисси.— Я никогда не признаюсь в этом себе и от этого всегда бываю в духе. Что ж, пойдемте ко мне. Мы постараемся разогнать вашу mauvaise humeur [1].

Нехлюдов испытал чувство, подобное тому, которое должна испытывать лошадь, когда ее оглаживают, чтобы надеть узду и вести запрягать. А ему нынче больше чем когда-нибудь было неприятно возить. Он извинился, что ему надо домой, и стал прощаться. Мисси дольше обыкновенного удержала его руку.

— Помните, что то, что важно для вас, важно и для ваших друзей,— сказала она.— Завтра приедете?

— Едва ли,— сказал Нехлюдов, и, чувствуя стыд, он сам не знал, за себя или за нее, он покраснел и поспешно вышел.

— Что такое? Comme cela m'intrigue [2],— говорила Катерина Алексеевна, когда Нехлюдов ушел.— Я непременно узнаю. Какая-нибудь affaire d'amour-propre: il est très susceptible, notre cher Митя [3].

«Plutôt une affaire d'amour sale» [4],— хотела сказать и не сказала Мисси, глядя перед собой с совершенно другим, потухшим лицом, чем то, с каким она смотрела на него, но она не сказала даже Катерине Алексеевне этого каламбура дурного тона, а сказала только:

— У всех нас бывают и дурные и хорошие дни.

«Неужели и этот обманет,— подумала она.— После всего, что было, это было бы очень дурно с его стороны».

Если бы Мисси должна была объяснить, что она разумеет под словами: «после всего, что было», она не могла бы ничего сказать определенного, а между тем она несомненно знала, что он не только вызвал в ней надежду, но почти обещал ей. Все это были не определенные слова, но взгляды, улыбки, намеки, умолчания. Но она все-таки считала его своим, и лишиться его было для нее очень тяжело.

---

[1] дурное настроение *(франц.)*.

[2] Как это меня занимает *(франц.)*.

[3] Какое-нибудь дело, в котором замешано самолюбие: он очень обидчив, наш дорогой Митя *(франц.)*.

[4] Скорее дело, в котором замешана грязная любовь *(франц.)*.

«Стыдно и гадко, гадко и стыдно»,— думал между тем Нехлюдов, пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. Тяжелое чувство, испытанное им от разговора с Мисси, не покидало его. Он чувствовал, что формально, если можно так выразиться, он был прав перед нею: он ничего не сказал ей такого, что бы связывало его, не делал ей предложения, но по существу он чувствовал, что связал себя с нею, обещал ей, а между тем нынче он почувствовал всем существом своим, что не может жениться на ней. «Стыдно и гадко, гадко и стыдно,— повторял он себе не об одних отношениях к Мисси, но обо всем.— Все гадко и стыдно»,— повторял он себе, входя на крыльцо своего дома.

— Ужинать не буду,— сказал он Корнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай.— Вы идите.

— Слушаю,— сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола. Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое, а ему казалось, что все, как нарочно, назло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай, но, услыхав шаги Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта — гостиная — была та самая, в которой три месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную двумя лампами с рефлекторами — одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери, и эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий, а в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий.

Желая вызвать в себе хорошее воспоминание о ней, он взглянул на ее портрет, за пять тысяч рублей написанный знаменитым живописцем. Она была изображена в бархатном черном платье, с обнаженной грудью. Художник, очевидно, с особенным стараньем выписал грудь, промежуток между двумя грудями и ослепительные по красоте плечи и шею. Это было уже совсем стыдно и гадко. Что-то было отвратительное и кощунственное в этом изображении матери в виде полуобнаженной красавицы. Это было тем более отвратительно, что в этой же комнате три месяца тому назад лежала эта женщина, ссохшаяся, как мумия, и все-таки наполнявшая мучительно тяжелым запахом, который ничем нельзя было заглушить, не только всю комнату, но и весь дом. Ему каза-

лось, что он и теперь слышал этот запах. И он вспомнил, как за день до смерти она взяла его сильную белую руку своей костлявой чернеющей ручкой, посмотрела ему в глаза и сказала: «Не суди меня, Митя, если я не то сделала», и на выцветших от страданий глазах выступили слезы. «Какая гадость!» — сказал он себе еще раз, взглянув на полуобнаженную женщину с великолепными мраморными плечами и руками и с своей победоносной улыбкой. Обнаженность груди на портрете напомнила ему другую молодую женщину, которую он видел на днях также обнаженной. Это была Мисси, которая придумала предлог вызвать его вечером к себе, чтобы показаться ему в бальном платье, в котором она ехала на бал. Он с отвращением вспомнил об ее прекрасных плечах и руках. И этот грубый, животный отец с своим прошедшим, жестокостью, и сомнительной репутации bel esprit[1] мать. Все это было отвратительно и вместе с тем стыдно. Стыдно и гадко, гадко и стыдно.

«Нет, нет,— думал он,— освободиться надо, освободиться от всех этих фальшивых отношений и с Корчагиными, и с Марьей Васильевной, и с наследством, и со всем остальным... Да, подышать свободно. Уехать за границу — в Рим, заняться своей картиной...— Он вспомнил свои сомнения насчет своего таланта.— Ну, да все равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества. И устроить это дело с адвокатом».

И вдруг в его воображении с необыкновенною живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых! Он поспешно, туша ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперед по компате. И одна за другою стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил заутреню. «Ведь я любил ее, истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь, любил ее еще прежде, да еще как любил тогда, когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение!» И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. На него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно.

Различие между ним, каким он был тогда и каким он был теперь, было огромно: оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бод-

[1] остроумия *(франц.)*.

рый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности,— теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, да даже большей частью и не хотел выходить. Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямотой, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив и как он теперь был весь во лжи — в самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его, правдой. И не было из этой лжи, по крайней мере он не видел из этой лжи никакого выхода. И он загряз в ней, привык к ней, нежился в ней.

Как развязать отношения с Марьей Васильевной, с ее мужем так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям? Как без лжи распутать отношения с Мисси? Как выбраться из того противоречия между признанием незаконности земельной собственности и владением наследством от матери? Как загладить свой грех перед Катюшей? Нельзя же это оставить так. «Нельзя бросить женщину, которую я любил, и удовлетвориться тем, что я заплачу деньги адвокату и избавлю ее от каторги, которой она и не заслуживает, загладить вину деньгами, как я тогда думал, что сделал, что должно, дав ей деньги».

И он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул ей деньги и убежал от нее. «Ах, эти деньги! — с ужасом и отвращением, такими же, как и тогда, вспоминал он эту минуту.— Ах, ах! какая гадость! — так же, как и тогда, вслух проговорил он.— Только мерзавец, негодяй мог это сделать! И я, я тот негодяй и тот мерзавец! — вслух заговорил он.— Да неужели в самом деле,— он остановился на ходу,— неужели я в самом деле, неужели я точно негодяй? А то кто же? — ответил он себе.— Да разве это одно? — продолжал он уличать себя.— Разве не гадость, не низость твое отношение к Марье Васильевне и ее мужу? И твое отношение к имуществу? Под предлогом, что деньги от матери, пользоваться богатством, которое считаешь незаконным. И вся твоя праздная, скверная жизнь. И венец всего — твой поступок с Катюшей. Негодяй, мерзавец! Они (люди) как хотят пусть судят обо мне, их я могу обмануть, но себя-то я не обману».

И он вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности пынче, и к князю, и к Софье Васильевне, и к Мисси, и к Корнею, было отвращение к самому себе. И удивительное дело: в этом чувстве признания своей подлости было что-то болезненное и вместе радостное и успокоительное.

С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл «чисткой души». Чисткой души называл он такое душевное

состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот сор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки.

Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда: писал дневник и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять,— turning a new leaf [1], как он говорил себе. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он, сам того не замечая, опять падал, и часто ниже того, каким он был прежде.

Так он очищался и поднимался несколько раз; так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение. И последствия его продолжались довольно долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро. Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью.

С тех пор и до нынешнего дня прошел длинный период без чистки, и потому никогда еще он не доходил до такого загрязнения, до такого разлада между тем, чего требовала его совесть, и той жизнью, которую он вел, и он ужаснулся, увидев это расстояние.

Расстояние это было так велико, загрязнение так сильно, что в первую минуту он отчаялся в возможности очищения. «Ведь уже пробовал совершенствоваться и быть лучше, и ничего не вышло,— говорил в душе его голос искусителя,— так что же пробовать еще раз? Не ты один, а все такие — такова жизнь»,— говорил этот голос. Но то свободное, духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вечно, уже пробудилось в Нехлюдове. И он не мог не поверить ему. Как ни огромно было расстояние между тем, что он был, и тем, чем хотел быть,— для пробудившегося духовного существа представлялось все возможно.

«Разорву эту ложь, связывающую меня, чего бы это мне ни стоило, и признаю все и всем скажу правду и сделаю правду,— решительно вслух сказал он себе.— Скажу правду Мисси, что я распутник и не могу жениться на ней и только напрасно тревожил ее; скажу Марье Васильевне (жене предводителя). Впрочем, ей нечего говорить, скажу ее мужу, что я негодяй, обманывал его. С наследством распоряжусь так, чтобы признать правду. Скажу ей, Катюше, что я негодяй, виноват перед ней, и сделаю все, что могу, чтобы облегчить ее судьбу. Да, увижу ее и буду просить ее

---

[1] перевернуть страницу *(англ.)*.

простить меня. Да, буду просить прощенья, как дети просят.— Он остановился.— Женюсь на ней, если это нужно».

Он остановился, сложил руки перед грудью, как он делал это, когда был маленький, поднял глаза кверху и проговорил, обращаясь к кому-то:

— Господи, помоги мне, научи меня, приди и вселися в меня и очисти меня от всякия скверны!

Он молился, просил бога помочь ему, вселиться в него и очистить его, а между тем то, о чем он просил, уже совершилось. Бог, живший в нем, проснулся в его сознании. Он почувствовал себя им и потому почувствовал не только свободу, бодрость и радость жизни, но почувствовал все могущество добра. Все, все самое лучшее, что только мог сделать человек, он чувствовал себя теперь способным сделать.

На глазах его были слезы, когда он говорил себе это, и хорошие и дурные слезы; хорошие слезы потому, что это были слезы радости пробуждения в себе того духовного существа, которое все эти года спало в нем, и дурные потому, что они были слезы умиления над самим собою, над своей добродетелью.

Ему стало жарко. Он подошел к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная тихая свежая ночь, по улице прогремели колеса, и потом все затихло. Прямо под окном виднелась тень сучьев оголенного высокого тополя, всеми своими развилинами отчетливо лежащая на песке расчищенной площадки. Налево была крыша сарая, казавшаяся белой под ярким светом луны. Впереди переплетались сучья деревьев, из-за которых виднелась черная тень забора. Нехлюдов смотрел на освещенный луной сад и крышу и на тень тополя и вдыхал живительный свежий воздух.

«Как хорошо! Как хорошо, боже мой, как хорошо!» — говорил он про то, что было в его душе.

XXIX

Маслова вернулась домой в свою камеру только в шесть часов вечера, усталая и больная ногами после пройденных без привычки пятнадцати верст по камню, убитая неожиданно строгим приговором, сверх того голодная.

Когда еще во время одного перерыва сторожа закусывали подле нее хлебом и крутыми яйцами, у нее рот наполнился слюной, и она почувствовала, что голодна, но попросить у них она считала для себя унизительным. Когда же после этого прошло еще три часа, ей уже перестало хотеться есть, и она чувствовала толь-

ко слабость. В таком состоянии она услыхала неожиданный ею приговор. В первую минуту она подумала, что ослышалась, не могла сразу поверить тому, что слышала, не могла соединить себя с понятием каторжанки. Но, увидав спокойные, деловые лица судей, присяжных, принявших это известие как нечто вполне естественное, она возмутилась и закричала на всю залу, что она не виновата. Но, увидав то, что и крик ее был принят также как нечто естественное, ожидаемое и не могущее изменить дела, она заплакала, чувствуя, что надо покориться той жестокой и удивившей ее несправедливости, которая была произведена над ней. Удивляло ее в особенности то, что так жестоко осудили ее мужчины — молодые, не старые мужчины, те самые, которые всегда так ласково смотрели на нее. Одного — товарища прокурора — она видала совсем в другом настроении. В то время как она сидела в арестантской, дожидаясь суда, и в перерывах заседания она видела, как эти мужчины, притворяясь, что они идут за другим делом, проходили мимо дверей или входили в комнату только затем, чтобы оглядеть ее. И вдруг эти самые мужчины зачем-то приговорили ее в каторгу, несмотря на то, что она была невинна в том, в чем ее обвиняли. Сначала она плакала, но потом затихла и в состоянии полного отупения сидела в арестантской, дожидаясь отправки. Ей хотелось теперь только одного: покурить. В таком состоянии застали ее Бочкова и Картинкин, которых после приговора ввели в ту же комнату. Бочкова тотчас начала бранить Маслову и называть каторжной.

— Что, взяла? Оправилась? Небось не отвертелась, шлюха подлая. Чего заслужила, того и доспела. На каторге небось фантовство оставишь.

Маслова сидела, засунув руки в рукава халата, и, склонив низко голову, неподвижно смотрела на два шага перед собой, на затоптанный пол, и только говорила:

— Не трогаю я вас, вы и оставьте меня. Ведь я не трогаю,— повторила она несколько раз, потом совсем замолчала. Оживилась она немного только тогда, когда Картинкина и Бочкову увели и сторож принес ей три рубля денег.

— Ты Маслова? — спросил он.— На вот, тебе барыня прислала,— сказал он, подавая ей деньги.

— Какая барыня?

— Бери знай, разговаривать еще с вами.

Деньги эти прислала Китаева, содержательница дома терпимости. Уходя из суда, она обратилась к судебному приставу с вопросом, может ли она передать несколько денег Масловой. Судебный пристав сказал, что можно. Тогда, получив разрешенье, она сняла замшевую перчатку с тремя пуговицами с пухлой белой

руки, достала из задних складок шелковой юбки модный бумажник и, выбрав из довольно большого количества купонов, только что срезанных с билетов, заработанных ею в своем доме, один — в два рубля пятьдесят копеек, и присоединив к нему два двугривенных и еще гривенник, передала их приставу. Пристав позвал сторожа, и при жертвовательнице передал эти деньги сторожу.

— Пожалуйста, верно отдавайте,— сказала Каролина Альбертовна сторожу.

Сторож обиделся за это недоверие и потому так сердито обошелся с Масловой.

Маслова обрадовалась деньгам, потому что они давали ей то, чего одного она желала теперь.

«Только бы добыть папирос и затянуться»,— думала она, и все мысли ее сосредоточились на этом желании покурить. Ей так хотелось этого, что она жадно вдыхала воздух, когда в нем чувствовался запах табачного дыма, выходившего в коридор из дверей кабинетов. Но ей пришлось еще долго ждать, потому что секретарь, которому надо было отпустить ее, забыв про подсудимых, занялся разговором и даже спором о запрещенной статье с одним из адвокатов. Несколько и молодых и старых людей заходили и после суда взглянуть на нее, что-то шепча друг другу. Но она теперь и не замечала их.

Наконец в пятом часу ее отпустили, и конвойные — нижегородец и чувашин — повели ее из суда задним ходом. Еще в сенях суда она передала им двадцать копеек, прося купить два калача и папирос. Чувашин засмеялся, взял деньги и сказал:

— Ладно, купаем,— и действительно честно купил и папирос и калачей и отдал сдачу.

Дорогой нельзя было курить, так что Маслова с тем же неудовлетворенным желанием курения подошла к острогу. В то время как ее привели к дверям, с поезда железной дороги привели человек сто арестантов. В проходе она столкнулась с ними.

Арестанты — бородатые, бритые, старые, молодые, русские, инородцы, некоторые с бритыми полуголовами, гремя ножными кандалами, наполняли прихожую пылью, шумом шагов, говором и едким запахом пота. Арестанты, проходя мимо Масловой, все жадно оглядывали ее, и некоторые с измененными похотью лицами подходили к ней и задевали ее.

— Ай, девка, хороша,— говорил один.

— Тетеньке мое почтение,— говорил другой, подмигивая глазом.

Один, черный, с выбритым синим затылком и усами на бритом лице, путаясь в кандалах и гремя ими, подскочил к ней и обнял ее.

— Аль не спознала дружка? Будет модничать-то! — крикнул он, оскаливая зубы и блестя глазами, когда она оттолкнула его.

— Ты что, мерзавец, делаешь? — крикнул подошедший сзади помощник начальника.

Арестант весь сжался и поспешно отскочил. Помощник же накинулся на Маслову.

— Ты зачем тут?

Маслова хотела сказать, что ее привели из суда, но она так устала, что ей лень было говорить.

— Из суда, ваше благородие,— сказал старший конвойный, выходя из-за проходивших и прикладывая руку к шапке.

— Ну, и сдай старшому. А это что за безобразие!

— Слушаю, ваше благородие.

— Соколов! Принять,— крикнул помощник.

Старшой подошел и сердито ткнул Маслову в плечо и, кивнув ей головой, повел ее в женский коридор. В женском коридоре ее всю ощупали, обыскали и, не найдя ничего (коробка папирос была засунута в калаче), впустили в ту же камеру, из которой она вышла утром.

XXX

Камера, в которой содержалась Маслова, была длинная комната, в девять аршин длины и семь ширины, с двумя окнами, выступающею облезлой печкой и нарами с рассохшимися досками, занимавшими две трети пространства. В середине, против двери, была темная икона с приклеенною к ней восковой свечкой и подвешенным под ней запыленным букетом иммортелек. За дверью налево было почерневшее место пола, на котором стояла вонючая кадка. Поверка только что прошла, и женщины уже были заперты на ночь.

Всех обитательниц этой камеры было пятнадцать: двенадцать женщин и трое детей.

Было еще совсем светло, и только две женщины лежали на нарах: одна, укрытая с головой халатом,— дурочка, взятая за бесписьменность,— эта всегда почти спала,— а другая — чахоточная, отбывавшая наказание за воровство. Эта не спала, а лежала, подложив под голову халат, с широко открытыми глазами, с трудом, чтобы не кашлять, удерживая в горле щекочущую ее и переливающуюся мокроту. Остальные женщины,— все простоволосые и в одних сурового полотна рубахах,— некоторые сидели на нарах и шили, некоторые стояли у окна и смотрели на проходивших по двору арестантов. Из тех трех женщин, которые шили, одна была та самая старуха, которая провожала Маслову,— Кораблева, мрач-

ного вида, насупленная, морщинистая, с висевшим мешком кожи под подбородком, высокая, сильная женщина с короткой косичкой русых седеющих на висках волос и с волосатой бородавкой на щеке. Старуха эта была приговорена к каторге за убийство топором мужа. Убила же она его за то, что он приставал к ее дочери. Она была старостихой камеры, она же и торговала вином. Она шила в очках и держала в больших рабочих руках иголку по-крестьянски, тремя пальцами и острием к себе. Рядом с ней сидела и также шила мешки из парусины невысокая курносая черноватая женщина с маленькими черными глазами, добродушная и болтливая. Это была сторожиха при железнодорожной будке, присужденная к трем месяцам тюрьмы за то, что не вышла с флагом к поезду, с поездом же случилось несчастье. Третья шившая женщина была Федосья — Феничка, как ее звали товарки,— белая, румяная, с ясными детскими голубыми глазами и двумя длинными русыми косами, обернутыми вокруг небольшой головы, совсем молодая, миловидная женщина. Она содержалась за покушение отравить мужа. Попыталась она отравить мужа тотчас же после замужества, в которое была выдана шестнадцатилетней девочкой. В те восемь месяцев, во время которых она, будучи взята на поруки, ожидала суда, она не только помирилась с мужем, но так полюбила его, что суд застал ее живущей с мужем душа в душу. Несмотря на то, что муж и свекор и в особенности полюбившая ее свекровь старались на суде всеми силами оправдать ее, она была приговорена к ссылке в Сибирь, в каторжные работы. Добрая, веселая, часто улыбающаяся Федосья эта была соседка Масловой по нарам и не только полюбила Маслову, но признала своей обязанностью заботиться о ней и служить ей. Без дела сидели на нарах еще две женщины, одна лет сорока, с бледным худым лицом, вероятно когда-то очень красивая, теперь худая и бледная. Она держала на руках ребенка и кормила его белой длинной грудью. Преступление ее состояло в том, что, когда из их деревни везли рекрута, по понятиям мужиков незаконно взятого, народ остановил станового и отнял рекрута. Женщина же эта, тетка незаконно взятого малого, первая схватила за повод лошадь, на которой везли рекрута. Еще сидела без дела на нарах невысокая, вся в морщинах, добродушная старушка, с седыми волосами и горбатой спиной. Старушка эта сидела у печки на нарах и делала вид, что ловит четырехлетнего коротко обстриженного пробегавшего мимо нее толстопузого, заливавшегося смехом мальчика. Мальчишка в одной рубашонке пробегал мимо нее и приговаривал все одно и то же: «Ишь, не поймала!» Старушка эта, обвинявшаяся вместе с сыном в поджоге, переносила свое заключение с величайшим добродушием, сокрушаясь только о сыне, сидевшем с ней одновременно в остроге, но более

всего о своем старике, который, она боялась, совсем без нее завшивеет, так как невестка ушла и его обмывать некому.

Кроме этих семи женщин, еще четыре стояли у одного из открытых окон и, держась за железную решетку, знаками и криками переговаривались с проходившими по двору теми самыми арестантами, с которыми столкнулась Маслова у входа. Одна из этих женщин, отбывавшая наказание за воровство, была большая, грузная, с обвисшим телом рыжая женщина, с желтовато-белыми, покрытыми веснушками лицом, руками и толстой шеей, выставлявшейся из-за развязанного раскрытого ворота. Она громко кричала в окно хриплым голосом неприличные слова. С ней рядом стояла, ростом с десятилетнюю девочку, черноватая нескладная арестантка с длинной спиной и совсем короткими ногами. Лицо у ней было красное, в пятнах, с широко расставленными черными глазами и толстыми короткими губами, не закрывавшими белые выпирающие зубы. Она визгливо, урывками, смеялась тому, что происходило на дворе. Арестантка эта, прозывавшаяся Хорошавкой за свое щегольство, судилась за кражу и поджог. Позади их стояла в очень грязной серой рубахе жалкого вида худая, жилистая и с огромным животом беременная женщина, судившаяся за укрывательство кражи. Женщина эта молчала, но все время одобрительно и умиленно улыбалась на то, что происходило на дворе. Четвертая, стоявшая у окна, была отбывающая наказание за корчемство невысокая, коренастая деревенская женщина с очень выпуклыми глазами и добродушным лицом. Женщина эта — мать мальчишки, игравшего с старушкой, и семилетней девочки, бывшей с ней же в тюрьме, потому что не с кем было оставить их,— так же, как и другие, смотрела в окно, но не переставая вязала чулок и неодобрительно морщилась, закрывая глаза, на то, что говорили со двора проходившие арестанты. Дочка же ее, семилетняя девочка с распущенными белыми волосами, стоя в одной рубашонке рядом с рыжей и ухватившись худенькой маленькой ручонкой за ее юбку, с остановившимися глазами внимательно вслушивалась в те ругательные слова, которыми перекидывались женщины с арестантами, и шепотом, как бы заучивая, повторяла их. Двенадцатая арестантка была дочь дьячка, утопившая в колодце прижитого ею ребенка. Это была высокая, статная девушка с спутанными волосами, выбивавшимися из недлинной толстой русой косы, и остановившимися выпуклыми глазами. Она, не обращая никакого внимания на то, что происходило вокруг нее, ходила босая и в одной грязной серой рубахе взад и вперед по свободному месту камеры, круто и быстро поворачиваясь, когда доходила до стены.

XXXI

Когда загремел замок и Маслову впустили в камеру, все обратились к ней. Даже дочь дьячка на минуту остановилась, посмотрела на вошедшую, подняв брови, но, ничего не сказав, тотчас же пошла опять ходить своими большими, решительными шагами. Кораблева воткнула иголку в суровую холстину и вопросительно через очки уставилась на Маслову.

— Э, эхма! Вернулась. А я таки думала, что оправят,— сказала она своим хриплым, басистым, почти мужским голосом.— Видно, закатали.

Она сняла очки и положила свое шитье рядом на нары.

— Мы и то с тетенькой, касатка, переговаривались, може, сразу ослобонят. Тоже, сказывали, бывает. Еще и денег надают, под какой час попадешь,— тотчас же начала своим певучим голосом сторожиха.— Ан, вот оно что. Видно, сгад наш не в руку. Господь, видно, свое, касатка,— не умолкая, вела она свою ласковую и благозвучную речь.

— Ужли ж присудили? — спросила Федосья, с сострадательной нежностью глядя на Маслову своими детскими ясно-голубыми глазами, и все веселое молодое лицо ее изменилось, точно она готова была заплакать.

Маслова ничего не отвечала и молча прошла к своему месту, второму с края, рядом с Кораблевой, и села на доски нар.

— Я чай, и не поела,— сказала Федосья, вставая и подходя к Масловой.

Маслова, не отвечая, положила калачи на изголовье и стала раздеваться: сняла пыльный халат и косынку с курчавящихся черных волос и села.

Игравшая на другом конце нар с мальчиком горбатая старушка подошла тоже и остановилась против Масловой.

— Тц, тц, тц! — жалостливо покачав головой, защелкала она языком.

Мальчишка подошел тоже за старушкой и, широко открыв глаза и выпятив уголком верхнюю губу, уставился на калачи, которые принесла Маслова. Увидав все эти сочувственные лица после всего того, что с ней было нынче, Масловой захотелось плакать, и у ней задрожали губы. Но она старалась удержаться и удерживалась до тех пор, пока не подошла старушка и мальчишка. Когда же она услыхала доброе, жалостливое тцыканье старушки и, главное, когда встретилась глазами с мальчишкой, переведшим свои серьезные глаза с калачей на нее, она уже не могла удерживаться. Все лицо ее задрожало, и она разрыдалась.

— Я говорила: добывай защитника настоящего,— сказала Кораблева.— Что же, на высылку? — спросила она.

Маслова хотела ответить и не могла, а, рыдая, достала из калача коробку с папиросами, на которой была изображена румяная дама в очень высокой прическе и с открытой треугольником грудью, и подала ее Кораблевой. Кораблева поглядела на картинку, покачала неодобрительно головой, преимущественно на то, что Маслова так дурно тратила деньги, и, достав одну папироску, закурила ее о лампу, затянулась сама, а потом сунула Масловой. Маслова, не переставая плакать, жадно стала раз за разом втягивать в себя и выпускать табачный дым.

— Каторга,— проговорила она, всхлипывая.

— Не боятся они бога, мироеды, кровопийцы проклятые,— проговорила Кораблева.— Ни за что засудили девку.

В это время среди оставшихся у окон женщин раздался раскат хохота. Девочка тоже смеялась, и ее тонкий детский смех сливался с хриплым и визгливым смехом других трех. Арестант со двора что-то сделал такое, что подействовало так на смотревших в окна.

— Ах, кобель бритый! Что делает,— проговорила рыжая и, колеблясь всем жирным телом, прижавшись лицом к решеткам, закричала бессмысленно неприличные слова.

— То-то шкура барабанная! Чего гогочет! — сказала Кораблева, покачав головою на рыжую, и опять обратилась к Масловой: — Много ли годов?

— Четыре,— сказала Маслова, и слезы полились так обильно из ее глаз, что одна попала на папиросу.

Маслова сердито скомкала, бросила ее и взяла другую.

Сторожиха, хотя и не курившая, тотчас же подняла окурок и стала расправлять его, не переставая разговаривать.

— Видно, и вправду, касатка,— говорила она,— правду-то боров сжевал. Делают, что хотят. Матвеевна говорит: ослобонят, а я говорю: нет, говорю, касатка, чует мое сердце, заедят они ее, сердешную, так и вышло,— говорила она, с удовольствием слушая звук своего голоса.

В это время арестанты уже все прошли через двор, и женщины, переговаривавшиеся с ними, отошли от окон и тоже подошли к Масловой. Первая подошла пучеглазая корчемница с своей девочкой.

— Что же дюже строго? — спросила она, подсаживаясь к Масловой и продолжая быстро вязать чулок.

— Оттого и строго, что денег нет. Были бы денежки да хорошего ловчака нанять, небось оправдали бы,— сказала Кораб-

лева.— Тот, как бишь его, лохматый, носастый,— тот, сударыня моя, из воды сухого выведет. Кабы его взять.

— Как же, взяла,— оскалив зубы, сказала подсевшая к ним Хорошавка,— тот меньше тысячи и плюнуть тебе не возьмет.

— Да уж, видно, такая твоя планида,— вступилась старушка, сидевшая за поджигательство.— Легко ли: отбил жену у малого, да его же вшей кормить засадил и меня туды ж на старости лет,— начала она в сотый раз рассказывать свою историю.— От тюрьмы да от сумы, видно, не отказывайся. Не сума — так тюрьма.

— Видно, у них все так,— сказала корчемница и, вглядевшись в голову девочки, положила чулок подле себя, притянула к себе девочку между ног и начала быстрыми пальцами искать ей в голове.— «Зачем вином торгуешь?» — А чем же детей кормить? — говорила она, продолжая свое привычное дело.

Эти слова корчемницы напомнили Масловой о вине.

— Винца бы,— сказала она Кораблевой, утирая рукавами рубахи слезы и только изредка всхлипывая.

— *Гамырки?* Что ж, давай,— сказала Кораблева.

XXXII

Маслова достала из калача же деньги и подала Кораблевой купон. Кораблева взяла купон, посмотрела и, хотя не знала грамоте, поверила все знавшей Хорошавке, что бумажка эта стоит два рубля пятьдесят копеек, и полезла к отдушнику за спрятанной там склянкой с вином. Увидав это, женщины — не соседки по нарам — отошли к своим местам. Маслова между тем вытряхнула пыль из косынки и халата, влезла на нары и стала есть калач.

— Я тебе чай берегла, да остыл небось,— сказала ей Федосья, доставая с полки обернутый онучей жестяной чайник и кружку.

Напиток был совсем холоден и отзывался больше жестью, чем чаем, но Маслова налила кружку и стала запивать калач.

— Финашка, на,— крикнула она и, оторвав кусок калача, дала смотревшему ей в рот мальчику.

Кораблиха между тем подала склянку с вином и кружку. Маслова предложила Кораблевой и Хорошавке. Эти три арестантки составляли аристократию камеры, потому что имели деньги и делились тем, что имели.

Через несколько минут Маслова оживилась и бойко рассказывала про суд, передразнивая прокурора, и то, что особенно поразило ее в суде. В суде все смотрели на нее с очевидным удовольствием, рассказывала она, и то и дело нарочно для этого заходили в арестантскую.

— Конвойный, и то говорит: «Это всё тебя смотреть ходят». Придет какой-нибудь: где тут бумага какая или еще что, а я вижу, что ему не бумага нужна, а меня так глазами и ест,— говорила она, улыбаясь и как бы в недоумении покачивая головой.— Тоже — артисты.

— Да уж это как есть,— подхватила сторожиха, и тотчас полилась ее певучая речь.— Это как мухи на сахар. На что другое их нет, а на это их взять. Хлебом не корми ихнего брата...

— А то и здесь,— перебила ее Маслова.— Тоже и здесь попала я. Только меня привели, а тут партия с вокзала. Так та́к одолели, что не знала, как отделаться. Спасибо, помощник отогнал. Один пристал так, что насилу отбилась.

— А какой из себя? — спросила Хорошавка.

— Черноватый, с усами.

— Должно, он.

— Кто он?

— Да Щеглов. Вот, что сейчас прошел.

— Какой такой Щеглов?

— Про Щеглова не знает! Щеглов два раза с каторги бегал. Теперь поймали, да он уйдет. Его и надзиратели боятся,— говорила Хорошавка, передававшая записки арестантам и знавшая все, что делается в тюрьме.— Беспременно уйдет.

— А уйдет, пас с собой не возьмет,— сказала Кораблева.— А ты лучше вот что скажи,— обратилась она к Масловой,— что тебе аблакат сказал об прошении, ведь теперь подавать надо?

Маслова сказала, что она ничего не знает.

В это время рыжая женщина, запустив обе покрытые веснушками руки в свои спутанные густые рыжие волосы и скребя ногтями голову, подошла к пившим вино аристократкам.

— Я тебе, Катерина, все скажу,— начала она.— Перво-наперво, должна ты записать: недовольна судом, а после того к прокурору заявить.

— Да тебе чего? — сердитым басом обратилась к ней Кораблева.— Вино почуяла,— нечего зубы заговаривать. Без тебя знают, что делать, тобой не нуждаются.

— Не с тобой говорят, что встреваешь.

— Вина захотелось? Подъезжаешь.

— Да ну, поднеси ей,— сказала Маслова, всегда раздававшая всем все, что у нее было.

— Я ей такую поднесу...

— Ну, ну-ка! — надвигаясь на Кораблеву, заговорила рыжая.— Не боюсь я тебя.

— Острожная шкура!

— От такой слышу.

— Разварная требуха!

— Я требуха? Каторжная, душегубка! — закричала рыжая.

— Уйди, говорю,— мрачно проговорила Кораблева.

Но рыжая только ближе надвигалась, и Кораблева толкнула ее в открытую жирную грудь. Рыжая как будто только этого и ждала и неожиданно быстрым движеньем вцепилась одной рукой в волосы Кораблевой, а другой хотела ударить ее в лицо, но Кораблева ухватила эту руку. Маслова и Хорошавка схватили за руки рыжую, стараясь оторвать ее, но рука рыжей, вцепившаяся в косу, не разжималась. Она на мгновенье отпустила волосы, но только для того, чтобы замотать их вокруг кулака. Кораблева же с скривленной головой колотила одной рукой по телу рыжей и ловила зубами ее руку. Женщины столпились около дерущихся, разнимали и кричали. Даже чахоточная подошла к ним и, кашляя, смотрела на сцепившихся женщин. Дети прижались друг к другу и плакали. На шум вошла надзирательница с надзирателем. Дерущихся розняли, и Кораблева, распустив седую косу и выбирая из нее выдранные куски волос, а рыжая, придерживая на желтой груди всю разодранную рубаху,— обе кричали, объясняя и жалуясь.

— Ведь я знаю, все это — вино; вот я завтра скажу смотрителю, он вас проберет. Я слышу — пахнет,— говорила надзирательница.— Смотрите, уберите все, а то плохо будет,— разбирать вас некогда. По местам, и молчать.

Но молчание долго еще не установилось. Долго еще женщины бранились, рассказывали друг другу, как началось и кто виноват. Наконец надзиратель и надзирательница ушли, и женщины стали затихать и укладываться. Старушка стала перед иконой и начала молиться.

— Собрались две каторжные,— вдруг хриплым голосом заговорила рыжая с другого конца нар, сопровождая каждое слово до странности изощренными ругательствами.

— Мотри, как бы тебе еще не влетело,— тотчас ответила Кораблева, присоединив такие же ругательства. И обе затихли.

— Только бы не помешали мне, я бы тебе бельма-то повыдрала...— опять заговорила рыжая, и опять не заставил себя ждать такой же ответ Кораблихи.

Опять промежуток молчания подольше, и опять ругательства. Промежутки становились все длиннее и длиннее, и наконец все совсем затихло.

Все лежали, некоторые захрапели, только старушка, всегда долго молившаяся, все еще клала поклоны перед иконой, а дочь дьячка, как только надзирательница ушла, встала и опять начала ходить взад и вперед по камере.

Не спала Маслова и все думала о том, что она каторжная,— и уж ее два раза назвали так: назвала Бочкова и назвала рыжая,— и не могла привыкнуть к этой мысли. Кораблева, лежавшая к ней спиной, повернулась.

— Вот не думала, не гадала,— тихо сказала Маслова.— Другие что делают — и ничего, а я ни за что страдать должна.

— Не тужи, девка. И в Сибири люди живут. А ты и там не пропадешь,— утешала ее Кораблева.

— Знаю, что не пропаду, да все-таки обидно. Не такую бы мне судьбу надо, как я привыкла к хорошей жизни.

— Против бога не пойдешь,—со вздохом проговорила Кораблева,— против него не пойдешь.

— Знаю, тетенька, а все трудно.

Они помолчали.

— Слышишь? Распустеха-то,— проговорила Кораблева, обращая внимание Масловой на странные звуки, слышавшиеся с другой стороны нар.

Звуки эти были сдержанные рыдания рыжей женщины. Рыжая плакала о том, что ее сейчас обругали, прибили и не дали ей вина, которого ей так хотелось. Плакала она и о том, что она во всей жизни своей ничего не видала, кроме ругательств, насмешек, оскорблений и побоев. Хотела она утешиться, вспомнив свою первую любовь к фабричному, Федьке Молодёнкову, но, вспомнив эту любовь, она вспомнила и то, как кончилась эта любовь. Кончилась эта любовь тем, что тот Молодёнков в пьяном виде, для шутки, мазнул ее купоросом по самому чувствительному месту и потом хохотал с товарищами, глядя на то, как она корчилась от боли. Она вспомнила это, и ей стало жалко себя, и, думая, что никто не слышит ее, она заплакала, и плакала, как дети, стеная и сопя носом и глотая соленые слезы.

— Жалко ее,— сказала Маслова.

— Известно, жалко, а не лезь.

XXXIII

Первое чувство, испытанное Нехлюдовым на другой день, когда он проснулся, было сознание того, что с ним что-то случилось, и прежде даже чем он вспомнил, что случилось, он знал уже, что случилось что-то важное и хорошее. «Катюша, суд». Да, и надо перестать лгать и сказать всю правду. И как удивительное совпадение в это самое утро пришло наконец то давно ожидаемое письмо от Марьи Васильевны, жены предводителя, то самое письмо, которое ему теперь было особенно нужно. Она давала ему полную свободу, желала счастья в предполагаемой им женитьбе.

— Женитьба! — проговорил он иронически.— Как я теперь далек от этого!

И он вспомнил свое вчерашнее намерение все сказать ее мужу, покаяться перед ним и выразить готовность на всякое удовлетворение. Но нынче утром это показалось ему не так легко, как вчера. «И потом зачем делать несчастным человека, если он не знает? Если он спросит, да, я скажу ему. Но нарочно идти говорить ему? Нет, это не нужно».

Так же трудно показалось нынче утром сказать всю правду Мисси. Опять нельзя было начинать говорить,— это было бы оскорбительно. Неизбежно должно было оставаться, как и во многих житейских отношениях, нечто подразумеваемое. Одно он решил нынче утром: он не будет ездить к ним и скажет правду, если спросят его.

Но зато в отношениях с Катюшей не должно было оставаться ничего недоговоренного.

«Поеду в тюрьму, скажу ей, буду просить ее простить меня. И если нужно, да, если нужно, женюсь на ней»,— думал он.

Эта мысль о том, чтобы ради нравственного удовлетворения пожертвовать всем и жениться на ней, нынче утром особенно умиляла его.

Давно он не встречал дня с такой энергией. Вошедшей к нему Аграфене Петровне он тотчас же с решительностью, которой он сам не ожидал от себя, объявил, что не нуждается более в этой квартире и в ее услугах. Молчаливым соглашением было установлено, что он держит эту большую и дорогую квартиру для того, чтобы в ней жениться. Сдача квартиры, стало быть, имела особенное значение. Аграфена Петровна удивленно посмотрела на него.

— Очень благодарю вас, Аграфена Петровна, за все заботы обо мне, но мне теперь не нужна такая большая квартира и вся прислуга. Если же вы хотите помочь мне, то будьте так добры распорядиться вещами, убрать их покамест, как это делалось при мама. А Наташа приедет, она распорядится. (Наташа была сестра Нехлюдова.)

Аграфена Петровна покачала головой.

— Как же распорядиться? Ведь понадобятся же,— сказала она.

— Нет, не понадобятся, Аграфена Петровна, наверное не понадобятся,— сказал Нехлюдов, отвечая на то, что выражало ее покачиванье головой.— Скажите, пожалуйста, и Корнею, что жалованье я ему отдам вперед за два месяца, но что мне не нужно его.

— Напрасно, Дмитрий Иванович, вы так делаете,— выговорила она.— Ну, за границу поедете, все-таки понадобится помещение.

— Вы не то думаете, Аграфена Петровна. Я за границу не поеду; если поеду, то совсем в другое место.

Он вдруг багрово покраснел.

«Да, надо сказать ей,— подумал он,— нечего умалчивать, а надо все всем сказать».

— Со мной случилось очень странное и важное дело вчера. Вы помните Катюшу у тетушки Марьи Ивановны?

— Как же, я ее шить учила.

— Ну, так вот вчера в суде эту Катюшу судили, и я был присяжным.

— Ах, боже мой, какая жалость! — сказала Аграфена Петровна.— В чем же она судилась?

— В убийстве, и все это сделал я.

— Как же это вы могли сделать? Это очень странно вы говорите,— сказала Аграфена Петровна, и в старых глазах ее зажглись игривые огоньки.

Она знала историю с Катюшей.

— Да, я всему причиной. И вот это изменило все мои планы.

— Какая же от этого может для вас быть перемена? — сдерживая улыбку, сказала Аграфена Петровна.

— А та, что если я причиной того, что она пошла по этому пути, то я же и должен сделать, что могу, чтобы помочь ей.

— Это ваша добрая воля, только вины вашей тут особенной нет. Со всеми бывает, и если с рассудком, то все это заглаживается и забывается, и живут,— сказала Аграфена Петровна строго и серьезно,— и вам это на свой счет брать не к чему. Я и прежде слышала, что она сбилась с пути, так кто же этому виноват?

— Я виноват. А потому и хочу исправить.

— Ну, уж это трудно исправить.

— Это мое дело. А если вы про себя думаете, то то́, что мама желала...

— Я про себя не думаю. Я покойницей так облагодетельствована, что ничего не желаю. Меня Лизанька зовет (это была ее замужняя племянница), я к ней поеду, когда не нужна буду. Только вы напрасно принимаете это к сердцу, со всеми это бывает.

— Ну, я не так думаю. И все-таки прошу вас, помогите мне сдать квартиру и вещи убрать. И не сердитесь на меня. Я вам очень, очень благодарен за все.

Удивительное дело: с тех пор как Нехлюдов понял, что дурен и противен он сам себе, с тех пор другие перестали быть противны ему; напротив, он чувствовал и к Аграфене Петровне и к Корнею ласковое и уважительное чувство. Ему хотелось покаяться и перед Корнеем, но вид Корнея был так внушительно-почтителен, что он не решился этого сделать.

Дорогой в суд, проезжая по тем же улицам, на том же извозчике, Нехлюдов удивлялся сам на себя, до какой степени он нынче чувствовал себя совсем другим человеком.

Женитьба на Мисси, казавшаяся еще вчера столь близкой, представлялась ему теперь совершенно невозможной. Вчера он понимал свое положение так, что не было и сомнения, что она будет счастлива пойти за него; нынче он чувствовал себя недостойным не только жениться, но быть близким с нею. «Если бы она только знала, кто я, то ни за что не принимала бы меня. А я еще в упрек ставил ей ее кокетство с тем господином. Да нет, если бы даже она и пошла теперь за меня, разве я мог бы быть не то что счастлив, но спокоен, зная, что та тут, в тюрьме, и завтра, послезавтра пойдет с этапом на каторгу. Та, погубленная мной женщина, пойдет на каторгу, а я буду здесь принимать поздравления и делать визиты с молодой женой. Или буду с предводителем, которого я постыдно обманывал с его женой, на собрании считать голоса за и против проводимого постановления земской инспекции школ и тому подобное, а потом буду назначать свидания его жене (какая мерзость!); или буду продолжать картину, которая, очевидно, никогда не будет кончена, потому что мне и не следует заниматься этими пустяками и не могу ничего этого делать теперь»,— говорил он себе и не переставая радовался той внутренней перемене, которую чувствовал.

«Прежде всего,— думал он,— теперь увидать адвоката и узнать его решение, а потом... потом увидать ее в тюрьме, вчерашнюю арестантку, и сказать ей все».

И когда он представлял себе только, как он увидит ее, как он скажет ей все, как покается в своей вине перед ней, как объявит ей, что он сделает все, что может, женится на ней, чтобы загладить свою вину,— так особенное восторженное чувство охватывало его, и слезы выступали ему на глаза.

XXXIV

Приехав в суд, Нехлюдов в коридоре еще встретил вчерашнего судебного пристава и расспросил его, где содержатся приговоренные уже по суду арестанты и от кого зависит разрешение свидания с ними. Судебный пристав объяснил, что содержатся арестанты в разных местах и что до объявления решения в окончательной форме разрешение свиданий зависит от прокурора.

— Я вам скажу и провожу вас сам после заседания. Прокурора теперь и нет еще. А после заседания. А теперь пожалуйте в суд. Сейчас начинается.

Нехлюдов поблагодарил показавшегося ему нынче особенно жалким пристава за его любезность и пошел в комнату присяжных.

В то время как он подходил к этой комнате, присяжные уж выходили из нее, чтобы идти в залу заседания. Купец был так же весел и так же закусил и выпил, как и вчера, и, как старого друга, встретил Нехлюдова. И Петр Герасимович не вызывал нынче в Нехлюдове никакого неприятного чувства своей фамильярностью и хохотом.

Нехлюдову хотелось и всем присяжным сказать про свое отношение к вчерашней подсудимой. «По-настоящему,— думал он,— вчера во время суда надо было встать и публично объявить свою вину». Но когда он вместе с присяжными вошел в залу заседания и началась вчерашняя процедура: опять «суд идет», опять трое на возвышении в воротниках, опять молчание, усаживание присяжных на стульях с высокими спинками, жандармы, портрет, священник,— он почувствовал, что хотя и нужно было сделать это, он и вчера не мог бы разорвать эту торжественность.

Приготовления к суду были те же, что и вчера (за исключением приведения к присяге присяжных и речи к ним председателя).

Дело сегодня было о краже со взломом. Подсудимый, оберегаемый двумя жандармами с оголенными саблями, был худой, узкоплечий двадцатилетний мальчик в сером халате и с серым бескровным лицом. Он сидел один на скамье подсудимых и исподлобья оглядывал входивших. Мальчик этот обвинялся в том, что вместе с товарищем сломал замок в сарае и похитил оттуда старые половики на сумму три рубля шестьдесят семь копеек. Из обвинительного акта видно было, что городовой остановил мальчика в то время, как он шел с товарищем, который нес на плече половики. Мальчик и товарищ его тотчас же повинились, и оба были посажены в острог. Товарищ мальчика, слесарь, умер в тюрьме, и вот мальчик судился один. Старые половики лежали на столе вещественных доказательств.

Дело велось точно так же, как и вчерашнее, со всем арсеналом доказательств, улик, свидетелей, присяги их, допросов, экспертов и перекрестных вопросов. Свидетель-городовой на вопросы председателя, обвинителя, защитника безжизненно отрубал: «Так точно-с», «Не могу знать» — и опять «Так точно...», но, несмотря на его солдатское одурение и машинообразность, видно было, что он жалел мальчика и неохотно рассказывал о своей поимке.

Другой свидетель, пострадавший старичок, домовладелец и собственник половиков, очевидно желчный человек, когда его спрашивали, признает ли он свои половики, очень неохотно при-

знал их своими; когда же товарищ прокурора стал допрашивать его о том, какое употребление он намерен был сделать из половиков, очень ли они ему были нужны, он рассердился и отвечал:

— И пропади они пропадом, эти самые половики, они мне и вовсе не нужны. Кабы я знал, что столько из-за них докуки будет, так не то что искать, а приплатил бы к ним красненькую, да и две бы отдал, только бы не таскали на допросы. Я на извозчиках рублей пять проездил. А я же нездоров. У меня и грыжа и ревматизмы.

Так говорили свидетели, сам же обвиняемый во всем винился и, как пойманный зверок, бессмысленно оглядываясь по сторонам, прерывающимся голосом рассказывал все, как было.

Дело было ясно, но товарищ прокурора так же, как и вчера, поднимая плечи, делал тонкие вопросы, долженствовавшие уловить хитрого преступника.

В своей речи он доказывал, что кража совершена в жилом помещении и со взломом, а потому мальчика надо подвергнуть самому тяжелому наказанию.

Назначенный же от суда защитник доказывал, что кража совершена не в жилом помещении и что потому хотя преступление и нельзя отрицать, но все-таки преступник еще не так опасен для общества, как это утверждал товарищ прокурора.

Председатель, так же как и вчера, изображал из себя беспристрастие и справедливость и подробно разъяснял и внушал присяжным то, что они знали и не могли не знать. Так же, как вчера, делались перерывы, так же курили; так же судебный пристав вскрикивал: «Суд идет», и так же, стараясь не заснуть, сидели два жандарма с обнаженным оружием, угрожая преступнику.

Из дела видно было, что этот мальчик был отдан отцом мальчишкой на табачную фабрику, где он прожил пять лет. В нынешнем году он был рассчитан хозяином после происшедшей неприятности хозяина с рабочими и, оставшись без места, ходил без дела по городу, пропивая с себя последнее. В трактире он сошелся с таким же, как он, еще прежде лишившимся места и сильно пившим слесарем, и они вдвоем ночью, пьяные, сломали замок и взяли оттуда первое, что попалось. Их поймали. Они во всем сознались. Их посадили в тюрьму, где слесарь, дожидаясь суда, умер. Мальчика же вот теперь судили, как опасное существо, от которого надо оградить общество.

«Такое же опасное существо, как вчерашняя преступница,— думал Нехлюдов, слушая все, что происходило перед ним.— Они опасные, а мы не опасные?.. Я — распутник, блудник, обманщик, и мы все, все те, которые, зная меня таким, каков я есмь, не только не презирали, но уважали меня? Но если бы даже и был

этот мальчик самый опасный для общества человек из всех людей, находящихся в этой зале, то что же, по здравому смыслу, надо сделать, когда он попался?

Ведь очевидно, что мальчик этот не какой-то особенный злодей, а самый обыкновенный — это видят все — человек и что стал он тем, что есть, только потому, что находился в таких условиях, которые порождают таких людей. И потому, кажется, ясно, что, для того чтобы не было таких мальчиков, нужно постараться уничтожить те условия, при которых образуются такие несчастные существа.

Что же мы делаем? Мы хватаем такого одного случайно попавшегося нам мальчика, зная очень хорошо, что тысячи таких остаются не пойманными, и сажаем его в тюрьму, в условия совершенной праздности или самого нездорового и бессмысленного труда, в сообщество таких же, как и он, ослабевших и запутавшихся в жизни людей, а потом ссылаем его на казенный счет в сообщество самых развращенных людей из Московской губернии в Иркутскую.

Для того же, чтобы уничтожить те условия, в которых зарождаются такие люди, не только ничего не делаем, но только поощряем те заведения, в которых они производятся. Заведения эти известны: это фабрики, заводы, мастерские, трактиры, кабаки, дома терпимости. И мы не только не уничтожаем таких заведений, но, считая их необходимыми, поощряем, регулируем их.

Воспитаем так не одного, а миллионы людей, и потом поймаем одного и воображаем себе, что мы что-то сделали, оградили себя и что больше уже и требовать от нас нечего, мы его препроводили из Московской в Иркутскую губернию,— с необыкновенной живостью и ясностью думал Нехлюдов, сидя на своем стуле рядом с полковником и слушая различные интонации голосов защитника, прокурора и председателя и глядя на их самоуверенные жесты.— И ведь сколько и каких напряженных усилий стоит это притворство,— продолжал думать Нехлюдов, оглядывая эту огромную залу, эти портреты, лампы, кресла, мундиры, эти толстые стены, окна, вспоминая всю громадность этого здания и еще бо́льшую громадность самого учреждения, всю армию чиновников, писцов, сторожей, курьеров, не только здесь, но во всей России, получающих жалованье за эту никому не нужную комедию.— Что, если бы хоть одну сотую этих усилий мы направляли на то, чтобы помогать тем заброшенным существам, на которых мы смотрим теперь только как на руки и тела, необходимые для нашего спокойствия и удобства. А ведь стоило только найтись человеку,— думал Нехлюдов, глядя на болезненное, запуганное лицо мальчика,— который пожалел бы его, когда его еще от нужды отдавали из деревни

в город, и помочь этой нужде; или даже когда он уж был в городе и после двенадцати часов работы на фабрике шел с увлекшими его старшими товарищами в трактир, если бы тогда нашелся человек, который сказал бы: «Не ходи, Ваня, нехорошо»,— мальчик не пошел бы, не заболтался и ничего бы не сделал дурного.

Но такого человека, который бы пожалел его, не нашлось ни одного во все то время, когда он, как зверок, жил в городе свои года ученья и, обстриженный под гребенку, чтоб не разводить вшей, бегал мастерам за покупкой; напротив, все, что он слышал от мастеров и товарищей с тех пор, как он живет в городе, было то, что молодец тот, кто обманет, кто выпьет, кто обругает, кто прибьет, развратничает.

Когда же он, больной и испорченный от нездоровой работы, пьянства, разврата, одурелый и шальной, как во сне, шлялся без цели по городу и сдуру залез в какой-то сарай и вытащил оттуда никому не нужные половики, мы, все достаточные, богатые, образованные люди, не то что позаботились о том, чтобы уничтожить те причины, которые довели этого мальчика до его теперешнего положения, а хотим поправить дело тем, что будем казнить этого мальчика.

Ужасно! Не знаешь, чего тут больше — жестокости или нелепости. Но, кажется, и то и другое доведено до последней степени».

Нехлюдов думал все это, уже не слушая того, что происходило перед ним. И сам ужасался на то, что ему открывалось. Он удивлялся, как мог он не видеть этого прежде, как могли другие не видеть этого.

XXXV

Как только сделан был первый перерыв, Нехлюдов встал и вышел в коридор с намерением уже больше не возвращаться в суд. Пускай с ним делают, что хотят, но участвовать в этой ужасной и гадкой глупости он более не может.

Узнав, где кабинет прокурора, Нехлюдов пошел к нему. Курьер не хотел допустить его, объявив, что прокурор теперь занят. Но Нехлюдов, не слушая его, прошел в дверь и обратился к встретившему его чиновнику, прося его доложить прокурору, что он присяжный и что ему нужно видеть его по очень важному делу. Княжеский титул и хорошая одежда помогли Нехлюдову. Чиновник доложил прокурору, и Нехлюдова впустили. Прокурор принял его стоя, очевидно недовольный настоятельностью, с которой Нехлюдов требовал свиданья с ним.

— Что вам угодно? — строго спросил прокурор.

— Я присяжный, фамилия моя Нехлюдов, и мне необходимо

видеть подсудимую Маслову,— быстро и решительно проговорил Нехлюдов, краснея и чувствуя, что он совершает такой поступок, который будет иметь решительное влияние на его жизнь.

Прокурор был невысокий смуглый человек с короткими седеющими волосами, блестящими быстрыми глазами и стриженой густой бородой на выдающейся нижней челюсти.

— Маслову? Как же, знаю. Обвинялась в отравлении,— сказал прокурор спокойно.— Для чего же вам нужно видеть ее? — И потом, как бы желая смягчить, прибавил: — Я не могу разрешить вам этого, не зная, для чего вам это нужно.

— Мне нужно это по особенно важному для меня делу,— вспыхнув, заговорил Нехлюдов.

— Так-с,— сказал прокурор и, подняв глаза, внимательно оглядел Нехлюдова.— Дело ее слушалось или еще нет?

— Она вчера судилась и приговорена к четырем годам каторги совершенно неправильно. Она невинна.

— Так-с. Если она приговорена только вчера,— сказал прокурор, не обращая никакого внимания на заявление Нехлюдова о невинности Масловой,— то до объявления приговора в окончательной форме она должна все-таки находиться в доме предварительного заключения. Свидания там разрешаются только в определенные дни. Туда вам и советую обратиться.

— Но мне нужно видеть ее как можно скорее,— дрожа нижней челюстью, сказал Нехлюдов, чувствуя приближение решительной минуты.

— Для чего же вам это нужно? — поднимая с некоторым беспокойством брови, спросил прокурор.

— Для того, что она невинна и приговорена к каторге. Виновник же всего я,— говорил Нехлюдов дрожащим голосом, чувствуя вместе с тем, что он говорит то, чего не нужно бы говорить.

— Каким же это образом? — спросил прокурор.

— Потому что я обманул ее и привел в то положение, в котором она теперь. Если бы она не была тем, до чего я ее довел, она и не подверглась бы такому обвинению.

— Все-таки я не вижу, какую связь это имеет с свиданием.

— А то, что я хочу следовать за нею и... жениться на ней,— выговорил Нехлюдов. И как всегда, как только он заговорил об этом, слезы выступили ему на глаза.

— Да? Вот как! — сказал прокурор.— Это действительно очень исключительный случай. Вы, кажется, гласный красноперского земства? — спросил прокурор, как бы вспоминая, что он слышал прежде про этого Нехлюдова, теперь заявлявшего такое странное решение.

— Извините, я не думаю, чтобы это имело связь с моей просьбой,— вспыхнув, злобно ответил Нехлюдов.

— Конечно, нет,— чуть заметно улыбаясь и нисколько не смущаясь, сказал прокурор,— но ваше желание так необыкновенно и так выходит из обычных форм...

— Что же, могу я получить разрешение?

— Разрешение? Да, я сейчас дам вам пропуск. Потрудитесь посидеть.

Он подошел к столу, сел и стал писать.

— Пожалуйста, присядьте.

Нехлюдов стоял.

Написав пропуск, прокурор передал записку Нехлюдову, с любопытством глядя на него.

— Я еще должен заявить,— сказал Нехлюдов,— что я не могу продолжать участвовать в сессии.

— Нужно, как вы знаете, представить уважительные причины суду.

— Причины те, что я считаю всякий суд не только бесполезным, но и безнравственным.

— Так-с,— сказал прокурор все с той же чуть заметной улыбкой, как бы показывая этой улыбкой то, что такие заявления знакомы ему и принадлежат к известному ему забавному разряду.— Так-с, но вы, очевидно, понимаете, что я, как прокурор суда, не могу согласиться с вами. И потому советую вам заявить об этом на суде, и суд разрешит ваше заявление и признает его уважительным или неуважительным и в последнем случае наложит на вас взыскание. Обратитесь в суд.

— Я заявил и более никуда не пойду,— сердито проговорил Нехлюдов.

— Мое почтение,— сказал прокурор, наклоняя голову, очевидно желая скорее избавиться от этого странного посетителя.

— Кто это у вас был? — спросил член суда, вслед за выходом Нехлюдова входя в кабинет прокурора.

— Нехлюдов, знаете, который еще в Красноперском уезде, в земстве, разные странные заявления делал. И представьте, он присяжный, и в числе подсудимых оказалась женщина или девушка, приговоренная в каторгу, которая, как он говорит, была им обманута, и он теперь хочет жениться на ней.

— Да не может быть?

— Так он мне сказал... и в каком-то странном возбуждении.

— Что-то есть, какая-то ненормальность в нынешних молодых людях.

— Да он уже не очень молодой.

— Ну, уж как надоел, батюшка, ваш прославленный Ивашенков. Он измором берет: говорит и говорит без конца.

— Их надо просто останавливать, а то ведь настоящие обструкционисты...

XXXVI

От прокурора Нехлюдов поехал прямо в дом предварительного заключения. Но оказалось, что никакой Масловой там не было, и смотритель объяснил Нехлюдову, что она должна быть в старой пересыльной тюрьме. Нехлюдов поехал туда.

Действительно, Екатерина Маслова находилась там. Прокурор забыл, что месяцев шесть тому назад жандармами, как видно, было возбуждено раздутое до последней степени политическое дело, и все места дома предварительного заключения были захвачены студентами, врачами, рабочими, курсистками и фельдшерицами.

Расстояние от дома предварительного заключения до пересыльного замка было огромное, и приехал Нехлюдов в замок уже только к вечеру. Он хотел подойти к двери огромного мрачного здания, но часовой не пустил его, а только позвонил. На звонок вышел надзиратель. Нехлюдов показал свой пропуск, но надзиратель сказал, что без смотрителя он не может пустить. Нехлюдов направился к смотрителю. Еще поднимаясь по лестнице, Нехлюдов слышал из-за дверей звуки какой-то сложной бравурной пьесы, разыгрываемой на фортепьяно. Когда же ему отворила дверь сердитая горничная с завязанным глазом, звуки эти как бы вырвались из комнаты и поразили его слух. Это была надоевшая рапсодия Листа, игранная прекрасно, но только до одного места. Когда доходило до этого места, то повторялось опять то же самое. Нехлюдов спросил повязанную горничную, дома ли смотритель.

Горничная сказала, что нет.

— Скоро ли будет?

Рапсодия опять остановилась и опять с блеском и шумом повторилась до заколдованного места.

— Я пойду спрошу.

И горничная вышла.

Рапсодия только что опять разбежалась, как вдруг, не доходя до заколдованного места, оборвалась, и послышался голос.

— Скажи ему, что нет и нынче не будет. Он в гостях, чего пристают,— послышался женский голос из-за двери, и опять послышалась рапсодия, но опять остановилась, и послышался звук отодвигаемого стула. Очевидно, рассерженная пьянистка сама хотела сделать выговор приходящему не в урочный час назойливому посетителю.

— Папаши нет,— сердито сказала, выходя, с взбитыми волосами жалкого вида бледная девица с синяками под унылыми глазами. Увидав молодого человека в хорошем пальто, она смягчилась.— Войдите, пожалуй... Вам что же надо?

— Мне в остроге видеть заключенную.

— Верно, политическую?

— Нет, не политическую. У меня разрешение от прокурора.

— Ну, я не знаю, папаши нет. Да зайдите, пожалуйста,— опять позвала она его из маленькой передней.— А то обратитесь к помощнику, он теперь в конторе, с ним поговорите. Ваша как фамилия?

— Благодарю вас,— сказал Нехлюдов, не отвечая на вопрос, и вышел.

Еще не успели за ним затворить дверь, как опять раздались все те же бойкие, веселые звуки, так не шедшие ни к месту, в котором они производились, ни к лицу жалкой девушки, так упорно заучивавшей их. На дворе Нехлюдов встретил молодого офицера с торчащими нафабренными усами и спросил его о помощнике смотрителя. Это был сам помощник. Он взял пропуск, посмотрел его и сказал, что по пропуску в дом предварительного заключения он не решается пропустить сюда. Да уж и поздно...

— Пожалуйте завтра. Завтра в десять часов свидание разрешается всем; вы приезжайте, и сам смотритель будет дома. Тогда свидание можете иметь в общей, а если смотритель разрешит, то и в конторе.

Так и не добившись в этот день свидания, Нехлюдов отправился домой. Взволнованный мыслью увидеть ее, Нехлюдов шел по улицам, вспоминая теперь не суд, а свои разговоры с прокурором и смотрителями. То, что он искал свидания с ней и сказал про свое намерение прокурору и был в двух тюрьмах, готовясь увидать ее, так взволновало его, что он долго не мог успокоиться. Приехав домой, он тотчас же достал свои давно не тронутые дневники, перечел некоторые места из них и записал следующее: «Два года не писал дневника и думал, что никогда уже не вернусь к этому ребячеству. А это было не ребячество, а беседа с собой, с тем истинным, божественным собой, которое живет в каждом человеке. Все время этот *я* спал, и мне не с кем было беседовать. Пробудило его необыкновенное событие 28-го апреля, в суде, где я был присяжным. Я на скамье подсудимых увидал ее, обманутую мною Катюшу, в арестантском халате. По странному недоразумению и по моей ошибке ее приговорили к каторге. Я сейчас был у прокурора и в тюрьме. Меня не пустили к ней, но я решил все сделать, чтобы увидать ее, покаяться перед ней и загладить свою вину хотя женитьбой. Господи, помоги мне! Мне очень хорошо, радостно на душе».

XXXVII

Долго еще в эту ночь не могла заснуть Маслова, а лежала с открытыми глазами и, глядя на дверь, заслонявшуюся то взад, то вперед проходившею дьячихой, и слушая сопенье рыжей, думала.

Думала она о том, что ни за что не пойдет замуж за каторжного, на Сахалине, а как-нибудь иначе устроится,— с каким-нибудь из начальников, с писарем, хоть с надзирателем, хоть с помощником. Они все на это падки. «Только бы не похудеть. А то пропадешь». И она вспомнила, как защитник смотрел на нее, и как смотрел председатель, и как смотрели встречавшиеся и нарочно проходившие мимо нее люди в суде. Она вспомнила, как посетившая ее в остроге Берта рассказала ей, что тот студент, которого она любила, живя у Китаевой, приезжал к ним, спрашивал про нее и очень жалел. Вспоминала она о драке с рыжей и жалела ее; вспоминала о булочнике, выславшем ей лишний калач. Она вспоминала о многих, но только не о Нехлюдове. О своем детстве и молодости, а в особенности о любви к Нехлюдову, она никогда не вспоминала. Это было слишком больно. Эти воспоминания где-то далеко нетропутыми лежали в ее душе. Даже во сне никогда не видала Нехлюдова. Нынче на суде она не узнала его не столько потому, что, когда она видела его в последний раз, он был военный, без бороды, с маленькими усиками и хотя и короткими, но густыми вьющимися волосами, а теперь был старообразный человек, с бородою, сколько потому, что она никогда не думала о нем. Похоронила она все воспоминания о своем прошедшем с ним в ту ужасную темную ночь, когда он приезжал из армии и не заехал к тетушкам.

До этой ночи, пока она надеялась на то, что он заедет, она не только не тяготилась ребенком, которого носила под сердцем, но часто удивленно умилялась на его мягкие, а иногда порывистые движения в себе. Но с этой ночи все стало другое. И будущий ребенок стал только одной помехой.

Тетушки ждали Нехлюдова, просили его заехать, но он телеграфировал, что не может, потому что должен быть в Петербурге к сроку. Когда Катюша узнала это, она решила пойти на станцию, чтобы увидать его. Поезд проходил ночью, в два часа. Катюша уложила спать барышень и, подговорив с собою девочку, кухаркину дочь Машку, надела старые ботинки, накрылась платком, подобралась и побежала на станцию.

Была темная осенняя, дождливая, ветреная ночь. Дождь то начинал хлестать теплыми крупными каплями, то переставал. В поле, под ногами, не было видно дороги, а в лесу было черно, как в печи, и Катюша, хотя и знала хорошо дорогу, сбилась с нее в лесу

и дошла до маленькой станции, на которой поезд стоял три минуты, не загодя, как она надеялась, а после второго звонка. Выбежав на платформу, Катюша тотчас же в окне вагона первого класса увидала его. В вагоне этом был особенно яркий свет. На бархатных креслах сидели друг против друга два офицера без сюртуков и играли в карты. На столике у окна горели отекшие толстые свечи. Он в обтянутых рейтузах и белой рубашке сидел на ручке кресла, облокотившись на его спинку, и чему-то смеялся. Как только она узнала его, она стукнула в окно зазябшей рукой. Но в это самое время ударил третий звонок, и поезд медленно тронулся, сначала назад, а потом один за другим стали подвигаться вперед толчками сдвигаемые вагоны. Один из играющих встал с картами в руках и стал глядеть в окно. Она стукнула еще раз и приложила лицо к стеклу. В это время дернулся и тот вагон, у которого она стояла, и пошел. Она пошла за ним, смотря в окно. Офицер хотел опустить окно, но никак не мог. Нехлюдов встал и, оттолкнув того офицера, стал спускать. Поезд прибавил хода. Она шла быстрым шагом, не отставая, но поезд все прибавлял и прибавлял хода, и в ту самую минуту, как окно спустилось, кондуктор оттолкнул ее и вскочил в вагон. Катюша отстала, но все бежала по мокрым доскам платформы; потом платформа кончилась, и она насилу удержалась, чтобы не упасть, сбегая по ступенькам на землю. Она бежала, но вагон первого класса был далеко впереди. Мимо нее бежали уже вагоны второго класса, потом еще быстрее побежали вагоны третьего класса, но она все-таки бежала. Когда пробежал последний вагон с фонарем сзади, она была за водокачкой, вне защиты, и ветер набросился на нее, срывая с головы ее платок и облепляя с одной стороны платьем ее ноги. Платок снесло с нее ветром, но она все бежала.

— Тетенька, Михайловна! — кричала девочка, едва поспевая за нею.— Платок потеряли!

«Он в освещенном вагоне, на бархатном кресле сидит, шутит, пьет, а я вот здесь, в грязи, в темноте, под дождем и ветром — стою и плачу»,— подумала Катюша, остановилась и, закинув голову назад и схватившись за нее руками, зарыдала.

— Уехал! — закричала она.

Девочка испугалась и обняла ее за мокрое платье.

— Тетенька, домой пойдем.

«Пройдет поезд — под вагон, и кончено»,— думала между тем Катюша, не отвечая девочке.

Она решила, что сделает так. Но тут же, как это и всегда бывает в первую минуту затишья после волнения, он, ребенок — его ребенок, который был в ней, вдруг вздрогнул, стукнулся и плавно потянулся и опять стал толкаться чем-то тонким, нежным и ост-

рым. И вдруг все то, что за минуту так мучало ее, что, казалось, нельзя было жить, вся злоба на него и желание отомстить ему хоть своей смертью,— все это вдруг отдалилось. Она успокоилась, оправилась, закуталась платком и поспешно пошла домой.

Измученная, мокрая, грязная, она вернулась домой, и с этого дня в ней начался тот душевный переворот, вследствие которого она сделалась тем, чем была теперь. С этой страшной ночи она перестала верить в добро. Она прежде сама верила в добро и в то, что люди верят в него, но с этой ночи убедилась, что никто не верит в это и что все, что говорят про бога и добро, все это делают только для того, чтобы обманывать людей. Он, которого она любила и который ее любил,— она это знала,— бросил ее, насладившись ею и надругавшись над ее чувствами. А он был самый лучший из всех людей, каких она знала. Все же остальные были еще хуже. И все, что с ней случилось, на каждом шагу подтверждало это. Тетки его, богомольные старушки, прогнали ее, когда она не могла уже так служить им, как прежде. Все люди, с которыми она сходилась,— женщины — старались через нее добыть денег, мужчины, начиная с старого станового и до тюремных надзирателей,— смотрели на нее как на предмет удовольствия. И ни для кого ничего не было другого на свете, как только удовольствие, именно это удовольствие. В этом еще больше утвердил ее старый писатель, с которым она сошлась на второй год своей жизни на свободе. Он прямо так и говорил ей, что в этом — он называл это поэзией и эстетикой — состоит все счастье.

Все жили только для себя, для своего удовольствия, и все слова о боге и добре были обман. Если же когда поднимались вопросы о том, зачем на свете все устроено так дурно, что все делают друг другу зло и все страдают, надо было не думать об этом. Станет скучно — покурила или выпила или, что лучше всего, полюбилась с мужчиной, и пройдет.

XXXVIII

На следующий день, в воскресенье, в пять часов утра, когда в женском коридоре тюрьмы раздался обычный свисток, не спавшая уже Кораблева разбудила Маслову.

«Каторжная»,— с ужасом подумала Маслова, протирая глаза и невольно вдыхая в себя ужасно вонючий к утру воздух, и хотела опять заснуть, уйти в область бессознательности, но привычка страха пересилила сон, и она поднялась и, подобрав ноги, села, оглядываясь. Женщины уже поднялись, только дети еще спали. Корчемница с выпуклыми глазами осторожно, чтобы не разбудить детей, вытаскивала из-под них халат. Бунтовщица развеши-

вала у печки тряпки, служившие пеленками, а ребенок заливался отчаянным криком на руках у голубоглазой Федосьи, качавшейся с ним и баюкающей его нежным голосом. Чахоточная, схватившись за грудь, с налитым кровью лицом, откашливалась и, в промежутках вздыхая, почти вскрикивала. Рыжая, проснувшись, лежала кверху животом, согнув толстые ноги, и громко и весело рассказывала виденный сон. Старушка поджигательница стояла опять перед образом и, шепча одни и те же слова, крестилась и кланялась. Дьячиха неподвижно сидела на парах и непроснувшимся тупым взглядом смотрела перед собой. Хорошавка подвивала на палец масленые жесткие черные волосы.

По коридору послышались шаги в шлепающих котах, загремел замок, и вошли два арестанта — парашечники в куртках и коротких, много выше щиколоток, серых штанах и, с серьезными, сердитыми лицами подняв на водонос вонючую кадку, понесли ее вон из камеры. Женщины вышли в коридор к кранам умываться. У кранов произошла ссора рыжей с женщиной, вышедшей из другой, соседней камеры. Опять ругательства, крики, жалобы...

— Или карцера захотели! — закричал надзиратель и хлоппул рыжую по жирной голой спине так, что щелкнуло на весь коридор.— Чтоб голосу твоего не слышно было.

— Вишь, разыгрался старый,— сказала рыжая, приняв это обращение за ласку.

— Ну, живо! Убирайтесь к обедне.

Не успела Маслова причесаться, как пришел смотритель со свитой.

— На поверку! — крикнул надзиратель.

Из другой камеры вышли другие арестантки, и все стали в два ряда коридора, причем женщины заднего ряда должны были класть руки на плечи женщин первого ряда. Всех пересчитали.

После поверки пришла надзирательница и повела арестанток в церковь. Маслова с Федосьей находились в середине колонны, состоящей более чем из ста женщин, вышедших из всех камер. Все были в белых косынках, кофтах и юбках, и только изредка среди них попадались женщины в своих цветных одеждах. Это были жены с детьми, следующие за мужьями. Вся лестница была захвачена этим шествием. Слышался мягкий топот обутых в коты ног, говор, иногда смех. На повороте Маслова увидала злобное лицо своего врага, Бочковой, шедшей впереди, и указала его Федосье. Сойдя вниз, женщины замолкли и, крестясь и кланяясь, стали проходить в отворенные двери еще пустой, блестевшей золотом церкви. Их место было направо, и они, теснясь и напирая друг на дружку, стали устанавливаться. Вслед за женщинами вошли в серых халатах пересыльные, отсиживающие и ссылаемые по при-

говорам обществ, и, громко откашливаясь, стали тесной толпой налево и в середине церкви. Наверху же, на хорах, уже стояли приведенные прежде — с одной стороны с бритыми полуголовами каторжные, обнаруживавшие свое присутствие позвякиванием цепей, с другой — небритые и не закованные подследственные.

Острожная церковь была вновь построена и отделана богатым купцом, потратившим на это дело несколько десятков тысяч рублей, и вся блестела яркими красками и золотом.

Некоторое время в церкви было молчание и слышались только сморкание, откашливание, крик младенцев и изредка звон цепей. Но вот арестанты, стоявшие посередине, шарахнулись, нажались друг на друга, оставляя дорогу посередине, и по дороге этой прошел смотритель и стал впереди всех, посередине церкви.

XXXIX

Началось богослужение.

Богослужение состояло в том, что священник, одевшись в особенную, странную и очень неудобную парчовую одежду, вырезывал и раскладывал кусочки хлеба на блюдце и потом клал их в чашу с вином, произнося при этом различные имена и молитвы. Дьячок же между тем не переставая сначала читал, а потом пел попеременкам с хором из арестантов разные славянские, сами по себе мало понятные, а еще менее от быстрого чтения и пения понятные молитвы. Содержание молитв заключалось преимущественно в желании благоденствия государя императора и его семейства. Об этом произносились молитвы много раз, вместе с другими молитвами и отдельно, на коленях. Кроме того, было прочтено дьячком несколько стихов из Деяний апостолов таким странным, напряженным голосом, что ничего нельзя было понять, и священником очень внятно было прочтено место из Евангелия Марка, в котором сказано было, как Христос, воскресши, прежде чем улететь на небо и сесть по правую руку своего отца, явился сначала Марии Магдалине, из которой он изгнал семь бесов, и потом одиннадцати ученикам, и как велел им проповедовать Евангелие всей твари, причем объявил, что тот, кто не поверит, погибнет, кто же поверит и будет креститься, будет спасен и, кроме того, будет изгонять бесов, будет излечивать людей от болезни наложением на них рук, будет говорить новыми языками, будет брать змей, и если выпьет яд, то не умрет, а останется здоровым.

Сущность богослужения состояла в том, что предполагалось, что вырезанные священником кусочки и положенные в вино, при

известных манипуляциях и молитвах, превращаются в тело и кровь бога. Манипуляции эти состояли в том, что священник равномерно, несмотря на то, что этому мешал надетый на него парчовый мешок, поднимал обе руки кверху и держал их так, потом опускался на колени и целовал стол и то, что было на нем. Самое же главное действие было то, когда священник, взяв обеими руками салфетку, равномерно и плавно махал ею над блюдцем и золотой чашей. Предполагалось, что в это самое время из хлеба и вина делается тело и кровь, и потому это место богослужения было обставлено особенной торжественностью.

— «Изрядно о пресвятей, пречистой и преблагословенней богородице»,— громко закричал после этого священник из-за перегородки, и хор торжественно запел, что очень хорошо прославлять родившую Христа без нарушения девства девицу Марию, которая удостоена за это большей чести, чем какие-то херувимы, и большей славы, чем какие-то серафимы. После этого считалось, что превращение совершилось, и священник, сняв салфетку с блюдца, разрезал серединный кусочек начетверо и положил его сначала в вино, а потом в рот. Предполагалось, что он съел кусочек тела бога и выпил глоток его крови. После этого священник отдернул занавеску, отворил середние двери и, взяв в руки золоченую чашку, вышел с нею в середние двери и пригласил желающих тоже поесть тела и крови бога, находившихся в чашке.

Желающих оказалось несколько детей.

Предварительно опросив детей об их именах, священник, осторожно зачерпывая ложечкой из чашки, совал глубоко в рот каждому из детей поочередно по кусочку хлеба в вине, а дьячок тут же, отирая рты детям, веселым голосом пел песню о том, что дети едят тело бога и пьют его кровь. После этого священник унес чашку за перегородку и, допив там всю находившуюся в чашке кровь и съев все кусочки тела бога, старательно обсосав усы и вытерев рот и чашку, в самом веселом расположении духа, поскрипывая тонкими подошвами опойковых сапог, бодрыми шагами вышел из-за перегородки.

Этим закончилось главное христианское богослужение. Но священник, желая утешить несчастных арестантов, прибавил к обычной службе еще особенную. Особенная эта служба состояла в том, что священник, став перед предполагаемым выкованным золоченым изображением (с черным лицом и черными руками) того самого бога, которого он ел, освещенным десятком восковых свечей, начал странным и фальшивым голосом не то петь, не то говорить следующие слова:

— «Иисусе сладчайший, апостолов славо, Иисусе мой, похвала мучеников, владыко всесильне, Иисусе, спаси мя, Иисусе спасе

мой, Иисусе мой краснейший, к тебе притекающего, спасе Иисусе, помилуй мя, молитвами рождшия тя, всех, Иисусе, святых твоих, пророк же всех, спасе мой Иисусе, и сладости райския сподоби, Иисусе человеколюбче!»

На этом он приостановился, перевел дух, перекрестился, поклонился в землю, и все сделали то же. Кланялся смотритель, надзиратели, арестанты, и наверху особенно часто забренчали кандалы.

— «Ангелов творче и господи сил,— продолжал он,— Иисусе пречудный, ангелов удивление, Иисусе пресильный, прародителей избавление, Иисусе пресладкий, патриархов величание, Иисусе преславный, царей укрепление, Иисусе преблагий, пророков исполнение, Иисусе предивный, мучеников крепость, Иисусе претихий, монахов радосте, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладость, Иисусе премилосердый, постников воздержание, Иисусе пресладостный, преподобных радование, Иисусе пречистый, девственных целомудрие, Иисусе предвечный, грешников спасение, Иисусе, сыне божий, помилуй мя»,— добрался он, наконец, до остановки, все с большим и большим свистом повторяя слово «Иисусе», придержал рукою рясу на шелковой подкладке и, опустившись на одно колено, поклонился в землю, а хор запел последние слова: «Иисусе, сыне божий, помилуй мя», а арестанты падали и подымались, встряхивая волосами, остававшимися на половине головы, и гремя кандалами, натиравшими им худые ноги.

Так продолжалось очень долго. Сначала шли похвалы, которые кончались словами: «помилуй мя», а потом шли новые похвалы, кончавшиеся словом: «аллилуйя». И арестанты крестились, кланялись, падали на землю. Сначала арестанты кланялись на каждом перерыве, но потом они стали уже кланяться через раз, а то и через два, и все были очень рады, когда все похвалы окончились и священник, облегченно вздохнув, закрыл книжечку и ушел за перегородку. Оставалось одно последнее действие, состоявшее в том, что священник взял с большого стола лежавший на нем золоченый крест с эмалевыми медальончиками на концах и вышел с ним на середину церкви. Сначала подошел к священнику и приложился к кресту смотритель, потом помощник, потом надзиратели, потом, напирая друг на друга и шепотом ругаясь, стали подходить арестанты. Священник, разговаривая с смотрителем, совал крест и свою руку в рот, а иногда в нос подходившим к нему арестантам, арестанты же старались поцеловать и крест и руку священника. Так кончилось христианское богослужение, совершаемое для утешения и назидания заблудших братьев.

И никому из присутствующих, начиная с священника и смотрителя и кончая Масловой, не приходило в голову, что тот самый Иисус, имя которого со свистом такое бесчисленное число раз повторял священник, всякими странными словами восхваляя его, запретил именно все то, что делалось здесь; запретил не только такое бессмысленное многоглаголание, и кощунственное волхвование священников-учителей над хлебом и вином, но самым определенным образом запретил одним людям называть учителями других людей, запретил молитвы в храмах, а велел молиться каждому в уединении, запретил самые храмы, сказав, что пришел разрушить их и что молиться надо не в храмах, а в духе и истине; главное же, запретил не только судить людей и держать их в заточении, мучать, позорить, казнить, как это делалось здесь, а запретил всякое насилие над людьми, сказав, что он пришел выпустить плененных на свободу.

Никому из присутствующих не приходило в голову того, что все, что совершалось здесь, было величайшим кощунством и насмешкой над тем самым Христом, именем которого все это делалось. Никому в голову не приходило того, что золоченый крест с эмалевыми медальончиками на концах, который вынес священник и давал целовать людям, был не что иное, как изображение той виселицы, на которой был казнен Христос именно за то, что он запретил то самое, что теперь его именем совершалось здесь. Никому в голову не приходило, что те священники, которые воображают себе, что в виде хлеба и вина они едят тело и пьют кровь Христа, действительно едят тело и пьют кровь его, но не в кусочках и в вине, а тем, что не только соблазняют тех «малых сих», с которыми Христос отожествлял себя, но и лишают их величайшего блага и подвергают жесточайшим мучениям, скрывая от людей то возвещение блага, которое он принес им.

Священник с спокойной совестью делал все то, что он делал, потому что с детства был воспитан на том, что это единственная истинная вера, в которую верили все прежде жившие святые люди и теперь верят духовное и светское начальство. Он верил не в то, что из хлеба сделалось тело, что полезно для души произносить много слов или что он съел действительно кусочек бога,— в это нельзя верить,— а верил в то, что надо верить в эту веру. Главное же, утверждало его в этой вере то, что за исполнение треб этой веры он восемнадцать лет уже получал доходы, на которые содержал свою семью, сына в гимназии, дочь в духовном училище. Так же верил и дьячок и еще тверже, чем священник, потому что совсем забыл сущность догматов этой веры, а знал только, что за теп-

лоту, за поминание, за часы, за молебен простой и за молебен с акафистом, за все есть определенная цена, которую настоящие христиане охотно платят, и потому выкрикивал свои «помилось, помилось», и пел, и читал, что положено, с такой же спокойной уверенностью в необходимости этого, с какой люди продают дрова, муку, картофель. Начальник же тюрьмы и надзиратели, хотя никогда и не знали и не вникали в то, в чем состоят догматы этой веры и что означало все то, что совершалось в церкви,— верили, что нёпременно надо верить в эту веру, потому что высшее начальство и сам царь верят в нее. Кроме того, хотя и смутно (они никак не могли бы объяснить, как это делается), они чувствовали, что эта вера оправдывала их жестокую службу. Если бы не было этой веры, им не только труднее, но, пожалуй, и невозможно бы было все свои силы употреблять на то, чтобы мучать людей, как они это теперь делали с совершенно спокойноїі совестью. Смотритель был такой доброй души человек, что он никак не мог бы жить так, если бы не находил поддержки в этой вере. И потому он стоял неподвижно, прямо, усердно кланялся и крестился, старался умилиться, когда пели «Иже херувимы», а когда стали причащать детей, вышел вперед и собственноручно поднял мальчика, которого причащали, и подержал его.

Большинство же арестантов, за исключением немногих из них, ясно видевших весь обман, который производился над людьми этоїі веры, и в душе смеявшихся над нею, большинство верило, что в этих золоченых иконах, свечах, чашах, ризах, крестах, повторениях непонятных слов *«Иисусе сладчайший»* и *«помилось»* заключается таинственная сила, посредством которой можно приобресть большие удобства в этой и в будущей жизни. Хотя большинство из них, проделав несколько опытов приобретения удобств в этой жизни посредством молитв, молебнов, свечей, и не получило их,— молитвы их остались неисполненными,— каждый был твердо уверен, что эта неудача случаїная и что это учреждение, одобряемое учеными людьми и митрополитами, есть все-таки учреждение очень важное и которое необходимо если не для этой, то для будущей жизни.

Так же верила и Маслова. Она, как и другие, испытывала во время богослужения смешанное чувство благоговения и скуки. Она стояла сначала в середине толпы за перегородкой и не могла видеть никого, кроме своих товарок; когда же причастницы двинулись вперед и она выдвинулась вместе с Федосьей, она увидала смотрителя, а за смотрителем и между надзирателями мужичка с светло-белой бородкой и русыми волосами — Федосьиного мужа, который остановившимися глазами глядел на жену. Маслова во время акафиста занялась рассматриванием его и перешептыванием с Федосьей и крестилась и кланялась, только когда все это делали.

XLI

Нехлюдов рано выехал из дома. По переулку еще ехал деревенский мужик и странным голосом кричал:

— Молока, молока, молока!

Накануне был первый теплый весенний дождь. Везде, где не было мостовой, вдруг зазеленела трава; березы в садах осыпались зеленым пухом, и черемуха и тополя расправляли свои длинные пахучие листья, а в домах и магазинах выставляли и вытирали рамы. На толкучем рынке, мимо которого пришлось проезжать Нехлюдову, кишела около выстроенных в ряд палаток сплошная толпа народа и ходили оборванные люди с сапогами под мышкой и перекинутыми через плечо выглаженными панталонами и жилетами.

У трактиров уже теснились, высвободившись из своих фабрик, мужчины в чистых поддевках и глянцевитых сапогах и женщины в шелковых ярких платках на головах и пальто с стеклярусом. Городовые с желтыми шнурками пистолетов стояли на местах, высматривая беспорядки, которые могли бы развлечь их от томящей скуки. По дорожкам бульваров и по зеленому, только что окрасившемуся газону бегали, играя, дети и собаки, и веселые нянюшки переговаривались между собой, сидя на скамейках.

По улицам, прохладным и влажным еще с левой стороны, в тени, и высохшим посередине, не переставая гремели по мостовой тяжелые воза ломовых, дребезжали пролетки и звенели конки. Со всех сторон дрожал воздух от разнообразного звона и гула колоколов, призывающих народ к присутствованию при таком же служении, какое совершалось теперь в тюрьме. И разряженный народ расходился каждый по своему приходу.

Извозчик подвез Нехлюдова не к самой тюрьме, а к повороту, ведущему к тюрьме.

Несколько человек мужчин и женщин, большей частью с узелками, стояли тут на этом повороте к тюрьме, шагах в ста от нее. Справа были невысокие деревянные строения, слева двухэтажный дом с какой-то вывеской. Само огромное каменное здание тюрьмы было впереди, и к нему не подпускали посетителей. Часовой солдат с ружьем ходил взад и вперед, строго окрикивая тех, которые хотели обойти его.

У калитки деревянных строений, с правой стороны, против часового сидел на лавочке надзиратель в мундире с галунами с записной книжкой. К нему подходили посетители и называли тех, кого желали видеть, и он записывал. Нехлюдов также подошел к нему и назвал Катерину Маслову. Надзиратель с галунами записал.

— Почему не пускают еще? — спросил Нехлюдов.

— Обедня идет. Вот отойдет обедня, тогда впустят.

Нехлюдов отошел к толпе дожидающихся. Из толпы выделился в оборванной одежде и смятой шляпе, в опорках на босу ногу человек с красными полосами во все лицо и направился к тюрьме.

— Ты куда лезешь? — крикнул на него солдат с ружьем.

— А ты чего орешь? — нисколько не смущаясь окриком часового, ответил оборванец и вернулся назад.— Не пускаешь — подожду. А то кричит, ровно енерал.

В толпе одобрительно засмеялись. Посетители были большей частью люди худо одетые, даже оборванные, но были и приличные по внешнему виду и мужчины и женщины. Рядом с Нехлюдовым стоял хорошо одетый, весь бритый, полный румяный человек с узелком, очевидно белья, в руке. Нехлюдов спросил его, в первый ли он раз тут. Человек с узелком ответил, что он каждое воскресенье бывает здесь, и они разговорились. Это был швейцар из банка; он пришел сюда проведать своего брата, судимого за подлог. Добродушный человек этот рассказал Нехлюдову всю свою историю и хотел расспрашивать и его, когда их внимание отвлекли приехавшие на крупной породистой вороной лошади, в пролетке на резиновых шинах студент с дамой под вуалью. Студент нес в руках большой узел. Он подошел к Нехлюдову и спросил его, можно ли и что нужно сделать для того, чтобы передать милостыню — калачи, которые он привез.

— Это я по желанию невесты. Это моя невеста. Родители ее посоветовали нам свезти заключенным.

— Я сам в первый раз и не знаю, но думаю, что надо спросить этого человека,— сказал Нехлюдов, указывая на надзирателя с галунами, сидевшего с книжкой направо.

В то самое время, когда Нехлюдов разговаривал с студентом, большие, с оконцем в середине, железные двери тюрьмы отворились, и из них вышел офицер в мундире с другим надзирателем, и надзиратель с книжкой объявил, что впуск посетителей начинается. Часовой посторонился, и все посетители, как будто боясь опоздать, скорым шагом, а кто и рысью, пустились к двери тюрьмы. У двери стоял один надзиратель, который, по мере того, как посетители проходили мимо него, считал их, громко произнося: «Шестнадцать, семнадцать» и т. д. Другой надзиратель, внутри здания, дотрагиваясь рукой до каждого, также считал проходивших в следующие двери, с тем чтобы при выпуске, проверив счет, не оставить ни одного посетителя в тюрьме и не выпустить ни одного заключенного. Счетчик этот, не глядя на того, кто проходил, хлопнул рукой по спине Нехлюдова, и это прикосновение руки надзирателя в первую минуту оскорбило Нехлюдова, но тотчас же он вспомнил, зачем он пришел сюда, и ему совестно стало этого чувства неудовольствия и оскорбления.

Первое помещение за дверьми была большая комната со сводами и железными решетками в небольших окнах. В комнате этой, называвшейся сборной, совершенно неожиданно Нехлюдов увидел в нише большое изображение распятия.

«Зачем это?» — подумал он, невольно соединяя в своем представлении изображение Христа с освобожденными, а не с заключенными.

Нехлюдов шел медленным шагом, пропуская вперед себя спешивших посетителей, испытывая смешанные чувства ужаса перед теми злодеями, которые заперты здесь, состраданья к тем невинным, которые, как вчерашний мальчик и Катюша, должны быть здесь, и робости и умиления перед тем свиданием, которое ему предстояло. При выходе из первой комнаты, на другом конце ее, надзиратель проговорил что-то. Но Нехлюдов, поглощенный своими мыслями, не обратил внимания на это и продолжал идти туда, куда шло больше посетителей, то есть в мужское отделение, а не в женское, куда ему нужно было.

Пропуская спешащих вперед, он вошел последним в помещение, назначенное для свиданий. Первое, что поразило его, когда он, отворив дверь, вошел в это помещение, был оглушающий, сливающийся в один гул крик сотни голосов. Только ближе подойдя к людям, точно как мухи насевшим на сахар, прилепившимся к сетке, делившей комнату надвое, Нехлюдов понял, в чем дело. Комната с окнами на задней стене была разделена надвое не одной, а двумя проволочными сетками, шедшими от потолка до земли. Между сетками ходили надзиратели. На той стороне сеток были заключенные, на этой стороне — посетители. Между теми и другими были две сетки и аршина три расстояния, так что не только передать что-нибудь, но и рассмотреть лицо, особенно близорукому человеку, было невозможно. Трудно было и говорить, надо было кричать из всех сил, чтобы быть услышанным. С обеих сторон были прижавшиеся к сеткам лица: жен, мужей, отцов, матерей, детей, старавшихся рассмотреть друг друга и сказать то, что нужно. Но так как каждый старался говорить так, чтобы его расслышал его собеседник, и соседи хотели того же, и их голоса мешали друг другу, то каждый старался перекричать другого. От этого-то стоял тот гул, перебиваемый криками, который поразил Нехлюдова, как только он вошел в эту комнату. Разобрать то, что говорилось, не было никакой возможности. Можно было только по лицам судить о том, что говорилось и какие отношения были между говорящими. Ближе к Нехлюдову была старушка в платочке, которая, прижавшись к сетке, дрожа подбородком, кричала что-то бледному молодому человеку с бритой половиной головы. Арестант, подняв брови и сморщив лоб, внимательно слушал ее. Рядом с старушкой был молодой

человек в поддевке, который слушал, приставив руки к ушам, покачивая головой, то, что ему говорил похожий на него арестант с измученным лицом и седеющей бородой. Еще дальше стоял оборванец и, махая рукой, что-то кричал и смеялся. А рядом с ним сидела на полу женщина с ребенком, в хорошем шерстяном платке, и рыдала, очевидно в первый раз увидав того седого человека, который был на другой стороне в арестантской куртке, с бритой головой и в кандалах. Над этой же женщиной швейцар, с которым говорил Нехлюдов, кричал изо всех сил лысому с блестящими глазами арестанту на той стороне. Когда Нехлюдов понял, что он должен будет говорить в этих условиях, в нем поднялось чувство возмущения против тех людей, которые могли это устроить и соблюдать. Ему удивительно было, что такое ужасное положение, такое издевательство над чувствами людей никого не оскорбляло. И солдаты, и смотритель, и посетители, и заключенные делали все это так, как будто признавая, что это так и должно быть.

Нехлюдов пробыл в этой комнате минут пять, испытывая какое-то странное чувство тоски, сознанья своего бессилья и разлада со всем миром; нравственное чувство тошноты, похожее на качку на корабле, овладело им.

XLII

«Однако надо делать то, за чем пришел,— сказал он,— подбадривая себя.— Как же быть?»

Он стал искать глазами начальство и, увидав невысокого худого человека с усами, в офицерских погонах, ходившего позади народа, обратился к нему:

— Не можете ли вы, милостивый государь, мне сказать,— сказал он с особенно напряженной вежливостью,— где содержатся женщины и где свидания с ними разрешаются?

— Вам разве в женскую надо?

— Да, я бы желал видеть одну женщину из заключенных,— с тою же напряженною вежливостью отвечал Нехлюдов.

— Так вы бы так говорили, когда в сборной были. Вам кого же нужно видеть?

— Мне нужно видеть Екатерину Маслову.

— Она политическая? — спросил помощник смотрителя.

— Нет, она просто...

— Она, что же, приговоренная?

— Да, третьего дня она была приговорена,— покорно отвечал Нехлюдов, боясь как-нибудь попортить настроение смотрителя, как будто принявшего в нем участие.

— Коли в женскую, так сюда пожалуйте,— сказал смотри-

тель, очевидно решив по внешности Нехлюдова, что он стоит внимания.— Сидоров,— обратился он к усатому унтер-офицеру с медалями,— проводи вот их в женскую.

— Слушаю-с.

В это время у решетки послышались чьи-то раздирающие душу рыдания.

Все было странно Нехлюдову, и страннее всего то, что ему приходилось благодарить и чувствовать себя обязанным перед смотрителем и старшим надзирателем, перед людьми, делавшими все те жестокие дела, которые делались в этом доме.

Надзиратель вывел Нехлюдова из мужской посетительской в коридор и тотчас же, отворив дверь напротив, ввел его в женскую комнату для свиданий.

Комната эта, так же как и мужская, была разделена натрое двумя сетками, но она была значительно меньше, и в ней было меньше и посетителей и заключенных, но крик и гул был такой же, как и в мужской. Так же между сетками ходило начальство. Начальство здесь представляла надзирательница в мундире с галунами на рукавах и синими выпушками и таким же кушаком, как у надзирателей. И так же, как и в мужской, с обеих сторон налипли к сеткам люди: с этой стороны — в разнообразных одеяниях городские жители, с той стороны — арестантки, некоторые в белых, некоторые в своих одеждах. Вся сетка была уставлена людьми. Одни поднимались на цыпочки, чтобы через головы других быть слышными, другие сидели на полу и переговаривались.

Заметнее всех женщин-арестанток и поразительным криком и видом была лохматая худая цыганка-арестантка с сбившейся с курчавых волос косынкой, стоявшая почти посередине комнаты, на той стороне решетки у столба, и что-то с быстрыми жестами кричавшая низко и туго подпоясанному цыгану в синем сюртуке. Рядом с цыганом присел к земле солдат, разговаривая с арестанткой, потом стоял, прильнув к сетке, молодой с светлой бородой мужичок в лаптях с раскрасневшимся лицом, очевидно с трудом сдерживающий слезы. С ним говорила миловидная белокурая арестантка, светлыми голубыми глазами смотревшая на собеседника. Это была Федосья с своим мужем. Подле них стоял оборванец, переговаривавшийся с растрепанной широколицей женщиной; потом две женщины, мужчина, опять женщина; против каждого была арестантка. В числе их Масловой не было. Но позади арестанток, на той стороне, стояла еще одна женщина, и Нехлюдов тотчас же понял, что это была она, и тотчас же почувствовал, как усиленно забилось его сердце и остановилось дыхание. Решительная минута приближалась. Он подошел к сетке и узнал ее. Она стояла позади голубоглазой Федосьи и, улыбаясь, слушала то, что она говорила. Она

была не в халате, как третьего дня, а в белой кофте, туго стянутой поясом и высоко подымавшейся на груди. Из-под косынки, как на суде, выставлялись вьющиеся черные волосы.

«Сейчас решится,— думал он.— Как мне позвать ее? Или сама подойдет?»

Но сама она не подходила. Она ждала Клару и никак не думала, что этот мужчина к ней.

— Вам кого нужно? — спросила, подходя к Нехлюдову, надзирательница, ходившая между сетками.

— Екатерину Маслову,— едва мог выговорить Нехлюдов.

— Маслова, к тебе! — крикнула надзирательница.

XLIII

Маслова оглянулась и, подняв голову и прямо выставляя грудь, с своим, знакомым Нехлюдову, выражением готовности, подошла к решетке, протискиваясь между двумя арестантками, и удивленно-вопросительно уставилась на Нехлюдова, не узнавая его.

Признав, однако, по одежде в нем богатого человека, она улыбнулась.

— Вы ко мне? — сказала она, приближая к решетке свое улыбающееся, с косящими глазами лицо.

— Я хотел видеть...— Нехлюдов не знал, как сказать: «вас» или «тебя», и решил сказать «вас». Он говорил не громче обыкновенного.— Я хотел видеть вас... я...

— Ты мне зубы-то не заговаривай,— кричал подле него оборванец.— Брала или не брала?

— Говорят тебе, помирает, чего ж еще? — кричал кто-то с другой стороны.

Маслова не могла расслышать того, что говорил Нехлюдов, но выражение его лица в то время, как он говорил, вдруг напомнило ей его. Но она не поверила себе. Улыбка, однако, исчезла с ее лица, и лоб стал страдальчески морщиться.

— Не слыхать, что говорите,— прокричала она, щурясь и все больше и больше морща лоб.

— Я пришел...

«Да, я делаю то, что должно, я каюсь»,— подумал Нехлюдов. И только что он подумал это, слезы выступили ему на глаза, подступили к горлу, и он, зацепившись пальцами за решетку, замолчал, делая усилие, чтобы не разрыдаться.

— Я говорю: зачем встреваешь, куда не должно...— кричали с одной стороны.

— Верь ты богу, знать не знаю,— кричала арестантка с другой стороны.

Увидав его волнение, Маслова узнала его.

— Похоже, да не признаю,— закричала она, не глядя на него, и покрасневшее вдруг лицо ее стало еще мрачнее.

— Я пришел затем, чтобы просить у тебя прощения,— прокричал он громким голосом, без интонации, как заученный урок.

Прокричав эти слова, ему стало стыдно, и он оглянулся. Но тотчас же пришла мысль, что если ему стыдно, то это тем лучше, потому что он должен нести стыд. И он громко продолжал:

— Прости меня, я страшно виноват перед...— прокричал он еще.

Она стояла неподвижно и не спускала с него своего косого взгляда.

Он не мог дальше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать колебавшие его грудь рыдания.

Смотритель, тот самый, который направил Нехлюдова в женское отделение, очевидно, заинтересованный им, пришел в это отделение и, увидав Нехлюдова не у решетки, спросил его, почему он не говорит с той, с кем ему нужно. Нехлюдов высморкался и, встряхнувшись, стараясь иметь спокойный вид, отвечал:

— Не могу говорить через решетку, ничего не слышно.

Смотритель задумался.

— Ну, что же, можно вывести ее сюда на время.

— Марья Карловна! — обратился он к надзирательнице.— Выведите Маслову наружу.

Через минуту из боковой двери вышла Маслова. Подойдя мягкими шагами вплоть к Нехлюдову, она остановилась и исподлобья взглянула на него. Черные волосы, так же как и третьего дня, выбивались вьющимися колечками, лицо, нездоровое, пухлое и белое, было миловидно и совершенно спокойно; только глянцевито-черные косые глаза из-под подпухших век особенно блестели.

— Можно здесь говорить,— сказал смотритель и отошел.

Нехлюдов придвинулся к скамье, стоявшей у стены.

Маслова взглянула вопросительно на помощника смотрителя и потом, как бы с удивлением пожав плечами, пошла за Нехлюдовым к скамье и села на нее рядом с ним, оправив юбку.

— Я знаю, что вам трудно простить меня,— начал Нехлюдов, но опять остановился, чувствуя, что слезы мешают,— но если нельзя уже поправить прошлого, то я теперь сделаю все, что могу. Скажите...

— Как это вы нашли меня? — не отвечая на его вопрос, спросила она, и глядя и не глядя на него своими косыми глазами.

«Боже мой! Помоги мне. Научи меня, что мне делать!» — говорил себе Нехлюдов, глядя на ее такое изменившееся, дурное теперь лицо.

— Я третьего дня был присяжным,— сказал он,— когда вас судили. Вы не узнали меня?

— Нет, не узнала. Некогда мне было узнавать. Да я и не смотрела,— сказала она.

— Ведь был ребенок? — спросил он и почувствовал, как лицо его покраснело.

— Тогда же, слава богу, помер,— коротко и злобно ответила она, отворачивая от него взгляд.

— Как же, от чего?

— Я сама больна была, чуть не померла,— сказала она, не поднимая глаз.

— Как же тетушки вас отпустили?

— Кто ж станет горничную с ребенком держать? Как заметили, так и прогнали. Да что говорить,— не помню ничего, все забыла. То все кончено.

— Нет, не кончено. Не могу я так оставить этого. Я хоть теперь хочу искупить свой грех.

— Нечего искупать; что было, то было и прошло,— сказала она, и, чего он никак не ожидал, она вдруг взглянула на него и неприятно, заманчиво и жалостно улыбнулась.

Маслова никак не ожидала увидать его, особенно теперь и здесь, и потому в первую минуту появление его поразило ее и заставило вспомнить о том, чего она не вспоминала никогда. Она в первую минуту вспомнила смутно о том новом, чудном мире чувств и мыслей, который открыт был ей прелестным юношей, любившим ее и любимым ею, и потом об его непонятной жестокости и целом ряде унижений, страданий, которые последовали за этим волшебным счастьем и вытекали из него. И ей сделалось больно. Но, не будучи в силах разобраться в этом, она поступила и теперь, как поступала всегда: отогнала от себя эти воспоминания и постаралась застлать их особенным туманом развратной жизни; так точно она сделала и теперь. В первую минуту она соединила теперь сидящего перед ней человека с тем юношей, которого она когда-то любила, но потом, увидав, что это слишком больно, она перестала соединять его с тем. Теперь этот чисто одетый, выхоленный господин с надушенной бородой был для нее не тот Нехлюдов, которого она любила, а только один из тех людей, которые, когда им нужно было, пользовались такими существами, как она, и которыми такие существа, как она, должны были пользоваться как можно для себя выгоднее. И потому она заманчиво улыбнулась ему. Она помолчала, обдумывая, чем бы воспользоваться от него.

— То все кончено,— сказала она.— Теперь вот осудили в каторгу.

И губы ее задрожали, когда она выговорила это страшное слово.

— Я знал, я уверен был, что вы не виноваты,— сказал Нехлюдов.

— Известно, не виновата. Разве я воровка или грабительница. У нас говорят, что все от адвоката,— продолжала она.— Говорят, надо прошение подать. Только дорого, говорят, берут...

— Да, непременно,— сказал Нехлюдов.— Я уже обратился к адвокату.

— Надо не пожалеть денег, хорошего,— сказала она.

— Я все сделаю, что возможно.

Наступило молчание.

Она опять так же улыбнулась.

— А я хочу вас попросить... денег, если можете. Немного... десять рублей, больше не надо,— вдруг сказала она.

— Да, да,— сконфуженно заговорил Нехлюдов и взялся за бумажник.

Она быстро взглянула на смотрителя, который ходил взад и вперед по камере.

— При нем не давайте, а когда он отойдет, а то отберут.

Нехлюдов достал бумажник, как только смотритель отвернулся, но не успел передать десятирублевую бумажку, как смотритель опять повернулся к ним лицом. Он зажал ее в руке.

«Ведь это мертвая женщина»,— думал он, глядя на это когда-то милое, теперь осквернённое пухлое лицо с блестящим нехорошим блеском черных косящих глаз, следящих за смотрителем и его рукою с зажатой бумажкой. И на него нашла минута колебания.

Опять тот искуситель, который говорил вчера ночью, заговорил в душе Нехлюдова, как всегда, стараясь вывести его из вопросов о том, что должно сделать, к вопросу о том, что выйдет из его поступков и что полезно.

«Ничего ты не сделаешь с этой женщиной,— говорил этот голос,— только себе на шею повесишь камень, который утопит тебя и помешает тебе быть полезным другим. Дать ей денег, всё, что есть, проститься с ней и кончить все навсегда?» — подумалось ему.

Но тут же он почувствовал, что теперь, сейчас, совершается нечто самое важное в его душе, что его внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеблющихся весах, которые малейшим усилием могут быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал это усилие, призывая того бога, которого он вчера почуял в своей душе, и бог тут же отозвался в нем. Он решил сейчас сказать ей все.

— Катюша! Я пришел к тебе просить прощения, а ты не ответила мне, простила ли ты меня, простишь ли ты меня когда-нибудь,— сказал он, вдруг переходя на «ты».

Она не слушала его, а глядела то на его руку, то на смотрителя. Когда смотритель отвернулся, она быстро протянула к нему руку, схватила бумажку и положила за пояс.

— Чудно́, что говорите,— сказала она, презрительно, как ему показалось, улыбаясь.

Нехлюдов чувствовал, что в ней есть что-то прямо враждебное ему, защищающее ее такою, какая она теперь, и мешающее ему проникнуть до ее сердца.

Но, удивительное дело, это его не только не отталкивало, но еще больше какой-то особенной, новой силой притягивало к ней. Он чувствовал, что ему должно разбудить ее духовно, что это страшно трудно; но самая трудность этого дела привлекала его. Он испытывал к ней теперь чувство такое, какого он никогда не испытывал прежде ни к ней, ни к кому-либо другому, в котором не было ничего личного: он ничего не желал себе от нее, а желал только того, чтобы она перестала быть такою, какою она была теперь, чтобы она пробудилась и стала такою, какою она была прежде.

— Катюша, зачем ты так говоришь? Я ведь знаю тебя, помню тебя тогда, в Панове...

— Что старое поминать,— сухо сказала она.

— Я вспоминаю затем, чтобы загладить, искупить свой грех, Катюша,— начал он и хотел было сказать о том, что он женится на ней, но он встретил ее взгляд и прочел в нем что-то такое страшное и грубое, отталкивающее, что не мог договорить.

В это время посетители стали выходить. Смотритель подошел к Нехлюдову и сказал, что время свидания кончилось. Маслова встала, покорно ожидая, когда ее отпустят.

— Прощайте, мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя,— сказал Нехлюдов и протянул руку.— Я приду еще.

— Кажется, все сказали...

Она подала руку, но не пожала.

— Нет, я постараюсь видеться с вами еще, где бы можно переговорить, и тогда скажу очень важное, что нужно сказать вам,— сказал Нехлюдов.

— Что же, приходите,— сказала она, улыбаясь той улыбкой, которой улыбалась мужчинам, которым хотела нравиться.

— Вы ближе для меня, чем сестра,— сказал Нехлюдов.

— Чудно́,— повторила она и, покачивая головой, ушла за решетку.

При первом свидании Нехлюдов ожидал, что, увидав его, узнав его намерение служить ей и его раскаяние, Катюша обрадуется и умилится и станет опять Катюшей, но, к ужасу своему, он увидал, что Катюши не было, а была одна Маслова. Это удивило и ужаснуло его.

Преимущественно удивляло его то, что Маслова не только не стыдилась своего положения — не арестантки (этого она стыдилась), а своего положения проститутки,— но как будто даже была довольна, почти гордилась им. А между тем это и не могло быть иначе. Всякому человеку, для того чтобы действовать, необходимо считать свою деятельность важною и хорошею. И потому, каково бы ни было положение человека, он непременно составит себе такой взгляд на людскую жизнь вообще, при котором его деятельность будет казаться ему важною и хорошею.

Обыкновенно думают, что вор, убийца, шпион, проститутка, признавая свою профессию дурною, должны стыдиться ее. Происходит же совершенно обратное. Люди, судьбою и своими грехами-ошибками поставленные в известное положение, как бы оно ни было неправильно, составляют себе такой взгляд на жизнь вообще, при котором их положение представляется им хорошим и уважительным. Для поддержания же такого взгляда люди инстинктивно держатся того круга людей, в котором признается составленное ими о жизни и о своем в ней месте понятие. Нас это удивляет, когда дело касается воров, хвастающихся своею ловкостью, проституток — своим развратом, убийц — своей жестокостью. Но удивляет это нас только потому, что кружок-атмосфера этих людей ограничена и, главное, что мы находимся вне ее. Но разве не то же явление происходит среди богачей, хвастающихся своим богатством, то есть грабительством, военноначальников, хвастающихся своими победами, то есть убийством, властителей, хвастающихся своим могуществом, то есть насильничеством? Мы не видим в этих людях извращения понятия о жизни, о добре и зле для оправдания своего положения только потому, что круг людей с такими извращенными понятиями больше и мы сами принадлежим к нему.

И такой взгляд на свою жизнь и свое место в мире составился у Масловой. Она была проститутка, приговоренная к каторге, и, несмотря на это, она составила себе такое мировоззрение, при котором могла одобрить себя и даже гордиться перед людьми своим положением.

Мировоззрение это состояло в том, что главное благо всех мужчин, всех без исключения — старых, молодых, гимназистов, гене-

ралов, образованных, необразованных,— состоит в половом общении с привлекательными женщинами, и потому все мужчины, хотя и притворяются, что заняты другими делами, в сущности желают только одного этого. Она же — привлекательная женщина — может удовлетворять или же не удовлетворять это их желание, и потому она — важный и нужный человек. Вся ее прежняя и теперешняя жизнь была подтверждением справедливости этого взгляда.

В продолжение десяти лет она везде, где бы она ни была, начиная с Нехлюдова и старика станового и кончая острожными надзирателями, видела, что все мужчины нуждаются в ней; она не видела и не замечала тех мужчин, которые не нуждались в ней. И потому весь мир представлялся ей собранием обуреваемых похотью людей, со всех сторон стороживших ее и всеми возможными средствами — обманом, насилием, куплей, хитростью — старающихся овладеть ею.

Так понимала жизнь Маслова, и при таком понимании жизни она была не только не последний, а очень важный человек. И Маслова дорожила таким пониманием жизни больше всего на свете, не могла не дорожить им, потому что, изменив такое понимание жизни, она теряла то значение, которое такое понимание давало ей среди людей. И для того, чтобы не терять своего значения в жизни, она инстинктивно держалась такого круга людей, которые смотрели на жизнь так же, как и она. Чуя же, что Нехлюдов хочет вывести ее в другой мир, она противилась ему, предвидя, что в том мире, в который он привлекал ее, она должна будет потерять это свое место в жизни, дававшее ей уверенность и самоуважение. По этой же причине она отгоняла от себя и воспоминания первой юности и первых отношений с Нехлюдовым. Воспоминания эти не сходились с ее теперешним миросозерцанием и потому были совершенно вычеркнуты из ее памяти или скорее где-то хранились в ее памяти нетронутыми, но были так заперты, замазаны, как пчелы замазывают гнезда клочней (червей), которые могут погубить всю пчелиную работу, чтобы к ним не было никакого доступа. И потому теперешний Нехлюдов был для нее не тот человек, которого она когда-то любила чистой любовью, а только богатый господин, которым можно и должно воспользоваться и с которым могли быть только такие отношения, как и со всеми мужчинами.

«Нет, не мог сказать главного,— думал Нехлюдов, направляясь вместе с народом к выходу.— Я не сказал ей, что женюсь на ней. Не сказал, а сделаю это»,— думал он.

Надзиратели, стоя у дверей, опять, выпуская, в две руки считали посетителей, чтобы не вышел лишний и не остался в тюрьме. То, что его хлопали теперь по спине, не только не оскорбляло его, но он даже и не замечал этого.

XLV

Нехлюдову хотелось изменить свою внешнюю жизнь: сдать большую квартиру, распустить прислугу и переехать в гостиницу. Но Аграфена Петровна доказала ему, что не было никакого резона до зимы что-либо изменять в устройстве жизни; летом квартиры никто не возьмет, а жить и держать мебель и вещи где-нибудь да нужно. Так что все усилия Нехлюдова изменить свою внешнюю жизнь (ему хотелось устроиться просто, по-студенчески) не привели ни к чему. Мало того, что все осталось по-прежнему, в доме началась усиленная работа: проветривания, развешивания и выбивания всяких шерстяных и меховых вещей, в которой принимали участие и дворник, и его помощник, и кухарка, и сам Корней. Сначала выносили и вывешивали на веревки какие-то мундиры и странные меховые вещи, которые никогда никем не употреблялись; потом стали выносить ковры и мебель, и дворник с помощником, засучив рукава мускулистых рук, усиленно в такт выколачивали эти вещи, и по всем комнатам распространялся запах нафталина. Проходя по двору и глядя из окон, Нехлюдов удивлялся на то, как ужасно много всего этого было и как все это было несомненно бесполезно. «Единственное употребление и назначение этих вещей,— думал Нехлюдов,— состояло в том, чтобы доставить случай делать упражнения Аграфене Петровне, Корнею, дворнику, его помощнику и кухарке.

Не стоит изменять формы жизни теперь, когда дело Масловой не решено,— думал Нехлюдов.— Да и слишком трудно это. Все равно само собой все изменится, когда освободят или сошлют ее и я поеду за ней».

В назначенный адвокатом Фанариным день Нехлюдов приехал к нему. Войдя в его великолепную квартиру собственного дома с огромными растениями и удивительными занавесками в окнах и вообще той дорогой обстановкой, свидетельствующей о дурашных, то есть без труда полученных деньгах, которая бывает только у людей неожиданно разбогатевших, Нехлюдов застал в приемной дожидающихся очереди просителей, как у врачей, уныло сидящих около столов с долженствующими утешать их иллюстрированными журналами. Помощник адвоката, сидевший тут же, у высокой конторки, узнав Нехлюдова, подошел к нему, поздоровался и сказал, что он сейчас скажет принципалу. Но не успел помощник подойти к двери в кабинет, как она сама отворилась и послышались громкие, оживленные голоса немолодого коренастого человека с красным лицом и густыми усами, в совершенно новом платье, и самого Фанарина. На обоих лицах было то выражение,

какое бывает на лицах людей, только что сделавших выгодное, но не совсем хорошее дело.

— Сами виноваты, батюшка,— улыбаясь, говорил Фанарин.

— И рад бы в рай, да грехи не пущают.

— Ну, ну, мы знаем.

И оба ненатурально засмеялись.

— А, князь, пожалуйте,— сказал Фанарин, увидав Нехлюдова, и, кивнув еще раз удалявшемуся купцу, ввел Нехлюдова в свой строгого стиля деловой кабинет.— Пожалуйста, курите,— сказал адвокат, садясь против Нехлюдова и сдерживая улыбку, вызываемую успехом предшествующего дела.

— Благодарю, я о деле Масловой.

— Да, да, сейчас. У, какие шельмы эти толстосумы! — сказал он.— Видели этого молодца? У него миллионов двенадцать капитала. А говорит: пущает. Ну, а если только может вытянуть у вас двадцатипятирублевый билет — зубами вырвет.

«Он говорит «пущает», а ты говоришь «двадцатипятирублевый билет»,— думал между тем Нехлюдов, чувствуя непреодолимое отвращение к этому развязному человеку, тоном своим желающему показать, что он с ним, с Нехлюдовым, одного, а с пришедшими клиентами и остальными — другого, чуждого им лагеря.

— Уж очень он меня измучал — ужасный негодяй. Хотелось душу отвести,— сказал адвокат, как бы оправдываясь в том, что говорит не о деле.— Ну-с, о вашем деле... Я его прочел внимательно и «содержания оной не одобрил», как говорится у Тургенева, то есть адвокатишко был дрянной и все поводы кассации упустил.

— Так что же вы решили?

— Сию минуту. Скажите ему,— обратился он к вошедшему помощнику,— что, как я сказал, так и будет; может — хорошо, не может — не надо.

— Да он не согласен.

— Ну, и не надо,— сказал адвокат, и лицо у него из радостного и добродушного вдруг сделалось мрачное и злое.

— Вот говорят, что адвокаты даром деньги берут,— сказал он, наводя на свое лицо опять прежнюю приятность.— Я выпростал одного несостоятельного должника из совершенно неправильного обвинения, и теперь они все ко мне лезут. А каждое такое дело стоит огромного труда. Ведь и мы тоже, как какой-то писатель говорит, оставляем кусочек мяса в чернильнице. Ну-с, так ваше дело, или дело, которое интересует вас,— продолжал он,— ведено скверно, хороших поводов к кассации нет, но все-таки попытаться кассировать можно, и я вот написал следующее.

Он взял лист исписанной бумаги и, быстро проглатывая некоторые неинтересные формальные слова и особенно внушительно произнося другие, начал читать:

— «В Уголовный кассационный департамент и так далее и так далее, такой-то и так далее жалоба. Решением состоявшегося и так далее, и так далее вердикта и так далее, признана такая-то Маслова виновною в лишении жизни посредством отравления купца Смелькова и на основании 1454 статьи Уложения приговорена к и так далее каторжные работы и так далее».

Он остановился; очевидно, несмотря на большую привычку, он все-таки с удовольствием слушал свое произведение.

— «Приговор этот является результатом столь важных процессуальных нарушений и ошибок,— продолжал он внушительно,— что подлежит отмене. Во-первых, чтение во время судебного следствия акта исследования внутренностей Смелькова было прервано в самом начале председателем» — раз.

— Да ведь это обвинитель требовал чтения,— с удивлением сказал Нехлюдов.

— Все равно, защита могла иметь основания требовать того же самого.

— Но ведь это уже совсем ни на что не нужно было.

— Все-таки это повод. Далее: «Во-вторых, защитник Масловой,— продолжал он читать,— был остановлен во время речи председателем, когда, желая охарактеризовать личность Масловой, он коснулся внутренних причин ее падения, на том основании, что слова защитника якобы не относятся прямо к делу, а между тем в делах уголовных, как то было неоднократно указываемо сенатом, выяснение характера и вообще нравственного облика подсудимого имеет первенствующее значение, хотя бы для правильного решения вопроса о вменении» — два,— сказал он, взглянув на Нехлюдова.

— Да ведь он очень плохо говорил, так что нельзя было ничего понять,— еще более удивляясь, сказал Нехлюдов.

— Малый глупый совсем и, разумеется, ничего не мог сказать путного,— смеясь, сказал Фанарин,— но все-таки повод. Ну-с, потом. «В-третьих, в заключительном слове своем председатель, вопреки категорического требования 1 пункта 801 статьи Устава уголовного судопроизводства, не разъяснил присяжным заседателям, из каких юридических элементов слагается понятие о виновности, и не сказал им, что они имеют право, признав доказанным факт дачи Масловою яду Смелькову, не вменить ей это деяние в вину за отсутствием у нее умысла на убийство и таким образом признать ее виновною не в уголовном преступлении, а лишь в проступке — неосторожности, последствием коей, неожиданным для Масловой, была смерть купца». Это вот главное.

— Да мы и сами могли понять это. Это наша ошибка.

— «И наконец, в-четвертых,— продолжал адвокат,— присяжными заседателями ответ на вопрос суда о виновности Масловой был дан в такой форме, которая заключала в себе явное противоречие. Маслова обвинялась в умышленном отравлении Смелькова с исключительно корыстною целью, каковая являлась единственным мотивом убийства, присяжные же в ответе своем отвергли цель ограбления и участие Масловой в похищении ценностей, из чего очевидно было, что они имели в виду отвергнуть и умысел подсудимой на убийство и лишь по недоразумению, вызванному неполнотою заключительного слова председателя, не выразили этого надлежащим образом в своем ответе, а потому такой ответ присяжных безусловно требовал применения 816 и 808 статей Устава уголовного судопроизводства, то есть разъяснения присяжным со стороны председателя сделанной ими ошибки и возвращения к новому совещанию и новому ответу на вопрос о виновности подсудимой»,— прочел Фанарин.

— Так почему же председатель не сделал этого?

— Я бы тоже желал знать почему,— смеясь, сказал Фанарин.

— Стало быть, сенат исправит ошибку?

— Это смотря по тому, какие там в данный момент будут заседать богодулы.

— Как богодулы?

— Богодулы из богадельни. Ну, так вот-с. Дальше пишем: «Такой вердикт не давал суду права,— продолжал он быстро,— подвергнуть Маслову уголовному наказанию, и применение к ней 3 пункта 771 статьи Устава уголовного судопроизводства составляет резкое и крупное нарушение основных положений нашего уголовного процесса. По изложенным основаниям имею честь ходатайствовать и так далее и так далее об отмене согласно 909, 910, 2 пункта 912 и 928 статей Устава уголовного судопроизводства и так далее и так далее и о передаче дела сего в другое отделение того же суда для нового рассмотрения». Так вот-с, все, что можно было сделать, сделано. Но буду откровенен, вероятия на успех мало. Впрочем, все зависит от состава департамента сената. Если есть рука, похлопочите.

— Я кое-кого знаю.

— Да и поскорее, а то они все уедут геморрои лечить, и тогда три месяца надо ждать... Ну, а в случае неуспеха остается прошение на высочайшее имя. Это тоже зависит от закулисной работы. И в этом случае готов служить, то есть не в закулисной, а в составлении прошения.

— Благодарю вас, гонорар, стало быть...

— Помощник передаст вам беловую жалобу и скажет.

— Еще я хотел спросить вас: прокурор дал мне пропуск в тюрьму к этому лицу, в тюрьме же мне сказали, что нужно еще разрешение губернатора для свиданий вне условных дней и места. Нужно ли это?

— Да, я думаю. Но теперь губернатора нет, правит должностью виц. Но это такой дремучий дурак, что вы с ним едва ли что сделаете.

— Это Масленников?

— Да.

— Я знаю его,— сказал Нехлюдов и встал, чтобы уходить.

В это время в комнату влетела быстрым шагом маленькая, страшно безобразная, курносая, костлявая, желтая женщина — жена адвоката, очевидно нисколько не унывавшая от своего безобразия. Она не только была необыкновенно оригинально нарядна,— что-то было на ней накручено и бархатное, и шелковое, и ярко-желтое, и зеленое,— но и жидкие волосы ее были подвиты, и она победительно влетела в приемную, сопутствуемая длинным улыбающимся человеком с земляным цветом лица, в сюртуке с шелковыми отворотами и белом галстуке. Это был писатель; его знал по лицу Нехлюдов.

— Анатоль,— проговорила она, отворяя дверь,— пойдем ко мне. Вот Семен Иванович обещает прочесть свое стихотворение, а ты должен читать о Гаршине непременно.

Нехлюдов хотел уйти, но жена адвоката пошепталась с мужем и тотчас же обратилась к нему:

— Пожалуйста, князь,— я вас знаю и считаю излишним представления,— посетите наше литературное утро. Очень будет интересно. Анатоль прелестно читает.

— Видите, сколько у меня разнообразных дел,— сказал Анатоль, разводя руками, улыбаясь и указывая на жену, выражая этим невозможность противустоять такой обворожительной особе.

С грустным и строгим лицом и с величайшею учтивостью поблагодарив жену адвоката за честь приглашения, Нехлюдов отказался за неимением возможности и вышел в приемную.

— Какой гримасник! — сказала про него жена адвоката, когда он вышел.

В приемной помощник передал Нехлюдову готовое прошение и на вопрос о гонораре сказал, что Анатолий Петрович назначил тысячу рублей, объяснив при этом, что, собственно, таких дел Анатолий Петрович не берет, но делает это для него.

— Как же подписать прошение, кто должен? — спросил Нехлюдов.

— Может сама подсудимая, а если затруднительно, то и Анатолий Петрович, взяв от нее доверенность.

— Нет, я съезжу и возьму ее подпись,— сказал Нехлюдов, радуясь случаю увидать ее раньше назначенного дня.

XLVI

В обычное время в остроге просвистели по коридорам свистки надзирателей; гремя железом, отворились двери коридоров и камер, зашлепали босые ноги и каблуки котов, по коридорам прошли парашечники, наполняя воздух отвратительною вонью; умылись, оделись арестанты и арестантки и вышли по коридорам на поверку, а после поверки пошли за кипятком для чая.

За чаем в этот день по всем камерам острога шли оживленные разговоры о том, что в этот день должны были быть наказаны розгами два арестанта. Один из этих арестантов был хорошо грамотный молодой человек, приказчик Васильев, убивший свою любовницу в припадке ревности. Его любили товарищи по камере за его веселость, щедрость и твердость в отношениях с начальством. Он знал законы и требовал исполнения их. За это начальство не любило его. Три недели тому назад надзиратель ударил парашечника за то, что тот облил его новый мундир щами. Васильев вступился за парашечника, говоря, что нет закона бить арестантов. «Я тебе покажу закон»,— сказал надзиратель и изругал Васильева. Васильев ответил тем же. Надзиратель хотел ударить, но Васильев схватил его за руки, подержал так минуты три, повернул и вытолкнул из двери. Надзиратель пожаловался, и смотритель велел посадить Васильева в карцер.

Карцеры были ряд темных чуланов, запиравшихся снаружи запорами. В темном, холодном карцере не было ни кровати, ни стола, ни стула, так что посаженный сидел или лежал на грязном полу, где через него и на него бегали крысы, которых в карцере было очень много и которые были так смелы, что в темноте нельзя было уберечь хлеба. Они съедали хлеб из-под рук у посаженных и даже нападали на самих посаженных, если они переставали шевелиться. Васильев сказал, что не пойдет в карцер, потому что не виноват. Его повели силой. Он стал отбиваться, и двое арестантов помогли ему вырваться от надзирателей. Собрались надзиратели и между прочим знаменитый своей силой Петров. Арестантов смяли и втолкнули в карцеры. Губернатору тотчас же было донесено о том, что случилось нечто похожее на бунт. Была получена бумага, в которой предписывалось дать главным двум виновникам — Васильеву и бродяге Непомнящему — по тридцать розог.

Наказание должно было происходить в женской посетительской.

С вечера все это было известно всем обитателям острога, и по камерам шли оживленные переговоры о предстоящем наказании.

Кораблева, Хорошавка, Федосья и Маслова сидели в своем углу и, все красные и оживленные, выпив уже водки, которая теперь не переводилась у Масловой и которою она щедро угощала товарок, пили чай и говорили о том же.

— Разве он буянил или что,— говорила Кораблева про Васильева, откусывая крошечные кусочки сахару всеми своими крепкими зубами.— Он только за товарища стал. Потому нынче драться не велят.

— Малый, говорят, хорош,— прибавила Федосья, простоволосая, с своими длинными косами, сидевшая на полене против нар, на которых был чайник.

— Вот бы ему сказать, Михайловна,— обратилась сторожиха к Масловой, подразумевая под «ним» Нехлюдова.

— Я скажу. Он для меня все сделает,— улыбаясь и встряхивая головой, отвечала Маслова.

— Да ведь когда приедет, а они, говорят, сейчас пошли за ними,— сказала Федосья.— Страсть это,— прибавила она, вздыхая.

— Я однова́ видела, как в волостном мужика драли. Меня к старшине батюшка свекор послал, пришла я, а он, глядь...— начала сторожиха длинную историю.

Рассказ сторожихи был прерван звуком голосов и шагов в верхнем коридоре.

Женщины притихли, прислушиваясь.

— Поволокли, черти,— сказала Хорошавка.— Запорют они его теперь. Злы уж больно на него надзиратели, потому он им спуска не дает.

Наверху все затихло, и сторожиха досказала свою историю, как она испужалась в волостном, когда там в сарае мужика секли, как у ней вся внутренность отскочила. Хорошавка же рассказала, как Щеглова плетьми драли, а он и голоса не дал. Потом Федосья убрала чай, и Кораблева и сторожиха взялись за шитье, а Маслова села, обняв коленки, на нары, тоскуя от скуки. Она собралась лечь заснуть, как надзирательница кликнула ее в контору к посетителю.

— Беспременно скажи про нас,— говорила ей старуха Меньшова, в то время как Маслова оправляла косынку перед зеркалом с облезшей наполовину ртутью,— не мы зажгли, а он сам, злодей, и работник видел; он души не убьет. Ты скажи ему, чтобы он Митрия вызвал. Митрий все ему выложит, как на ладонке; а то

что ж это, заперли в замок, а мы и духом не слыхали, а он, злодей, царствует с чужой женой, в кабаке сидит.

— Не закон это! — подтвердила Кораблиха.

— Скажу, непременно скажу,— отвечала Маслова.— А то выпить еще для смелости,— прибавила она, подмигнув глазом.

Кораблиха налила ей полчашки. Маслова выпила, утерлась и в самом веселом расположении духа, повторяя сказанные ею слова: «для смелости», покачивая головой и улыбаясь, пошла за надзирательницей по коридору.

XLVII

Нехлюдов уже давно дожидался в сенях.

Приехав в острог, он позвонил у входной двери и подал дежурному надзирателю разрешение прокурора.

— Вам кого?

— Видеть арестантку Маслову.

— Нельзя теперь: смотритель занят.

— В конторе? — спросил Нехлюдов.

— Нет, здесь, в посетительской,— отвечал смущенно, как показалось Нехлюдову, надзиратель.

— Разве нынче принимают?

— Нет, особенное дело,— сказал он.

— Как же его увидать?

— Вот выйдут, тогда скажете. Обождите.

В это время из боковой двери вышел с блестящими галунами и сияющим, глянцевитым лицом, с пропитанными табачным дымом усами фельдфебель и строго обратился к надзирателю:

— Зачем сюда пустили?.. В контору...

— Мне сказали, что смотритель здесь,— сказал Нехлюдов, удивляясь на то беспокойство, которое заметно было и в фельдфебеле.

В это время внутренняя дверь отворилась, и вышел запотевший, разгоряченный Петров.

— Будет помнить,— проговорил он, обращаясь к фельдфебелю.

Фельдфебель указал глазами на Нехлюдова, и Петров замолчал, нахмурился и прошел в заднюю дверь.

«Кто будет помнить? Отчего они все так смущены? Отчего фельдфебель сделал ему какой-то знак?» — думал Нехлюдов.

— Нельзя здесь дожидаться, пожалуйте в контору,— опять обратился фельдфебель к Нехлюдову, и Нехлюдов уже хотел уходить, когда из задней двери вышел смотритель, еще более сму-

щенный, чем его подчиненные. Он не переставая вздыхал. Увидав Нехлюдова, он обратился к надзирателю.

— Федотов, Маслову из пятой женской в контору,— сказал он.

— Пожалуйте,— обратился он к Нехлюдову. Они прошли по крутой лестнице в маленькую комнатку с одним окном, письменным столом и несколькими стульями. Смотритель сел.

— Тяжелые, тяжелые обязанности,— сказал он, обращаясь к Нехлюдову и доставая толстую папиросу.

— Вы, видно, устали,— сказал Нехлюдов.

— Устал от всей службы, очень трудные обязанности. Хочешь облегчить участь, а выходит хуже; только и думаю, как уйти: тяжелые, тяжелые обязанности.

Нехлюдов не знал, в чем особенно была для смотрителя трудность, но нынче он видел в нем какое-то особенное, возбуждающее жалость, унылое и безнадежное настроение.

— Да, я думаю, что очень тяжелые,— сказал он.— Зачем же вы исполняете эту обязанность?

— Средств не имею, семья.

— Но если вам тяжело...

— Ну, все-таки я вам скажу, по мере сил приносишь пользу, все-таки, что могу, смягчаю. Кто другой на моем месте совсем бы не так повел. Ведь это легко сказать: две тысячи с лишним человек, да каких. Надо знать, как обойтись. Тоже люди, жалеешь их. А распустить тоже нельзя.

Смотритель стал рассказывать недавний случай драки между арестантами, кончившейся убийством.

Рассказ его был прерван входом Масловой, предшествуемой надзирателем.

Нехлюдов увидал ее в дверях, когда она еще не видала смотрителя. Лицо ее было красно. Она бойко шла за надзирателем и не переставая улыбалась, покачивая головой. Увидав смотрителя, она с испуганным лицом уставилась на него, но тотчас же оправилась и бойко и весело обратилась к Нехлюдову.

— Здравствуйте,— сказала она, нараспев и улыбаясь и сильно, не так, как тот раз, встряхнув его руку.

— Я вот привез вам подписать прошение,— сказал Нехлюдов, немного удивляясь на тот бойкий вид, с которым она нынче встретила его.— Адвокат составил прошение, и надо подписать, и мы пошлем в Петербург.

— Что же, можно и подписать. Все можно,— сказала она, щуря один глаз и улыбаясь.

Нехлюдов достал из кармана сложенный лист и подошел к столу.

— Можно здесь подписать? — спросил Нехлюдов у смотрителя.

— Иди сюда, садись,— сказал смотритель,— вот тебе и перо. Умеешь грамоте?

— Когда-то знала,— сказала она и, улыбаясь, оправив юбку и рукав кофты, села за стол, неловко взяла своей маленькой энергической рукой перо и, засмеявшись, оглянулась на Нехлюдова.

Он указал ей, что и где написать.

Старательно макая и отряхивая перо, она написала свое имя.

— Больше ничего не нужно? — спросила она, глядя то на Нехлюдова, то на смотрителя и укладывая перо то на чернильницу, то на бумаги.

— Мне нужно кое-что сказать вам,— сказал Нехлюдов, взяв у нее из рук перо.

— Что же, скажите,— сказала она и вдруг, как будто о чем-то задумалась или захотела спать, стала серьезной.

Смотритель встал и вышел, и Нехлюдов остался с ней с глазу на глаз.

XLVIII

Надзиратель, приведший Маслову, присел на подоконник поодаль от стола. Для Нехлюдова наступила решительная минута. Он не переставая упрекал себя за то, что в то первое свидание не сказал ей главного — того, что он намерен жениться на ней, и теперь твердо решился сказать ей это. Она сидела по одну сторону стола, Нехлюдов сел против нее по другую. В комнате было светло, и Нехлюдов в первый раз ясно на близком расстоянии увидал ее лицо,— морщинки около глаз и губ и подпухлость глаз. И ему стало еще более, чем прежде, жалко ее.

Облокотившись на стол так, чтобы не быть слышанным надзирателем, человеком еврейского типа, с седеющими бакенбардами, сидевшим у окна, а одною ею, он сказал:

— Если прошение это не выйдет, то подадим на высочайшее имя. Сделаем все, что можно.

— Вот кабы прежде адвокат бы хороший...— перебила она его.— А то этот мой защитник дурачок совсем был. Все мне комплименты говорил,— сказала она и засмеялась.— Кабы тогда знали, что я вам знакома, другое б было. А то что? Думают все — воровка.

«Какая она странная нынче»,— подумал Нехлюдов и только что хотел сказать свое, как она опять заговорила.

— А я вот что. Есть у нас одна старушка, так все, знаете, удивляются даже. Такая старушка чудесная, а вот ни за что си-

дит, и она и сын; и все знают, что они не виноваты, а их обвинили, что подожгли, и сидят. Она, знаете, услыхала, что я с вами знакома,— сказала Маслова, вертя головой и взглядывая на него,— и говорит: «Скажи ему, пусть, говорит, сына вызовут, он им все расскажет». Меньшовы их фамилия. Что ж, сделаете? Такая, знаете, старушка чудесная; видно сейчас, что понапрасну. Вы, голубчик, похлопочите,— сказала она, взглядывая на него, опуская глаза и улыбаясь.

— Хорошо, я сделаю, узнаю,— сказал Нехлюдов, все более и более удивляясь ее развязности.— Но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тот раз? — сказал он.

— Вы много говорили. Что говорили тот раз? — сказала она, не переставая улыбаться и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону.

— Я говорил, что пришел просить вас простить меня,— сказал он.

— Ну, что, все простить, простить, ни к чему это... вы лучше...

— Что я хочу загладить свою вину,— продолжал Нехлюдов,— и загладить не словами, а делом. Я решил жениться на вас.

Лицо ее вдруг выразило испуг. Косые глаза ее, остановившись, смотрели и не смотрели на него.

— Это еще зачем понадобилось? — проговорила она, злобно хмурясь.

— Я чувствую, что я перед богом должен сделать это.

— Какого еще бога там нашли? Всё вы не то говорите. Бога? Какого бога? Вот вы бы тогда помнили бога,— сказала она и, раскрыв рот, остановилась.

Нехлюдов только теперь почувствовал сильный запах вина из ее рта и понял причину ее возбуждения.

— Успокойтесь,— сказал он.

— Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна, да помню, что говорю,— вдруг быстро заговорила она и вся багрово покраснела,— я каторжная, б...., а вы барин, князь, и нечего тебе со мной мараться. Ступай к своим княжнам, а моя цена — красненькая.

— Как бы жестоко ты ни говорила, ты не можешь сказать того, что я чувствую,— весь дрожа, тихо сказал Нехлюдов,— не можешь себе представить, до какой степени я чувствую свою вину перед тобою!..

— Чувствую вину...— злобно передразнила она.— Тогда не чувствовал, а сунул сто рублей. Вот — твоя цена...

— Знаю, знаю, но что же теперь делать? — сказал Нехлю-

дов.— Теперь я решил, что не оставлю тебя,— повторил он,— и что сказал, то сделаю.

— А я говорю, не сделаешь! — проговорила она и громко засмеялась.

— Катюша! — начал он, дотрагиваясь до ее руки.

— Уйди от меня. Я каторжная, а ты князь, и нечего тебе тут быть,— вскрикнула она, вся преображенная гневом, вырывая у него руку.— Ты мной хочешь спастись,— продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось в ее душе.— Ты мной в этой жизни услаждался, мной же хочешь и на том свете спастись! Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя. Уйди, уйди ты! — закричала она, энергическим движением вскочив на ноги.

Надзиратель подошел к ним.

— Ты что скандалишь! Разве так можно...

— Оставьте, пожалуйста,— сказал Нехлюдов.

— Чтоб не забывалась,— сказал надзиратель.

— Нет, подождите, пожалуйста,— сказал Нехлюдов.

Надзиратель отошел опять к окну.

Маслова опять села, опустив глаза и крепко сжав свои скрещенные пальцами маленькие руки.

Нехлюдов стоял над ней, не зная, что делать.

— Ты не веришь мне,— сказал он.

— Что вы жениться хотите — не будет этого никогда. Повешусь скорее! Вот вам.

— Я все-таки буду служить тебе.

— Ну, это ваше дело. Только мне от вас ничего не нужно. Это я верно вам говорю,— сказала она.— И зачем я не умерла тогда? — прибавила она и заплакала жалобным плачем.

Нехлюдов не мог говорить: ее слезы сообщились ему.

Она подняла глаза, взглянула на него, как будто удивилась, и стала утирать косынкой текущие по щекам слезы.

Надзиратель теперь опять подошел и напомнил, что время расходиться. Маслова встала.

— Вы теперь возбуждены. Если можно будет, я завтра приеду. А вы подумайте,— сказал Нехлюдов.

Она ничего не ответила и, не глядя на него, вышла за надзирателем.

— Ну, девка, заживешь теперь,— говорила Кораблева Масловой, когда она вернулась в камеру.— Видно, здорово в тебя втреснувши; не зевай, пока он ездит. Он выручит. Богатым людям все можно.

— Это как есть,— певучим голосом говорила сторожиха.— Бедному жениться и ночь коротка, богатому только задумал, загадал,— все тебе, как пожелал, так и сбудется. У нас такой, касатка, почтенный, так что сделал...

— Что ж, о моем-то деле говорила? — спросила старуха.

Но Маслова не отвечала своим товаркам, а легла на нары и с уставленными в угол косыми глазами лежала так до вечера. В ней шла мучительная работа. То, что ей сказал Нехлюдов, вызывало ее в тот мир, в котором она страдала и из которого ушла, не поняв и возненавидев его. Она теперь потеряла то забвение, в котором жила, а жить с ясной памятью о том, что было, было слишком мучительно. Вечером она опять купила вина и напилась вместе с своими товарками.

XLIX

«Да, так вот оно что. Вот что»,— думал Нехлюдов, выходя из острога и только теперь вполне понимая всю вину свою. Если бы он не попытался загладить, искупить свой поступок, он никогда бы не почувствовал всей преступности его; мало того, и она бы не чувствовала всего зла, сделанного ей. Только теперь это все вышло наружу во всем своем ужасе. Он увидал теперь только то, что он сделал с душой этой женщины, и она увидала и поняла, что было сделано с нею. Прежде Нехлюдов играл своим чувством любования самого на себя, на свое раскаяние; теперь ему просто было страшно. Бросить ее — он чувствовал это — теперь он не мог, а между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношений к ней.

На самом выходе к Нехлюдову подошел надзиратель с крестами и медалями и неприятным, вкрадчивым лицом и таинственно передал ему записку.

— Вот вашему сиятельству записка от одной особы...— сказал он, подавая Нехлюдову конверт.

— Какой особы?

— Прочтете — увидите. Заключенная, политическая. Я при них состою. Так вот она просила меня. И хотя и не разрешено, но по человечеству...— ненатурально говорил надзиратель.

Нехлюдов был удивлен, каким образом надзиратель, приставленный к политическим, передает записки, и в самом остроге, почти на виду у всех; он не знал еще тогда, что это был и надзиратель и шпион, но взял записку и, выходя из тюрьмы, прочел ее. В записке было написано карандашом бойким почерком, без еров, следующее:

«Узнав, что вы посещаете острог, интересуясь одной уголовной личностью, мне захотелось повидаться с вами. Просите свида-

пия со мной. Вам дадут, а я передам вам много важного и для вашей протеже, и для нашей группы. Благодарная вам Вера Богодуховская».

Вера Богодуховская была учительница в глухой Новгородской губернии, куда Нехлюдов с товарищами заехал для медвежьей охоты. Учительница эта обратилась к Нехлюдову с просьбой дать ей денег, для того чтобы ехать на курсы. Нехлюдов дал ей эти деньги и забыл про нее. Теперь оказывалось, что эта госпожа была политическая преступница, сидела в тюрьме, где, вероятно, узнала его историю, и вот предлагала ему свои услуги. Как тогда все было легко и просто. И как теперь все тяжело и сложно. Нехлюдов живо и радостно вспомнил тогдашнее время и свое знакомство с Богодуховской. Это было перед масленицей, в глуши, верст за шестьдесят от железной дороги. Охота была счастливая, убили двух медведей и обедали, собираясь уезжать, когда хозяин избы, в которой останавливались, пришел сказать, что пришла дьяконова дочка, хочет видеться с князем Нехлюдовым.

— Хорошенькая? — спросил кто-то.

— Ну, полно! — сказал Нехлюдов, сделал серьезное лицо, встал из-за стола и, утирая рот и удивляясь, зачем он понадобился дьяконовой дочери, пошел в хозяйскую хату.

В комнате была девушка в войлочной шляпе, в шубке, жилистая, с худым некрасивым лицом, в котором хороши были одни глаза с поднятыми над ними бровями.

— Вот, Вера Ефремовна, поговори с ними,— сказала старуха хозяйка,— это самый князь. А я уйду.

— Чем могу вам служить? — сказал Нехлюдов.

— Я... я... Видите ли, вы богаты, вы швыряете деньгами на пустяки, на охоту, я знаю,— начала девушка, сильно конфузясь,— а я хочу только одного — хочу быть полезной людям и ничего не могу, потому что ничего не знаю.

Глаза были правдивые, добрые, и все выражение и решимости и робости было так трогательно, что Нехлюдов, как это бывало с ним, вдруг перенесся в ее положение, понял ее и пожалел.

— Что же я могу сделать?

— Я учительница, но хотела бы на курсы, и меня не пускают. Не то что не пускают, они пускают, но надо средства. Дайте мне, и я кончу курс и заплачу вам. Я думаю, богатые люди бьют медведей, мужиков поят — все это дурно. Отчего бы им не сделать добро? Мне нужно бы только восемьдесят рублей. А не хотите, мне все равно,— сердито сказала она.

— Напротив, я очень благодарен вам, что вы мне дали случай... Я сейчас принесу,— сказал Нехлюдов.

Он вышел в сени и тут же застал товарища, который подслу-

шивал их разговор. Он, не отвечая на шутки товарищей, достал из сумки деньги и понес ей.

— Пожалуйста, пожалуйста, не благодарите. Я вас должен благодарить.

Нехлюдову приятно было теперь вспомнить все это; приятно было вспомнить, как он чуть не поссорился с офицером, который хотел сделать из этого дурную шутку, как другой товарищ поддержал его и как вследствие этого ближе сошелся с ним, как и вся охота была счастливая и веселая и как ему было хорошо, когда они возвращались почью назад к станции железной дороги. Вереница саней парами, гусем двигались без шума рысцой по узкой дороге лесами, иногда высокими, иногда низкими, с елками, сплошь задавленными сплошными лепешками снега. В темноте, блестя красным огнем, закуривал кто-нибудь хорошо пахнущую папиросу. Осип, обкладчик, перебегал от саней к саням по колено в снегу и прилаживался, рассказывая про лосей, которые теперь ходят по глубокому снегу и глодают осиновую кору, и про медведей, которые лежат теперь в своих дремучих берлогах, пыхтя в отдушины теплым дыханьем.

Нехлюдову вспомнилось все это и больше всего счастливое чувство сознания своего здоровья, силы и беззаботности. Легкие, напруживая полушубок, дышат морозным воздухом, на лицо сыплется с задетых дугой веток снег, телу тепло, лицу свежо, и на душе ни забот, ни упреков, ни страхов, ни желаний. Как было хорошо! А теперь? Боже мой, как все это было мучительно и трудно!..

Очевидно, Вера Ефремовна была революционерка и теперь за революционные дела была в тюрьме. Надо было увидать ее, в особенности потому, что она обещала посоветовать, как улучшить положение Масловой.

L

Проснувшись на другой день утром, Нехлюдов вспомнил все то, что было накануне, и ему стало страшно.

Но, несмотря на этот страх, он, больше чем когда-нибудь прежде, решил, что будет продолжать начатое.

С этим чувством сознания своего долга он выехал из дома и поехал к Масленникову — просить его разрешить ему посещение в остроге, кроме Масловой, еще и той старушки Меньшовой с сыном, о которой Маслова просила его. Кроме того, он хотел просить о свидании с Богодуховской, которая могла быть полезна Масловой.

Нехлюдов знал Масленникова еще давно по полку. Масленников был тогда казначеем полка. Это был добродушнейший, исполнительнейший офицер, ничего не знавший и не хотевший знать в

мире, кроме полка и царской фамилии. Теперь Нехлюдов застал его администратором, заменившим полк губернией и губернским правлением. Он был женат на богатой и бойкой женщине, которая и заставила его перейти из военной в статскую службу.

Она смеялась над ним и ласкала его, как свое прирученное животное. Нехлюдов в прошлую зиму был один раз у них, но ему так неинтересна показалась эта чета, что ни разу после он не был.

Масленников весь рассиял, увидав Нехлюдова. Такое же было жирное и красное лицо, и та же корпуленция, и такая же, как в военной службе, прекрасная одежда. Там это был всегда чистый, по последней моде облегавший его плечи и грудь мундир или тужурка; теперь это было по последней моде статское платье, так же облегавшее его сытое тело и выставлявшее широкую грудь. Он был в вицмундире. Несмотря на разницу лет (Масленникову было под сорок), они были на «ты».

— Ну вот, спасибо, что приехал. Пойдем к жене. А у меня как раз десять минут свободных перед заседанием. Принципал ведь уехал. Я правлю губернией,— сказал он с удовольствием, которого не мог скрыть.

— Я к тебе по делу.

— Что такое? — вдруг, как будто насторожившись, испуганным и несколько строгим тоном сказал Масленников.

— В остроге есть одно лицо, которым я очень интересуюсь (при слове острог лицо Масленникова сделалось еще более строго), и мне хотелось бы иметь свидание не в общей, а в конторе, и не только в определенные дни, но и чаще. Мне сказали, что это от тебя зависит.

— Разумеется, mon cher [1], я все готов для тебя сделать,— дотрагиваясь обеими руками до его колен, сказал Масленников, как бы желая смягчить свое величие,— это можно, но, видишь ли, я калиф на час.

— Так ты можешь дать мне бумагу, чтобы я мог видеться с нею?

— Это женщина?

— Да.

— Так за что ж она?

— За отравление. Но она неправильно осуждена.

— Да, вот тебе и правый суд, ils n'en font point d'autres [2],— сказал он для чего-то по-французски.— Я знаю, ты не согласен со мною, но что же делать, c'est mon opinion bien arrêtée [3],— прибавил

---

[1] дорогой мой *(франц.)*.

[2] иного они не творят *(франц.)*.

[3] это мое твердое убеждение *(франц.)*.

он, высказывая мнение, которое он в разных видах в продолжение года читал в ретроградной, консервативной газете.— Я знаю, ты либерал.

— Не знаю, либерал ли я, или что другое,— улыбаясь, сказал Нехлюдов, всегда удивлявшийся на то, что все его причисляли к какой-то партии и называли либералом только потому, что он, судя человека, говорил, что надо прежде выслушать его, что перед судом все люди равны, что не надо мучать и бить людей вообще, а в особенности таких, которые не осуждены.— Не знаю, либерал ли я, или нет, но только знаю, что теперешние суды, как они ни дурны, все-таки лучше прежних.

— А кого ты взял в адвокаты?

— Я обратился к Фанарину.

— Ах, Фанарин! — морщась, сказал Масленников, вспоминая, как в прошлом году этот Фанарин на суде допрашивал его как свидетеля и с величайшей учтивостью в продолжение получаса поднимал на смех.— Я бы не посоветовал тебе иметь с ним дело. Фанарин — est un homme tarée [1].

— И еще к тебе просьба,— не отвечая ему, сказал Нехлюдов.— Давно очень я знал одну девушку — учительницу. Она очень жалкое существо и теперь тоже в тюрьме, а желает повидаться со мной. Можешь ты мне дать и к ней пропуск?

Масленников немного набок склонил голову и задумался.

— Это политическая?

— Да, мне сказали так.

— Вот видишь, свидания с политическими даются только родственникам, но тебе я дам общий пропуск. Je sais que vous n'abuserez pas... [2] Как ее зовут, твою protégée?.. Богодуховской? Elle est jolie? [3]

— Hideuse [4].

Масленников неодобрительно покачал головой, подошел к столу и на бумаге с печатным заголовком бойко написал: «Подателю сего, князю Дмитрию Ивановичу Нехлюдову, разрешаю свидание в тюремной конторе с содержащейся в замке мещанкой Масловой, равно и с фельдшерицей Богодуховской»,— дописал он и сделал размашистый росчерк.

— Вот ты увидишь, какой порядок там. А соблюсти там порядок очень трудно, потому что переполнено, особенно пересыльными: но я все-таки строго смотрю и люблю это дело. Ты увидишь — им там очень хорошо, и они довольны. Только надо уметь обра-

[1] человек с подорванной репутацией *(франц.)*.
[2] Я знаю, что ты не злоупотребишь... *(франц.)*
[3] Она хорошенькая? *(франц.)*
[4] Безобразна (франц.).

щаться с ними. Вот на днях была неприятность — неповиновение. Другой бы признал это бунтом и сделал бы много несчастных. А у нас все прошло очень хорошо. Нужна, с одной стороны, заботливость, с другой — твердая власть,— сказал он, сжимая выдающийся из-за белого крепкого рукава рубашки с золотой запонкой белый пухлый кулак с бирюзовым кольцом,— заботливость и твердая власть.

— Ну, этого я не знаю,— сказал Нехлюдов,— я был там два раза, и мне было ужасно тяжело.

— Знаешь что? Тебе надо сойтись с графиней Пассек,— продолжал разговорившийся Масленников,— она вся отдалась этому делу. Elle fait beaucoup de bien [1]. Благодаря ей, может быть, и мне, без ложной скромности скажу, удалось все изменить, и изменить так, что нет уже тех ужасов, которые были прежде, а им прямо там очень хорошо. Вот ты увидишь. Вот Фанарин, я не знаю его лично, да и по моему общественному положению наши пути не сходятся, но он положительно дурной человек, вместе с тем позволяет себе говорить на суде такие вещи, такие вещи...

— Ну благодарствуй,— сказал Нехлюдов, взяв бумагу, и, не дослушав, простился с своим бывшим товарищем.

— А к жене ты не пойдешь?

— Нет, извини меня, теперь мне некогда.

— Ну, как же, она не простит мне,— говорил Масленников, провожая бывшего товарища до первой площадки лестницы, как он провожал людей не первой важности, но второй важности, к которым он причислял Нехлюдова.— Нет, пожалуйста, зайди хоть на минуту.

Но Нехлюдов остался тверд, и, в то время как лакей и швейцар подскакивали к Нехлюдову, подавая ему пальто и палку, и отворяли дверь, у которой снаружи стоял городовой, он сказал, что никак не может теперь.

— Ну, так в четверг, пожалуйста. Это ее приемный день. Я ей скажу! — прокричал ему Масленников с лестницы.

LI

В тот же день прямо от Масленникова приехав в острог, Нехлюдов направился к знакомой уже квартире смотрителя. Опять слышались те же, как и в тот раз, звуки плохого фортепьяно, но теперь игралась не рапсодия, а этюды Клементи, тоже с необыкновенной силой, отчетливостью и быстротой. Отворившая горничная с подвязанным глазом сказала, что капитан дома, и провела Не-

[1] Она делает много добра *(франц.)*.

хлюдова в маленькую гостиную с диваном, столом и подожженным с одной стороны розовым бумажным колпаком большой лампы, стоявшей на шерстяной вязаной салфеточке. Вышел главный смотритель с измученным, грустным лицом.

— Прошу покорно, что угодно? — сказал он, застегивая среднюю пуговицу своего мундира.

— Я вот был у вице-губернатора, и вот разрешение,— сказал Нехлюдов, подавая бумагу.— Я желал бы видеть Маслову.

— Маркову? — переспросил смотритель, не расслышав из-за музыки.

— Маслову.

— Ну, да! Ну, да!

Смотритель встал и подошел к двери, из которой слышались рулады Клементи.

— Маруся, хоть немножко подожди,— сказал он голосом, по которому видно было, что эта музыка составляла крест его жизни,— ничего не слышно.

Фортепьяно замолкло, послышались недовольные шаги, и кто-то заглянул в дверь.

Смотритель, как бы чувствуя облегчение от этого перерыва музыки, закурил толстую папиросу слабого табаку и предложил Нехлюдову. Нехлюдов отказался.

— Так вот я бы желал видеть Маслову.

— Маслову нынче неудобно видеть,— сказал смотритель.

— Отчего?

— Да так, вы сами виноваты,— слегка улыбаясь, сказал смотритель.— Князь, не давайте вы ей прямо денег. Если желаете, давайте мне. Все будет принадлежать ей. А то вчера вы ей, верно, дали денег, она достала вина — никак не искоренишь этого зла — и сегодня напилась совсем, так что даже буйная стала.

— Да неужели?

— Как же, даже должен был меры строгости употребить — перевел в другую камеру. Так она женщина смирная, но денег вы, пожалуйста, не давайте. Это такой народ...

Нехлюдов живо вспомнил вчерашнее, и ему стало опять страшно.

— А Богодуховскую, политическую, можно видеть? — спросил Нехлюдов, помолчав.

— Что ж, это можно,— сказал смотритель.— Ну, ты чего,— обратился он к девочке пяти или шести лет, пришедшей в комнату и, поворотив голову так, чтобы не спускать глаз с Нехлюдова, направлявшейся к отцу.— Вот и упадешь,— сказал смотритель, улыбаясь на то, как девочка, не глядя перед собой, зацепилась за коврик и подбежала к отцу.

— Так если можно, я бы пошел.

— Пожалуй, можно,— сказал смотритель, обняв девочку, все смотревшую на Нехлюдова, встал и, нежно отстранив девочку, вышел в переднюю.

Еще смотритель не успел надеть подаваемое ему подвязанной девушкой пальто и выйти в дверь, как опять зажурчали отчетливые рулады Клементи.

— В консерватории была, да там непорядки. А большое дарование,— сказал смотритель, спускаясь с лестницы.— Хочет выступать в концертах.

Смотритель с Нехлюдовым подошли к острогу. Калитка мгновенно отворилась при приближении смотрителя. Надзиратели, взяв под козырек, провожали его глазами. Четыре человека, с бритыми полуголовами и неся кадки с чем-то, встретились им в прихожей и все сжались, увидав смотрителя. Один особенно пригнулся и мрачно насупился, блестя черными глазами.

— Разумеется, талант надо совершенствовать, нельзя зарывать, но в маленькой квартире, знаете, тяжело бывает,— продолжал смотритель разговор, не обращая на этих арестантов никакого внимания, и усталыми шагами волоча ноги, прошел, сопутствуемый Нехлюдовым, в сборную.

— Вам кого видеть желательно? — спросил смотритель.

— Богодуховскую.

— Это из башни. Вам подождать придется,— обратился он к Нехлюдову.

— А нельзя ли мне покамест увидать арестантов Меньшовых — мать с сыном, обвиняемые за поджог.

— А это из двадцать первой камеры. Что ж, можно их вызвать.

— А нельзя ли мне повидать Меньшова в его камере?

— Да вам покойнее в сборной.

— Нет, мне интересно.

— Вот нашли интересное.

В это время из боковой двери вышел щеголеватый офицер помощник.

— Вот сведите князя в камеру к Меньшову. Камера двадцать первая,— сказал смотритель помощнику,— а потом в контору. А я вызову. Как ее звать?

— Вера Богодуховская,— сказал Нехлюдов.

Помощник смотрителя был белокурый молодой с нафабренными усами офицер, распространяющий вокруг себя запах цветочного одеколона.

— Пожалуйте,— обратился он к Нехлюдову с приятной улыбкой.— Интересуетесь нашим заведением?

— Да, и интересуюсь этим человеком, который, как мне говорили, совершенно невинно попал сюда.

Помощник пожал плечами.

— Да, это бывает,— спокойно сказал он, учтиво вперед себя пропуская гостя в широкий вонючий коридор.— Бывает, и врут они. Пожалуйте.

Двери камер были отперты, и несколько арестантов были в коридоре. Чуть заметно кивая надзирателям и косясь на арестантов, которые или, прижимаясь к степам, проходили в свои камеры, или, вытянув руки по швам и по-солдатски провожая глазами начальство, останавливались у дверей, помощник провел Нехлюдова через один коридор, подвел его к другому коридору налево, запертому железной дверью.

Коридор этот был у́же, темнее и еще вонючее первого. В коридор с обеих сторон выходили двери, запертые замками. В дверях были дырочки, так называемые глазки, в полвершка в диаметре. В коридоре никого не было, кроме старичка надзирателя с грустным сморщенным лицом.

— В которой Меньшов? — спросил помощник надзирателя.

— Восьмая налево.

LII

— Можно поглядеть? — спросил Нехлюдов.

— Сделайте одолжение,— с приятной улыбкой сказал помощник и стал что-то спрашивать у надзирателя. Нехлюдов заглянул в одно отверстие: там высокий молодой человек в одном белье, с маленькой черной бородкой, быстро ходил взад и вперед; услыхав шорох у двери, он взглянул, нахмурился и продолжал ходить.

Нехлюдов заглянул в другое отверстие: глаз его встретился с другим испуганным большим глазом, смотревшим в дырочку; он поспешно отстранился. Заглянув в третье отверстие, он увидал на кровати спящего очень маленького роста свернувшегося человечка, с головою укрытого халатом. В четвертой камере сидел широколицый бледный человек, низко опустив голову и облокотившись локтями на колени. Услыхав шаги, человек этот поднял голову и поглядел. Во всем лице, в особенности в больших глазах, было выражение безнадежной тоски. Его, очевидно, не интересовало узнать, кто глядит к нему в камеру. Кто бы ни глядел, он, очевидно, не ждал ни от кого ничего доброго. Нехлюдову стало страшно; он перестал заглядывать и подошел к двадцать первой камере Меньшова. Надзиратель отпер замок и отворил дверь. Молодой с длинной шеей мускулистый человек, с добрыми круглыми глазами и маленькой бородкой, стоял подле койки и с испуганным лицом, по-

спешно надевая халат, смотрел на входивших. Особенно поразили Нехлюдова добрые круглые глаза, вопросительно и испуганно перебегающие с него на надзирателя, на помощника и обратно.

— Вот господин хочет про твое дело расспросить.

— Покорно благодарим.

— Да, мне рассказывали про ваше дело,— сказал Нехлюдов, проходя в глубь камеры и становясь у решетчатого и грязного окна,— и хотелось бы от вас самих услышать.

Меньшов подошел тоже к окну и тотчас же начал рассказывать, сначала робко поглядывая на смотрителя, потом все смелее и смелее; когда же смотритель совсем ушел из камеры в коридор, отдавая там какие-то приказания, он совсем осмелел. Рассказ этот по языку и манерам был рассказ самого простого, хорошего мужицкого парня, и Нехлюдову было особенно странно слышать этот рассказ из уст арестанта в позорной одежде и в тюрьме. Нехлюдов слушал и вместе с тем оглядывал и низкую койку с соломенным тюфяком, и окно с толстой железной решеткой, и грязные отсыревшие и замазанные стены, и жалкое лицо и фигуру несчастного, изуродованного мужика в котах и халате, и ему все становилось грустнее и грустнее; не хотелось верить, чтобы было правда то, что рассказывал этот добродушный человек,— так было ужасно думать, что могли люди ни за что, только за то, что его же обидели, схватить человека и, одев его в арестантскую одежду, посадить в это ужасное место. А между тем еще ужаснее было думать, чтобы этот правдивый рассказ, с этим добродушным лицом, был бы обман и выдумка. Рассказ состоял в том, что целовальник вскоре после женитьбы отбил у него жену. Он искал закона везде. Везде целовальник закупал начальство, и его оправдывали. Раз он силой увел жену, она убежала на другой день. Тогда он пришел требовать свою жену. Целовальник сказал, что жены его нет (а он видел ее, входя), и велел ему уходить. Он не пошел. Целовальник с работником избили его в кровь, а на другой день загорелся у целовальника двор. Его обвинили с матерью, а он не зажигал, а был у кума.

— И действительно ты не поджигал?

— И в мыслях, барин, не было. А он, злодей мой, должно, сам поджег. Сказывали, он только застраховал. А на нас с матерью сказали, что мы были, стращали его. Оно точно, я в тот раз обругал его, не стерпело сердце. А поджигать не поджигал. И не был там, как пожар начался. А это он нарочно подогнал к тому дню, что с матушкой были. Сам зажег для страховки, а на нас сказал.

— Да неужели?

— Верно, перед богом говорю, барин. Будьте отцом родным! — Он хотел кланяться в землю, и Нехлюдов насилу удержал его.— Вызвольте, ни за что пропадаю,— продолжал он.

И вдруг щеки его задергались, и он заплакал и, засучив рукав халата, стал утирать глаза рукавом грязной рубахи.

— Кончили? — спросил смотритель.

— Да. Так не унывайте; сделаем, что можно,— сказал Нехлюдов и вышел. Меньшов стоял в двери, так что надзиратель толкнул его дверью, когда затворял ее. Пока надзиратель запирал замок на двери, Меньшов смотрел в дырку в двери.

LIII

Проходя назад по широкому коридору (было время обеда, и камеры были отперты) между одетыми в светло-желтые халаты, короткие широкие штаны и коты людьми, жадно смотревшими на него, Нехлюдов испытывал странные чувства — и сострадания к тем людям, которые сидели, и ужаса и недоумения перед теми, кто посадили и держат их тут, и почему-то стыда за себя, за то, что он спокойно рассматривает это.

В одном коридоре пробежал кто-то, хлопая котами, в дверь камеры, и оттуда вышли люди и стали на дороге Нехлюдову, кланяясь ему.

— Прикажите, ваше благородие, не знаю, как назвать, решить нас как-нибудь.

— Я не начальник, я ничего не знаю.

— Все равно, скажите кому, начальству, что ли,— сказал негодующий голос.— Ни в чем не виноваты, страдаем второй месяц.

— Как? Почему? — спросил Нехлюдов.

— Да вот заперли в тюрьму. Сидим второй месяц, сами не знаем за что.

— Правда, это по случаю,— сказал помощник смотрителя,— за бесписьменность взяли этих людей, и надо было отослать их в их губернию, а там острог сгорел, и губернское правление отнеслось к нам, чтобы не посылать к ним. Вот мы всех из других губерний разослали, а этих держим.

— Как, только поэтому? — спросил Нехлюдов, остановясь в дверях.

Толпа, человек сорок, все в арестантских халатах, окружила Нехлюдова и помощника. Сразу заговорило несколько голосов. Помощник остановил:

— Говорите один кто-нибудь.

Из всех выделился высокий, благообразный крестьянин лет пятидесяти. Он разъяснил Нехлюдову, что они все высланы и заключены в тюрьму за то, что у них не было паспортов. Паспорта же у них были, но только просрочены недели на две. Всякий

год бывали так просрочены паспорта, и ничего не взыскивали, а нынче взяли да вот второй месяц здесь держат, как преступников.

— Мы все по каменной работе, все одной артели. Говорят, в губернии острог сгорел. Так мы в этом не причинны. Сделайте божескую милость.

Нехлюдов слушал и почти не понимал того, что говорил старый благообразный человек, потому что все внимание его было поглощено большой темно-серой многоногой вошью, которая ползла между волос по щеке благообразного каменщика.

— Как же так? Неужели только за это? — говорил Нехлюдов, обращаясь к смотрителю.

— Да, начальство оплошность сделало, их бы надо послать и водворить на место жительства,— говорил помощник.

Только что смотритель кончил, как из толпы выдвинулся маленький человечек, тоже в арестантском халате, начал, странно кривя ртом, говорить о том, что их здесь мучают ни за что.

— Хуже собак...— начал он.

— Ну, ну, лишнего тоже не разговаривай, помалкивай, а то знаешь...

— Что́ мне знать,— отчаянно заговорил маленький человечек.— Разве мы в чем виноваты?

— Молчать! — крикнул начальник, и маленький человечек замолчал.

«Что же это такое?» — говорил себе Нехлюдов, выходя из камер, как сквозь строй прогоняемый сотней глаз выглядывавших из дверей и встречавшихся арестантов.

— Неужели действительно держат так прямо невинных людей? — проговорил Нехлюдов, когда они вышли из коридора.

— Что ж прикажете делать? Но только что и много они врут. Послушать их — все невинны,— говорил помощник смотрителя.

— Да ведь эти-то не виноваты же ни в чем.

— Эти-то, положим. Но только народ очень испорченный. Без строгости невозможно. Есть такие типы бедовые, тоже палец в рот не клади. Вот вчера двоих вынуждены были наказать.

— Как наказать? — спросил Нехлюдов.

— Розгами наказывали по предписанию...

— Да ведь телесное наказание отменено.

— Не для лишенных прав. Эти подлежат.

Нехлюдов вспомнил все, что он видел вчера, дожидаясь в сенях, и понял, что наказание происходило именно в то время, как он дожидался, и на него с особенной силой нашло то смешанное чувство любопытства, тоски, недоумения и нравственной, перехо-

дящей почти в физическую, тошноты, которое и прежде, но никогда с такой силой не охватывало его.

Не слушая помощника смотрителя и не глядя вокруг себя, он поспешно вышел из коридоров и направился в контору. Смотритель был в коридоре и, занятый другим делом, забыл вызвать Богодуховскую. Он вспомнил, что обещал вызвать ее, только тогда, когда Нехлюдов вошел в контору.

— Сейчас я пошлю за ней, а вы посидите,— сказал он.

LIV

Контора состояла из двух комнат. В первой комнате, с большой выступающей облезлой печью и двумя грязными окнами, стояла в одном углу черная мерка для измерения роста арестантов, в другом углу висел,— всегдашняя принадлежность всех мест мучительства, как бы в насмешку над его учением,— большой образ Христа. В этой первой комнате стояло несколько надзирателей. В другой же комнате сидели по стенам и отдельными группами или парочками человек двадцать мужчин и женщин и негромко разговаривали. У окна стоял письменный стол.

Смотритель сел у письменного стола и предложил Нехлюдову стул, стоявший тут же. Нехлюдов сел и стал рассматривать людей, бывших в комнате.

Прежде всех обратил его внимание молодой человек в короткой жакетке, с приятным лицом, который, стоя перед немолодой уже чернобровой женщиной, что-то горячо и с жестами рук говорил ей. Рядом сидел старый человек в синих очках и неподвижно слушал, держа за руку молодую женщину в арестантской одежде, что-то рассказывавшую ему. Мальчик-реалист с остановившимся испуганным выражением лица, не спуская глаз, смотрел на старика. Недалеко от них, в углу, сидела парочка влюбленных: она была с короткими волосами и с энергическим лицом, белокурая, миловидная, совсем молоденькая девушка в модном платье; он — с тонкими очертаниями лица и волнистыми волосами красивый юноша в гуттаперчевой куртке. Они сидели в уголку и шептались, очевидно млея от любви. Ближе же всех к столу сидела седая в черном платье женщина, очевидно мать. Она глядела во все глаза на чахоточного вида молодого человека в такой же куртке и хотела что-то сказать, но не могла выговорить от слез: и начинала и останавливалась. Молодой человек держал в руках бумажку и, очевидно, не зная, что ему делать, с сердитым лицом перегибал и мял ее. Подле них сидела полная, румяная, красивая девушка с очень выпуклыми глазами, в сером платье и пелеринке. Она сидела рядом с

плачущей матерью и нежно гладила ее по плечу. Все было красиво в этой девушке: и большие белые руки, и волнистые остриженные волосы, и крепкие нос и губы; но главную прелесть ее лица составляли карие, бараньи, добрые, правдивые глаза. Красивые глаза ее оторвались от лица матери в ту минуту, как вошел Нехлюдов, и встретились с его взглядом. Но тотчас же она отвернулась и что-то стала говорить матери. Недалеко от влюбленной парочки сидел черный лохматый человек с мрачным лицом и сердито говорил что-то безбородому посетителю, похожему на скопца. Нехлюдов сел рядом с смотрителем и с напряженным любопытством глядел вокруг себя. Его развлек подошедший к нему гладко стриженный ребенок-мальчик и тоненьким голоском обратился к нему с вопросом.

— А вы кого ждете?

Нехлюдов удивился вопросу, но, взглянув на мальчика, и увидав серьезное, осмысленное лицо с внимательными, живыми глазами, серьезно ответил ему, что ждет знакомую женщину.

— Что же, она вам сестра? — спросил мальчик.

— Нет, не сестра,— ответил удивленно Нехлюдов.— А ты с кем здесь? — спросил он мальчика.

— Я с мамой. Она политическая,— гордо сказал мальчик.

— Марья Павловна, возьмите Колю,— сказал смотритель, нашедший, вероятно, противозаконным разговор Нехлюдова с мальчиком.

Марья Павловна, та самая красивая девушка с бараньими глазами, которая обратила внимание Нехлюдова, встала во весь свой высокий рост и сильной, широкой, почти мужской походкой подошла к Нехлюдову и мальчику.

— Что он у вас спрашивает, кто вы? — спросила она у Нехлюдова, слегка улыбаясь и доверчиво глядя ему в глаза так просто, как будто не могло быть сомнения о том, что она со всеми была, есть и должна быть в простых, ласковых, братских отношениях.— Ему все нужно знать,— сказала она и совсем улыбнулась в лицо мальчику такой доброй, милой улыбкой, что и мальчик и Нехлюдов — оба невольно улыбнулись на ее улыбку.

— Да, спрашивал меня, к кому я.

— Марья Павловна, нельзя разговаривать с посторонними. Ведь вы знаете,— сказал смотритель.

— Хорошо, хорошо,— сказала она и, взяв своей большой белой рукой за ручку не спускавшего с нее глаз Колю, вернулась к матери чахоточного.

— Чей же это мальчик? — спросил Нехлюдов уже у смотрителя.

— Политической одной, он в тюрьме и родился,— сказал смотритель с некоторым удовольствием, как бы показывая редкость своего заведения.

— Неужели?

— Да, вот теперь едет в Сибирь с матерью.

— А эта девушка?

— Не могу вам отвечать,— сказал смотритель, пожимая плечами.— А вот и Богодуховская.

LV

Из задней двери вертлявой походкой вышла маленькая стриженая, худая, желтая Вера Ефремовна, с своими огромными добрыми глазами.

— Ну, спасибо, что пришли,— сказала она, пожимая руку Нехлюдова.— Вспомнили меня? Сядемте.

— Не думал вас найти так.

— О, мне прекрасно! Так хорошо, так хорошо, что лучшего и не желаю,— говорила Вера Ефремовна, как всегда, испуганно глядя своими огромными добрыми круглыми глазами на Нехлюдова и вертя желтой тонкой-тонкой жилистой шеей, выступающей из-за жалких, смятых и грязных воротничков кофточки.

Нехлюдов стал спрашивать ее о том, как она попала в это положение. Отвечая ему, она с большим оживлением стала рассказывать о своем деле. Речь ее была пересыпана иностранными словами о пропагандировании, о дезорганизации, о группах, и секциях, и подсекциях, о которых она была, очевидно, вполне уверена, что все знали, а о которых Нехлюдов никогда не слыхивал.

Она рассказывала ему, очевидно вполне уверенная, что ему очень интересно и приятно знать все тайны народовольства. Нехлюдов же смотрел на ее жалкую шею, на редкие спутанные волосы и удивлялся, зачем она все это делала и рассказывала. Она жалка ему была, но совсем не так, как был жалок Меньшов-мужик, без всякой вины с его стороны сидевший в вонючем остроге. Она более всего была жалка той очевидной путаницей, которая была у нее в голове. Она, очевидно, считала себя героиней, готовой пожертвовать жизнью для успеха своего дела, а между тем едва ли она могла бы объяснить, в чем состояло это дело и в чем успех его.

Дело, о котором хотела говорить Вера Ефремовна с Нехлюдовым, состояло в том, что одна товарка ее, некто Шустова, даже и не принадлежавшая к их подгруппе, как она выражалась, была

схвачена пять месяцев тому назад вместе с нею и посажена в Петропавловскую крепость только потому, что у ней нашли книги и бумаги, переданные ей на сохранение. Вера Ефремовна считала себя отчасти виновной в заключении Шустовой и умоляла Нехлюдова, имеющего связи, сделать все возможное для того, чтобы освободить ее. Другое дело, о котором просила Богодуховская, состояло в том, чтобы выхлопотать содержащемуся в Петропавловской крепости Гуркевичу разрешение на свидание с родителями и на получение научных книг, которые ему нужны были для его ученых занятий.

Нехлюдов обещал попытаться сделать все возможное, когда будет в Петербурге.

Свою историю Вера Ефремовна рассказала так, что она, кончив акушерские курсы, сошлась с партией народовольцев и работала с ними. Сначала шло все хорошо, писали прокламации, пропагандировали на фабриках, но потом схватили одну выдающуюся личность, захватили бумаги и начали всех брать.

— Взяли и меня и вот теперь высылают...— закончила она свою историю.— Но это ничего. Я чувствую себя превосходно, самочувствие олимпийское,— сказала она и улыбнулась жалостною улыбкою.

Нехлюдов спросил про девушку с бараньими глазами. Вера Ефремовна рассказала, что это дочь генерала, давно уже принадлежит к революционной партии и попалась за то, что взяла на себя выстрел в жандарма. Она жила в конспиративной квартире, в которой был типографский станок. Когда ночью пришли с обыском, то обитатели квартиры решили защищаться, потушили огонь и стали уничтожать улики. Полицейские ворвались, и тогда один из заговорщиков выстрелил и ранил смертельно жандарма. Когда стали допрашивать, кто стрелял, она сказала, что стреляла она, несмотря на то, что никогда не держала в руке револьвера и паука не убьет. И так и осталось. И теперь идет в каторгу.

— Альтруистическая, хорошая личность,— одобрительно сказала Вера Ефремовна.

Третье дело, о котором хотела говорить Вера Ефремовна, касалось Масловой. Она знала, как все знались в остроге, историю Масловой и отношения к ней Нехлюдова и советовала хлопотать о переводе ее к политическим или по крайней мере в сиделки в больницу, где теперь особенно много больных и нужны работницы. Нехлюдов поблагодарил ее за совет и сказал, что постарается воспользоваться им.

Разговор их был прерван смотрителем, который поднялся и объявил, что время свидания кончилось и надо расходиться. Нехлюдов встал, простился с Верой Ефремовной и отошел к двери, у которой остановился, наблюдая то, что происходило перед ним.

— Господа, пора, пора,— говорил смотритель, то вставая, то опять садясь.

Требование смотрителя вызвало в находящихся в комнате и заключенных и посетителях только особенное оживление, но никто и не думал расходиться. Некоторые встали и говорили стоя. Некоторые продолжали сидеть и разговаривать. Некоторые стали прощаться и плакать. Особенно трогательна была мать с сыном чахоточным. Молодой человек все вертел бумажку, и лицо его становилось все более и более злым,— так велики были усилия, которые он делал, чтобы не заразиться чувством матери. Мать же, услыхав, что надо прощаться, легла ему на плечо и рыдала, сопя носом. Девушка с бараньими глазами — Нехлюдов невольно следил за ней — стояла перед рыдающей матерью и что-то успокоительно говорила ей. Старик в синих очках, стоя, держал за руку свою дочь и кивал головой на то, что она говорила. Молодые влюбленные встали и держались за руки, молча глядя друг другу в глаза.

— Вот этим одним весело,— сказал, указывая на влюбленную парочку, молодой человек в короткой жакетке, стоя подле Нехлюдова, так же как и он, глядя на прощающихся.

Чувствуя на себе взгляды Нехлюдова и молодого человека, влюбленные — молодой человек в гуттаперчевой куртке и белокурая миловидная девушка — вытянули сцепленные руки, опрокинулись назад и, смеясь, начали кружиться.

— Нынче вечером женятся здесь, в остроге, и она с ним идет в Сибирь,— сказал молодой человек.

— Он что же?

— Каторжный. Хоть они повеселятся, а то уж слишком больно слушать,— прибавил молодой человек в жакетке, прислушиваясь к рыданиям матери чахоточного.

— Господа! Пожалуйста, пожалуйста! Не вынудьте меня принять меры строгости,— говорил смотритель, повторяя несколько раз одно и то же.— Пожалуйста, да ну, пожалуйста! — говорил он слабо и нерешительно.— Что ж это? Уж давно пора. Ведь этак невозможно. Я последний раз говорю,— повторял он уныло, то закуривая, то туша свою мариландскую папироску.

Очевидно было, что как ни искусны и ни стары и привычны были доводы, позволяющие людям делать зло другим, не чувствуя себя за него ответственными, смотритель не мог не сознавать, что

он один из виновников того горя, которое проявлялось в этой комнате; и ему, очевидно, было ужасно тяжело.

Наконец заключенные и посетители стали расходиться: одни во внутреннюю, другие в наружную дверь. Прошли мужчины — в гуттаперчевых куртках, и чахоточный и черный лохматый; ушла и Марья Павловна с мальчиком, родившимся в остроге.

Стали выходить и посетители. Пошел тяжелой походкой старик в синих очках, за ним пошел и Нехлюдов.

— Да-с, удивительные порядки,— как бы продолжал прерванный разговор словоохотливый молодой человек, спускаясь с Нехлюдовым вместе с лестницы.— Спасибо еще, капитан — добрый человек, не держится правил. Всё поговорят — отведут душу.

— Разве в других тюрьмах нет таких свиданий?

— И-и! Ничего подобного. А не угодно ли поодиночке, да еще через решетку.

Когда Нехлюдов, разговаривая с Медынцевым — так отрекомендовал себя словоохотливый молодой человек,— сошел в сени, к ним подошел с усталым видом смотритель.

— Так если хотите видеть Маслову, то пожалуйте завтра,— сказал он, очевидно желая быть любезным с Нехлюдовым.

— Очень хорошо,— сказал Нехлюдов и поспешил выйти.

Ужасны были, очевидно, невинные страдания Меньшова — и не столько его физические страдания, сколько то недоумение, то недоверие к добру и к богу, которые он должен был испытывать, видя жестокость людей, беспричинно мучающих его; ужасно было опозорение и мучения, наложенные на эти сотни ни в чем не повинных людей только потому, что в бумаге не так написано; ужасны эти одурелые надзиратели, занятые мучительством своих братьев и уверенные, что они делают и хорошее и важное дело. Но ужаснее всего показался ему этот стареющийся и слабый здоровьем и добрый смотритель, который должен разлучать мать с сыном, отца с дочерью — точно таких же людей, как он сам и его дети.

«Зачем это?» — спрашивал Нехлюдов, испытывая теперь в высшей степени то чувство нравственной, переходящей в физическую, тошноты, которую он всегда испытывал в тюрьме, и не находил ответа.

LVII

На другой день Нехлюдов поехал к адвокату и сообщил ему дело Меньшовых, прося взять на себя защиту. Адвокат выслушал и сказал, что посмотрит дело, и если все так, как говорит Нехлюдов, что весьма вероятно, то он без всякого вознаграждения возьмется за защиту. Нехлюдов, между прочим, рассказал адвокату о

содержимых ста тридцати человеках по недоразумению и спросил, от кого это зависит, кто виноват. Адвокат помолчал, очевидно желая ответить точно.

— Кто виноват? Никто,— сказал он решительно.— Скажите прокурору — он скажет, что виноват губернатор, скажите губернатору — он скажет, что виноват прокурор. Никто не виноват.

— Я сейчас еду к Масленникову и скажу ему.

— Ну-с, это бесполезно,— улыбаясь, возразил адвокат.— Это такая — он не родственник и не друг? — это такая, с позволения сказать, дубина и вместе с тем хитрая скотина.

Нехлюдов, вспомнив, что говорил Масленников про адвоката, ничего не ответил и, простившись, поехал к Масленникову.

Масленникова Нехлюдову нужно было просить о двух вещах: о переводе Масловой в больницу и о ста тридцати бесписьменных, безвинно содержимых в остроге. Как ни тяжело ему было просить человека, которого он не уважал, это было единственное средство достигнуть цели, и надо было пройти через это.

Подъезжая к дому Масленникова, Нехлюдов увидал у крыльца несколько экипажей: пролетки, коляски и кареты, и вспомнил, что как раз нынче был тот приемный день жены Масленникова, в который он просил его приехать. В то время как Нехлюдов подъезжал к дому, одна карета стояла у подъезда, и лакей в шляпе с кокардой и пелерине подсаживал с порога крыльца даму, подхватившую свой шлейф и открывшую черные тонкие щиколотки в туфлях. Среди стоящих уже экипажей он узнал закрытое ландо Корчагиных. Седой румяный кучер почтительно и приветливо снял шляпу, как особенно знакомому барину. Не успел Нехлюдов спросить швейцара о том, где Михаил Иванович (Масленников), как он сам показался на ковровой лестнице, провожая очень важного гостя, такого, какого он провожал уже не до площадки, а до самого низа. Очень важный военный гость этот, сходя, говорил по-французски об аллегри в пользу приютов, устраиваемых в городе, высказывая мнение, что это хорошее занятие для дам: «И им весело, и деньги собираются».

— Qu'elles s'amusent et que le bon Dieu les bénisse...[1] А, Нехлюдов, здравствуйте! Что давно вас не видно? — приветствовал он Нехлюдова.— Allez presenter vos devoirs à madame[2]. И Корчагины тут. Et Nadine Bukshevden. Toutes les jolies femmes de la ville[3],— сказал он, подставляя и несколько приподнимая свои воен-

---

[1] Пусть веселятся и да благословит их бог... *(франц.)*

[2] Подите засвидетельствуйте почтение хозяйке *(франц.)*.

[3] И Надин Буксгевден. Все городские красавицы *(франц.)*.

ные плечи под подаваемую ему его же великолепным с золотыми галунами лакеем шинель.— Au revoir, mon cher! [1] — Он пожал еще руку Масленникову.

— Ну, пойдем наверх, как я рад! — возбужденно заговорил Масленников, подхватывая под руку Нехлюдова и, несмотря на свою корпуленцию, быстро увлекая его наверх.

Масленников был в особенно радостном возбуждении, причиной которого было оказанное ему внимание важным лицом. Казалось, служа в гвардейском, близком к царской фамилии полку, Масленникову пора бы привыкнуть к общению с царской фамилией, но, видно, подлость только усиливается повторением, и всякое такое внимание приводило Масленникова в такой же восторг, в который приходит ласковая собачка после того, как хозяин погладит, потреплет, почешет ее за ушами. Она крутит хвостом, сжимается, извивается, прижимает уши и безумно носится кругами. То же самое был готов делать Масленников. Он не замечал серьезного выражения лица Нехлюдова, не слушал его и неудержимо влек его в гостиную, так что нельзя было отказаться, и Нехлюдов шел с ним.

— Дело после; что прикажешь — все сделаю,— говорил Масленников, проходя с Нехлюдовым через залу.— Доложите *генеральше,* что князь Нехлюдов,— на ходу сказал он лакею. Лакей иноходью, обгоняя их, двинулся вперед.— Vous n'avez qu'à ordonner [2]. Но жену повидай непременно. Мне и то досталось за то, что я тот раз не привел тебя.

Лакей уже успел доложить, когда они вошли, и Анна Игнатьевна, вице-губернаторша, генеральша, как она называла себя, уже с сияющей улыбкой наклонилась к Нехлюдову из-за шляпок и голов, окружавших ее у дивана. На другом конце гостиной у стола с чаем сидели барыни и стояли мужчины — военные и штатские, и слышался неумолкаемый треск мужских и женских голосов.

— Enfin! [3] Что же это вы нас знать не хотите? Чем мы вас обидели?

Такими словами, предполагавшими интимность между нею и Нехлюдовым, которой никогда не было, встретила Анна Игнатьевна входящего.

— Вы знакомы? Знакомы? Мадам Белявская, Михаил Иванович Чернов. Садитесь поближе.

— Мисси, venez dons à notre table. On vous apportera votre thé...[4] И вы...— обратилась она к офицеру, говорившему с Мисси,

---

[1] До свиданья, дорогой мой! *(франц.)*
[2] Тебе стоит только приказать *(франц.)*.
[3] Наконец! *(франц.)*
[4] идите к нашему столу. Вам сюда подадут чай... *(франц.)*

очевидно забыв его имя,— пожалуйте сюда. Чаю, князь, прикажете?

— Ни за что, ни за что не соглашусь: она просто не любила,— говорил женский голос.

— А любила пирожки.

— Вечно глупые шутки,— со смехом вступилась другая дама в высокой шляпе, блестевшая шелком, золотом и камнями.

— C'est excellent [1] — эти вафельки, и легко. Подайте еще сюда.

— Что же, скоро едете?

— Да уж нынче последний день. От этого мы и приехали.

— Такая прелестная весна, так хорошо теперь в деревне!

Мисси в шляпе и каком-то темно-полосатом платье, схватывавшем без складочки ее тонкую талию, точно как будто она родилась в этом платье, была очень красива. Она покраснела, увидав Нехлюдова.

— А я думала, что вы уехали,— сказала она ему.

— Почти уехал,— сказал Нехлюдов.— Дела задерживают. Я и сюда приехал по делу.

— Заезжайте к мама. Она очень хочет вас видеть,— сказала она и, чувствуя, что она лжет и он понимает это, покраснела еще больше.

— Едва ли успею,— мрачно отвечал Нехлюдов, стараясь сделать вид, что не заметил, как она покраснела.

Мисси сердито нахмурилась, пожала плечами и обратилась к элегантному офицеру, который подхватил у нее из рук порожнюю чашку и, цепляя саблей за кресла, мужественно перенес ее на другой стол.

— Вы должны тоже пожертвовать для приюта.

— Да я и не отказываюсь, но хочу приберечь всю свою щедрость до аллегри. Там я выкажу себя уже во всей силе.

— Ну, смотрите! — послышался явно притворно смеющийся голос.

Приемный день был блестящий, и Анна Игнатьевна была в восхищении.

— Мне Мика говорил, что вы заняты в тюрьмах. Я очень понимаю это,— говорила она Нехлюдову.— Мика (это был ее толстый муж, Масленников) может иметь другие недостатки, но вы знаете, как он добр. Все эти несчастные заключенные — его дети. Он иначе не смотрит на них. Il est d'une bonté... [2]

Она остановилась, не найдя слов, которые могли бы выразить bonté того ее мужа, по распоряжению которого секли людей, и тот-

---

[1] Великолепно *(франц.)*.

[2] Он так добр... *(франц.)*

час же, улыбаясь, обратилась к входившей старой сморщенной старухе в лиловых бантах.

Поговорив, сколько нужно было, и так бессодержательно, как тоже нужно было, для того чтобы не нарушить приличия, Нехлюдов встал и подошел к Масленникову.

— Так, пожалуйста, можешь ты меня выслушать?

— Ах, да! Ну, что же? Пойдем сюда.

Они вошли в маленький японский кабинетик и сели у окна.

LVIII

— Ну-с, je suis à vous [1]. Хочешь курить? Только постой, как бы нам тут не напортить,— сказал он и принес пепельницу.— Ну-с?

— У меня к тебе два дела.

— Вот как.

Лицо Масленникова сделалось мрачно и уныло. Все следы того возбуждения собачки, у которой хозяин почесал за ушами, исчезли совершенно. Из гостиной доносились голоса. Один женский говорил: «Jamais, jamais je ne croirais» [2], а другой, с другого конца, мужской, что-то рассказывал, все повторяя: «La comtesse Voronzoff и Victor Apraksine» [3]. С третьей стороны слышался только гул голосов и смех. Масленников прислушивался к тому, что происходило в гостиной, слушал и Нехлюдова.

— Я опять о той же женщине,— сказал Нехлюдов.

— Да, невинно осужденная. Знаю, знаю.

— Я просил бы перевести ее в служанки в больницу. Мне говорили, что это можно сделать.

Масленников сжал губы и задумался.

— Едва ли можно,— сказал он.— Впрочем, я посоветуюсь и завтра телеграфирую тебе.

— Мне говорили, что там много больных и нужны помощницы.

— Ну да, ну да. Так, во всяком случае, дам тебе знать.

— Пожалуйста,— сказал Нехлюдов.

Из гостиной раздался общий и даже натуральный смех.

— Это все Викто́р,— сказал Масленников, улыбаясь,— он удивительно остер, когда в ударе.

— А еще,— сказал Нехлюдов,— сейчас в остроге сидят сто тридцать человек только за то, что у них просрочены паспорта. Их держат месяц здесь.

---

[1] я к твоим услугам *(франц.)*.

[2] Никогда, никогда не поверю *(франц.)*.

[3] Графиня Воронцова и Виктор Апраксин *(франц.)*.

И он рассказал причины, по которым их держат.

— Как же ты узнал про это? — спросил Масленников, и на лице его вдруг выразилось беспокойство и недовольство.

— Я ходил к подсудимому, и меня в коридоре обступили эти люди и просили...

— К какому подсудимому ты ходил?

— Крестьянин, который невинно обвиняется и к которому я пригласил защитника. Но не в этом дело. Неужели эти люди, ни в чем не виноватые, содержатся в тюрьме только за то, что у них просрочены паспорты и...

— Это дело прокурора,— с досадой перебил Масленников Нехлюдова.— Вот ты говоришь: суд скорый и правый. Обязанность товарища прокурора — посещать острог и узнавать, законно ли содержатся заключенные. Они ничего не делают: играют в винт.

— Так ты ничего не можешь сделать? — мрачно сказал Нехлюдов, вспоминая слова адвоката о том, что губернатор будет сваливать на прокурора.

— Нет, я сделаю. Я справлюсь сейчас.

— Для нее же хуже. C'est un souffre-douleur [1],— слышался из гостиной голос женщины, очевидно совершенно равнодушной к тому, что она говорила.

— Тем лучше, я и эту возьму,— слышался с другой стороны игривый голос мужчины и игривый смех женщины, что-то не дававшей ему.

— Нет, нет, ни за что,— говорил женский голос.

— Так вот, я сделаю все,— повторил Масленников, туша папироску своей белой рукой с бирюзовым перстнем,— а теперь пойдем к дамам.

— Да, еще вот что,— сказал Нехлюдов, не входя в гостиную и останавливаясь у двери.— Мне говорили, что вчера в тюрьме наказывали телесно людей. Правда ли это?

Масленников покраснел.

— Ах, ты об этом? Нет, mon cher, решительно тебя не надо пускать, тебе до всего дело. Пойдем, пойдем, Annette зовет нас,— сказал он, подхватывая его под руку и выказывая опять такое же возбуждение, как и после внимания важного лица, но только теперь уже не радостное, а тревожное.

Нехлюдов вырвал свою руку из его и, никому не кланяясь и ничего не говоря, с мрачным видом прошел через гостиную, залу и мимо выскочивших лакеев в переднюю и на улицу.

— Что с ним? Что ты ему сделал? — спросила Annette у мужа.

---

[1] Это страдалица *(франц.)*.

— Это à la française [1],— сказал кто-то.

— Какой это à la française, это à la zoulou [2].

— Ну, да он всегда был такой.

Кто-то поднялся, кто-то приехал, и щебетанья пошли своим чередом: общество пользовалось эпизодом Нехлюдова как удобным предметом разговора нынешнего jour fixe'a.

На другой день после посещения Масленникова Нехлюдов получил от него на толстой глянцевитой с гербом и печатями бумаге письмо великолепным твердым почерком о том, что он написал о переводе Масловой в больницу врачу и что, по всей вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано: «Любящий тебя старый товарищ», и под подписью «Масленников» был сделан удивительно искусный, большой и твердый росчерк.

— Дурак! — не мог удержаться не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове «товарищ» он чувствовал, что Масленников снисходил до него, то есть, несмотря на то, что исполнял самую нравственно грязную и постыдную должность, считал себя очень важным человеком и думал если не польстить, то показать, что он все-таки не слишком гордится своим величием, называя себя его товарищем.

LIX

Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех одинакая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие и бывает часто совсем непохож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. И к таким людям принадлежал Нехлюдов. Перемены эти происходили в нем и от физических и от духовных причин. И такая перемена произошла в нем теперь.

---

[1] по-французски *(франц.)*.

[2] по-зулусски *(франц.)*.

То чувство торжественности и радости обновления, которое он испытывал после суда и после первого свидания с Катюшей, прошло совершенно и заменилось после последнего свидания страхом, даже отвращением к ней. Он решил, что не оставит ее, не изменит своего решения жениться на ней, если только она захочет этого; но это было ему тяжело и мучительно.

На другой день своего посещения Масленникова он опять поехал в острог, чтобы увидать ее.

Смотритель разрешил свидание, но не в конторе и не в адвокатской, а в женской посетительской. Несмотря на свое добродушие, смотритель был сдержаннее, чем прежде, с Нехлюдовым; очевидно, разговоры с Масленниковым имели последствием предписание большей осторожности с этим посетителем.

— Видеться можно,— сказал он,— только, пожалуйста, насчет денег, как я просил вас... А что насчет перевода ее в больницу, как писал его превосходительство, так это можно, и врач согласен. Только она сама не хочет, говорит: «Очень мне нужно за паршивцами горшки выносить...» Ведь это, князь, такой народ,— прибавил он.

Нехлюдов ничего не отвечал и попросил допустить его к свиданию. Смотритель послал надзирателя, и Нехлюдов вошел за ним в пустую женскую посетительскую.

Маслова уже была там и вышла из-за решетки тихая и робкая. Она близко подошла к Нехлюдову и, глядя мимо него, тихо сказала:

— Простите меня, Дмитрий Иванович, я нехорошо говорила третьего дня.

— Не мне прощать вас,— начал было Нехлюдов.

— Но только все-таки вы оставьте меня,— прибавила она, и в страшно скосившихся глазах, которыми она взглянула на него, Нехлюдов прочел опять напряженное и злое выражение.

— Зачем же мне оставить вас?

— Да уж так.

— Отчего так?

Она посмотрела на него опять тем же, как ему показалось, злым взглядом.

— Ну, так вот что,— сказала она.— Вы меня оставьте, это я вам верно говорю. Не могу я. Вы это совсем оставьте,— сказала она дрожащими губами и замолчала.— Это верно. Лучше повешусь.

Нехлюдов чувствовал, что в этом отказе ее была ненависть к нему, непрощенная обида, но было что-то и другое — хорошее и важное. Это в совершенно спокойном состоянии подтверждение своего прежнего отказа сразу уничтожило в душе Нехлюдова все

его сомнения и вернуло его к прежнему серьезному, торжественному и умиленному состоянию.

— Катюша, как я сказал, так и говорю,— произнес он особенно серьезно.— Я прошу тебя выйти за меня замуж. Если же ты не хочешь, и пока не хочешь, я, так же как и прежде, буду там, где ты будешь, и поеду туда, куда тебя повезут.

— Это ваше дело, я больше говорить не буду,— сказала она, и опять губы ее задрожали.

Он тоже молчал, чувствуя себя не в силах говорить.

— Я теперь еду в деревню, а потом поеду в Петербург,— сказал он, наконец оправившись.— Буду хлопотать по вашему, по нашему делу, и, бог даст, отменят приговор.

— И не отменят — все равно. Я не за это, так за другое того стою...— сказала она, и он видел, какое большое усилие она сделала, чтобы удержать слезы.— Ну что же, видели Меньшова? — спросила она вдруг, чтобы скрыть свое волнение.— Правда ведь, что они не виноваты?

— Да, я думаю.

— Такая чудесная старушка,— сказала она.

Он рассказал ей все, что узнал от Меньшова, и спросил, не нужно ли ей чего; она ответила, что ничего не нужно.

Они опять помолчали.

— Ну, а насчет больницы,— вдруг сказала она, взглянув на него своим косым взглядом,— если вы хотите, я пойду и вина тоже не буду пить...

Нехлюдов молча посмотрел ей в глаза. Глаза ее улыбались.

— Это очень хорошо,— только мог сказать он и простился с нею.

«Да, да, она совсем другой человек»,— думал Нехлюдов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности в непобедимости любви.

Вернувшись после этого свидания в свою вонючую камеру, Маслова сняла халат и села на свое место нар, опустив руки на колена. В камере были только: чахоточная владимирская с грудным ребенком, старушка Меньшова и сторожиха с двумя детьми. Дьячкову дочь вчера признали душевнобольной и отправили в больницу. Остальные же все женщины стирали. Старушка лежала на нарах и спала; дети были в коридоре, дверь в который была отворена. Владимирская с ребенком на руках и сторожиха с чулком, который она не переставала вязать быстрыми пальцами, подошли к Масловой.

— Ну, что, повидались? — спросили они.

Маслова, не отвечая, сидела на высоких нарах, болтая не достающими до полу ногами.

— Чего рюмишь? — сказала сторожиха.— Пуще всего не впадай духом. Эх, Катюха! Ну! — сказала она, быстро шевеля пальцами.

Маслова не отвечала.

— А наши стирать пошли. Сказывали, нынче подаяние большое. Наносили много, говорят,— сказала владимирская.

— Финашка! — закричала сторожиха в дверь.— Куда, постреленок, забежал.

И она вынула одну спицу и, воткнув ее в клубок и чулок, вышла в коридор.

В это время послышался шум шагов и женский говор в коридоре, и обитательницы камеры в котах на босу ногу вошли в нее, каждая неся по калачу, а некоторые и по два. Федосья тотчас же подошла к Масловой.

— Что ж, али что не ладно? — спросила Федосья, своими ясными голубыми глазами любовно глядя на Маслову.— А вот нам к чаю,— и она стала укладывать калачи на полочку.

— Что ж, или раздумал жениться? — сказала Кораблева.

— Нет, не раздумал, да я не хочу,— сказала Маслова.— Так и сказала.

— Вот и дура! — сказала своим басом Кораблева.

— Что ж, коли не жить вместе, на кой ляд жениться? — сказала Федосья.

— Да ведь вот твой муж идет же с тобой,— сказала сторожиха.

— Что ж, мы с ним в законе,— сказала Федосья.— А ему зачем закон принимать, коли не жить?

— Во дура! Зачем? Да женись он, так он озолотит ее.

— Он сказал: «Куда бы тебя ни послали, я за тобой поеду»,— сказала Маслова.— Поедет — поедет, не поедет — не поедет. Я просить не стану. Теперь он в Петербург едет хлопотать. У него там все министры родные,— продолжала она,— только все-таки не нуждаюсь я им.

— Известное дело! — вдруг согласилась Кораблева, разбирая свой мешок и, очевидно, думая о другом.— Что же, винца выпьем?

— Я не стану,— отвечала Маслова.— Пейте сами.

Конец первой части

I

Через две недели дело могло слушаться в сенате, и к этому времени Нехлюдов намеревался поехать в Петербург и в случае неудачи в сенате подать прошение на высочайшее имя, как советовал составивший прошение адвокат. В случае оставления жалобы без последствий, к чему, по мнению адвоката, надо быть готовым, так как кассационные поводы очень слабы, партия каторжных, в числе которых была Маслова, могла отправиться в первых числах июня, и потому для того, чтобы приготовиться к поездке за Масловой в Сибирь, что было твердо решено Нехлюдовым, надо было теперь же съездить по деревням, чтобы устроить там свои дела.

Прежде всего Нехлюдов поехал в Кузминское, ближайшее большое черноземное имение, с которого получался главный доход. Он живал в этом имении в детстве и в юности, потом уже взрослым два раза был в нем и один раз по просьбе матери привозил туда управляющего-немца и поверял с ним хозяйство, так что он давно знал положение имения и отношения крестьян к конторе, то есть к землевладельцу. Отношения крестьян к землевладельцу были таковы, что крестьяне находились, говоря учтиво, в полной зависимости, выражаясь же просто,— в рабстве у конторы. Это было не живое рабство, как то, которое было отменено в шестьдесят первом году, рабство определенных лиц хозяину, но рабство общее всех безземельных или малоземельных крестьян большим землевладельцам вообще и преимущественно, а иногда и исключительно тем, среди которых жили крестьяне. Нехлюдов знал это, не мог не знать этого, так что на этом рабстве было основано хозяйство, а он содействовал устройству этого хозяйства. Но мало того что Нехлюдов знал это, он знал и то, что это было несправедливо и жестоко, и знал это со времен студенчества, когда он исповедовал и проповедовал учение Генри Джорджа и на основании этого учения отдал отцовскую землю крестьянам, считая владение землею таким же грехом в наше время, каким было владение крепост-

ными пятьдесят лет тому назад. Правда, что после военной службы, когда он привык проживать около двадцати тысяч в год, все эти знания его перестали быть обязательными для его жизни, забылись, и он никогда не только не задавал себе вопроса о своем отношении к собственности, и о том, откуда получаются те деньги, которые ему давала мать, но старался не думать об этом. Но смерть матери, наследство и необходимость распоряжаться своим имуществом, то есть землею, опять подняли для него вопрос об его отношении к земельной собственности. За месяц тому назад Нехлюдов сказал бы себе, что изменить существующий порядок он не в силах, что управляет имением не он,— и более или менее успокоился бы, живя далеко от имения и получая с него деньги. Теперь же он решил, что, хотя ему предстоит поездка в Сибирь и сложное и трудное отношение с миром острогов, для которого необходимы деньги, он все-таки не может оставить дело в прежнем положении, а должен, в ущерб себе, изменить его. Для этого он решил не обрабатывать землю самому, а, отдав ее по недорогой цене крестьянам, дать им возможность быть независимыми от землевладельцев вообще. Не раз, сравнивая положение землевладельца с владельцем крепостных, Нехлюдов приравнивал отдачу земли крестьянам, вместо обработки ее работниками, к тому, что делали рабовладельцы, переводя крестьян с барщины на оброк. Это не было разрешение вопроса, но это был шаг к его разрешению: это был переход от более грубой к менее грубой форме насилия. Так он и намерен был поступить.

Нехлюдов приехал в Кузминское около полудня. Во всем упрощая свою жизнь, он не телеграфировал, а взял со станции тарантасик парой. Ямщик был молодой малый в панковой, подпоясанной по складкам ниже длинной талии поддевке, сидевшей по-ямски, бочком, на козлах и тем охотнее разговаривавший с барином, что, пока они говорили, разбитая, хромая белая коренная и поджарая, запаленная пристяжная могли идти шагом, чего им всегда очень хотелось.

Ямщик рассказывал про управляющего в Кузминском, не зная того, что он везет хозяина. Нехлюдов нарочно не сказал ему.

— Шикарный немец,— говорил поживший в городе и читавший романы извозчик. Он сидел, повернувшись вполуоборот к седоку, то снизу, то сверху перехватывая длинное кнутовище, и, очевидно, щеголял своим образованием,— тройку завел соловых, выедет с своей хозяйкой — так куда годишься! — продолжал он.— Зимой, на рождестве, елка была в большом доме, я гостей возил тоже; с еклектрической искрой. В губернии такой не увидишь! Награбил денег — страсть! Чего ему: вся его власть. Сказывают, хорошее имение купил.

Нехлюдов думал, что он совершенно равнодушен к тому, как управляет немец его имением и как пользуется. Но рассказ ямщика с длинной талией был неприятен ему. Он любовался прекрасным днем, густыми темнеющими облаками, иногда закрывавшими солнце, и яровыми полями, в которых везде ходили мужики за сохами, перепахивая овес, и густо зеленевшими зеленями, над которыми поднимались жаворонки, и лесами, покрытыми уже, кроме позднего дуба, свежей зеленью, и лугами, на которых пестрели стада и лошади, и полями, на которых виднелись пахари,— и, нет-нет, ему вспоминалось, что было что-то неприятное, и когда он спрашивал себя: что? — то вспоминал рассказ ямщика о том, как немец хозяйничает в Кузминском.

Приехав в Кузминское и занявшись делами, Нехлюдов забыл про это чувство.

Просмотр конторских книг и разговор с приказчиком, который с наивностью выставлял выгоды малоземельности крестьян и того, что они окружены господской землей, еще больше утвердил Нехлюдова в намерении прекратить свое хозяйство и отдать всю землю крестьянам. Из конторских книг и разговоров с приказчиком он узнал, что, как и было прежде, две трети лучшей пахотной земли обрабатывались своими работниками усовершенствованными орудиями, остальная же треть земли обрабатывалась крестьянами наймом по пяти рублей за десятину, то есть за пять рублей крестьянин обязывался три раза вспахать, три раза заскородить и засеять десятину, потом скосить, связать или сжать и свезти на гумно, то есть совершить работы, стоящие по вольному дешевому найму по меньшей мере десять рублей за десятину. Платили же крестьяне работой за все, что им нужно было от конторы, самые дорогие цены. Они работали за луга, за лес, ботву от картофеля, и все почти были в долгу у конторы. Так, за запольные земли, отдаваемые внаймы крестьянам, бралось за десятину в четыре раза больше того, что цена ее могла приносить по расчету из пяти процентов.

Все это Нехлюдов знал и прежде, но он теперь узнавал это как новое и только удивлялся тому, как мог он и как могут все люди, находящиеся в его положении, не видеть всей ненормальности таких отношений. Доводы управляющего о том, как при передаче земли крестьянам ни за что пропадет весь инвентарь, который нельзя будет продать за одну четверть того, что он стоит, как крестьяне испортят землю, вообще как много Нехлюдов потеряет при такой передаче, только подтверждали Нехлюдова в том, что он совершает хороший поступок, отдавая крестьянам землю и лишая себя большой части дохода. Он решил покончить это дело сейчас же, в этот свой приезд. Собрать и продать посеянный хлеб, распродать инвентарь и ненужные постройки — все это должен был сде-

лать управляющий уже после него. Теперь же он просил управляющего собрать на другой день сходку крестьян трех деревень, окруженных землею Кузминского, для того, чтобы объявить им о своем намерении и условиться в цене за отдаваемую землю.

С приятным сознанием своей твердости против доводов управляющего и готовности на жертву для крестьян Нехлюдов вышел из конторы и, обдумывая предстоящее дело, прошелся вокруг дома, по цветникам, запущенным в нынешнем году (цветник был разбит против дома управляющего), по зарастающему цикорием lawn-tennis'у и по липовой аллее, где он обыкновенно ходил курить свою сигару и где кокетничала с ним три года тому назад гостившая у матери хорошенькая Киримова. Придумав вкратце речь, которую он скажет завтра мужикам, Нехлюдов пошел к управляющему и, обсудив с ним за чаем еще раз вопрос о том, как ликвидировать все хозяйство, совершенно успокоившись в этом отношении, вошел в приготовленную для него комнату большого дома, всегда отводившуюся для приема гостей.

В небольшой чистой комнате этой с картинами видов Венеции и зеркалом между двух окон была поставлена чистая пружинная кровать и столик с графином воды, спичками и гасилкой. На большом столе у зеркала лежал его открытый чемодан, из которого виднелись его туалетный несессер и книги, взятые им с собою: русская — опыт исследования законов преступности, о том же одна немецкая и одна английская книга. Он хотел их читать в свободные минуты во время поездки по деревням, но нынче уж некогда было, и он собирался ложиться спать, чтобы завтра пораньше приготовиться к объяснению с крестьянами.

В комнате в углу стояло старинное кресло красного дерева с инкрустациями, и вид этого кресла, которое он помнил в спальне матери, вдруг поднял в душе Нехлюдова совершенно неожиданное чувство. Ему вдруг жалко стало и дома, который развалится, и сада, который запустится, и лесов, которые вырубятся, и всех тех скотных дворов, конюшен, инструментных сараев, машин, лошадей, коров, которые хотя и не им, но — он знал — заводились и поддерживались с такими усилиями. Прежде ему казалось легко отказаться от всего этого, но теперь ему жалко стало не только этого, но и земли и половины дохода, который мог так понадобиться теперь. И тотчас к его услугам явились рассуждения, по которым выходило, что неблагоразумно и не следует отдавать землю крестьянам и уничтожать свое хозяйство.

«Землей я не должен владеть. Не владея же землею, я не могу поддерживать все это хозяйство. Кроме того, я теперь уеду в Сибирь, и потому ни дом, ни имение мне не нужны»,— говорил один

голос. «Все это так,— говорил другой голос,— но, во-первых, ты не проведешь же всей жизни в Сибири. Если же ты женишься, то у тебя могут быть дети. И как ты получил имение в порядке, ты должен таким же передать его. Есть обязанность к земле. Отдать, уничтожить все очень легко, завести же все очень трудно. Главное же — ты должен обдумать свою жизнь и решить, что ты будешь делать с собой, и соответственно этому и распорядиться своей собственностью. А твердо ли в тебе это решение? Потом — истинно ли ты перед своей совестью поступаешь так, как ты поступаешь, или делаешь это для людей, для того, чтобы похвалиться перед ними?» — спрашивал себя Нехлюдов и не мог не признаться, что то, что будут говорить о нем люди, имело влияние на его решение. И чем больше он думал, тем больше и больше поднималось вопросов и тем они становились неразрешимее. Чтобы избавиться от этих мыслей, он лег в свежую постель и хотел заснуть с тем, чтобы завтра, на свежую голову, решить вопросы, в которых он теперь запутался. Но он долго не мог уснуть; в открытые окна вместе с свежим воздухом и светом луны вливалось кваканье лягушек, перебиваемое чаханьем и свистом соловьев далеких, из парка, и одного близко — под окном, в кусте распускавшейся сирени. Слушая соловьев и лягушек, Нехлюдов вспомнил о музыке дочери смотрителя; вспомнив о смотрителе, он вспомнил о Масловой, как у нее, так же, как кваканье лягушек, дрожали губы, когда она говорила: «Вы это совсем оставьте». Потом немец-управляющий стал спускаться к лягушкам. Надо было его удержать, но он не только слез, но сделался Масловой и стал упрекать его: «Я каторжная, а вы князь». «Нет, не поддамся»,— подумал Нехлюдов, и очнулся, и спросил себя: «Что же, хорошо или дурно я делаю? Не знаю, да и мне все равно. Все равно. Надо только спать». И он сам стал спускаться туда, куда полез управляющий и Маслова, и там все кончилось.

II

На другой день Нехлюдов проснулся в девять часов утра. Молодой конторщик, прислуживавший барину, услыхав, что он шевелится, принес ему ботинки, такие блестящие, какими они никогда не были, и холодную чистейшую ключевую воду и объявил, что крестьяне собираются. Нехлюдов вскочил с постели, опомнившись. Вчерашних чувств сожаления о том, что он отдает землю и уничтожает хозяйство, не было и следа. Он с удивлением вспоминал о них теперь. Теперь он радовался тому делу, которое предстояло ему, и невольно гордился им. Из окна его комнаты видна была поросшая цикорием площадка lawn-tennis'a, на которой, по указанию

управляющего, собирались крестьяне. Лягушки недаром квакали с вечера. Погода была пасмурная. С утра шел тихий, без ветра, теплый дождичек, висевший капельками на листьях, на сучьях, на траве. В окне стоял, кроме запаха зелени, еще запах земли, просящей дождя. Нехлюдов несколько раз, одеваясь, выглядывал из окна и смотрел, как крестьяне собирались на площадку. Одни за другими они подходили, снимали друг перед другом шапки и картузы и становились кружком, опираясь на палки. Управляющий, налитой, мускулистый, сильный молодой человек, в коротком пиджаке с зеленым стоячим воротником и огромными пуговицами, пришел сказать Нехлюдову, что все собрались, но что они подождут,— пускай прежде Нехлюдов напьется кофею или чаю, и то и другое готово.

— Нет, уж я лучше пойду к ним,— сказал Нехлюдов, испытывая совершенно неожиданно для себя чувство робости и стыда при мысли о предстоявшем разговоре с крестьянами.

Он шел исполнить то желание крестьян, об исполнении которого они и не смели думать,— отдать им за дешевую цену землю, то есть он шел сделать им благодеяние, а ему было чего-то совестно. Когда Нехлюдов подошел к собравшимся крестьянам и обнажились русые, курчавые, плешивые, седые головы, он так смутился, что долго ничего не мог сказать. Дождичек мелкими капельками продолжал идти и оставался на волосах, бородах и на ворсе кафтанов крестьян. Крестьяне смотрели на барина и ждали, что он им скажет, а он так смутился, что ничего не мог сказать. Смущенное молчание разбил спокойный, самоуверенный немец-управляющий, считавший себя знатоком русского мужика и прекрасно, правильно говоривший по-русски. Сильный, перекормленный человек этот, так же как и сам Нехлюдов, представлял поразительный контраст с худыми, сморщенными лицами и выдающимися из-под кафтанов худыми лопатками мужиков.

— Вот князь хочет вам добро сделать — землю отдать, только вы того не стоите,— сказал управляющий.

— Как не стоим, Василий Карлыч, разве мы тебе не работали? Мы много довольны барыней-покойницей, царство небесное, и молодой князь, спасибо, нас не бросает,— начал рыжеватый мужик-краснобай.

— Я затем и призвал вас, что хочу, если вы желаете этого, отдать вам всю землю,— проговорил Нехлюдов.

Мужики молчали, как бы не понимая или не веря.

— В каких, значит, смыслах землю отдать? — сказал один, средних лет, мужик в поддевке.

— Отдать вам внаймы, чтобы вы пользовались за невысокую плату.

— Разлюбезное дело,— сказал один старик.

— Только бы в силу платеж был,— сказал другой.

— Землю отчего не взять!

— Нам дело привычное,— землей кормимся!

— Вам же покойнее, только знай получай денежки, а то греха сколько! — послышались голоса.

— Грех от вас,— сказал немец,— если бы вы работали да порядок держали...

— Нельзя нашему брату, Василий Карлыч,— заговорил остроносый худой старик.— Ты говоришь, зачем лошадь пустил в хлеб, а кто ее пускал: я день-деньской, а день — что год, намахался косой, либо что заснул в ночном, а она у тебя в овсах, а ты с меня шкуру дерешь.

— А вы бы порядок вели.

— Хорошо тебе говорить — порядок, сила наша не берет,— возразил высокий черноволосый, обросший весь волосами, нестарый мужик.

— Ведь я говорил вам, обгородили бы.

— А ты лесу дай,— сзади вступился маленький, невзрачный мужичок.— Я хотел летось загородить, так ты меня на три месяца затурил вшей кормить в за́мок. Вот и загородил.

— Это что же он говорит? — спросил Нехлюдов у управляющего.

— Der erste Dieb im Dorfe [1],— по-немецки сказал управляющий.— Каждый год в лесу попадался. А ты научись уважать чужую собственность,— сказал управляющий.

— Да мы разве не уважаем тебя? — сказал старик.— Нам тебя нельзя не уважать, потому мы у тебя в руках; ты из нас веревки вьешь.

— Ну, брат, вас не обидишь; вы бы не обидели.

— Как же, обидишь! Разбил мне летось морду, так и осталось. С богатым не судись, видно.

— А ты делай по закону.

Очевидно, шел словесный турнир, в котором участвующие не понимали хорошенько, зачем и что они говорят. Заметно было только, с одной стороны, сдерживаемое страхом озлобление, с другой — сознание своего превосходства и власти. Нехлюдову было тяжело слушать это, и он постарался вернуться к делу: установить цены и сроки платежей.

— Так как же насчет земли? Желаете ли вы? И какую цену назначите, если отдать всю землю?

— Товар ваш, вы цену назначьте.

---

[1] Первый вор в деревне.

Нехлюдов назначил цену. Как всегда, несмотря на то, что цена, назначенная Нехлюдовым, была много ниже той, которую платили кругом, мужики начали торговаться и находили цену высокой. Нехлюдов ожидал, что его предложение будет принято с радостью, но проявления удовольствия совсем не было заметно. Только потому Нехлюдов мог заключить, что предложение его им выгодно, что когда зашла речь о том, кто берет землю — все ли общество или товарищество, то начались жестокие споры между теми крестьянами, которые хотели выключить слабосильных и плохих плательщиков из участия в земле, и теми, которых хотели выключить. Наконец благодаря управляющему установили цену и сроки платежей, и крестьяне, шумно разговаривая, пошли под гору, к деревне, а Нехлюдов пошел в контору составлять с управляющим проект условия.

Все устроилось так, как этого хотел и ожидал Нехлюдов: крестьяне получили землю процентов на тридцать дешевле, чем отдавалась земля в округе; его доход с земли уменьшился почти наполовину, но был с избытком достаточен для Нехлюдова, особенно с прибавлением суммы, которую он получил за проданный лес и которая должна была выручиться за продажу инвентаря. Все, казалось, было прекрасно, а Нехлюдову все время было чего-то совестно. Он видел, что крестьяне, несмотря на то, что некоторые из них говорили ему благодарственные слова, были недовольны и ожидали чего-то большего. Выходило, что он лишил себя многого, а крестьянам не сделал того, чего они ожидали.

На другой день условие домашнее было подписано, и, провожаемый пришедшими выборными стариками, Нехлюдов с неприятным чувством чего-то недоделанного сел в шикарную, как говорил ямщик со станции, троечную коляску управляющего и уехал на станцию, простившись с мужиками, недоумевающе и недовольно покачивавшими головами. Нехлюдов был недоволен собоїі. Чем он был недоволен, он не знал, но ему все время чего-то было грустно и чего-то стыдно.

III

Из Кузминского Нехлюдов поехал в доставшееся ему по наследству от тетушек имение — то самое, в котором он узнал Катюшу. Он хотел и в этом имении устроить дело с землею так же, как он устроил его в Кузминском; кроме того, узнать все, что можно еще узнать про Катюшу и ее и своего ребенка: правда ли, что он умер, и как он умер? Он приехал в Паново рано утром, и первое, что поразило его, когда он въехал во двор, был вид запустения и ветхости, в которой были все постройки и в особенности дом.

Железная когда-то зеленая крыша, давно не крашенная, краснела от ржавчины, и несколько листов были задраны кверху, вероятно бурей; тес, которым был обшит дом, был ободран местами людьми, обдиравшими его там, где он легче отдирался, отворачивая ржавые гвозди. Крыльца — оба, переднее и особенно памятное ему заднее,— сгнили и были разломаны, оставались только переметы; окна некоторые вместо стекла были заделаны тесом, и флигель, в котором жил приказчик, и кухня, и конюшни — все было ветхо и серо. Только сад не только не обветшал, но разросся, сросся и теперь был весь в цвету; из-за забора видны были, точно белые облака, цветущие вишни, яблони и сливы. Ограда же сирени цвела точно так же, как в тот год, четырнадцать лет тому назад, когда за этой сиренью Нехлюдов играл в горелки с восемнадцатилетней Катюшей и, упав, острекался крапивой. Лиственница, которая была посажена Софьей Ивановной около дома и была тогда в кол, была теперь большое дерево, годное на бревно, все одетое желто-зеленой, нежно-пушистой хвоей. Река была в берегах и шумела на мельнице в спусках. На лугу за рекой паслось пестрое смешанное крестьянское стадо. Приказчик, не кончивший курса семинарист, улыбаясь, встретил Нехлюдова на дворе, не переставая улыбаться, пригласил его в контору и, улыбаясь же, как будто этой улыбкой обещая что-то особенное, ушел за перегородку. За перегородкой пошептались и замолкли. Извозчик, получив на чай, погромыхивая бубенчиками, уехал с двора, и стало совершенно тихо. Вслед за этим мимо окна пробежала босая девушка в вышитой рубахе с пушками на ушах, за девушкой пробежал мужик, стуча гвоздями толстых сапогов по убитой тропинке.

Нехлюдов сел у окна, глядя в сад и слушая. В маленькое створчатое окно, слегка пошевеливая волосами на его потном лбу и записками, лежавшими на изрезанном ножом подоконнике, тянуло свежим весенним воздухом и запахом раскопанной земли. На реке «тра-па-тап, тра-па-тап» шлепали, перебивая друг друга, вальки баб, и звуки эти разбегались по блестящему на солнце плесу запруженной реки, и равномерно слышалось падение воды на мельнице, и мимо уха, испуганно и звонко жужжа, пролетела муха.

И вдруг Нехлюдов вспомнил, что точно так же он когда-то давно, когда он был еще молод и невинен, слышал здесь на реке эти звуки вальков по мокрому белью из-за равномерного шума мельницы, и точно так же весенний ветер шевелил его волосами на мокром лбу и листками на изрезанном ножом подоконнике, и точно так же испуганно пролетела мимо уха муха, и он не то что вспомнил себя восемнадцатилетним мальчиком, каким он был тогда, но почувствовал себя таким же, с той же свежестью, чистотой и исполненным самых великих возможностей будущим, и вме-

сте с тем, как это бывает во сне, он знал, что этого уже нет, и ему стало ужасно грустно.

— Когда прикажете кушать? — спросил приказчик, улыбаясь.

— Когда хотите,— я не голоден. Я пойду пройдусь по деревне.

— А то не угодно ли в дом пройти, у меня все в порядке внутри. Извольте посмотреть, если в наружности...

— Нет, после, а теперь скажите, пожалуйста, есть у вас тут женщина Матрена Харина?

Это была тетка Катюши.

— Как же, на деревне, никак не могу с ней справиться. Шинок держит. Знаю, и обличаю, и браню ее, а коли акт составить — жалко: старуха, внучата у ней,— сказал приказчик все с той же улыбкой, выражавшей и желание быть приятным хозяину, и уверенность в том, что Нехлюдов, точно так же как и он, понимает всякие дела.

— Где она живет? Я бы прошел к ней.

— В конце слободы, с того края третья избушка. На левой руке кирпичная изба будет, а тут за кирпичной избой и ее хибарка. Да я вас провожу лучше,— радостно улыбаясь, говорил приказчик.

— Нет, благодарю вас, я найду, а вы, пожалуйста, прикажите оповестить мужикам, чтобы собрались: мне надо поговорить с ними о земле,— сказал Нехлюдов, намереваясь здесь покончить с мужиками так же, как и в Кузминском, и, если можно, нынче же вечером.

IV

Выйдя за ворота, Нехлюдов встретил на твердо убитой тропинке, по поросшему подорожником и клоповником выгону, быстро перебиравшую толстыми босыми ногами крестьянскую девушку в пестрой занавеске с пушками на ушах. Возвращаясь уже назад, она быстро махала одной рукой поперек своего хода, правой же крепко прижимала к животу красного петуха. Петух с своим качающимся красным гребнем казался совершенно спокойным и только закатывал глаза, то вытягивал, то поднимал одну черную ногу, цепляя когтями за занавеску девушки. Когда девушка стала подходить к барину, она сначала умерила ход и перешла с бега на шаг, поравнявшись же с ним, остановилась и, размахнувшись назад головой, поклонилась ему, и только когда он прошел, пошла с петухом дальше. Спускаясь к колодцу, Нехлюдов встретил еще старуху, несшую на сгорбленной спине грязной суровой рубахи тяжелые, полные ведра. Старуха осторожно поставила ведра и точно так же, с размахом назад, поклонилась ему.

За колодцем начиналась деревня. Был ясный жаркий день, и в десять часов уже парило, собиравшиеся облака изредка закрывали солнце. По всей улице стоял резкий, едкий и не приятный запах навоза, шедший от тянувшихся в гору по глянцевито-укатанной дороге телег, и, главное, из раскопанного навоза дворов, мимо отворенных ворот которых проходил Нехлюдов. Шедшие за возами в гору мужики, босые, в измазанных навозной жижей портках и рубахах, оглядывались на высокого толстого барина, который в серой шляпе, блестевшей на солнце своей шелковой лентой, шел вверх по деревне, через шаг дотрагиваясь до земли глянцевитой коленчатой палкой с блестящим набалдашником. Возвращавшиеся с поля мужики, трясясь рысью на облучках пустых телег, снимая шапки, с удивлением следили за необыкновенным человеком, шедшим по их улице; бабы выходили за ворота и на крыльца и показывали его друг другу, провожая глазами.

У четвертых ворот, мимо которых проходил Нехлюдов, его остановили со скрипом выезжающие из ворот телеги, высоко наложенные ушлепанным навозом с наложенной на него рогожкой для сиденья. Шестилетний мальчик, взволнованный ожиданием катанья, шел за возом. Молодой мужик в лаптях, широко шагая, выгонял лошадь за ворота. Длинноногий голубой жеребенок выскочил из ворот, но, испугавшись Нехлюдова, пажался на телегу и, обивая ноги о колеса, проскочил вперед вывозившей из ворот тяжелый воз, беспокоившейся и слегка заржавшей матки. Следующую лошадь выводил худой бодрый старик, тоже босиком, в полосатых портках и длинной грязной рубахе, с выдающимися на спине худыми кострецами.

Когда лошади выбрались на накатанную дорогу, усыпанную серыми, как бы сожженными клоками навозу, старик вернулся к воротам и поклонился Нехлюдову.

— Барышень наших племянничек будешь?

— Да, я племянник их.

— С приездом. Что же, приехал нас проведать? — словоохотливо заговорил старик.

— Да, да. Что ж, как вы живете? — сказал Нехлюдов, не зная, что сказать.

— Какая наша жизнь! Самая плохая наша жизнь,— как будто с удовольствием, нараспев протянул словоохотливый старик.

— Отчего плохая? — сказал Нехлюдов, входя под ворота.

— Да какая же жизнь? Самая плохая жизнь,— сказал старик, следуя за Нехлюдовым на вычищенную до земли часть под навесом.

Нехлюдов вошел за ним под навес.

— У меня вон они двенадцать душ,— продолжал старик, ука-

зывая на двух женщин, которые с сбившимися платками, потные, подоткнувшись, с голыми, до половины испачканными навозной жижей икрами стояли с вилами на уступе не вычищенного еще навоза.— Что ни месяц, то купи шесть пудов, а где их взять?

— А своего разве недостает?

— Своего?!— с презрительной усмешкой сказал старик.— У меня земли на три души, а нынче всего восемь копен собрали,— до рожества не хватило.

— Да как же вы делаете?

— Так и делаем; вот одного в работники отдал, да у вашей милости деньжонок взял. Еще до заговенья всё забрали, а подати не плачены.

— А сколько податей?

— Да с моего двора рублей семнадцать в треть сходит. Ох, не дай бог, житье, и сам не знаешь, как оборачиваешься!

— А можно к вам пройти в избу? — сказал Нехлюдов, подвигаясь вперед по дворику и с очищенного места входя на не тронутые еще и развороченные вилами желто-шафранные, сильно пахучие слои навоза.

— Отчего же, заходи,— сказал старик и быстрыми шагами босых ног, выдавливавших жижу между пальцами, обогнав Нехлюдова, отворил ему дверь в избу.

Бабы, оправив на головах платки и спустив поневы, с любопытным ужасом смотрели на чистого барина с золотыми застежками на рукавах, входившего в их дом.

Из избы выскочили в рубашонках две девочки. Пригнувшись и сняв шляпу, Нехлюдов вошел в сени и в пахнувшую кислой едой грязную и тесную, занятую двумя станами избу. В избе у печи стояла старуха с засученными рукавами худых жилистых загорелых рук.

— Вот барин наш к нам в гости зашел,— сказал старик.

— Что ж, милости просим,— ласково сказала старуха, отворачивая засученные рукава.

— Хотел посмотреть, как вы живете,— сказал Нехлюдов.

— Да так живем, вот, как видишь. Изба завалиться хочет, того гляди убьет кого. А старик говорит — и эта хороша. Вот и живем — царствуем,— говорила бойкая старуха, нервно подергиваясь головой.— Вот сейчас обедать соберу. Рабочий народ кормить стану.

— А что вы обедать будете?

— Что обедать? Пищея наша хорошая. Первая перемена хлеб с квасом, а другая — квас с хлебом,— сказала старуха, оскаливая свои съеденные до половины зубы.

— Нет, без шуток, покажите мне, что вы будете кушать нынче.

— Кушать? — смеясь, сказал старик.— Кушанье наше не хитрое. Покажь ему, старуха.

Старуха покачала головой.

— Захотелось пашу мужицкую еду посмотреть? Дотошный ты, барин, посмотрю я на тебя. Все ему знать надо. Сказывали — хлеб с квасом, а еще щи, снытки бабы вчера принесли; вот и щи, апосля того — картошки.

— И больше ничего?

— Чего ж еще, забелим молочком,— сказала старуха, посмеиваясь и глядя на дверь.

Дверь была отворена, и сени были полны народом; и ребята, девочки, бабы с грудными детьми жались в дверях, глядя на чудно́го барина, рассматривавшего мужицкую еду. Старуха, очевидно, гордилась своим умением обойтись с барином.

— Да, плохая, плохая, барин, жизнь наша, что говорить,— сказал старик.— Куда лезете! —закричал он на стоявших в дверях.

— Ну, прощайте,— сказал Нехлюдов, чувствуя неловкость и стыд, в причине которых он не давал себе отчета.

— Благодарим покорно, что проведал нас,— сказал старик.

В сенях народ, нажавшись друг на друга, пропустил его, и он вышел на улицу и пошел вверх по ней. Следом за ним из сеней вышли два мальчика босиком: один, постарше,— в грязной, бывшей белой рубахе, а другой — в худенькой слинявшей розовой. Нехлюдов оглянулся на них.

— А теперь куда пойдешь? — сказал мальчик в белой рубашке.

— К Матрене Хариной,— сказал он.— Знаете?

Маленький мальчик в розовой рубашке чему-то засмеялся, старший же серьезно переспросил:

— Какая Матрена? Старая она?

— Да, старая.

— О-о,— протянул он.— Это Семениха, эта на конце деревни. Мы тебя проводим. Айда, Федька, проводим его.

— А лошади-то?

— Авось ничего!

Федька согласился, и они втроем пошли вверх по деревне.

V

Нехлюдову было легче с мальчиками, чем с большими, и он дорогой разговорился с ними. Маленький в розовой рубашке перестал смеяться и говорил так же умно и обстоятельно, как и старший.

— Ну, а кто у вас самый бедный? — спросил Нехлюдов.

— Кто бедный? Михайла бедный, Семен Макаров, еще Марфа дюже бедная.

— А Анисья — та еще бедней. У Анисьи и коровы нет — побираются,— сказал маленький Федька.

— У ней коровы нет, да зато их всего трое, а Марфа сама пята,— возражал старший мальчик.

— Все-таки та вдова,— отстаивал розовый мальчик Анисью.

— Ты говоришь, Анисья вдова, а Марфа все равно что вдова,— продолжал старший мальчик.— Все равно — мужа нет.

— Где же муж? — спросил Нехлюдов.

— В остроге вшей кормит,— употребляя обычное выражение, сказал старший мальчик.

— Летось в господском лесу две березки срезал, его и посадили,— поторопился сказать маленький розовый мальчик.— Теперь шестой месяц сидит, а баба побирается, трое ребят да старуха убогая,— обстоятельно говорил он.

— Где она живет? — сказал Нехлюдов.

— А вот этот самый двор,— сказал мальчик, указывая на дом, против которого крошечный белоголовый ребенок, насилу державшийся на кривых, выгнутых наружу в колепях ногах, качаясь, стоял на самой тропинке, по которой шел Нехлюдов.

— Васька, куда, постреленок, убежал? — закричала выбежавшая из избы в грязной, серой, как бы засыпанной золой рубахе баба и с испуганным лицом бросилась вперед Нехлюдова, подхватила ребенка и унесла в избу, точно она боялась, что Нехлюдов сделает что-нибудь над ее дитей.

Это была та самая женщина, муж которой за березки из леса Нехлюдова сидел в остроге.

— Ну, а Матрена — эта бедная? — спросил Нехлюдов, когда они уже подходили к избушке Матрены.

— Какая она бедная: она вином торгует,— решительно ответил розовый худенький мальчик.

Дойдя до избушки Матрены, Нехлюдов отпустил мальчиков и вошел в сени и потом в избу. Хатка старухи Матрены была шести аршин, так что на кровати, которая была за печью, нельзя было вытянуться большому человеку. «На этой самой кровати,— подумал он,— рожала и болела потом Катюша». Почти вся хата была занята станом, который, в то время как вошел Нехлюдов, стукнувшись головой в низкую дверь, старуха только что улаживала с своей старшей внучкой. Еще двое внучат вслед за барином стремглав вбежали в избу и остановились за ним в дверях, ухватившись за притолки руками.

— Кого надо? — сердито спросила старуха, находившаяся в

дурном расположении духа от неладившегося стана. Кроме того, тайно торгуя вином, она боялась всяких незнакомых людей.

— Я помещик. Мне поговорить хотелось бы с вами.

Старуха помолчала, пристально вглядываясь, потом вдруг вся преобразилась.

— Ах ты, касатик, а я-то, дура, не вознала: я думаю, какой прохожий,— притворно ласковым голосом заговорила она.— Ах ты, сокол ты мой ясный...

— Как бы поговорить без народа,— сказал Нехлюдов, глядя на отворенную дверь, в которой стояли ребята, а за ребятами худая женщина с исчахшим, но все улыбавшимся, от болезни бледным ребеночком в скуфеечке из лоскутиков.

— Чего не видали, я вам дам, подай-ка мне сюда костыль! — крикнула старуха на стоявших в двери.— Затвори, что ли!

Ребята отошли, баба с ребенком затворила дверь.

— Я-то думаю: кто пришел? А это сам барин, золотой ты мой, красавчик ненаглядный! — говорила старуха.— Куда зашел, не побрезговал. Ах ты, брильянтовый! Сюда садись, ваше сиятельство, вот сюда на коник,— говорила она, вытирая коник запавеской.— А я думаю, какой черт лезет, ан это сам ваше сиятельство, барин хороший, благодетель, кормилец наш. Прости ты меня, старую дуру,— слепа стала.

Нехлюдов сел, старуха стала перед ним, подперла правой рукой щеку, подхватив левой рукой острый локоть правой, и заговорила певучим голосом:

— И старый же ты стал, ваше сиятельство; то как репей хороший был, а теперь что! Тоже забота, видно.

— Я вот что пришел спросить: помнишь ли ты Катюшу Маслову?

— Катерину-то? Как же не помнить — она мне племенница... Как не помнить; и слез-то, слез я по ней пролила. Ведь я все знаю. Кто, батюшка, богу не грешен, царю не виноват? Дело молодое, тоже чай-кофей пили, ну и попутал нечистый, ведь он силен тоже. Что ж делать! Кабы ты ее бросил, а ты как ее наградил: сто рублей отвалил. А она что сделала. Не могла в разум взять. Кабы она меня слушала, она бы жить могла. Да хоть и племенница мне, а прямо скажу — девка непутевая. Я ведь ее после к какому месту хорошему приставила: не хотела покориться, обругала барина. Разве нам можно господ ругать? Ну, ее и разочли. А потом опять же у лесничего жить можно было, да вот не захотела.

— Я спросить хотел про ребенка. Ведь она у вас родила? Где ребенок?

— Ребеночка, батюшка мой, я тогда хорошо обдумала. Она дюже трудна была, не чаяла ей подняться. Я и окрестила мальчика,

как должно, и в воспитательный представила. Ну, ангельскую душку что же томить, когда мать помирает. Другие так делают, что оставят младенца, не кормят,— он и сгаснет; но я думаю: что ж так, лучше потружусь, пошлю в воспитательный. Деньги были, ну и свезли.

— А номер был?

— Номер был, да помер он тогда же. Она сказывала: как привезли, а он и кончился.

— Кто она?

— А самая, эта женщина, в Скородном жила. Она этим займалася. Маланьей звали, померла она теперь. Умная была женщина,— ведь она как делала! Бывало, принесут ей ребеночка, она возьмет и держит его у себя в доме, прикармливает. И прикармливает, батюшка ты мой, пока на отправку соберет. А как соберет троих или четверых, сразу и везет. Так у ней было умно изделано: такая люлька большая, вроде двуспальная, и туда и сюда класть. И ручка приделана. Вот она их положит четверых, головками врозь, чтоб не бились, ножками вместе, так и везет сразу четверых. Сосочки им в ротики посует, они и молчат, сердечные.

— Ну, так что же?

— Ну, так и Катерининого ребенка повезла. Да, никак, недели две у себя держала. Он и зачиврел у ней еще дома.

— А хороший был ребенок? — спросил Нехлюдов.

— Такой ребеночек, что надо бы лучше, да некуда. Как есть в тебя,— прибавила старуха, подмигивая старым глазом.

— Отчего же он ослабел? Верно, дурно кормили?

— Какой уж корм! Только пример один. Известное дело, не свое детище. Абы довезть живым. Сказывала, довезла только до Москвы, так в ту же пору и сгас. Она и свидетельство привезла,— все как должно. Умная женщина была.

Только и мог узнать Нехлюдов о своем ребенке.

VI

Ударившись еще раз головой об обе двери в избе и в сенях, Нехлюдов вышел на улицу. Ребята: белый, дымчатый и розовый, дожидались его. Еще несколько новых пристало к ним. Дожидалось и несколько женщин с грудными детьми, и между ними была и та худая женщина, которая легко держала на руке бескровного ребеночка в скуфеечке из лоскутиков. Ребенок этот не переставая странно улыбался всем своим старческим личиком и все шевелил напряженно искривленными большими пальцами. Нехлюдов знал, что это была улыбка страдания. Он спросил, кто была эта женщина.

— Это самая Анисья, что я тебе говорил,— сказал старший мальчик.

Нехлюдов обратился к Анисье.

— Как ты живешь? — спросил он.— Чем кормишься?

— Как живу? Побираюсь,— сказала Анисья и заплакала.

Старческий же ребенок весь расплылся в улыбку, изгибая свои, как червячки, тоненькие ножки.

Нехлюдов достал бумажник и дал десять рублей женщине. Не успел он сделать двух шагов, как его догнала другая женщина с ребенком, потом старуха, потом еще женщина. Все говорили о своей нищете и просили помочь им. Нехлюдов роздал те шестьдесят рублей мелкими бумажками, которые были у него в бумажнике, и с страшной тоскою в сердце вернулся домой, то есть во флигель приказчика. Приказчик, улыбаясь, встретил Нехлюдова с известием, что мужики соберутся вечером. Нехлюдов поблагодарил его и, не входя в комнаты, пошел ходить в сад по усыпанным белыми лепестками яблочных цветов заросшим дорожкам, обдумывая все то, что он видел.

Сначала около флигеля было тихо, но потом Нехлюдов услыхал у приказчика во флигеле два перебивавшие друг друга озлобленные голоса женщин, из-за которых только изредка слышался спокойный голос улыбающегося приказчика. Нехлюдов прислушался.

— Сила моя не берет, что же ты крест с шеи тащишь? — говорил один озлобленный бабий голос.

— Да ведь только забежала,— говорил другой голос.— Отдай, говорю. А то что же мучаешь и скотину и ребят без молока.

— Заплати или отработай,— отвечал спокойный голос приказчика.

Нехлюдов вышел из сада и подошел к крыльцу, у которого стояли две растрепанные бабы, из которых одна, очевидно, была на сносе беременна. На ступеньках крыльца, сложив руки в карманы парусинного пальто, стоял приказчик. Увидав барина, бабы замолчали и стали оправлять сбившиеся платки на головах, а приказчик вынул руки из карманов и стал улыбаться.

Дело было в том, что мужики, как это говорил приказчик, нарочно пускали своих телят и даже коров на барский луг. И вот две коровы из дворов этих баб были пойманы в лугу и загнаны. Приказчик требовал с баб по тридцать копеек с коровы или два дня отработки. Бабы же утверждали, во-первых, что коровы их только зашли, во-вторых, что денег у них нет, и, в-третьих, хотя бы и за обещание отработки, требовали немедленного возвращения коров, стоявших с утра на варке без корма и жалобно мычавших.

— Сколько честью просил,— говорил улыбающийся приказ-

чик, оглядываясь на Нехлюдова, как бы призывая его в свидетели,— если пригоняете в обед, так смотрите за своей скотиной.

— Только побежала к малому, а они ушли.

— А не уходи, коли взялась стеречь.

— А малого кто накормит? Ты ему сиську не дашь.

— Добро бы вправду потравила луга, и живот бы не болел, а то только зашла,— говорила другая.

— Все луга стравили,— обращался приказчик к Нехлюдову.— Если не взыскивать, ничего сена не будет.

— Эх, не греши,— закричала беременная.— Мои никогда не попадались.

— Ну, а попались, отдай или отработай.

— Ну, и отработаю, отпусти корову-то, не мори голодом! — злобно прокричала она.— И так ни дня, ни ночи отдыха нет. Свекровь больная. Муж закатился. Одна поспеваю во все концы, а силы нет. Подавись ты отработкой своей.

Нехлюдов попросил приказчика отпустить коров, а сам ушел опять в сад додумывать свою думу, но думать теперь уже нечего было. Все это было ему теперь так ясно, что он не мог достаточно удивляться тому, как люди не видят и он сам так долго не видел того, что так очевидно ясно.

«Народ вымирает, привык к своему вымиранию, среди него образовались приемы жизни, свойственные вымиранию,— умирание детей, сверхсильная работа женщин, недостаток пищи для всех, особенно для стариков. И так понемногу приходил народ в это положение, что он сам не видит всего ужаса его и не жалуется на него. А потому и мы считаем, что положение это естественно и таким и должно быть». Теперь ему было ясно, как день, что главная причина народной нужды, сознаваемая и всегда выставляемая самим народом, состояла в том, что у народа была отнята землевладельцами та земля, с которой одной он мог кормиться. А между тем ясно совершенно, что дети и старые люди мрут оттого, что у них нет молока, а нет молока потому, что нет земли, чтобы пасти скотину и собирать хлеб и сено. Совершенно ясно, что все бедствие народа или, по крайней мере, главная, ближайшая причина бедствия народа в том, что земля, которая кормит его, не в его руках, а в руках людей, которые, пользуясь этим правом на землю, живут трудами этого народа. Земля же, которая так необходима ему, что люди мрут от отсутствия ее, обрабатывается этими же доведенными до крайней нужды людьми для того, чтобы хлеб с нее продавался за границу и владельцы земли могли бы покупать себе шляпы, трости, коляски, бронзы и т. п. Это было ему теперь так же ясно, как ясно было то, что лошади, запертые в ограде, в которой они съели всю траву под ногами, будут худы и будут мереть

от голода, пока им не дадут возможности пользоваться той землей, на которой они могут найти себе корм... И это ужасно и никак не может и не должно быть. И надо найти средства, для того чтобы этого не было, или, по крайней мере, самому не участвовать в этом. «И я непременно найду их,— думал он, ходя взад и вперед по ближайшей березовой аллее.— В ученых обществах, правительственных учреждениях и газетах толкуем о причинах бедности народа и средствах поднятия его, только не о том одном несомненном средстве, которое наверное поднимет народ и состоит в том, чтобы перестать отнимать у него необходимую ему землю.— И он живо вспомнил основные положения Генри Джорджа и свое увлечение им и удивлялся на то, как он мог забыть все это.— Не может земля быть предметом собственности, не может она быть предметом купли и продажи, как вода, как воздух, как лучи солнца. Все имеют одинаковое право на землю и на все преимущества, которые она дает людям». И он понял теперь, почему ему было стыдно вспоминать свое устройство дел в Кузминском. Он обманывал сам себя. Зная, что человек не может иметь права на землю, он признал это право за собой и подарил крестьянам часть того, на что он знал в глубине души, что не имел права. Теперь он не сделает этого и изменит то, что он сделал в Кузминском. И он составил в голове своей проект, состоящий в том, чтобы отдать землю крестьянам внаем за ренту, а ренту признать собственностью этих же крестьян, с тем чтобы они платили эти деньги и употребляли их на подати и на дела общественные. Это не было Single-tax [1], но было наиболее возможное при теперешнем порядке приближение к ней. Главное же было то, что он отказывался от пользования правом земельной собственности.

Когда он пришел в дом, приказчик, особенно радостно улыбаясь, предложил обедать, выражая опасение, чтобы не переварилось и не пережарилось приготовленное его женой с помощью девицы с пушками угощение.

Стол был накрыт суровой скатерью, вышитое полотенце было вместо салфетки, и на столе в vieux-saxe [2], с отбитой ручкой суповой чашке, был картофельный суп с тем самым петухом, который выставлял то одну, то другую черную ногу и теперь был разрезан, даже разрублен на куски, во многих местах покрытые волосами. После супа был тот же петух с поджаренными волосами и творожники с большим количеством масла и сахара. Как ни мало вкусно все это было, Нехлюдов ел, не замечая того, что́ ест: так он был занят своею мыслью, сразу разрешившую ту тоску, с которой он пришел с деревни.

[1] единый налог *(англ.)*.

[2] старинном саксонском фарфоре *(франц.)*.

Жена приказчика выглядывала из двери, в то время как испуганная девушка с пушками подавала блюдо, а сам приказчик, гордясь искусством своей жены, все более и более радостно улыбался.

После обеда Нехлюдов с усилием усадил приказчика и, для того чтобы проверить себя и вместе с тем высказать кому-нибудь то, что его так занимало, передал ему свой проект отдачи земли крестьянам и спрашивал его мнение об этом. Приказчик улыбался, делая вид, что он это самое давно думал и очень рад слышать, но, в сущности, ничего не понимал, очевидно не оттого, что Нехлюдов неясно выражался, но оттого, что по этому проекту выходило то, что Нехлюдов отказывался от своей выгоды для выгоды других, а между тем истина о том, что всякий человек заботится только о своей выгоде в ущерб выгоде других людей, так укоренилась в сознании приказчика, что он предполагал, что чего-нибудь не понимает, когда Нехлюдов говорил о том, что весь доход с земли должен поступать в общественный капитал крестьян.

— Понял. Вы, значит, процент с этого капитала будете получать? — сказал он, совсем просияв.

— Да нет же. Вы поймите, что земля не может быть предметом собственности отдельных лиц.

— Это верно!

— И все то, что дает земля, поэтому принадлежит всем.

— Так ведь дохода вам уже не будет? — спросил, перестав улыбаться, приказчик.

— Да я и отказываюсь.

Приказчик тяжело вздохнул и потом опять стал улыбаться. Теперь он понял. Он понял, что Нехлюдов человек не вполне здравый, и тотчас же начал искать в проекте Нехлюдова, отказывавшегося от земли, возможность личной пользы и непременно хотел понять проект так, чтобы ему можно было воспользоваться отдаваемой землей.

Когда же он понял, что и это невозможно, он огорчился и перестал интересоваться проектом, и только для того, чтобы угодить хозяину, продолжал улыбаться. Видя, что приказчик не понимает его, Нехлюдов отпустил его, а сам сел за изрезанный и залитый чернилами стол и занялся изложением на бумаге своего проекта.

Солнце спустилось уже за только что распустившиеся липы, и комары роями влетали в горницу и жалили Нехлюдова. Когда он в одно и то же время кончил свою записку и услыхал из деревни доносившиеся звуки блеяния стада, скрипа отворяющихся ворот и говора мужиков, собравшихся на сходке, Нехлюдов сказал приказчику, что не надо мужиков звать к конторе, а что он сам пойдет в деревню, к тому двору, где они соберутся. Выпив наскоро предложенный приказчиком стакан чаю, Нехлюдов пошел на деревню.

Над толпой у двора старосты стоял говор, но как только Нехлюдов подошел, говор утих, и крестьяне, так же как и в Кузминском, все друг за другом поснимали шапки. Крестьяне этой местности были гораздо серее крестьян Кузминского; как девки и бабы носили пушки в ушах, так и мужики были почти все в лаптях и в самодельных рубахах и кафтанах. Некоторые были босые, в одних рубахах, как пришли с работы.

Нехлюдов сделал усилие над собой и начал свою речь тем, что объявил мужикам о своем намерении отдать им землю совсем. Мужики молчали, и в выражении их лиц не произошло никакого изменения.

— Потому что я считаю,— краснея, говорил Нехлюдов,— что землею не должно владеть тому, кто на ней не работает, и что каждый имеет право пользоваться землею.

— Известное дело. Это так точно, как есть,— послышались голоса мужиков.

Нехлюдов продолжал говорить о том, как доход земли должен быть распределен между всеми, и потому он предлагает им взять землю и платить за нее цену, какую они назначат, в общественный капитал, которым они же будут пользоваться. Продолжали слышаться слова одобрения и согласия, но серьезные лица крестьян становились все серьезнее и серьезнее, и глаза, смотревшие прежде на барина, опускались вниз, как бы не желая стыдить его в том, что хитрость его понята всеми и он никого не обманет.

Нехлюдов говорил довольно ясно, и мужики были люди понятливые; но его не понимали и не могли понять по той самой причине, по которой приказчик долго не понимал. Они были несомненно убеждены в том, что всякому человеку свойственно соблюдать свою выгоду. Про помещиков же они давно уже по опыту нескольких поколений знали, что помещик всегда соблюдает свою выгоду в ущерб крестьянам. И потому, если помещик призывает их и предлагает что-то новое, то, очевидно, для того, чтобы как-нибудь еще хитрее обмануть их.

— Ну, что же, по скольку вы думаете обложить землю? — спросил Нехлюдов.

— Что же нам обкладывать? Мы этого не можем. Земля ваша и власть ваша,— отвечали из толпы.

— Да нет, вы сами будете пользоваться этими деньгами на общественные нужды.

— Мы этого не можем. Общество сама собой, а это опять сама собой.

— Вы поймите,— желая разъяснить дело, улыбаясь, сказал

пришедший за Нехлюдовым приказчик,— что князь отдает вам землю за деньги, а деньги эти самые опять в ваш же капитал, на общество отдаются.

— Мы очень хорошо понимаем,— сказал беззубый сердитый старик, не поднимая глаз.— Вроде как у банке, только мы платить должны у срок. Мы этого не желаем, потому и так нам тяжело, а то, значит, вовсе разориться.

— Ни к чему это. Мы лучше по-прежнему,— заговорили недовольные и даже грубые голоса.

Особенно горячо стали отказываться, когда Нехлюдов упомянул о том, что составит условие, в котором подпишется он, и они должны будут подписаться.

— Что ж подписываться? Мы так, как работали, так и будем работать. А это к чему ж? Мы люди темные.

— Не согласны, потому дело непривычное. Как было, так и пускай будет. Семена бы только отменить,— послышались голоса.

Отменить семена значило то, что при теперешнем порядке семена на испольный посев полагались крестьянские, а они просили, чтобы семена были господские.

— Вы, стало быть, отказываетесь, не хотите взять землю? — спросил Нехлюдов, обращаясь к нестарому, с сияющим лицом босому крестьянину в оборванном кафтане, который держал особенно прямо на согнутой левой руке свою разорванную шапку так, как держат солдаты свои шапки, когда по команде снимают их.

— Так точно,— проговорил этот, очевидно еще не освободившийся от гипнотизма солдатства, крестьянин.

— Стало быть, у вас достаточно земли? — сказал Нехлюдов.

— Никак нет-с,— отвечал с искусственно-веселым видом бывший солдат, старательно держа перед собою свою разорванную шапку, как будто предлагая ее всякому желающему воспользоваться ею.

— Ну, все-таки вы обдумайте то, что я сказал вам,— говорил удивленный Нехлюдов и повторил свое предложение.

— Нам нечего думать: как сказали, так и будет,— сердито проговорил беззубый мрачный старик.

— Я завтра пробуду здесь день,— если передумаете, то пришлите ко мне сказать.

Мужики ничего не ответили.

Так ничего и не мог добиться Нехлюдов и пошел назад в контору.

— А я вам доложу, князь,— сказал приказчик, когда они вернулись домой,— что вы с ними не столкуетесь; народ упрямый. А как только он на сходке — он уперся, и не сдвинешь его. Потому, всего боится. Ведь эти самые мужики, хотя бы тот седой или

черноватый, что не соглашался,— мужики умные. Когда придет в контору, посадишь его чай пить,— улыбаясь, говорил приказчик,— разговоришься — ума палата, министр,— все обсудит, как должно. А на сходке совсем другой человек, заладит одно...

— Так нельзя ли позвать сюда таких самых понятливых крестьян, несколько человек,— сказал Нехлюдов,— я бы им подробно растолковал.

— Это можно,— сказал улыбающийся приказчик.

— Так вот, пожалуйста, позовите к завтрему.

— Это все возможно, на завтра соберу,— сказал приказчик и еще радостнее улыбнулся.

— Ишь ловкий какой! — говорил раскачивавшийся на сытой кобыле черный мужик с лохматой, никогда не расчесываемой бородой ехавшему с ним рядом и звеневшему железными путами другому, старому худому мужику в прорванном кафтане.

Мужики ехали в ночное кормить лошадей на большой дороге и тайком в барском лесу.

— Даром землю отдам, только подпишись. Мало они нашего брата околпачивали. Нет, брат, шалишь, нынче мы и сами понимать стали,— добавил он и стал подзывать отбившегося стригунажеребенка.— Копяш, копяш! — кричал он, остановив лошадь и оглядываясь назад, но стригун был не назади, а сбоку,— ушел в луга.

— Вишь, повадился, сукин кот, в барские луга,— проговорил черный мужик с лохматой бородой, услыхав треск конского щавеля, по которому с ржанием скакал из росистых, хорошо пахнувших болотом лугов отставший стригун.

— Слышь, зарастают луга, надо будет праздником бабенок послать испольные прополоть,— сказал худой мужик в прорванном кафтане,— а то косы порвешь.

— Подпишись, говорит,— продолжал лохматый мужик свое суждение о речи барина.— Подпишись, он тебя живого проглотит.

— Это как есть,— ответил старый.

И они ничего больше не говорили. Слышен был только топот лошадиных ног по жесткой дороге.

VIII

Вернувшись домой, Нехлюдов нашел в приготовленной для его ночлега конторе высокую постель с пуховиками, двумя подушками и красным-бордо двуспальным шелковым, мелко и узорно стеганным, негнувшимся одеялом — очевидно, приданое приказ-

чицы. Приказчик предложил Нехлюдову остатки обеда, но, получив отказ и извинившись за плохое угощение и убранство, удалился, оставив Нехлюдова одного.

Отказ крестьян нисколько не смутил Нехлюдова. Напротив, несмотря на то, что там, в Кузминском, его предложение приняли и все время благодарили, а здесь ему выказали недоверие и даже враждебность, он чувствовал себя спокойным и радостным. В конторе было душно и нечисто. Нехлюдов вышел на двор и хотел идти в сад, но вспомнил ту ночь, окно в девичьей, заднее крыльцо — и ему неприятно было ходить по местам, осквернённым преступными воспоминаниями. Он сел опять на крылечко и, вдыхая в себя наполнивший теплый воздух крепкий запах молодого березового листа, долго глядел на темневший сад и слушал мельницу, соловьев и еще какую-то птицу, однообразно свистевшую в кусте у самого крыльца. В окне приказчика потушили огонь, на востоке, из-за сарая, зажглось зарево поднимающегося месяца, зарницы все светлее и светлее стали озарять заросший цветущий сад и разваливающийся дом, послышался дальний гром, и треть неба задвинулась черною тучею. Соловьи и птицы замолкли. Из-за шума воды на мельнице послышалось гоготание гусей, а потом на деревне и на дворе приказчика стали перекликаться ранние петухи, как они обыкновенно раньше времени кричат в жаркие грозовые ночи. Есть поговорка, что петухи кричат рано к веселой ночи. Для Нехлюдова эта ночь была более чем веселая. Это была для него радостная, счастливая ночь. Воображение возобновило перед ним впечатления того счастливого лета, которое он провел здесь невинным юношей, и он почувствовал себя теперь таким, каким он был не только тогда, но и во все лучшие минуты своей жизни. Он не только вспомнил, но почувствовал себя таким, каким он был тогда, когда он четырнадцатилетним мальчиком молился богу, чтобы бог открыл ему истину, когда плакал ребенком на коленях матери, расставаясь с ней и обещаясь ей быть всегда добрым и никогда не огорчать ее,— почувствовал себя таким, каким он был, когда они с Николенькой Иртеневым решали, что будут всегда поддерживать друг друга в доброй жизни и будут стараться сделать всех людей счастливыми.

Он вспомнил теперь, как в Кузминском на него нашло искушение и он стал жалеть и дом, и лес, и хозяйство, и землю, и спросил себя теперь: жалеет ли он? И ему даже страшно было, что он мог жалеть. Он вспомнил все, что он видел нынче: и женщину с детьми без мужа, посаженного в острог за порубку в его, нехлюдовском лесу, и ужасную Матрену, считавшую или, по крайней мере, говорившую, что женщины их состояния должны отдаваться в любовницы господам; вспомнил отношение ее к детям, приемы

отвоза их в воспитательный дом, и этот несчастный, старческий, улыбающийся, умирающий от недокорма ребенок в скуфеечке; вспомнил эту беременную, слабую женщину, которую должны были заставить работать на него за то, что она, измученная трудами, не усмотрела за своей голодной коровой. И тут же вспомнил острог, бритые головы, камеры, отвратительный запах, цепи и рядом с этим — безумную роскошь своей и всей городской, столичной, господской жизни. Все было совсем ясно и несомненно.

Светлый месяц, почти полный, вышел из-за сарая, и через двор легли черные тени, и заблестело железо на крыше разрушающегося дома.

И как будто не желая пропустить этот свет, замолкший соловей засвистал и защелкал из сада.

Нехлюдов вспомнил, как он в Кузминском стал обдумывать свою жизнь, решать вопросы о том, что и как он будет делать, и вспомнил, как он запутался в этих вопросах и не мог решить их: столько было соображений по каждому вопросу. Он теперь задал себе эти вопросы и удивился, как все было просто. Было просто потому, что он теперь не думал о том, что с ним произойдет, и его даже не интересовало это, а думал только о том, что он должен делать. И удивительное дело, что нужно для себя, он ничего не мог решить, а что нужно делать для других, он знал несомненно. Он знал теперь несомненно, что надо было отдать землю крестьянам, потому что удерживать ее было дурно. Знал несомненно, что нужно было не оставлять Катюшу, помогать ей, быть готовым на все, чтобы искупить свою вину перед ней. Знал несомненно, что нужно было изучить, разобрать, уяснить себе, понять все эти дела судов и наказаний, в которых он чувствовал, что видит что-то такое, чего не видят другие. Что выйдет из всего этого — он не знал, но знал несомненно, что и то, и другое, и третье ему необходимо нужно делать. И эта твердая уверенность была радостна ему.

Черная туча совсем надвинулась, и стали видны уже не зарницы, а молнии, освещавшие весь двор и разрушающийся дом с отломанными крыльцами, и гром послышался уже над головой. Все птицы притихли, но зато зашелестили листья, и ветер добежал до крыльца, на котором сидел Нехлюдов, шевеля его волосами. Долетела одна капля, другая, забарабанило по лопухам, железу крыши, и ярко вспыхнул весь воздух; все затихло, и не успел Нехлюдов сосчитать три, как страшно треснуло что-то над самой головой и раскатилось по небу.

Нехлюдов вошел в дом.

«Да, да,— думал он.— Дело, которое делается нашей жизнью, все дело, весь смысл этого дела не понятен и не может быть понятен мне: зачем были тетушки; зачем Николенька Иртенев умер,

а я живу? Зачем была Катюша? И мое сумасшествие? Зачем была эта война? И вся моя последующая беспутная жизнь? Все это понять, понять все дело хозяина — не в моей власти. Но делать его волю, написанную в моей совести,— это в моей власти, и это я знаю несомненно. И когда делаю, несомненно спокоен».

Дождик шел уже ливнем и стекал с крыш, журча, в кадушку; молния реже освещала двор и дом. Нехлюдов вернулся в горницу, разделся и лег в постель не без опасения о клопах, присутствие которых заставляли подозревать оторванные грязные бумажки стен.

«Да, чувствовать себя не хозяином, а слугой»,— думал он и радовался этой мысли.

Опасения его оправдались. Только что он потушил свечу, его, облипая, стали кусать насекомые.

«Отдать землю, ехать в Сибирь,— блохи, клопы, нечистота... Ну, что ж, коли надо нести это — понесу». Но, несмотря на все желание, он не мог вынести этого и сел у открытого окна, любуясь на убегающую тучу и на открывшийся опять месяц.

IX

К утру только Нехлюдов заснул и потом на другой день проснулся поздно.

В полдень семь выбранных мужиков, приглашенных приказчиком, пришли в яблочный сад под яблони, где у приказчика был устроен на столбиках, вбитых в землю, столик и лавочки. Довольно долго крестьян уговаривали надеть шапки и сесть на лавки. Особенно упорно держал перед собой, по правилу, как держат «на погребенье», свою разорванную шапку бывший солдат, обутый нынче в чистые онучи и лапти. Когда же один из них, почтенного вида широкий старец, с завитками полуседой бороды, как у Моисея Микеланджело, и седыми густыми вьющимися волосами вокруг загорелого и оголившегося коричневого лба, надел свою большую шапку и, запахивая новый домодельный кафтан, пролез на лавку и сел, остальные последовали его примеру.

Когда все разместились, Нехлюдов сел против них и, облокотившись на стол над бумагой, в которой у него был написан конспект проекта, начал излагать его.

Потому ли, что крестьян было меньше, или потому, что он был занят не собой, а делом, Нехлюдов в этот раз не чувствовал никакого смущения. Невольно он обращался преимущественно к широкому старцу с белыми завитками бороды, ожидая от него одобрения или возражения. Но представление, составленное о нем Нехлюдовым, было ошибочное. Благообразный старец, хотя и ки-

вал одобрительно своей красивой патриархальной головой или встряхивал ею, хмурясь, когда другие возражали, очевидно, с большим трудом понимал то, что говорил Нехлюдов, и то только тогда, когда это же пересказывали на своем языке другие крестьяне. Гораздо более понимал слова Нехлюдова сидевший рядом с патриархальным старцем маленький, кривой на один глаз, одетый в платанную нанковую поддевку и старые, сбитые на сторону сапоги, почти безбородый старичок — печник, как узнал потом Нехлюдов. Человек этот быстро водил бровями, делая усилия внимания, и тотчас же пересказывал по-своему то, что говорил Нехлюдов. Так же быстро понимал и невысокий коренастый старик с белой бородой и блестящими умными глазами, который пользовался всяким случаем, чтобы вставлять шутливые, иронические замечания на слова Нехлюдова, и, очевидно, щеголял этим. Бывший солдат тоже, казалось, мог бы понимать дело, если бы не был одурен солдатством и не путался в привычках бессмысленной солдатской речи. Серьезнее всех относился к делу говоривший густым басом длинноносый с маленькой бородкой высокий человек, одетый в чистое домодельное платье и в новые лапти. Человек этот все понимал и говорил только тогда, когда это нужно было. Остальные два старика, один — тот самый беззубый, который вчера на сходке кричал решительный отказ на все предложения Нехлюдова, и другой — высокий, белый, хромой старик с добродушным лицом, в бахилках и туго умотанных белыми онучами худых ногах, оба почти все время молчали, хотя и внимательно слушали.

Нехлюдов прежде всего высказал свой взгляд на земельную собственность.

— Землю, по-моему,— сказал он,— нельзя ни продавать, ни покупать, потому что если можно продавать ее, то те, у кого есть деньги, скупят ее всю и тогда будут брать с тех, у кого нет земли, что хотят, за право пользоваться землею. Будут брать деньги за то, чтобы стоять на земле,— прибавил он, пользуясь аргументом Спенсера.

— Одно средство — крылья подвязать — летать,— сказал старик с смеющимися глазами и белой бородой.

— Это верно,— сказал густым басом длинноносый.

— Так точно,— сказал бывший солдат.

— Бабенка травы коровепке нарвала, поймали — в острог,— сказал хромой добродушный старик.

— Земли свои за пять верст, а нанять — приступу нет, взнесли цену так, что не оправдаешь,— прибавил беззубый сердитый старик,— веревки вьют из нас, как хотят, хуже барщины.

— Я так же думаю, как и вы,— сказал Нехлюдов,— и считаю грехом владеть землею. И вот хочу отдать ее.

— Что ж, дело доброе,— сказал старец с Моисеевыми завитками, очевидно подразумевая то, что Нехлюдов хочет отдать ее внаймы.

— Я затем и приехал: я не хочу больше владеть землею; да вот надо обдумать, как с нею разделаться.

— Да отдай мужикам, вот и все,— сказал беззубый сердитый старик.

Нехлюдов смутился в первую минуту, почувствовав в этих словах сомнение в искренности своего намерения. Но он тотчас же оправился и воспользовался этим замечанием, чтобы высказать то, что имел сказать.

— И рад бы отдать,— сказал он,— да кому и как? Каким мужикам? Почему вашему обществу, а не Деминскому? (Это было соседнее село с нищенским наделом.)

Все молчали. Только бывший солдат сказал:

— Так точно.

— Ну, вот,— сказал Нехлюдов,— вы мне скажите, если бы царь сказал, чтобы землю отобрать от помещиков и раздать крестьянам...

— А разве слушок есть? — спросил тот же старик.

— Нет, от царя ничего нет. Я просто от себя говорю: что если бы царь сказал: отобрать от помещиков землю и отдать мужикам,— как бы вы сделали?

— Как сделали? Разделили бы всю по душам всем поровну, что мужику, что барину,— сказал печник, быстро поднимая и опуская брови.

— А то как же? Разделить по душам,— подтвердил добродушный хромой старик в белых онучах.

Все подтвердили это решение, считая его удовлетворительным.

— Как же по душам? — спросил Нехлюдов.— Дворовым тоже разделить?

— Никак нет,— сказал бывший солдат, стараясь изобразить веселую бодрость на своем лице.

Но рассудительный высокий крестьянин не согласился с ним.

— Делить — так всем поровну,— подумавши, ответил он своим густым басом.

— Нельзя,— сказал Нехлюдов, уже вперед приготовив свое возражение.— Если всем разделить поровну, то все те, кто сами не работают, не пашут,— господа, лакеи, повара, чиновники, писцы, все городские люди,— возьмут свои паи да и продадут богатым. И опять у богачей соберется земля. А у тех, которые на своей доле, опять народится народ, а земля уже разобрана. Опять богачи заберут в руки тех, кому земля нужна.

— Так точно,— поспешно подтвердил солдат.

— Запретить, чтобы не продавали землю, а только кто сам пашет,— сказал печник, сердито перебивая солдата.

На это Нехлюдов возразил, что усмотреть нельзя, будет ли кто для себя пахать или для другого.

Тогда высокий рассудительный мужик предложил устроить так, чтобы всем артелью пахать.

— И кто пашет, на того и делить. А кто не пашет, тому ничего,— говорил он своим решительным басом.

На этот коммунистический проект у Нехлюдова аргументы тоже были готовы, и он возразил, что для этого надо, чтобы у всех были плуги, и лошади были бы одинаковые, и чтобы одни не отставали от других, или чтобы всё — и лошади, и плуги, и молотилки, и все хозяйство — было бы общее, а что для того, чтобы завести это, надо, чтобы все люди были согласны.

— Наш народ не согласишь ни в жизнь,— сказал сердитый старик.

— Сплошь драка пойдет,— сказал старик с белой бородой и смеющимися глазами.— Бабы друг дружке все глаза повыцарапают.

— Потом, как разделить землю по качеству,— сказал Нехлюдов.— За что одним будет чернозем, а другим глина да песок?

— А раздать делянками, чтобы всем поровну,— сказал печник.

На это Нехлюдов возразил, что дело идет не о дележе в одном обществе, а о дележе земли вообще по разным губерниям. Если землю даром отдать крестьянам, то за что же одни будут владеть хорошей, а другие плохой землей? Все захотят на хорошую землю.

— Так точно,— сказал солдат.

Остальные молчали.

— Так что это не так просто, как кажется,— сказал Нехлюдов.— И об этом не мы одни, а многие люди думают. И вот есть один американец, Джордж, так он вот как придумал. И я согласен с ним.

— Да ты хозяин, ты и отдай. Что тебе? Твоя воля,— сказал сердитый старик.

Перерыв этот смутил Нехлюдова; но, к удовольствию своему, он заметил, что и не он один был недоволен этим перерывом.

— Погоди, дядя Семен, дай он расскажет,— своим внушительным басом сказал рассудительный мужик.

Это ободрило Нехлюдова, и он стал объяснять им по Генри Джорджу проект единой подати.

— Земля ничья, божья,— начал он.

— Это так. Так точно,— отозвались несколько голосов.

— Вся земля — общая. Все имеют на нее равное право. Но есть земля лучше и хуже. И всякий желает взять хорошую. Как

же сделать, чтобы уравнять? А так, чтобы тот, кто будет владеть хорошей, платил бы тем, которые не владеют землею, то, что его земля стоит,— сам себе отвечал Нехлюдов.— А так как трудно распределить, кто кому должен платить, и так как на общественные нужды деньги собирать нужно, то и сделать так, чтобы тот, кто владеет землей, платил бы в общество на всякие нужды то, что его земля стоит. Так всем ровно будет. Хочешь владеть землей — плати за хорошую землю больше, за плохую меньше. А не хочешь владеть — ничего не платишь, а подать на общественные нужды за тебя будут платить те, кто землей владеет.

— Это правильно,— сказал печник, двигая бровями.— У кого лучше земля, тот больше плати.

— И голова же был этот Жоржа,— сказал представительный старец с завитками.

— Только бы плата была по силе,— сказал басом высокий, очевидно уже предвидя, к чему идет дело.

— А плата должна быть такая, чтобы было не дорого и не дешево... Если дорого, то не выплатят, и убытки будут, а если дешево, все станут покупать друг у друга, будут торговать землею. Вот это самое я хотел сделать у вас.

— Это правильно, это верно. Что ж, это ничего,— говорили мужики.

— Ну и голова,— повторял широкий старик с завитками.— Жоржа! А что вздумал.

— Ну, а как же, если я пожелаю взять земли? — сказал, улыбаясь, приказчик.

— Коли свободный есть участок, берите и работайте,— сказал Нехлюдов.

— Тебе зачем? Ты и так сыт,— сказал старик с смеющимися глазами.

На этом кончилось совещание.

Нехлюдов опять повторил свое предложение, но не требовал ответа теперь же, а советовал переговорить с обществом и тогда прийти и дать ответ ему.

Мужики сказали, что переговорят с обществом и дадут ответ, и, распрощавшись, ушли в возбужденном состоянии. По дороге долго слышался их громкий удаляющийся говор. И до позднего вечера гудели их голоса и допосились по реке от деревни.

На другой день мужики не работали, а обсуждали предложение барина. Общество разделилось на две партии: одна признавала выгодным и безопасным предложение барина, другая видела

в этом подвох, сущность которого она не могла понять и которого поэтому особенно боялась. На третий день, однако, все согласились принять предлагаемые условия и пришли к Нехлюдову объявить решение всего общества. На согласие это имело влияние высказанное одной старушкой, принятое стариками и уничтожающее всякое опасение в обмане объяснение поступка барина, состоящее в том, что барин стал о душе думать и поступает так для ее спасения. Объяснение это подтверждалось теми большими денежными милостынями, которые раздавал Нехлюдов во время своего пребывания в Панове. Денежные же милостыни, которые раздавал здесь Нехлюдов, были вызваны тем, что он здесь в первый раз узнал ту степень бедности и суровости жизни, до которой дошли крестьяне, и, пораженный этой бедностью, хотя и знал, что это неразумно, не мог не давать тех денег, которых у него теперь собралось в особенности много, так как он получил их и за проданный еще в прошлом году лес в Кузминском и еще задатки за продажу инвентаря.

Как только узнали, что барин просящим дает деньги, толпы народа, преимущественно баб, стали ходить к нему изо всей округи, выпрашивая помощи. Он решительно не знал, как быть с ними, чем руководиться в решении вопроса, сколько и кому дать. Он чувствовал, что не давать просящим и, очевидно, бедным людям денег, которых у него было много, нельзя было. Давать же случайно тем, которые просят, не имеет смысла. Единственное средство выйти из этого положения состояло в том, чтобы уехать. Это самое он и поспешил сделать.

В последний день своего пребывания в Панове Нехлюдов пошел в дом и занялся перебиранием оставшихся там вещей. Перебирая их, он в нижнем ящике старой тетушкиной шифоньерки красного дерева, с брюхом и бронзовыми кольцами в львиных головах, нашел много писем и среди них карточку, представлявшую группу: Софью Ивановну, Марью Ивановну, его самого студентом и Катюшу — чистую, свежую, красивую и жизнерадостную. Из всех вещей, бывших в доме, Нехлюдов взял только письма и это изображение. Остальное все он оставил мельнику, купившему за десятую часть цены, по ходатайству улыбающегося приказчика, на своз дом и всю мебель Панова.

Вспоминая теперь свое чувство сожаления к потере собственности, которое он испытал в Кузминском, Нехлюдов удивлялся на то, как мог он испытать это чувство; теперь он испытывал неперестающую радость освобождения и чувство новизны, подобное тому, которое должен испытывать путешественник, открывая новые земли.

X

Город особенно странно и по-новому в этот приезд поразил Нехлюдова. Он вечером, при зажженных фонарях, приехал с вокзала в свою квартиру. По всем комнатам еще пахло нафталином, а Аграфена Петровна и Корней — оба чувствовали себя измученными и недовольными и даже поссорились вследствие уборки вещей, употребление которых, казалось, состояло только в том, чтобы их развешивать, сушить и прятать. Комната Нехлюдова была не занята, но не убрана, и от сундуков проходы к ней были трудны, так что приезд Нехлюдова, очевидно, мешал тем делам, которые по какой-то странной инерции совершались в этой квартире. Все это так неприятно своим очевидным безумием, которого он когда-то был участником, показалось Нехлюдову после впечатлений деревенской нужды, что он решил переехать на другой же день в гостиницу, предоставив Аграфене Петровне убирать вещи, как она это считала нужным, до приезда сестры, которая распорядится окончательно всем тем, что было в доме.

Нехлюдов с утра вышел из дома, выбрал себе недалеко от острога в первых попавшихся, очень скромных и грязноватых меблированных комнатах помещение из двух номеров и, распорядившись о том, чтобы туда были перевезены отобранные им из дома вещи, пошел к адвокату.

На дворе было холодно. После гроз и дождей наступили те холода, которые обыкновенно бывают весной. Было так холодно и такой пронзительный ветер, что Нехлюдов озяб в легком пальто и все прибавлял шагу, стараясь согреться.

В его воспоминании были деревенские люди: женщины, дети, старики, бедность и измученность, которые он как будто теперь в первый раз увидал, в особенности улыбающийся старичок-младенец, сучащий безыкорными ножками,— и он невольно сравнивал с ними то, что было в городе. Проходя мимо лавок мясных, рыбных и готового платья, он был поражен — точно в первый раз увидел это — сытостью того огромного количества таких чистых и жирных лавочников, каких нет ни одного человека в деревне. Люди эти, очевидно, твердо были убеждены в том, что их старания обмануть людей, не знающих толка в их товаре, составляют не праздное, но очень полезное занятие. Такие же сытые были кучера с огромными задами и пуговицами на спине, такие же швейцары в фуражках, обшитых галунами, такие же горничные в фартуках и кудряшках и в особенности лихачи-извозчики с подбритыми затылками, сидевшие, развалясь, в своих пролетках, презрительно и развратно рассматривая проходящих. Во всех этих людях он невольно видел теперь тех самых деревенских людей,

лишенных земли и этим лишением согнанных в город. Одни из этих людей сумели воспользоваться городскими условиями и стали такие же, как и господа, и радовались своему положению, другие же стали в городе в еще худшие условия, чем в деревне, и были еще более жалки. Такими жалкими показались Нехлюдову те сапожники, которых он увидал работающих в окне одного подвала; такие же были худые, бледные, растрепанные прачки, худыми оголенными руками гладившие перед открытыми окнами, из которых валил мыльный пар. Такие же были два красильщика в фартуках и опорках на босу ногу, все от головы до пяток измазанные краской, встретившиеся Нехлюдову. В засученных выше локтя загорелых жилистых слабых руках они несли ведро краски и не переставая бранились. Лица были измученные и сердитые. Такие же лица были и у запыленных с черными лицами ломовых извозчиков, трясущихся на своих дрогах. Такие же были у оборванных опухших мужчин и женщин, с детьми стоявших на углах улиц и просивших милостыню. Такие же лица были видны в открытых окнах трактира, мимо которого пришлось пройти Нехлюдову. У грязных, уставленных бутылками и чайной посудой столиков, между которыми, раскачиваясь, сновали белые половые, сидели, крича и распевая, потные, покрасневшие люди с одурелыми лицами. Один сидел у окна, подняв брови и выставив губы, глядел перед собою, как будто стараясь вспомнить что-то.

«И зачем они все собрались тут?» — думал Нехлюдов, невольно вдыхая вместе с пылью, которую нес на него холодный ветер, везде распространенный запах прогорклого масла свежей краски.

На одной из улиц с ним поравнялся обоз ломовых, везущих какое-то железо и так страшно гремящих по неровной мостовой своим железом, что ему стало больно ушам и голове. Он прибавил шагу, чтобы обогнать обоз, когда вдруг из-за грохота железа услыхал свое имя. Он остановился и увидал немного впереди себя военного с остроконечными слепленными усами и с сияющим глянцевитым лицом, который, сидя на пролетке лихача, приветственно махал ему рукой, открывая улыбкой необыкновенно белые зубы.

— Нехлюдов! Ты ли?

Первое чувство Нехлюдова было удовольствие.

— А! Шенбок,— радостно проговорил он, но тотчас же понял, что радоваться совершенно было нечему.

Это был тот самый Шенбок, который тогда заезжал к тетушкам. Нехлюдов давно потерял его из вида, но слышал про него, что он, несмотря на свои долги, выйдя из полка и оставшись по кавалерии, все как-то держался какими-то средствами в мире богатых людей. Довольный, веселый вид подтверждал это.

— Вот хорошо-то, что поймал тебя! А то никого в городе нет. Ну, брат, а ты постарел,— говорил он, выходя из пролетки и расправляя плечи.— Я только по походке и узнал тебя. Ну, что ж, обедаем вместе? Где у вас тут кормят порядочно?

— Не знаю, успею ли,— отвечал Нехлюдов, думая только о том, как бы ему отделаться от товарища, не оскорбив его.— Ты зачем же здесь? — спросил он.

— Да дела, братец. Дела по опеке. Я опекун ведь. Управляю делами Саманова. Знаешь, богача. Он рамоли. А пятьдесят четыре тысячи десятин земли,— сказал он с какой-то особенной гордостью, точно он сам сделал все эти десятины.— Запущены дела были ужасно. Земля вся была по крестьянам. Они ничего не платили, недоимки было больше восьмидесяти тысяч. Я в один год все переменил и дал опеке на семьдесят процентов больше. А? — спросил он с гордостью.

Нехлюдов вспомнил, что слышал, как этот Шенбок именно потому, что он прожил все свое состояние и наделал неоплатных долгов, был по какой-то особенной протекции назначен опекуном над состоянием старого богача, проматывавшего свое состояние, и теперь, очевидно, жил этой опекой.

«Как бы отделаться от него, не обидев его?» — думал Нехлюдов, глядя на его глянцевитое, налитое лицо с нафиксатуаренными усами и слушая его добродушно-товарищескую болтовню о том, где хорошо кормят, и хвастовство о том, как он устроил дела опеки.

— Ну, так где же обедаем?

— Да мне некогда,— сказал Нехлюдов, глядя на часы.

— Так вот что. Вечером нынче скачки. Ты будешь?

— Нет, я не буду.

— Приезжай. Своих уж у меня нет. Но я держу за Гришиных лошадей. Помнишь? У него хорошая конюшня. Так вот приезжай, и поужинаем.

— И ужинать не могу,— улыбаясь, сказал Нехлюдов.

— Ну что ж это? Ты куда теперь? Хочешь, я довезу.

— Я к адвокату. Он тут за углом,— сказал Нехлюдов.

— А, да ведь ты что-то в остроге делаешь? Острожным ходатаем стал? Мне Корчагины говорили,— смеясь, заговорил Шенбок.— Они уже уехали. Что такое? Расскажи!

— Да, да, все это правда,— отвечал Нехлюдов,— что же рассказывать на улице!

— Ну да, ну да, ты ведь всегда чудак был. Так приедешь на скачки?

— Да нет, и не могу и не хочу. Ты, пожалуйста, не сердись.

— Вот, сердиться! Ты где стоишь? — спросил он, и вдруг

лицо его сделалось серьезно, глаза остановились, брови поднялись. Он, очевидно, хотел вспомнить, и Нехлюдов увидал в нем совершенно такое же тупое выражение, как у того человека с поднятыми бровями и оттопыренными губами, которое поразило его в окне трактира.

— Холодище-то какой! А?

— Да, да.

— Покупки у тебя? — обратился он к извозчику.

— Ну, так прощай; очень, очень рад, что встретил тебя,— сказал Шенбок и, пожав крепко руку Нехлюдову, вскочил в пролетку, махая перед глянцевитым лицом широкой рукой в новой белой замшевой перчатке и привычно улыбаясь своими необыкновенно белыми зубами.

«Неужели я был такой? — думал Нехлюдов, продолжая свой путь к адвокату.— Да, хоть не совсем такой, но хотел быть таким и думал, что так и проживу жизнь».

XI

Адвокат принял Нехлюдова не в очередь и тотчас разговорился о деле Меньшовых, которое он прочел, и был возмущен неосновательностью обвинения.

— Дело это возмутительное,— говорил он.— Очень вероятно, что поджог сделан самим владельцем для получения страховой премии, но дело в том, что виновность Меньшовых совершенно не доказана. Нет никаких улик. Это особенное усердие следователя и небрежность товарища прокурора. Только бы дело слушалось не в уезде, а здесь, и я ручаюсь за выигрыш, и гонорара не беру никакого. Ну-с, другое дело — прошение на высочайшее имя Федосии Бирюковой — написано; если поедете в Петербург, возьмите с собой, сами подайте и попросите. А то сделают запрос в министерство юстиции, там ответят так, чтобы скорее с рук долой, то есть отказать, и ничего не выйдет. А вы постарайтесь добраться до высших чинов.

— До государя? — спросил Нехлюдов.

Адвокат засмеялся.

— Это уж наивысшая — высочайшая инстанция. А высшая — значит секретаря при комиссии прошений или заведывающего. Ну-с, все теперь?

— Нет, вот мне еще пишут сектанты,— сказал Нехлюдов, вынимая из кармана письмо сектантов.— Это удивительное дело, если справедливо, что́ они пишут. Я нынче постараюсь увидать их и узнать, в чем дело.

— Вы, я вижу, сделались воронкой, горлышком, через которое выливаются все жалобы острога,— улыбаясь, сказал адвокат.— Слишком уж много, не осилите.

— Нет, да это поразительное дело,— сказал Нехлюдов и рассказал вкратце сущность дела: люди в деревне собирались читать Евангелие, пришло начальство и разогнало их. Следующее воскресенье опять собрались, тогда позвали урядника, составили акт, и их предали суду. Судебный следователь допрашивал, товарищ прокурора составил обвинительный акт, судебная палата утвердила обвинение, и их предали суду. Товарищ прокурора обвинял, на столе были вещественные доказательства — Евангелие, и их приговорили в ссылку.— Это что-то ужасное,— говорил Нехлюдов.— Неужели это правда?

— Что же вас тут удивляет?

— Да все; ну, я понимаю урядника, которому велено, но товарищ прокурора, который составлял акт, ведь он человек образованный.

— В этом-то и ошибка, что мы привыкли думать, что прокуратура, судейские вообще — это какие-то новые либеральные люди. Они и были когда-то такими, но теперь это совершенно другое. Это чиновники, озабоченные только двадцатым числом. Он получает жалованье, ему нужно побольше, и этим и ограничиваются все его принципы. Он кого хотите будет обвинять, судить, приговаривать.

— Да неужели существуют законы, по которым можно сослать человека за то, что он вместе с другими читает Евангелие?

— Не только сослать в места не столь отдаленные, но в каторгу, если только будет доказано, что, читая Евангелие, они позволили себе толковать его другим не так, как велено, и потому осуждали церковное толкование. Хула на православную веру при народе и по статье сто девяносто шестой — ссылка на поселение.

— Да не может быть.

— Я вам говорю. Я всегда говорю господам судейским,— продолжал адвокат,— что не могу без благодарности видеть их, потому что если я не в тюрьме, и вы тоже, и мы все, то только благодаря их доброте. А подвести каждого из нас к лишению особенных прав и местам не столь отдаленным — самое легкое дело.

— Но если так и все зависит от произвола прокурора и лиц, могущих применять и не применять закон, так зачем же суд?

Адвокат весело расхохотался.

— Вот какие вопросы вы задаете! Ну-с, это, батюшка, философия. Что ж, можно и об этом потолковать. Вот приезжайте в субботу. Встретите у меня ученых, литераторов, художников. Тогда и поговорим об общих вопросах,— сказал адвокат, с ирониче-

ским пафосом произнося слова: «общие вопросы».— С женой знакомы. Приезжайте.

— Да, постараюсь,— отвечал Нехлюдов, чувствуя, что он говорит неправду, и если о чем постарается, то только о том, чтобы не быть вечером у адвоката в среде собирающихся у него ученых, литераторов и художников.

Смех, которым ответил адвокат на замечание Нехлюдова о том, что суд не имеет значения, если судейские могут по своему произволу применять или не применять закон, и интонация, с которой он произнес слова: «философия» и «общие вопросы», показали Нехлюдову, как совершенно различно он и адвокат, и вероятно и друзья адвоката, смотрят на вещи и как, несмотря на все свое теперешнее удаление от прежних своих приятелей, как Шенбок, Нехлюдов еще гораздо дальше чувствует себя от адвоката и людей его круга.

XII

До острога было далеко, а было уже поздно, и потому Нехлюдов взял извозчика и поехал к острогу. На одной из улиц извозчик, человек средних лет, с умным и добродушным лицом, обратился к Нехлюдову и указал на огромный строящийся дом.

— Вон какой домина занесли,— сказал он, как будто он отчасти был виновником этой постройки и гордился этим.

Действительно, дом строился огромный и в каком-то сложном, необыкновенном стиле. Прочные леса из больших сосновых бревен, схваченных железными скрепами, окружали воздвигаемую постройку и отделяли ее от улицы тесовой оградой. По подмостям лесов сновали, как муравьи, забрызганные известью рабочие: одни клали, другие тесали камень, третьи вверх вносили тяжелые и вниз пустые носилки и кадушки.

Толстый и прекрасно одетый господин, вероятно архитектор, стоя у лесов, что-то указывая наверх, говорил почтительно слушающему владимирцу-рядчику. Из ворот мимо архитектора с рядчиком выезжали пустые и въезжали нагруженные подводы.

«И как они все уверены, и те, которые работают, так же как и те, которые заставляют их работать, что это так и должно быть, что, в то время как дома их брюхатые бабы работают непосильную работу и дети их в скуфеечках перед скорой голодной смертью старчески улыбаются, суча ножками, им должно строить этот глупый ненужный дворец какому-то глупому и ненужному человеку, одному из тех самых, которые разоряют и грабят их»,— думал Нехлюдов, глядя на этот дом.

— Да, дурацкий дом,— сказал он вслух свою мысль.

— Как дурацкий? — с обидой возразил извозчик. —Спасибо, народу работу дает, а не дурацкий.

— Да ведь работа ненужная.

— Стало быть, нужная, коли строят,— возразил извозчик,— народ кормится.

Нехлюдов замолчал, тем более что трудно было говорить от грохота колес. Недалеко от острога извозчик съехал с мостовой на шоссе, так что легко было говорить, и опять обратился к Нехлюдову.

— И что этого народа нынче в город валит — страсть,— сказал он, поворачиваясь на козлах и указывая Нехлюдову на артель деревенских рабочих с пилами, топорами, полушубками и мешками за плечами, шедших им навстречу.

— Разве больше, чем в прежние года? — спросил Нехлюдов.

— Куда! Нынче так набиваются во все места, что беда. Хозяева швыряются народом, как щепками. Везде полно.

— Отчего же это так?

— Размножилось. Деваться некуда.

— Так что же, что размножилось? Отчего же не остаются в деревне?

— Нечего в деревне делать. Земли нет.

Нехлюдов испытывал то, что бывает с ушибленным местом. Кажется, что, как нарочно, ударяешься все больным местом, а кажется это только потому, что только удары по больному месту заметны.

«Неужели везде то же самое?» — подумал он и стал расспрашивать извозчика о том, сколько в их деревне земли, и сколько у самого извозчика земли, и зачем он живет в городе.

— Земли у нас, барин, десятина на душу. Держим мы на три души,— охотно разговорился извозчик.— У меня дома отец, брат, другой в солдатах. Они управляются. Да управляться-то нечего. И то брат хотел в Москву уйти.

— А нельзя нанять земли?

— Где нынче нанять? Господишки, какие были, размотали свою. Купцы всю к рукам прибрали. У них не укупишь,— сами работают. У нас француз владеет, у прежнего барина купил. Не сдает — да и шабаш.

— Какой француз?

— Дюфар француз, может, слыхали. Он в большом театре на ахтерок парики делает. Дело хорошее, ну и нажился. У нашей барышни купил все имение. Теперь он нами владеет. Как хочет, так и ездит на нас. Спасибо, сам человек хороший. Только жена у него из русских,— такая-то собака, что не приведи бог. Грабит народ. Беда. Ну, вот и тюрьма. Вам куда, к подъезду? Не пущают, я чай.

С замиранием сердца и ужасом перед мыслью о том, в каком состоянии он нынче найдет Маслову, и той тайной, которая была для него в ней и в том соединении людей, которое было в остроге, позвонил Нехлюдов у главного входа и у вышедшего к нему надзирателя спросил про Маслову. Надзиратель справился и сказал, что она в больнице. Нехлюдов пошел в больницу. Добродушный старичок, больничный сторож, тотчас же впустил его и, узнав, кого ему нужно было видеть, направился в детское отделение.

Молодой доктор, весь пропитанный карболовой кислотой, вышел к Нехлюдову в коридор и строго спросил его, что ему нужно. Доктор этот делал всякие послабления арестантам и потому постоянно входил в неприятные столкновения с начальством тюрьмы и даже с старшим доктором. Опасаясь того, чтобы Нехлюдов не потребовал от него чего-нибудь незаконного, и, кроме того, желая показать, что он ни для каких лиц не делает исключений, он притворился сердитым.

— Здесь нет женщин — детские палаты,— сказал он.

— Я знаю, но здесь есть переведенная из тюрьмы сиделка-служанка.

— Да, есть тут две. Так что же вам угодно?

— Я близко стою к одной из них, к Масловой,— сказал Нехлюдов,— и вот желал бы видеть ее: я еду в Петербург для подачи кассационной жалобы по ее делу. И хотел передать вот это. Это только фотографическая карточка,— сказал Нехлюдов, вынимая из кармана конверт.

— Что ж, это можно,— сказал доктор, смягчившись, и, обратившись к старушке в белом фартуке, сказал, чтобы она позвала сиделку-арестантку Маслову.— Не хотите ли присесть, хоть пройти в приемную?

— Благодарю вас,— сказал Нехлюдов и, пользуясь благоприятной для себя переменой в докторе, спросил его о том, как довольны Масловой в больнице.

— Ничего, работает недурно, принимая во внимание условия, в которых она была,— сказал доктор.— Впрочем, вот и она.

Из одной двери вышла старушка сиделка и за нею Маслова. Она была в белом фартуке на полосатом платье; на голове была косынка, скрывавшая волосы. Увидав Нехлюдова, она вспыхнула, остановилась как бы в нерешительности, а потом нахмурилась и, опустив глаза, быстрыми шагами направилась к нему по полосушке коридора. Подошед к Нехлюдову, она хотела не подать руки, потом подала и еще больше покраснела. Нехлюдов не видал ее после того разговора, в котором она извинялась за свою горяч-

ность, и он теперь ожидал ее найти такою же, как тогда. Но нынче она была совсем другая, в выражении лица ее было что-то новое: сдержанное, застенчивое и, как показалось Нехлюдову, недоброжелательное к нему. Он сказал ей то же, что сказал доктору,— что едет в Петербург, и передал ей конверт с фотографией, которую он привез из Панова.

— Это я нашел в Панове, давнишняя фотография, может быть, вам приятно. Возьмите.

Она, приподняв черные брови, удивленно взглянула на него своими раскосыми глазами, как бы спрашивая, зачем это, и молча взяла конверт и положила его за фартук.

— Я видел там тетку вашу,— сказал Нехлюдов.

— Видели? — сказала она равнодушно.

— Хорошо ли вам здесь? — спросил Нехлюдов.

— Ничего, хорошо,— сказала она.

— Не слишком трудно?

— Нет, ничего. Я не привыкла еще.

— Я за вас очень рад. Все лучше, чем там.

— Чем где *там*? — сказала она, и лицо ее залилось румянцем.

— Там, в остроге,— поспешил сказать Нехлюдов.

— Чем же лучше? — спросила она.

— Я думаю, люди здесь лучше. Нет таких, какие там.

— Там много хороших,— сказала она.

— Об Меньшовых я хлопотал и надеюсь, что их освободят,— сказал Нехлюдов.

— Это дай бог, такая старушка чудесная,— сказала она, повторяя свое определение старушки, и слегка улыбнулась.

— Я нынче еду в Петербург. Дело ваше будет слушаться скоро, и я надеюсь, что решение отменят.

— Отменят, не отменят, теперь все равно,— сказала она.

— Отчего: теперь?

— Так,— сказала она, мельком вопросительно взглянув ему в лицо.

Нехлюдов понял это слово и этот взгляд так, что она хочет знать, держится ли он своего решения, или принял ее отказ и изменил его.

— Не знаю, отчего для вас все равно,— сказал он.— Но для меня действительно все равно: оправдают вас или нет. Я во всяком случае готов сделать, что говорил,— сказал он решительно.

Она подняла голову, и черные косящие глаза остановились и на его лице, и мимо него, и все лицо ее просияло радостью. Но она сказала совсем не то, что говорили ее глаза.

— Это вы напрасно говорите,— сказала она.

— Я говорю, чтобы вы знали.

— Про это все сказано, и говорить нечего,— сказала она, с трудом удерживая улыбку.

В палате что-то зашумели. Послышался детский плач.

— Меня зовут, кажется,— сказала она, беспокойно оглядываясь.

— Ну, так прощайте,— сказал он.

Она сделала вид, что не заметила протянутую руку, и, не пожав ее, повернулась и, стараясь скрыть свое торжество, быстрыми шагами ушла по полосушкам коридора.

«Что в ней происходит? Как она думает? Как она чувствует? Хочет ли она испытать меня, или действительно не может простить? Не может она сказать всего, что думает и чувствует, или не хочет? Смягчилась ли она, или озлобилась?» — спрашивал себя Нехлюдов и никак не мог ответить себе. Одно он знал — это то, что она изменилась и в ней шла важная для ее души перемена, и эта перемена соединяла его не только с нею, но и с тем, во имя кого совершалась эта перемена. И это-то соединение приводило его в радостно-возбужденное и умиленное состояние.

Вернувшись в палату, где стояло восемь детских кроваток, Маслова стала по приказанию сестры перестилать постель и, слишком далеко перегнувшись с простыней, поскользнулась и чуть не упала. Выздоравливающий, обвязанный по шее смотревший на нее мальчик засмеялся, и Маслова не могла уже больше удерживаться и, присев на кровать, закатилась громким и таким заразительным смехом, что несколько детей тоже расхохотались, а сестра сердито крикнула на нее:

— Что гогочешь? Думаешь, что ты там, где была! Иди за порциями.

Маслова замолчала и, взяв посуду, пошла, куда ее посылали, но, переглянувшись с обвязанным мальчиком, которому запрещено было смеяться, опять фыркнула. Несколько раз в продолжение дня, как только она оставалась одна, Маслова выдвигала карточку из конверта и любовалась ею; но только вечером после дежурства, оставшись одна в комнате, где они спали вдвоем с сиделкой, Маслова совсем вынула из конверта фотографию и долго неподвижно, лаская глазами всякую подробность и лиц, и одежд, и ступенек балкона, и кустов, на фоне которых вышли изображенные лица его, и ее, и тетушек, смотрела на выцветшую пожелтевшую карточку и не могла налюбоваться в особенности собою, своим молодым, красивым лицом с вьющимися вокруг лба волосами. Она так загляделась, что не заметила, как ее товарка-сиделка вошла в комнату.

— Это что ж? Он тебе дал? — сказала толстая добродушная сиделка, нагибаясь над фотографией.— Ужли ж ты это?

— А то кто ж? — улыбаясь, глядя на лицо товарки, проговорила Маслова.

— А это кто ж? Он самый? А это мать ему?

— Тетка. А разве не узнала бы? — спрашивала Маслова.

— Где узнать? Ни в жизнь не узпала бы. Совсем вся лицо другая. Ведь, я чай, лет десять с тех пор-то!

— Не года, а жизнь,— сказала Маслова, и вдруг все оживление ее прошло. Лицо стало унылое, и морщина врезалась между бровей.

— Чего ж, жизнь *там* легкая должна быть.

— Да, легкая,— повторила Маслова, закрыв глаза и качая головой.— Хуже каторги.

— Да чем же так?

— А тем же. От восьми вечера и до четырех утра. Это каждый день.

— Так отчего ж не бросают?

— И хотят бросить, да нельзя. Да что говорить! — проговорила Маслова, вскочила, швырнула фотографию в ящик столика и, насилу удерживая злые слезы, выбежала в коридор, хлопнув дверью. Глядя на фотографию, она чувствовала себя такой, какой она была изображена на ней, и мечтала о том, как она была счастлива тогда и могла бы еще быть счастлива с ним теперь. Слова товарки напомнили ей то, что она была теперь, и то, что она была там,— напомнили ей весь ужас той жизни, который она тогда смутно чувствовала, но не позволяла себе сознавать. Теперь только она живо вспомнила все эти ужасные ночи и особенно одну на масленице, когда ожидала студента, обещавшего выкупить ее. Вспомнила она, как она в открытом, залитом вином красном шелковом платье, с красным бантом в спутанных волосах, измученная, и ослабевшая, и опьяненная, проводив гостей к двум часам ночи, подсела в промежуток танцев к худой, костлявой, прыщеватой аккомпаньяторше скрипача и стала жаловаться ей на свою тяжелую жизнь, и как эта аккомпаньяторша тоже говорила, что тяготится своим положением и хочет переменить его, и как к ним подошла Клара, и как они вдруг решили все три бросить эту жизнь. Они думали, что нынешняя ночь кончена, и хотели расходиться, как вдруг зашумели в передней пьяные гости. Скрипач сыграл ритурнель, аккомпаньяторша заколотила на пьянино аккомпанемент развеселой русской песни первой фигуры кадрили; как маленький, потный, воняющий вином и икающий человечек в белом галстуке и фраке, который он снял во второй фигуре, подхватил ее, а другой толстяк с бородой, тоже во фраке (они

приехали с какого-то бала), подхватил Клару, и как они долго вертелись, плясали, кричали, пили... И так шло год, и два, и три. Как же не измениться! И причиной этого всего был он. И в ней вдруг поднялось опять прежнее озлобление к нему, захотелось бранить, упрекать его. Она жалела, что упустила случай нынче высказать ему еще раз то же, что она знает его и не поддастся ему, не позволит ему духовно воспользоваться ею, как он воспользовался ею телесно, не позволит ему сделать ее предметом своего великодушия. И чтобы как-нибудь затушить это мучительное чувство жалости к себе и бесполезного упрека ему, ей захотелось вина. И она не сдержала бы слова и выпила бы вина, если бы была в остроге. Здесь же достать вина нельзя было иначе, как у фельдшера, а фельдшера она боялась, потому что он приставал к ней. Отношения же с мужчинами были ей противны. Посидев на лавочке в коридоре, она вернулась в каморку и, не отвечая товарке, долго плакала над своей погубленной жизнью.

XIV

В Петербурге у Нехлюдова было три дела: кассационное прошение Масловой в сенате, дело Федосьи Бирюковой в комиссии прошений и, по поручению Веры Богодуховской, дело в жандармском управлении или в Третьем отделении об освобождении Шустовой и о свидании матери с сыном, содержащимся в крепости, о котором прислала ему записку Вера Богодуховская. Эти оба дела он считал за одно третье дело. И четвертое дело было дело сектантов, ссылаемых от своих семей на Кавказ за то, что они читали и толковали Евангелие. Он обещал не столько им, сколько себе сделать для разъяснения этого дела все, что только будет возможно.

Со времени своего последнего посещения Масленникова, в особенности после своей поездки в деревню, Нехлюдов не то что решил, но всем существом почувствовал отвращение к той своей среде, в которой он жил до сих пор, к той среде, где так старательно скрыты были страдания, несомые миллионами людей для обеспечения удобств и удовольствий малого числа, что люди этой среды не видят, не могут видеть этих страданий и потому жестокости и преступности своей жизни. Нехлюдов теперь уже не мог без неловкости и упрека самому себе общаться с людьми этой среды. А между тем в эту среду влекли его привычки его прошедшей жизни, влекли и родственные и дружеские отношения и, главное, то, что для того, чтобы делать то, что теперь одно занимало его: помочь и Масловой, и всем тем страдающим, которым он хотел

помочь, он должен был просить помощи и услуг от людей этой среды, не только не уважаемых, но часто вызывающих в нем негодование и презрение.

Приехав в Петербург и остановившись у своей тетки по матери, графини Чарской, жены бывшего министра, Нехлюдов сразу попал в самую сердцевину ставшего ему столь чуждым аристократического общества. Ему неприятно было это, а нельзя было поступить иначе. Остановиться не у тетушки, а в гостинице, значило обидеть ее, и между тем тетушка имела большие связи и могла быть в высшей степени полезна во всех тех делах, по которым он намеревался хлопотать.

— Ну, что я слышу про тебя? Какие-то чудеса,— говорила ему графиня Катерина Ивановна, поя его кофеем тотчас после его приезда.— Vous posez pour un Howard! [1] Помогаешь преступникам. Ездишь по тюрьмам. Исправляешь.

— Да нет, я и не думаю.

— Что ж, это хорошо. Только тут какая-то романическая история. Ну-ка, расскажи.

Нехлюдов рассказал свои отношения к Масловой — все, как было.

— Помню, помню, бедная Элен говорила мне что-то тогда, когда ты у тех старушек жил: они тебя, кажется, женить хотели на своей воспитаннице (графиня Катерина Ивановна всегда презирала теток Нехлюдова по отцу)... Так это она? Elle est encore jolie? [2]

Тетушка Катерина Ивановна была шестидесятилетняя здоровая, веселая, энергичная, болтливая женщина. Ростом она была высока и очень полная, на губе у нее были заметны черные усы. Нехлюдов любил ее и с детства еще привык заражаться ее энергиею и веселостью.

— Нет, ma tante [3], это все кончено. Мне только хотелось помочь ей, потому что, во-первых, она невинно осуждена, и я в этом виноват, виноват и во всей ее судьбе. Я чувствую себя обязанным сделать для нее, что могу.

— Но как же мне говорили, что ты хочешь жениться на ней?

— Да и хотел, но она не хочет.

Катерина Ивановна, выпятив лоб и опустив зрачки, удивленно и молча посмотрела на племянника. Вдруг лицо ее изменилось, и на нем выразилось удовольствие.

— Ну, она умнее тебя. Ах, какой ты дурак! И ты бы женился на ней?

---

[1] Ты разыгрываешь из себя Говарда! *(франц.)*
[2] Она еще красива? *(франц.)*
[3] тетушка *(франц.)*.

— Непременно.

— После того, что́ она была?

— Тем более. Ведь я всему виною.

— Нет, ты просто оболтус,— сказала тетушка, удерживая улыбку.— Ужасный оболтус, но я тебя именно за это люблю, что ты такой ужасный оболтус,— повторяла она, видимо особенно полюбив это слово, верно передававшее в ее глазах умственное и нравственное состояние ее племянника.— Ты знаешь, как это кстати,— продолжала она.— У Aline удивительный приют Магдалин. Я была раз. Они препротивные. Я потом все мылась. Но Aline corps et âme [1] занята этим. Так мы ее, твою, к ней отдадим. Уж если кто исправит, так это Aline.

— Да ведь она приговорена в каторгу. Я затем приехал, чтобы хлопотать об отмене этого решения. Это мое первое дело к вам.

— Вот как! Где же это дело об ней?

— В сенате.

— В сенате? Да, мой милый cousin Левушка в сенате. Да, впрочем, он в департаменте дураков — герольдии. Ну, а из настоящих я не знаю никого. Все это бог знает кто — или немцы: Ге, Фе, Де,— tout l'alphabet [2], или разные Ивановы, Семеновы, Никитины, или Иваненко, Симоненко, Никитенко, pour varier. Des gens de l'autre monde [3]. Ну, все-таки я скажу мужу. Он их знает. Он всяких людей знает. Я ему скажу. А ты ему растолкуй, а то он никогда меня не понимает. Что бы я ни говорила, он говорит, что ничего не понимает. C'est un parti pris [4]. Все понимают, только он не понимает.

В это время лакей в чулках принес на серебряном подносе письмо.

— Как раз от Aline. Вот ты и Кизеветера услышишь.

— Кто это — Кизеветер?

— Кизеветер? Вот приходи нынче. Ты и узнаешь, кто он такой. Он так говорит, что самые закоренелые преступники бросаются на колени и плачут и раскаиваются.

Графиня Катерина Ивановна, как это ни странно было и как ни мало это шло к ее характеру, была горячая сторонница того учения, по которому считалось, что сущность христианства заключается в вере в искупление. Она ездила на собрания, где проповедовалось это бывшее модным тогда учение, и собирала у себя верующих. Несмотря на то, что по этому учению отвергались не

---

[1] телом и душою *(франц.)*.

[2] весь алфавит *(франц.)*.

[3] для разнообразия. Люди другого общества *(франц.)*.

[4] Это у него заранее решено *(франц.)*.

только все обряды, иконы, но и таинства, у графини Катерины Ивановны во всех комнатах и даже над ее постелью были иконы, и она исполняла все требуемое церковью, не видя в этом никакого противоречия.

— Вот бы твоя Магдалина послушала его; она бы обратилась,— сказала графиня.— А ты непременно будь дома вечером. Ты услышишь его. Это удивительный человек.

— Мне это неинтересно, ma tante.

— А я тебе говорю, что интересно. И ты непременно приезжай. Ну, говори, еще что тебе от меня нужно? Videz votre sac [1].

— А еще дело в крепости.

— В крепости? Ну, туда я могу дать тебе записку к барону Кригсмуту. C'est un très brave homme [2]. Да ты сам его знаешь. Он с твоим отцом товарищ. Il donne dans le spiritisme [3]. Ну, да это ничего. Он добрый. Что же тебе там надо?

— Надо просить о том, чтобы разрешили свиданье матери с сыном, который там сидит. Но мне говорили, что это не от Кригсмута зависит, а от Червянского.

— Червянского я не люблю, но ведь это муж Mariette. Можно ее попросить. Она сделает для меня. Elle est très gentille [4].

— Надо просить еще об одной женщине. Она сидит несколько месяцев, и никто не знает за что.

— Ну нет, она-то сама наверно знает за что. Они очень хорошо знают. И им, этим стриженым, поделом.

— Мы не знаем, поделом или нет. А они страдают. Вы — христианка и верите Евангелию, а так безжалостны...

— Ничего это не мешает. Евангелие Евангелием, а что противно, то противно. Хуже будет, когда я буду притворяться, что люблю нигилистов и, главное, стриженых нигилисток, когда я их терпеть не могу.

— За что же вы их терпеть не можете?

— После Первого марта спрашиваешь за что?

— Да ведь не все ж участницы Первого марта.

— Все равно, зачем мешаются не в свое дело. Не женское это дело.

— Ну, да вот Mariette, вы находите, что может заниматься делами,— сказал Нехлюдов.

— Mariette? Mariette — Mariette. А это бог знает кто, Халтюпкина какая-то хочет всех учить.

— Не учить, а просто хотят помочь народу.

---

[1] Выкладывай все *(франц.)*.

[2] Это очень достойный человек *(франц.)*.

[3] Он увлекается спиритизмом *(франц.)*.

[4] Она очень мила *(франц.)*.

— Без них знают, кому надо и кому не надо помочь.

— Да ведь народ бедствует. Вот я сейчас из деревни приехал. Разве это надо, чтобы мужики работали из последних сил и не ели досыта, а чтобы мы жили в страшной роскоши,— говорил Нехлюдов, невольно добродушием тетушки вовлекаемый в желание высказать ей все, что он думал.

— А ты что ж хочешь, чтобы я работала и ничего не ела?

— Нет, я не хочу, чтоб вы не кушали,— невольно улыбаясь, отвечал Нехлюдов,— а хочу только, чтобы мы все работали и все кушали.

Тетушка, опять опустив лоб и зрачки, с любопытством уставилась на него.

— Mon cher, vous finirez mal [1],— сказала она.

— Да отчего же?

В это время в комнату вошел высокий, широкоплечий генерал. Это был муж графини Чарской, отставной министр.

— А, Дмитрий, здравствуй,— сказал он, подставляя ему свежевыбритую щеку.— Когда приехал?

Он молча поцеловал в лоб жену.

— Non, il est impayable [2],— обратилась графиня Катерина Ивановна к мужу.— Он мне велит идти на речку белье полоскать и есть один картофель. Он ужасный дурак, но все-таки ты ему сделай, что он тебя просит. Ужасный оболтус,— поправилась она.— А ты слышал: Каменская, говорят, в таком отчаянии, что боятся за ее жизнь,— обратилась она к мужу,— ты бы съездил к ней.

— Да, это ужасно,— сказал муж.

— Ну, идите с ним говорить, а мне нужно письма писать.

Только что Нехлюдов вышел в комнату подле гостиной, как она закричала ему оттуда:

— Так написать Mariette?

— Пожалуйста, ma tante.

— Так я оставлю en blanc [3], что тебе нужно о стриженой, а она уж велит своему мужу. И он сделает. Ты не думай, что я злая. Они все препротивные, твои protégées, но je ne leur veux pas de mal [4]. Бог с ними! Ну, ступай. А вечером непременно будь дома. Услышишь Кизеветера. И мы помолимся. И если ты только не будешь противиться, ça vous fera beaucoup de bien [5]. Я ведь знаю, и Элен и вы все очень отстали в этом. Так до свиданья.

---

[1] Мой дорогой, ты плохо кончишь *(франц.)*.

[2] Нет, он бесподобен *(франц.)*.

[3] пробел *(франц.)*.

[4] я им зла не желаю *(франц.)*.

[5] это тебе принесет большую пользу *(франц.)*.

XV

Граф Иван Михайлович был отставной министр и человек очень твердых убеждений.

Убеждения графа Ивана Михайловича с молодых лет состояли в том, что как птице свойственно питаться червяками, быть одетой перьями и пухом и летать по воздуху, так и ему свойственно питаться дорогими кушаньями, приготовленными дорогими поварами, быть одетым в самую покойную и дорогую одежду, ездить на самых покойных и быстрых лошадях, и что поэтому это все должно быть для него готово. Кроме того, граф Иван Михайлович считал, что чем больше у него будет получения всякого рода денег из казны, и чем больше будет орденов, до алмазных знаков чего-то включительно, и чем чаще он будет видеться и говорить с коронованными особами обоих полов, тем будет лучше. Все же остальное в сравнении с этими основными догматами граф Иван Михайлович считал ничтожным и неинтересным. Все остальное могло быть так или обратно совершенно. Соответственно этой вере граф Иван Михайлович жил и действовал в Петербурге в продолжение сорока лет и по истечении сорока лет достиг поста министра.

Главные качества графа Ивана Михайловича, посредством которых он достиг этого, состояли в том, что он, во-первых, умел понимать смысл написанных бумаг и законов, и хотя и нескладно, но умел составлять удобопонятные бумаги и писать их без орфографических ошибок; во-вторых, был чрезвычайно представителен и, где нужно было, мог являть вид не только гордости, но неприступности и величия, а где нужно было, мог быть подобострастен до страстности и подлости; в-третьих, в том, что у него не было никаких общих принципов или правил, ни лично нравственных, ни государственных, и что он поэтому со всеми мог быть согласен, когда это нужно было, и, когда это нужно было, мог быть со всеми не согласен. Поступая так, он старался только о том, чтобы был выдержан тон и не было явного противоречия самому себе, к тому же, нравственны или безнравственны его поступки сами по себе, и о том, произойдет ли от них величайшее благо или величайший вред для Российской империи или для всего мира, он был совершенно равнодушен.

Когда он сделался министром, не только все зависящие от него, а зависело от него очень много людей и приближенных,— но и все посторонние люди и он сам были уверены, что он очень умный государственный человек. Но когда прошло известное время, и он ничего не устроил, ничего не показал, и когда, по закону борьбы за существование, точно такие же, как и он, научившиеся

писать и понимать бумаги, представительные и беспринципные чиновники вытеснили его, и он должен был выйти в отставку, то всем стало ясно, что он был не только не особенно умный и не глубокомысленный человек, но очень ограниченный и малообразованный, хотя и очень самоуверенный человек, который едва-едва поднимался в своих взглядах до уровня передовых статей самых пошлых консервативных газет. Оказалось, что в нем ничего не было отличающего его от других малообразованных, самоуверенных чиновников, которые его вытеснили, и он сам понял это, но это нисколько не поколебало его убеждений о том, что он должен каждый год получать большое количество казенных денег и новые украшения для своего парадного наряда. Это убеждение было так сильно, что никто не решался отказать ему в этом, и он получал каждый год, в виде отчасти пенсии, отчасти вознаграждения за членство в высшем государственном учреждении и за председательство в разных комиссиях, комитетах, несколько десятков тысяч рублей и сверх того высоко ценимые им всякий год новые права на нашивку новых галунов на свои плечи или панталоны и на поддевание под фрак новых ленточек и эмалевых звездочек. Вследствие этого у графа Ивана Михайловича были большие связи.

Граф Иван Михайлович выслушал Нехлюдова так, как он, бывало, выслушивал доклады правителя дел, и, выслушав, сказал, что он даст ему две записки — одну к сенатору Вольфу, кассационного департамента.

— Говорят про него разное, но dans tous les cas c'est un homme très comme il faut [1],— сказал он.— И он мне обязан и сделает, что может.

Другую записку граф Иван Михайлович дал к влиятельному лицу в комиссии прошений. Дело Федосьи Бирюковой, как его рассказал ему Нехлюдов, очень заинтересовало его. Когда Нехлюдов сказал ему, что он хотел писать письмо императрице, он сказал, что действительно это дело очень трогательное и можно бы при случае рассказать это там. Но обещать он не мог. Пускай прошение пойдет своим порядком. А если будет случай, подумал он, если позовут на petit comitè [2] в четверг, он, может быть, скажет.

Получив обе записки от графа и записку к Mariette от тетушки, Нехлюдов тотчас же отправился по всем этим местам.

Прежде всего он направился к Mariette. Он знал ее девочкой-подростком небогатого аристократического семейства, знал, что

---

[1] во всяком случае, это человек вполне порядочный *(франц.)*.

[2] маленькое интимное собрание *(франц.)*.

она вышла за делавшего карьеру человека, про которого он слыхал нехорошие вещи, главное, слышал про его бессердечность к тем сотням и тысячам политических, мучать которых составляло его специальную обязанность, и Нехлюдову было, как всегда, мучительно тяжело то, что для того, чтобы помочь угнетенным, он должен становиться на сторону угнетающих, как будто признавая их деятельность законною тем, что обращался к ним с просьбами о том, чтобы они немного, хотя бы по отношению известных лиц, воздержались от своих обычных и, вероятно, незаметных им самим жестокостей. В этих случаях всегда он чувствовал внутренний разлад и недовольство собой и колебание: просить или не просить, но всегда решал, что надо просить. Дело ведь в том, что ему будет неловко, стыдно, неприятно у этой Mariette и ее мужа, но зато может быть то, что несчастная, мучащаяся в одиночном заключении женщина будет выпущена и перестанет страдать, и она и ее родные. Кроме того, что он чувствовал фальшь в этом положении просителя среди людей, которых он уже не считал своими, но которые его считали своим, в этом обществе он чувствовал, что вступал в прежнюю привычную колею и невольно поддавался тому легкомысленному и безнравственному тону, который царствовал в этом кружке. Он это испытал уже у тетушки Катерины Ивановны. Он уже нынче утром, говоря с нею о самых серьезных вещах, впадал в шуточный тон.

Вообще Петербург, в котором он давно не был, производил на него свое обычное, физически подбадривающее и нравственно-притупляющее впечатление: все так чисто, удобно, благоустроенно, главное — люди так нравственно нетребовательны, что жизнь кажется особенно легкой.

Прекрасный, чистый, учтивый извозчик повез его мимо прекрасных, учтивых, чистых городовых по прекрасной, чисто политой мостовой, мимо прекрасных, чистых домов к тому дому на канаве, в котором жила Mariette.

У подъезда стояла пара английских лошадей в шорах, и похожий на англичанина кучер с бакенбардами до половины щек, в ливрее, с бичом и гордым видом сидел на козлах.

Швейцар в необыкновенно чистом мундире отворил дверь в сени, где стоял в еще более чистой ливрее с галунами выездной лакей с великолепно расчесанными бакенбардами и дежурный вестовой солдат со штыком в новом чистом мундире.

— Генерал не принимают. Генеральша тоже. Они сейчас изволят ехать.

Нехлюдов отдал письмо графини Катерины Ивановны и, достав карточку, подошел к столику, на котором лежала книга для записи посетителей, и начал писать, что очень жалеет, что не

застал, как лакей подвинулся к лестнице, швейцар вышел на подъезд, крикнув: «Подавай!», а вестовой, вытянувшись, руки по швам, замер, встречая и провожая глазами сходившую с лестницы быстрой, не соответственной ее важности походкой невысокую тоненькую барыню.

Mariette была в большой шляпе с пером и в черном платье, в черной накидке и в новых черных перчатках; лицо ее было закрыто вуалью.

Увидев Нехлюдова, она подняла вуаль, открыла очень миловидное лицо с блестящими глазами и вопросительно взглянула на него.

— А, князь Дмитрий Иванович! — веселым, приятным голосом проговорила она.— Я бы узнала...

— Как, вы даже помните, как меня зовут?

— Как же, мы с сестрой даже в вас влюблены были,— заговорила она по-французски.— Но как вы переменились. Ах, как жаль, что я уезжаю. Впрочем, пойдем назад,— сказала она, останавливаясь в перешительности.

Она взглянула на стенные часы.

— Нет, нельзя. Я на панихиду еду к Каменской. Она ужасно убита.

— А что это Каменская?

— Разве вы не слыхали?.. ее сын убит на дуэли. Дрались с Позеном. Единственный сын. Ужасно. Мать так убита.

— Да, я слышал.

— Нет, лучше я поеду, а вы приходите завтра или нынче вечером,— сказала она и быстрыми легкими шагами пошла в выходную дверь.

— Нынче вечером не могу,— отвечал он, выходя с ней вместе на крыльцо.— А у меня ведь дело к вам,— сказал он, глядя на пару рыжих, подъезжавших к крыльцу.

— Что такое?

— А вот записка об этом от тетушки,— сказал Нехлюдов, подавая ей узенький конверт с большим вензелем.— Там вы все увидите.

— Я знаю: графиня Катерина Ивановна думает, что я имею влияние на мужа в делах. Она заблуждается. Я ничего не могу и не хочу вступаться. Но, разумеется, для графини и вас я готова отступить от своего правила. В чем же дело? — говорила она, маленькой рукой в черной перчатке тщетно отыскивая карман.

— Посажена в крепость одна девушка, а она больная и не замешана.

— А как ее фамилия?

— Шустова. Лидия Шустова. В записке есть.

— Ну, хорошо, я попытаюсь сделать,— сказала она и легко вошла в мягко капитонированную коляску, блестящую на солнце лаком своих крыльев, и раскрыла зонтик. Лакей сел на козлы и дал знак кучеру ехать. Коляска двинулась, но в ту же минуту она дотронулась зонтиком до спины кучера, и тонкокожие красавицы, англизированные кобылы, поджимая затянутые мундштуками красивые головы, остановились, перебирая тонкими ногами.

— А вы приходите, но, пожалуйста, бескорыстно,— сказала она, улыбнулась улыбкой, силу которой она хорошо знала, и, как будто окончив представление, опустила занавес: спустила вуаль.— Ну, поедем,— она опять тронула зонтиком кучера.

Нехлюдов поднял шляпу. А рыжие чистокровные кобылы, пофыркивая, забили подковами по мостовой, и экипаж быстро покатил, только кое-где мягко подпрыгивая своими новыми шинами на неровностях пути.

XVI

Вспоминая улыбку, которою он обменялся с Mariette, Нехлюдов покачал на себя головою.

«Не успеешь оглянуться, как втянешься опять в эту жизнь»,— подумал он, испытывая ту раздвоенность и сомнения, которые в нем вызывала необходимость заискивания в людях, которых он не уважал. Сообразив, куда прежде, куда после ехать, чтоб не возвращаться, Нехлюдов прежде всего направился в сенат. Его проводили в канцелярию, где он в великолепнейшем помещении увидал огромное количество чрезвычайно учтивых и чистых чиновников.

Прошение Масловой было получено и передано на рассмотрение и доклад тому самому сенатору Вольфу, к которому у него было письмо от дяди, сказали Нехлюдову чиновники.

— Заседание же сената будет на этой неделе, и дело Масловой едва ли попадет в это заседание. Если же попросить, то можно надеяться, что пустят и на этой неделе, в среду,— сказал один.

В канцелярии сената, пока Нехлюдов дожидался делаемой справки, он слышал опять разговор о дуэли и подробный рассказ о том, как убит был молодой Каменский. Здесь он в первый раз узнал подробности этой занимавшей весь Петербург истории. Дело было в том, что офицеры ели в лавке устрицы и, как всегда, много пили. Один сказал что-то неодобрительно о полку, в котором служил Каменский; Каменский назвал того лгуном. Тот ударил Каменского. На другой день дрались, и Каменскому попала пуля в живот, и он умер через два часа. Убийца и секунданты арестованы, но, как говорят, хотя их и посадили на гауптвахту, их выпустят через две недели.

Из канцелярии сената Нехлюдов поехал в комиссию прошений к имевшему в ней влияние чиновнику барону Воробьеву, занимавшему великолепное помещение в казенном доме. Швейцар и лакей объявили строго Нехлюдову, что видеть барона нельзя помимо приемных дней, что он нынче у государя императора, а завтра опять доклад. Нехлюдов передал письмо и поехал к сенатору Вольфу.

Вольф только что позавтракал, и, по обыкновению поощряя пищеварение курением сигары и прогулкой по комнате, принял Нехлюдова. Владимир Васильевич Вольф был действительно un homme très comme il faut, и это свое свойство ставил выше всего, с высоты его смотрел на всех других людей и не мог не ценить высоко этого свойства, потому что благодаря только ему он сделал блестящую карьеру, ту самую, какую желал, то есть посредством женитьбы приобрел состояние, дающее восемнадцать тысяч дохода, и своими трудами — место сенатора. Он считал себя не только un homme très comme il faut, но еще и человеком рыцарской честности. Под честностью же он разумел то, чтобы не брать с частных лиц потихоньку взяток. Выпрашивать же себе всякого рода прогоны, подъемные, аренды от казны, рабски исполняя за то все, что ни требовало от него правительство, он не считал бесчестным. Погубить же, разорить, быть причиной ссылки и заточения сотен невинных людей вследствие их привязанности к своему народу и религии отцов, как он сделал это в то время, как был губернатором в одной из губерний Царства Польского, он не только не считал бесчестным, но считал подвигом благородства, мужества, патриотизма; не считал также бесчестным то, что он обобрал влюбленную в себя жену и свояченицу. Напротив, считал это разумным устройством своей семейной жизни.

Семейную жизнь Владимира Васильевича составляли его безличная жена, свояченица, состояние которой он также прибрал к рукам, продав ее имение и положив деньги на свое имя, и кроткая, запуганная, некрасивая дочь, ведущая одинокую тяжелую жизнь, развлечение в которой она нашла в последнее время в евангелизме — в собраниях у Aline и у графини Катерины Ивановны.

Сын же Владимира Васильевича — добродушный, обросший бородой в пятнадцать лет и с тех пор начавший пить и развратничать, что он продолжал делать до двадцатилетнего возраста,— был изгнан из дома за то, что он нигде не кончил курса и, вращаясь в дурном обществе и делая долги, компрометировал отца. Отец один раз заплатил за сына двести тридцать рублей долга, заплатил и другой раз шестьсот рублей, но объявил сыну, что это последний раз, что если он не исправится, то он выгонит его из дома и прекратит с ним сношения. Сын не только не исправился, но сделал еще тысячу рублей долга и позволил себе сказать отцу, что ему и так

дома жить мучение. И тогда Владимир Васильевич объявил сыну, что он может отправляться куда хочет, что он не сын ему. С тех пор Владимир Васильевич делал вид, что у него нет сына, и домашние никто не смели говорить ему о сыне, и Владимир Васильевич был вполне уверен, что он наилучшим образом устроил свою семейную жизнь.

Вольф с ласковой и несколько насмешливой улыбкой — это была его манера: невольное выражение сознания своего комильфотного превосходства над большинством людей,— остановившись в своей прогулке по кабинету, поздоровался с Нехлюдовым и прочел записку.

— Прошу покорно, садитесь, а меня извините. Я буду ходить, если позволите,— сказал он, заложив руки в карманы своей куртки и ступая легкими мягкими шагами по диагонали большого строгого стиля кабинета.— Очень рад с вами познакомиться и, само собой, сделать угодное графу Ивану Михайловичу,— говорил он, выпуская душистый голубоватый дым и осторожно относя сигару ото рта, чтобы не сронить пепел.

— Я только попросил бы о том, чтобы дело слушалось поскорее, потому что если подсудимой придется ехать в Сибирь, то ехать пораньше,— сказал Нехлюдов.

— Да, да, с первыми пароходами из Нижнего, знаю,— сказал Вольф с своей снисходительной улыбкой, всегда все знавший вперед, что только начинали ему говорить.— Как фамилия подсудимой?

— Маслова...

Вольф подошел к столу и взглянул в бумагу, лежавшую на картоне с делами.

— Так, так, Маслова. Хорошо, я попрошу товарищей. Мы выслушаем дело в середу.

— Могу я так телеграфировать адвокату?

— А у вас адвокат? Зачем это? Но если хотите, что ж.

— Поводы к кассации могут быть недостаточны,— сказал Нехлюдов,— но по делу, я думаю, видно, что обвинение произошло от недоразумения.

— Да, да, это может быть, но сенат не может рассматривать дело по существу,— сказал Владимир Васильевич строго, глядя на пепел.— Сенат следит только за правильностью применения закона и толкования его.

— Это, мне кажется, исключительный случай.

— Знаю, знаю. Все случаи исключительные. Мы сделаем, что должно. Вот и все.— Пепел все еще держался, но уже дал трещину и был в опасности.— А вы в Петербурге редко бываете? — сказал Вольф, держа сигару так, чтобы пепел не упал. Пепел все-таки

заколебался, и Вольф осторожно поднес его к пепельнице, куда он и обрушился.— А какое ужасное событие с Каменским! — сказал он.— Прекрасный молодой человек. Единственный сын. Особенно положение матери,— говорил он, повторяя почти слово в слово все то, что все в Петербурге говорили в это время о Каменском.

Поговорив еще о графине Катерине Ивановне и ее увлечении новым религиозным направлением, которое Владимир Васильевич не осуждал и не оправдывал, но которое при его комильфотности, очевидно, было для него излишне, он позвонил.

Нехлюдов откланялся.

— Если вам удобно, приходите обедать,— сказал Вольф, подавая руку,— хоть в середу. Я и ответ вам дам положительный.

Было уже поздно, и Нехлюдов поехал домой, то есть к тетушке.

XVII

Обедали у графини Катерины Ивановны в половине восьмого, и обед подавался по новому, еще не виданному Нехлюдовым способу. Кушанья ставились на стол, и лакеи тотчас же уходили, так что обедающие брали сами кушанья. Мужчины не позволяли дамам утруждать себя излишними движениями и, как сильный пол, несли мужественно всю тяжесть накладыванья дамам и себе кушаний и наливания напитков. Когда же одно блюдо было съедено, графиня пожимала в столе пуговку электрического звонка, и лакеи беззвучно входили, быстро убирали, меняли приборы и приносили следующую перемену. Обед был утонченный, такие же были и вина. В большой светлой кухне работали французский шеф с двумя белыми помощниками. Обедали шестеро: граф и графиня, их сын, угрюмый гвардейский офицер, клавший локти на стол, Нехлюдов, лектриса-француженка и приехавший из деревни главноуправляющий графа.

Разговор и здесь зашел о дуэли. Суждения шли о том, как отнесся к делу государь. Было известно, что государь очень огорчен за мать, и все были огорчены за мать. Но так как было известно, что государь, хотя и соболезнует, не хочет быть строгим к убийце, защищавшему честь мундира, то и все были снисходительны к убийце, защищавшему честь мундира. Только графиня Катерина Ивановна с своим свободолегкомыслием выразила осуждение убийце.

— Будут пьянствовать да убивать порядочных молодых людей — ни за что бы не простила,— сказала она.

— Вот этого я не понимаю,— сказал граф.

— Я знаю, что ты никогда не понимаешь того, что я говорю,— заговорила графиня, обращаясь к Нехлюдову.— Все понимают,

только не муж. Я говорю, что мне жалко мать, и я не хочу, чтобы он убил и был очень доволен.

Тогда молчавший до этого сын вступился за убийцу и напал на свою мать, довольно грубо доказывая ей, что офицер не мог поступить иначе, что иначе его судом офицеров выгнали бы из полка. Нехлюдов слушал, не вступая в разговор, и, как бывший офицер, понимал, хоть и не признавал, доводы молодого Чарского, но вместе с тем невольно сопоставлял с офицером, убившим другого, того арестанта, красавца юношу, которого он видел в тюрьме и который был приговорен к каторге за убийство в драке. Оба стали убийцами от пьянства. Тот, мужик, убил в минуту раздражения, и он разлучен с женою, с семьей, с родными, закован в кандалы и с бритой головой идет в каторгу, а этот сидит в прекрасной комнате на гауптвахте, ест хороший обед, пьет хорошее вино, читает книги и нынче-завтра будет выпущен и будет жить по-прежнему, только сделавшись особенно интересным.

Он сказал то, что думал. Сначала было графиня Катерина Ивановна согласилась с племянником, но потом замолчала. Так же как и все, и Нехлюдов чувствовал, что этим рассказом он сделал что-то вроде неприличия.

Вечером, вскоре после обеда, в большой зале, где особенно, как для лекции, поставили рядами стулья с высокими резными спинками, а перед столом кресло и столик с графином воды для проповедника, стали собираться на собрание, на котором должен был проповедовать приезжий Кизеветер.

У подъезда стояли дорогие экипажи. В зале с дорогим убранством сидели дамы в шелку, бархате, кружевах, с накладными волосами и перетянутыми и накладными тальями. Между дамами сидели мужчины — военные и статские и человек пять простолюдинов: двое дворников, лавочник, лакей и кучер.

Кизеветер, крепкий седеющий человек, говорил по-английски, а молодая худая девушка в pince-nez хорошо и быстро переводила.

Он говорил о том, что грехи наши так велики, казнь за них так велика и неизбежна, что жить в ожидании этой казни нельзя.

— Только подумаем, любезные сестры и братья, о себе, о своей жизни, о том, что мы делаем, как живем, как прогневляем любвеобильного бога, как заставляем страдать Христа, и мы поймем, что нет нам прощения, нет выхода, нет спасения, что все мы обречены погибели. Погибель ужасная, вечные мученья ждут нас,— говорил он дрожащим, плачущим голосом.— Как спастись? Братья, как спастись из этого ужасного пожара? Он объял уже дом, и нет выхода.

Он помолчал, и настоящие слезы текли по его щекам. Уже лет восемь всякий раз без ошибки, как только он доходил до этого ме-

ста своей очень нравившейся ему речи, он чувствовал спазму в горле, щипание в носу, и из глаз текли слезы. И эти слезы еще больше трогали его. В комнате слышались рыдания. Графиня Катерина Ивановна сидела у мозаикового столика, облокотив голову на обе руки, и толстые плечи ее вздрагивали. Кучер удивленно и испуганно смотрел на немца, точно он наезжал на него дышлом, а он не сторонился. Большинство сидело в таких же позах, как и графиня Катерина Ивановна. Дочь Вольфа, похожая на него, в модном платье стояла на коленках, закрыв лицо руками.

Оратор вдруг открыл лицо и вызвал на нем очень похожую на настоящую улыбку, которой актеры выражают радость, и сладким, нежным голосом начал говорить:

— А спасенье есть. Вот оно, легкое, радостное. Спасенье это — пролитая за нас кровь единственного сына бога, отдавшего себя за нас на мучение. Его мучение, его кровь спасает нас. Братья и сестры,— опять со слезами в голосе заговорил он,— возблагодарим бога, отдавшего единственного сына в искупление за род человеческий. Святая кровь его...

Нехлюдову стало так мучительно гадко, что он потихоньку встал и, морщась и сдерживая кряхтение стыда, вышел на цыпочках и пошел в свою комнату.

XVIII

На другой день, только что Нехлюдов оделся и собирался спуститься вниз, как лакей принес ему карточку московского адвоката. Адвокат приехал по своим делам и вместе с тем для того, чтобы присутствовать при разборе дела Масловой в сенате, если оно скоро будет слушаться. Телеграмма, посланная Нехлюдовым, разъехалась с ним. Узнав от Нехлюдова, когда будет слушаться дело Масловой и кто сенаторы, он улыбнулся.

— Как раз все три типа сенаторов,— сказал он.— Вольф — это петербургский чиновник, Сковородников — это ученый юрист, и Бе — это практический юрист, а потому более всех живой,— сказал адвокат.— На него больше всего надежды. Ну, а что же в комиссии прошений?

— Да вот нынче поеду к барону Воробьеву, вчера не мог добиться аудиенции.

— Вы знаете, отчего барон — Воробьев? — сказал адвокат, отвечая на несколько комическую интонацию, с которой Нехлюдов произнес этот иностранный титул в соединении с такой русской фамилией.— Это Павел за что-то наградил его дедушку,— кажется, камер-лакея,— этим титулом. Чем-то очень угодил ему. Сделать его

бароном, моему нраву не препятствуй. Так и пошел: барон Воробьев. И очень гордится этим. А большой пройдоха.

— Так вот к нему еду,— сказал Нехлюдов.

— Ну, и прекрасно, поедемте вместе. Я вас довезу.

Перед тем как уехать, уже в передней Нехлюдова встретил лакей с запиской к нему от Mariette:

«Pour vous faire plaisir, j'ai agi tout à fait contre mes principes, et j'ai intercedé auprès de mon mari pour votre protégée. Il se trouve que cette personne peut être relachée immédiatement. Mon mari a ecrit au commandant. Venez donc бескорыстно. Je vous attend [1]. М.».

— Каково? — сказал Нехлюдов адвокату.— Ведь это ужасно! Женщина, которую они держат семь месяцев в одиночном заключении, оказывается ни в чем не виновата, и, чтобы ее выпустить, надо было сказать только слово.

— Это всегда так. Ну, да по крайней мере вы достигли желаемого.

— Да, но этот успех огорчает меня. Стало быть, что же там делается? Зачем же они держали ее?

— Ну, да это лучше не апрофондировать. Так я вас довезу,— сказал адвокат, когда они вышли на крыльцо и прекрасная извозчичья карета, взятая адвокатом, подъехала к крыльцу.— Вам ведь к барону Воробьеву?

Адвокат сказал кучеру, куда ехать, и добрые лошади скоро подвезли Нехлюдова к дому, занимаемому бароном. Барон был дома. В первой комнате был молодой чиновник в вицмундире, с чрезвычайно длинной шеей и выпуклым кадыком и необыкновенно легкой походкой, и две дамы.

— Ваша фамилия? — спросил молодой чиновник с кадыком, необыкновенно легко и грациозно переходя от дам к Нехлюдову.

Нехлюдов назвался.

— Барон говорил про вас. Сейчас!

Молодой чиновник прошел в затворенную дверь и вывел оттуда заплаканную даму в трауре. Дама опускала костлявыми пальцами запутавшийся вуаль, чтобы скрыть слезы.

— Пожалуйте,— обратился молодой чиновник к Нехлюдову, легким шагом подходя к двери кабинета, отворяя ее и останавливаясь в ней.

Войдя в кабинет, Нехлюдов очутился перед среднего роста коренастым, коротко остриженным человеком в сюртуке, который си-

---

[1] Чтобы доставить вам удовольствие, я поступила совершенно против своих правил и ходатайствовала перед мужем за вашу протеже. Оказывается, эта особа может быть освобождена немедленно. Муж написал коменданту. Итак, приезжайте... Жду вас *(франц.)*.

дел в кресле у большого письменного стола и весело смотрел перед собой. Особенно заметное своим красным румянцем среди белых усов и бороды добродушное лицо сложилось в ласковую улыбку при виде Нехлюдова.

— Очень рад вас видеть, мы были старые знакомые и друзья с вашей матушкой. Видал вас мальчиком и офицером потом. Ну, садитесь, расскажите, чем могу вам служить. Да, да,— говорил он, покачивая стриженой седой головой, в то время как Нехлюдов рассказывал историю Федосьи.— Говорите, говорите, я все понял; да, да, это в самом деле трогательно. Что же, вы подали прошение?

— Я приготовил прошение,— сказал Нехлюдов, доставая его из кармана.— Но я хотел просить вас, надеялся, что на это дело обратят особое внимание.

— И прекрасно сделали. Я непременно сам доложу,— сказал барон, совсем непохоже выражая сострадание на своем веселом лице.— Очень трогательно. Очевидно, она была ребенок, муж грубо обошелся с нею, это оттолкнуло ее, и потом пришло время, они полюбили... Да, я доложу.

— Граф Иван Михайлович говорил, что он хотел просить императрицу.

Не успел Нехлюдов сказать этих слов, как выражение лица барона изменилось.

— Впрочем, вы подайте прошение в канцелярию, и я сделаю, что могу,— сказал он Нехлюдову.

В это время в комнату вошел молодой чиновник, очевидно щеголявший своей походкой.

— Дама эта просит еще сказать два слова.

— Ну, позовите. Ах, mon cher, сколько тут слез перевидаешь, если бы только можно все их утереть! Делаешь, что можешь.

Дама вошла.

— Я забыла просить о том, чтобы не допустить его отдать дочь, а то он на все...

— Да ведь я сказал, что сделаю.

— Барон, ради бога, вы спасете мать.

Она схватила его руку и стала целовать.

— Все будет сделано.

Когда дама вышла, Нехлюдов тоже стал откланиваться.

— Сделаем, что можем. Снесемся с министерством юстиции. Они ответят нам, и тогда мы сделаем, что можно.

Нехлюдов вышел и прошел в канцелярию. Опять, как в сенате, он нашел в великолепном помещении великолепных чиновников, чистых, учтивых, корректных от одежды до разговоров, отчетливых и строгих.

«Как их много, как ужасно их много, и какие они сытые, какие у них чистые рубашки, руки, как хорошо начищены у всех сапоги, и кто это все делает? И как им всем хорошо в сравнении не только с острожными, но и с деревенскими»,— опять невольно думал Нехлюдов.

XIX

Человек, от которого зависело смягчение участи заключенных в Петербурге, был увешанный орденами, которые он не носил, за исключением белого креста в петличке, заслуженный, но выживший из ума, как говорили про него, старый генерал из немецких баронов. Он служил на Кавказе, где он получил этот особенно лестный для него крест за то, что под его предводительством тогда русскими мужиками, обстриженными и одетыми в мундиры и вооруженными ружьями со штыками, было убито более тысячи людей, защищавших свою свободу и свои дома и семьи. Потом он служил в Польше, где тоже заставлял русских крестьян совершать много различных преступлений, за что тоже получил ордена и новые украшения на мундир; потом был еще где-то и теперь, уже расслабленным стариком, получил то дававшее ему хорошее помещение, содержание и почет место, на котором он находился в настоящую минуту. Он строго исполнял предписания свыше и особенно дорожил этим исполнением. Приписывая этим предписаниям свыше особенное значение, он считал, что все на свете можно изменить, но только не эти предписания свыше. Обязанность его состояла в том, чтобы содержать в казематах, в одиночных заключениях политических преступников и преступниц и содержать этих людей так, что половина их в продолжение десяти лет гибла, частью сойдя с ума, частью умирая от чахотки и частью убивая себя: кто голодом, кто стеклом разрезая жилы, кто вешая себя, кто сжигаясь.

Старый генерал знал все это, все это происходило на его глазах, но все такие случаи не трогали его совести, так же как не трогали его совести несчастья, случавшиеся от грозы, наводнений и т. п. Случаи эти происходили вследствие исполнения предписаний свыше, именем государя императора. Предписания же эти должны неизбежно были быть исполнены, и потому было совершенно бесполезно думать о последствиях таких предписаний. Старый генерал и не позволял себе думать о таких делах, считая своим патриотическим, солдатским долгом не думать для того, чтобы не ослабеть в исполнении этих, по его мнению, очень важных своих обязанностей.

Раз в неделю старый генерал по долгу службы обходил все казематы и спрашивал заключенных, не имеют ли они каких-либо

просьб. Заключенные обращались к нему с различными просьбами. Он выслушивал их спокойно, непроницаемо молча и никогда ничего не исполнял, потому что все просьбы были не согласны с законоположениями.

В то время как Нехлюдов подъезжал к месту жительства старого генерала, куранты часов на башне сыграли тонкими колокольчиками «Коль славен бог», а потом пробили два часа. Слушая эти куранты, Нехлюдов невольно вспоминал то, о чем он читал в записках декабристов, как отзывается эта ежечасно повторяющаяся сладкая музыка в душе вечно заключенных. Старый генерал, в то время как Нехлюдов подъехал к подъезду его квартиры, сидел в темной гостиной за инкрустованным столиком и вертел вместе с молодым человеком, художником, братом одного из своих подчиненных, блюдцем по листу бумаги. Тонкие, влажные, слабые пальцы художника были вставлены в жесткие, морщинистые и окостеневшие в сочленениях пальцы старого генерала, и эти соединенные руки дергались вместе с опрокинутым чайным блюдечком по листу бумаги с изображенными на нем всеми буквами алфавита. Блюдечко отвечало на заданный генералом вопрос о том, как будут души узнавать друг друга после смерти.

В то время как один из денщиков, исполнявший должность камердинера, вошел с карточкой Нехлюдова, посредством блюдечка говорила душа Иоанны д'Арк. Душа Иоанны д'Арк уже сказала по буквам слова: «Будут признавать друг друга», и это было записано. В то же время, как пришел денщик, блюдечко, остановившись раз на «п», другой раз на «о» и потом, дойдя до «с», остановилось на этой букве и стало дергаться туда и сюда. Дергалось оно потому, что следующая буква, по мнению генерала, должна была быть «л», то есть Иоанна д'Арк, по его мнению, должна была сказать, что души будут признавать друг друга только *после* своего очищения от всего земного или что-нибудь подобное, и потому следующая буква должна быть «л», художник же думал, что следующая буква «в», что душа скажет, что потом души будут узнавать друг друга *по свету*, который будет исходить из эфирного тела душ. Генерал, мрачно насупив свои густые седые брови, пристально смотрел на руки и, воображая, что блюдечко движется само, тянул его к «л». Молодой же бескровный художник с заложенными за уши жидкими волосами глядел в темный угол гостиной своими безжизненными голубыми глазами и, нервно шевеля губами, тянул к «в». Генерал поморщился на перерыв своего занятия и после минуты молчания взял карточку, надел pince-nez и, крякнув от боли в широкой пояснице, встал во весь свой большой рост, потирая свои окоченевшие пальцы.

— Пригласи в кабинет.

— Позвольте, ваше превосходительство, я один докончу,— сказал художник, вставая.— Я чувствую присутствие.

— Хорошо, заканчивайте,— сказал решительно и строго генерал и направился своими большими шагами невывернутых ног решительной, мерной походкой в кабинет.— Приятно видеть,— сказал генерал Нехлюдову грубым голосом ласковые слова, указывая ему на кресло у письменного стола.— Давно приехали в Петербург?

Нехлюдов сказал, что приехал недавно.

— Княгиня, матушка ваша, здорова ли?

— Матушка скончалась.

— Простите, очень сожалею. Мне сын говорил, что он вас встретил.

Сын генерала делал такую же карьеру, как и отец, и после военной академии служил в разведочном бюро и очень гордился теми занятиями, которые были там поручены ему. Занятия его состояли в заведывании шпионами.

— Как же, с батюшкой вашим служил. Друзья были, товарищи. Что ж, служите?

— Нет, не служу.

Генерал неодобрительно наклонил голову.

— У меня к вам просьба, генерал,— сказал Нехлюдов.

— О-о-очень рад. Чем могу служить?

— Если моя просьба неуместна, то, пожалуйста, простите меня. Но мне необходимо передать ее.

— Что такое?

— У вас содержится некто Гуркевич. Так его мать просит о свидании с ним или, по крайней мере, о том, чтобы можно было передать ему книги.

Генерал не выразил никакого ни удовольствия, ни неудовольствия при вопросе Нехлюдова, а, склонив голову набок, зажмурился, как бы обдумывая. Он, собственно, ничего не обдумывал и даже не интересовался вопросом Нехлюдова, очень хорошо зная, что он ответит ему по закону. Он просто умственно отдыхал, ни о чем не думая.

— Это, видите ли, от меня не зависит,— сказал он, отдохнув немного.— О свиданиях есть высочайше утвержденное положение, и что там разрешено, то и разрешается. Что же касается книг, то у нас есть библиотека, и им дают те, которые разрешены.

— Да, но ему нужны научные: он хочет заниматься.

— Не верьте этому.— Генерал помолчал.— Это не для занятий. А так, беспокойство одно.

— Но как же, ведь нужно занять время в их тяжелом положении,— сказал Нехлюдов.

— Они всегда жалуются,— сказал генерал.— Ведь мы их знаем.— Он говорил о них вообще, как о какой-то особенной, нехорошей породе людей.— А им тут доставляется такое удобство, которое редко можно встретить в местах заключения,— продолжал генерал.

И он стал, как бы оправдываясь, подробно описывать все удобства, доставляемые содержимым, как будто главная цель этого учреждения состояла в том, чтобы устроить для содержащихся лиц приятное местопребывание.

— Прежде — правда, что было довольно сурово, но теперь содержатся они здесь прекрасно. Они кушают три блюда и всегда одно мясное: битки или котлеты. По воскресеньям они имеют еще одно четвертое — сладкое блюдо. Так что дай бог, чтобы всякий русский человек мог так кушать.

Генерал, как все старые люди, очевидно раз напав на затверженное, говорил все то, что он повторял много раз в доказательство их требовательности и неблагодарности.

— Книги им даются и духовного содержания, и журналы старые. У нас библиотека соответствующих книг. Только редко они читают. Сначала как будто интересуются, а потом так и остаются новые книги до половины неразрезанными, а старые с неперевернутыми страницами. Мы пробовали даже,— с далеким подобием улыбки сказал генерал,— нарочно заложим бумажку. Так и останется невынута. Тоже и писать им не возбраняется,— продолжал генерал.— Дается аспидная доска, и грифель дается, так что они могут писать для развлечения. Могут стирать и опять писать. И тоже не пишут. Нет, они очень скоро делаются совсем спокойны. Только сначала они тревожатся, а потом даже толстеют и очень тихи делаются,— говорил генерал, не подозревая того ужасного значения, которое имели его слова.

Нехлюдов слушал его хриплый старческий голос, смотрел на эти окостеневшие члены, на потухшие глаза из-под седых бровей, на эти старческие бритые отвисшие скулы, подпертые военным воротником, на этот белый крест, которым гордился этот человек, особенно потому, что получил его за исключительно жестокое и многодушное убийство, и понимал, что возражать, объяснять ему значение его слов — бесполезно. Но он все-таки, сделав усилие, спросил еще о другом деле, об арестантке Шустовой, про которую он получил нынче сведение, что ее приказано выпустить.

— Шустова? Шустова... Не помню всех по именам. Ведь их так много,— сказал он, очевидно упрекая их за это переполнение. Он позвонил и велел позвать письмоводителя.

Пока ходили за письмоводителем, он увещевал Нехлюдова служить, говоря, что честные, благородные люди, подразумевая

себя в числе таких людей, особенно нужны царю... «и отечеству»,— прибавил он, очевидно только для красоты слога.

— Я вот стар, а все-таки служу, насколько силы позволяют.

Письмоводитель, сухой, поджарый человек с беспокойными умными глазами, пришел доложить, что Шустова содержится в каком-то странном фортификационном месте и что бумаг о ней не получалось.

— Когда получим, в тот же день отправляем. Мы их не держим, не дорожим особенно их посещениями,— сказал генерал, опять с попыткой игривой улыбки, кривившей только его старое лицо.

Нехлюдов встал, стараясь удержаться от выражения смешанного чувства отвращения и жалости, которое он испытывал к этому ужасному старику. Старик же считал, что ему тоже не надо быть слишком строгим к легкомысленному и, очевидно, заблуждающемуся сыну своего товарища и не оставить его без наставления.

— Прощайте, мой милый, не взыщите с меня, но я, любя вас, говорю. Не общайтесь с людьми, которые у нас содержатся. Невинных не бывает. А люди это всё самые безнравственные. Мы-то их знаем,— сказал он тоном, не допускавшим возможности сомнения. И он точно не сомневался в этом не потому, что это было так, а потому, что если бы это было не так, ему бы надо было признать себя не почтенным героем, достойно доживающим хорошую жизнь, а негодяем, продавшим и на старости лет продолжающим продавать свою совесть.— А лучше всего служите,— продолжал он.— Царю нужны честные люди... и отечеству,— прибавил он.— Ну, если бы и я и все так, как вы, не служили бы? Кто же бы остался? Мы вот осуждаем порядки, а сами не хотим помогать правительству.

Нехлюдов вздохнул глубоко, низко поклонился, пожал снисходительно протянутую ему костлявую большую руку и вышел из комнаты.

Генерал неодобрительно покачал головой и, потирая поясницу, пошел опять в гостиную, где ожидал его художник, уже записавший полученный ответ от души Иоанны д'Арк. Генерал надел pince-nez и прочел: «Будут признавать друг друга по свету, исходящему из эфирных тел».

— А,— одобрительно сказал генерал, закрыв глаза.— Но как узнаешь, если свет у всех один? — спросил он и, опять скрестив пальцы с художником, сел за столик.

Извозчик Нехлюдова выехал в ворота.

— А скучно тут, барин,— сказал он, обращаясь к Нехлюдову.— Хотел, не дождавшись, уехать.

— Да, скучно,— согласился Нехлюдов, вздыхая полной грудью и с успокоением останавливая глаза на дымчатых облаках, плывущих по небу, и на блестящей ряби Невы от движущихся по ней лодок и пароходов.

XX

На другой день дело Масловой должно было слушаться, и Нехлюдов поехал в сенат. Адвокат съехался с ним у величественного подъезда сенатского здания, у которого уже стояло несколько экипажей. Войдя по великолепной, торжественной лестнице во второй этаж, адвокат, знавший все ходы, направился налево в дверь, на которой была изображена цифра года введения судебных уставов. Сняв в первой длинной компате пальто и узнав от швейцара, что сенаторы все съехались и последний только что прошел, Фанарин, оставшись в своем фраке и белом галстуке над белой грудью, с веселою уверенностью вошел в следующую комнату. В этой следующей компате был направо большой шкаф, потом стол, а налево витая лестница, по которой спускался в это время элегантный чиновник в вицмундире с портфелем под мышкой. В комнате обращал на себя внимание патриархального вида старичок с длинными белыми волосами, в пиджачке и серых панталонах, около которого с особенной почтительностью стояли два служителя.

Старичок с белыми волосами прошел в шкаф и скрылся там. В это время Фанарин, увидав товарища, такого же, как и он, адвоката, в белом галстуке и фраке, тотчас же вступил с ним в оживленный разговор; Нехлюдов же разглядывал бывших в комнате. Было человек пятнадцать публики, из которых две дамы, одна в pince-nez молодая и другая седая. Слушавшееся нынче дело было о клевете в печати, и потому собралось более, чем обыкновенно, публики — всё люди преимущественно из журнального мира.

Судебный пристав, румяный, красивый человек, в великолепном мундире, с бумажкой в руке, подошел к Фанарину с вопросом, по какому он делу, и, узнав, что по делу Масловой, записал что-то и отошел. В это время дверь шкафа отворилась, и оттуда вышел патриархального вида старичок, но уже не в пиджаке, а в обшитом галунами с блестящими бляхами на груди наряде, делавшем его похожим на птицу.

Смешной костюмчик этот, очевидно, смущал самого старичка, и он поспешно, более быстро, чем он ходил обыкновенно, прошел в дверь, противоположную входной.

— Это Бе, почтеннейший человек,— сказал Фанарин Нехлюдову и, познакомив его с своим коллегой, рассказал про предстоя-

щее очень интересное, по его мнению, дело, которое должно было слушаться.

Дело скоро началось, и Нехлюдов вместе с публикой вошел налево в залу заседаний. Все они, и Фанарин, зашли за решетку на места для публики. Только петербургский адвокат вышел вперед за конторку перед решеткой.

Зала заседаний сената была меньше залы окружного суда, была проще устройством и отличалась только тем, что стол, за которым сидели сенаторы, был покрыт не зеленым сукном, а малиновым бархатом, обшитым золотым галуном, но те же были всегдашние атрибуты мест отправления правосудия: зерцало, икона, портрет государя. Так же торжественно объявлял пристав: «Суд идет». Так же все вставали, так же входили сенаторы в своих мундирах, так же садились в кресла с высокими спинками, так же облокачивались на стол, стараясь иметь естественный вид.

Сенаторов было четверо. Председательствующий Никитин, весь бритый человек с узким лицом и стальными глазами; Вольф, с значительно поджатыми губами и белыми ручками, которыми он перебирал листы дела; потом Сковородников, толстый, грузный, рябой человек, ученый юрист, и четвертый Бе, тот самый патриархальный старичок, который приехал последним. Вместе с сенаторами вышел обер-секретарь и товарищ обер-прокурора, среднего роста, сухой, бритый молодой человек с очень темным цветом лица и черными грустными глазами. Нехлюдов тотчас же, несмотря на странный мундир и на то, что он лет шесть не видал его, узнал в нем одного из лучших друзей своего студенческого времени.

— Товарищ обер-прокурора Селенин? — спросил он у адвоката.

— Да, а что?

— Я его хорошо знаю, это прекрасный человек...

— И хороший товарищ обер-прокурора, дельный. Вот его бы надо было просить,— сказал Фанарин.

— Он, во всяком случае, поступит по совести,— сказал Нехлюдов, вспоминая свои близкие отношения и дружбу с Селениным и его милые свойства чистоты, честности, порядочности в самом лучшем смысле этого слова.

— Да теперь и некогда,— прошептал Фанарин, отдавшись слушанию начавшегося доклада дела.

Началось дело по жалобе на приговор судебной палаты, оставившей без изменения решение окружного суда.

Нехлюдов стал слушать и старался понять значение того, что происходило перед ним, но, так же как и в окружном суде, главное затруднение для понимания состояло в том, что речь шла не о том, что естественно представлялось главным, а о совершенно

побочном. Дело шло о статье в газете, в которой изобличались мошенничества одного председателя акционерной компании. Казалось бы, важно могло быть только то, правда ли, что председатель акционерного общества обкрадывает своих доверителей, и как сделать так, чтобы он перестал их обкрадывать. Но об этом и речи не было. Речь шла только о том, имел или не имел по закону издатель право напечатать статью фельетониста и какое он совершил преступление, напечатав ее,— диффамацию или клевету, и как диффамация включает в себе клевету или клевета диффамацию, и еще что-то мало понятное для простых людей о разных статьях и решениях какого-то общего департамента.

Одно, что понял Нехлюдов, это было то, что, несмотря на то, что Вольф, докладывавший дело, так строго внушал вчера ему то, что сенат не может входить в рассмотрение дела по существу,— в этом деле докладывал, очевидно, пристрастно в пользу кассирования приговора палаты, и что Селенин, совершенно несогласно с своей характерной сдержанностью, неожиданно горячо выразил свое противоположное мнение. Удивившая Нехлюдова горячность всегда сдержанного Селенина имела основанием то, что он знал председателя акционерного общества за грязного в денежных делах человека, а между тем случайно узнал, что Вольф почти накануне слушания о нем дела был у этого дельца на роскошном обеде. Теперь же, когда Вольф, хотя и очень осторожно, но явно односторонне доложил дело, Селенин разгорячился и слишком нервно для обыкновенного дела выразил свое мнение. Речь эта, очевидно, оскорбила Вольфа: он краснел, подергивался, делал молчаливые жесты удивления и с очень достойным и оскорбленным видом удалился вместе с другими сенаторами в комнату совещаний.

— Вы, собственно, по какому делу? — опять спросил судебный пристав у Фанарина, как только сенаторы удалились.

— Я уже говорил вам, что по делу Масловой,— сказал Фанарин.

— Это так. Дело будет слушаться нынче. Но...

— Да что же? — спросил адвокат.

— Изволите видеть, дело это полагалось без сторон, так что господа сенаторы едва ли выйдут после объявления решения. Но я доложу...

— То есть как же?..

— Я доложу, доложу.— И пристав что-то отметил на своей бумажке.

Сенаторы действительно намеревались, объявив решение по делу о клевете, окончить остальные дела, в том числе масловское, за чаем и папиросами, не выходя из совещательной комнаты.

XXI

Как только сенаторы сели за стол совещательной комнаты, Вольф стал очень оживленно выставлять мотивы, по которым дело должно было быть кассировано.

Председательствующий, и всегда человек недоброжелательный, нынче был особенно не в духе. Слушая дело во время заседания, он составил уже свое мнение и теперь сидел, не слушая Вольфа, погруженный в свои думы. Думы же его состояли в припоминании того, что он вчера написал в своих мемуарах по случаю назначения Вилянова, а не его, на тот важный пост, который он уже давно желал получить. Председательствующий Никитин был совершенно искренно уверен, что суждения о разных чиновниках первых двух классов, с которыми он входил в сношения во время своей службы, составляют очень важный исторический материал. Написав вчера главу, в которой сильно досталось некоторым чиновникам первых двух классов за то, что они помешали ему, как он формулировал это, спасти Россию от погибели, в которую увлекали ее теперешние правители,— в сущности же, только за то, что они помешали ему получать больше, чем теперь, жалованья, он думал теперь о том, как для потомства все это обстоятельство получит совершенно новое освещение.

— Да, разумеется,— сказал он, не слушая их, на слова обратившегося к нему Вольфа.

Бе же слушал Вольфа с грустным лицом, рисуя гирлянды на лежавшей перед ним бумаге. Бе был либерал самого чистого закала. Он свято хранил традиции шестидесятых годов и если и отступал от строгого беспристрастия, то только в сторону либеральности. Так, в настоящем случае, кроме того, что акционерный делец, жаловавшийся на клевету, был грязный человек, Бе был на стороне оставления жалобы без последствий еще и потому, что это обвинение в клевете журналиста было стеснение свободы печати. Когда Вольф кончил свои доводы, Бе, не дорисовав гирлянду, с грустью — ему было грустно за то, что приходилось доказывать такие труизмы,— мягким, приятным голосом, коротко, просто и убедительно показал неосновательность жалобы и, опустив голову с белыми волосами, продолжал дорисовывать гирлянду.

Сковородников, сидевший против Вольфа и все время собиравший толстыми пальцами бороду и усы в рот, тотчас же, как только Бе перестал говорить, перестал жевать свою бороду и громким, скрипучим голосом сказал, что, несмотря на то, что председатель акционерного общества большой мерзавец, он бы стоял за

кассирование приговора, если бы были законные основания, но так как таковых нет, он присоединяется к мнению Ивана Семеновича (Бе), сказал он, радуясь той шпильке, которую он этим подпустил Вольфу. Председательствующий присоединился к мнению Сковородникова, и дело было решено отрицательно.

Вольф был недоволен в особенности тем, что он как будто был уличен в недобросовестном пристрастии, и, притворяясь равнодушным, раскрыл следующее к докладу дело Масловой и погрузился в него. Сенаторы между тем позвонили и потребовали себе чаю и разговорились о случае, занимавшем в это время, вместе с дуэлью Каменского, всех петербуржцев.

Это было дело директора департамента, пойманного и уличенного в преступлении, предусмотренном статьей 995.

— Какая мерзость,— с гадливостью сказал Бе.

— Что же тут дурного? Я вам в вашей литературе укажу на проект одного немецкого писателя, который прямо предлагает, чтобы это не считалось преступлением, и возможен был брак между мужчинами,— сказал Сковородников, жадно, с всхлюпыванием затягиваясь смятой папиросой, которую он держал между корнями пальцев у ладони, и громко захохотал.

— Да не может быть,— сказал Бе.

— Я вам покажу,— сказал Сковородников, цитируя полное заглавие сочинения и даже год и место издания.

— Говорят, его в какой-то сибирский город губернатором назначают,— сказал Никитин.

— И прекрасно. Архиерей его с крестом встретит. Надо бы архиерея такого же. Я бы им такого рекомендовал,— сказал Сковородников и, бросив окурок папироски в блюдечко, забрал, что мог, бороды и усов в рот и начал жевать их.

В это время вошедший пристав доложил о желании адвоката и Нехлюдова присутствовать при разборе дела Масловой.

— Вот это дело,— сказал Вольф,— это целая романическая история,— и рассказал то, что знал об отношениях Нехлюдова и Масловой.

Поговорив об этом, докурив папиросы и допив чай, сенаторы вышли в залу заседаний, объявили решение по предшествующему делу и приступили к делу Масловой.

Вольф очень обстоятельно своим тонким голосом доложил кассационную жалобу Масловой и опять не совсем беспристрастно, а с очевидным желанием кассирования решения суда.

— Имеете ли что добавить? — обратился председательствующий к Фанарину.

Фанарин встал и, выпятив свою белую широкую грудь, по

пунктам, с удивительной внушительностью и точностью выражения, доказал отступление суда в шести пунктах от точного смысла закона и, кроме того, позволил себе, хотя вкратце, коснуться и самого дела по существу и вопиющей несправедливости его решения. Тон короткой, но сильной речи Фанарина был такой, что он извиняется за то, что настаивает на том, что господа сенаторы с своей проницательностью и юридической мудростью видят и понимают лучше его, но что делает он это только потому, что этого требует взятая им на себя обязанность. После речи Фанарина, казалось, не могло быть ни малейшего сомнения в том, что сенат должен отменить решение суда. Окончив свою речь, Фанарин победоносно улыбнулся. Глядя на своего адвоката и увидав эту улыбку, Нехлюдов был уверен, что дело выиграно. Но, взглянув на сенаторов, он увидал, что Фанарин улыбался и торжествовал один. Сенаторы и товарищ обер-прокурора не улыбались и не торжествовали, а имели вид людей, скучающих и говоривших: «Слыхали мы много вашего брата, и все это ни к чему». Они все, очевидно, были удовлетворены только тогда, когда адвокат кончил и перестал бесполезно задерживать их. Тотчас же по окончании речи адвоката председательствующий обратился к товарищу обер-прокурора. Селенин кратко, но ясно и точно высказался за оставление дела без изменения, находя все поводы к кассации неосновательными. Вслед за этим сенаторы встали и пошли совещаться. В совещательной комнате голоса разделились. Вольф был за кассацию; Бе, поняв, в чем дело, очень горячо стоял тоже за кассацию, живо представив товарищам картину суда и недоразумения присяжных, как он его совершенно верно понял; Никитин, как всегда, стоявший за строгость вообще и за строгую формальность, был против. Все дело решалось голосом Сковородникова. И этот голос стал на сторону отказа преимущественно потому, что решение Нехлюдова жениться на этой девушке во имя нравственных требований было в высшей степени противно ему.

Сковородников был материалист, дарвинист и считал всякие проявления отвлеченной нравственности или, еще хуже, религиозности не только презренным безумием, но личным себе оскорблением. Вся эта возня с этой проституткой и присутствие здесь, в сенате, защищающего ее знаменитого адвоката и самого Нехлюдова было ему в высшей степени противно. И он, засовывая себе в рот бороду и делая гримасы, очень натурально притворился, что он ничего не знает об этом деле, как только то, что поводы к кассации недостаточны, и потому согласен с председательствующим об оставлении жалобы без последствий.

В жалобе было отказано.

— Ужасно! — говорил Нехлюдов, выходя в приемную с адвокатом, укладывавшим свой портфель.— В самом очевидном деле они придираются к форме и отказывают. Ужасно!

— Дело испорчено в суде,— сказал адвокат.

— И Селенин за отказ. Ужасно, ужасно! — продолжал повторять Нехлюдов.— Что же делать теперь?

— А подадим на высочайшее имя. Сами и подайте, пока вы здесь. Я напишу вам.

В это время маленький Вольф, в своих звездах и мундире, вышел в приемную и подошел к Нехлюдову.

— Что делать, милый князь. Не было достаточных поводов,— сказал он, пожимая узкими плечами и закрывая глаза, и прошел, куда ему было нужно.

Вслед за Вольфом вышел и Селенин, узнав от сенаторов, что Нехлюдов, его прежний приятель, был здесь.

— Вот не ожидал тебя здесь встретить,— сказал он, подходя к Нехлюдову, улыбаясь губами, между тем как глаза его оставались грустными.— Я и не знал, что ты в Петербурге.

— А я не знал, что ты обер-прокурор...

— Товарищ,— поправил Селенин.— Как ты в сенате? — спросил он, грустно и уныло глядя на приятеля.— Я знал, что ты в Петербурге. Но каким образом ты здесь?

— Здесь я затем, что надеялся найти справедливость и спасти ни за что осужденную женщину.

— Какую женщину?

— Дело, которое сейчас решили.

— А, дело Масловой,— вспомнив, сказал Селенин.— Совершенно неосновательная жалоба.

— Дело не в жалобе, а в женщине, которая не виновата и несет наказание.

Селенин вздохнул.

— Очень может быть, но...

— Не может быть, а наверно...

— Почему же ты знаешь?

— А потому, что я был присяжным. Я знаю, в чем мы сделали ошибку.

Селенин задумался.

— Надо было заявить тогда же,— сказал он.

— Я заявлял.

— Надо было записать в протокол. Если бы это было при кассационной жалобе...

Селенин, всегда занятый и мало бывавший в свете, очевидно,

ничего не слыхал о романе Нехлюдова; Нехлюдов же, заметив это, решил, что ему и не нужно говорить о своих отношениях к Масловой.

— Да, но ведь и теперь очевидно было, что решение нелепо,— сказал он.

— Сенат не имеет права сказать этого. Если бы сенат позволял себе кассировать решения судов на основании своего взгляда на справедливость самих решений, не говоря уже о том, что сенат потерял бы всякую точку опоры и скорее рисковал бы нарушать справедливость, чем восстановлять ее,— сказал Селенин, вспоминая предшествовавшее дело,— не говоря об этом, решения присяжных потеряли бы все свое значение.

— Я только одно знаю, что женщина эта совершенно невинна и последняя надежда спасти ее от незаслуженного наказания потеряна. Высшее учреждение подтвердило совершенное беззаконие.

— Оно не подтвердило, потому что не входило и не может входить в рассмотрение самого дела,— сказал Селенин, щуря глаза.— Ты, верно, у тетушки остановился,— прибавил он, очевидно желая переменить разговор.— Я вчера узнал от нее, что ты здесь. Графиня приглашала меня вместе с тобой присутствовать на собрании приезжего проповедника,— улыбаясь губами, сказал Селенин.

— Да, я был, но ушел с отвращением,— сердито сказал Нехлюдов, досадуя на то, что Селенин отводит разговор на другое.

— Ну, отчего ж с отвращением? Все-таки это проявление религиозного чувства, хотя и односторонее, сектантское,— сказал Селенин.

— Это какая-то дикая бессмыслица,— сказал Нехлюдов.

— Ну, нет. Тут странно только то, что мы так мало знаем учение нашей церкви, что принимаем за какое-то новое откровение наши же основные догматы,— сказал Селенин, как бы торопясь высказать бывшему приятелю свои новые для него взгляды.

Нехлюдов удивленно-внимательно посмотрел на Селенина. Селенин не опустил глаз, в которых выразилась не только грусть, но и недоброжелательство.

— Да ты разве веришь в догматы церкви? — спросил Нехлюдов.

— Разумеется, верю,— отвечал Селенин, прямо и мертво глядя в глаза Нехлюдову.

Нехлюдов вздохнул.

— Удивительно,— сказал он.

— Впрочем, мы после поговорим,— сказал Селенин.— Иду,— обратился он к почтительно подошедшему к нему судебному приставу.— Непременно надо видеться,— прибавил он, вздыхая.— Только застанешь ли тебя? Меня же всегда застанешь в семь ча-

сов, к обеду. Надеждинская,— он назвал номер.— Много с тех пор воды утекло,— прибавил он, уходя, опять улыбаясь одними губами.

— Приду, если успею,— сказал Нехлюдов, чувствуя, что когда-то близкий и любимый им человек Селенин сделался ему вдруг, вследствие этого короткого разговора, чуждым, далеким и непонятным, если не враждебным.

XXIII

Когда Нехлюдов знал Селенина студентом, это был прекрасный сын, верный товарищ и по своим годам хорошо образованный светский человек, с большим тактом, всегда элегантный и красивый и вместе с тем необыкновенно правдивый и честный. Он учился прекрасно без особенного труда и без малейшего педантизма, получая золотые медали за сочинения.

Он не на словах только, а в действительности целью своей молодой жизни ставил служение людям. Служение это он не представлял себе иначе, как в форме государственной службы, и потому, как только кончил курс, он систематически рассмотрел все деятельности, которым он мог посвятить свои силы, и решил, что он будет полезнее всего во втором отделении собственной канцелярии, заведующей составлением законов, и поступил туда. Но, несмотря на самое точное и добросовестное исполнение всего того, что от него требовалось, он не нашел в этой службе удовлетворения своей потребности быть полезным и не мог вызвать в себе сознания того, что он делает то, что должно. Неудовлетворенность эта, вследствие столкновений с очень мелочным и тщеславным ближайшим начальником, так усилилась, что он вышел из второго отделения и перешел в сенат. В сенате ему было лучше, но то же сознание неудовлетворительности преследовало его.

Он не переставая чувствовал, что было совсем не то, чего он ожидал и что должно было быть. Тут, во время службы в сенате, его родные выхлопотали ему назначение камер-юнкером, и он должен был ехать в шитом мундире, в белом полотняном фартуке, в карете благодарить разных людей за то, что его произвели в должность лакея. Как он ни старался, он никак не мог найти разумного объяснения этой должности. И он еще больше, чем на службе, чувствовал, что это было «не то», а между тем, с одной стороны, не мог отказаться от этого назначения, чтобы не огорчить тех, которые были уверены, что они делают ему этим большое удовольствие, а с другой стороны, назначение это льстило низшим свойствам его природы, и ему доставляло удовольствие видеть себя

в зеркале в шитом золотом мундире и пользоваться тем уважением, которое вызывало это назначение в некоторых людях.

То же случилось с ним и по отношению женитьбы. Ему устроили, с точки зрения света, очень блестящую женитьбу. И он женился тоже преимущественно потому, что, отказавшись, он оскорбил бы, сделал бы больно и желавшей этого брака невесте, и тем, кто устраивал этот брак, и потому, что женитьба на молодой, миловидной, знатной девушке льстила его самолюбию и доставляла удовольствие. Но женитьба очень скоро оказалась еще более «не то», чем служба и придворная должность. После первого ребенка жена не захотела больше иметь детей и стала вести роскошную светскую жизнь, в которой и он волей-неволей должен был участвовать. Она не была особенно красива, была верна ему, и, казалось, не говоря уже о том, что она этим отравляла жизнь мужу и сама ничего, кроме страшных усилий и усталости, не получала от такой жизни,— она все-таки старательно вела ее. Всякие попытки его изменить эту жизнь разбивались, как о каменную стену, об ее уверенность, поддерживаемую всеми ее родными и знакомыми, что так нужно.

Ребенок, девочка с золотистыми длинными локонами и голыми ногами, было существо совершенно чуждое отцу, в особенности потому, что оно было ведено совсем не так, как он хотел этого. Между супругами установилось обычное непонимание и даже нежелание понять друг друга и тихая, молчаливая, скрываемая от посторонних и умеряемая приличиями борьба, делавшая для него жизнь дома очень тяжелою. Так что семейная жизнь оказалась еще более «не то», чем служба и придворное назначение.

Более же всего «не то» было его отношение к религии. Как и все люди его круга и времени, он без малейшего усилия разорвал своим умственным ростом те путы религиозных суеверий, в которых он был воспитан, и сам не знал, когда именно он освободился. Как человек серьезный и честный, он не скрывал этой своей свободы от суеверий официальной религии во время первой молодости, студенчества и сближения с Нехлюдовым. Но с годами и с повышениями его по службе и в особенности с реакцией консерватизма, наступившей в это время в обществе, эта духовная свобода стала мешать ему. Не говоря о домашних отношениях, в особенности при смерти его отца, панихидах по нем, и о том, что мать его желала, чтобы он говел, и что это отчасти требовалось общественным мнением,— по службе приходилось беспрестанно присутствовать на молебнах, освящениях, благодарственных и тому подобных службах: редкий день проходил, чтобы не было какого-нибудь отношения к внешним формам религии, избежать которых нельзя было. Надо было, присутствуя при этих службах, одно из

двух: или притворяться (чего он с своим правдивым характером никогда не мог), что он верит в то, во что не верит, или, признав все эти внешние формы ложью, устроить свою жизнь так, чтобы не быть в необходимости участвовать в том, что он считает ложью. Но для того, чтобы сделать это кажущееся столь неважным дело, надо было очень много: надо было, кроме того, что стать в постоянную борьбу со всеми близкими людьми, надо было еще изменить все свое положение, бросить службу и пожертвовать всей той пользой людям, которую он думал, что приносит на этой службе уже теперь и надеялся еще больше приносить в будущем. И для того, чтобы сделать это, надо было быть твердо уверенным в своей правоте. Он и был твердо уверен в своей правоте, как не может не быть уверен в правоте здравого смысла всякий образованный человек нашего времени, который знает немного историю, знает происхождение религии вообще и о происхождении и распадении церковно-христианской религии. Он не мог не знать, что он был прав, не признавая истинности церковного учения.

Но под давлением жизненных условий он, правдивый человек, допустил маленькую ложь, состоящую в том, что сказал себе, что для того, чтобы утверждать то, что неразумное — неразумно, надо прежде изучить это неразумное. Это была маленькая ложь, но она-то завела его в ту большую ложь, в которой он завяз теперь.

Поставив себе вопрос о том, справедливо ли то православие, в котором он рожден и воспитан, которое требуется от него всеми окружающими, без признания которого он не может продолжать свою полезную для людей деятельность,— он уже предрешал его. И потому для уяснения этого вопроса он взял не Вольтера, Шопенгауера, Спенсера, Копта, а философские книги Гегеля и религиозные сочинения Vinet, Хомякова и, естественно, нашел в них то самое, что ему было нужно: подобие успокоения и оправдания того религиозного учения, в котором он был воспитан и которое разум его давно уже не допускал, но без которого вся жизнь переполнялась неприятностями, а при признании которого все эти неприятности сразу устранялись. И он усвоил себе все те обычные софизмы о том, что отдельный разум человека не может познать истины, что истина открывается только совокупности людей, что единственное средство познания ее есть откровение, что откровение хранится церковью и т. п.; и с тех пор уже мог спокойно, без сознания совершаемой лжи, присутствовать при молебнах, панихидах, обеднях, мог говеть и креститься на образа и мог продолжать служебную деятельность, дававшую ему сознание приносимой пользы и утешение в нерадостной семейной жизни. Он думал, что он верит, но между тем больше, чем в чем-либо другом, он всем существом сознавал, что эта вера его была что-то совсем «не то».

И от этого у него всегда были грустные глаза. И от этого, увидав Нехлюдова, которого он знал тогда, когда все эти лжи еще не установились в нем, он вспомнил себя таким, каким он был тогда; и в особенности после того как он поторопился намекнуть ему на свое религиозное воззрение, он больше чем когда-нибудь почувствовал все это «не то», и ему стало мучительно грустно. Это же самое — после первого впечатления радости увидать старого приятеля — почувствовал и Нехлюдов.

И от этого они оба, пообещав друг другу, что увидятся, оба не искали этого свидания и так и не виделись в этот приезд в Петербург Нехлюдова.

XXIV

Выйдя из сената, Нехлюдов с адвокатом пошли вместе по тротуару. Карете своей адвокат велел ехать за собой и начал рассказывать Нехлюдову историю того директора департамента, про которого говорили сенаторы о том, как его уличили и как вместо каторги, которая по закону предстояла ему, его назначают губернатором в Сибирь. Досказав всю историю и всю гадость ее и еще с особенным удовольствием историю о том, как украдены разными высокопоставленными людьми деньги, собранные на тот все не достраивающийся памятник, мимо которого они проехали сегодня утром, и еще про то, как любовница такого-то нажила миллионы на бирже, и такой-то продал, а такой-то купил жену, адвокат начал еще новое повествование о мошенничествах и всякого рода преступлениях высших чинов государства, сидевших не в остроге, а на председательских креслах в разных учреждениях. Рассказы эти, запас которых был, очевидно, неистощим, доставляли адвокату большое удовольствие, показывая с полною очевидностью то, что средства, употребляемые им, адвокатом, для добывания себе денег, были вполне правильны и невинны в сравнении с теми средствами, которые употреблялись для той же цели высшими чинами в Петербурге. И потому адвокат был очень удивлен, когда Нехлюдов, не дослушав его последней истории о преступлениях высших чинов, простился с ним и, взяв извозчика, поехал домой, на набережную.

Нехлюдову было очень грустно. Ему было грустно преимущественно оттого, что отказ сената утверждал это бессмысленное мучительство над невинной Масловой, и оттого, что этот отказ делал еще более трудным его неизменное решение соединить с ней свою судьбу. Грусть эта усилилась еще от тех ужасных историй царствующего зла, про которые с такой радостью говорил адвокат, и, кроме того, он беспрестанно вспоминал недобрый, холодный, от-

талкивающий взгляд когда-то милого, открытого, благородного Селенина.

Когда Нехлюдов вернулся домой, швейцар с некоторым презрением подал ему записку, которую написала в швейцарской какая-то женщина, как выразился швейцар. Это была записка от матери Шустовой. Она писала, что приезжала благодарить благодетеля, спасителя дочери, и, кроме того, просить, умолять его приехать к ним на Васильевский, в Пятую линию, такую-то квартиру. Это крайне нужно было, писала она ему, для Веры Ефремовны. Пусть он не боится, что его будут утруждать выражением благодарности: про благодарность не будут говорить, а просто будут рады его видеть. Если можно, то не приедет ли он завтра утром.

Другая записка была от бывшего товарища Нехлюдова, флигель-адъютанта Богатырева, которого Нехлюдов просил лично передать приготовленное им прошение от имени сектантов государю. Богатырев своим крупным, решительным почерком писал, что прошение он, как обещал, подаст прямо в руки государю, но что ему пришла мысль: не лучше ли Нехлюдову прежде съездить к тому лицу, от которого зависит это дело, и попросить его.

Нехлюдов после впечатлений последних дней своего пребывания в Петербурге находился в состоянии полной безнадежности достигнуть чего-либо. Его планы, составленные в Москве, казались ему чем-то вроде тех юношеских мечтаний, в которых неизбежно разочаровываются люди, вступающие в жизнь. Но все-таки теперь, будучи в Петербурге, он считал своим долгом исполнить все то, что намеревался сделать, и решил завтра же, побывав у Богатырева, исполнить его совет и поехать к тому лицу, от которого зависело дело сектантов.

Теперь он, достав из портфеля прошение сектантов, перечитывал его, когда к нему постучался и вошел лакей графини Катерины Ивановны с приглашением пожаловать наверх чай кушать.

Нехлюдов сказал, что сейчас придет, и, сложив бумаги в портфель, пошел к тетушке. По дороге наверх он заглянул в окно на улицу и увидал пару рыжих Mariette, и ему вдруг неожиданно стало весело и захотелось улыбаться.

Mariette в шляпе, но уже не в черном, а в каком-то светлом, разных цветов платье сидела с чашкой в руке подле кресла графини и что-то щебетала, блестя своими красивыми смеющимися глазами. В то время, как Нехлюдов входил в комнату, Mariette только что отпустила что-то такое смешное, и смешное неприличное — это Нехлюдов видел по характеру смеха,— что добродушная усатая графиня Катерина Ивановна, вся сотрясаясь толстым своим телом, закатывалась от смеха, а Mariette с особенным

mischievous [1] выражением, перекосив немножко улыбающийся рот и склопив набок энергическое и веселое лицо, молча смотрела на свою собеседницу.

Нехлюдов по нескольким словам понял, что они говорили про вторую новость петербургскую того времени, об эпизоде нового сибирского губернатора, и что Mariette именно в этой области что-то сказала такое смешное, что графиня долго не могла удержаться.

— Ты меня уморишь,— говорила она, закашлявшись.

Нехлюдов поздоровался и присел к ним. И только что он хотел осудить Mariette за ее легкомыслие, как она, заметив серьезное и чуть-чуть недовольное выражение его лица, тотчас же, чтобы поправиться ему,— а ей этого захотелось с тех пор, как она увидала его,— изменила не только выражение своего лица, но все свое душевное настроение. Она вдруг стала серьезной, недовольной своею жизнью и, чего-то ищущая, к чему-то стремящаяся, не то что притворилась, а действительно усвоила себе точно то самое душевное настроение,— хотя она словами никак не могла бы выразить, в чем оно состояло,— в каком был Нехлюдов в эту минуту.

Она спросила его, как он окончил свои дела. Он рассказал про неуспех в сенате и про свою встречу с Селенипым.

— Ах! какая чистая душа! Вот именно chevalier sans peur et sans reproche [2]. Чистая душа,— приложили обе дамы тот постоянный эпитет, под которым Селенин был известен в обществе.

— Что такое его жена? — спросил Нехлюдов.

— Она? Ну, да я не буду осуждать. Но она не понимает его. Что же, неужели и он был за отказ? — спросила она с искренним сочувствием.— Это ужасно, как мне ее жалко! — прибавила она, вздыхая.

Он нахмурился и, желая перемепить разговор, начал говорить о Шустовой, содержавшейся в крепости и выпущенной по ее ходатайству. Он поблагодарил за ходатайство перед мужем и хотел сказать о том, как ужасно думать, что женщина эта и вся семья ее страдали только потому, что никто не напомнил о них, но она не дала ему договорить и сама выразила свое негодование.

— Не говорите мне,— сказала она.— Как только муж сказал мне, что ее можно выпустить, меня именно поразила эта мысль. За что же держали ее, если она не виновата? — высказала она то, что хотел сказать Нехлюдов.— Это возмутительно, возмутительно!

Графиня Катерина Ивановна видела, что Mariette кокетничает с племянником, и это забавляло ее.

— Знаешь что? — сказала она, когда они замолчали,— приез-

---

[1] шаловливым *(франц.)*.

[2] рыцарь без страха и упрека *(франц.)*.

жай завтра вечером к Aline, у ней будет Кизеветер. И ты тоже,— обратилась она к Mariette.

— Ie vous a remarqué [1],— сказала она племяннику.— Он мне сказал, что все, что ты говорил,— я ему рассказала,— все это хороший признак и что ты непременно придешь ко Христу. Непременно приезжай. Скажи ему, Mariette, чтобы он приехал. И сама приезжай.

— Я, графиня, во-первых, не имею никаких прав что-либо советовать князю,— сказала Mariette, глядя на Нехлюдова и этим взглядом устанавливая между ним и ею какое-то полное соглашение об отношении к словам графини и вообще к евангелизму,— и, во-вторых, я не очень люблю, вы знаете...

— Да ты всегда все делаешь навыворот и по-своему.

— Как по-своему? Я верю, как баба самая простая,— сказала она, улыбаясь.— А в-третьих,— продолжала она,— я завтра еду в французский театр...

— Ах! А видел ты эту... ну, как ее? — сказала графиня Катерина Ивановна.

Mariette подсказала имя знаменитой французской актрисы.

— Поезжай непременно,— это удивительно.

— Кого же прежде смотреть, ma tante, актрису или проповедника? — сказал Нехлюдов, улыбаясь.

— Пожалуйста, не лови меня на словах.

— Я думаю, прежде проповедника, а потом французскую актрису, а то как бы совсем не потерять вкуса к проповеди,— сказал Нехлюдов.

— Нет, лучше начать с французского театра, потом покаяться,— сказала Mariette.

— Ну, вы меня на смех не смейте подымать. Проповедник проповедником, а театр театром. Для того чтобы спастись, совсем не нужно сделать в аршин лицо и все плакать. Надо верить, и тогда будет весело.

— Вы, ma tante, лучше всякого проповедника проповедуете.

— А знаете что,— сказала Mariette, задумавшись,— приезжайте завтра ко мне в ложу.

— Я боюсь, что мне нельзя будет...

Разговор перебил лакей с докладом о посетителе. Это был секретарь благотворительного общества, председательницей которого состояла графиня.

— Ну, это прескучный господин. Я лучше его там приму. А потом приду к вам. Напоите его чаем, Mariette,— сказала графиня, уходя своим быстрым вертлявым шагом в залу.

---

[1] Он тебя заметил *(франц.)*.

Mariette сняла перчатку и оголила энергическую, довольно плоскую руку с покрытой перстнями безымянкой.

— Хотите? — сказала она, берясь за серебряный чайник на спирту и странно оттопыривая мизинец.

Лицо ее сделалось серьезно и грустно.

— Мне всегда ужасно-ужасно больно бывает думать, что люди, мнением которых я дорожу, смешивают меня с тем положением, в котором я нахожусь.

Она как будто готова была заплакать, говоря последние слова. И хотя, если разобрать их, слова эти или не имели никакого, или имели очень неопределенный смысл, они Нехлюдову показались необыкновенной глубины, искренности и доброты: так привлекал его к себе тот взгляд блестящих глаз, который сопровождал эти слова молодой, красивой и хорошо одетой женщины.

Нехлюдов смотрел на нее молча и не мог оторвать глаз от ее лица.

— Вы думаете, что я не понимаю вас и всего, что в вас происходит. Ведь то, что вы сделали, всем известно. C'est le secret de polichinelle [1]. И я восхищаюсь этим и одобряю вас.

— Право, нечем восхищаться, я так мало еще сделал.

— Это все равно. Я понимаю ваше чувство и понимаю ее,— ну, хорошо, хорошо, я не буду говорить об этом,— перебила она себя, заметив на его лице неудовольствие.— Но я понимаю еще и то, что, увидев все страдания, весь ужас того, что делается в тюрьмах,— говорила Mariette, желая только одного — привлечь его к себе, своим женским чутьем угадывая все то, что было ему важно и дорого,— вы хотите помочь страдающим, и страдающим так ужасно, так ужасно от людей, от равнодушия, жестокости... Я понимаю, как можно отдать за это жизнь, и сама бы отдала. Но у каждого своя судьба.

— Разве вы не довольны своей судьбой?

— Я? — спросила она, как будто пораженная удивлением, что можно об этом спрашивать.— Я *должна* быть довольна — и довольна. Но есть червяк, который просыпается...

— И ему не надо давать засыпать, надо верить этому голосу,— сказал Нехлюдов, совершенно поддавшись ее обману.

Потом много раз Нехлюдов с стыдом вспоминал весь свой разговор с ней; вспоминал ее не столько лживые, сколько поддельные под него слова и то лицо — будто бы умиленного внимания, с которым она слушала его, когда он рассказывал ей про ужасы острога и про свои впечатления в деревне.

Когда графиня вернулась, они разговаривали как не только

---

[1] Это секрет полишинеля *(франц.)*.

старые, но исключительные друзья, одни понимавшие друг друга среди толпы, не понимавшей их.

Они говорили о несправедливости власти, о страданиях несчастных, о бедности народа, но, в сущности, глаза их, смотревшие друг на друга под шумок разговора, не переставая спрашивали: «Можешь любить меня?» — и отвечали: «Могу»,— и половое чувство, принимая самые неожиданные и радужные формы, влекло их друг к другу.

Уезжая, она сказала ему, что всегда готова служить ему, чем может, и просила его приехать к ней завтра вечером непременно, хоть на минуту, в театр, что ей нужно еще поговорить с ним об одной важной вещи.

— Да и когда я вас увижу опять? — прибавила она, вздохнув, и стала осторожно надевать перчатку на покрытую перстнями руку.— Так скажите, что приедете.

Нехлюдов обещал.

В эту ночь, когда Нехлюдов, оставшись один в своей комнате, лег в постель и потушил свечу, он долго не мог заснуть. Вспоминая о Масловой, о решении сената и о том, что он все-таки решил ехать за нею, о своем отказе от права на землю, ему вдруг, как ответ на эти вопросы, представилось лицо Mariette, ее вздох и взгляд, когда она сказала: «Когда я вас увижу опять?», и ее улыбка,— с такою ясностью, что он как будто видел ее, и сам улыбнулся. «Хорошо ли я сделаю, уехав в Сибирь? И хорошо ли сделаю, лишив себя богатства?» — спросил он себя.

И ответы на эти вопросы в эту светлую петербургскую ночь, видневшуюся сквозь неплотно опущенную штору, были неопределенные. Все спуталось в его голове. Он вызвал в себе прежнее настроение и вспомнил прежний ход мыслей; но мысли эти уже не имели прежней силы убедительности.

«А вдруг все это я выдумал и не буду в силах жить этим: раскаюсь в том, что я поступил хорошо»,— сказал он себе, и, не в силах ответить на эти вопросы, он испытал такое чувство тоски и отчаяния, какого он давно не испытывал. Не в силах разобраться в этих вопросах, он заснул тем тяжелым сном, которым он, бывало, засыпал после большого карточного проигрыша.

XXV

Первое чувство Нехлюдова, когда он проснулся на другое утро, было то, что он накануне сделал какую-то гадость.

Он стал вспоминать: гадости не было, поступка не было дурного, но были мысли, дурные мысли о том, что все его тепереш-

ние намерения — женитьбы на Катюше и отдачи земли крестьянам,— что все это неосуществимые мечты, что всего этого он не выдержит, что все это искусственно, неестественно, а надо жить, как жил.

Поступка дурного не было, но было то, что много хуже дурного поступка: были те мысли, от которых происходят все дурные поступки. Поступок дурной можно не повторить и раскаяться в нем, дурные же мысли родят все дурные поступки.

Дурной поступок только накатывает дорогу к дурным поступкам; дурные же мысли неудержимо влекут по этой дороге.

Повторив в своем воображении утром вчерашние мысли, Нехлюдов удивился тому, как мог он хоть на минуту поверить им. Как ни ново и трудно было то, что он намерен был сделать, он знал, что это была единственная возможная для него теперь жизнь, и как ни привычно и легко было вернуться к прежнему, он знал, что это была смерть. Вчерашний соблазн представился ему теперь тем, что бывает с человеком, когда он разоспался, и ему хочется хоть не спать, а еще поваляться, понежиться в постели, несмотря на то, что он знает, что пора вставать для ожидающего его важного и радостного дела.

В этот день, последний его пребывания в Петербурге, он с утра поехал на Васильевский остров к Шустовой.

Квартира Шустовой была во втором этаже. Нехлюдов по указанию дворника попал на черный ход и по прямой и крутой лестнице вошел прямо в жаркую, густо пахнувшую едой кухню. Пожилая женщина, с засученными рукавами, в фартуке и в очках, стояла у плиты и что-то мешала в дымящейся кастрюле.

— Вам кого? — спросила она строго, глядя поверх очков на вошедшего.

Не успел Нехлюдов назвать себя, как лицо женщины приняло испуганное и радостное выражение.

— Ах, князь! — обтирая руки о фартук, вскрикнула женщина.— Да зачем вы с черной лестницы? Благодетель вы наш! Я мать ей. Погубили ведь было совсем девочку. Спаситель вы наш,— говорила она, хватая Нехлюдова за руку и стараясь поцеловать ее.— Я вчера была у вас. Меня сестра особенно просила. Она здесь. Сюда, сюда, пожалуйте за мной,— говорила мать-Шустова, провожая Нехлюдова через узкую дверь и темный коридорчик и дорогой оправляя то подтыканное платье, то волосы.— Сестра моя Корнилова, верно слышали,— шепотом прибавила она, остановившись перед дверью.— Она была замешана в политических делах. Умнейшая женщина.

Отворив дверь из коридора, мать-Шустова ввела Нехлюдова в маленькую комнатку, где перед столом на диванчике сидела не-

высокая полная девушка в полосатой ситцевой кофточке и с вьющимися белокурыми волосами, окаймлявшими ее круглое и очень бледное, похожее на мать лицо. Против нее сидел, согнувшись вдвое на кресле, в русской, с вышитым воротом рубашке молодой человек с черными усиками и бородкой. Они оба, очевидно, были так увлечены разговором, что оглянулись только тогда, когда Нехлюдов уже вошел в дверь.

— Лида, князь Нехлюдов, тот самый...

Бледная девушка первно вскочила, оправляя выбившуюся из-за уха прядь волос, и испуганно уставилась своими большими серыми глазами на входившего.

— Так вы та самая опасная женщина, за которую просила Вера Ефремовна? — сказал Нехлюдов, улыбаясь и протягивая руку.

— Да, я самая,— сказала Лидия и, во весь рот, открывая ряд прекрасных зубов, улыбнулась доброю, детскою улыбкой.— Это тетя очень хотела вас видеть. Тетя! — обратилась она в дверь приятным нежным голосом.

— Вера Ефремовна была очень огорчена вашим арестом,— сказал Нехлюдов.

— Сюда или сюда садитесь лучше,— говорила Лидия, указывая на мягкое сломанное кресло, с которого только что встал молодой человек.— Мой двоюродный брат — Захаров,— сказала она, заметив взгляд, которым Нехлюдов оглядывал молодого человека.

Молодой человек, так же добродушно улыбаясь, как и сама Лидия, поздоровался с гостем и, когда Нехлюдов сел на его место, взял себе стул от окна и сел рядом. Из другой двери вышел еще белокурый гимназист лет шестнадцати и молча сел на подоконник.

— Вера Ефремовна большой друг с тетей, а я почти не знаю ее,— сказала Лидия.

В это время из соседней комнаты вышла в белой кофточке, подпоясанной кожаным поясом, женщина с очень приятным, умным лицом.

— Здравствуйте, вот спасибо, что приехали,— начала она, как только уселась на диван рядом с Лидией.— Ну, что Верочка? Вы ее видели? Как же она переносит свое положение?

— Она не жалуется,— сказал Нехлюдов,— говорит, что у нее самочувствие олимпийское.

— Ах, Верочка, узнаю ее,— улыбаясь и покачивая головой, сказала тетка.— Ее надо знать. Это великолепная личность. Все для других, ничего для себя.

— Да, она ничего для себя не хотела, а только была озабочена о вашей племяннице. Ее мучало, главное, то, что ее, как она говорила, ни за что взяли.

— Это так,— сказала тетка,— это ужасное дело! Пострадала она, собственно, за меня.

— Да совсем нет, тетя! — сказала Лидия.— Я бы и без вас взяла бумаги.

— Уж позволь мне знать лучше тебя,— продолжала тетка.— Видите ли,— продолжала она, обращаясь к Нехлюдову,— все вышло оттого, что одна личность просила меня приберечь на время его бумаги, а я, не имея квартиры, отнесла ей. А у ней в ту же ночь сделали обыск и взяли и бумаги и ее и вот держали до сих пор, требовали, чтоб она сказала, от кого получила.

— Я и не сказала,— быстро проговорила Лидия, нервно теребя прядь, которая и не мешала ей.

— Да я и не говорю, что ты сказала,— возразила тетка.

— Если они взяли Митина, то никак не через меня,— сказала Лидия, краснея и беспокойно оглядываясь вокруг себя.

— Да ты не говори про это, Лидочка,— сказала мать.

— Отчего же, я хочу рассказать,— сказала Лидия, уже не улыбаясь, а краснея, и уже не оправляя, а крутя на палец свою прядь и все оглядываясь.

— Вчера ведь что было, когда ты стала говорить про это.

— Нисколько... Оставьте, мамаша. Я не сказала, а только промолчала. Когда он допрашивал меня два раза про тетю и про Митина, я ничего не сказала и объявила ему, что ничего отвечать не буду. Тогда этот... Петров...

— Петров сыщик, жандарм и большой негодяй,— вставила тетка, объясняя Нехлюдову слова племянницы.

— Тогда он,— продолжала Лидия, волнуясь и торопясь,— стал уговаривать меня. «Все, говорит, что вы мне скажете, никому повредить не может, а напротив... Если вы скажете, то освободите невинных, которых мы, может быть, напрасно мучим». Ну, а я все-таки сказала, что не скажу. Тогда он говорит: «Ну, хорошо, не говорите ничего, а только не отрицайте того, что я скажу». И он стал называть и назвал Митина.

— Да ты не говори,— сказала тетка.

— Ах, тетя, не мешайте...— И она не переставая тянула себя за прядь волос и все оглядывалась.— И вдруг, представьте себе, на другой день узнаю — мне перестукиванием передают,— что Митин взят. Ну, думаю, я выдала. И так это меня стало мучать, так стало мучать, что я чуть с ума не сошла.

— И оказалось, что совсем не через тебя он был взят,— сказала тетка.

— Да я-то не знала. Думаю — я выдала. Хожу, хожу от стены до стены, не могу не думать. Думаю: выдала. Лягу, закроюсь и слышу — шепчет кто-то мне на ухо: выдала, выдала Митина, Ми-

тина выдала. Знаю, что это галлюцинация, и не могу не слушать. Хочу заснуть — не могу, хочу не думать — тоже не могу. Вот это было ужасно! — говорила Лидия, все более и более волнуясь, наматывая на палец прядь волос и опять разматывая ее и все оглядываясь.

— Лидочка, ты успокойся,— повторила мать, дотрагиваясь до ее плеча.

Но Лидочка не могла уже остановиться.

— Это тем ужасно...— начала она что-то еще, но всхлипнула, не договорив, вскочила с дивана и, зацепившись за кресло, выбежала из комнаты. Мать пошла за ней.

— Перевешать мерзавцев,— проговорил гимназист, сидевший на окне.

— Ты что? — спросила мать.

— Я ничего... Я так,— отвечал гимназист и схватил лежавшую на столе папироску и стал закуривать ее.

XXVI

— Да, для молодых это одиночное заключение ужасно,— сказала тетка, покачивая головой и тоже закуривая папиросу.

— Я думаю, для всех,— сказал Нехлюдов.

— Нет, не для всех,— отвечала тетка.— Для настоящих революционеров, мне рассказывали, это отдых, успокоение. Нелегальный живет вечно в тревоге и материальных лишениях и страхе и за себя, и за других, и за дело, и, наконец, его берут, и все кончено, вся ответственность снята: сиди и отдыхай. Прямо, мне говорили, испытывают радость, когда берут. Ну, а для молодых, невинных — всегда сначала берут невинных, как Лидочка,— для этих первый шок ужасен. Не то, что вас лишили свободы, грубо обращаются, дурно кормят, дурной воздух, вообще всякие лишения — все это ничего. Если б было втрое больше лишений, все бы это переносилось легко, если бы не тот нравственный шок, который получаешь, когда попадешься в первый раз.

— Разве вы испытали?

— Я? Два раза сидела,— улыбаясь грустной приятной улыбкой, сказала тетка.— Когда меня взяли в первый раз — и взяли ни за что,— продолжала она,— мне было двадцать два года, у меня был ребенок, и я была беременна. Как ни тяжело мне было тогда лишение свободы, разлука с ребенком, с мужем, все это было ничто в сравнении с тем, что я почувствовала, когда поняла, что я перестала быть человеком и стала вещью. Я хочу проститься с дочкой — мне говорят, чтобы я шла и садилась на извозчика. Я спра-

шиваю, куда меня везут,— мне отвечают, что я узнаю, когда привезут. Я спрашиваю, в чем меня обвиняют,— мне не отвечают. Когда меня после допроса раздели, одели в тюремное платье за номером, ввели под своды, отперли двери, толкнули туда, и заперли на замок, и ушли, и остался один часовой с ружьем, который ходил молча и изредка заглядывал в щелку моей двери,— мне стало ужасно тяжело. Меня, помню, более всего тогда сразило то, что жандармский офицер, когда допрашивал меня, предложил мне курить. Стало быть, он знает, как любят люди курить, знает, стало быть, и как любят люди свободу, свет, знает, как любят матери детей и дети мать. Так как же они безжалостно оторвали меня от всего, что дорого, и заперли, как дикого зверя? Этого нельзя перенести безнаказанно. Если кто верил в бога и людей, в то, что люди любят друг друга, тот после этого перестанет верить в это. Я с тех пор перестала верить в людей и озлобилась,— закончила она и улыбнулась.

Из двери, куда ушла Лидия, вышла ее мать и объявила, что Лидочка очень расстроилась и не выйдет.

— И за что загублена молодая жизнь? — сказала тетка.— Особенно больно мне потому, что я была невольной причиной.

— Бог даст, на деревенском воздухе поправится,— сказала мать,— пошлем ее к отцу.

— Да, кабы не вы, погибла бы совсем,— сказала тетка.— Спасибо вам. Видеть же вас я хотела затем, чтобы попросить вас передать письмо Вере Ефремовне,— сказала она, доставая письмо из кармана.— Письмо не запечатано, можете прочесть его и разорвать или передать — что найдете более сообразным с вашими убеждениями,— сказала она.— В письме нет ничего компрометирующего.

Нехлюдов взял письмо и, пообещав передать его, встал и, простившись, вышел на улицу.

Письмо он, не прочтя его, запечатал и решил передать по назначению.

XXVII

Последнее дело, задержавшее Нехлюдова в Петербурге, было дело сектантов, прошение которых на имя царя он намеревался подать через бывшего товарища по полку флигель-адъютанта Богатырева. Поутру он приехал к Богатыреву и застал его еще дома, хотя и на отъезде, за завтраком. Богатырев был невысокий коренастый человек, одаренный редкой физической силой — он гнул подковы,— добрый, честный, прямой и даже либеральный. Несмотря на эти свойства, он был близкий человек ко двору, и любил царя и его семью, и умел каким-то удивительным приемом, живя в этой

высшей среде, видеть в ней одно хорошее и не участвовать ни в чем дурном и нечестном. Он никогда не осуждал ни людей, ни мероприятия, а или молчал, или говорил смелым, громким, точно он кричал, голосом то, что ему нужно было сказать, часто при этом смеясь таким же громким смехом. И делал он это не из политичности, а потому, что такой был его характер.

— Ну, чудесно, что ты заехал. Не хочешь позавтракать? А то садись. Бифштекс чудесный. Я всегда с существенного начинаю и кончаю. Ха, ха, ха! Ну, вина выпей,— кричал он, указывая на графин с красным вином.— А я об тебе думал. Прошение я подам. В руки отдам — это верно; только пришло мне в голову, не лучше ли тебе прежде съездить к Топорову.

Нехлюдов поморщился при упоминании Топорова.

— Все от него зависит. Ведь все равно у него же спросят. А может, он сам тебя удовлетворит.

— Если ты советуешь, я поеду.

— И прекрасно. Ну, что Питер, как на тебя действует,— прокричал Богатырев,— скажи, а?

— Чувствую, что загипнотизировываюсь,— сказал Нехлюдов.

— Загипнотизировываешься? — повторил Богатырев и громко захохотал.— Не хочешь, ну как хочешь.— Он вытер салфеткой усы.— Так поедешь? А? Если он не сделает, то давай мне, я завтра же отдам,— прокричал он и, встав из-за стола, перекрестился широким крестом, очевидно так же бессознательно, как он отер рот, и стал застегивать саблю.— А теперь прощай, мне надо ехать.

— Вместе выйдем,— сказал Нехлюдов, с удовольствием пожимая сильную, широкую руку Богатырева, и, как всегда, под приятным впечатлением чего-то здорового, бессознательного, свежего, расстался с ним на крыльце его дома.

Хотя он и не ожидал ничего хорошего от своей поездки, Нехлюдов все-таки, по совету Богатырева, поехал к Топорову, к тому лицу, от которого зависело дело о сектантах.

Должность, которую занимал Топоров, по назначению своему составляла внутреннее противоречие, не видеть которое мог только человек тупой и лишенный нравственного чувства. Топоров обладал обоими этими отрицательными свойствами. Противоречие, заключавшееся в занимаемой им должности, состояло в том, что назначение должности состояло в поддерживании и защите внешними средствами, не исключая и насилия, той церкви, которая по своему же определению установлена самим богом и не может быть поколеблена ни вратами ада, ни какими бы то ни было человеческими усилиями. Это-то божественное и ничем не поколебимое божеское учреждение должно было поддерживать и защищать то человеческое учреждение, во главе которого стоял Топоров с свои-

ми чиновниками. Топоров не видел этого противоречия или не хотел его видеть и потому очень серьезно был озабочен тем, чтобы какой-нибудь ксендз, пастор или сектант не разрушил ту церковь, которую не могут одолеть врата ада. Топоров, как и все люди, лишенные основного религиозного чувства, сознанья равенства и братства людей, был вполне уверен, что народ состоит из существ совершенно других, чем он сам, и что для народа необходимо нужно то, без чего он очень хорошо может обходиться. Сам он в глубине души ни во что не верил и находил такое состояние очень удобным и приятным, но боялся, как бы народ не пришел в такое же состояние, и считал, как он говорил, священной своей обязанностью спасать от этого народ.

Так же как в одной поваренной книге говорится, что раки любят, чтоб их варили живыми, он вполне был убежден, и не в переносном смысле, как это выражение понималось в поваренной книге, а в прямом,— думал и говорил, что народ любит быть суеверным.

Он относился к поддерживаемой им религии так, как относится куровод к падали, которою он кормит своих кур: падаль очень неприятна, но куры любят и едят ее, и потому их надо кормить падалью.

Разумеется, все эти Иверские, Казанские и Смоленские — очень грубое идолопоклонство, но народ любит это и верит в это, и поэтому надо поддерживать эти суеверия. Так думал Топоров, не соображая того, что ему казалось, что народ любит суеверия только потому, что всегда находились и теперь находятся такие жестокие люди, каков и был он, Топоров, которые, просветившись, употребляют свой свет не на то, на что они должны бы употреблять его,— на помощь выбивающемуся из мрака невежества народу, а только на то, чтобы закрепить его в нем.

В то время как Нехлюдов вошел в его приемную, Топоров в кабинете своем беседовал с монахиней-игуменьей, бойкой аристократкой, которая распространяла и поддерживала православие в Западном крае среди насильно пригнанных к православию униатов.

Чиновник по особым поручениям, дежуривший в приемной, расспросил Нехлюдова об его деле и, узнав, что Нехлюдов взялся передать прошение сектантов государю, спросил его, не может ли он дать просмотреть прошение. Нехлюдов дал прошение, и чиновник с прошением пошел в кабинет. Монахиня в клобуке, с развевающимся вуалем и тянущимся за ней черным шлейфом, сложив белые с очищенными ногтями руки, в которых она держала топазовые четки, вышла из кабинета и прошла к выходу. Нехлюдова все еще не приглашали войти. Топоров читал прошение и покачи-

вал головой. Он был неприятно удивлен, читая ясно и сильно написанное прошение.

«Если только оно попадет в руки государя, оно может возбудить неприятные вопросы и недоразумения»,— подумал он, дочитав прошение. И, положив его на стол, позвонил и приказал просить Нехлюдова.

Он помнил дело этих сектантов, у него было уже их прошение. Дело состояло в том, что отпавших от православия христиан увенцевали, а потом отдали под суд, но суд оправдал их. Тогда архиерей с губернатором решили на основании незаконности брака разослать мужей, жен и детей в разные места ссылки. Вот эти-то отцы и жены и просили, чтобы их не разлучали. Топоров вспомнил об этом деле, когда оно в первый раз попало к нему. И тогда он колебался, не прекратить ли его. Но вреда не могло быть никакого от утверждения распоряжения о том, чтобы разослать в разные места членов семей этих крестьян; оставление же их на местах могло иметь дурные последствия на остальное население в смысле отпадения их от православия, притом же это показывало усердие архиерея, и потому он дал ход делу так, как оно было направлено.

Теперь же с таким защитником, как Нехлюдов, имевшим связи в Петербурге, дело могло быть предоставлено государю как нечто жестокое или попасть в заграничные газеты, и потому он тотчас же принял неожиданное решение.

— Здравствуйте,— сказал он с видом очень занятого человека, стоя встречая Нехлюдова и тотчас же приступая к делу.

— Я знаю это дело. Как только я взглянул на имена, я вспомнил об этом несчастном деле,— сказал он, взяв в руки прошение и показывая его Нехлюдову.— И я очень благодарен вам, что вы напомнили мне о нем. Это губернские власти переусердствовали...— Нехлюдов молчал, с недобрым чувством глядя на неподвижную маску бледного лица.— И я сделаю распоряжение, чтобы эта мера была отменена и люди эти водворены на место жительства.

— Так что я могу не давать ходу этому прошению? — сказал Нехлюдов.

— Вполне. *Я* вам обещаю это,— сказал он с особенным ударением на слове «я», очевидно вполне уверенный, что *его* честность, *его* слово были самое лучшее ручательство.— Да лучше всего я сейчас напишу. Потрудитесь присесть.

Он подошел к столу и стал писать. Нехлюдов, не садясь, смотрел сверху на этот узкий плешивый череп, на эту с толстыми синими жилами руку, быстро водящую пером, и удивлялся, зачем делает то, что он делает, и так озабоченно делает, этот ко всему, очевидно, равнодушный человек. Зачем?..

— Так вот-с,— сказал Топоров, запечатывая конверт,— объявите это вашим *клиентам,*— прибавил он, поджимая губы в виде улыбки.

— За что же эти люди страдали? — сказал Нехлюдов, принимая конверт.

Топоров поднял голову и улыбнулся, как будто вопрос Нехлюдова доставлял ему удовольствие.

— Этого я вам не могу сказать. Могу сказать только то, что интересы народа, охраняемые нами, так важны, что излишнее усердие к вопросам веры не так страшно и вредно, как распространяющееся теперь излишнее равнодушие к ним.

— Но каким же образом во имя религии нарушаются самые первые требования добра — разлучаются семьи...

Топоров все так же снисходительно улыбался, очевидно находя милым то, что говорил Нехлюдов. Что бы ни сказал Нехлюдов, Топоров все нашел бы милым и односторонним с высоты того, как он думал, широкого государственного положения, на котором он стоял.

— С точки зрения частного человека это может представляться так,— сказал он,— но с государственной точки зрения представляется несколько иное. Впрочем, мое почтение,— сказал Топоров, наклоняя голову и протягивая руку.

Нехлюдов пожал ее и молча поспешно вышел, раскаиваясь в том, что он пожал эту руку.

«Интересы народа,— повторил он слова Топорова.— Твои интересы, только твои»,— думал он, выходя от Топорова.

И мыслью пробежав по всем тем лицам, на которых проявлялась деятельность учреждений, восстанавливающих справедливость, поддерживающих веру и воспитывающих народ,— от бабы, наказанной за беспатентную торговлю вином, и малого за воровство, и бродягу за бродяжничество, и поджигателя за поджог, и банкира за расхищение, и тут же эту несчастную Лидию за то только, что от нее можно было получить нужные сведения, и сектантов за нарушение православия, и Гуркевича за желание конституции,— Нехлюдову с необыкновенной ясностью пришла мысль о том, что всех этих людей хватали, запирали или ссылали совсем не потому, что эти люди нарушали справедливость или совершали беззакония, а только потому, что они мешали чиновникам и богатым владеть тем богатством, которое они собирали с народа.

А этому мешала и баба, торговавшая без патента, и вор, шляющийся по городу, и Лидия с прокламациями, и сектанты, разрушающие суеверия, и Гуркевич с конституцией. И потому Нехлюдову казалось совершенно ясно, что все эти чиновники, начиная от мужа его тетки, сенаторов и Топорова, до всех тех маленьких, чи-

стых и корректных господ, которые сидели за столами в министерствах,— нисколько не смущались тем, что страдали невинные, а были озабочены только тем, как бы устранить всех опасных.

Так что не только не соблюдалось правило о прощении десяти виновных для того, чтобы не обвинить невинного, а, напротив, так же, как для того, чтобы вырезать гнилое, приходится захватить свежего,— устранялись посредством наказания десять безопасных для того, чтобы устранить одного истинно опасного.

Такое объяснение всего того, что происходило, казалось Нехлюдову очень просто и ясно, но именно эта простота и ясность и заставляли Нехлюдова колебаться в признании его. Не может же быть, чтобы такое сложное явление имело такое простое и ужасное объяснение, не могло же быть, чтобы все те слова о справедливости, добре, законе, вере, боге и т. п. были только слова и прикрывали самую грубую корысть и жестокость.

XXVIII

Нехлюдов уехал бы в тот же день вечером, но он обещал Mariette быть у нее в театре, и хотя он знал, что этого не надо было делать, он все-таки, кривя перед самим собой душой, поехал, считая себя обязанным данным словом.

«Могу ли я противостоять этим соблазнам? — не совсем искренно думал он.— Посмотрю в последний раз».

Переодевшись во фрак, он приехал ко второму акту вечной «Dame aux camélias» [1], в которой приезжая актриса еще по-новому показывала, как умирают чахоточные женщины.

Театр был полон, и бенуар Mariette тотчас же, с уважением к тому лицу, кто спросил про него, указали Нехлюдову.

В коридоре стоял ливрейный лакей и, как знакомому, поклонился и отворил ему дверь.

Все ряды противоположных лож с сидящими и стоящими за ними фигурами и близкие спины, и седые, полуседые, лысые, плешивые и помаженные, завитые головы сидевших в партере — все зрители были сосредоточены в созерцании нарядной, в шелку и кружевах, ломавшейся и ненатуральным голосом говорившей монолог худой, костлявой актрисы. Кто-то шикнул, когда отворилась дверь, и две струи холодного и теплого воздуха пробежали по лицу Нехлюдова.

В ложе была Mariette и незнакомая дама в красной накидке и большой, грузной прическе и двое мужчин: генерал, муж Mariette,

[1] «Дамы с камелиями» *(франц.)*.

красивый, высокий человек с строгим, непроницаемым горбоносым лицом и военной, ватой и крашениной подделанной высокой грудью, и белокурый плешивый человек с пробритым с фосеткой подбородком между двумя торжественными бакенбардами. Mariette, грациозная, тонкая, элегантная, декольте, с своими крепкими мускулистыми плечами, спускающимися покато от шеи, на соединении которой с плечами чернела родинка, тотчас же оглянулась и, указывая Нехлюдову веером на стул сзади себя, приветственно-благодарно и, как ему показалось, многозначительно улыбнулась ему. Муж ее спокойно, как все он делал, взгляпул на Нехлюдова и наклонил голову. Так и видно в нем было — в его позе, его взгляде, которым он обменялся с женою,— властелин, собственник красивой жены.

Когда кончился монолог, театр затрещал от рукоплесканий. Mariette встала и, сдерживая шуршащую шелковую юбку, вышла в заднюю часть ложи и познакомила мужа с Нехлюдовым. Генерал не переставая улыбался глазами и, сказав, что он очень рад, спокойно и непроницаемо замолчал.

— Мне нынче ехать надо, но я обещал вам,— сказал Нехлюдов, обращаясь к Mariette.

— Если вы меня не хотите видеть, то увидите удивительную актрису,— отвечая на смысл его слов, сказала Mariette.— Не правда ли, как она хороша была в последней сцене? — обратилась она к мужу.

Муж наклонил голову.

— Это не трогает меня,— сказал Нехлюдов.— Я так много видел нынче настоящих несчастий, что...

— Да садитесь, расскажите.

Муж прислушивался и иронически все больше и больше улыбался глазами.

— Я был у той женщины, которую выпустили и которую держали так долго; совсем разбитое существо.

— Это та женщина, о которой я тебе говорила,— сказала Mariette мужу.

— Да, я очень рад был, что ее можно было освободить,— спокойно сказал он, кивая головой и совсем уже иронически, как показалось Нехлюдову, улыбаясь под усами.— Я пойду курить.

Нехлюдов сидел, ожидая, что Mariette скажет ему то *что-то,* что́ она имела сказать ему, но она ничего не сказала ему и даже не искала сказать, а шутила и говорила о пьесе, которая, она думала, должна была особенно тронуть Нехлюдова.

Нехлюдов видел, что ей и не нужно было ничего сказать ему, но нужно было только показаться ему во всей прелести своего вечернего туалета, с своими плечами и родинкой, и ему было и приятно и гадко в одно и то же время.

Тот покров прелести, который был прежде на всем этом, был теперь для Нехлюдова не то что снят, но он видел, что́ было под покровом. Глядя на Mariette, он любовался ею, но знал, что она лгунья, которая живет с мужем, делающим свою карьеру слезами и жизнью сотен и сотен людей, и ей это совершенно все равно, и что все, что она говорила вчера, было неправда, а что ей хочется — он не знал для чего, да и она сама не знала — заставить его полюбить себя. И ему было и привлекательно и противно. Он несколько раз собирался уйти, брался за шляпу и опять оставался. Но, наконец, когда муж, с запахом табаку на своих густых усах, вернулся в ложу и покровительственно-презрительно взглянул на Нехлюдова, как будто не узнавая его, Нехлюдов, не дав затвориться двери, вышел в коридор и, найдя свое пальто, ушел из театра.

Когда он возвращался домой по Невскому, он впереди себя невольно заметил высокую, очень хорошо сложенную и вызывающе нарядно одетую женщину, которая спокойно шла по асфальту широкого тротуара, и на лице ее и во всей фигуре видно было сознание своей скверной власти. Все встречающие и обгоняющие эту женщину оглядывали ее. Нехлюдов шел скорее ее и тоже невольно заглянул ей в лицо. Лицо, вероятно подкрашенное, было красиво, и женщина улыбнулась Нехлюдову, блеснув на него глазами. И странное дело, Нехлюдов тотчас же вспомнил о Mariette, потому что испытал то же чувство влеченья и отвращения, которое он испытывал в театре. Поспешно обогнав ее, Нехлюдов, рассердившись на себя, повернул на Морскую и, выйдя на набережную, стал, удивляя городового, взад и вперед ходить там.

«Так же и та в театре улыбнулась мне, когда я вошел,— думал он,— и тот же смысл был в той и в этой улыбке. Разница только в том, что эта говорит просто и прямо: «Нужна я тебе — бери меня. Не нужна — проходи мимо». Та же притворяется, что она не об этом думает, а живет какими-то высшими, утонченными чувствами, а в основе то же. Эта по крайней мере правдива, а та лжет. Мало того, эта нуждой приведена в свое положение, та же играет, забавляется этой прекрасной, отвратительной и страшной страстью. Эта, уличная женщина,— вонючая, грязная вода, которая предлагается тем, у кого жажда сильнее отвращения; та, в театре,— яд, который незаметно отравляет все, во что попадает.— Нехлюдов вспомнил свою связь с женой предводителя, и на него нахлынули постыдные воспоминания.— Отвратительна животность зверя в человеке,— думал он,— но когда она в чистом виде, ты с высоты своей духовной жизни видишь и презираешь ее, пал ли, или устоял, ты остаешься тем, чем был; но когда это же животное скрывается под мнимо эстетической, поэтической оболочкой и требует перед собой преклонения, тогда, обоготворяя животное, ты весь ухо-

дишь в него, не различая уже хорошего от дурного. Тогда это ужасно».

Нехлюдов видел это теперь так же ясно, как он ясно видел дворцы, часовых, крепость, реку, лодки, биржу.

И как не было успокаивающей, дающей отдых темноты на земле в эту ночь, а был неясный, невеселый, неестественный свет без своего источника, так и в душе Нехлюдова не было больше дающей отдых темноты незнания. Все было ясно. Ясно было, что все то, что считается важным и хорошим, все это ничтожно или гадко, и что весь этот блеск, вся эта роскошь прикрывают преступления старые, всем привычные, не только не наказуемые, но торжествующие и изукрашенные всею тою прелестью, которую только могут придумать люди.

Нехлюдову хотелось забыть это, не видать этого, но он уже не мог не видеть. Хотя он и не видал источника того света, при котором все это открывалось ему, как не видал источника света, лежавшего на Петербурге, и хотя свет этот казался ему неясным, невеселым и неестественным, он не мог не видеть того, что открывалось ему при этом свете, и ему было в одно и то же время и радостно и тревожно.

XXIX

Приехав в Москву, Нехлюдов первым делом поехал в острожную больницу объявить Масловой печальное известие о том, что сенат утвердил решение суда и что надо готовиться к отъезду в Сибирь.

На прошение на высочайшее имя, которое ему написал адвокат и которое он теперь вез в острог Масловой для подписи, он имел мало надежды. Да и странно сказать, ему теперь и не хотелось успеха. Он приготовился к мысли о поездке в Сибирь, о жизни среди сосланных и каторжных, и ему трудно было себе представить, как бы он устроил свою жизнь и жизнь Масловой, если бы ее оправдали. Он вспоминал слова американского писателя Торо, который, в то время как в Америке было рабство, говорил, что единственное место, приличествующее честному гражданину в том государстве, в котором узаконивается и покровительствуется рабство, есть тюрьма. Точно так же думал Нехлюдов, особенно после поездки в Петербург и всего, что он узнал там.

«Да, единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма!» — думал он. И он даже непосредственно испытывал это, подъезжая к тюрьме и входя в ее стены.

Швейцар в больнице, узнав Нехлюдова, сейчас же сообщил ему, что Масловой уж нет у них.

— Где же она?

— Да опять в за́мке.

— Отчего же перевели? — спросил Нехлюдов.

— Ведь это какой народ, ваше сиятельство,— сказал швейцар, презрительно улыбаясь,— шашни завела с фершалом, старший доктор и отправил.

Нехлюдов никак не думал, чтобы Маслова и ее душевное состояние были так близки ему. Известие это ошеломило его. Он испытал чувство, подобное тому, которое испытывают люди при известии о неожиданном большом несчастье. Ему сделалось очень больно. Первое чувство, испытанное им при этом известии, был стыд. Прежде всего он показался себе смешон с своим радостным представлением о ее будто бы изменяющемся душевном состоянии. Все эти слова ее о нежелании принять его жертву, и упреки, и слезы — все это были, подумал он, только хитрости извращенной женщины, желающей как можно лучше воспользоваться им. Ему казалось теперь, что в последнее посещение он видел в ней признаки той неисправимости, которая обозначилась теперь. Все это промелькнуло в его голове, в то время как он истинктивно надевал шляпу и выходил из больницы.

«Но что же делать теперь? — спросил он себя.— Связан ли я с нею? Не освобожден ли я теперь именно этим ее поступком?» — спросил он себя.

Но как только он задал себе этот вопрос, он тотчас же понял, что, сочтя себя освобожденным и бросив ее, он накажет не ее, чего ему хотелось, а себя, и ему стало страшно.

«Нет! То, что случилось, не может изменить — может только подтвердить мое решение. Она пусть делает то, что вытекает из ее душевного состояния,— шашни с фельдшером, так шашни с фельдшером — это ее дело... А мое дело — делать то, чего требует от меня моя совесть,— сказал он себе.— Совесть же моя требует жертвы своей свободой для искупления моего греха, и решение мое жениться на ней, хотя и фиктивным браком, и пойти за ней, куда бы ее ни послали, остается неизменным»,— с злым упрямством сказал он себе и, выйдя из больницы, решительным шагом направился к большим воротам острога.

Подойдя к воротам, он попросил дежурного доложить смотрителю о том, что желал бы видеть Маслову. Дежурный знал Нехлюдова и, как знакомому человеку, сообщил ему их важную острожную новость: капитан уволился, и на место его поступил другой, строгий, начальник.

— Строгости пошли теперь — беда,— сказал надзиратель.— Он здесь теперь, сейчас доложат.

Действительно, смотритель был в тюрьме и скоро вышел к Не-

хлюдову. Новый смотритель был высокий костлявый человек с выдающимися мослаками над щеками, очень медлительный в движениях и мрачный.

— Свидания разрешают в определенные дни в посетительской,— сказал он, не глядя на Нехлюдова.

— Но мне нужно подписать прошение на высочайшее имя.

— Можете передать мне.

— Мне нужно самому видеть арестантку. Мне всегда разрешали прежде.

— То было прежде,— бегло взглянув на Нехлюдова, сказал смотритель.

— Я имею разрешение от губернатора,— настаивал Нехлюдов, доставая бумажник.

— Позвольте,— все так же, не глядя в глаза, сказал смотритель, и, взяв длинными сухими белыми пальцами, из которых на указательном было золотое кольцо, поданную Нехлюдовым бумагу, он медленно прочел ее.— Пожалуйте в контору,— сказал он.

В конторе в этот раз никого не было. Смотритель сел за стол, перебирая лежавшие на нем бумаги, очевидно намереваясь присутствовать сам при свидании. Когда Нехлюдов спросил его, не может ли он видеть политическую Богодуховскую, то смотритель коротко ответил, что этого нельзя.

— Свиданий с политическими не полагается,— сказал он и опять погрузился в чтение бумаг.

Имея в кармане письмо к Богодуховской, Нехлюдов чувствовал себя в положении провинившегося человека, замыслы которого были открыты и разрушены.

Когда Маслова вошла в контору, смотритель поднял голову и, не глядя ни на Маслову, ни на Нехлюдова, сказал:

— Можете! — и продолжал заниматься своими бумагами.

Маслова была одета опять по-прежнему в белой кофте, юбке и косынке. Подойдя к Нехлюдову и увидав его холодное, злое лицо, она багрово покраснела и, перебирая рукою край кофты, опустила глаза. Смущение ее было для Нехлюдова подтверждением слов больничного швейцара.

Нехлюдов хотел обращаться с ней, как в прежний раз, но *не мог,* как он хотел, подать руки; так она теперь была противна ему.

— Я привез вам дурное известие,— сказал он ровным голосом, не глядя на нее и не подавая руки,— в сенате отказали.

— Я так и знала,— сказала она странным голосом, точно она задыхалась.

По-прежнему Нехлюдов спросил бы, почему она говорит, что так и знала; теперь он только взглянул на нее. Глаза ее были полны слез.

Но это не только не смягчило, а, напротив, еще более раздражило его против нее.

Смотритель встал и стал ходить взад и вперед по комнате.

Несмотря на все отвращение, которое испытывал теперь Нехлюдов к Масловой, он все-таки счел нужным выразить ей сожаление о сенатском отказе.

— Вы не отчаивайтесь,— сказал он,— прошение на высочайшее имя может выйти, и я надеюсь, что...

— Да я не об этом...— сказала она, жалостно мокрыми и косящими глазами глядя на него.

— А что же?

— Вы были в больнице, и вам, верно, сказали про меня...

— Да что ж, это ваше дело,— нахмурившись, холодно сказал Нехлюдов.

Затихшее было жестокое чувство оскорбленной гордости поднялось в нем с новой силой, как только она упомянула о больнице. «Он, человек света, за которого за счастье сочла бы выйти всякая девушка высшего круга, предложил себя мужем этой женщине, и она не могла подождать и завела шашни с фельдшером»,— думал он, с ненавистью глядя на нее.

— Вы вот подпишите прошение,— сказал он и, достав из кармана большой конверт, выложил его на стол. Она утерла слезы концом косынки и села за стол, спрашивая, где и что писать.

Он показал ей, что и где писать, и она села за стол, оправляя левой рукой рукав правой; он же стоял над ней и молча глядел на ее пригнувшуюся к столу спину, изредка вздрагивавшую от сдерживаемых рыданий, и в душе его боролись два чувства — зла и добра, оскорбленной гордости и жалости к ней, страдающей, и последнее чувство победило.

Что было прежде,— прежде ли он сердцем пожалел ее, или прежде вспомнил себя, свои грехи, свою гадость именно в том, в чем он упрекал ее,— он не помнил. Но вдруг в одно и то же время он почувствовал себя виноватым и пожалел ее.

Подписав прошение и отерев испачканный палец об юбку, она встала и взглянула на него.

— Что бы ни вышло и что бы ни было, ничто не изменит моего решения,— сказал Нехлюдов.

Мысль о том, что он прощает ее, усиливала в нем чувство жалости и нежности к ней, и ему хотелось утешить ее.

— Что я сказал, то сделаю. Куда бы вас ни послали, я буду с вами.

— Напрасно,— поспешно перебила она его и вся рассияла.

— Вспомните, что вам нужно в дорогу.

— Кажется, ничего особенного. Благодарствуйте.

Смотритель подошел к ним, и Нехлюдов, не дожидаясь его замечания, простился с ней и вышел, испытывая никогда прежде не испытанное чувство тихой радости, спокойствия и любви ко всем людям. Радовало и подымало Нехлюдова на не испытанную им высоту сознание того, что никакие поступки Масловой не могут изменить его любви к ней. Пускай она заводит шашни с фельдшером — это ее дело: он любит ее не для себя, а для нее и для бога.

А между тем шашни с фельдшером, за которые Маслова была изгнана из больницы и в существование которых поверил Нехлюдов, состояли только в том, что, по распоряжению фельдшерицы придя за грудным чаем в аптеку, помещавшуюся в конце коридора, и застав там одного фельдшера, высокого с угреватым лицом Устинова, который уже давно надоедал ей своим приставанием, Маслова, вырываясь от него, так сильно оттолкнула его, что он ткнулся о полку, с которой упали и разбились две склянки.

Проходивший в это время по коридору старший доктор, услыхав звон разбитой посуды и увидав выбежавшую раскрасневшуюся Маслову, сердито крикнул на нее:

— Ну, матушка, если ты здесь будешь шашни заводить, я тебя спроважу. Что такое? — обратился он к фельдшеру, поверх очков строго глядя на него.

Фельдшер, улыбаясь, стал оправдываться. Доктор, не дослушав его, поднял голову так, что стал смотреть в очки, и прошел в палаты и в тот же день сказал смотрителю о том, чтобы прислали на место Масловой другую помощницу, постепеннее. В этом только и состояли шашни Масловой с фельдшером. Изгнание это из больницы под предлогом шашней с мужчинами было для Масловой особенно больно тем, что после ее встречи с Нехлюдовым давно уже опротивевшие ей отношения с мужчинами сделались ей особенно отвратительны. То, что судя по ее прошедшему и теперешнему положению, всякий, и между прочим угреватый фельдшер, считал себя вправе оскорблять ее и удивлялся ее отказу, было ей ужасно обидно и вызывало в ней жалость к самой себе и слезы. Теперь, выйдя к Нехлюдову, она хотела оправдаться перед ним в том несправедливом обвинении, которое он, наверное, услышит. Но, начав оправдываться, почувствовала, что он не верит, что ее оправдания только подтверждают его подозрения, и слезы вступили ей в горло, и она замолчала.

Маслова все еще думала и продолжала уверять себя, что она, как она это высказала ему во второе свидание, не простила ему и ненавидит его, но она уже давно опять любила его и любила так, что невольно исполняла все то, что и чего он желал от нее: пере-

стала пить, курить, оставила кокетство и поступила в больницу служанкой. Все это она делала потому, что знала, что он желает этого. Если она так решительно отказывалась всякий раз, когда он упоминал об этом, принять его жертву жениться на ней, то это происходило и оттого, что ей хотелось повторить те гордые слова, которые она раз сказала ему, и, главное, оттого, что она знала, что брак с нею сделает его несчастье. Она твердо решила, что не примет его жертвы, а между тем ей было мучительно думать, что он презирает ее, думает, что она продолжает быть такою, какою она была, и не видит той перемены, которая произошла в ней. То, что он может думать теперь, что она сделала что-нибудь дурное в больнице, мучало ее больше, чем известие о том, что она окончательно приговорена к каторге.

XXX

Маслову могли отправить с первой отходящей партией, и потому Нехлюдов готовился к отъезду. Но дел у него было столько, что он чувствовал, что сколько бы времени свободного у него ни было, он никогда не окончит их. Было совершенно противоположное тому, что было прежде. Прежде надо было придумывать, что делать, и интерес дела был всегда один и тот же — Дмитрий Иванович Нехлюдов; а между тем, несмотря на то, что весь интерес жизни сосредоточивался тогда на Дмитрии Ивановиче, все дела эти были скучны. Теперь все дела касались других людей, а не Дмитрия Ивановича, и все были интересны и увлекательны, и дел этих было пропасть.

Мало того, прежде занятия делами Дмитрия Ивановича всегда вызывали досаду, раздражение; эти же чужие дела большей частью вызывали радостное настроение.

Дела, занимавшие в это время Нехлюдова, разделялись на три отдела; он сам с своим привычным педантизмом разделял их так и сообразно этому разложил в три портфеля.

Первое дело касалось Масловой и помощи ей. Это дело теперь состояло в ходатайстве о поддержании поданного на высочайшее имя прошения и в приготовлении к путешествию в Сибирь.

Второе дело было устройство имений. В Панове земля была отдана крестьянам под условием уплачивания ими ренты для общих их крестьянских потребностей. Но для того чтобы закрепить эту сделку, надо было составить и подписать условие и завещание. В Кузминском же дело оставалось еще так, как он сам устроил его, то есть, что деньги за землю должен был получать он, но нужно было установить сроки и определить, сколько брать из этих денег для жизни и сколько оставить в пользу крестьян. Не зная,

какие расходы будут предстоять ему при его поездке в Сибирь, он не решился еще лишиться этого дохода, хотя наполовину убавил его.

Третье дело было помощь арестантам, которые все чаще и чаще обращались к нему.

Сначала, приходя в сношение с арестантами, обращавшимися к нему за помощью, он тотчас же принимался ходатайствовать за них, стараясь облегчить их участь; но потом явилось так много просителей, что он почувствовал невозможность помочь каждому из них и невольно был приведен к четвертому делу, более всех других в последнее время занявшему его.

Четвертое дело это состояло в разрешении вопроса о том, что такое, зачем и откуда взялось это удивительное учреждение, называемое уголовным судом, результатом которого был тот острог, с жителями которого он отчасти ознакомился, и все те места заключения, от Петропавловской крепости до Сахалина, где томились сотни, тысячи жертв этого удивительного для него уголовного закона.

Из личных отношений с арестантами, из расспросов адвоката, острожного священника, смотрителя и из списков содержащихся Нехлюдов пришел к заключению, что состав арестантов, так называемых преступников, разделяется на пять разрядов людей.

Один, первый, разряд — люди совершенно невинные, жертвы судебных ошибок, как мнимый поджигатель Меньшов, как Маслова и другие. Людей этого разряда было не очень много, по наблюдениям священника — около семи процентов, но положение этих людей вызывало особенный интерес.

Другой разряд составляли люди, осужденные за поступки, совершенные в исключительных обстоятельствах, как озлобление, ревность, опьянение и т. п., такие поступки, которые почти наверное совершили бы в таких же условиях все те, которые судили и наказывали их. Этот разряд составлял, по наблюдению Нехлюдова, едва ли не более половины всех преступников,

Третий разряд составляли люди, наказанные за то, что они совершали, по их понятиям, самые обыкновенные и даже хорошие поступки, но такие, которые, по понятиям чуждых им людей, писавших законы, считались преступлениями. К этому разряду принадлежали люди, тайно торгующие вином, перевозящие контрабанду, рвущие траву, собирающие дрова в больших владельческих и казенных лесах. К этим же людям принадлежали ворующие горцы и еще неверующие люди, обворовывающие церкви.

Четвертый разряд составляли люди, потому только зачисленные в преступники, что они стояли нравственно выше среднего уровня общества. Таковы были сектанты, таковы были поляки,

черкесы, бунтовавшие за свою независимость, таковы были и политические преступники — социалисты и стачечники, осужденные за сопротивление властям. Процент таких людей, самых лучших общества, по наблюдению Нехлюдова, был очень большой.

Пятый разряд, наконец, составляли люди, перед которыми общество было гораздо больше виновато, чем они перед обществом. Это были люди заброшенные, одуренные постоянным угнетением и соблазнами, как тот мальчик с половиками и сотни других людей, которых видел Нехлюдов в остроге и вне его, которых условия жизни как будто систематически доводят до необходимости того поступка, который называется преступлением. К таким людям принадлежали, по наблюдению Нехлюдова, очень много воров и убийц, с некоторыми из которых он за это время приходил в сношение. К этим людям он, ближе узнав их, причислял и тех развращенных, испорченных людей, которых новая школа называет преступным типом и существование которых в обществе признается главным доказательством необходимости уголовного закона и наказания. Эти так называемые испорченные, преступные, ненормальные типы были, по мнению Нехлюдова, не что иное, как такие же люди, как и те, перед которыми общество виновато более, чем они перед обществом, но перед которыми общество виновато не непосредственно перед ними самими теперь, а в прежнее время виновато прежде еще перед их родителями и предками.

Из этих людей особенно в этом отношении поразил его рецидивист-вор Охотин, незаконный сын проститутки, воспитанник ночлежного дома, очевидно до тридцати лет жизни никогда не встречавший людей более высокой нравственности, чем городовые, и смолоду попавший в шайку воров и вместе с тем одаренный необыкновенным даром комизма, которым он привлекал к себе людей. Он просил у Нехлюдова защиты, а между тем подтрунивал и над собой, и над судьями, и над тюрьмой, и над всеми законами, не только уголовными, но и божескими. Другой был красавец Федоров, убивший и ограбивший с шайкой, которою он руководил, старика чиновника. Это был крестьянин, у отца которого отняли его дом совершенно незаконно, который потом был в солдатах и там пострадал за то, что влюбился в любовницу офицера. Это была привлекательная, страстная натура, человек, желавший во что бы то ни стало наслаждаться, никогда не видавший людей, которые бы для чего-либо воздерживались от своего наслаждения, и никогда не слыхавший слова о том, чтобы была какая-нибудь другая цель в жизни, кроме наслаждения. Нехлюдову было ясно, что оба были богатые натуры и были только запущены и изуродованы, как бывают запущены и изуродованы заброшенные растения. Видел он и одного бродягу и одну женщину, отталки-

вавших своей тупостью и как будто жестокостью, но он никак не мог видеть в них того преступного типа, о котором говорит итальянская школа, а видел только себе лично противных людей, точно таких же, каких он видал на воле во фраках, эполетах и кружевах.

Так вот в исследовании вопроса о том, зачем все эти столь разнообразные люди были посажены в тюрьмы, а другие, точно такие же люди ходили на воле и даже судили этих людей, и состояло четвертое дело, занимавшее в это время Нехлюдова.

Сначала ответ на этот вопрос Нехлюдов надеялся найти в книгах и купил все то, что касалось этого предмета. Он купил книги Ломброзо, и Гарофало, и Ферри, и Листа, и Маудслея, и Тарда и внимательно читал эти книги. Но по мере того как он читал их, он все больше и больше разочаровывался. С ним случилось то, что всегда случается с людьми, обращающимися к науке не для того, чтобы играть роль в науке: писать, спорить, учить, а обращающимися к науке с прямыми, простыми, жизненными вопросами; наука отвечала ему на тысячи разных очень хитрых и мудреных вопросов, имеющих связь с уголовным законом, но только не на тот, на который он искал ответа. Он спрашивал очень простую вещь; он спрашивал: зачем и по какому праву одни люди заперли, мучают, ссылают, секут и убивают других людей, тогда как они сами точно такие же, как и те, которых они мучают, секут, убивают? А ему отвечали рассуждениями о том, есть ли у человека свобода воли, или нет. Можно ли человека по измерению черепа и проч. признать преступным, или нет? Какую роль играет наследственность в преступлении? Есть ли прирожденная безнравственность? Что такое нравственность? Что такое сумасшествие? Что такое вырождение? Что такое темперамент? Как влияют на преступление климат, пища, невежество, подражание, гипнотизм, страсти? Что такое общество? Какие его обязанности? и проч., и проч.

Рассуждения эти напоминали Нехлюдову полученный им раз ответ от маленького мальчика, шедшего из школы. Нехлюдов спросил мальчика, выучился ли он складывать. «Выучился»,— отвечал мальчик. «Ну, сложи: лапа».— «Какая лапа — собачья?» — с хитрым лицом ответил мальчик. Точно такие же ответы в виде вопросов находил Нехлюдов в научных книгах на свой один основной вопрос.

Очень много было там умного, ученого, интересного, но не было ответа на главное: по какому праву одни наказывают других? Не только не было этого ответа, но все рассуждения велись к тому, чтобы объяснить и оправдать наказание, необходимость которого признавалась аксиомой. Нехлюдов читал много, но урывками,

и отсутствие ответа приписывал такому поверхностному изучению, надеясь впоследствии найти этот ответ, и потому не позволял себе еще верить в справедливость того ответа, который в последнее время все чаще и чаще представлялся ему.

XXXI

Отправка партии, в которой шла Маслова, была назначена на 5-е июля. В этот же день приготовился ехать за нею и Нехлюдов. Накануне его отъезда приехала в город, чтоб повидаться с братом, сестра Нехлюдова с мужем.

Сестра Нехлюдова, Наталья Ивановна Рагожинская, была старше брата на десять лет. Он рос отчасти под ее влиянием. Она очень любила его мальчиком, потом, перед самым своим замужеством, они сошлись с ним почти как ровные: она — двадцатипятилетняя девушка, он — пятнадцатилетний мальчик. Она тогда была влюблена в его умершего друга Николеньку Иртенева. Они оба любили Николеньку и любили в нем и себе то, что было в них хорошего и единящего всех людей.

С тех пор они оба развратились: он — военной службой, дурной жизнью, она — замужеством с человеком, которого она полюбила чувственно, но который не только не любил всего того, что было когда-то для нее с Дмитрием самым святым и дорогим, но даже не понимал, что это такое, и приписывал все те стремления к нравственному совершенствованию и служению людям, которыми она жила когда-то, одному, понятному ему, увлечению самолюбием, желанием выказаться перед людьми.

Рагожинский был человек без имени и состояния, но очень ловкий служака, который, искусно лавируя между либерализмом и консерватизмом, пользуясь тем из двух направлений, которое в данное время и в данном случае давало лучшие для его жизни результаты, и, главное, чем-то особенным, чем он нравился женщинам, сделал блестящую относительно судейскую карьеру. Уже человеком не первой молодости он за границей познакомился с Нехлюдовыми, влюбил в себя Наташу, девушку тоже уже не молодую, и женился на ней почти против желания матери, которая видела в этом браке mésalliance [1]. Нехлюдов, хотя и скрывал это от себя, хотя и боролся с этим чувством, ненавидел своего зятя. Антипатичен он ему был своей вульгарностью чувств, самоуверенной ограниченностью и, главное, антипатичен был ему за сестру, которая могла так страстно, эгоистично, чувственно любить эту

[1] неравный брак *(франц.)*.

бедную натуру и в угоду ему могла заглушить все то хорошее, что было в ней. Нехлюдову всегда было мучительно больно думать, что Наташа — жена этого волосатого, с глянцевитой лысиной самоуверенного человека. Он не мог даже удерживать отвращения к его детям. И всякий раз, когда узнавал, что она готовится быть матерью, испытывал чувство, подобное соболезнованию о том, что опять она чем-то дурным заразилась от этого чуждого им всем человека.

Рагожинские приехали одни, без детей,— детей у них было двое: мальчик и девочка,— и остановились в лучшем номере лучшей гостиницы. Наталья Ивановна тотчас же поехала на старую квартиру матери, но, не найдя там брата и узнав от Аграфены Петровны, что он переехал в меблированные комнаты, поехала туда. Грязный служитель, встретив ее в темном, с тяжелым запахом, днем освещавшемся лампою коридоре, объявил ей, что князя нет дома.

Наталья Ивановна пожелала войти в номер брата, чтобы оставить ему записку. Коридорный провел ее.

Войдя в его маленькие две комнатки, Наталья Ивановна внимательно осмотрела их. На всем она увидала знакомую ей чистоту и аккуратность и поразившую ее совершенно новую для него скромность обстановки. На письменном столе она увидала знакомое ей пресс-папье с бронзовой собачкой; тоже знакомо аккуратно разложенные портфели и бумаги, и письменные принадлежности, и томы уложения о наказаниях, и английскую книгу Генри Джорджа, и французскую — Тарда с вложенным в нее знакомым ей кривым большим ножом слоновой кости.

Присев к столу, она написала ему записку, в которой просила его прийти к ней непременно, нынче же, и, с удивлением покачивая головой на то, что она видела, вернулась к себе в гостиницу.

Наталью Ивановну интересовали теперь по отношению брата два вопроса: его женитьба на Катюше, про которую она слышала в своем городе, так как все говорили про это, и его отдача земли крестьянам, которая тоже была всем известна и представлялась многим чем-то политическим и опасным. Женитьба на Катюше, с одной стороны, нравилась Наталье Ивановне. Она любовалась этой решительностью, узнавала в этом его и себя, какими они были оба в те хорошие времена до замужества, но вместе с тем ее брал ужас при мысли о том, что брат ее женится на такой ужасной женщине. Последнее чувство было сильнее, и она решила сколько возможно повлиять на него и удержать его, хотя она и знала, как это трудно.

Другое же дело, отдача земли крестьянам, было не так близко ее сердцу; но муж ее очень возмущался этим и требовал от нее

воздействия на брата. Игнатий Никифорович говорил, что такой поступок есть верх неосновательности, легкомыслия и гордости, что объяснить такой поступок, если есть какая-нибудь возможность объяснить его, можно только желанием выделиться, похвастаться, вызвать о себе разговоры.

— Какой смысл имеет отдача земли крестьянам с платой им самим же себе? — говорил он.— Если уж он хотел это сделать, мог продать им через крестьянский банк. Это имело бы смысл. Вообще это поступок, граничащий с ненормальностью,— говорил Игнатий Никифорович, подумывая уже об опеке, и требовал от жены, чтобы она серьезно переговорила с братом об этом его странном намерении.

XXXII

Вернувшись домой и найдя у себя на столе записку сестры, Нехлюдов тотчас же поехал к ней. Это было вечером. Игнатий Никифорович отдыхал в другой комнате, и Наталья Ивановна одна встретила брата. Она была в черном шелковом платье по талии, с красным бантом на груди, и черные волосы ее были взбиты и причесаны по-модному. Она, очевидно, старательно молодилась для ровесника-мужа. Увидав брата, она вскочила с дивана и быстрым шагом, свистя шелковой юбкой, вышла ему навстречу. Они поцеловались и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. Совершился тот таинственный, невыразимый словами, многозначительный обмен взглядов, в котором все было правда, и начался обмен слов, в котором уже не было той правды. Они не видались со смерти матери.

— Ты потолстела и помолодела,— сказал он.

У нее сморщились губы от удовольствия.

— А ты похудел.

— Ну, что Игнатий Никифорович? — спросил Нехлюдов.

— Он отдыхает. Он не спал ночь.

Много бы тут надо сказать, но слова ничего не сказали, а взгляды сказали, что то, что надо бы сказать, не сказано.

— Я была у тебя.

— Да, я знаю. Я уехал из дома. Мне велико, одиноко, скучно. А мне ничего этого не нужно, так что ты возьми это все, то есть мебель,— все вещи.

— Да, мне сказала Аграфена Петровна. Я была там. Очень тебе благодарна. Но...

В это время лакей гостиницы принес серебряный чайный прибор.

Они помолчали, покуда лакей расставлял чайный прибор. На-

талья Ивановна перешла на кресло против столика и молча засыпала чай. Нехлюдов молчал.

— Ну, что же, Дмитрий, я все знаю,— с решительностью сказала Наташа, взглянув на него.

— Что ж, я очень рад, что ты знаешь.

— Ведь разве ты можешь надеяться исправить ее после такой жизни? — сказала Наталья Ивановна.

Он сидел, не облокотившись, прямо, на маленьком стуле и внимательно слушал ее, стараясь хорошенько понять и хорошенько ответить. Настроение, вызванное в нем последним свиданием с Масловой, еще продолжало наполнять его душу спокойной радостью и благорасположением ко всем людям.

— Я не ее исправить, а себя исправить хочу,— ответил он.

Наталья Ивановна вздохнула.

— Есть другие средства, кроме женитьбы.

— А я думаю, что это лучшее; кроме того, это вводит меня в тот мир, в котором я могу быть полезен.

— Я не думаю,— сказала Наталья Ивановна,— чтобы ты мог быть счастлив.

— Дело не в моем счастье.

— Разумеется, но она, если у ней есть сердце, не может быть счастлива, не может даже желать этого.

— Она и не желает.

— Я понимаю, но жизнь...

— Что жизнь?

— Требует другого.

— Ничего не требует, кроме того, чтобы мы делали, что должно,— сказал Нехлюдов, глядя в ее красивое еще, хотя и покрытое около глаз и рта мелкими морщинками, лицо.

— Не понимаю,— сказала она, вздохнув.

«Бедная, милая! Как она могла так измениться?» — думал Нехлюдов, вспоминая Наташу такою, какая она была незамужем, и испытывая к ней сплетенное из бесчисленных детских воспоминаний нежное чувство.

В это время в комнату вошел, как всегда, высоко неся голову и выпятив широкую грудь, мягко и легко ступая и улыбаясь, Игнатий Никифорович, блестя своими очками, лысиной и черной бородой.

— Здравствуйте, здравствуйте,— проговорил он, делая ненатуральные сознательные ударения.

(Несмотря на то, что в первое время после женитьбы они старались сойтись на «ты», они остались на «вы».)

Они пожали друг другу руку, и Игнатий Никифорович легко опустился на кресло.

— Не помешаю я вашему разговору?

— Нет, я ни от кого не скрываю то, что говорю, и то, что делаю.

Как только Нехлюдов увидал это лицо, увидал эти волосатые руки, услыхал этот покровительственный, самоуверенный тон, кроткое настроение его мгновенно исчезло.

— Да, мы говорили про его намерение,— сказала Наталья Ивановна.— Налить тебе? — прибавила она, взявшись за чайник.

— Да, пожалуйста, какое, собственно, намерение?

— Ехать в Сибирь с той партией арестантов, в которой находится женщина, перед которой я считаю себя виноватым,— выговорил Нехлюдов.

— Я слышал, что не только сопровождать, но и более.

— Да, и жениться, если только она этого захочет.

— Вот как! Но если вам не неприятно, объясните мне ваши мотивы. Я не понимаю их.

— Мотивы те, что женщина эта... что первый шаг ее на пути разврата...— Нехлюдов рассердился на себя за то, что не находил выражения.— Мотивы те, что я виноват, а наказана она.

— Если наказана, то, вероятно, и она не невинна.

— Она совершенно невинна.

И Нехлюдов с ненужным волнением рассказал все дело.

— Да, это упущение председательствующего и потому необдуманность ответа присяжных. Но на этот случай есть сенат.

— Сенат отказал.

— А отказал, то, стало быть, не было основательных поводов кассации,— сказал Игнатий Никифорович, очевидно совершенно разделяя известное мнение о том, что истина есть продукт судоговорения.— Сенат не может входить в рассмотрение дела по существу. Если же действительно есть ошибка суда, то тогда надо просить на высочайшее имя.

— Подано, но нет никакой вероятности успеха. Сделают справку в министерстве, министерство спросит сенат, сенат повторит свое решение, и, как обыкновенно, невинный будет наказан.

— Во-первых, министерство не будет спрашивать сенат,— с улыбкой снисхождения сказал Игнатий Никифорович,— а вытребует подлинное дело из суда и если найдет ошибку, то и даст заключение в этом смысле, а во-вторых, невинные никогда, или по крайней мере как самое редкое исключение, бывают наказаны. А наказываются виновные,— не торопясь, с самодовольной улыбкой говорил Игнатий Никифорович.

— А я так убедился в противном,— заговорил Нехлюдов с недобрым чувством к зятю,— я убедился, что бо́льшая половина людей, присужденных судами, невинна.

— Это как же?

— Невинны просто в прямом смысле слова, как невинна эта женщина в отравлении, как невинен крестьянин, которого я узнал теперь, в убийстве, которого он не совершал; как невинны сын и мать в поджоге, сделанном самим хозяином, которые чуть было не были обвинены.

— Да, разумеется, всегда были и будут судебные ошибки. Человеческое учреждение не может быть совершенно.

— А потом огромная доля невинных потому, что они, воспитавшись в известной среде, не считают совершаемые ими поступки преступлениями.

— Простите, это несправедливо; всякий вор знает, что воровство нехорошо и что не надо воровать, что воровство безнравственно,— со спокойной, самоуверенной, все той же, несколько презрительной улыбкой, которая особенно раздражала Нехлюдова, сказал Игнатий Никифорович.

— Нет, не знает; ему говорят: не воруй, а он видит и знает, что фабриканты крадут его труд, удерживая его плату, что правительство со всеми своими чиновниками, в виде податей, обкрадывает его не переставая.

— Это уже и анархизм,— спокойно определил Игнатий Никифорович значение слов своего шурина.

— Я не знаю, что это, я говорю, что есть,— продолжал Нехлюдов,— знает, что правительство обкрадывает его; знает, что мы, землевладельцы, обокрали его уже давно, отняв у него землю, которая должна быть общим достоянием, а потом, когда он с этой краденой земли соберет сучья на топку своей печи, мы его сажаем в тюрьму и хотим уверить его, что он вор. Ведь он знает, что вор не он, а тот, который украл у него землю, и что всякая restitution [1] того, что у него украдено, есть его обязанность перед своей семьей.

— Не понимаю, а если понимаю, то не согласен. Земля не может не быть чьей-нибудь собственностью. Если вы ее разделите,— начал Игнатий Никифорович с полной и спокойной уверенностью о том, что Нехлюдов социалист и что требования теории социализма состоят в том, чтобы разделить всю землю поровну, а что такое деление очень глупо, и он легко может опровергнуть его,— если вы ее нынче разделите поровну, завтра она опять перейдет в руки более трудолюбивых и способных.

— Никто и не думает делить землю поровну, земля не должна быть ничьей собственностью, не должна быть предметом купли и продажи или займа.

— Право собственности прирожденно человеку. Без права

[1] возмещение *(франц.)*.

собственности не будет никакого интереса в обработке земли. Уничтожьте право собственности, и мы вернемся к дикому состоянию,— авторитетно произнес Игнатий Никифорович, повторяя тот обычный аргумент в пользу права земельной собственности, который считается неопровержимым и состоит в том, что жадность к земельной собственности есть признак ее необходимости.

— Напротив, только тогда земля не будет лежать впусте, как теперь, когда землевладельцы, как собака на сене, не допускают до земли тех, кто может, а сами не умеют эксплуатировать ее.

— Послушайте, Дмитрий Иванович, ведь это совершенное безумие! Разве возможно в наше время уничтожение собственности земли? Я знаю, это ваш давнишний dada[1]. Но позвольте мне сказать вам прямо...— И Игнатий Никифорович побледнел, и голос его задрожал: очевидно, этот вопрос близко трогал его.— Я бы советовал вам обдумать этот вопрос хорошенько, прежде чем приступить к практическому разрешению его.

— Вы говорите про мои личные дела?

— Да. Я полагаю, что все мы, поставленные в известное положение, должны нести те обязанности, которые вытекают из этого положения, должны поддерживать те условия быта, в которых мы родились и унаследовали от наших предков и которые должны передать нашим потомкам.

— Я считаю своей обязанностью...

— Позвольте,— не давая себя перебить, продолжал Игнатий Никифорович,— я говорю не за себя и за своих детей. Состояние моих детей обеспечено, и я зарабатываю столько, что мы живем, и полагаю, что и дети будут жить безбедно, и потому мой протест против ваших поступков, позвольте сказать, не вполне обдуманных, вытекает не из личных интересов, а принципиально я не могу согласиться с вами. И советовал бы вам больше подумать, почитать...

— Ну, уж вы мне предоставьте решать мои дела самому и знать, что надо читать и что не надо,— сказал Нехлюдов, побледнев, и, чувствуя, что у него холодеют руки и он не владеет собой, замолчал и стал пить чай.

XXXIII

— Ну, что дети? — спросил Нехлюдов у сестры, немного успокоившись.

Сестра рассказала про детей, что они остались с бабушкой, с его матерью, и, очень довольная тем, что спор с ее мужем прекра-

[1] конек *(франц.)*.

тился, стала рассказывать про то, как ее дети играют в путешествие, точно так же, как когда-то он играл с своими двумя куклами — с черным арапом и куклой, называвшейся француженкой.

— Неужели ты помнишь? — сказал Нехлюдов, улыбаясь.

— И представь себе, они точно так же играют.

Неприятный разговор кончился. Наташа успокоилась, но не хотела при муже говорить о том, что понятно было только брату, и, чтобы начать общий разговор, заговорила о дошедшей досюда петербургской новости — о горе матери-Каменской, потерявшей единственного сына, убитого на дуэли.

Игнатий Никифорович высказал неодобрение тому порядку, при котором убийство на дуэли исключалось из ряда общих уголовных преступлений.

Это замечание его вызвало возражение Нехлюдова, и загорелся опять спор на ту же тему, где все было не договорено, и оба собеседника не высказались, а остались при своих взаимно осуждающих друг друга убеждениях.

Игнатий Никифорович чувствовал, что Нехлюдов осуждает его, презирая всю его деятельность, и ему хотелось показать ему всю несправедливость его суждений. Нехлюдов же, не говоря о досаде, которую он испытывал за то, что зять вмешивался в его дела с землею (в глубине души он чувствовал, что зять, и сестра, и их дети, как наследники его, имеют на это право), негодовал в душе на то, что этот ограниченный человек с полною уверенностью и спокойствием продолжал считать правильным и законным то дело, которое представлялось теперь Нехлюдову несомненно безумным и преступным. Самоуверенность эта раздражала Нехлюдова.

— Что же бы сделал суд? — спросил Нехлюдов.

— Приговорил бы одного из двух дуэлистов, как обыкновенных убийц, к каторжным работам.

У Нехлюдова опять похолодели руки, он горячо заговорил.

— Ну, и что ж бы было? — спросил он.

— Было б справедливо.

— Точно как будто справедливость составляет цель деятельности суда,— сказал Нехлюдов.

— Что же другое?

— Поддержание сословных интересов. Суд, по-моему, есть только административное орудие для поддержания существующего порядка вещей, выгодного нашему сословию.

— Это совершенно новый взгляд,— с спокойной улыбкой сказал Игнатий Никифорович.— Обыкновенно суду приписывается несколько другое назначение.

— Теоретически, а не практически, как я увидал. Суд имеет целью только сохранение общества в настоящем положении и для

этого преследует и казнит как тех, которые стоят выше общего уровня и хотят поднять его, так называемые политические преступники, так и тех, которые стоят ниже его, так называемые преступные типы.

— Не могу согласиться, во-первых, с тем, чтобы преступники, так называемые политические, были казнимы потому, что они стоят выше среднего уровня. Большей частью это отбросы общества, столь же извращенные, хотя несколько иначе, как и те преступные типы, которых вы считаете ниже среднего уровня.

— А я знаю людей, которые стоят несравненно выше своих судей; все сектанты — люди нравственные, твердые...

Но Игнатий Никифорович, с привычкой человека, которого не перебивают, когда он говорит, не слушал Нехлюдова и, тем особенно раздражая его, продолжал говорить в одно время с Нехлюдовым.

— Не могу согласиться и с тем, чтобы суд имел целью поддержание существующего порядка. Суд преследует свои цели: или исправления...

— Хорошо исправление в острогах,— вставил Нехлюдов.

— ...или устранения,— упорно продолжал Игнатий Никифорович,— развращенных и тех зверообразных людей, которые угрожают существованию общества.

— То-то и дело, что оно не делает ни того, ни другого. У общества нет средств делать это.

— Это как? Я не понимаю,— насильно улыбаясь, спросил Игнатий Никифорович.

— Я хочу сказать, что, собственно, разумных наказаний есть только два — те, которые употреблялись в старину: телесное наказание и смертная казнь, но которые вследствие смягчения нравов все более и более выходят из употребления,— сказал Нехлюдов.

— Вот это и ново и удивительно от вас слышать.

— Да, разумно сделать больно человеку, чтобы он вперед не делал того же, за что ему сделали больно, и вполне разумно вредному, опасному для общества члену отрубить голову. Оба эти наказания имеют разумный смысл. Но какой смысл имеет то, чтобы человека, развращенного праздностью и дурным примером, запереть в тюрьму, в условия обеспеченной и обязательной праздности, в сообщество самых развращенных людей? или перевезти зачем-то на казенный счет — каждый стоит более пятисот рублей — из Тульской губернии в Иркутскую или из Курской...

— Но, однако, люди боятся этих путешествий на казенный счет, и если бы не было этих путешествий и тюрем, мы бы не сидели здесь с вами, как сидим теперь.

— Не могут эти тюрьмы обеспечивать нашу безопасность, потому что люди эти сидят там не вечно и их выпускают. Напротив, в этих учреждениях доводят этих людей до высшей степени порока и разврата, то есть увеличивают опасность.

— Вы хотите сказать, что пенитенциарная система должна быть усовершенствована.

— Нельзя ее усовершенствовать. Усовершенствованные тюрьмы стоили бы дороже того, что тратится на народное образование, и легли бы новою тяжестью на тот же народ.

— Но недостатки пенитенциарной системы никак не инвалидируют самый суд,— опять, не слушая шурина, продолжал свою речь Игнатий Никифорович.

— Нельзя исправить эти недостатки,— возвышая голос, говорил Нехлюдов.

— Так что ж? Надо убивать? Или, как один государственный человек предлагал, выкалывать глаза? — сказал Игнатий Никифорович, победоносно улыбаясь.

— Да, это было бы жестоко, но целесообразно. То же, что теперь делается, и жестоко и не только не целесообразно, но до такой степени глупо, что нельзя понять, как могут душевно здоровые люди участвовать в таком нелепом и жестоком деле, как уголовный суд.

— А я вот участвую в этом,— бледнея, сказал Игнатий Никифорович.

— Это ваше дело. Но я не понимаю этого.

— Я думаю, что вы многого не понимаете,— сказал дрожащим голосом Игнатий Никифорович.

— Я видел на суде, как товарищ прокурора всеми силами старался обвинить несчастного мальчика, который во всяком неизвращенном человеке мог возбудить только сострадание; знаю, как другой прокурор допрашивал сектанта и подводил чтение Евангелия под уголовный закон; да и вся деятельность судов состоит только в таких бессмысленных и жестоких поступках.

— Я бы не служил, если бы так думал,— сказал Игнатий Никифорович и встал.

Нехлюдов увидал особенный блеск под очками зятя. «Неужели это слезы?» — подумал Нехлюдов. И действительно, это были слезы оскорбления. Игнатий Никифорович, подойдя к окну, достал платок, откашливаясь, стал протирать очки и, сняв их, отер и глаза. Вернувшись к дивану, Игнатий Никифорович закурил сигару и больше ничего не говорил. Нехлюдову стало больно и стыдно за то, что он до такой степени огорчил зятя и сестру, в особенности потому, что он завтра уезжал и больше не увидится с ними. В смущенном состоянии он простился с ними и поехал домой.

«Очень может быть, что правда то, что я говорил,— по крайней мере он ничего не возразил мне. Но не так надо было говорить. Мало же я изменился, если я мог так увлечься недобрым чувством и так оскорбить его и огорчить бедную Наташу»,— думал он.

XXXIV

Партия, в которой шла Маслова, отправлялась с вокзала в три часа, и потому, чтобы видеть выход партии из острога и с ней вместе дойти до вокзала железной дороги, Нехлюдов намеревался приехать в острог раньше двенадцати.

Укладывая вещи и бумаги, Нехлюдов остановился на своем дневнике, перечитал некоторые места и то, что было записано в нем последнее. Последнее перед отъездом в Петербург было записано: «Катюша не хочет моей жертвы, а хочет своей. Она победила, и я победил. Она радует меня той внутренней переменой, которая, мне кажется,— боюсь верить,— происходит в ней. Боюсь верить, но мне кажется, что она оживает». Тут же, вслед за этим, было написано: «Пережил очень тяжелое и очень радостное. Узнал, что она нехорошо вела себя в больнице. И вдруг сделалось ужасно больно. Не ожидал, как больно. С отвращением и ненавистью я говорил с ней и потом вдруг вспомнил о себе, о том, как я много раз и теперь был, хотя и в мыслях, виноват в том, за что ненавидел ее, и вдруг в одно и то же время я стал противен себе, а она жалка, и мне стало очень хорошо. Только бы всегда вовремя успеть увидать бревно в своем глазу, как бы мы были добрее». На нынешнее число он записал: «Был у Наташи и как раз от довольства собой был недобр, зол, и осталось тяжелое чувство. Ну, да что же делать? С завтрашнего дня новая жизнь. Прощай, старая, и совсем. Много набралось впечатлений, но все еще не могу свести к единству».

Проснувшись на другое утро, первым чувством Нехлюдова было раскаяние о том, что у него вышло с зятем.

«Так нельзя уезжать,— подумал он,— надо съездить к ним и загладить».

Но, взглянув на часы, он увидал, что теперь уже некогда и надо торопиться, чтобы не опоздать к выходу партии. Второпях собравшись и послав с вещами швейцара и Тараса, мужа Федосьи, который ехал с ним, прямо на вокзал, Нехлюдов взял первого попавшегося извозчика и поехал в острог. Арестантский поезд шел за два часа до почтового, на котором ехал Нехлюдов, и потому он совсем рассчитался в своих номерах, не намереваясь более возвращаться.

Стояли тяжелые июльские жары. Не остывшие после душной ночи камни улиц, домов и железо крыш отдавали свое тепло в жаркий, неподвижный воздух. Ветра не было, а если он поднимался, то приносил насыщенный пылью и вонью масляной краски вонючий и жаркий воздух. Народа было мало на улицах, и те, кто были, старались идти в тени домов. Только черно-загорелые от солнца крестьяне-мостовщики в лаптях сидели посередине улиц и хлопали молотками по укладываемым в горячий песок булыжникам, да мрачные городовые, в небеленых кителях и с оранжевыми шнурками револьверов, уныло переминаясь, стояли посреди улиц, да завешанные с одной стороны от солнца конки, запряженные лошадьми в белых капорах, с торчащими в прорехах ушами, звеня, прокатывались вверх и вниз по улицам.

Когда Нехлюдов подъехал к острогу, партия еще не выходила, и в остроге все еще шла начавшаяся с четырех часов утра усиленная работа сдачи и приемки отправляемых арестантов. В отправлявшейся партии было шестьсот двадцать три мужчины и шестьдесят четыре женщины: всех надо было проверить по статейным спискам, отобрать больных и слабых и передать конвойным. Новый смотритель, два помощника его, доктор, фельдшер, конвойный офицер и писарь сидели у выставленного на дворе в тени стены стола с бумагами и канцелярскими принадлежностями и по одному перекликали, осматривали, опрашивали и записывали подходящих к ним друг за другом арестантов.

Стол теперь уже до половины был захвачен лучами солнца. Становилось жарко и в особенности душно от безветрия и дыхания толпы арестантов, стоявших тут же.

— Да что ж это, конца не будет! — говорил, затягиваясь папиросой, высокий толстый, красный, с поднятыми плечами и короткими руками, не переставая куривший в закрывавшие ему рот усы конвойный начальник.— Измучали совсем. Откуда вы их набрали столько? Много ли еще?

Писарь справился.

— Еще двадцать четыре человека да женщины.

— Ну, что стали, подходи!..— крикнул конвойный на теснившихся друг за другом, еще не проверенных арестантов.

Арестанты уже более трех часов стояли в рядах, и не в тени, а на солнце, ожидая очереди.

Работа эта шла внутри острога, снаружи же, у ворот, стоял, как обыкновенно, часовой с ружьем, десятка два ломовых под вещи арестантов и под слабых и у угла кучка родных и друзей, дожидающихся выхода арестантов, чтобы увидать и, если можно, поговорить и передать кое-что отправляемым. К этой кучке присоединился и Нехлюдов.

Он простоял тут около часа. В конце часа за воротами послышалось бряцанье цепей, звуки шагов, начальственные голоса, покашливание и негромкий говор большой толпы. Так продолжалось минут пять, во время которых входили и выходили в калитку надзиратели. Наконец послышалась команда.

С громом отворились ворота, бряцанье цепей стало слышнее, и на улицу вышли конвойные солдаты в белых кителях, с ружьями и — очевидно, как знакомый и привычный маневр,— расстановились правильным широким кругом перед воротами. Когда они установились, послышалась новая команда, и парами стали выходить арестанты в блинообразных шапках на бритых головах, с мешками за плечами, волоча закованные ноги и махая одной свободной рукой, а другой придерживая мешок за спиной. Сначала шли каторжные мужчины, все в одинаковых серых штанах и халатах с тузами на спинах. Все они — молодые, старые, худые, толстые, бледные, красные, черные, усатые, бородатые, безбородые, русские, татары, евреи — выходили, звеня кандалами и бойко махая рукой, как будто собираясь идти куда-то далеко, но, пройдя шагов десять, останавливались и покорно размещались, по четыре в ряд, друг за другом. Вслед за этими, без остановки, потекли из ворот такие же бритые, без ножных кандалов, но скованные рука с рукой наручнями, люди в таких же одеждах. Это были ссыльные... Они так же бойко выходили, останавливались и размещались также по четыре в ряд. Потом шли общественники, потом женщины, тоже по порядку, сначала — каторжные, в острожных серых кафтанах и косынках, потом — женщины ссыльные и добровольно следующие, в своих городских и деревенских одеждах. Некоторые из женщин несли грудных детей за полами серых кафтанов.

С женщинами шли на своих ногах дети, мальчики и девочки. Дети эти, как жеребята в табуне, жались между арестантками. Мужчины становились молча, только изредка покашливая или делая отрывистые замечания. Среди женщин же слышен был несмолкаемый говор. Нехлюдову показалось, что он узнал Маслову, когда она выходила; но потом она затерялась среди большого количества других, и он видел только толпу серых, как бы лишенных человеческого, в особенности женственного свойства существ с детьми и мешками, которые расстанавливались позади мужчин.

Несмотря на то, что всех арестантов считали в стенах тюрьмы, конвойные стали опять считать, сверяя с прежним счетом. Пересчитывание это продолжалось долго, в особенности потому, что некоторые арестанты двигались, переходя с места на место, и тем путали счет конвойных. Конвойные ругали и толкали покорно, но злобно повинующихся арестантов и вновь пересчитывали. Когда всех вновь перечли, конвойный офицер скомандовал что-то, и

в толпе произошло смятение. Слабые мужчины, женщины и дети, перегоняя друг друга, направились к подводам и стали размещать на них мешки и потом сами влезать на них. Влезали и садились женщины с кричащими грудными детьми, веселые, спорящие за места дети и унылые, мрачные арестанты.

Несколько арестантов, сняв шапки, подошли к конвойному офицеру, о чем-то прося его. Как потом узнал Нехлюдов, они просились на подводы. Нехлюдов видел, как конвойный офицер молча, не глядя на просителя, затягивался папиросой, и как потом вдруг замахнулся своей короткой рукой на арестанта, и как тот, втянув бритую голову в плечи, ожидая удара, отскочил от него.

— Я тебя так произведу в дворянство, что будешь помнить! Дойдешь пешком! — прокричал офицер.

Одного только шатающегося длинного старика в ножных кандалах офицер пустил на подводу, и Нехлюдов видел, как этот старик, сняв свою блинообразную шапку, крестился, направляясь к подводам, и как потом долго не мог влезть от кандалов, мешавших поднять слабую старческую закованную ногу, и как сидевшая уже на телеге баба помогла ему, втащив его за руку.

Когда подводы все наполнились мешками и на мешки сели те, которым это было разрешено, конвойный офицер снял фуражку, вытер платком лоб, лысину и красную толстую шею и перекрестился.

— Партия, марш! — скомандовал он.

Солдаты брякнули ружьями, арестанты, сняв шапки, некоторые левыми руками, стали креститься, провожавшие что-то прокричали, что-то прокричали в ответ арестанты, среди женщин поднялся вой, и партия, окруженная солдатами в белых кителях, тронулась, подымая пыль связанными цепями ногами. Впереди шли солдаты, за ними, бренча цепями, кандальные, по четыре в ряд, за ними ссыльные, потом общественники, скованные руками по двое наручнями, потом женщины. Потом уже ехали нагруженные и мешками и слабыми подводы, на одной из которых высоко сидела закутанная женщина и не переставая взвизгивала и рыдала.

XXXV

Шествие было так длинно, что когда передние уже скрылись из вида, подводы с мешками и слабыми только тронулись. Когда подводы тронулись, Нехлюдов сел на дожидавшегося его извозчика и велел ему обогнать партию, с тем чтобы рассмотреть среди нее, нет ли знакомых арестантов среди мужчин, и потом, среди женщин найдя Маслову, спросить у нее, получила ли она послан-

ные ей вещи. Стало очень жарко. Ветру не было, и поднимаемая тысячью ног пыль стояла все время над арестантами, двигавшимися по середине улицы. Арестанты шли скорым шагом, и нерысистая извозчичья лошадка, на которой ехал Нехлюдов, только медленно обгоняла их. Ряды за рядами шли незнакомые странного и страшного вида существа, двигавшиеся тысячами одинако обутых и одетых ног и в такт шагов махавшие, как бы бодря себя, свободными руками. Их было так много, так они были однообразны и в такие особенные странные условия они были поставлены, что Нехлюдову казалось, что это не люди, а какие-то особенные, страшные существа. Это впечатление разрушило в нем только то, что в толпе каторжных он узнал арестанта, убийцу Федорова, и среди ссыльных комика Охотина и еще одного бродягу, обращавшегося к нему. Все почти арестанты оглядывались, косясь на обгонявшую их пролетку и вглядывавшегося в них господина, сидевшего на ней. Федоров тряхнул головой кверху в знак того, что узнал Нехлюдова; Охотин подмигнул глазом. Но ни тот, ни другой не поклонились, считая это непозволенным. Поравнявшись с женщинами, Нехлюдов тотчас же увидал Маслову. Она шла во втором ряду женщин. С края шла раскрасневшаяся коротконогая черноглазая безобразная женщина, подтыкавши халат за пояс,— это была Хорошавка. Потом шла беременная женщина, насилу волочившая ноги, и третья была Маслова. Она несла мешок на плече и прямо глядела перед собой. Лицо ее было спокойно и решительно. Четвертая в ряду с ней была бодро шедшая молодая красивая женщина в коротком халате и по-бабьи подвязанной косынке,— это была Федосья. Нехлюдов слез с пролетки и подошел к двигавшимся женщинам, желая спросить Маслову о вещах и о том, как она себя чувствует, но конвойный унтер-офицер, шедший с этой стороны партии, тотчас же заметив подошедшего, подбежал к нему.

— Нельзя, господин, подходить к партии — не полагается,— кричал он, подходя.

Приблизившись и узнав в лицо Нехлюдова (в остроге уже все знали Нехлюдова), унтер-офицер приложил пальцы к фуражке и, остановившись подле Нехлюдова, сказал:

— Теперь нельзя. На вокзале можете, а здесь не полагается. Не отставай, марш! — крикнул он на арестантов и, бодрясь, несмотря на жару, рысью перебежал в своих новых щегольских сапогах к своему месту.

Нехлюдов вернулся на тротуар и, велев извозчику ехать за собой, пошел в виду партии. Где ни проходила партия, она повсюду обращала на себя смешанное с состраданием и ужасом внимание. Проезжающие высовывались из экипажей и, пока могли видеть, провожали глазами арестантов. Пешеходы останавлива-

лись и удивленно и испуганно смотрели на страшное зрелище. Некоторые подходили и подавали милостыню. Милостыню принимали конвойные. Некоторые, как загипнотизированные, шли за партией, но потом останавливались и, покачивая головами, только провожали партию глазами. Из подъездов и ворот, призывая друг друга, выбегали и из окон вывешивались люди и неподвижно и молча глядели на страшное шествие. На одном из перекрестков партия помешала проехать богатой коляске. На козлах сидел с лоснящимся лицом толстозадый, с рядами пуговиц на спине, кучер, в коляске на заднем месте сидели муж с женой: жена, худая и бледная, в светлой шляпке, с ярким зонтиком, и муж в цилиндре и светлом щегольском пальто. Спереди против них сидели их дети: разубранная и свеженькая, как цветочек, девочка с распущенными белокурыми волосами, тоже с ярким зонтиком, и восьмилетний мальчик с длинной, худой шеей и торчащими ключицами, в матросской шляпе, украшенной длинными лентами. Отец сердито упрекал кучера за то, что он вовремя не объехал задержавшую их партию, а мать брезгливо щурилась и морщилась, закрываясь от солнца и пыли шелковым зонтиком, который она надвинула совсем на лицо. Толстозадый кучер сердито хмурился, выслушивая несправедливые упреки хозяина, который сам же велел ему ехать по этой улице, и с трудом удерживал лоснящихся, взмыленных под оголовками и шеей вороных жеребцов, просивших хода.

Городовой желал всей душой услужить владельцу богатой коляски и пропустить его, приостановив арестантов, но он чувствовал, что в этом шествии была мрачная торжественность, которую нельзя было нарушить даже и для такого богатого господина. Он только приложил руку к козырьку в знак своего уважения перед богатством и строго смотрел на арестантов, как бы обещаясь во всяком случае защитить от них седоков коляски. Так что коляска должна была дождаться прохождения всего шествия и тронулась только тогда, когда прогремел последний ломовой с мешками и сидящими на них арестантками, среди которых истерическая женщина, затихшая было, увидав богатую коляску, начала опять рыдать и взвизгивать. Только тогда слегка шевельнул вожжами кучер, и вороные рысаки, звеня подковами по мостовой, понесли мягко подрагивающую на резиновых шинах коляску на дачу, куда ехали веселиться муж, жена, девочка и мальчик с тонкой шеей и торчащими ключицами.

Ни отец, ни мать не дали ни девочке, ни мальчику объяснения того, что они видели. Так что дети должны были сами разрешить вопрос о значении этого зрелища.

Девочка, сообразив выражение лица отца и матери, разрешила вопрос так, что это были люди совсем другие, чем ее родители и их

знакомые, что это были дурные люди и что потому с ними именно так и надо поступать, как поступлено с ними. И потому девочке было только страшно, и она рада была, когда этих людей перестало быть видно.

Но не смигивая и не спуская глаз смотревший на шествие арестантов мальчик с длинной, худой шеей решил вопрос иначе. Он знал еще твердо и несомненно, узнав это прямо от бога, что люди эти были точно такие же, как и он сам, как и все люди, и что поэтому над этими людьми было кем-то сделано что-то дурное — такое, чего не должно делать; и ему было жалко их, и он испытывал ужас и перед теми людьми, которые были закованы и обриты, и перед теми, которые их заковали и обрили. И оттого у мальчика все больше и больше распухали губы, и он делал большие усилия, чтобы не заплакать, полагая, что плакать в таких случаях стыдно.

XXXVI

Нехлюдов шел тем же скорым шагом, которым шли арестанты, но и легко одетому, в легком пальто ему было ужасно жарко, главное — душно от пыли и неподвижного горячего воздуха, стоявшего в улицах. Пройдя с четверть версты, он сел на извозчика и поехал вперед, но на середине улицы в пролетке ему показалось еще жарче. Он попытался вызвать в себе мысли о вчерашнем разговоре с зятем, но теперь эти мысли уже не волновали его, как утром. Их заслонили впечатления выхода из острога и шествия партии. Главное же — было томительно жарко. У забора, в тени деревьев, сняв фуражки, стояли два мальчика-реалиста над присевшим перед ними на коленки мороженником. Один из мальчиков уже наслаждался, обсасывая роговую ложечку, другой дожидался верхом накладываемого чем-то желтым стаканчика.

— Где бы тут напиться? — спросил Нехлюдов своего извозчика, почувствовав непреодолимое желание освежиться.

— Сейчас тут трактир хороший,— сказал извозчик и, завернув за угол, подвез Нехлюдова к подъезду с большой вывеской.

Пухлый приказчик в рубахе за стойкой и бывшие когда-то белыми половые, за отсутствием посетителей сидевшие у столов, с любопытством оглядели непривычного гостя и предложили свои услуги. Нехлюдов спросил сельтерской воды и сел подальше от окна к маленькому столику с грязной скатертью.

Два человека сидели за столом за чайным прибором и белого стекла бутылкой, обтирали со лбов испарину и что-то миролюбиво высчитывали. Один из них был черный и плешивый, с таким же бордюром черных волос на затылке, какой был у Игнатья Никифо-

ровича. Впечатление это напомнило Нехлюдову опять вчерашний разговор с зятем и свое желание повидаться с ним и сестрой до отъезда. «Едва ли успею до поезда,— подумал он.— Лучше напишу письмо». И, спросив бумаги, конверт и марку, он стал, прихлебывая свежую шипучую воду, обдумывать, что он напишет. Но мысли его разбегались, и он никак не мог составить письма.

«Милая Наташа, не могу уехать под тяжелым впечатлением вчерашнего разговора с Игнатьем Никифоровичем...» — начал он. «Что же дальше? Просить простить за то, что я вчера сказал? Но я сказал то, что думал. И он подумает, что я отрекаюсь. И потом это его вмешательство в мои дела... Нет, не могу»,— и, почувствовав поднявшуюся опять в нем ненависть к этому чуждому, самоуверенному, не понимающему его человеку, Нехлюдов положил неконченное письмо в карман и, расплатившись, вышел на улицу и поехал догонять партию.

Жара еще усилилась. Стены и камни точно дышали жарким воздухом. Ноги, казалось, обжигались о горячую мостовую, и Нехлюдов почувствовал что-то вроде обжога, когда он голой рукой дотронулся до лакированного крыла пролетки.

Лошадь вялой рысцой, постукивая равномерно подковами по пыльной и неровной мостовой, тащилась по улицам; извозчик беспрестанно задремывал; Нехлюдов же сидел, ни о чем не думая, равнодушно глядя перед собою. На спуске улицы, против ворот большого дома, стояла кучка народа и конвойный с ружьем. Нехлюдов остановил извозчика.

— Что это? — спросил он у дворника.

— С арестантом что-то.

Нехлюдов сошел с пролетки и подошел к кучке людей. На неровных камнях покатой у тротуара мостовой лежал головой ниже ног широкий немолодой арестант с рыжей бородой, красным лицом и приплюснутым носом, в сером халате и таких же штанах. Он лежал навзничь, раскрыв ладонями книзу покрытые веснушками руки, и после больших промежутков, равномерно подергиваясь высокой и могучею грудью, всхлипывал, глядя на небо остановившимися, налитыми кровью глазами. Над ним стояли нахмуренный городовой, разносчик, почтальон, приказчик, старая женщина с зонтиком и стриженый мальчик с пустой корзиной.

— Ослабели, сидевши в за́мке, расслабли, а их ведут в самое пекло,— осуждал кого-то приказчик, обращаясь к подошедшему Нехлюдову.

— Помрет, должно,— говорила плачущим голосом женщина с зонтиком.

— Развязать рубаху надо,— сказал почтальон.

Городовой стал дрожащими толстыми пальцами неловко распускать тесемки на жилистой красной шее. Он был, видимо, взволнован и смущен, но все-таки счел нужным обратиться к толпе.

— Чего собрались? И так жарко. От ветра стали.

— Должен доктор свидетельствовать. Которых слабых оставлять. А то повели чуть живого,— говорил приказчик, очевидно щеголяя своим знанием порядков.

Городовой, развязав тесемки рубахи, выпрямился и оглянулся.

— Разойдитесь, говорю. Ведь не ваше дело, чего не видали? — говорил он, обращаясь за сочувствием к Нехлюдову, но, не встретив в его взгляде сочувствия, взглянул на конвойного.

Но конвойный стоял в стороне и, оглядывая свой сбившийся каблук, был совершенно равнодушен к затруднению городового.

— Чье дело, те не заботятся. Людей морить разве порядок?

— Арестант — арестант, а все человек,— говорили в толпе.

— Положите ему голову выше да воды дайте,— сказал Нехлюдов.

— За водой пошли,— отвечал городовой и, взяв под мышки арестанта, с трудом перетащил туловище повыше.

— Что за сборище? — послышался вдруг решительный, начальственный голос, и к собравшейся вокруг арестанта кучке людей быстрыми шагами подошел околоточный в необыкновенно чистом и блестящем кителе и еще более блестящих высоких сапогах.— Разойтись! Нечего тут стоять! — крикнул он на толпу, еще не видя, зачем собралась толпа.

Подойдя же вплоть и увидав умирающего арестанта, он сделал одобрительный знак головой, как будто ожидая этого самого, и обратился к городовому:

— Как так?

Городовой доложил, что шла партия, и арестант упал, конвойный приказал оставить.

— Так что же? В участок надо. Извозчика.

— Побежал дворник,— сказал городовой, прикладывая руку к козырьку.

Приказчик что-то начал было о жаре.

— Твое дело это? А? Иди своей дорогой,— проговорил околоточный и так строго взглянул на него, что приказчик замолк.

— Воды надо дать выпить,— сказал Нехлюдов.

Околоточный строго взглянул и на Нехлюдова, но ничего не сказал. Когда же дворник принес в кружке воду, он велел городовому предложить арестанту. Городовой поднял завалившуюся голову и попытался влить воду в рот, но арестант не принимал ее; вода выливалась по бороде, моча на груди куртку и поскопную пыльную рубаху.

— Вылей на голову! — скомандовал околоточный, и городовой, сняв блинообразную шапку, вылил воду и на рыжие курчавые волосы, и на голый череп.

Глаза арестанта, как будто испуганно, больше открылись, но положение его не изменилось. По лицу его текли грязные потоки от пыли, но рот так же равномерно всхлипывал, и все тело вздрагивало.

— А этот что ж? Взять этого,— обратился околоточный к городовому, указывая на нехлюдовского извозчика.— Давай! Эй, ты!

— Занят,— мрачно, не поднимая глаз, проговорил извозчик.

— Это мой извозчик,— сказал Нехлюдов,— но возьмите его. Я заплачу,— прибавил он, обращаясь к извозчику.

— Ну, чего стали? — крикнул околоточный.— Берись!

Городовой, дворники и конвойный подняли умирающего, понесли к пролетке и посадили на сиденье. Но он не мог сам держаться: голова его заваливалась назад, и все тело съезжало с сиденья.

— Клади лежмя! — скомандовал околоточный.

— Ничего, ваше благородие, я так довезу,— сказал городовой, твердо усаживаясь рядом с умирающим на сиденье и обхватывая его сильной правой рукой под мышку.

Конвойный поднял обутые в коты без подверток ноги и поставил и вытянул их под козла.

Околоточный оглянулся и, увидав на мостовой блинообразную шапку арестанта, поднял ее и надел на завалившуюся назад мокрую голову.

— Марш! — скомандовал он.

Извозчик сердито оглянулся, покачал головой и, сопутствуемый конвойным, тронулся шагом назад к частному дому. Сидевший с арестантом городовой беспрестанно перехватывал спускавшееся с качавшейся во все стороны головой тело. Конвойный, идя подле, поправлял ноги. Нехлюдов пошел за ними.

XXXVII

Подъехав к части мимо пожарного часового, пролетка с арестантом въехала во двор полицейской части и остановилась у одного из подъездов.

На дворе пожарные, засучив рукава, громко разговаривая и смеясь, мыли какие-то дроги.

Как только пролетка остановилась, несколько городовых окружили ее и подхватили безжизненное тело арестанта под мышки и ноги и сняли его с пищавшей под ними пролетки.

Привезший арестанта городовой, сойдя с пролетки, помахал закоченевшей рукой, снял фуражку и перекрестился. Мертвого же понесли в дверь и вверх по лестнице. Нехлюдов пошел за ним. В небольшой грязной комнате, куда внесли мертвого, было четыре койки. На двух сидели в халатах два больных, один косоротый с обвязанной шеей, другой чахоточный. Две койки были свободны. На одну из них положили арестанта. Маленький человечек с блестящими глазами и беспрестанно двигающимися бровями, в одном белье и чулках, быстрыми, мягкими шагами подошел к принесенному арестанту, посмотрел на него, потом на Нехлюдова и громко расхохотался. Это был содержавшийся в приемном покое сумасшедший.

— Хотят испугать меня,— заговорил он.— Только нет — не удастся.

Вслед за городовыми, внесшими мертвого, вошли околоточный и фельдшер.

Фельдшер, подойдя к мертвому, потрогал желтоватую, покрытую веснушками, еще мягкую, но уже мертвенно-бледную руку арестанта, подержал ее, потом пустил. Она безжизненно упала на живот мертвеца.

— Готов,— сказал фельдшер, мотнув головой, но, очевидно для порядка, раскрыл мокрую суровую рубаху мертвеца и, откинув от уха свои курчавые волосы, приложился к желтоватой неподвижной высокой груди арестанта. Все молчали. Фельдшер приподнялся, еще качнул головой и потрогал пальцем сначала одно, потом другое веко над открытыми голубыми остановившимися глазами.

— Не испугаете, не испугаете,— говорил сумасшедший, все время плюя по направлению фельдшера.

— Что ж? — спросил околоточный.

— Что ж? — повторил фельдшер.— В мертвецкую убрать надо.

— Смотрите, верно ли? — спросил околоточный.

— Пора знать,— сказал фельдшер, для чего-то закрывая раскрытую грудь мертвеца.— Да я пошлю за Матвей Иванычем, пускай посмотрит. Петров, сходи,— сказал фельдшер и отошел от мертвеца.

— Снести в мертвецкую,— сказал околоточный.— А ты тогда приходи в канцелярию,— распишешься,— прибавил он конвойному, который все время не отставал от арестанта.

— Слушаю,— отвечал конвойный.

Городовые подняли мертвеца и понесли опять вниз по лестнице. Нехлюдов хотел идти за ними, но сумасшедший задержал его.

— Вы ведь не в заговоре, так дайте папиросочку,— сказал он.

Нехлюдов достал папиросочницу и дал ему. Сумасшедший, водя бровями, стал, очень быстро говоря, рассказывать, как его мучают внушениями.

— Ведь они все против меня и через своих медиумов мучают, терзают меня...

— Извините меня,— сказал Нехлюдов и, не дослушав его, вышел на двор, желая узнать, куда отнесут мертвого.

Городовые с своей ношей уже прошли весь двор и входили в подъезд подвала. Нехлюдов хотел подойти к ним, но околоточный остановил его.

— Вам что нужно?

— Ничего,— отвечал Нехлюдов.

— Ничего, так и ступайте.

Нехлюдов покорился и пошел к своему извозчику. Извозчик его дремал. Нехлюдов разбудил его и поехал опять к вокзалу.

Не отъехал он и ста шагов, как ему встретилась сопутствуемая опять конвойным с ружьем ломовая телега, на которой лежал другой, очевидно уже умерший арестант. Арестант лежал на спине на телеге, и бритая голова его с черной бородкой, покрытая блинообразной шапкой, съехавшей на лицо до носа, тряслась и билась при каждом толчке телеги. Ломовой извозчик в толстых сапогах правил лошадью, идя рядом. Сзади шел городовой. Нехлюдов тронул за плечо своего извозчика.

— Что делают! — сказал извозчик, останавливая лошадь.

Нехлюдов слез с пролетки и вслед за ломовым, опять мимо пожарного часового, вошел на двор участка. На дворе теперь пожарные уже кончили мыть дроги, и на их месте стоял высокий костлявый брандмайор с синим околышем и, заложив руки в карманы, строго смотрел на булапого с наеденной шеей жеребца, которого пожарный водил перед ним. Жеребец припадал на переднюю ногу, и брандмайор сердито говорил что-то стоявшему тут же ветеринару.

Околоточный стоял тут же. Увидав другого мертвеца, он подошел к ломовому.

— Где подняли? — спросил он, неодобрительно покачав головой.

— На Старой Горбатовской,— отвечал городовой.

— Арестант? — спросил брандмайор.

— Так точно.

— Второй нынче,— сказал околоточный.

— Ну, порядки! Да и жара же,— сказал брандмайор и, обратившись к пожарному, уводившему хромого буланого, крикнул: — В угловой денник поставь! Я тебя, сукина сына, научу, как лошадей калечить, какие дороже тебя, шельмы, стоят.

Мертвеца, так же как и первого, подняли с телеги городовые и понесли в приемный покой. Нехлюдов, как загипнотизированный, пошел за ними.

— Вам чего? — спросил его один городовой.

Он, не отвечая, шел туда, куда они несли мертвеца.

Сумасшедший, сидя на койке, жадно курил папиросу, которую ему дал Нехлюдов.

— А, вернулись! — сказал он и расхохотался. Увидав мертвеца, он поморщился.— Опять,— сказал он.— Надоели, ведь не мальчик я, правда? — вопросительно улыбаясь, обратился он к Нехлюдову.

Нехлюдов между тем смотрел на мертвеца, которого теперь никто не заслонял более и лицо которого, прежде скрытое шапкой, было все видно. Как тот арестант был безобразен, так этот был необыкновенно красив и лицом, и всем телом. Это был человек в полном расцвете сил. Несмотря на изуродованную бритьем половину головы, невысокий крутой лоб с возвышениями над черными, теперь безжизненными глазами был очень красив, так же как и небольшой с горбинкой нос над тонкими черными усами. Синеющие теперь губы были сложены в улыбку; небольшая бородка только окаймляла нижнюю часть лица, и на бритой стороне черепа было видно небольшое крепкое и красивое ухо. Выражение лица было и спокойное, и строгое, и доброе. Не говоря уже о том, что по лицу этому видно было, какие возможности духовной жизни были погублены в этом человеке,— по тонким костям рук и скованных ног и по сильным мышцам всех пропорциональных членов видно было, какое это было прекрасное, сильное, ловкое человеческое животное, как животное, в своем роде гораздо более совершенное, чем тот буланый жеребец, за порчу которого так сердился брандмайор. А между тем его заморили, и не только никто не жалел его как человека,— никто не жалел его как напрасно погубленное рабочее животное. Единственное чувство, вызываемое во всех людях его смертью, было чувство досады за хлопоты, которые доставляла необходимость устранить это угрожающее разложением тело.

В приемный покой вошли доктор с фельдшером и частный. Доктор был плотный коренастый человек в чесучовом пиджаке и таких же узких, обтягивавших ему мускулистые ляжки панталонах. Частный был маленький толстяк с шарообразным красным лицом, которое делалось еще круглее от его привычки набирать в щеки воздух и медленно выпускать его. Доктор подсел на койку к мертвецу, так же как и фельдшер, потрогал руки, послушал сердце и встал, обдергивая панталоны.

— Мертвее не бывают,— сказал он.

Частный набрал полный рот воздуха и медленно выпустил его.

— Из какого за́мка? — обратился он к конвойному.

Конвойный ответил и напомнил о кандалах, которые были на умершем.

— Прикажу снять; слава богу, кузнецы есть,— сказал частный и, опять раздув щеки, пошел к двери, медленно выпуская воздух.

— Отчего же это так? — обратился Нехлюдов к доктору.

Доктор посмотрел на него через очки.

— Что отчего так? Что помирают от солнечного удара? А так, сидя без движения, без света всю зиму, и вдруг на солнце, да в такой день, как нынче, да идут толпою, притока воздуха нет. Вот и удар.

— Так зачем же их посылают?

— А это вы их спросите. Да вы, собственно, кто?

— Я посторонний.

— А-а!.. Мое почтение, мне некогда,— сказал доктор и, с досадой отдернув вниз панталоны, направился к койкам больных.

— Ну, твои дела как? — обратился он к косоротому бледному человеку с обвязанной шеей.

Сумасшедший между тем сидел на своей койке и, перестав курить, плевал по направлению доктора.

Нехлюдов сошел вниз на двор и мимо пожарных лошадей, и кур, и часового в медном шлеме прошел в ворота, сел на своего опять заснувшего извозчика и поехал на вокзал.

XXXVIII

Когда Нехлюдов приехал на вокзал, арестанты уже все сидели в вагонах за решетчатыми окнами. На платформе стояло несколько человек провожавших: их не подпускали к вагонам. Конвойные нынче были особенно озабочены. В пути от острога к вокзалу упало и умерло от удара, кроме тех двух человек, которых видел Нехлюдов, еще три человека: один был свезен, так же как первые два, в ближайшую часть, и два упали уже здесь, на вокзале [1]. Озабочены конвойные были не тем, что умерло под их конвоем пять человек, которые могли бы быть живы. Это их не занимало, а занимало их только то, чтобы исполнить все то, что по закону требовалось в этих случаях: сдать куда следует мертвых и их бумаги и вещи и исключить их из счета тех, которых надо везти в Нижний, а это было очень хлопотно, особенно в такую жару.

---

[1] В начале 80-х годов пять человек арестантов умерло в один день от солнечного удара, в то время как их переводили из Бутырского замка на вокзал Нижегородской железной дороги.

И этим-то и были запяты конвойные и потому, пока все это не было сделано, не пускали Нехлюдова и других, просивших об этом, подойти к вагонам. Нехлюдова, однако, все-таки пустили, потому что он дал денег конвойному унтер-офицеру. Унтер-офицер этот пропустил Нехлюдова и просил его только поскорее переговорить и отойти, чтобы не видал начальник. Всех вагонов было восемнадцать, и все, кроме вагона начальства, были битком набиты арестантами. Проходя мимо окон вагонов, Нехлюдов прислушивался к тому, что происходило в них. Во всех вагонах слышался звон цепей, суетня, говор, пересыпанный бессмысленным сквернословием, но нигде не говорилось, как того ожидал Нехлюдов, об упавших дорогой товарищах. Речи касались больше мешков, воды для питья и выбора места. Заглянув в окно одного из вагонов, Нехлюдов увидал в середине его, в проходе, конвойных, которые снимали с арестантов наручни. Арестанты протягивали руки, и один конвойный ключом отпирал замок на наручнях и снимал их. Другой собирал наручни. Пройдя все мужские вагоны, Нехлюдов подошел к женским. Во втором из них слышался равномерный женский стон с приговорами: «О-о-о! батюшки, о-о-о! батюшки!»

Нехлюдов прошел мимо и, по указанию конвойного, подошел к окну третьего вагона. Из окна, как только Нехлюдов приблизил к нему голову, пахнуло жаром, насыщенным густым запахом человеческих испарений, и явственно послышались визгливые женские голоса. На всех лавках сидели раскрасневшиеся потные женщины в халатах и кофтах и звонко переговаривались. Приблизившееся к решетке лицо Нехлюдова обратило их внимание. Ближайшие замолкли и подвинулись к нему. Маслова в одной кофте и без косынки сидела у противоположного окна. Ближе сюда сидела белая улыбающаяся Федосья. Узнав Нехлюдова, она толкнула Маслову и рукой показала ей на окно. Маслова поспешно встала, накинула на черные волосы косынку и с оживившимся красным и потным улыбающимся лицом подошла к окну и взялась за решетку.

— И жарко же,— сказала она, радостно улыбаясь.

— Получили вещи?

— Получила, благодарю.

— Не нужно ли чего? — спросил Нехлюдов, чувствуя, как, точно из каменки, несет жаром из раскаленного вагона.

— Ничего не нужно, благодарю.

— Напиться бы,— сказала Федосья.

— Да, напиться бы,— повторила Маслова.

— Да разве у вас нет воды?

— Ставят, да всю выпили.

— Сейчас,— сказал Нехлюдов,— я попрошу конвойного. Теперь до Нижнего не увидимся.

— А вы разве едете? — как будто не зная этого, сказала Маслова, радостно взглянув на Нехлюдова.

— Еду с следующим поездом.

Маслова ничего не сказала и только через несколько секунд глубоко вздохнула.

— Что ж это, барин, правда, что двенадцать человек арестантов уморили до смерти? — сказала грубым мужицким голосом старая суровая арестантка.

Это была Кораблева.

— Я не слышал, что двенадцать. Я видел двух,— сказал Нехлюдов.

— Сказывают, двенадцать. Ужли ж им ничего за это не будет? То-то дьяволы!

— А из женщин никто не заболел? — спросил Нехлюдов.

— Бабы тверже,— смеясь, сказала другая низенькая арестантка,— только вот одна рожать вздумала. Вот заливается,— сказала она, указывая на соседний вагон, из которого слышались все те же стоны.

— Вы говорите, не надо ли чего,— сказала Маслова, стараясь удержать губы от радостной улыбки,— нельзя ли эту женщину оставить, а то мучается. Вот бы сказали начальству.

— Да, я скажу.

— Да вот еще нельзя ли ей Тараса, мужа своего, повидать,— прибавила она, глазами указывая на улыбающуюся Федосью.— Ведь он с вами едет.

— Господин, нельзя разговаривать,— послышался голос конвойного унтер-офицера. Это был не тот, который пустил Нехлюдова.

Нехлюдов отошел и пошел искать начальника, чтоб просить его о рожающей женщине и о Тарасе, но долго не мог найти его и добиться ответа от конвойных. Они были в большой суете: одни вели куда-то какого-то арестанта, другие бегали закупать себе провизию и размещали свои вещи по вагонам, третьи прислуживали даме, ехавшей с конвойным офицером, и неохотно отвечали на вопросы Нехлюдова.

Нехлюдов увидал конвойного офицера уже после второго звонка. Офицер, обтирая своей короткой рукой закрывавшие ему рот усы и подняв плечи, выговаривал за что-то фельдфебелю.

— Вам что, собственно, надо? — спросил он Нехлюдова.

— У вас женщина рожает в вагоне, так я думал, надо бы...

— Ну, и пускай рожает. Тогда видно будет,— сказал конвойный, проходя в свой вагон и бойко размахивая своими короткими руками.

В это время прошел кондуктор с свистком в руке; послышался последний звонок, свисток, и среди провожавших на платформе и в женском вагоне послышался плач и причитанья. Нехлюдов стоял рядом с Тарасом на платформе и смотрел, как один за другим тянулись мимо него вагоны с решетчатыми окнами и виднеющимися из них бритыми головами мужчин. Потом поравнялся первый женский вагон, в окне которого видны были головы простоволосых и в косынках женщин; потом второй вагон, в котором слышался все тот же стон женщины, потом вагон, в котором была Маслова. Она вместе с другими стояла у окна и смотрела на Нехлюдова и жалостно улыбалась ему.

XXXIX

До отхода пассажирского поезда, с которым ехал Нехлюдов, оставалось два часа. Нехлюдов сначала думал в этот промежуток съездить еще к сестре, но теперь, после впечатлений этого утра, почувствовал себя до такой степени взволнованным и разбитым, что, сев на диванчик первого класса, совершенно неожиданно почувствовал такую сонливость, что повернулся на бок, положил под щеку ладонь и тотчас же заснул.

Его разбудил лакей во фраке, с значком и салфеткой.

— Господин, господин, не вы ли будете Нехлюдов, князь? Барыня вас ищут.

Нехлюдов вскочил, протирая глаза, и вспомнил, где он и все то, что было в нынешнее утро.

В его воспоминании были: шествие арестантов, мертвецы, вагоны с решетками и запертые там женщины, из которых одна мучается без помощи родами, а другая жалостно улыбается ему из-за железной решетки. В действительности же было перед ним совсем другое: уставленный бутылками, вазами, канделябрами и приборами стол, снующие около стола проворные лакеи. В глубине залы перед шкафом, за вазами с плодами и бутылками, буфетчик и спины подошедших к буфету отъезжающих.

В то время как Нехлюдов переменял лежачее положение на сидячее и понемногу опоминался, он заметил, что все бывшие в комнате с любопытством смотрели на что-то происходившее в дверях. Он посмотрел туда же и увидал шествие людей, несших на кресле даму в воздушном покрывале, окутывающем ей голову. Передний носильщик был лакей и показался знакомым Нехлюдову. Задний был тоже знакомый швейцар с галуном на фуражке. Позади кресла шла элегантная горничная в фартуке и кудряшках и несла узелок, какой-то круглый предмет в кожаном футляре и зонтики. Еще позади, с своими брылами и апоплексической шеей, выпятив грудь,

шел князь Корчагин в дорожной фуражке и еще сзади — Мисси, Миша, двоюродный брат, и знакомый Нехлюдову дипломат Остен с своей длинной шеей, выдающимся кадыком и всегда веселым видом и настроением. Он шел, что-то внушительно, но, очевидно, шутовски досказывая улыбавшейся Мисси. Сзади шел доктор, сердито куря папиросу.

Корчагины переезжали из своего подгородного имения к сестре княгини в ее имение по Нижегородской дороге.

Шествие носильщиков, горничной и доктора проследовало в дамскую комнату, вызывая любопытство и уважение всех присутствующих. Старый же князь, присев к столу, тотчас же подозвал к себе лакея и стал что-то заказывать ему. Мисси с Остеном тоже остановились в столовой и только что хотели сесть, как увидали в дверях знакомую и пошли ей навстречу. Знакомая эта была Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, сопутствуемая Аграфеной Петровной, оглядываясь по сторонам, входила в столовую. Она почти в одно и то же время увидала Мисси и брата. Она прежде подошла к Мисси, только кивнув головой Нехлюдову; но, поцеловавшись с Мисси, тотчас же обратилась к нему.

— Наконец-то я нашла тебя,— сказала она.

Нехлюдов встал, поздоровался с Мисси, Мишей и Остеном и остановился, разговаривая. Мисси рассказала ему про пожар их дома в деревне, заставивший их переезжать к тетке. Остен по этому случаю стал рассказывать смешной анекдот про пожар.

Нехлюдов, не слушая Остена, обратился к сестре.

— Как я рад, что ты приехала,— сказал он.

— Я уже давно приехала,— сказала она.— Мы с Аграфеной Петровной.— Она указала на Аграфену Петровну, которая в шляпе и ватерпруфе с ласковым достоинством издалека конфузливо поклонилась Нехлюдову, не желая мешать ему.— Везде искали тебя.

— А я тут заснул. Как я рад, что ты приехала,— повторил Нехлюдов.— Я письмо тебе начал писать,— сказал он.

— Неужели? — сказала она испуганно.— О чем же?

Мисси с своими кавалерами, заметив, что между братом и сестрой начинается интимный разговор, отошла в сторону. Нехлюдов же с сестрой сели у окна на бархатный диванчик подле чьих-то вещей, пледа и картонки.

— Я вчера, когда ушел от вас, хотел вернуться и покаяться, но не знал, как он примет,— сказал Нехлюдов.— Я нехорошо говорил с твоим мужем, и меня это мучало,— сказал он.

— Я знала, я уверена была,— сказала сестра,— что ты не хотел. Ведь ты знаешь...

И слезы выступили у ней на глаза, и она коснулась его руки. Фраза эта была неясна, но он понял ее вполне и был тронут тем,

что́ она означала. Слова ее означали то, что, кроме ее любви, владеющей всею ею,— любви к своему мужу, для нее важна и дорога ее любовь к нему, к брату, и что всякая размолвка с ним — для нее тяжелое страдание.

— Спасибо, спасибо тебе... Ах, что я видел нынче,— сказал он, вдруг вспомнив второго умершего арестанта.— Два арестанта убиты.

— Как убиты?

— Так убиты. Их повели в этот жар. И два умерло от солнечного удара.

— Не может быть! как? нынче? сейчас?

— Да, сейчас. Я видел их трупы.

— Но отчего убили? Кто убил? — сказала Наталья Ивановна.

— Убили те, кто насильно вели их,— раздраженно сказал Нехлюдов, чувствуя, что она смотрит и на это дело глазами своего мужа.

— Ах, боже мой! — сказала Аграфена Петровна, подошедшая ближе к ним.

— Да, мы не имеем ни малейшего понятия о том, что делается с этими несчастными, а надо это знать,— прибавил Нехлюдов, глядя на старого князя, который, завязавшись салфеткой, сидел у стола за крюшоном и в это самое время оглянулся на Нехлюдова.

— Нехлюдов! — крикнул он,— хотите прохладиться? На дорогу отлично!

Нехлюдов отказался и отвернулся.

— Но что же ты сделаешь? — продолжала Наталья Ивановна.

— Что могу. Я не знаю, но чувствую, что должен что-то сделать. И что могу, то сделаю.

— Да, да, я это понимаю. Ну, а с этими,— сказала она, улыбаясь и указывая глазами на Корчагина,— неужели совсем кончено?

— Совсем, и я думаю, что с обеих сторон без сожаления.

— Жаль. Мне жаль. Я ее люблю. Но положим, что это так. Но для чего ты хочешь связать себя? — прибавила она робко.— Для чего ты едешь?

— Еду потому, что так должно,— серьезно и сухо сказал Нехлюдов, как бы желая прекратить этот разговор.

Но сейчас же ему стало совестно за свою холодность к сестре. «Отчего не сказать ей всего, что я думаю? — подумал он.— И пускай и Аграфена Петровна услышит»,— сказал он себе, взглянув на старую горничную. Присутствие Аграфены Петровны еще более поощряло его повторить сестре свое решение.

— Ты говоришь о моем намерении жениться на Катюше? Так видишь ли, я решил это сделать, но она определенно и твердо отказала мне,— сказал он, и голос его дрогнул, как дрожал всегда, когда он говорил об этом.— Она не хочет моей жертвы и сама жертвует, для нее, в ее положении, очень многим, и я не могу принять этой жертвы, если это минутное. И вот я еду за ней и буду там, где она будет, и буду, сколько могу, помогать, облегчать ее участь.

Наталья Ивановна ничего не сказала. Аграфена Петровна вопросительно глядела на Наталью Ивановну и покачивала головой. В это время из дамской комнаты вышло опять шествие. Тот же красавец лакей Филипп и швейцар несли княгиню. Она остановила носильщиков, подманила к себе Нехлюдова и, жалостно изнывая, подала ему белую, в перстнях руку, с ужасом ожидая твердого пожатия.

— Epouvantable! [1] — сказала она про жару.— Я не переношу этого. Ce climat me tue [2].— И, поговорив об ужасах русского климата и пригласив Нехлюдова приехать к ним, она дала знак носильщикам.— Так непременно приезжайте,— прибавила она, на ходу оборачивая свое длинное лицо к Нехлюдову.

Нехлюдов вышел на платформу. Шествие княгини направилось направо, к первому классу. Нехлюдов же с артельщиком, несшим вещи, и Тарасом с своим мешком пошли налево.

— Вот это мой товарищ,— сказал Нехлюдов сестре, указывая на Тараса, историю которого он рассказывал ей прежде.

— Да неужели в третьем классе? — спросила Наталья Ивановна, когда Нехлюдов остановился против вагона третьего класса и артельщик с вещами и Тарас вошли в него.

— Да мне удобнее, я с Тарасом вместе,— сказал он.— Да вот еще что,— прибавил он,— до сих пор я еще не отдал в Кузминском землю крестьянам, так что в случае моей смерти твои дети наследуют.

— Дмитрий, перестань,— сказала Наталья Ивановна.

— Если же я и отдам, то одно, что могу сказать, это то, что все остальное будет их, так как едва ли я женюсь, а если женюсь, то не будет детей... так что...

— Дмитрий, пожалуйста, не говори этого,— говорила Наталья Ивановна, а между тем Нехлюдов видел, что она была рада слышать то, что он сказал.

Впереди, перед первым классом, стояла только небольшая толпа народа, все еще смотревшая на тот вагон, в который внесли

---

[1] Ужасно! *(франц.)*

[2] Этот климат меня убивает *(франц.)*.

княгиню Корчагину. Остальной народ был уже весь по местам. Запоздавшие пассажиры, торопясь, стучали по доскам платформы, кондуктора захлопывали дверцы и приглашали едущих садиться, а провожающих выходить.

Нехлюдов вошел в накаленный солнцем жаркий и вонючий вагон и тотчас же вышел на тормоз.

Наталья Ивановна стояла против вагона в своей модной шляпе и накидке рядом с Аграфеной Петровной и, очевидно, искала предмета разговора и не находила. Нельзя даже было сказать: «Ecrivez» [1], потому что они уже давно с братом смеялись над этой обычной фразой уезжающих. Тот коротенький разговор о денежных делах и наследстве сразу разрушил установившиеся было между ними нежно-братские отношения; они чувствовали себя теперь отчужденными друг от друга. Так что Наталья Ивановна была рада, когда поезд тронулся, и можно было только, кивая головой, с грустным и ласковым лицом говорить: «Прощай, ну, прощай, Дмитрий!» Но как только вагон отъехал, она подумала о том, как передаст она мужу свой разговор с братом, и лицо ее стало серьезно и озабоченно.

И Нехлюдову, несмотря на то, что он ничего, кроме самых добрых чувств, не питал к сестре и ничего не скрывал от нее, теперь было тяжело, неловко с ней и хотелось поскорее освободиться от нее. Он чувствовал, что нет больше той Наташи, которая когда-то была так близка ему, а есть только раба чуждого ему и неприятного черного волосатого мужа. Он ясно увидал это, потому что лицо ее осветилось особенным оживлением только тогда, когда он заговорил про то, что занимало ее мужа,— про отдачу земли крестьянам, про наследство. И это было грустно ему.

XL

Жара в накаленном в продолжение целого дня солнцем и полном народа большом вагоне третьего класса была такая удушливая, что Нехлюдов не пошел в вагон, а остался на тормозе. Но и тут дышать нечем было, и Нехлюдов вздохнул всею грудью только тогда, когда вагоны выкатились из-за домов и подул сквозной ветер. «Да, убили»,— повторил он себе слова, сказанные сестре. И в воображении его из-за всех впечатлений нынешнего дня с необыкновенной живостью возникло прекрасное лицо второго мертвого арестанта с улыбающимся выражением губ, строгим выражением лба и небольшим крепким ухом под бритым синею-

[1] Пишите *(франц.)*.

щим черепом. «И что ужаснее всего, это то, что убили, и никто не знает, кто его убил. А убили. Повели его, как и всех арестантов, по распоряжению Масленникова. Масленников, вероятно, сделал свое обычное распоряжение, подписал с своим дурацким росчерком бумагу с печатным заголовком и, конечно, уж никак не сочтет себя виноватым. Еще меньше может счесть себя виноватым острожный доктор, свидетельствовавший арестантов. Он аккуратно исполнил свою обязанность, отделил слабых и никак не мог предвидеть ни этой страшной жары, ни того, что их поведут так поздно и такой кучей. Смотритель?.. Но смотритель только исполнил предписание о том, чтобы в такой-то день отправить столько-то каторжных, ссыльных, мужчин, женщин. Тоже не может быть виноват и конвойный, которого обязанность состояла в том, чтобы счетом принять там-то столько-то и там-то сдать столько же. Вел он партию, как обыкновенно и как полагается, и никак не мог предвидеть, что такие сильные люди, как те два, которых видел Нехлюдов, не выдержат и умрут. Никто не виноват, а люди убиты и убиты все-таки этими самыми не виноватыми в этих смертях людьми.

Сделалось все это оттого,— думал Нехлюдов,— что все эти люди — губернаторы, смотрители, околоточные, городовые — считают, что есть на свете такие положения, в которых человеческое отношение с человеком не обязательно. Ведь все эти люди — и Масленников, и смотритель, и конвойный,— все они, если бы не были губернаторами, смотрителями, офицерами, двадцать раз подумали бы о том, можно ли отправлять людей в такую жару и такой кучей, двадцать раз дорогой остановились бы и, увидав, что человек слабеет, задыхается, вывели бы его из толпы, свели бы его в тень, дали бы воды, дали бы отдохнуть и, когда случилось несчастье, выказали бы сострадание. Они не сделали этого, даже мешали делать это другим только потому, что они видели перед собой не людей и свои обязанности перед ними, а службу и ее требования, которые они ставили выше требований человеческих отношений. В этом все,— думал Нехлюдов.— Если можно признать, что что бы то ни было важнее чувства человеколюбия, хоть на один час и хоть в каком-нибудь одном, исключительном случае, то нет преступления, которое нельзя бы было совершать над людьми, не считая себя виноватым».

Нехлюдов так задумался, что и не заметил, как погода переменилась: солнце скрылось за передовым низким, разорванным облаком, и с западного горизонта надвигалась сплошная светло-серая туча, уже выливавшаяся там, где-то далеко, над полями и лесами, косым спорым дождем. От тучи тянуло влажным дождевым воздухом. Изредка тучу разрезали молнии, и с грохотом ва-

гонов все чаще и чаще смешивался грохот грома. Туча становилась ближе и ближе, косые капли дождя, гонимые ветром, стали пятнать площадку тормоза и пальто Нехлюдова. Он перешел на другую сторону и, вдыхая влажную свежесть и хлебный запах давно ждавшей дождя земли, смотрел на мимо бегущие сады, леса, желтеющие поля ржи, зеленые еще полосы овса и черные борозды темно-зеленого цветущего картофеля. Все как будто покрылось лаком: зеленое становилось зеленее, желтое — желтее, черное — чернее.

— Еще! еще! — говорил Нехлюдов, радуясь на оживающие под благодатным дождем поля, сады, огороды.

Сильный дождь лил недолго. Туча частью вылилась, частью пронеслась, и на мокрую землю падали уже последние прямые, частые, мелкие капли. Солнце опять выглянуло, все заблестело, а на востоке загнулась над горизонтом невысокая, но яркая, с выступающим фиолетовым цветом, прерывающаяся только в одном конце радуга.

«Да, о чем бишь я думал? — спросил себя Нехлюдов, когда все эти перемены в природе кончились и поезд спустился в выемку с высокими откосами.— Да, я думал о том, что все эти люди: смотритель, конвойные, все эти служащие, большей частью кроткие, добрые люди, сделались злыми только потому, что они служат».

Он вспомнил равнодушие Масленникова, когда он говорил ему о том, что делается в остроге, строгость смотрителя, жестокость конвойного офицера, когда он не пускал на подводы и не обратил внимания на то, что в поезде мучается родами женщина. «Все эти люди, очевидно, были неуязвимы, непромокаемы для самого простого чувства сострадания только потому, что они служили. Они, как служащие, были непроницаемы для чувства человеколюбия, как эта мощеная земля для дождя,— думал Нехлюдов, глядя на мощенный разноцветными камнями скат выемки, по которому дождевая вода не впитывалась в землю, а сочилась ручейками.— Может быть, и нужно укладывать камнями выемки, но грустно смотреть на эту лишенную растительности землю, которая бы могла родить хлеб, траву, кусты, деревья, как те, которые виднеются вверху выемки. То же самое и с людьми,— думал Нехлюдов,— может быть, и нужны эти губернаторы, смотрители, городовые, но ужасно видеть людей, лишенных главного человеческого свойства — любви и жалости друг к другу.

Все дело в том,— думал Нехлюдов,— что люди эти признают законом то, что не есть закон, и не признают законом то, что есть вечный, неизменный, неотложный закон, самим богом написанный в сердцах людей. От этого-то мне и бывает так тяжело с этими людьми,— думал Нехлюдов.— Я просто боюсь их. И действитель-

но, люди эти страшны. Страшнее разбойников. Разбойник все-таки может пожалеть — эти же не могут пожалеть: они застрахованы от жалости, как эти камни от растительности. Вот этим-то они ужасны. Говорят, ужасны Пугачевы, Разины. Эти в тысячу раз ужаснее,— продолжал он думать.— Если бы была задана психологическая задача: как сделать так, чтобы люди нашего времени, христиане, гуманные, просто добрые люди, совершали самые ужасные злодейства, не чувствуя себя виноватыми, то возможно только одно решение: надо, чтобы было то самое, что есть, надо, чтобы эти люди были губернаторами, смотрителями, офицерами, полицейскими, то есть, чтобы, во-первых, были уверены, что есть такое дело, называемое государственной службой, при котором можно обращаться с людьми, как с вещами, без человеческого, братского отношения к ним, а во-вторых, чтобы люди этой самой государственной службой были связаны так, чтобы ответственность за последствия их поступков с людьми не падала ни на кого отдельно. Вне этих условий нет возможности в наше время совершения таких ужасных дел, как те, которые я видел нынче. Все дело в том, что люди думают, что есть положения, в которых можно обращаться с человеком без любви, а таких положений нет. С вещами можно обращаться без любви: можно рубить деревья, делать кирпичи, ковать железо без любви; но с людьми нельзя обращаться без любви, так же как нельзя обращаться с пчелами без осторожности. Таково свойство пчел. Если станешь обращаться с ними без осторожности, то им повредишь и себе. То же и с людьми. И это не может быть иначе, потому что взаимная любовь между людьми есть основной закон жизни человеческой. Правда, что человек не может заставить себя любить, как он может заставить себя работать, но из этого не следует, что можно обращаться с людьми без любви, особенно если чего-нибудь требуешь от них. Не чувствуешь любви к людям — сиди смирно,— думал Нехлюдов, обращаясь к себе,— занимайся собой, вещами, чем хочешь, но только не людьми. Как есть можно без вреда и с пользой только тогда, когда хочется есть, так и с людьми можно обращаться с пользой и без вреда только тогда, когда любишь. Только позволь себе обращаться с людьми без любви, как ты вчера обращался с зятем, и нет пределов жестокости и зверства по отношению других людей, как это я видел сегодня, и нет пределов страдания для себя, как я узнал это из всей своей жизни. Да, да, это так,— думал Нехлюдов.— Это хорошо, хорошо!» — повторял он себе, испытывая двойное наслаждение — прохлады после мучительной жары и сознания достигнутой высшей ступени ясности в давно уже занимающем его вопросе.

XLI

Вагон, в котором было место Нехлюдова, был до половины полон народом. Были тут прислуга, мастеровые, фабричные, мясники, евреи, приказчики, женщины, жены рабочих, был солдат, были две барыни: одна молодая, другая пожилая с браслетами на оголенной руке и строгого вида господин с кокардой на черной фуражке. Все эти люди, уже успокоенные после размещения, сидели смирно, кто щелкая семечки, кто куря папиросы, кто ведя оживленные разговоры с соседями.

Тарас с счастливым видом сидел направо от прохода, оберегая место для Нехлюдова, и оживленно разговаривал с сидевшим против него мускулистым человеком в расстегнутой суконной поддевке, как потом узнал Нехлюдов, садовником, ехавшим на место. Не доходя до Тараса, Нехлюдов остановился в проходе подле почтенного вида старика с белой бородой, в нанковой поддевке, разговаривавшего с молодой женщиной в деревенской одежде. Рядом с женщиной сидела, далеко не доставая ногами до пола, семилетняя девочка в новом сарафанчике с косичкой почти белых волос и не переставая щелкала семечки. Оглянувшись на Нехлюдова, старик подобрал с глянцевитой лавки, на которой он сидел один, полу своей поддевки и ласково сказал:

— Пожалуйте садиться.

Нехлюдов поблагодарил и сел на указанное место. Как только Нехлюдов уселся, женщина продолжала прерванный рассказ. Она рассказывала про то, как ее в городе принял муж, от которого она теперь возвращалась.

— Об масленицу была, да вот, бог привел, теперь побывала,— говорила она.— Теперь, что бог даст, на рожество.

— Хорошее дело,— сказал старик, оглядываясь на Нехлюдова,— проведывать надо, а то человек молодой избалуется, в городе живучи.

— Нет, дедушка, мой — не такой человек. Не то что глупостей каких, он как красная девушка. Денежки все до копеечки домой посылает. А уж девчонке рад, рад был, что и сказать нельзя,— сказала женщина, улыбаясь.

Плевавшая семечки и слушавшая мать девочка, как бы подтверждая слова матери, взглянула спокойными, умными глазами в лицо старика и Нехлюдова.

— А умный, так и того лучше,— сказал старик.— А вот этим не займается? — прибавил он, указывая глазами на парочку — мужа с женой, очевидно фабричных, сидевших на другой стороне прохода.

Фабричный — муж, приставив ко рту бутылку с водкой, закинув голову, тянул из нее, а жена, держа в руке мешок, из которого вынута была бутылка, пристально смотрела на мужа.

— Нет, мой и не пьет и не курит,— сказала женщина, собеседница старика, пользуясь случаем еще раз похвалить своего мужа.— Таких людей, дедушка, мало земля родит. Вот он какой,— сказала она, обращаясь и к Нехлюдову.

— Чего лучше,— повторил старик, глядевший на пьющего фабричного.

Фабричный, отпив из бутылки, подал ее жене. Жена взяла бутылку и, смеясь и покачивая головой, приложила ее тоже ко рту. Заметив на себе взгляд Нехлюдова и старика, фабричный обратился к ним:

— Что, барин? Что пьем-то мы? Как работаем — никто не видит, а вот как пьем — все видят. Заработал — и пью и супругу потчую. И больше никаких.

— Да, да,— сказал Нехлюдов, не зная, что ответить.

— Верно, барин? Супруга моя женщина твердая! Я супругой доволен, потому она меня может жалеть. Так я говорю, Мавра?

— Ну, на, возьми. Не хочу больше,— сказала жена, отдавая ему бутылку.— И что лопочешь без толку,— прибавила она.

— Вот так-то,— продолжал фабричный,— то хороша-хороша, а то и заскрипит, как телега немазаная. Мавра, так я говорю?

Мавра, смеясь, пьяным жестом махнула рукой.

— Ну, понес...

— Вот так-то, хороша-хороша, да до поры до времени, а попади ей вожжа под хвост, она то сделает, что и вздумать нельзя... Верно я говорю. Вы меня, барин, извините. Я выпил, ну, что же теперь делать...— сказал фабричный и стал укладываться спать, положив голову на колени улыбающейся жены.

Нехлюдов посидел несколько времени с стариком, который рассказал ему про себя, что он печник, пятьдесят три года работает и склал на своем веку печей что и счету нет, а теперь собирается отдохнуть, да все некогда. Был вот в городе, поставил ребят на дело, а теперь едет в деревню домашних проведать. Выслушав рассказ старика, Нехлюдов встал и ушел на то место, которое берег для него Тарас.

— Что ж, барин, садитесь. Мы мешок сюда примем,— ласково сказал, взглянув вверх, в лицо Нехлюдова, сидевший напротив Тараса садовник.

— В тесноте, да не в обиде,— сказал певучим голосом улыбающийся Тарас и, как перышко, своими сильными руками поднял свой двухпудовый мешок и перенес его к окну.— Места много, а то

и постоять можно, и под лавкой можно. Уж на что покойно. А то вздорить! — говорил он, сияя добродушием и ласковостью.

Тарас говорил про себя, что, когда он не выпьет, у него слов нет, а что у него от вина находятся слова хорошие и он все сказать может. И действительно, в трезвом состоянии Тарас больше молчал; когда же выпивал, что случалось с ним редко и только в особенных случаях, то делался особенно приятно разговорчив. Он говорил тогда и много и хорошо, с большой простотою, правдивостью и, главное, ласковостью, которая так и светилась из его добрых голубых глаз и не сходящей с губ приветливой улыбки.

В таком состоянии он был сегодня. Приближение Нехлюдова на минуту остановило его речь. Но, устроив мешок, он сел по-прежнему и, положив сильные рабочие руки на колени, глядя прямо в глаза садовнику, продолжал свой рассказ. Он рассказывал своему новому знакомому во всех подробностях историю своей жены, за что ее ссылали и почему он теперь ехал за ней в Сибирь.

Нехлюдов никогда не слыхал в подробности этого рассказа и потому с интересом слушал. Он застал рассказ в том месте, когда отравление уже совершилось и в семье узнали, что сделала это Федосья.

— Это я про свое горе рассказываю,— сказал Тарас, задушевно дружески обращаясь к Нехлюдову.— Человек такой попался душевный,— разговорились, и я сказываю.

— Да, да,— сказал Нехлюдов.

— Ну, вот таким манером, братец ты мой, узналось дело. Взяла матушка лепешку эту самую. «Иду, говорит, к уряднику». Батюшка у меня старик правильный. «Погоди, говорит, старуха, бабенка — робенок вовсе, сама не знала, что делала, пожалеть надо. Она, може, опамятуется». Куды тебе, не приняла слов никаких. Пока мы ее держать будем, она, говорит, нас, как тараканов, изведет». Убралась, братец ты мой, к уряднику. Тот сейчас взбулгачился к нам... Сейчас понятых.

— Ну, а ты-то что? — спросил садовник.

— А я, братец ты мой, от живота валяюсь да блюю. Все нутро выворачивает, ничего и сказать не могу. Сейчас запряг батюшка телегу, посадил Федосью,— в стан, а оттуда к следователю. А она, братец ты мой, как сперначала повинилась во всем, так и следователю все, как есть, чередом и выложила. И где мышьяк взяла, и как лепешки скатала. «Зачем, говорит, ты сделала?» — «А потому, говорит, постылый он мне. Мне, говорит, Сибирь лучше, чем с ним жить», со мной, значит,— улыбаясь, говорил Тарас.— Повинилась, значит, во всем. Известное дело, в зáмок. Батюшка один вернулся. А тут рабочая пора подходит, а баб у нас — одна матушка, да и та уж плоха. Думали, как быть, нельзя ли на поруки

выручить. Поехал батюшка к начальнику к одному — не вышло, он — к другому. Начальников этих он человек пять объездил. Совсем уж было бросили хлопотать, да напался тут человечек один, из приказных. Ловкач такой, что на редкость сыскать. «Давай, говорит, пятерку — выручу». Сошлись на трешнице. Что же, братец ты мой, я ее же холсты заложил, дал. Как написал он эту бумагу,— протянул Тарас, точно он говорил о выстреле,— сразу вышло. Я сам в те поры уж поднялся, сам за ней в город ездил. Приехал я, братец ты мой, в город. Сейчас кобылу на двор поставил, взял бумагу, прихожу в зáмок. «Чего тебе?» Так и так, говорю, хозяйка моя тут у вас заключена. «А бумага, говорит, есть?» Сейчас подал бумагу. Глянул он. «Подожди»,— говорит. Присел я тут на лавочке. Солнце уж заполдни перешло. Выходит начальник: «Ты говорит, Варгушов?» — «Я самый».— «Ну, получай»,— говорит. Сейчас отворили ворота. Вывели ее в одежде в своей, как должно. «Что же, пойдем».— «А ты разве пешой?» — «Нет, я на лошади». Пришли на двор, расчелся я за постой и запряг кобылу, подбил сенца, что осталось, под веретье. Села она, укуталась платком. Поехали. Она молчит, и я молчу. Только стали подъезжать к дому, она и говорит: «А что, матушка жива?» Я говорю: «Жива».— «А батюшка жив?» — «Жив».— «Прости, говорит, меня, Тарас, за мою глупость. Я и сама не знала, что делала». А я говорю: «Много баить не подобаить — я давно простил». Больше и говорить не стал. Приехали домой, сейчас она матушке в ноги. Матушка говорит: «Бог простит». А батюшка поздоровкался и говорит: «Что старое поминать. Живи как получше. Нынче, говорит, время не такое, с поля убираться надо. За скородным, говорит, на навозном осьминнике рожь-матушка такая, бог дал, родилась, что и крюк не берет, переплелась вся и полегла постелью. Выжать надо. Вот ты с Тараской поди завтра пожнись». И взялась она, братец ты мой, с того часа работать. Да так работать стала, что на удивление. У нас тогда три десятины наемные были, а бог дал, что рожь, что овес уродились на редкость. Я кошу, она вяжет, а то оба жнем. Я на работу ловок, из рук не вывалится, а она еще того ловчее, за что ни возьмется. Баба ухватистая да молодая, в соку. И к работе, братец ты мой, такая завистливая стала, что уж я ее укорачиваю. Придем домой, пальцы раздуются, руки гудут, отдохнуть бы надо, а она, не ужинамши, бежит в сарай, на утро свясла готовит. Что сделалось!

— И что ж, и к тебе ласкова стала? — спросил садовник.

— И не говори, так присмолилась ко мне, что как одна душа. Что я вздумаю, она понимает. Уж и матушка, на что сердита, и та говорит: «Федосью нашу точно подменили, совсем другая баба стала». Едем раз на-двоем за снопами, в одной передней сидим с

ней. Я и говорю: «Как же ты это, Федосья, то дело вздумала?» — «А как вздумала, говорит, не хотела с тобой жить. Лучше, думаю умру, да не стану».— «Ну, а теперь?» — говорю. «А теперь, говорит, ты у меня у сердце».— Тарас остановился и, радостно улыбаясь, удивленно покачал головой.— Только убрались с поля, повез я пеньку мочить, приезжаю домой,— подождал он, помолчав,— глядь, повестка — судить. А мы и думать забыли, за что судить-то.

— Не иначе это, что нечистый,— сказал садовник,— разве сам человек может вздумать душу загубить? Так-то у нас человек один...— И садовник начал было рассказывать, но поезд стал останавливаться.

— Никак, станция,— сказал он,— пойти напиться.

Разговор прекратился, и Нехлюдов вслед за садовником вышел из вагона на мокрые доски платформы.

XLII

Нехлюдов, еще не выходя из вагона, заметил на дворе станции несколько богатых экипажей, запряженных четвернями и тройками сытых, побрякивающих бубенцами лошадей; выйдя же на потемневшую от дождя мокрую платформу, он увидал перед первым классом кучку народа, среди которой выделялась высокая толстая дама в шляпе с дорогими перьями, в ватерпруфе, и длинный молодой человек с тонкими ногами, в велосипедном костюме, с огромной сытой собакой в дорогом ошейнике. За ними стояли лакеи с плащами и зонтиками и кучер, вышедшие встречать. На всей этой кучке, от толстой барыни до кучера, поддерживавшего рукой полы длинного кафтана, лежала печать спокойной самоуверенности и избытка. Вокруг этой кучки тотчас же образовался круг любопытных и подобострастных перед богатством людей: начальник станции в красной фуражке, жандарм, всегда присутствующая летом при прибытии поездов худощавая девица в русском костюме с бусами, телеграфист и пассажиры: мужчины и женщины.

В молодом человеке с собакой Нехлюдов узнал гимназиста, молодого Корчагина. Толстая же дама была сестра княгини, в имение которой переезжали Корчагины. Оберкондуктор с блестящими галунами и сапогами отворил дверь вагона и в знак почтительности держал ее, в то время как Филипп и артельщик в белом фартуке осторожно выносили длинноликую княгиню на ее складном кресле; сестры поздоровались, послышались французские фразы о том, в карете или коляске поедет княгиня, и шествие, замыкающееся горничной с кудряшками, зонтиками и футляром, двинулось к двери станции.

Нехлюдов, не желая встречаться, с тем чтоб опять прощаться, остановился, не доходя до двери станции, ожидая прохождения всего шествия. Княгиня с сыном, Мисси, доктор и горничная проследовали вперед, старый же князь остановился позади с свояченицей, и Нехлюдов, не подходя близко, слышал только отрывочные французские фразы их разговора. Одна из этих фраз, произнесенная князем, запала, как это часто бывает, почему-то в память Нехлюдову, со всеми интонациями и звуками голоса.

— Oh! il est du vrai grand monde, du vrai grand monde [1],— про кого-то сказал князь своим громким самоуверенным голосом и вместе с свояченицей, сопутствуемый почтительными кондукторами и носильщиками, прошел в дверь станции.

В это самое время из-за угла станции появилась откуда-то на платформу толпа рабочих в лаптях и с полушубками и мешками за спинами. Рабочие решительными мягкими шагами подошли к первому вагону и хотели войти в него, но тотчас же были отогнаны от него кондуктором. Не останавливаясь, рабочие пошли, торопясь и наступая друг другу на ноги, дальше к соседнему вагону и стали уже, цепляясь мешками за углы и дверь вагона, входить в него, как другой кондуктор от двери станции увидал их намерение и строго закричал на них. Вошедшие рабочие тотчас же поспешно вышли и опять теми же мягкими решительными шагами пошли еще дальше к следующему вагону, тому самому, в котором сидел Нехлюдов. Кондуктор опять остановил их. Они было остановились, намереваясь идти дальше, но Нехлюдов сказал им, что в вагоне есть места и чтобы они шли. Они послушали его, и Нехлюдов вошел вслед за ними. Рабочие хотели уже размещаться, но господин с кокардой и обе дамы, приняв их покушение поместиться в этом вагоне за личное себе оскорбление, решительно воспротивились этому и стали выгонять их. Рабочие — их было человек двадцать — и старики, и совсем молодые, все с измученными загорелыми сухими лицами, тотчас же, цепляя мешками за лавки, стены и двери, очевидно чувствуя себя вполне виноватыми, пошли дальше через вагон, очевидно готовые идти до конца света и сесть куда бы ни велели, хоть на гвозди.

— Куда прете, черти! Размещайтесь здесь,— крикнул вышедший им навстречу другой кондуктор.

— Voilà encore des nouvelles! [2] — проговорила молодая из двух дам, вполне уверенная, что она своим хорошим французским язы-

---

[1] О, он человек подлинно большого света, подлинно большого света *(франц.)*.

[2] Вот еще новости! *(франц.)*

ком обратит на себя внимание Нехлюдова. Дама же с браслетами только все принюхивалась, морщилась и что-то сказала про приятность сидеть с вонючим мужичьем.

Рабочие же, испытывая радость и успокоение людей, миновавших большую опасность, остановились и стали размещаться, скидывая движениями плеча тяжелые мешки с спин и засовывая их под лавки.

Садовник, разговаривавший с Тарасом, сидел не на своем месте и ушел на свое, так что подле и против Тараса были три места. Трое рабочих сели на этих местах, но, когда Нехлюдов подошел к ним, вид его господской одежды так смутил их, что они встали, чтобы уйти, но Нехлюдов просил их остаться, а сам присел на ручку лавки к проходу.

Один из двух рабочих, человек лет пятидесяти, с недоумением и даже с испугом переглянулся с молодым. То, что Нехлюдов, вместо того чтобы, как это свойственно господину, ругать и гнать их, уступил им место, очень удивило и озадачило их. Они даже боялись, как бы чего-нибудь от этого не случилось для них худого. Увидав, однако, что тут не было никакого подвоха и что Нехлюдов просто разговаривал с Тарасом, они успокоились, велели малому сесть на мешок и потребовали, чтобы Нехлюдов сел на свое место. Сначала пожилой рабочий, сидевший против Нехлюдова, весь сжимался, старательно подбирая свои обутые в лапти ноги, чтоб не толкнуть барина, но потом так дружелюбно разговорился с Нехлюдовым и Тарасом, что даже ударял Нехлюдова по колену перевернутой кверху ладонью рукой в тех местах рассказа, на которые он хотел обратить его особенное внимание. Он рассказал про все свои обстоятельства и про работу на торфяных болотах, с которой они ехали теперь домой, проработав на ней два с половиной месяца и взял домой заработанные рублей по десять денег на брата, так как часть заработков дана была вперед при наемке. Работа их как он рассказывал, происходила по колено в воде и продолжалась от зари до зари с двухчасовым отдыхом в обеде.

— Которые без привычки, тем, известно, трудно,— говорил он,— а обтерпелся — ничего. Только бы харчи были настоящие. Сначала харчи плохи были. Ну, а потом народ обиделся, и харчи стали хорошие, и работать стало легко.

Потом он рассказал, как он в продолжение двадцати восьми лет ходил в заработки и весь свой заработок отдавал в дом, сначала отцу, потом старшему брату, теперь племяннику, заведовавшему хозяйством, сам же проживал из заработанных пятидесяти — шестидесяти рублей в год два-три рубля на баловство: на табак и спички.

— Грешен, когда с устатку и водочки выпьешь,— прибавил он, виновато улыбаясь.

Рассказал он еще, как женщины за них правят дома и как подрядчик угостил их нынче перед отъездом полведеркой, как один из них помер, а другого везут больного. Больной, про которого он говорил, сидел в этом же вагоне в углу. Это был молодой мальчик, серо-бледный, с синими губами. Его, очевидно, извела и изводила лихорадка. Нехлюдов подошел к нему, но мальчик таким строгим, страдальческим взглядом взглянул на него, что Нехлюдов не стал тревожить его расспросами, а посоветовал старшему купить хины и написал ему на бумажке название лекарства. Он хотел дать денег, но старый работник сказал, что не нужно: он свои отдаст.

— Ну, сколько ни ездил, таких господ не видал. Не то чтобы тебя в шею, а он еще место уступил. Всякие, значит, господа есть,— заключил он, обращаясь к Тарасу.

«Да, совсем новый, другой, новый мир»,— думал Нехлюдов, глядя на эти сухие, мускулистые члены, грубые домодельные одежды и загорелые, ласковые и измученные лица и чувствуя себя со всех сторон окруженным совсем новыми людьми с их серьезными интересами, радостями и страданиями настоящей трудовой и человеческой жизни.

«Вот он, le vrai grand monde»,— думал Нехлюдов, вспоминая фразу, сказанную князем Корчагиным, и весь этот праздный, роскошный мир Корчагиных с их ничтожными, жалкими интересами.

И он испытывал чувство радости путешественника, открывшего новый, неизвестный и прекрасный мир.

Конец второй части

I

Партия, с которой шла Маслова, прошла около пяти тысяч верст. До Перми Маслова шла по железной дороге и на пароходе с уголовными, и только в этом городе Нехлюдову удалось выхлопотать перемещение ее к политическим, как это советовала ему Богодуховская, шедшая с этой же партией.

Переезд до Перми был очень тяжел для Масловой и физически и нравственно. Физически — от тесноты, нечистоты и отвратительных насекомых, которые не давали покоя, и нравственно — от столь же отвратительных мужчин, которые, так же как насекомые, хотя и переменялись с каждым этапом, везде были одинаково назойливы, прилипчивы и не давали покоя. Между арестантками и арестантами, надзирателями и конвойными так установился обычай цинического разврата, что всякой, в особенности молодой, женщине, если она не хотела пользоваться своим положением женщины, надо было быть постоянно настороже. И это всегдашнее положение страха и борьбы было очень тяжело. Маслова же особенно подвергалась этим нападкам и по привлекательности своей наружности, и по известному всем ее прошедшему. Тот решительный отпор, который она давала теперь приставшим к ней мужчинам, представлялся им оскорблением и вызывал в них против нее еще и озлобление. Облегчало ее положение в этом отношении близость ее с Федосьей и Тарасом, который, узнав о тех нападениях, которым подвергалась его жена, пожелал арестоваться, чтобы защищать ее, и с Нижнего ехал как арестант, вместе с заключенными.

Перевод в отделение политических улучшил положение Масловой во всех отношениях. Не говоря о том, что политические лучше помещались, лучше питались, подвергались меньшим грубостям, перевод Масловой к политическим улучшил ее положение

тем, что прекратились эти преследования мужчин, и можно было жить без того, чтобы всякую минуту ей не напоминали о том ее прошедшем, которое она так хотела забыть теперь. Главное же преимущество этого перевода состояло в том, что она узнала некоторых людей, имевших на нее решительное и самое благотворное влияние.

Помещаться на этапах Масловой разрешено было с политическими, но идти она в качестве здоровой женщины должна была с уголовными. Так она шла все время от самого Томска. С нею вместе шли также пешком двое политических: Марья Павловна Щетинина, та самая красивая девушка с бараньими глазами, которая поразила Нехлюдова при свидании с Богодуховской, и ссылавшийся в Якутскую область некто Симонсон, тот самый черный лохматый человек с глубоко ушедшими под лоб глазами, которого Нехлюдов тоже заметил на этом свидании. Марья Павловна шла пешком потому, что уступила свое место на подводе уголовной беременной женщине; Симонсон же потому, что считал несправедливым пользоваться классовым преимуществом. Эти трое отдельно от других политических, выезжавших позднее на подводах, выходили с уголовными рано утром. Так это и было на последнем этапе перед большим городом, на котором партию принял новый конвойный офицер.

Было раннее ненастное сентябрьское утро. Шел то снег, то дождь с порывами холодного ветра. Все арестанты партии, четыреста человек мужчин и около пятидесяти женщин, уже были на дворе этапа и частью толпились около конвойного-старшóго, раздававшего старостам кормовые деньги на двое суток, частью закупали съестное у впущенных на двор этапа торговок. Слышался гул голосов арестантов, считавших деньги, покупавших провизию, и визгливый говор торговок.

Катюша с Марьей Павловной, обе в сапогах и полушубках, обвязанные платками, вышли на двор из помещения этапа и направились к торговкам, которые, сидя за ветром у северной стены палей, одна перед другой предлагали свои товары: свежий ситный, пирог, рыбу, лапшу, кашу, печенку, говядину, яйца, молоко; у одной был даже жареный поросенок.

Симонсон, в гуттаперчевой куртке и резиновых калошах, укрепленных сверх шерстяных чулок бечевками (он был вегетарианец и не употреблял шкур убитых животных), был тоже на дворе, дожидаясь выхода партии. Он стоял у крыльца и вписывал в записную книжку пришедшую ему мысль. Мысль заключалась в следующем:

«Если бы,— писал он,— бактерия наблюдала и исследовала ноготь человека, она признала бы его неорганическим существом.

Точно так же и мы признали земной шар, наблюдая его кору, существом неорганическим. Это неверно».

Сторговав яиц, связку бубликов, рыбы и свежего пшеничного хлеба, Маслова укладывала все это в мешок, а Марья Павловна рассчитывалась с торговками, когда среди арестантов произошло движение. Все замолкло, и люди стали строиться. Вышел офицер и делал последние перед выходом распоряжения.

Все шло как обыкновенно: пересчитывали, осматривали целость кандалов и соединяли пары, шедшие в наручнях. Но вдруг послышался начальственно гневный крик офицера, удары по телу и плач ребенка. Все затихло на мгновение, а потом по всей толпе пробежал глухой ропот. Маслова и Марья Павловна подвинулись к месту шума.

II

Подойдя к месту шума, Марья Павловна и Катюша увидали следующее: офицер, плотный человек с большими белокурыми усами, хмурясь, потирал левой рукой ладонь правой, которую он зашиб о лицо арестанта, и не переставая произносил неприличные, грубые ругательства. Перед ним, отирая одной рукой разбитое в кровь лицо, а другой держа обмотанную платком пронзительно визжавшую девчонку, стоял в коротком халате и еще более коротких штанах длинный, худой арестант с бритой половиной головы.

— Я тебя (неприличное ругательство) научу рассуждать (опять ругательство); бабам отдашь,— кричал офицер.— Надевай.

Офицер требовал, чтобы были надеты наручни на общественника, шедшего в ссылку и во всю дорогу несшего на руках девочку, оставленную ему умершей в Томске от тифа женою. Отговорки арестанта, что ему нельзя в наручнях пести ребенка, раздражали бывшего не в духе офицера, и он избил не покорившегося сразу арестанта [1].

Против избитого стояли конвойный солдат и чернобородый арестант с надетой на одну руку наручней и мрачно смотревший исподлобья то на офицера, то на избитого арестанта с девочкой. Офицер повторил конвойному приказание взять девочку. Среди арестантов все слышнее и слышнее становилось гоготание.

— От Томска шли, не надевали,— послышался хриплый голос из задних рядов.

— Не щенок, а ребенок.

— Куда ж ему девчонку деть?

— Не закон это,— сказал еще кто-то.

---

[1] Факт, описанный в книге Д. А. Линева «По этапу».

— Это кто? — как ужаленный, закричал офицер, бросаясь в толпу.— Я тебе покажу закон. Кто сказал? Ты? Ты?

— Все говорят. Потому...— сказал широколицый приземистый арестант.

Он не успел договорить. Офицер обеими руками стал бить его по лицу.

— Вы бунтовать! Я вам покажу, как бунтовать. Перестреляю, как собак. Начальство только спасибо скажет. Бери девчонку!

Толпа затихла. Отчаянно кричавшую девочку вырвал один конвойный, другой стал надевать наручни покорно подставившему свою руку арестанту.

— Снеси бабам,— крикнул офицер конвойному, оправляя на себе портупею шашки.

Девчонка, стараясь выпростать ручонки из платка, с налитым кровью лицом не переставая визжала. Из толпы выступила Марья Павловна и подошла к конвойному.

— Господин офицер, позвольте я понесу девочку.

Конвойный солдат с девочкой остановился.

— Ты кто? — спросил офицер.

— Я политическая.

Очевидно, красивое лицо Марьи Павловны с ее прекрасными выпуклыми глазами (он уже видел ее при приемке) подействовало на офицера. Он молча посмотрел на нее, как будто что-то взвешивая.

— Мне все равно, несите, коли хотите. Вам хорошо жалеть их, а убежит, кто отвечать будет?

— Как же он с девочкой убежит? — сказала Марья Павловна.

— Мне некогда с вами разговаривать. Берите, коли хотите.

— Прикажете отдать? — спросил конвойный.

— Отдай.

— Иди ко мне,— говорила Марья Павловна, стараясь приманить к себе девочку.

Но тянувшаяся к отцу с рук конвойного девочка продолжала визжать и не хотела идти к Марье Павловне.

— Постойте, Марья Павловна, она ко мне пойдет,— сказала Маслова, доставая бублик из мешка.

Девчонка знала Маслову и, увидав ее лицо и бублик, пошла к ней.

Все затихло. Ворота отворили, партия выступила наружу, построилась; конвойные опять пересчитали; уложили, увязали мешки, усадили слабых. Маслова с девочкой на руках стала к женщинам рядом с Федосьей. Симонсон, все время следивший за тем, что происходило, большим решительным шагом подошел к офицеру,

окончившему все распоряжения и садившемуся уже в свой тарантас.

— Вы дурно поступили, господин офицер,— сказал Симонсон.

— Убирайтесь на свое место, не ваше дело.

— Мое дело сказать вам, и я сказал, что вы дурно поступили,— сказал Симонсон, глядя пристально в лицо офицера из-под своих густых бровей.

— Готово? Партия, марш,— крикнул офицер, не обращая внимания на Симонсона, и, взявшись за плечо солдата-кучера, влез в тарантас.

Партия тронулась и, растянувшись, вышла на грязную, окопанную с двух сторон канавами разъезженную дорогу, шедшую среди сплошного леса.

III

После развратной, роскошной и изнеженной жизни последних шести лет в городе и двух месяцев в остроге с уголовными жизнь теперь с политическими, несмотря на всю тяжесть условий, в которых они находились, казалась Катюше очень хорошей. Переходы от двадцати до тридцати верст пешком при хорошей пище, дневном отдыхе после двух дней ходьбы физически укрепили ее; общение же с новыми товарищами открыло ей такие интересы в жизни, о которых она не имела никакого понятия. Таких *чудесных* людей, как она говорила, как те, с которыми она шла теперь, она не только не знала, но и не могла себе и представить.

— Вот плакала, что меня присудили,— говорила она.— Да я век должна бога благодарить. То узнала, чего во всю жизнь не узнала бы.

Она очень легко и без усилия поняла мотивы, руководившие этими людьми, и, как человек из народа, вполне сочувствовала им. Она поняла, что люди эти шли за народ против господ; и то, что люди эти сами были господа и жертвовали своими преимуществами, свободой и жизнью за народ, заставляло ее особенно ценить этих людей и восхищаться ими.

Она восхищалась всеми своими новыми сотоварищами; но больше всех она восхищалась Марьей Павловной, и не только восхищалась ей, но полюбила ее особенной, почтительной и восторженной любовью. Ее поражало то, что эта красивая девушка из богатого генеральского дома, говорившая на трех языках, держала себя как самая простая работница, отдавала с себя другим все, что присылал ей ее богатый брат, и одевалась и обувалась не только просто, но бедно, не обращая никакого внимания на свою наружность. Эта черта — совершенное отсутствие кокетства — осо-

бенно удивляла и потому прельщала Маслову. Маслова видела, что Марья Павловна знала и даже что ей приятно было знать, что она красива, но что она не только не радовалась тому впечатлению, которое производила на мужчин ее наружность, но боялась этого и испытывала прямое отвращение и страх к влюблению. Товарищи ее, мужчины, знавшие это, если и чувствовали влечение к ней, то уж не позволяли себе показывать этого ей и обращались с ней, как с товарищем-мужчиной. Но незнакомые люди часто приставали к ней, и от них, как она рассказывала, спасала ее ее большая физическая сила, которой она особенно гордилась. «Один раз,— как она, смеясь, рассказывала,— ко мне пристал на улице какой-то господин и ни за что не хотел отстать, так я так потрясла его, что он испугался и убежал от меня».

Стала она революционеркой, как она рассказывала, потому, что с детства чувствовала отвращение к господской жизни, а любила жизнь простых людей, и ее всегда бранили за то, что она в девичьей, в кухне, в конюшне, а не в гостиной.

— А мне с кухарками и кучерами бывало весело, а с нашими господами и дамами скучно,— рассказывала она.— Потом, когда я стала понимать, я увидала, что наша жизнь совсем дурная. Матери у меня не было, отца я не любила, и девятнадцати лет я с товаркой ушла из дома и поступила работницей на фабрику.

После фабрики она жила в деревне, потом приехала в город и на квартире, где была тайная типография, была арестована и приговорена к каторге. Марья Павловна не рассказывала никогда этого сама, но Катюша узнала от других, что приговорена она была к каторге за то, что взяла на себя выстрел, который во время обыска был сделан в темноте одним из революционеров.

С тех пор как Катюша узнала ее, она видела, что где бы она ни была, при каких бы ни было условиях, она никогда не думала о себе, а всегда была озабочена только тем, как бы услужить, помочь кому-нибудь в большом или малом. Один из теперешних товарищей ее, Новодворов, шутя говорил про нее, что она предается спорту благотворения. И это была правда. Весь интерес ее жизни состоял, как для охотника найти дичь, в том, чтобы найти случай служения другим. И этот спорт сделался привычкой, сделался делом ее жизни. И делала она это так естественно, что все, знавшие ее, уже не ценили, а требовали этого.

Когда Маслова поступила к ним, Марья Павловна почувствовала к ней отвращение, гадливость. Катюша заметила это, но потом также заметила, что Марья Павловна, сделав усилие над собой, стала с ней особенно ласкова и добра. И ласка и доброта такого необыкновенного существа так тронули Маслову, что она всей душой отдалась ей, бессознательно усваивая ее взгляды и невольно

во всем подражая ей. Эта преданная любовь Катюши тронула Марью Павловну, и она также полюбила Катюшу.

Женщин этих сближало еще и то отвращение, которое обе они испытывали к половой любви. Одна ненавидела эту любовь потому, что изведала весь ужас ее; другая потому, что, не испытав ее, смотрела на нее как на что-то непонятное и вместе с тем отвратительное и оскорбительное для человеческого достоинства.

IV

Влияние Марьи Павловны было одно влияние, которому подчинялась Маслова. Оно происходило оттого, что Маслова полюбила Марью Павловну. Другое влияние было влияние Симонсона. И это влияние происходило оттого, что Симонсон полюбил Маслову.

Все люди живут и действуют отчасти по своим мыслям, отчасти по мыслям других людей. В том, насколько люди живут по своим мыслям и насколько по мыслям других людей, состоит одно из главных различий людей между собою. Одни люди в большинстве случаев пользуются своими мыслями, как умственной игрой, обращаются с своим разумом, как с маховым колесом, с которого снят передаточный ремень, а в поступках своих подчиняются чужим мыслям — обычаю, преданию, закону; другие же, считая свои мысли главными двигателями всей своей деятельности, почти всегда прислушиваются к требованиям своего разума и подчиняются ему, только изредка, и то после критической оценки, следуя тому, что решено другими. Такой человек был Симонсон. Он все поверял, решал разумом, а что решал, то и делал.

Решив еще гимназистом, что нажитое его отцом, бывшим интендантским чиновником, нажито нечестно, он объявил отцу, что состояние это надо отдать народу. Когда же отец не только не послушался, но разбранил его, он ушел из дома и перестал пользоваться средствами отца. Решив, что все существующее зло происходит от необразованности народа, он, выйдя из университета, сошелся с народниками, поступил в село учителем и смело проповедовал и ученикам и крестьянам все то, что считал справедливым, и отрицал то, что считал ложным.

Его арестовали и судили.

Во время суда он решил, что судьи не имеют права судить его, и высказал это. Когда же судьи не согласились с ним и продолжали его судить, то он решил, что не будет отвечать, и молчал на все их вопросы. Его сослали в Архангельскую губернию. Там он составил себе религиозное учение, определяющее всю его деятельность. Религиозное учение это состояло в том, что все в мире

живое, что мертвого нет, что все предметы, которые мы считаем мертвыми, неорганическими, суть только части огромного органического тела, которое мы не можем обнять, и что поэтому задача человека, как частицы большого организма, состоит в поддержании жизни этого организма и всех живых частей его. И потому он считал преступлением уничтожать живое: был против войны, казней и всякого убийства не только людей, но и животных. По отношению к браку у него была тоже своя теория, состоявшая в том, что размножение людей есть только низшая функция человека, высшая же состоит в служении уже существующему живому. Он находил подтверждение этой мысли в существовании фагоцитов в крови. Холостые люди, по его мнению, были те же фагоциты, назначение которых состояло в помощи слабым, больным частям организма. Он так и жил с тех пор, как решил это, хотя прежде, юношей, предавался разврату. Он признавал себя теперь, так же как и Марью Павловну, мировыми фагоцитами.

Любовь его к Катюше не нарушала этой теории, так как он любил платонически, полагая, что такая любовь не только не препятствует фагоцитной деятельности служения слабым, но еще больше воодушевляет к ней.

Но кроме того, что нравственные вопросы он решал по-своему, он решал по-своему и большую часть практических вопросов. У него на все практические дела были свои теории: были правила, сколько надо часов работать, сколько отдыхать, как питаться, как одеваться, как топить печи, как освещаться.

С этим вместе Симонсон был чрезвычайно робок с людьми и скромен. Но когда он решил что-нибудь, ничто уже не могло остановить его.

Вот этот-то человек и имел решительное влияние на Маслову тем, что полюбил ее. Маслова женским чутьем очень скоро догадалась об этом, и сознание того, что она могла возбудить любовь в таком необыкновенном человеке, подняло ее в своем собственном мнении. Нехлюдов предлагал ей брак по великодушию и по тому, что было прежде; но Симонсон любил ее такою, какою она была теперь, и любил просто за то, что любил. Кроме того, она чувствовала, что Симонсон считает ее необыкновенной, отличающейся от всех женщиной, имеющей особенные высокие нравственные свойства. Она хорошенько не знала, какие свойства он приписывает ей, но на всякий случай, чтобы не обмануть его, старалась всеми силами вызвать в себе самые лучшие свойства, какие только она могла себе представить. И это заставляло ее стараться быть такой хорошей, какой она только могла быть.

Началось это еще в тюрьме, когда при общем свидании политических она заметила на себе особенно упорный из-под нависс-

шего лба и бровей взгляд его невинных, добрых темно-синих глаз. Еще тогда она заметила, что это человек особенный и особенно смотрит на нее, и заметила это невольно поражающее соединение в одном лице суровости, которую производили торчащие волосы и нахмуренные брови, детской доброты и невинности взгляда. Потом, в Томске, когда ее перевели к политическим, она вновь увидала его. И несмотря на то, что между ними не было сказано ни одного слова, во взгляде, которым они обменялись, было признание того, что они помнят и важны друг для друга. Разговоров значительных между ними и потом не было, но Маслова чувствовала, что, когда он говорил при ней, его речь была обращена к ней и что он говорил для нее, стараясь выражаться как можно понятнее. Особенно же сближение их началось с того времени, как он пошел пешком с уголовными.

V

От Нижнего до Перми Нехлюдову удалось видеться с Катюшей только два раза: один раз в Нижнем, перед посадкой арестантов на затянутую сеткой баржу, и другой раз в Перми, в конторе тюрьмы. И в оба эти свиданья он нашел ее скрытной и недоброй. На вопросы его, хорошо ли ей и не нужно ли ей чего, она отвечала уклончиво, смущенно и с тем, как ему казалось, враждебным чувством упрека, которое и прежде проявлялось в ней. И это ее мрачное настроение, происходившее только от тех преследований мужчин, которым она подвергалась в это время, мучало Нехлюдова. Он боялся, чтобы под влиянием тех тяжелых и развращающих условий, в которых она находилась во время переезда, она не впала бы вновь в то прежнее состояние разлада самой с собой и отчаянности в жизни, в котором она раздражалась против него и усиленно курила и пила вино, чтобы забыться. Но он не мог ничем помочь ей, потому что во все это первое время пути не имел возможности видеться с нею. Только после перевода ее к политическим он не только убедился в неосновательности своих опасений, но, напротив, с каждым свиданием с нею стал замечать все более и более определяющуюся в ней ту внутреннюю перемену, которую он так сильно желал видеть в ней. В первое же свидание в Томске она опять стала такою, какою была перед отъездом. Она не насупилась и не смутилась, увидав его, а, напротив, радостно и просто встретила его, благодаря за то, что́ он сделал для нее, в особенности за то, что свел ее с теми людьми, с которыми она была теперь.

После двух месяцев похода по этапу происшедшая в ней перемена проявилась и в ее наружности. Она похудела, загорела, как будто постарела; на висках и около рта обозначились мор-

щинки, волосы она не распускала на лоб, а повязывала голову платком, и ни в одежде, ни в прическе, ни в обращенье не было уже прежних признаков кокетства. И эта происшедшая и происходившая в ней перемена не переставая вызывала в Нехлюдове особенно радостное чувство.

Он испытывал теперь к ней чувство, никогда не испытанное им прежде. Чувство это не имело ничего общего ни с первым поэтическим увлечением, ни еще менее с тем чувственным влюблением, которое он испытывал потом, ни даже с тем чувством сознания исполненного долга, соединенного с самолюбованием, с которым он после суда решил жениться на ней. Чувство это было то самое простое чувство жалости и умиления, которое он испытал в первый раз на свидании с нею в тюрьме и потом, с новой силой, после больницы, когда он, поборов свое отвращение, простил ее за воображаемую историю с фельдшером (несправедливость которой разъяснилась потом); это было то же самое чувство, но только с тою разницею, что тогда оно было временно, теперь же оно стало постоянным. О чем бы он ни думал теперь, что бы ни делал, общее настроение его было это чувство жалости и умиления не только к ней, но ко всем людям.

Это чувство как будто раскрыло в душе Нехлюдова поток любви, не находивший прежде исхода, а теперь направлявшийся на всех людей, с которыми он встречался.

Нехлюдов чувствовал себя во все время путешествия в том возбужденном состоянии, в котором он невольно делался участливым и внимательным ко всем людям, от ямщика и конвойного солдата до начальника тюрьмы и губернатора, до которых имел дело.

За это время Нехлюдову, вследствие перевода Масловой к политическим, пришлось познакомиться с многими политическими, сначала в Екатеринбурге, где они очень свободно содержались все вместе в большой камере, а потом на пути с теми пятью мужчинами и четырьмя женщинами, к которым присоединена была Маслова. Это сближение Нехлюдова с ссылаемыми политическими совершенно изменило его взгляды на них.

С самого начала революционного движения в России, и в особенности после Первого марта, Нехлюдов питал к революционерам недоброжелательное и презрительное чувство. Отталкивала его от них прежде всего жестокость и скрытность приемов, употребляемых ими в борьбе против правительства, главное, жестокость убийств, которые были совершены ими, и потом противна ему была общая им всем черта большого самомнения. Но, узнав их ближе и все то, что они часто безвинно перестрадали от правительства, он увидал, что они не могли быть иными, как такими, какими они были.

Как ни ужасно бессмысленны были мучения, которым подвергались так называемые уголовные, все-таки над ними производилось до и после осуждения некоторое подобие законности; но в делах с политическими не было и этого подобия, как это видел Нехлюдов на Шустовой и потом на многих и многих из своих новых знакомых. С этими людьми поступали так, как поступают при ловле рыбы неводом: вытаскивают на берег все, что попадается, и потом отбирают те крупные рыбы, которые нужны, не заботясь о мелкоте, которая гибнет, засыхая на берегу. Так, захватив сотни таких, очевидно не только не виноватых, но и не могущих быть вредными правительству людей, их держали иногда годами в тюрьмах, где они заражались чахоткой, сходили с ума или сами убивали себя; и держали их только потому, что не было причины выпускать их, между тем как, будучи под рукой в тюрьме, они могли понадобиться для разъяснения какого-нибудь вопроса при следствии. Судьба всех этих часто даже с правительственной точки зрения невинных людей зависела от произвола, досуга, настроения жандармского, полицейского офицера, шпиона, прокурора, судебного следователя, губернатора, министра. Соскучится такой чиновник или желает отличиться — и делает аресты и, смотря по настроению своему или начальства, держит в тюрьме или выпускает. А высший начальник, тоже смотря по тому, нужно ли ему отличиться, или в каких он отношениях с министром,— или ссылает на край света, или держит в одиночном заключении, или приговаривает к ссылке, к каторге, к смерти, или выпускает, когда его попросит об этом какая-нибудь дама.

С ними поступали, как на войне, и они, естественно, употребляли те же самые средства, которые употреблялись против них. И как военные живут всегда в атмосфере общественного мнения, которое не только скрывает от них преступность совершаемых ими поступков, но представляет эти поступки подвигами,— так точно и для политических существовала такая же, всегда сопутствующая им атмосфера общественного мнения их кружка, вследствие которой совершаемые ими, при опасности потери свободы, жизни и всего, что дорого человеку, жестокие поступки представлялись им также не только не дурными, но доблестными поступками. Этим объяснялось для Нехлюдова то удивительное явление, что самые кроткие по характеру люди, неспособные не только причинить, но видеть страданий живых существ, спокойно готовились к убийствам людей, и все почти признавали в известных случаях убийство, как орудие самозащиты и достижения высшей цели общего блага, законным и справедливым. Высокое же мнение, которое они приписывали своему делу, а вследствие того и себе, естественно вытекало из того значения, которое придавало им

правительство, и той жестокости наказаний, которым оно подвергало их. Им надо было иметь о себе высокое мнение, чтобы быть в силах переносить то, что они переносили.

Узнав их ближе, Нехлюдов убедился, что это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, какими считали их другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие, и дурные, и средние люди. Были среди них люди, ставшие революционерами потому, что искренно считали себя обязанными бороться с существующим злом; но были и такие, которые избрали эту деятельность из эгоистических, тщеславных мотивов; большинство же было привлечено к революции знакомым Нехлюдову по военному времени желанием опасности, риска, наслаждением игры своей жизнью — чувствами, свойственными самой обыкновенной энергической молодежи. Различие их от обыкновенных людей, и в их пользу, состояло в том, что требования нравственности среди них были выше тех, которые были приняты в кругу обыкновенных людей. Среди них считались обязательными не только воздержание, суровость жизни, правдивость, бескорыстие, но и готовность жертвовать всем, даже своею жизнью, для общего дела. И потому те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его, представляли из себя образец редкой нравственной высоты; те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его, представляя из себя часто людей неправдивых, притворяющихся и вместе с тем самоуверенных и гордых. Так что некоторых из своих новых знакомых Нехлюдов не только уважал, но и полюбил всей душой, к другим же оставался более чем равнодушен.

VI

В особенности полюбил Нехлюдов шедшего с той партией, к которой была присоединена Катюша, ссылаемого в каторгу чахоточного молодого человека Крыльцова. Нехлюдов познакомился с ним еще в Екатеринбурге и потом во время пути несколько раз видался и беседовал с ним. Один раз летом на этапе во время дневки Нехлюдов провел с ним почти целый день, и Крыльцов, разговорившись, рассказал ему свою историю и как он стал революционером. История его до тюрьмы была очень короткая. Отец его, богатый помещик южных губерний, умер, когда он был еще ребенком. Он был единственный сын, и мать воспитывала его. Учился он легко и в гимназии и в университете и кончил курс первым кандидатом математического факультета. Ему предлагали оставаться при университете и ехать за границу. Но он медлил.

Была девушка, которую он любил, и он подумывал о женитьбе и земской деятельности. Всего хотелось, и ни на что не решался. В это время товарищи по университету попросили у него денег на общее дело. Он знал, что это общее дело было революционное дело, которым он тогда совсем не интересовался, но из чувства товарищества и самолюбия, чтобы не подумали, что он боится, дал деньги. Взявшие деньги попались; была найдена записка, по которой узнали, что деньги даны Крыльцовым; его арестовали, посадили сначала в часть, а потом в тюрьму.

— В тюрьме, куда меня посадили,— рассказывал Крыльцов Нехлюдову (он сидел с своей впалой грудью на высоких нарах, облокотившись на колени, и только изредка взглядывал блестящими, лихорадочными, прекрасными, умными и добрыми глазами на Нехлюдова),— в тюрьме этой не было особой строгости: мы не только перестукивались, но и ходили по коридору, переговаривались, делились провизией, табаком и по вечерам даже пели хором. У меня был голос хороший. Да. Если бы не мать,— она очень убивалась,— мне бы хорошо было в тюрьме, даже приятно и очень интересно. Здесь я познакомился, между прочим, с знаменитым Петровым (он потом зарезался стеклом в крепости) и еще с другими. Но я не был революционером. Познакомился я также с двумя соседями по камере. Они попались в одном и том же деле с польскими прокламациями и судились за попытку освободиться от конвоя, когда их вели на железную дорогу. Один был поляк Лозинский, другой — еврей, Розовский — фамилия. Да. Розовский этот был совсем мальчик. Он говорил, что ему семнадцать, но на вид ему было лет пятнадцать. Худенький, маленький, с блестящими черными глазами, живой и, как все евреи, очень музыкален. Голос у него еще ломался, но он прекрасно пел. Да. При мне их обоих водили в суд. Утром отвели. Вечером они вернулись и рассказали, что их присудили к смертной казни. Никто этого не ожидал. Так неважно было их дело — они только попытались отбиться от конвоя и никого не ранили даже. И потом так неестественно, чтобы можно было такого ребенка, как Розовского, казнить. И мы все в тюрьме решили, что это только, чтобы напугать, и что приговор не будет конфирмован. Поволновались сначала, а потом успокоились, и жизнь пошла по-старому. Да. Только раз вечером подходит к моей двери сторож и таинственно сообщает, что пришли плотники, ставят виселицу. Я сначала не понял: что такое? какая виселица? Но сторож-старик был так взволнован, что, взглянув на него, я понял, что это для наших двух. Я хотел постучать, переговориться с товарищами, но боялся, как бы те не услыхали. Товарищи тоже молчали. Очевидно, все знали. В коридоре и камерах весь вечер была мертвая тишина. Мы не перестукивались и не

пели. Часов в десять опять подошел ко мне сторож и объявил, что палача привезли из Москвы. Сказал и отошел. Я стал его звать, чтобы вернулся. Вдруг слышу, Розовский из своей камеры через коридор кричит мне: «Что вы? зачем вы его зовете?» Я сказал что-то, что он табак мне приносил, но он точно догадывался и стал спрашивать меня, отчего мы не пели, отчего не перестукивались. Не помню, что я сказал ему, и поскорее отошел, чтобы не говорить с ним. Да. Ужасная была ночь. Всю ночь прислушивался ко всем звукам. Вдруг к утру слышу — отворяют двери коридора и идут кто-то, много. Я стал у окошечка. В коридоре горела лампа. Первый прошел смотритель. Толстый был, казалось, самоуверенный, решительный человек. На нем лица не было: бледный, понурый, точно испуганный. За ним помощник — нахмуренный, с решительным видом; сзади караул. Прошли мимо моей двери и остановились перед камерой рядом. И слышу — помощник каким-то странным голосом кричит: «Лозинский, вставайте, надевайте чистое белье». Да. Потом слышу, завизжала дверь, они прошли к нему, потом слышу шаги Лозинского: он пошел в противоположную сторону коридора. Мне видно было только смотрителя. Стоит бледный и расстегивает и застегивает пуговицу и пожимает плечами. Да. Вдруг точно испугался чего, посторонился. Это Лозинский прошел мимо него и подошел к моей двери. Красивый был юноша, знаете, того хорошего польского типа: широкий, прямой лоб с шапкой белокурых вьющихся тонких волос, прекрасные голубые глаза. Такой цветущий, сочный, здоровый был юноша. Он остановился перед моим окошечком, так что мне видно было все его лицо. Страшное, осунувшееся, серое лицо. «Крыльцов, папиросы есть?» Я хотел подать ему, но помощник, как будто боясь опоздать, выхватил свой портсигар и подал ему. Он взял одну папиросу, помощник зажег ему спичку. Он стал курить и как будто задумался. Потом точно вспомнил что-то и начал говорить: «И жестоко и несправедливо. Я никакого преступления не сделал. Я...» В белой молодой шее его, от которой я не мог оторвать глаз, что-то задрожало, и он остановился. Да. В это время, слышу, Розовский из коридора кричит что-то своим тонким еврейским голосом. Лозинский бросил окурок и отошел от двери. И в окошечке появился Розовский. Детское лицо его с влажными черными глазами было красно и потно. На нем было тоже чистое белье, и штаны были слишком широки, и он все подтягивал их обеими руками и весь дрожал. Он приблизил свое жалкое лицо к моему окошечку: «Анатолий Петрович, ведь правда, что доктор прописал мне грудной чай? Я нездоров, я выпью еще грудного чаю». Никто не отвечал, и он вопросительно смотрел то на меня, то на смотрителя. Что он хотел этим сказать, я так и не понял. Да. Вдруг помощник сделал строгое лицо и

опять каким-то визгливым голосом закричал: «Что за шутки? Идем». Розовский, очевидно, не в силах был понять того, что его ожидало, и, как будто торопясь, пошел, почти побежал вперед всех по коридору. Но потом он уперся — я слышал его пронзительный голос и плач. Началась возня, топот ног. Он пронзительно визжал и плакал. Потом дальше и дальше,— зазвенела дверь коридора, и все затихло... Да. Так и повесили. Веревками задушили обоих. Сторож, другой, видел и рассказывал мне, что Лозинский не противился, но Розовский долго бился, так что его втащили на эшафот и силой вложили ему голову в петлю. Да. Сторож этот был глуповатый малый. «Мне говорили, барин, что страшно. А ничего не страшно. Как повисли они — только два раза так плечами,— он показал, как судорожно поднялись и опустились плечи,— потом палач подернул, чтобы, значит, петли затянулись получше, и шабаш: и не дрогнули больше». «Ничего не страшно»,— повторил Крыльцов слова сторожа и хотел улыбнуться, но вместо улыбки разрыдался.

Долго после этого он молчал, тяжело дыша и глотая подступавшие к его горлу рыдания.

— С тех пор я и сделался революционером. Да,— сказал он, успокоившись, и вкратце досказал свою историю.

Он принадлежал к партии народовольцев и был даже главою дезорганизационной группы, имевшей целью терроризировать правительство так, чтобы оно само отказалось от власти и призвало народ. С этой целью он ездил то в Петербург, то за границу, то в Киев, то в Одессу и везде имел успех. Человек, на которого он вполне полагался, выдал его. Его арестовали, судили, продержали два года в тюрьме и приговорили к смертной казни, заменив ее бессрочной каторгой.

В тюрьме у него сделалась чахотка, и теперь, в тех условиях, в которых он находился, ему, очевидно, оставалось едва несколько месяцев жизни, и он знал это и не раскаивался в том, что он делал, а говорил, что, если бы у него была другая жизнь, он ее употребил бы на то же самое — на разрушение того порядка вещей, при котором возможно было то, что он видел.

История этого человека и сближение с ним объяснили Нехлюдову многое из того, чего он не понимал прежде.

VII

В тот день, когда на выходе с этапа произошло столкновение конвойного офицера с арестантами из-за ребенка, Нехлюдов, ночевавший на постоялом дворе, проснулся поздно и еще засиделся за

письмами, которые он готовил к губернскому городу, так что выехал с постоялого двора позднее обыкновенного и не обогнал партию дорогой, как это бывало прежде, а приехал в село, возле которого был полуэтап, уже сумерками. Обсушившись на постоялом дворе, содержавшемся пожилой толстой, с необычайной толщины белой шеей женщиной, вдовой, Нехлюдов в чистой горнице, украшенной большим количеством икон и картин, напился чаю и поспешил на этапный двор к офицеру просить разрешения свидания.

На шести предшествующих этапах конвойные офицеры все, несмотря на то, что переменялись, все одинаково не допускали Нехлюдова в этапное помещение, так что он больше недели не видал Катюшу. Происходила эта строгость оттого, что ожидали проезда важного тюремного начальника. Теперь же начальник проехал, не заглянув на этапы, и Нехлюдов надеялся, что принявший утром партию конвойный офицер разрешит ему, как и прежние офицеры, свидание с арестантами.

Хозяйка предложила Нехлюдову тарантас доехать до полуэтапа, находившегося на конце села, но Нехлюдов предпочел идти пешком. Молодой малый, широкоплечий богатырь, работник, в огромных свежевымазанных пахучим дегтем сапогах, взялся проводить. С неба шла мга, и было так темно, что как только малый отделялся шага на три в тех местах, где не падал свет из окон, Нехлюдов уже не видал его, а слышал только чмокание его сапог по липкой, глубокой грязи.

Пройдя площадь с церковью и длинную улицу с ярко светящимися окнами домов, Нехлюдов вслед за проводником вышел на край села в полный мрак. Но скоро и в этом мраке завиднелись расходившиеся в тумане лучи от фонарей, горевших около этапа. Красноватые пятна огней становились все больше и светлей; стали видны пали ограды, черная фигура движущегося часового, полосатый столб и будка. Часовой окликнул подошедших обычным: «Кто идет?» — и, узнав, что не свои, оказался так строг, что не хотел позволить дожидаться подле ограды. Но проводник Нехлюдова не смутился строгостью часового.

— Эка ты, паря, сердитый какой! — сказал он ему.— Ты пошуми старшого, а мы подождем.

Часовой, не отвечая, прокричал что-то в калитку и остановился, пристально глядя на то, как широкоплечий малый в свете фонаря очищал щепкой сапоги Нехлюдова от налипшей на них грязи. За палями ограды слышен был гул голосов, мужских и женских. Минуты через три зазвенело железо, дверь калитки отворилась, и из темноты в свет фонаря вышел старшой в шинели внакидку и спросил, что нужно. Нехлюдов передал свою заготовленную карточку с запиской, в которой просил принять его по лич-

ному делу, и просил передать офицеру. Старшой был менее строг, чем часовой, но зато особенно любопытен. Он непременно хотел знать, зачем Нехлюдову нужно видеть офицера и кто он, очевидно чуя добычу и не желая упустить ее. Нехлюдов сказал, что есть особенное дело и что он поблагодарит, и просил передать записку. Старшой взял записку и, кивнув головой, ушел. Несколько времени после его ухода опять зазвенела калитка, и из нее стали выходить женщины с корзинками, туесами, крынками и мешками. Звонко болтая на своем особенном сибирском наречии, шагали они через порог калитки. Все они были одеты не по-деревенски, а по-городски, в пальто и шубки; юбки были высоко подтыканы, а головы обвязаны платками. Они с любопытством оглядывали при свете фонаря Нехлюдова и его проводника. Одна же, очевидно обрадовавшись встрече с широкоплечим малым, тотчас же ласкательно обругала его сибирским ругательством.

— Ты, леший, чего тут, язви-те, делашь? — обратилась она к нему.

— Да вот проезжего проводил,— отвечал малый.— А ты чего носила?

— Молоснос, наутро еще велели приходить.

— А ночевать не оставляли? — спросил малый.

— Чоб тебе соскало, брехун! — крикнула она, смеясь.— Айда до села вместе, нас проводи.

Проводник еще что-то сказал ей такое, что засмеялись не только женщины, но и часовой, и обратился к Нехлюдову:

— Что же, найдете одни? не заблудите?

— Найду, найду.

— Как пройдете церковь, от двухъярусного дома направо второй. Да вот вам батожок,— сказал он, отдавая Нехлюдову длинную, выше роста палку, с которой он шел, и, шлепая своими огромными сапогами, скрылся в темноте вместе с женщинами.

Его голос, перебиваемый женскими, еще слышался из тумана, когда опять зазвенела калитка и вышел старшой, приглашая Нехлюдова за собой к офицеру.

VIII

Полуэтап был расположен так же, как и все этапы и полуэтапы по сибирской дороге: во дворе, окруженном завостренными бревнами-палями, было три одноэтажных жилых дома. В одном, в самом большом, с решетчатыми окнами, помещались арестанты, в другом — конвойная команда, в третьем — офицер и канцелярия. Во всех трех домах теперь светились огни, как всегда, в особен-

ности здесь, обманчиво обещая что-то хорошее, уютное в освещенных стенах. Перед крыльцами домов горели фонари, и еще фонарей пять горели около стен, освещая двор. Унтер-офицер подвел Нехлюдова по доске к крыльцу меньшего из домов. Поднявшись на три ступеньки, он пропустил его вперед себя в освещенную лампочкой, пропахшую угарным чадом переднюю. У печи солдат в грубой рубахе, и галстуке, и черных штанах, в одном сапоге с желтым голенищем, перегнувшись, раздувал самовар другим голенищем. Увидав Нехлюдова, солдат оставил самовар, снял с Нехлюдова кожан и вошел во внутреннюю горницу.

— Пришел, ваше благородие.

— Ну, зови,— послышался сердитый голос.

— В дверь ходите,— сказал солдат и тотчас же опять взялся за самовар.

Во второй комнате, освещенной висячею лампой, за накрытым с остатками обеда и двумя бутылками столом сидел в австрийской куртке, облегавшей его широкую грудь и плечи, с большими белокурыми усами и очень красным лицом офицер. В теплой горнице, кроме табачного запаха, пахло еще очень сильно какими-то крепкими дурными духами. Увидав Нехлюдова, офицер привстал и как будто насмешливо и подозрительно уставился на вошедшего.

— Что угодно? — сказал он и, не дожидаясь ответа, закричал в дверь: — Бернов! самовар, что же, будет когда?

— За́раз.

— Вот я те дам за́раз, что будешь помнить! — крикнул офицер, блеснув глазами.

— Несу! — прокричал солдат и вошел с самоваром.

Нехлюдов подождал, пока солдат установил самовар (офицер проводил его маленькими злыми глазами, как бы прицеливаясь, куда бы ударить его). Когда же самовар был поставлен, офицер заварил чай. Потом достал из погребца четвероугольный графинчик с коньяком и бисквиты Альберт. Уставив все это на скатерть, он опять обратился к Нехлюдову:

— Так чем могу служить?

— Я просил бы свидания с одной арестанткой,— сказал Нехлюдов, не садясь.

— Политическая? Это запрещено законом,— сказал офицер.

— Женщина эта не политическая,— сказал Нехлюдов.

— Да прошу покорно садиться,— сказал офицер.

Нехлюдов сел.

— Она не политическая,— повторил он,— но по моей просьбе ей разрешено высшим начальством следовать с политическими.

— А, знаю,— перебил офицер.— Маленькая, черненькая? Что ж, это можно. Курить прикажете?

Он подвинул Нехлюдову коробку с панировками и, аккуратно налив два стакана чаю, подвинул один из них Нехлюдову.

— Прошу,— сказал он.

— Благодарю вас, я бы желал видеться...

— Ночь велика. Успеете. Я вам велю ее вызвать.

— А нельзя ли, не вызывая ее, допустить меня в помещение? — сказал Нехлюдов.

— К политическим? Не по закону.

— Меня несколько раз пускали. Ведь если бояться, что я передам что-либо, то я через нее мог бы передать.

— Ну, нет, ее обыщут,— сказал офицер и засмеялся неприятным смехом.

— Ну, так меня обыщите.

— Ну, и без этого обойдемся,— сказал офицер, поднося откупоренный графинчик к стакану Нехлюдова.— Позволите? Ну, как угодно. Живешь в этой Сибири, так человеку образованному рад-радешенек. Ведь наша служба, сами знаете, самая печальная. А когда человек к другому привык, так и тяжело. Ведь про нашего брата такое понятие, что конвойный офицер — значит грубый человек, необразованный, а того не думают, что человек может быть совсем для другого рожден.

Красное лицо этого офицера, его духи, перстень и в особенности неприятный смех были очень противны Нехлюдову, но он и нынче, как и во все время своего путешествия, находился в том серьезном и внимательном расположении духа, в котором он не позволял себе легкомысленно и презрительно обращаться с каким бы то ни было человеком и считал необходимым с каждым человеком говорить «вовсю», как он сам с собой определял это отношение. Выслушав офицера и поняв его душевное состояние в том смысле, что он тяготится участием в мучительстве подвластных ему людей, он серьезно сказал:

— Я думаю, что в вашей же должности можно найти утешение в том, чтобы облегчить страдания людей,— сказал он.

— Какие их страдания? Ведь это народ такой.

— Какой же особенный народ? — сказал Нехлюдов.— Такой же, как все. А есть и невинные.

— Разумеется, есть всякие. Разумеется, жалеешь. Другие ничего не спускают, а я, где могу, стараюсь облегчить. Пускай лучше я пострадаю, да не они. Другие, как чуть что, сейчас по закону, а то — стрелять, а я жалею. Прикажете? Выкушайте,— сказал он, наливая еще чаю.— Она кто, собственно,— женщина, какую видеть желаете? — спросил он.

— Это несчастная женщина, которая попала в дом терпимо-

сти, и там ее неправильно обвинили в отравлении, а она очень хорошая женщина,— сказал Нехлюдов.

Офицер покачал головой.

— Да, бывает. В Казани, я вам доложу, была одна,— Эммой звали. Родом венгерка, а глаза настоящие персидские,— продолжал он, не в силах сдержать улыбку при этом воспоминании.— Шику было столько, что хоть графине...

Нехлюдов перебил офицера и вернулся к прежнему разговору.

— Я думаю, что вы можете облегчить положение таких людей, пока они в вашей власти. И, поступая так, я уверен, что вы нашли бы большую радость,— говорил Нехлюдов, стараясь произносить как можно внятнее, так, как говорят с иностранцами или детьми.

Офицер смотрел на Нехлюдова блестящими глазами и, очевидно, ждал с нетерпением, когда он кончит, чтобы продолжать рассказ про венгерку с персидскими глазами, которая, очевидно, живо представлялась его воображению и поглощала все его внимание.

— Да, это так, положим, верно,— сказал он.— Я и жалею их. Только я хотел вам про эту Эмму рассказать. Так она что делала...

— Я не интересуюсь этим,— сказал Нехлюдов,— и прямо скажу вам, что хотя я и сам был прежде другой, но теперь ненавижу такое отношение к женщинам.

Офицер испуганно посмотрел на Нехлюдова.

— А еще чайку не угодно? — сказал он.

— Нет, благодарю.

— Бернов! — крикнул офицер,— проводи их к Вакулову, скажи пропустить в отдельную камеру к политическим; могут там побыть до поверки.

IX

Провожаемый вестовым, Нехлюдов вышел опять на темный двор, тускло освещаемый красно горевшими фонарями.

— Куда? — спросил встретившийся конвойный у того, который провожал Нехлюдова.

— В отдельную, пятый номер.

— Здесь не пройдешь, заперто, надо через то крыльцо.

— А что же заперто?

— Старшой запер, а сам на село ушел.

— Ну, так айдате здесь.

Солдат повел Нехлюдова на другое крыльцо и подошел по доскам к другому входу. Еще со двора было слышно гуденье голосов и внутреннее движение, как в хорошем, готовящемся к рой-

ке улье, но, когда Нехлюдов подошел ближе и отворилась дверь, гуденье это усилилось и перешло в звук перекрикивающихся, ругающихся, смеющихся голосов. Послышался переливчатый звук цепей, и пахнуло знакомым тяжелым запахом испражнений и дегтя.

Оба эти впечатления — гул голосов с звоном цепей и этот ужасный запах — всегда сливались для Нехлюдова в одно мучительное чувство какой-то нравственной тошноты, переходящей в тошноту физическую. И оба впечатления смешивались и усиливали одно другое.

Войдя теперь в сени полуэтапа, где стояла огромная вонючая кадка, так называемая «параха», первое, что увидал Нехлюдов, была женщина, сидевшая на краю кадки. Напротив нее — мужчина со сдвинутой набок на бритой голове блинообразной шапкой. Они о чем-то разговаривали. Арестант, увидав Нехлюдова, подмигнул глазом и проговорил:

— И царь воды не удóржит.

Женщина же опустила полы халата и потупилась.

Из сеней шел коридор, в который отворялись двери камер. Первая была камера семейных, потом большая камера холостых и в конце коридора две маленькие камеры, отведенные для политических. Помещение этапа, предназначенное для ста пятидесяти человек, вмещая четыреста пятьдесят, было так тесно, что арестанты, не помещаясь в камерах, наполняли коридор. Одни сидели и лежали на полу, другие двигались взад и вперед с пустыми и полными кипятком чайниками. В числе этих был Тарас. Он догнал Нехлюдова и ласково поздоровался с ним. Доброе лицо Тараса было изуродовано сине-багровыми подтеками на носу и под глазом.

— Что это с тобой? — спросил Нехлюдов.

— Вышло дело такое,— сказал Тарас, улыбаясь.

— Да дерутся все,— презрительно сказал конвойный.

— Из-за бабы,— прибавил арестант, шедший за ними,— с Федькой слепым сцепились.

— А Федосья что? — спросил Нехлюдов.

— Ничего, здорова, вот ей на чай кипяточку несу,— сказал Тарас и вошел в семейную.

Нехлюдов загляпул в дверь. Вся камера была полна женщинами и мужчинами и на нарах и под нарами. В камере стоял пар от сохнувшей мокрой одежды и слышался неумолкаемый крик женских голосов. Следующая дверь была дверь камеры холостых. Эта была еще полнее, и даже в самой двери и выступая в коридор стояла шумная толпа что-то деливших или решавших арестантов в мокрых одеждах. Конвойный объяснил Нехлюдову, что это староста выдавал забранные или проигранные вперед по би-

летикам, сделанным из игральных карт, кормовые деньги майданщику. Увидав унтер-офицера и господина, стоявшие ближе замолкли, недоброжелательно оглядывая проходивших. В числе деливших Нехлюдов заметил знакомого каторжного Федорова, всегда державшего при себе жалкого, с поднятыми бровями, белого, будто распухшего молодого малого и еще отвратительного, рябого, безносого бродягу, известного тем, что он во время побега в тайге будто бы убил товарища и питался его мясом. Бродяга стоял в коридоре, накинув на одно плечо мокрый халат, и насмешливо и дерзко глядел на Нехлюдова, не сторонясь перед ним. Нехлюдов обошел его.

Как ни знакомо было Нехлюдову это зрелище, как ни часто видел он в продолжение этих трех месяцев все тех же четыреста человек уголовных арестантов в самых различных положениях: и в жаре, в облаке пыли, которое они поднимали волочащими цепи ногами, и на привалах по дороге, и на этапах в теплое время на дворе, где происходили ужасающие сцены открытого разврата, он все-таки всякий раз, когда входил в середину их и чувствовал, как теперь, что внимание их обращено на него, испытывал мучительное чувство стыда и сознания своей виноватости перед ними. Самое тяжелое для него было то, что к этому чувству стыда и виноватости примешивалось еще непреодолимое чувство отвращения и ужаса. Он знал, что в том положении, в которое они были поставлены, нельзя было не быть такими, как они, и все-таки не мог подавить своего отвращения к ним.

— Им хорошо, дармоедам,— услыхал Нехлюдов, когда он уже подходил к двери политических,— что им, чертям, делается; небось брюхо не заболит,— сказал чей-то хриплый голос, прибавив еще неприличное ругательство.

Послышался недружелюбный, насмешливый хохот.

X

Миновав камеру холостых, унтер-офицер, провожавший Нехлюдова, сказал ему, что придет за ним перед поверкой, и вернулся назад. Едва унтер-офицер отошел, как к Нехлюдову быстрыми босыми шагами, придерживая кандалы, совсем близко подошел, обдавая его тяжелым и кислым запахом пота, арестант и таинственным шепотом проговорил:

— Заступите, барин. Совсем скрутили малого. Пропили. Нынче уж на приемке Кармановым назвался. Заступитесь, а нам нельзя, убьют,— сказал арестант, беспокойно оглядываясь, и тотчас же отошел от Нехлюдова.

Дело было в том, что каторжный Карманов подговорил похожего на себя лицом малого, ссылаемого на поселение, смениться с ним так, чтобы каторжный шел в ссылку, а малый в каторгу, на его место.

Нехлюдов знал уже про это дело, так как тот же арестант неделю тому назад сообщил ему про этот обмен. Нехлюдов кивнул головой в знак того, что он понял и сделает, что может, и, не оглядываясь, прошел дальше.

Нехлюдов знал этого арестанта с Екатеринбурга, где он просил его ходатайства о том, чтобы разрешено было его жене следовать за ним, и был удивлен его поступком. Это был среднего роста и самого обыкновенного крестьянского вида человек лет тридцати, ссылавшийся в каторгу за покушение на грабеж и убийство. Звали его Макар Девкин. Преступление его было очень странное. Преступление это, как он сам рассказывал Нехлюдову, было делом не его, Макара, а *его,* нечистого. К отцу Макара, рассказывал он, заехал проезжий и нанял у него за два рубля подводу в село за сорок верст. Отец велел Макару везти проезжего. Макар запряг лошадь, оделся и вместе с проезжим стал пить чай. Проезжий за чаем рассказал, что едет жениться и везет с собой нажитые в Москве пятьсот рублей. Услыхав это, Макар вышел на двор и положил в сани под солому топор.

— И сам я не знаю, зачем я топор взял,— рассказывал он.— «Возьми, говорит, топор»,— я и взял. Сели, поехали. Едем, ничего. Я и забыл было про топор. Только стали подъезжать к селу,— верст шесть осталось. С проселка на большак дорога в гору пошла. Слез я, иду за санями, а *он* шепчет: «Ты что же думаешь? Въедешь в гору, по большаку народ, а там деревня. Увезет он деньги; делать, так теперь,— ждать нечего». Нагнулся я к саням, будто поправляю солому, а топорище точно само в руки вскочило. Оглянулся он. «Чего ты?» — говорит. Взмахнул я топором, хотел долбануть, а он, человек стремой, соскочил с саней, ухватил меня за руки. «Что ты, говорит, злодей, делаешь?..» Повалил меня на снег, и не стал я бороться, сам дался. Связал он мне руки кушаком, швырнул в сани. Повез прямо в стан. Посадили в зáмок. Судили. Общество дало одобрение, что человек хороший и худого ничего не заметно. Хозяева, у кого жил, тоже одобрили. Да аблаката напять не на что было,— говорил Макар,— и потому присудили к четырем годам.

И вот теперь этот человек, желая спасти земляка, зная, что он этими словами рискует жизнью, все-таки передал Нехлюдову арестантскую тайну, за что,— если бы только узнали, что он сделал это,— непременно бы задушили его.

XI

Помещение политических состояло из двух маленьких камер, двери которых выходили в отгороженную часть коридора. Войдя в отгороженную часть коридора, первое лицо, которое увидал Нехлюдов, был Симонсон с сосновым поленом в руке, сидевший в своей куртке на корточках перед дрожащей, втягиваемой жаром заслонкой растопившейся печи.

Увидав Нехлюдова, он, не встав с корточек, глядя снизу вверх из-под своих нависших бровей, подал руку.

— Я рад, что вы пришли, мне нужно вас видеть,— сказал он с значительным видом, прямо глядя в глаза Нехлюдову.

— А что именно? — спросил Нехлюдов.

— После. Теперь я занят.

И Симонсон опять взялся за печку, которую он топил по своей особенной теории наименьшей потери тепловой энергии.

Нехлюдов уже хотел пройти в первую дверь, когда из другой двери, согнувшись, с веником в руке, которым она подвигала к печке большую кучу сора и пыли, вышла Маслова. Она была в белой кофте, подтыканной юбке и чулках. Голова ее по самые брови была от пыли повязана белым платком. Увидав Нехлюдова, она разогнулась и, вся красная и оживленная, положила веник и, обтерев руки об юбку, прямо остановилась перед ним.

— Приводите в порядок помещение? — сказал Нехлюдов, подавая руку.

— Да, мое старинное занятие,— сказала она и улыбнулась.— А грязь такая, что подумать нельзя. Уж мы чистили, чистили. Что же, плед высох? — обратилась она к Симонсону.

— Почти,— сказал Симонсон, глядя на нее каким-то особенным, поразившим Нехлюдова взглядом.

— Ну, так я приду за ним и принесу шубы сушить. Наши все тут,— сказала она Нехлюдову, уходя в дальнюю и указывая на ближнюю дверь.

Нехлюдов отворил дверь и вошел в небольшую камеру, слабо освещенную маленькой металлической лампочкой, низко стоявшей на нарах. В камере было холодно и пахло неосевшей пылью, сыростью и табаком. Жестяная лампа ярко освещала находящихся около нее, но нары были в тени, и по стенам ходили колеблющиеся тени.

В небольшой камере были все, за исключением двух мужчин, заведовавших продовольствием и ушедших за кипятком и провизией. Тут была старая знакомая Нехлюдова, еще более похудевшая и пожелтевшая Вера Ефремовна с своими огромными испу-

гаными глазами и налившейся жилой на лбу, в серой кофте и с короткими волосами. Она сидела перед газетной бумагой с рассыпанным на ней табаком и набивала его порывистыми движениями в папиросные гильзы.

Тут же была и одна из самых для Нехлюдова приятных политических женщин — Эмилия Ранцева, заведовавшая внешним хозяйством и придававшая ему, при самых даже тяжелых условиях, женскую домовитость и привлекательность. Она сидела подле лампы и с засученными рукавами над загоревшими красивыми и ловкими руками перетирала и расставляла кружки и чашки на постланное на нарах полотенце. Ранцева была некрасивая молодая женщина с умным и кротким выражением лица, которое имело свойство вдруг, при улыбке, преображаться и делаться веселым, бодрым и обворожительным. Она теперь встретила такой улыбкой Нехлюдова.

— А мы думали, что вы уже совсем в Россию уехали,— сказала она.

Тут же была в тени, в дальнем углу, и Марья Павловна, что-то делавшая с маленькой белоголовой девчонкой, которая не переставая что-то лопотала своим милым детским голоском.

— Как хорошо, что вы пришли. Видели Катю? — спросила она Нехлюдова.— А у нас вот какая гостья.— Она показала на девочку.

Тут же был и Анатолий Крыльцов. Исхудалый и бледный, с поджатыми под себя ногами в валенках, он, сгорбившись и дрожа, сидел в дальнем углу нар и, засунув руки в рукава полушубка, лихорадочными глазами смотрел на Нехлюдова. Нехлюдов хотел подойти к нему, но направо от двери, разбирая что-то в мешке и разговаривая с хорошенькой улыбающейся Грабец, сидел курчавый рыжеватый человек в очках и гуттаперчевой куртке. Это был знаменитый революционер Новодворов, и Нехлюдов поспешил поздороваться с ним. Он особенно поторопился это сделать потому, что из всех политических этой партии один этот человек был неприятен ему. Новодворов блеснул через очки своими голубыми глазами на Нехлюдова и, нахмурившись, подал ему свою узкую руку.

— Что же, приятно путешествуете? — сказал он, очевидно, иронически.

— Да, много интересного,— отвечал Нехлюдов, делая вид, что не видит иронии, а принимает это за любезность, и подошел к Крыльцову.

Наружно Нехлюдов выказал равнодушие, но в душе он далеко не был равнодушен к Новодворову. Эти слова Новодворова, его очевидное желание сказать и сделать неприятное нарушили то

благодушное настроение, в котором находился Нехлюдов. И ему стало уныло и грустно.

— Что, как здоровье? — сказал он, пожимая холодную и дрожащую руку Крыльцова.

— Да ничего, не согреюсь только, измок,— сказал Крыльцов, поспешно пряча руку в рукав полушубка.— И здесь собачий холод. Вон окна разбиты.— Он указал на разбитые в двух местах стекла за железными решетками.— Что вы, отчего не были?

— Не пускают, строгое начальство. Нынче только офицер оказался обходительный.

— Ну, хорош обходительный! — сказал Крыльцов.— Спросите Машу, что он утром делал.

Мария Павловна, не вставая с своего места, рассказала то, что произошло с девочкой утром при выходе из этапа.

— По-моему, необходимо заявить коллективный протест,— решительным голосом сказала Вера Ефремовна, вместе с тем нерешительно и испуганно взглядывая на лица то того, то другого.— Владимир заявил, но этого мало.

— Какой протест? — досадливо морщась, проговорил Крыльцов. Очевидно, непростота, искусственность тона и нервность Веры Ефремовны уже давно раздражали его.— Вы Катю ищете? — обратился он к Нехлюдову.— Она все работает, чистит. Эту вычистила, нашу — мужскую; теперь женскую. Только блох уж не вычистить, едят поедом. А Маша что там делает? — спросил он, указывая головой на угол, в котором была Марья Павловна.

— Вычесывает свою приемную дочку,— сказала Ранцева.

— А насекомых она не распустит на нас? — сказал Крыльцов.

— Нет, нет, я аккуратно. Она теперь чистенькая,— сказала Марья Павловна.— Возьмите ее,— обратилась она к Ранцевой,— а я пойду помогу Кате. Да и плед ему принесу.

Ранцева взяла девочку и, с материнскою нежностью прижимая к себе голенькие и пухленькие ручки ребенка, посадила к себе на колени и подала ей кусок сахару.

Марья Павловна вышла, а вслед за ней в камеру вошли два человека с кипятком и провизией.

XII

Один из вошедших был невысокий сухощавый молодой человек в крытом полушубке и высоких сапогах. Он шел легкой и быстрой походкой, неся два дымящихся больших чайника с горячей водой и придерживая под мышкой завернутый в платок хлеб.

— Ну, вот и князь наш объявился,— сказал он, ставя чайник среди чашек и передавая хлеб Масловой.— Чудесные штуки мы накупили,— проговорил он, скидывая полушубок и швыряя его через головы в угол нар.— Маркел молока и яиц купил; просто бал нынче будет. А Кирилловна все свою эстетическую чистоту наводит,— сказал он, улыбаясь, глядя на Ранцеву.— Ну, теперь заваривай чай,— обратился он к ней.

От всей наружности этого человека, от его движений, звука его голоса, взгляда веяло бодростью и веселостью. Другой же из вошедших — тоже невысокий, костлявый, с очень выдающимися мослаками худых щек серого лица, с прекрасными зеленоватыми, широко расставленными глазами и тонкими губами — был человек, напротив, мрачного и унылого вида. На нем было старое ватное пальто и сапоги с калошами. Он нес два горшка и два туеса. Поставив перед Ранцевой свою ношу, он поклонился Нехлюдову шеей, так что, кланяясь, не переставая смотрел на него. Потом, неохотно подав ему потную руку, он медлительно стал расставлять вынимаемую из корзины провизию.

Оба эти политические арестанта были люди из народа: первый был крестьянин Набатов, второй был фабричный Маркел Кондратьев. Маркел попал в революционное движение уже пожилым тридцатипятилетним человеком; Набатов же с восемнадцати лет. Попав из сельской школы по своим выдающимся способностям в гимназию, Набатов, содержа себя все время уроками, кончил курс с золотой медалью, но не пошел в университет, потому что еще в седьмом классе решил, что пойдет в народ, из которого вышел, чтобы просвещать своих забытых братьев. Он так и сделал: сначала поступил писарем в большое село, но скоро был арестован за то, что читал крестьянам книжки и устроил среди них потребительное и производительное товарищество. В первый раз его продержали в тюрьме восемь месяцев и выпустили под негласный надзор. Освободившись, он тотчас же поехал в другую губернию, в другое село и, устроившись там учителем, делал то же самое. Его опять взяли и на этот раз продержали год и два месяца в тюрьме, и в тюрьме он еще укрепился в своих убеждениях.

После второй тюрьмы его сослали в Пермскую губернию. Он бежал оттуда. Его опять взяли и, продержав семь месяцев, сослали в Архангельскую губернию. Оттуда за отказ от присяги новому царю его приговорили к ссылке в Якутскую область; так что он провел половину взрослой жизни в тюрьме и ссылке. Все эти похождения нисколько не озлобили его, но и не ослабили его энергию, а скорее разожгли ее. Это был подвижной человек с прекрасным пищеварением, всегда одинаково деятельный, веселый и бодрый. Он никогда ни в чем не раскаивался и ничего да-

леко вперед не загадывал, а всеми силами своего ума, ловкости, практичности действовал в настоящем. Когда он был на воле, он работал для той цели, которую он себе поставил, а именно: просвещение, сплочение рабочего, преимущественно крестьянского народа; когда же он был в неволе, он действовал так же энергично и практично для сношения с внешним миром и для устройства наилучшей в данных условиях жизни не для себя только, но и для своего кружка. Он прежде всего был человек общинный. Для себя ему, казалось, ничего не нужно было, и он мог удовлетворяться ничем, но для общины товарищей он требовал многого и мог работать всякую — и физическую и умственную — работу не покладая рук, без сна, без еды. Как крестьянин, он был трудолюбив, сметлив, ловок в работах и естественно воздержан и без усилия учтив, внимателен не только к чувствам, но и к мнениям других. Старуха мать его, безграмотная крестьянская вдова, полная суеверий, была жива, и Набатов помогал ей и, когда был на свободе, навещал ее. Во время своих побывок дома он входил в подробности ее жизни, помогал ей в работах и не прерывал сношений с бывшими товарищами, крестьянскими ребятами; курил с ними тютюн в собачьей ножке, бился на кулачки и толковал им, как они все обмануты и как им надо выпрастываться из того обмана, в котором их держат. Когда он думал и говорил о том, что даст революция народу, он всегда представлял себе тот самый народ, из которого он вышел, в тех же почти условиях, но только с землей и без господ и чиновников. Революция, в его представлении, не должна была изменить основные формы жизни народа — в этом он не сходился с Новодворовым и последователем Новодворова Маркелом Кондратьевым,— революция, по его мнению, не должна была ломать всего здания, а должна была только иначе распределить внутренние помещения этого прекрасного, прочного, огромного, горячо любимого им старого здания.

В религиозном отношении он был также типичным крестьянином: никогда не думал о метафизических вопросах, о начале всех начал, о загробной жизни. Бог был для него, как и для Арago, гипотезой, в которой он до сих пор не встречал надобности. Ему никакого дела не было до того, каким образом начался мир, по Моисею или Дарвину, и дарвинизм, который так казался важен его сотоварищам, для него был такой же игрушкой мысли, как и творение в шесть дней.

Его не занимал вопрос о том, как произошел мир, именно потому, что вопрос о том, как получше жить в нем, всегда стоял перед ним. О будущей жизни он тоже никогда не думал, в глубине души нося то унаследованное им от предков твердое, спокойное убеждение, общее всем земледельцам, что как в мире животных

и растений ничто не кончается, а постоянно переделывается от одной формы в другую — навоз в зерно, зерно в курицу, головастик в лягушку, червяк в бабочку, желудь в дуб, так и человек не уничтожается, но только изменяется. Он верил в это и потому бодро и даже весело всегда смотрел в глаза смерти и твердо переносил страдания, которые ведут к ней, но не любил и не умел говорить об этом. Он любил работать и всегда был занят практическими делами и на такие же практические дела наталкивал товарищей.

Другой политический арестант в этой партии из народа, Маркел Кондратьев, был человек иного склада. С пятнадцати лет он стал на работу и начал курить и пить, чтобы заглушить смутное сознание обиды. Обиду эту он почувствовал в первый раз, когда на рождество их, ребят, привели на елку, устроенную женой фабриканта, где ему с товарищами подарили дудочку в одну копейку, яблоко, золоченый орех и винную ягоду, а детям фабриканта — игрушки, которые показались ему дарами волшебницы и стоили, как он после узнал, более пятидесяти рублей. Ему было двадцать лет, когда на фабрику поступила работницей знаменитая революционерка и, заметив выдающиеся способности Кондратьева, стала давать ему книги и брошюры и говорить с ним, объясняя ему его положение и причины его и средства его улучшить. Когда ему ясно представилась возможность освобождения себя и других от того угнетенного положения, в котором он находился, несправедливость этого положения показалась ему еще жесточе и ужаснее, чем прежде, и ему страстно захотелось не только освобождения, но и наказания тех, которые устроили и поддерживали эту жестокую несправедливость. Возможность эту, как это ему объяснили, давало знание, и Кондратьев отдался со страстью приобретению знаний. Для него было неясно, каким образом осуществление социалистического идеала совершится через знание, но он верил, что как знание открыло ему несправедливость того положения, в котором он находился, так это же знание и поправит эту несправедливость. Кроме того, знание поднимало его в его мнении выше других людей. И потому, перестав пить и курить, он все свободное время, которого у него стало больше, когда его сделали кладовщиком, отдал учению.

Революционерка учила его и поражалась той удивительной способностью, с которой он ненасытно поглощал всякие знания. В два года он изучил алгебру, геометрию, историю, которую он особенно любил, и перечитал всю художественную и критическую литературу и, главное, социалистическую.

Революционерку арестовали и с ней Кондратьева за нахождение у него запрещенных книг и посадили в тюрьму, а потом сослали в Вологодскую губернию. Там он познакомился с Новод-

воровым, перечитал еще много революционных книг, все запомнил и еще более утвердился в своих социалистических взглядах. После ссылки он был руководителем большой стачки рабочих, кончившейся разгромом фабрики и убийством директора. Его арестовали и приговорили к лишению прав и ссылке.

К религии он относился так же отрицательно, как и к существующему экономическому устройству. Поняв нелепость веры, в которой он вырос, и с усилием и сначала страхом, а потом с восторгом освободившись от нее, он, как бы в возмездие за тот обман, в котором держали его и его предков, не уставал ядовито и озлобленно смеяться над попами и над религиозными догматами.

Он был по привычкам аскет, довольствовался самым малым и, как всякий с детства приученный к работе, с развитыми мускулами человек, легко и много и ловко мог работать всякую физическую работу, но больше всего дорожил досугом, чтобы в тюрьмах и на этапах продолжать учиться. Он теперь изучал первый том Маркса и с великой заботливостью, как большую драгоценность, хранил эту книгу в своем мешке. Ко всем товарищам он относился сдержанно, равнодушно, исключая Новодворова, которому он был особенно предан и суждения которого о всех предметах принимал за неопровержимые истины.

К женщинам же, на которых он смотрел как на помеху во всех нужных делах, он питал непреодолимое презрение. Но Маслову он жалел и был с ней ласков, видя в ней образец эксплуатации низшего класса высшим. По этой же причине он не любил Нехлюдова, был неразговорчив с ним и не сжимал его руки, а только предоставлял к пожатию свою вытянутую руку, когда Нехлюдов здоровался с ним.

XIII

Печка истопилась, согрелась, чай был заварен и разлит по стаканам и кружкам и забелен молоком, были выложены баранки, свежий ситный и пшеничный хлеб, крутые яйца, масло и телячья голова и ножки. Все подвинулись к месту на нарах, заменяющему стол, и пили, ели и разговаривали. Ранцева сидела на ящике, разливая чай. Вокруг нее столпились все остальные, кроме Крыльцова, который, сняв мокрый полушубок и завернувшись в сухой плед, лежал на своем месте и разговаривал с Нехлюдовым.

После холода, сырости во время перехода, после грязи и неурядицы, которую они нашли здесь, после трудов, положенных на то, чтобы привести все в порядок, после принятия пищи и горячего чая все были в самом приятном, радостном настроении.

То, что за стеной слышался топот, крики и ругательства уголовных, как бы напоминая о том, что́ окружало их, еще усиливало чувство уютности. Как на островке среди моря, люди эти чувствовали себя на время не залитыми теми унижениями и страданиями, которые окружали их, и вследствие этого находились в приподнятом, возбужденном состоянии. Говорили обо всем, но только не о своем положении и о том, что ожидало их. Кроме того, как это всегда бывает между молодыми мужчинами и женщинами, в особенности когда они насильно соединены, как были соединены все эти люди, между ними возникли согласные и несогласные, различно переплетающиеся влечения друг к другу. Они почти все были влюблены. Новодворов был влюблен в хорошенькую улыбающуюся Грабец. Грабец эта была молоденькая курсистка, очень мало думавшая и совершенно равнодушная к вопросам революции. Но она подчинилась влиянию времени, чем-то компрометировала себя и была сослана. Как на воле главные интересы ее жизни состояли в успехах у мужчин, так точно это продолжало быть и на допросах, и в тюрьме, и в ссылке. Теперь, во время перехода, она утешалась тем, что Новодворов увлекся ею, и сама влюбилась в него. Вера Ефремовна, очень влюбчивая и не возбуждавшая к себе любви, но всегда надеющаяся на взаимность, была влюблена то в Набатова, то в Новодворова. Что-то похожее на влюбленье было со стороны Крыльцова к Марье Павловне. Он любил ее, как мужчины любят женщин, но, зная ее отношение к любви, искусно скрывал свое чувство под видом дружбы и благодарности за то, что она с особенной нежностью ухаживала за ним. Набатов и Ранцева были связаны очень сложными любовными отношениями. Как Марья Павловна была вполне целомудренная девственница, так Ранцева была вполне целомудренная мужняя жена-женщина.

Шестнадцати лет, еще в гимназии, она полюбила Ранцева, студента петербургского университета, и девятнадцати лет вышла за него замуж, пока еще он был в университете. С четвертого курса муж ее, замешанный в университетской истории, был выслан из Петербурга и сделался революционером. Она же оставила медицинские курсы, которые слушала, поехала за ним и тоже сделалась революционеркой. Если бы ее муж не был тем человеком, которого она считала самым хорошим, самым умным из всех людей на свете, она бы не полюбила его, а не полюбив, не вышла бы замуж. Но, раз полюбив и выйдя замуж за самого, по ее убеждениям, хорошего и умного человека на свете, она, естественно, понимала жизнь и цель ее точно так же, как понимал ее самый лучший и умный человек на свете. Он сначала понимал жизнь в том, чтобы учиться, и она в том же понимала жизнь. Он сделался

революционером, и она стала революционеркой. Она очень хорошо могла доказывать, что существующий порядок невозможен и что обязанность всякого человека состоит в том, чтобы бороться с этим порядком и пытаться установить тот и политический и экономический строй жизни, при котором личность могла бы свободно развиваться, и т. п. И ей казалось, что она действительно так думает и чувствует, но, в сущности, она думала только то, что все то, что думает муж, то истинная правда, и искала только одного — полного согласия, слияния с душой мужа, что одно давало ей нравственное удовлетворение.

Разлука с мужем и ребенком, которого взяла ее мать, была тяжела ей. Но она переносила эту разлуку твердо и спокойно, зная, что несет это она для мужа и для того дела, которое несомненно истинно, потому что он служит ему. Она всегда была мыслями с мужем и как прежде никого не любила, так и теперь не могла любить никого, кроме своего мужа. Но преданная и чистая любовь к ней Набатова трогала и волновала ее. Он, нравственный и твердый человек, друг ее мужа, старался обращаться с ней как с сестрой, но в отношениях его к ней проскальзывало нечто большее, и это нечто большее пугало их обоих и вместе с тем украшало теперь их трудную жизнь.

Так что вполне свободными от влюбления были в этом кружке только Марья Павловна и Кондратьев.

XIV

Рассчитывая поговорить отдельно с Катюшей, как он делал это обыкновенно после общего чая и ужина, Нехлюдов сидел подле Крыльцова, беседуя с ним. Между прочим он рассказал ему про то обращение к нему Макара и про историю его преступления. Крыльцов слушал внимательно, остановив блестящий взгляд на лице Нехлюдова.

— Да,— сказал он вдруг.— Меня часто занимает мысль, что вот мы идем вместе, рядом с ними,— с кем с «ними»? С теми самыми людьми, за которых мы и идем. А между тем мы не только не знаем, но и не хотим знать их. А они, хуже этого, ненавидят нас и считают своими врагами. Вот это ужасно.

— Ничего нет ужасного,— сказал Новодворов, прислушивавшийся к разговору.— Массы всегда обожают только власть,— сказал он своим трещащим голосом.— Правительство властвует — они обожают его и ненавидят нас; завтра мы будем во власти — они будут обожать нас...

В это время из-за стены послышался взрыв брани, толкотня

ударяющихся в степу, звон цепей, визг и крики. Кого-то били, кто-то кричал: «Караул!»

— Вон они звери! Какое же может быть общение между нами и ими? — спокойно сказал Новодворов.

— Ты говоришь — звери. А вот сейчас Нехлюдов рассказывал о таком поступке,— раздражительно сказал Крыльцов, и он рассказал про то, как Макар рискует жизнью, спасая земляка.— Это-то уже не зверство, а подвиг.

— Сентиментальность! — иронически сказал Новодворов.— Нам трудно понять эмоции этих людей и мотивы их поступков. Ты видишь тут великодушие, а тут, может быть, зависть к тому каторжнику.

— Как это ты не хочешь в другом видеть ничего хорошего,— вдруг разгорячившись, сказала Марья Павловна (она была на «ты» со всеми).

— Нельзя видеть, чего нет.

— Как нет, когда человек рискует ужасной смертью?

— Я думаю,— сказал Новодворов,— что если мы хотим делать свое дело, то первое для этого условие (Кондратьев оставил книгу, которую он читал у лампы, и внимательно стал слушать своего учителя) то, чтобы не фантазировать, а смотреть на вещи, как они есть. Делать все для масс народа, а не ждать ничего от них; массы составляют объект нашей деятельности, но не могут быть нашими сотрудниками до тех пор, пока они инертны, как теперь,— начал он, как будто читал лекцию.— И потому совершенно иллюзорно ожидать от них помощи до тех пор, пока не произошел процесс развития, тот процесс развития, к которому мы приготавливаем их.

— Какой процесс развития? — раскрасневшись, заговорил Крыльцов.— Мы говорим, что мы против произвола и деспотизма, а разве это не самый ужасный деспотизм?

— Нет никакого деспотизма,— спокойно отвечал Новодворов.— Я только говорю, что знаю тот путь, по которому должен идти народ, и могу указывать этот путь.

— Но почему ты уверен, что путь, который ты указываешь, истинный? Разве это не деспотизм, из которого вытекали инквизиции и казни большой революции? Они тоже знали по науке единый истинный путь.

— То, что они заблуждались, не доказывает того, чтобы я заблуждался. И потом, большая разница между бреднями идеологов и данными положительной экономической науки.

Голос Новодворова наполнял всю камеру. Он один говорил, а все молчали.

— Всегда спорят,— сказала Марья Павловна, когда он на минуту затих.

— А вы сами-то как об этом думаете? — спросил Нехлюдов Марью Павловну.

— Думаю, что Анатолий прав, что нельзя навязывать народу наши взгляды.

— Ну, а вы, Катюша? — улыбаясь, спросил Нехлюдов, с робостью о том, что она скажет что-нибудь не то, ожидая ее ответа.

— Я думаю, обижен простой народ,— сказала она, вся вспыхнув,— очень уж обижен простой народ.

— Верно, Михайловна, верно,— крикнул Набатов,— дюже обижен народ. Надо, чтобы не обижали его. В этом все наше дело.

— Странное представление о задачах революции,— сказал Новодворов и молча сердито стал курить.

— Не могу с ним говорить,— шепотом сказал Крыльцов и замолчал.

— И гораздо лучше не говорить,— сказал Нехлюдов.

XV

Несмотря на то, что Новодворов был очень уважаем всеми революционерами, несмотря на то, что он был очень учен и считался очень умным, Нехлюдов причислял его к тем революционерам, которые, будучи по нравственным своим качествам ниже среднего уровня, были гораздо ниже его. Умственные силы этого человека — его числитель — были большие; но мнение его о себе — его знаменатель — было несоизмеримо огромное и давно уже переросло его умственные силы.

Это был человек совершенно противоположного склона духовной жизни, чем Симонсон. Симонсон был один из тех людей, преимущественно мужского склада, у которых поступки вытекают из деятельности мысли и определяются ею. Новодворов же принадлежал к разряду людей примущественно женского склада, у которых деятельность мысли направлена отчасти на достижение целей, поставленных чувством, отчасти же на оправдание поступков, вызванных чувством.

Вся революционная деятельность Новодворова, несмотря на то, что он умел красноречиво объяснять ее очень убедительными доводами, представлялась Нехлюдову основанной только на тщеславии, желании первенствовать перед людьми. Сначала, благодаря своей способности усваивать чужие мысли и точно передавать их, он в период учения, в среде учащих и учащихся, где эта способность высоко ценится (гимназия, университет, магистерство), имел первенство, и он был удовлетворен. Но когда он получил диплом и перестал учиться и первенство это прекратилось, он вдруг, как

это рассказывал Нехлюдову Крыльцов, не любивший Новодворова, для того чтобы получить первенство в новой сфере, совершенно переменил свои взгляды и из постепеновца-либерала сделался красным, народовольцем. Благодаря отсутствию в его характере свойств нравственных и эстетических, которые вызывают сомнения и колебания, он очень скоро занял в революционном мире удовлетворявшее его самолюбие положение руководителя партии. Раз избрав направление, он уже никогда не сомневался и не колебался и потому был уверен, что никогда не ошибался. Все ему казалось необыкновенно просто, ясно, несомненно. И при узости и односторонности его взгляда все действительно было очень просто и ясно, и нужно было только, как он говорил, быть логичным. Самоуверенность его была так велика, что она могла только отталкивать от себя людей или подчинять себе. А так как деятельность его происходила среди очень молодых людей, принимавших его безграничную самоуверенность за глубокомыслие и мудрость, то большинство подчинялось ему, и он имел большой успех в революционных кругах. Деятельность его состояла в подготовлении к восстанию, в котором он должен был захватить власть и созвать собор. На соборе же должна была быть предложена составленная им программа. И он был вполне уверен, что программа эта исчерпывала все вопросы, и нельзя было не исполнить ее.

Товарищи уважали его за его смелость и решительность, но не любили. Он же никого не любил и ко всем выдающимся людям относился как к соперникам и охотно поступил бы с ними, как старые самцы-обезьяны поступают с молодыми, если бы мог. Он вырвал бы весь ум, все способности у других людей, только бы они не мешали проявлению его способностей. Он относился хорошо только к людям, преклонявшимся перед ним. Так он относился теперь, на пути, к опропагандированному им рабочему Кондратьеву, к Вере Ефремовне и к хорошенькой Грабец, которые обе были влюблены в него. Хотя он принципиально и был за женский вопрос, но в глубине души считал всех женщин глупыми и ничтожными, за исключением тех, в которых часто бывал сентиментально влюблен, так, как теперь был влюблен в Грабец, и тогда считал их необычайными женщинами, достоинства которых умел заметить только он.

Вопрос об отношениях полов казался ему, как и все вопросы, очень простым и ясным и вполне разрешенным признанием свободной любви.

У него была одна жена фиктивная, другая настоящая, с которой он разошелся, убедившись, что между ними нет истинной любви, и теперь намеревался вступить в новый свободный брак с Грабец.

Нехлюдова он презирал за то, что он «кривляется», как он го-

ворил, с Масловой, и в особенности за то, что он позволяет себе думать о недостатках существующего устройства и средствах исправления его не только не слово в слово так же, как думал он, Новодворов, но даже как-то по-своему, по-княжески, то есть по-дурацки. Нехлюдов знал это отношение к себе Новодворова и, к огорчению своему, чувствовал, что, несмотря на то благодушное настроение, в котором он находился во время путешествия, платит ему тою же монетою и никак не может побороть сильнейшей антипатии к этому человеку.

XVI

В соседней камере послышались голоса начальства. Все затихло, и вслед за этим вошел старшой с двумя конвойными. Это была поверка. Старшой счел всех, указывая на каждого пальцем. Когда дошла очередь до Нехлюдова, он добродушно-фамильярно сказал ему:

— Теперь, князь, уж нельзя оставаться после поверки. Надо уходить.

Нехлюдов, зная, что это значит, подошел к нему и сунул ему приготовленные три рубля.

— Ну, что же с вами делать! Посидите еще.

Старшой хотел уходить, когда вошел другой унтер-офицер и вслед за ним высокий, худой арестант с подбитым глазом и редкой бородкой.

— Я насчет девчонки,— сказал арестант.

— А вот и батя пришел,— послышался вдруг звонкий детский голосок, и беловолосая головка поднялась из-за Ранцевой, которая вместе с Марьей Павловной и Катюшей шила девочке новую одежду из пожертвованной Ранцевой юбки.

— Я, дочка, я,— ласково сказал Бузовкин.

— Ей тут хорошо,— сказала Марья Павловна, с страданием вглядываясь в разбитое лицо Бузовкина.— Оставьте ее у нас.

— Барыни мне новую лопоть[1] шьют,— сказала девочка, указывая отцу на работу Ранцевой.— Хорошая, кра-а-аспая,— лопотала она.

— Хочешь у нас ночевать? — сказала Ранцева, лаская девочку.

— Хочу. И батю.

Ранцева просияла своей улыбкой.

— Батю нельзя,— сказала она.— Так оставьте ее,— обратилась она к отцу.

---

[1] Лопоть — по-сибирски одежда.

— Пожалуй, оставьте,— проговорил старшой, остановившись в дверях, и вышел вместе с унтер-офицером.

Как только конвойные вышли, Набатов подошел к Бузовкину и, потрагивая его по плечу, сказал:

— А что, брат, правда, у вас Карманов сменяться хочет?

Добродушное, ласковое лицо Бузовкина вдруг стало грустным, и глаза его застлались какой-то пленкой.

— Мы не слыхали. Вряд ли,— сказал он и, не снимая с глаз своих пленки, прибавил: — Ну, Аксютка, царствуй, видно, с барынями,— и поспешил выйти.

— Все знает, и правда, что сменялись,— сказал Набатов.— Что же вы сделаете?

— Скажу в городе начальству. Я их обоих знаю в лицо,— сказал Нехлюдов.

Все молчали, очевидно боясь возобновления спора.

Симонсон, все время молча, закинув руки за голову, лежавший в углу на нарах, решительно приподнялся и, обойдя осторожно сидевших, подошел к Нехлюдову.

— Можете теперь выслушать меня?

— Разумеется,— сказал Нехлюдов и встал, чтобы идти за ним.

Взглянув на поднявшегося Нехлюдова и встретившись с ним глазами, Катюша покраснела и как бы недоумевающе покачала головой.

— Дело мое к вам в следующем,— начал Симонсон, когда они вместе с Нехлюдовым вышли в коридор. В коридоре было особенно слышно гуденье и взрывы голосов среди уголовных. Нехлюдов поморщился, но Симонсон, очевидно, не смущался этим.— Зная ваше отношение к Катерине Михайловне,— продолжал он, внимательно и прямо своими добрыми глазами глядя в лицо Нехлюдову,— считаю себя обязанным,— продолжал он, но должен был остановиться, потому что у самой двери два голоса кричали враз, о чем-то споря.

— Говорят тебе, идол: не мои! — кричал один голос.

— Подавишься, черт,— хрипел другой.

В это время Марья Павловна вышла в коридор.

— Разве можно тут разговаривать,— сказала она,— пройдите сюда, там одна Верочка.— И она вперед прошла в соседнюю дверь крошечной, очевидно одиночной камеры, отданной теперь в распоряжение политических женщин. На нарах, укрывшись с головой, лежала Вера Ефремовна.

— У нее мигрень, она спит и не слышит, а я уйду! — сказала Марья Павловна.

— Напротив, оставайся,— сказал Симонсон,— у меня секретов нет ни от кого, тем более от тебя.

— Ну, хорошо,— сказала Марья Павловна и, по-детски двигаясь всем телом со стороны в сторону и этим движением глубже усаживаясь на нарах, приготовилась слушать, глядя куда-то вдаль своими красивыми бараньими глазами.

— Так дело мое в том,— повторил Симонсон,— что, зная ваше отношение к Катерине Михайловне, я считаю себя обязанным объявить вам мое отношение к ней.

— То есть что же? — спросил Нехлюдов, невольно любуясь той простотой и правдивостью, с которой Симонсон говорил с ним.

— То, что я хотел бы жениться на Катерине Михайловне...

— Удивительно! — сказала Марья Павловна, остановив глаза на Симонсоне.

— ...и решил просить ее об этом, о том, чтобы быть моей женой,— продолжал Симонсон.

— Что же я могу? Это зависит от нее,— сказал Нехлюдов.

— Да, но она не решит этого вопроса без вас.

— Почему?

— Потому что, пока вопрос ваших с нею отношений не решен окончательно, она не может ничего избрать.

— С моей стороны вопрос решен окончательно. Я желал сделать то, что считаю должным, и, кроме того, облегчить ее положение, но ни в каком случае не желаю стеснять ее.

— Да, но она не хочет вашей жертвы.

— Никакой жертвы нет.

— И я знаю, что это решение ее бесповоротно.

— Ну, так о чем же говорить со мной? — сказал Нехлюдов.

— Ей нужно, чтобы и вы признали то же.

— Как же я могу признать, что я не должен сделать то, что считаю должным. Одно, что я могу сказать,— это то, что я не свободен, но она свободна.

Симонсон помолчал, задумавшись.

— Хорошо, я так и скажу ей. Вы не думайте, что я влюблен в нее,— продолжал он.— Я люблю ее как прекрасного, редкого, много страдавшего человека. Мне от нее ничего не нужно, но страшно хочется помочь ей, облегчить ее поло...

Нехлюдов удивился, услыхав дрожание голоса Симонсона.

— ...облегчить ее положение,— продолжал Симонсон.— Если она не хочет принять вашей помощи, пусть она примет мою. Если бы она согласилась, я бы просил, чтобы меня сослали в ее место заключения. Четыре года — не вечность. Я бы прожил подле нее и, может быть, облегчил бы ее участь...— Опять он остановился от волненья.

— Что же я могу сказать? — сказал Нехлюдов.— Я рад, что она нашла такого покровителя, как вы...

— Вот это-то мне и нужно было знать,— продолжал Симонсон.— Я желал знать, любя ее, желая ей блага, нашли ли бы вы благом ее брак со мной?

— О да,— решительно сказал Нехлюдов.

— Все дело в ней, мне ведь нужно только, чтобы эта пострадавшая душа отдохнула,— сказал Симонсон, глядя на Нехлюдова с такой детской нежностью, какой никак нельзя было ожидать от этого мрачного вида человека.

Симонсон встал и, взяв за руку Нехлюдова, потянулся к нему лицом, застенчиво улыбнулся и поцеловал его.

— Так я так и скажу ей,— сказал он и вышел.

XVII

— А, каково? — сказала Марья Павловна.— Влюблен, совсем влюблен. Вот уж чего никогда не ожидала бы, чтобы Владимир Симонсон влюбился таким самым глупым, мальчишеским влюблением. Удивительно и, по правде скажу, огорчительно,— заключила она, вздохнув.

— Но она, Катя? Как, вы думаете, относится она к этому? — спросил Нехлюдов.

— Она? — Марья Павловна остановилась, очевидно желая как можно точнее ответить на вопрос.— Она? Видите ли, она, несмотря на ее прошедшее, по природе одна из самых нравственных натур... и так тонко чувствует... Она любит вас, хорошо любит, и счастлива тем, что может сделать вам хоть то отрицательное добро, чтобы не запутать вас собой. Для нее замужество с вами было бы страшным падением, хуже всего прежнего, и потому она никогда не согласится на это. А между тем ваше присутствие тревожит ее.

— Так что же, исчезнуть мне? — сказал Нехлюдов.

Марья Павловна улыбнулась своей милой детской улыбкой.

— Да, отчасти.

— Как же исчезнуть отчасти?

— Я соврала; но про нее-то я хотела вам сказать, что, вероятно, она видит нелепость его какой-то восторженной любви (он ничего не говорил ей), и польщена ею, и боится ее. Вы знаете, я не компетентна в этих делах, но мне кажется, что с его стороны самое обыкновенное мужское чувство, хотя и замаскированное. Он говорит, что эта любовь возвышает в нем энергию и что эта любовь платоническая. Но я-то знаю, что если это исключительная любовь, то в основе ее лежит непременно все-таки гадость... Как у Новодворова с Любочкой.

Марья Павловна отвлеклась от вопроса, разговорившись на свою любимую тему.

— Но что же мне делать? — спросил Нехлюдов.

— Я думаю, что надо вам сказать ей. Всегда лучше, чтобы было все ясно. Поговорите с ней, я позову ее. Хотите? — сказала Марья Павловна.

— Пожалуйста,— сказал Нехлюдов, и Марья Павловна вышла.

Странное чувство охватило Нехлюдова, когда он остался один в маленькой камере, слушая тихое дыхание, прерываемое изредка стонами Веры Ефремовны, и гул уголовных, не переставая раздававшийся за двумя дверями.

То, что сказал ему Симонсон, давало ему освобождение от взятого на себя обязательства, которое в минуты слабости казалось ему тяжелым и странным, а между тем ему было что-то не только неприятно, но и больно. В чувстве этом было и то, что предложение Симонсона разрушило исключительность его поступка, уменьшало в глазах своих и чужих людей цену жертвы, которую он приносил: если человек, и такой хороший, ничем не связанный с ней, желал соединить с ней судьбу, то его жертва уже не была так значительна. Было тоже, может быть, простое чувство ревности: он так привык к ее любви к себе, что не мог допустить, чтобы она могла полюбить другого. Было тут и разрушение раз составленного плана — жить при ней, пока она будет отбывать наказание. Если бы она вышла за Симонсона, присутствие его становилось ненужно, и ему нужно было составлять новый план жизни. Он не успел разобраться в своих чувствах, как в отворенную дверь ворвался усиленный звук гула уголовных (у них нынче было что-то особенное) и в камеру вошла Катюша.

Она подошла к нему быстрыми шагами.

— Марья Павловна послала меня,— сказала она, останавливаясь близко подле него.

— Да, мне нужно поговорить. Да присядьте. Владимир Иванович говорил со мной.

Она села, сложив руки на коленях, и казалась спокойною, но, как только Нехлюдов произнес имя Симонсона, она багрово покраснела.

— Что же он вам говорил? — спросила она.

— Он сказал мне, что хочет жениться на вас.

Лицо ее вдруг сморщилось, выражая страдание. Она ничего не сказала и только опустила глаза.

— Он спрашивает моего согласия или совета. Я сказал, что все зависит от вас, что вы должны решить.

— Ах, что это? Зачем? — проговорила она и тем странным, всегда особенно сильно действующим на Нехлюдова, косящим взглядом посмотрела ему в глаза. Несколько секунд они молча

смотрели в глаза друг другу. И взгляд этот многое сказал и тому и другому.

— Вы должны решить,— повторил Нехлюдов.

— Что мне решать? — сказала она.— Все давно решено.

— Нет, вы должны решить, принимаете ли вы предложение Владимира Ивановича,— сказал Нехлюдов.

— Какая я жена — каторжная? Зачем мне погубить еще и Владимира Ивановича? — сказала она, нахмурившись.

— Да, но если бы вышло помилование? — сказал Нехлюдов.

— Ах, оставьте меня. Больше нечего говорить,— сказала она и, встав, вышла из камеры.

XVIII

Когда Нехлюдов вернулся вслед за Катюшей в мужскую камеру, там все были в волнении. Набатов, везде ходивший, со всеми входивший в сношения, все наблюдавший, принес поразившее всех известие. Известие состояло в том, что он на стене нашел записку, написанную революционером Петлиным, приговоренным к каторжным работам. Все полагали, что Петлин уже давно на Каре, и вдруг оказывалось, что он только недавно прошел по этому же пути с уголовными.

«17-го августа,— значилось в записке,— я отправлен один с уголовными. Неверов был со мной и повесился в Казани, в сумасшедшем доме. Я здоров и бодр и надеюсь на все хорошее».

Все обсуживали положение Петлина и причины самоубийства Неверова. Крыльцов же с сосредоточенным видом молчал, глядя перед собой остановившимися блестящими глазами.

— Мне муж говорил, что Неверов видел привиденья еще в Петропавловке,— сказала Ранцева.

— Да, поэт, фантазер, такие люди не выдерживают одиночки,— сказал Новодворов.— Я вот, когда попадал в одиночку, не позволял воображению работать, а самым систематическим образом распределял свое время. От этого всегда и переносил хорошо.

— Чего не переносить? Я так часто просто рад бывал, когда посадят,— сказал Набатов бодрым голосом, очевидно желая разогнать мрачное настроение.— То всего боишься: и что сам попадешься, и других запутаешь, и дело испортишь, а как посадят — конец ответственности, отдохнуть можно. Сиди себе да покуривай.

— Ты его близко знал? — спросила Марья Павловна, беспокойно взглядывая на вдруг изменившееся, осунувшееся лицо Крыльцова.

— Неверов фантазер? — заговорил вдруг Крыльцов, задыхаясь, точно он долго кричал или пел.— Неверов — это был такой че-

ловек, которых, как наш швейцар говорил, *мало земля родит*... Да... это был весь хрустальный человек, всего насквозь видно. Да... он не то что солгать — не мог притворяться. Не то что тонкокожий, он точно весь был ободранный, и все нервы наружу. Да... сложная, богатая натура, не такая... Ну, да что говорить!..— Он помолчал.— Мы спорим, что лучше,— злобно хмурясь, сказал он,— прежде образовать народ, а потом изменить формы жизни, или прежде изменить формы жизни, и потом — как бороться: мирной пропагандой, террором? Спорим, да. А они не спорят, они знают свое дело, им совершенно все равно, погибнут, не погибнут десятки, сотни людей, да каких людей! Напротив, им именно нужно, чтобы погибли лучшие. Да, Герцен говорил, что, когда декабристов вынули из обращения, понизили общий уровень. Еще бы не понизили! Потом вынули из обращения самого Герцена и его сверстников. Теперь Неверовых...

— Всех не уничтожат,— своим бодрым голосом сказал Набатов.— Всё на развод останутся.

— Нет, не останутся, коли мы будем жалеть *их*,— возвышая голос и не давая перебить себя, сказал Крыльцов.— Дай мне папироску.

— Да ведь нехорошо тебе, Анатолий,— сказала Марья Павловна,— пожалуйста, не кури.

— Ах, оставь,— сердито сказал он и закурил, но тотчас же закашлялся; его стало тянуть как бы на рвоту. Отплевавшись, он продолжал: — Не то мы делали, нет, не то. Не рассуждать, а всем сплотиться... и уничтожать их. Да.

— Да ведь они тоже люди,— сказал Нехлюдов.

— Нет, это не люди,— те, которые могут делать то, что они делают... Нет, вот, говорят, бомбы выдумали и баллоны. Да, подняться на баллоне и посыпать их, как клопов, бомбами, пока выведутся... Да. Потому что...— начал было он, но, весь красный, вдруг еще сильнее закашлялся, и кровь хлынула у него изо рта.

Набатов побежал за снегом. Марья Павловна достала валерьяновые капли и предлагала ему, но он, закрыв глаза, отталкивал ее белой похудевшей рукой и тяжело и часто дышал. Когда снег и холодная вода немного успокоили его и его уложили на ночь, Нехлюдов простился со всеми и вместе с унтер-офицером, пришедшим за ним и уже давно дожидавшимся его, пошел к выходу.

Уголовные теперь затихли, и большинство спало. Несмотря на то, что люди в камерах лежали и на нарах, и под нарами, и в проходах, они все не могли поместиться, и часть их лежала на полу в коридоре, положив головы на мешки и укрываясь сырыми халатами.

Из дверей камер и в коридоре слышались храп, стоны и сонный говор. Везде виднелись сплошные кучки человеческих фигур, укрытых халатами. Не спали только в холостой уголовной несколько человек, сидевших в углу около огарка, который они потушили, увидав солдата, и еще в коридоре, под лампой, старик; он сидел голый и обирал насекомых с рубахи. Зараженный воздух помещения политических казался чистым в сравнении с вонючей духотой, которая была здесь. Коптящая лампа, казалось, виднелась как бы сквозь туман, и дышать было трудно. Для того чтобы пройти по коридору, не наступив или не зацепив ногою кого-нибудь из спящих, надо было высматривать вперед пустое место и, поставив на него ногу, отыскивать место для следующего шага. Три человека, очевидно не нашедшие места и в коридоре, расположились в сенях, под самой вонючей и текущей по швам кадкой-парашей. Один из этих людей был дурачок-старик, которого Нехлюдов часто видал на переходах. Другой был мальчик лет десяти; он лежал между двумя арестантами и, подложив руку под щеку, спал на ноге одпого из них.

Выйдя из ворот, Нехлюдов остановился и, во все легкие растягивая грудь, долго усиленно дышал морозным воздухом.

XIX

На дворе вызвездило. Вернувшись по закованной, только еще кое-где просовывающейся грязи на свой постоялый двор, Нехлюдов постучал в темное окно, и широкоплечий работник босиком отворил ему дверь и впустил в сени. Из сеней направо слышался громкий храп извозчиков в черной избе; впереди за дверью, на дворе, слышалось жеванье овса большого количества лошадей. Налево вела дверь в чистую горницу. В чистой горнице пахло полынью и пòтом, и слышался из-за перегородки равномерный и прихлебывающий храп чьих-то могучих легких, и горела в красном стекле лампадка перед иконами. Нехлюдов разделся, постелил на клеенчатый диван плед, свою кожаную подушку и лег, перебирая в своем воображении все, что он видел и слышал за нынешний день. Из всего того, что видел нынче Нехлюдов, самым ужасным ему показался мальчик, спавший на жиже, вытекавшей из парахи, положив голову на ногу арестанта.

Несмотря на неожиданность и важность разговора нынче вечером с Симонсоном и Катюшей, он не останавливался на этом событии: отношение его к этому было слишком сложно и вместе с тем неопределенно, и поэтому он отгонял от себя мысль об этом. Но тем живее вспоминал он зрелище этих несчастных, задыхав-

шихся в удушливом воздухе и валявшихся на жидкости, вытекавшей из вонючей кадки, и в особенности этого мальчика с невинным лицом, спавшего на ноге каторжного, который не выходил у него из головы.

Знать, что где-то далеко одни люди мучают других, подвергая их всякого рода развращению, бесчеловечным унижениям и страданиям, или в продолжение трех месяцев видеть беспрестанно это развращение и мучительство одних людей другими — это совсем другое. И Нехлюдов испытывал это. Он не раз в продолжение этих трех месяцев спрашивал себя: «Я ли сумасшедший, что вижу то, чего другие не видят, или сумасшедшие те, которые производят то, что я вижу?» Но люди (и их было так много) производили то, что его так удивляло и ужасало, с такой спокойной уверенностью в том, что это не только так надо, но что то, что они делают, очень важное и полезное дело,— что трудно было признать всех этих людей сумасшедшими; себя же сумасшедшим он не мог признать, потому что сознавал ясность своей мысли. И потому постоянно находился в недоумении.

То, что в продолжение этих трех месяцев видел Нехлюдов, представлялось ему в следующем виде: из всех живущих на воле людей посредством суда и администрации отбирались самые нервные, горячие, возбудимые, даровитые и сильные и менее, чем другие, хитрые и осторожные люди, и люди эти, никак не более виновные или опасные для общества, чем те, которые оставались на воле, во-первых, запирались в тюрьмы, этапы, каторги, где и содержались месяцами и годами в полной праздности, материальной обеспеченности и в удалении от природы, семьи, труда, то есть вне всех условий естественной и нравственной жизни человеческой. Это во-первых. Во-вторых, люди эти в этих заведениях подвергались всякого рода ненужным унижениям — цепям, бритым головам, позорной одежде, то есть лишались главного двигателя доброй жизни слабых людей — заботы о мнении людском, стыда, сознания человеческого достоинства. В-третьих, подвергаясь постоянной опасности жизни,— не говоря уже об исключительных случаях солнечных ударов, утопленья, пожаров,— от постоянных в местах заключения заразных болезней, изнурения, побоев, люди эти постоянно находились в том положении, при котором самый добрый, нравственный человек из чувства самосохранения совершает и извиняет других в совершении самых ужасных по жестокости поступков. В-четвертых, люди эти насильственно соединялись с исключительно развращенными жизнью (и в особенности этими же учреждениями) развратниками, убийцами и злодеями, которые действовали, как закваска на тесто, на всех еще не вполне развращенных употребленными средствами людей. И, в-пятых, на-

конец, всем людям, подвергнутым этим воздействиям, внушалось самым убедительным способом, а именно посредством всякого рода бесчеловечных поступков над ними самими, посредством истязания детей, женщин, стариков, битья, сечения розгами, плетьми, выдавания премии тем, кто представит живым или мертвым убегавшего беглого, разлучения мужей с женами и соединения для сожительства чужих жен с чужими мужчинами, расстреляния, вешания,— внушалось самым убедительным способом то, что всякого рода насилия, жестокости, зверства не только не запрещаются, но разрешаются правительством, когда это для него выгодно, а потому тем более позволено тем, которые находятся в неволе, нужде и бедствиях.

Все это были как будто нарочно выдуманные учреждения для произведения сгущенного до последней степени такого разврата и порока, которого нельзя было достигнуть ни при каких других условиях, с тем чтобы потом распространить в самых широких размерах эти сгущенные пороки и разврат среди всего народа. «Точно как будто была задана задача, как наилучшим, наивернейшим способом развратить как можно больше людей»,— думал Нехлюдов, вникая в то, что делалось в острогах и этапах. Сотни тысяч людей ежегодно доводились до высшей степени развращения, и когда они были вполне развращены, их выпускали на волю, для того чтобы они разносили усвоенное ими в тюрьмах развращение среди всего народа.

В тюрьмах — Тюменской, Екатеринбургской, Томской и на этапах Нехлюдов видел, как эта цель, которую, казалось, поставило себе общество, успешно достигалась. Люди простые, обыкновенные, с требованиями русской общественной, крестьянской, христианской нравственности, оставляли эти понятия и усваивали новые, острожные, состоящие, главное, в том, что всякое поругание, насилие над человеческою личностью, всякое уничтожение ее позволено, когда оно выгодно. Люди, пожившие в тюрьме, всем существом своим узнавали, что, судя по тому, что происходит над ними, все те нравственные законы уважения и сострадания к человеку, которые проповедываются и церковными и нравственными учителями, в действительности отменены, и что поэтому и им не следует держаться их. Нехлюдов видел это на всех знакомых ему арестантах: на Федорове, на Макаре и даже на Тарасе, который, проведя два месяца на этапах, поразил Нехлюдова безнравственностью своих суждений. Дорóгой Нехлюдов узнал, как бродяги, убегая в тайгу, подговаривают с собой товарищей и потом, убивая их, питаются их мясом. Он видел живого человека, обвинявшегося и признавшегося в этом. И ужаснее всего было то, что случаи людоедства были не единичны, а постоянно повторялись.

Только при особенном культивировании порока, как оно производится в этих учреждениях, можно было довести русского человека до того состояния, до которого он был доведен в бродягах, предвосхитивших новейшее учение Ницше и считающих все возможным и ничто не запрещенным и распространяющих это учение сначала между арестантами, а потом между всем народом.

Единственное объяснение всего совершающегося было пресечение, устрашение, исправление и закономерное возмездие, как это писали в книгах. Но в действительности не было никакого подобия ни того, ни другого, ни третьего, ни четвертого. Вместо пресечения было только распространение преступлений. Вместо устрашения было поощрение преступников, из которых многие, как бродяги, добровольно шли в остроги. Вместо исправления было систематическое заражение всеми пороками. Потребность же возмездия не только не смягчалась правительственными наказаниями, но воспитывалась в народе, где ее не было.

«Так зачем же они делают это?» — спрашивал себя Нехлюдов и не находил ответа.

И что более всего удивляло его, это было то, что все делалось не нечаянно, не по недоразумению, не один раз, а что все это делалось постоянно, в продолжение сотни лет, с той только разницей, что прежде это были с рваными носами и резаными ушами, потом клейменые, на прутах, а теперь в наручнях и движимые паром, а не на подводах.

Рассуждение о том, что то, что возмущало его, происходило, как ему говорили служащие, от несовершенства устройства мест заключения и ссылки и что это все можно поправить, устроив нового фасона тюрьмы,— не удовлетворяло Нехлюдова, потому что он чувствовал, что то, что возмущало его, происходило не от более или менее совершенного устройства мест заключения. Он читал про усовершенствованные тюрьмы с электрическими звонками, про казни электричеством, рекомендуемые Тардом, и усовершенствованные насилия еще более возмущали его.

Возмущало Нехлюдова, главное, то, что в судах и министерствах сидели люди, получающие большое, собираемое с народа жалованье за то, что они, справляясь в книжках, написанных такими же чиновниками, с теми же мотивами, подгоняли поступки людей, нарушающих написанные ими законы, под статьи и по этим статьям отправляли людей куда-то в такое место, где они уже не видали их и где люди эти в полной власти жестоких, огрубевших смотрителей, надзирателей, конвойных миллионами гибли духовно и телесно.

Узнав ближе тюрьмы и этапы, Нехлюдов увидал, что все те пороки, которые развиваются между арестантами: пьянство, игра,

жестокость и все те страшные преступления, совершаемые острожниками, и самое людоедство — не суть случайности или явления вырождения, преступного типа, уродства, как это на руку правительствам толкуют тупые ученые, а есть неизбежное последствие непонятного заблуждения о том, что люди могут наказывать других. Нехлюдов видел, что людоедство начинается не в тайге, а в министерствах, комитетах и департаментах и заключается только в тайге; что его зятю, например, да и всем тем судейским и чиновникам, начиная от пристава до министра, не было никакого дела до справедливости или блага народа, о которых они говорили, а что всем нужны были только те рубли, которые им платили за то, чтобы они делали все то, из чего выходит это развращение и страдание. Это было совершенно очевидно.

«Так неужели же и это все делалось только по недоразумению? Как бы сделать так, чтобы обеспечить всем этим чиновникам их жалованье и даже давать им премию за то, чтобы они только не делали всего того, что они делают?» — думал Нехлюдов. И на этих мыслях, уже после вторых петухов, несмотря на блох, которые, как только он шевелился, как фонтан, брызгали вокруг него, он заснул крепким сном.

XX

Когда Нехлюдов проснулся, извозчики уже давно съехали, хозяйка напилась чаю и, отирая платком потную толстую шею, пришла сказать, что этапный солдат принес записку. Записка была от Марьи Павловны. Она писала, что припадок Крыльцова серьезнее, чем они думали. «Мы одно время хотели оставить его и остаться с ним, но этого не позволили, и мы повезем его, но всего боимся. Постарайтесь устроить в городе так, чтобы, если его оставят, оставили бы кого-нибудь из нас. Если для этого нужно, чтобы я вышла за него замуж, то я, разумеется, готова».

Нехлюдов послал малого на станцию за лошадьми и поспешно стал укладываться. Он еще не допил второго стакана, как перекладная тройка, звеня колокольчиками и гремя колесами по замерзшей грязи, как по мостовой, подъехала к крыльцу. Расплатившись с толстошеей хозяйкой, Нехлюдов поспешил выйти и, усевшись на переплет телеги, велел ехать как можно скорей, желая догнать партию. Недалеко за воротами поскотины он действительно догнал телеги, нагруженные мешками и больными, которые громыхали по начинавшей накатываться замерзшей грязи (офицера не было, он уехал вперед). Солдаты, очевидно выпившие, весело болтая, шли сзади и по сторонам дороги. Телег было много. В передних тесно сидело человек по шести слабых уголовных, на зад-

них трех ехали — по три на подводе — политические. На самой задней сидели Новодворов, Грабец и Кондратьев, на второй — Ранцева, Набатов и та слабая женщина в ревматизмах, которой Марья Павловна уступила свое место. На третьей, на сене и подушках, лежал Крыльцов. На облучке подле него сидела Марья Павловна. Нехлюдов остановил ямщика около Крыльцова и пошел к нему. Выпивший конвойный замахал рукой на Нехлюдова, но Нехлюдов, не обращая на него внимания, подошел к телеге и, держась за грядку, пошел рядом. Крыльцов, в тулупе и мерлушковой шапке, с завязанным платком ртом, казался еще худее и бледнее. Прекрасные глаза его казались особенно велики и блестящи. Слабо качаясь от толчков дороги, он, не спуская глаз, смотрел на Нехлюдова и на вопрос о здоровье только закрыл глаза и сердито закачал головой. Вся энергия его, очевидно, уходила на перенесение толчков телеги. Марья Павловна сидела на другой стороне телеги. Она переглянулась с Нехлюдовым значительным взглядом, выражавшим все ее беспокойство о положении Крыльцова, и потом сейчас заговорила веселым голосом.

— Видно, устыдился офицер,— закричала она, чтобы быть слышной из-за грохота колес Нехлюдову.— С Бузовкина сняли наручники. Он сам несет девочку, и с ними идет Катя и Симонсон и вместо меня Верочка.

Крыльцов что-то, чего нельзя было расслышать, сказал, указывая на Марью Павловну, и, нахмурившись, очевидно сдерживая кашель, закачал головой. Нехлюдов приблизил голову, чтобы расслышать. Тогда Крыльцов выпростал рот из платка и прошептал:

— Теперь гораздо лучше. Только бы не простудиться.

Нехлюдов кивнул утвердительно головой и переглянулся с Марьей Павловной.

— Ну, что проблема трех тел? — прошептал еще Крыльцов и трудно, тяжело улыбнулся.— Мудрое решение?

Нехлюдов не понял, но Марья Павловна объяснила ему, что это знаменитая математическая проблема определения отношения трех тел: солнца, луны и земли, и что Крыльцов шутя придумал это сравнение с отношением Нехлюдова, Катюши и Симонсона. Крыльцов кивнул головой в знак того, что Марья Павловна верно объяснила его шутку.

— Не за мной решение,— сказал Нехлюдов.

— Получили мою записку, сделаете? — спросила Марья Павловна.

— Непременно,— сказал Нехлюдов и, заметив недовольство на лице Крыльцова, отошел к своей повозке, влез на свой провиснувший переплет и, держась за края телеги, встряхивавшей его по колчам ненакатанной дороги, стал обгонять растянувшуюся на вер-

сту партию серых халатов и полушубков кандальных и парных в наручнях. На противоположной стороне дороги Нехлюдов узнал синий платок Катюши, черное пальто Веры Ефремовны, куртку и вязаную шапку и белые шерстяные чулки, обвязанные вроде сандалий ремнями, Симонсона. Он шел рядом с женщинами и что-то горячо говорил.

Увидав Нехлюдова, женщины поклонились ему, а Симонсон торжественно приподнял шапку. Нехлюдов не имел ничего сказать и, не остановив ямщика, обогнал их. Выехав опять на накатанную дорогу, ямщик поехал еще скорей, но беспрестанно должен был съезжать с накатанного, чтобы объезжать тянувшиеся по дороге в обе стороны обозы.

Дорога, вся изрытая глубокими колеями, шла темным хвойным лесом, пестревшим с обеих сторон яркой и песочной желтизной не облетевших еще листьев березы и лиственницы. На половине перегона лес кончился, и с боков открылись елани (поля), показались золотые кресты и куполы монастыря. День совсем разгулялся, облака разошлись, солнце поднялось выше леса, и мокрая листва, и лужи, и куполы, и кресты церкви ярко блестели на солнце. Впереди направо, в сизой дали, забелели далекие горы. Тройка въехала в подгороднее большое село. Улица села была полна народом: и русскими и инородцами в своих странных шапках и халатах. Пьяные и трезвые мужчины и женщины копошились и галдели около лавок, трактиров, кабаков и возов. Чувствовалась близость города.

Подстегнув и подтянув правую пристяжную и пересев на козлах бочком, так, чтобы вожжи приходились направо, ямщик, очевидно щеголяя, прокатил по большой улице и, не сдерживая хода, подъехал к реке, через которую переезд был на пароме. Паром был на середине быстрой реки и шел с той стороны. На этой стороне десятка два возов дожидались. Нехлюдову пришлось дожидаться недолго. Забравший высоко вверх против течения паром, несомый быстрой водой, скоро подогнался к доскам пристани.

Высокие, широкоплечие, мускулистые и молчаливые перевозчики, в полушубках и бродняx, ловко, привычно закинули чалки, закрепили их за столбы и, отложив запоры, выпустили стоявшие на пароме воза на берег и стали грузить воза, сплошь устанавливая паром повозками и шарахающимися от воды лошадьми. Быстрая, широкая река хлестала в борта лодок парома, натягивая канаты. Когда паром был полон и нехлюдовская телега с отпряженными лошадьми, сжатая со всех сторон возами, стояла у одного края, перевозчики заложили запоры, не обращая внимания на просьбы непоместившихся, скинули чалки и пошли в ход. На пароме было тихо, только слышались топот ног перевозчиков и стук о доски копыт переставлявших ноги лошадей.

XXI

Нехлюдов стоял у края парома, глядя на широкую быструю реку. В воображении его, сменяясь, восставали два образа: вздрагивающая от толчков голова в озлоблении умирающего Крыльцова и фигура Катюши, бодро шедшей по краю дороги с Симонсоном. Одно впечатление — умирающего и не готовящегося к смерти Крыльцова — было тяжелое и грустное. Другое же впечатление — бодрой Катюши, нашедшей любовь такого человека, как Симонсон, и ставшей теперь на твердый и верный путь добра,— должно было бы быть радостно, но Нехлюдову оно было тоже тяжело, и он не мог преодолеть этой тяжести.

Из города донесся по воде гул и медное дрожание большого охотницкого колокола. Стоявший подле Нехлюдова ямщик и все подводчики одни за другими сняли шапки и перекрестились. Ближе же всех стоявший у перил невысокий лохматый старик, которого Нехлюдов сначала не заметил, не перекрестился, а, подняв голову, уставился на Нехлюдова. Старик этот был одет в заплатанный бзям, суконные штаны и разношенные, заплатанные бродни. За плечами была небольшая сумка, на голове высокая меховая вытертая шапка.

— Ты что же, старый, не молишься? — сказал пехлюдовский ямщик, надев и оправив шапку.— Аль некрещеный?

— Кому молиться-то? — решительно наступающе и быстро выговаривая слог за слогом, сказал лохматый старик.

— Известно кому, богу,— иронически проговорил ямщик.

— А ты покажи мне, игде он? Бог-то?

Что-то было такое серьезное и твердое в выражении старика, что ямщик, почувствовав, что он имеет дело с сильным человеком, несколько смутился, но не показывал этого и, стараясь не замолчать и не осрамиться перед прислушивающейся публикой, быстро отвечал:

— Игде? Известно — на небе.

— А ты был там?

— Был — не был, а все знают, что богу молиться надо.

— Бога никто же не видел нигде же. Единородный сын, сущий в недре отчем, он явил,— строго хмурясь, той же скороговоркой сказал старик.

— Ты, видно, нехрист, дырник. Дыре молишься,— сказал ямщик, засовывая кнутовище за пояс и оправляя шлею на пристяжной.

Кто-то засмеялся.

— А ты какой, дедушка, веры? — спросил немолодой уже человек, с возом стоявший у края парома.

— Никакой веры у меня нет. Потому никому я, никому не верю, окроме себе,— так же быстро и решительно ответил старик.

— Да как же себе верить? — сказал Нехлюдов, вступая в разговор.— Можно ошибиться.

— Ни в жизнь,— тряхнув головой, решительно отвечал старик.

— Так отчего же разные веры есть? — спросил Нехлюдов.

— Оттого и разные веры, что людям верят, а себе не верят. И я людям верил и блудил, как в тайге; так заплутался, что не чаял выбраться. И староверы, и нововеры, и субботники, и хлысты, и поповцы, и беспоповцы, и австрияки, и молокане, и скопцы. Всякая вера себя одна восхваляет. Вот все и расползлись, как кутята [1] слепые. Вер много, а дух один. И в тебе, и во мне, и в нем. Значит, верь всяк своему духу, и вот будут все соединены. Будь всяк сам себе, и все будут заедино.

Старик говорил громко и все оглядывался, очевидно желая, чтобы как можно больше людей слышали его.

— Что же, вы давно так исповедуете? — спросил его Нехлюдов.

— Я-то? Давно уж. Уж они меня двадцать третий год гонят.

— Как гонят?

— Как Христа гнали, так и меня гонят. Хватают да по судам, по попам — по книжникам, по фарисеям и водят; в сумасшедший дом сажали. Да ничего мне сделать нельзя, потому я слободен. «Как, говорят, тебя зовут?» Думают, я звание какое приму на себя. Да я не принимаю никакого. Я от всего отрекся: нет у меня ни имени, ни места, ни отечества,— ничего нет. Я сам себе. Зовут как? Человеком. «А годов сколько?» Я, говорю, не считаю, да и счесть нельзя, потому что я всегда был, всегда и буду. «Какого, говорят, ты отца, матери?» Нет, говорю, у меня ни отца, ни матери, окроме бога и земли. Бог — отец, земля — мать. «А царя, говорят, признаешь?» Отчего не признавать? он себе царь, а я себе царь. «Ну, говорят, с тобой разговаривать». Я говорю: я и не прошу тебя со мной разговаривать. Так и мучают.

— А куда же вы идете теперь? — спросил Нехлюдов.

— А куда бог приведет. Работаю, а нет работы — прошу,— закончил старик, заметив, что паром подходит к тому берегу, и победоносно оглянулся на всех слушавших его.

Паром причалил к другому берегу. Нехлюдов достал кошелек и предложил старику денег. Старик отказался.

— Я этого не беру. Хлеб беру,— сказал он.

— Ну, прощай.

---

[1] Кутята — щенки.

— Нечего прощать. Ты меня не обидел. А и обидеть меня нельзя,— сказал старик и стал на плечо надевать снятую сумку. Между тем перекладную телегу выкатили и запрягли лошадей.

— И охота вам, барин, разговаривать,— сказал ямщик Нехлюдову, когда он, дав на чай могучим паромщикам, влез на телегу.— Так, бродяжка непутевый.

XXII

Выехав в горку, ямщик обернулся.

— В какую гостиницу везти?

— Какая лучше?

— Чего лучше «Сибирской». А то у Дюкова хорошо.

— Куда хочешь.

Ямщик опять сел бочком и прибавил хода. Город был как и все города: такие же дома с мезонинами и зелеными крышами, такой же собор, лавки и на главной улице магазины и даже такие же городовые. Только дома были почти все деревянные и улицы немощеные. В одной из наиболее оживленных улиц ямщик остановил тройку у подъезда гостиницы. Но в гостинице не оказалось свободных номеров, так что надо было ехать в другую. В этой другой был свободный номер, и Нехлюдов в первый раз после двух месяцев очутился опять в привычных условиях относительной чистоты и удобства. Как ни мало роскошен был номер, в который отвели Нехлюдова, он испытал большое облегчение после перекладной, постоялых дворов и этапов. Главное, ему нужно было очиститься от вшей, от которых он никогда не мог вполне освободиться после посещения этапов. Разложившись, он тотчас же поехал в баню, а оттуда, приведя себя в городской порядок — надев крахмаленую рубашку и со слежавшимися складками панталоны, сюртук и пальто,— к начальнику края. Приведенный швейцаром гостиницы извозчик на сытой, крупной киргизке, запряженной в дребезжащую пролетку, подвез Нехлюдова к большому красивому зданию, у которого стояли часовые и городовой. Перед домом и за домом был сад, в котором среди облетевших, торчащих голыми сучьями осин и берез густо и темно зеленели ели, сосны и пихты.

Генерал был нездоров и не принимал. Нехлюдов все-таки попросил лакея передать свою карточку, и лакей вернулся с благоприятным ответом:

— Приказали просить.

Передняя, лакей, вестовой, лестница, зал с глянцевито натертым паркетом — все это было похоже на Петербург, только погрязнее и повеличественнее. Нехлюдова ввели в кабинет.

Генерал, одутловатый, с картофельным носом и выдающимися шишками на лбу и оголенном черепе и мешками под глазами, сангвинический человек, сидел в татарском шелковом халате и с папиросой в руках пил чай из стакана в серебряном подстаканнике.

— Здравствуйте, батюшка! Извините, что в халате принимаю: все лучше, чем совсем не принять,— сказал он, запахивая халатом свою толстую, складками сморщенную сзади шею.— Я не совсем здоров и не выхожу. Как это вас занесло в наше тридевятое царство?

— Я сопутствовал партии арестантов, в которой есть лицо мне близкое,— сказал Нехлюдов,— и вот приехал просить ваше превосходительство отчасти об этом лице и еще об одном обстоятельстве.

Генерал затянулся, хлебнул чаю, затушил папироску о малахитовую пепельницу и, не спуская узких, заплывших, блестящих глаз с Нехлюдова, серьезно слушал. Он перебил его только затем, чтобы спросить, не хочет ли он курить.

Генерал принадлежал к типу ученых военных, полагающих возможным примирение либеральности и гуманности с своею профессиею. Но, как человек от природы умный и добрый, он очень скоро почувствовал невозможность такого примирения и, чтобы не видеть того внутреннего противоречия, в котором он постоянно находился, все больше и больше отдавался столь распространенной среди военных привычек пить много вина и так предался этой привычке, что после тридцатипятилетней военной службы сделался тем, что врачи называют алкоголиком. Он был весь пропитан вином. Ему достаточно было выпить какой-нибудь жидкости, чтобы чувствовать опьянение. Пить же вино было для него такой потребностью, без которой он не мог жить, и каждый день к вечеру он бывал совсем пьян, хотя так приспособился к этому состоянию, что не шатался и не говорил особенных глупостей. Если же он и говорил их, то он занимал такое важное, первенствующее положение, что какую бы глупость он ни сказал, ее принимали за умные речи. Только утром, именно в то время, когда Нехлюдов застал его, он был похож на разумного человека и мог понимать, что ему говорили, и более или менее успешно исполнять на деле пословицу, которую любил повторять: «Пьян да умен — два угодья в нем». Высшие власти знали, что он пьяница, но он был все-таки более образован, чем другие,— хотя и остановился в своем образовании на том месте, где его застало пьянство,— был смел, ловок, представителен, умел и в пьяном виде держать себя с тактом, и потому его назначили и держали на том видном и ответственном месте, которое он занимал.

Нехлюдов рассказал ему, что лицо, интересующее его,— женщина, что она невинно осуждена, что подано о ней на высочайшее имя.

— Так-с. Ну-с? — сказал генерал.

— Мне обещали из Петербурга, что известие о судьбе этой женщины вышлется мне не позднее этого месяца и сюда...

Не спуская глаз с Нехлюдова, генерал протянул с короткими пальцами руку к столу, позвонил и продолжал молча слушать, пыхтя папироской и особенно громко откашливаясь.

— Так я просил бы, если возможно, задержать эту женщину здесь до тех пор, как получится ответ на поданное прошение.

Вошел лакей, денщик, одетый по-военному.

— Спроси, встала ли Анна Васильевна,— сказал генерал денщику,— и подай еще чаю. Еще что-с? — обратился генерал к Нехлюдову.

— Другая моя просьба,— продолжал Нехлюдов,— касается политического арестанта, идущего в этой же партии.

— Вот как! — сказал генерал, значительно кивая головой.

— Он тяжело болен — умирающий человек. И его, вероятно, оставят здесь в больнице. Так одна из политических женщин желала бы остаться при нем.

— Она чужая ему?

— Да, но она готова выйти за него замуж, если только это даст ей возможность остаться при нем.

Генерал пристально смотрел своими блестящими глазами и молчал, слушая, очевидно желая смутить своего собеседника взглядом, и все курил.

Когда Нехлюдов кончил, он достал со стола книгу и, быстро мусоля пальцы, которыми перевертывал листы, нашел статью о браке и прочел.

— К чему она приговорена? — спросил он, подняв глаза от книги.

— Она — к каторге.

— Ну, так положение приговоренного вследствие его брака не может улучшиться.

— Да ведь...

— Позвольте. Если бы на ней женился свободный, она все точно так же должна отбыть свое наказание. Тут вопрос: кто несет более тяжелое наказание — он или она?

— Они оба приговорены к каторжным работам.

— Ну, так и квит,— смеясь, сказал генерал.— Что ему, то и ей. Его по болезни оставить можно,— продолжал он,— и, разумеется, будет сделано все, что возможно, для облегчения его участи; но она, хотя бы вышла за него, не может остаться здесь...

— Генеральша кушают кофе,— доложил лакей.

Генерал кивнул головой и продолжал:

— Впрочем, я еще подумаю. Как их фамилии? Запишите, вот сюда.

Нехлюдов записал.

— И этого не могу,— сказал генерал Нехлюдову на просьбу его видеться с больным.— Я, конечно, вас не подозреваю,— сказал он, но вы интересуетесь им и другими и у вас есть деньги. А здесь у нас все продажное. Мне говорят: искоренить взяточничество. Да как же искоренить, когда все взяточники? И чем ниже чином, тем больше. Ну, где его усмотреть за пять тысяч верст? Он там царек, такой же, как я здесь,— и он засмеялся.— Вы ведь, верно, виделись с политическими, давали деньги, и вас пускали? — сказал он, улыбаясь.— Так ведь?

— Да, это правда.

— Я понимаю, что вы так должны поступить. Вы хотите видеть политического. И вам жалко его. А смотритель или конвойный возьмет, потому что у него два двугривенных жалованья и семья, и ему нельзя не взять. И на его и на вашем месте я поступил бы так же, как и вы и он. Но на своем месте я не позволю себе отступать от самой строгой буквы закона именно потому, что я — человек и могу увлечься жалостью. А я исполнителен, мне доверили под известные условия, и я должен оправдать это доверие. Ну вот, этот вопрос кончен. Ну-с, теперь вы расскажите мне, что у вас в метрополии делается?

И генерал стал расспрашивать и рассказывать, очевидно желая в одно и то же время и узнать новости, и показать все свое значение и свою гуманность.

XXIII

— Ну-с, так вот что: вы у кого? у Дюка? Ну, и там скверно. А вы приходите обедать,— сказал генерал, отпуская Нехлюдова,— в пять часов. Вы по-английски говорите?

— Да, говорю.

— Ну, вот и прекрасно. Сюда, видите ли, приехал англичанин, путешественник. Он изучает ссылку и тюрьмы в Сибири. Так вот он у нас будет обедать, и вы приезжайте. Обедаем в пять, и жена требует исполнительности. Я вам тогда и ответ дам и о том, как поступить с этой женщиной, а также о больном. Может быть, и можно будет оставить кого-нибудь при нем.

Откланявшись генералу, Нехлюдов, чувствуя себя в особенно возбужденно-деятельном духе, поехал на почту.

Почтамт была низкая со сводами комната; за конторкой сидели чиновники и выдавали толпящемуся народу. Один чиновник, согнув набок голову, не переставая стукал печатью по ловко пододвигаемым конвертам. Нехлюдова не заставили долго дожидаться, и, узнав его фамилию, ему тотчас же выдали его довольно большую корреспонденцию. Тут были и деньги, и несколько писем и книг, и последний номер «Отечественных записок». Получив свои письма, Нехлюдов отошел к деревянной лавке, на которой сидел, дожидаясь чего-то, солдат с книжкой, и сел с ним рядом, пересматривая полученные письма. В числе их было одно заказное — прекрасный конверт с отчетливой печатью яркого красного сургуча. Он распечатал конверт и, увидав письмо Селенина вместе с какой-то официальной бумагой, почувствовал, что кровь бросилась ему в лицо и сердце сжалось. Это было решение по делу Катюши. Какое было это решение? Неужели отказ? Нехлюдов поспешно пробежал написанное мелким, трудно разбираемым твердым изломанным почерком и радостно вздохнул. Решение было благоприятное.

«Любезный друг! — писал Селенин.— Последний разговор наш оставил во мне сильное впечатление. Ты был прав относительно Масловой. Я просмотрел внимательно дело и увидал, что совершена была относительно ее возмутительная несправедливость. Поправить можно было только в комиссии прошений, куда ты и подал. Мне удалось посодействовать разрешению дела там, и вот посылаю тебе копию с помилования по адресу, который дала мне графиня Екатерина Ивановна. Подлинная бумага отправлена в то место, где она содержалась во время суда, и, вероятно, будет тотчас же переслана в Сибирское главное управление. Спешу тебе сообщить это приятное известие. Дружески жму руку. Твой Селенин».

Содержание самой бумаги было следующее: «Канцелярия его императорского величества по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых. Такое-то дело, делопроизводство. Такой-то стол, такое-то число, год. По приказанию главноуправляющего канцеляриею его императорского величества по принятию прошений, на высочайшее имя приносимых, сим объявляется мещанке Екатерине Масловой, что его императорское величество, по всеподданнейшему докладу ему, снисходя к просьбе Масловой, высочайше повелеть соизволил заменить ей каторжные работы поселением в местах не столь отдаленных Сибири».

Известие было радостное и важное: случилось все то, чего Нехлюдов мог желать для Катюши, да и для себя самого. Правда, что эта перемена в ее положении представляла новые усложнения

в отношении к ней. Пока она оставалась каторжной, брак, который он предлагал ей, был фиктивный и имел значение только в том, что облегчал ее положение. Теперь же ничто не мешало их совместному житью. А на это Нехлюдов не готовился. Кроме того, ее отношения с Симонсоном? Что означали ее вчерашние слова? И если бы она согласилась соединиться с Симонсоном, хорошо ли бы это было, или дурно? Он никак не мог разобраться в этих мыслях и не стал теперь думать об этом. «Все это обозначится потом,— подумал он,— теперь же нужно как можно скорее увидать ее и сообщить ей радостную новость и освободить ее». Он думал, что копии, которая у него была в руках, было достаточно для этого. И, выйдя из почтовой конторы, он велел извозчику ехать в острог.

Несмотря на то, что генерал не разрешил ему посещения острога утром, Нехлюдов, зная по опыту, что часто то, чего никак нельзя достигнуть у высших начальников, очень легко достигается у низших, решил все-таки попытаться проникнуть в острог теперь, с тем чтобы объявить Катюше радостную новость и, может быть, освободить ее и вместе с тем узнать о здоровье Крыльцова и передать ему и Марье Павловне то, что сказал генерал.

Смотритель острога был очень высокий и толстый, величественный человек с усами и бакенбардами, загибающимися к углам рта. Он очень строго принял Нехлюдова и прямо объявил, что посторонним лицам свиданья без разрешенья начальника он допустить не может. На замечание Нехлюдова о том, что его пускали и в столицах, смотритель отвечал:

— Очень может быть, только я не допускаю.— При этом тон его говорил: «Вы, столичные господа, думаете, что вы нас удивите и озадачите; но мы и в Восточной Сибири знаем твердо порядки и вам еще укажем».

Копия с бумаги из собственной его величества канцелярии тоже не подействовала на смотрителя. Он решительно отказался допустить Нехлюдова в стены тюрьмы. На наивное же предположение Нехлюдова, что Маслова может быть освобождена по предъявлению этой копии, он только презрительно улыбнулся, объявив, что для освобождения кого-либо должно было быть распоряжение от его прямого начальства. Все, что он обещал, было то, что он сообщит Масловой о том, что ей вышло помилование, и не задержит ее ни одного часа, как скоро получит предписание от своего начальства.

О здоровье Крыльцова он тоже отказался дать какие-либо сведения, сказав, что он не может сказать даже того, есть ли такой арестант. Так, ничего не добившись, Нехлюдов сел на своего извозчика и поехал в гостиницу.

Строгость смотрителя происходила преимущественно оттого, что в переполненной вдвое против нормального тюрьме в это время был повальный тиф. Извозчик, везший Нехлюдова, рассказал ему дорогой, что «в тюрьме гораздо народ теряется. Какая-то на них хворь напала. Человек по двадцати в день закапывают».

XXIV

Несмотря на неудачу в тюрьме, Нехлюдов все в том же бодром, возбужденно-деятельном настроении поехал в канцелярию губернатора узнать, не получена ли там бумага о помиловании Масловой. Бумаги не было, и потому Нехлюдов, вернувшись в гостиницу, поспешил тотчас же, не откладывая, написать об этом Селенину и адвокату. Окончив письма, он взглянул на часы; было уже время ехать на обед к генералу.

Опять дорогой ему пришла мысль о том, как примет Катюша свое помилование. Где поселят ее? Как он будет жить с нею? Что Симонсон? Какое ее отношение к нему? Вспомнил о той перемене, которая произошла в ней. Вспомнил при этом и ее прошедшее.

«Надо забыть, вычеркнуть,— подумал он и опять поспешил отогнать от себя мысль о ней.— Тогда видно будет»,— сказал он себе и стал думать о том, что́ ему надо сказать генералу.

Обед у генерала, обставленный всею привычною Нехлюдову роскошью жизни богатых людей и важных чиновников, был после долгого лишения не только роскоши, но и самых первобытных удобств особенно приятен ему.

Хозяйка была петербургского старого завета grande dame [1], бывшая фрейлина николаевского двора, говорившая естественно по-французски и неестественно по-русски. Она держалась чрезвычайно прямо и, делая движения руками, не отделяла локтей от талии. Она была спокойно и несколько грустно уважительна к мужу и чрезвычайно ласкова, хотя и с различными, смотря по лицам, оттенками обращения к своим гостям. Нехлюдова она приняла как своего, с той особенной тонкой, незаметной лестью, вследствие которой Нехлюдов вновь узнал о всех своих достоинствах и почувствовал приятное удовлетворение. Она дала почувствовать ему, что знает его хотя и оригинальный, но честный поступок, приведший его в Сибирь, и считает его исключительным человеком. Эта тонкая лесть и вся изящно-роскошная обстановка жизни в доме генерала сделали то, что Нехлюдов весь отдался удовольствию красивой обстановки, вкусной пищи и легкости и приятности отношений с благовоспитанными людьми своего привычного круга,

[1] светская женщина *(франц.)*.

как будто все то, среди чего он жил в последнее время, был сон, от которого он проснулся к настоящей действительности.

За обедом, кроме домашних — дочери генерала с ее мужем и адъютантом, были еще англичанин, купец-золотопромышленник и приезжий губернатор дальнего сибирского города. Все эти люди были приятны Нехлюдову.

Англичанин, здоровый, румяный человек, очень дурно говоривший по-французски, но замечательно хорошо и ораторски внушительно по-английски, очень многое видел и был интересен своими рассказами об Америке, Индии, Японии и Сибири.

Молодой купец-золотопромышленник, сын мужика, в сшитой в Лондоне фрачной паре с брильянтовыми запонками, имевший большую библиотеку, жертвовавший много на благотворительность и державшийся европейски-либеральных убеждений, был приятен и интересен Нехлюдову, представляя из себя совершенно новый и хороший тип образованного прививка европейской культурности на здоровом мужицком дичке.

Губернатор дальнего города был тот самый бывший директор департамента, о котором так много говорили в то время, как Нехлюдов был в Петербурге. Это был пухлый человек с завитыми редкими волосами, нежными голубыми глазами, очень толстый снизу и с холеными, белыми в перстнях руками и с приятной улыбкой. Губернатор этот был ценим хозяином дома за то, что среди взяточников он один не брал взяток. Хозяйка же, большая любительница музыки и сама очень хорошая пианистка, ценила его за то, что он был хороший музыкант и играл с ней в четыре руки. Расположение духа Нехлюдова было до такой степени благодушное, что и этот человек был нынче не неприятен ему.

Веселый, энергический, с сизым подбородком офицер-адъютант, предлагавший во всем свои услуги, был приятен своим добродушием.

Больше же всех была приятна Нехлюдову милая молодая чета дочери генерала с ее мужем. Дочь эта была некрасивая, простодушная молодая женщина, вся поглощенная своими первыми двумя детьми; муж ее, за которого она после долгой борьбы с родителями вышла по любви, либеральный кандидат московского университета, скромный и умный, служил и занимался статистикой, в особенности инородцами, которых он изучал, любил и старался спасти от вымирания.

Все были не только ласковы и любезны с Нехлюдовым, но, очевидно, были рады ему, как новому и интересному лицу. Генерал, вышедший к обеду в военном сюртуке, с белым крестом на шее, как с старым знакомым, поздоровался с Нехлюдовым и тотчас же пригласил гостей к закуске и водке. На вопрос генерала у

Нехлюдова о том, что он делал после того, как был у него, Нехлюдов рассказал, что был на почте и узнал о помиловании того лица, о котором говорил утром, и теперь вновь просит разрешения посетить тюрьму.

Генерал, очевидно недовольный тем, что за обедом говорят о делах, нахмурился и ничего не сказал.

— Хотите водки? — обратился он по-французски к подошедшему англичанину. Англичанин выпил водки и рассказал, что посетил нынче собор и завод, но желал бы еще видеть большую пересыльную тюрьму.

— Вот и отлично,— сказал генерал, обращаясь к Нехлюдову,— можете вместе. Дайте им пропуск,— сказал он адъютанту.

— Вы когда хотите ехать? — спросил Нехлюдов англичанина.

— Я предпочитаю посещать тюрьмы вечером,— сказал англичанин,— все дома, и нет приготовлений, а все есть как есть.

— А, он хочет видеть во всей прелести? Пускай видит. Я писал, меня не слушают. Так пускай узнают из иностранной печати,— сказал генерал и подошел к обеденному столу, у которого хозяйка указала места гостям.

Нехлюдов сидел между хозяйкой и англичанином. Напротив него сидела дочь генерала и бывший директор департамента.

За обедом разговор шел урывками, то об Индии, о которой рассказывал англичанин, то о Тонкинской экспедиции, которую генерал строго осуждал, то о сибирском всеобщем плутовстве и взяточничестве. Все эти разговоры мало интересовали Нехлюдова.

Но после обеда, в гостиной за кофе, завязался очень интересный разговор с англичанином и хозяйкой о Гладстоне, в котором Нехлюдову казалось, что он хорошо высказал много умного, замеченного его собеседниками. И Нехлюдову, после хорошего обеда, вина, за кофеем, на мягком кресле, среди ласковых и благовоспитанных людей, становилось все более и более приятно. Когда же хозяйка, по просьбе англичанина, вместе с бывшим директором департамента сели за фортепиано и заиграли хорошо разученную ими Пятую симфонию Бетховена, Нехлюдов почувствовал давно не испытанное им душевное состояние полного довольства собой, точно как будто он теперь только узнал, какой он был хороший человек.

Рояль был прекрасный, и исполнение симфонии было хорошее. По крайней мере, так показалось Нехлюдову, любившему и знавшему эту симфонию. Слушая прекрасное андante, он почувствовал щипание в носу от умиления над самим собою и всеми своими добродетелями.

Поблагодарив хозяйку за давно не испытанное им наслаждение, Нехлюдов хотел уже прощаться и уезжать, когда дочь хозяйки с решительным видом подошла к нему и, краснея, сказала:

— Вы спрашивали про моих детей; хотите видеть их?

— Ей кажется, что всем интересно видеть ее детей,— сказала мать, улыбаясь на милую бестактность дочери.— Князю совсем неинтересно.

— Напротив, очень, очень интересно,— сказал Нехлюдов, тронутый этой переливающейся через край счастливой материнской любовью.— Пожалуйста, покажите.

— Ведет князя смотреть своих малышей,— смеясь, закричал генерал от карточного стола, за которым он сидел с зятем, золотопромышленником и адъютантом.— Отбудьте, отбудьте повинность.

Молодая женщина между тем, очевидно взволнованная тем, что сейчас будут судить ее детей, шла быстрыми шагами перед Нехлюдовым во внутренние комнаты. В третьей, высокой, с белыми обоями комнате, освещенной небольшой лампой с темным абажуром, стояли рядом две кроватки, и между ними в белой пелеринке сидела нянюшка с сибирским скуластым добродушным лицом. Нянюшка встала и поклонилась. Мать нагнулась в первую кроватку, в которой, раскрыв ротик, тихо спала двухлетняя девочка с длинными вьющимися, растрепавшимися по подушке волосами.

— Вот это Катя,— сказала мать, оправляя с голубыми полосами вязаное одеяло, из-под которого высовывалась маленькая белая ступня.— Хороша? Ведь ей только два года.

— Прелесть!

— А это Васюк, как его дедушка прозвал. Совсем другой тип. Сибиряк. Правда?

— Прекрасный мальчик,— сказал Нехлюдов, рассматривая спящего на животе пузана.

— Да? — сказала мать, многозначительно улыбаясь.

Нехлюдов вспомнил цепи, бритые головы, побои, разврат, умирающего Крыльцова, Катюшу со всем ее прошедшим. И ему стало завидно и захотелось себе такого же изящного, чистого, как ему казалось теперь, счастья.

Несколько раз похвалив детей и тем хотя отчасти удовлетворив мать, жадно впитывающую в себя эти похвалы, он вышел за ней в гостиную, где англичанин уже дожидался его, чтобы вместе, как они уговорились, ехать в тюрьму. Простившись со старыми и молодыми хозяевами, Нехлюдов вышел вместе с англичанином на крыльцо генеральского дома.

Погода переменилась. Шел клочьями спорый снег и уже

засыпал дорогу, и крышу, и деревья сада, и подъезд, и верх пролетки, и спину лошади. У англичанина был свой экипаж, и Нехлюдов велел кучеру англичанина ехать в острог, сел один в свою пролетку и с тяжелым чувством исполнения неприятного долга поехал за ним в мягкой, трудно катившейся по снегу пролетке.

XXV

Мрачный дом острога с часовым и фонарем под воротами, несмотря на чистую, белую пелену, покрывавшую теперь все — и подъезд, и крышу, и стены, производил еще более, чем утром, мрачное впечатление своими по всему фасаду освещенными окнами.

Величественный смотритель вышел к воротам и, прочтя у фонаря пропуск, данный Нехлюдову и англичанину, недоумевающе пожал могучими плечами, но, исполняя приказание, пригласил посетителей следовать за собой. Он провел их сначала во двор и потом в дверь направо и на лестницу в контору. Предложив им садиться, он спросил, чем может служить им, и, узнав о желании Нехлюдова видеть теперь же Маслову, послал за нею надзирателя и приготовился отвечать на вопросы, которые англичанин тотчас же начал через Нехлюдова делать ему.

— На сколько человек построен зáмок? — спрашивал англичанин.— Сколько заключенных? Сколько мужчин, сколько женщин, детей? Сколько каторжных, ссыльных, добровольно следующих? Сколько больных?

Нехлюдов переводил слова англичанина и смотрителя, не вникая в смысл их, совершенно неожиданно для себя смущенный предстоящим свиданием. Когда среди фразы, переводимой им англичанину, он услыхал приближающиеся шаги, и дверь конторы отворилась, и, как это было много раз, вошел надзиратель и за ним повязанная платком, в арестантской кофте Катюша, он, увидав ее, испытал тяжелое чувство.

«Я жить хочу, хочу семью, детей, хочу человеческой жизни»,— мелькнуло у него в голове, в то время как она быстрыми шагами, не поднимая глаз, входила в комнату.

Он встал и ступил несколько шагов ей навстречу, и лицо ее показалось ему сурово и неприятно. Оно опять было такое же, как тогда, когда она упрекала его. Она краснела и бледнела, пальцы ее судорожно крутили края кофты, и то взглядывала на него, то опускала глаза.

— Вы знаете, что вышло помилование? — сказал Нехлюдов.

— Да, надзиратель говорил.

— Так что, как только получится бумага, вы можете выйти и поселиться, где хотите. Мы обдумаем...

Она поспешно перебила его:

— Что мне обдумывать? Где Владимир Иванович будет, туда и я с ним.

Несмотря на все свое волнение, она, подняв глаза на Нехлюдова, проговорила это быстро, отчетливо, как будто вперед приготовив все то, что она скажет.

— Вот как! — сказал Нехлюдов.

— Что ж, Дмитрий Иванович, коли он хочет, чтобы я с ним жила,— она испуганно остановилась и поправилась,— чтоб я при нем была. Мне чего же лучше? Я это за счастье должна считать. Что же мне?..

«Одно из двух: или она полюбила Симонсона и совсем не желала той жертвы, которую я воображал, что приношу ей, или она продолжает любить меня и для моего же блага отказывается от меня и навсегда сжигает свои корабли, соединяя свою судьбу с Симонсоном»,— подумал Нехлюдов, и ему стало стыдно. Он почувствовал, что краснеет.

— Если вы любите его...— сказал он.

— Что любить, не любить? Я уж это оставила, и Владимир Иванович ведь совсем особенный.

— Да, разумеется,— начал Нехлюдов.— Он прекрасный человек, и я думаю...

Она опять перебила его, как бы боясь, что он скажет лишнее или что она не скажет всего.

— Нет, вы меня, Дмитрий Иванович, простите, если я не то делаю, что вы хотите,— сказала она, глядя ему в глаза своим косым таинственным взглядом.— Да, видно, уж так выходит. И вам жить надо.

Она сказала ему то самое, что он только что говорил себе, но теперь уже он этого не думал, а думал и чувствовал совсем другое. Ему не только было стыдно, но было жалко всего того, что он терял с нею.

— Я не ожидал этого,— сказал он.

— Что же вам тут жить и мучаться. Довольно вы помучались,— сказала она и странно улыбнулась.

— Я не мучался, а мне хорошо было, и я желал бы еще служить вам, если бы мог.

— Нам,— она сказала: «Нам» — и взглянула на Нехлюдова,— ничего не нужно. Вы уж и так сколько для меня сделали. Если бы не вы...— Она хотела что-то сказать, и голос ее задрожал.

— Меня-то уж вам нельзя благодарить,— сказал Нехлюдов.

— Что считаться? Наши счеты бог сведет,— проговорила она, и черные глаза ее заблестели от вступивших в них слез.

— Какая вы хорошая женщина! — сказал он.

— Я-то хорошая? — сказала она сквозь слезы, и жалостная улыбка осветила ее лицо.

— Are you ready? [1] — спросил между тем англичанин.

— Directly [2],— ответил Нехлюдов и спросил ее о Крыльцове.

Она оправилась от волнения и спокойно рассказала, что́ знала: Крыльцов очень ослабел дорогой, и его тотчас же поместили в больницу. Марья Павловна очень беспокоилась, просилась в больницу в няньки, но ее не пускали.

— Так мне идти? — сказала она, заметив, что англичанин дожидается.

— Я не прощаюсь, я еще увижусь с вами,— сказал Нехлюдов.

— Простите,— сказала она чуть слышно. Глаза их встретились, и в странном косом взгляде и жалостной улыбке, с которой она сказала это не «прощайте», а «простите», Нехлюдов понял, что из двух предположений о причине ее решения верным было второе: она любила его и думала, что, связав себя с ним, она испортит его жизнь, а уходя с Симонсоном, освобождала его и теперь радовалась тому, что исполнила то, что хотела, и вместе с тем страдала, расставаясь с ним.

Она пожала его руку, быстро повернулась и вышла.

Нехлюдов оглянулся на англичанина, готовый идти с ним, но англичанин что-то записывал в свою записную книжку. Нехлюдов, не отрывая его, сел на деревянный диванчик, стоявший у стены, и вдруг почувствовал страшную усталость. Он устал не от бессонной ночи, не от путешествия, не от волнения, а он чувствовал, что страшно устал от всей жизни. Он прислонился к спинке дивана, на котором сидел, закрыл глаза и мгновенно заснул тяжелым, мертвым сном.

— Что же, угодно теперь пройти по камерам? — спросил смотритель.

Нехлюдов очнулся и удивился тому, где он. Англичанин кончил свои записи и желал осмотреть камеры. Нехлюдов, усталый и безучастный, пошел за ним.

---

[1] Вы готовы? *(англ.)*

[2] Сейчас *(англ.)*.

Пройдя сени и до тошноты вонючий коридор, в котором, к удивлению своему, они застали двух прямо на пол мочащихся арестантов, смотритель, англичанин и Нехлюдов, провожаемые надзирателями, вошли в первую камеру каторжных. В камере, с нарами в середине, все арестанты уже лежали. Их было человек семьдесят. Они лежали голова с головой и бок с боком. При входе посетителей все, гремя цепями, вскочили и стали у нар, блестя своими свежебритыми полуголовами. Остались лежать двое. Один был молодой человек, красный, очевидно, в жару, другой — старик, не переставая охавший.

Англичанин спросил, давно ли заболел молодой арестант. Смотритель сказал, что с утра, старик же уже давно хворал животом, но поместить его было некуда, так как лазарет давно переполнен. Англичанин неодобрительно покачал головой и сказал, что он желал бы сказать этим людям несколько слов, и попросил Нехлюдова перевести то, что будет говорить. Оказалось, что англичанин, кроме одной цели своего путешествия — описания ссылки и мест заключения в Сибири, имел еще другую цель — проповедование спасения верою и искуплением.

— Скажите им, что Христос жалел их и любил,— сказал он,— и умер за них. Если они будут верить в это, они спасутся.— Пока он говорил, все арестанты молча стояли перед нарами, вытянув руки по швам.— В этой книге, скажите им,— закончил он,— все это сказано. Есть умеющие читать?

Оказалось, что грамотных было больше двадцати человек. Англичанин вынул из ручного мешка несколько переплетенных Новых заветов, и мускулистые руки с крепкими черными ногтями из-за посконных рукавов потянулись к нему, отталкивая друг друга. Он роздал в этой камере два Евангелия и пошел в следующую.

В следующей камере было то же самое. Такая же была духота, вонь; точно так же впереди, между окнами, висел образ, а налево от двери стояла парашка, и так же все тесно лежали бок с боком, и так же все вскочили и вытянулись, и точно так же не встало три человека. Два поднялись и сели, а один продолжал лежать и даже не посмотрел на вошедших; это были больные. Англичанин точно так же сказал ту же речь и так же дал два Евангелия.

В третьей камере слышались крики и возня. Смотритель застучал и закричал: «Смирно!» Когда дверь отворили, опять все вытянулись у нар, кроме нескольких больных и двоих дерущихся, которые с изуродованными злобой лицами вцепились друг в

друга, один за волосы, другой за бороду. Они только тогда пустили друг друга, когда надзиратель подбежал к ним. У одного был в кровь разбит нос и текли сопли, слюни и кровь, которые он утирал рукавом кафтана; другой обирал вырванные из бороды волосы.

— Староста! — строго крикнул смотритель.

Выступил красивый, сильный человек.

— Никак-с невозможно унять, ваше высокоблагородие,— сказал староста, весело улыбаясь глазами.

— Вот я уйму,— сказал, хмурясь, смотритель.

— What did they tight for? [1] — спросил англичанин.

Нехлюдов спросил у старосты, за что была драка.

— За подвертку, вклепался в чужие,— сказал староста, продолжая улыбаться.— Этот толкнул, тот сдачи дал.

Нехлюдов сказал англичанину.

— Я бы желал сказать им несколько слов,— сказал англичанин, обращаясь к смотрителю.

Нехлюдов перевел. Смотритель сказал: «Можете». Тогда англичанин достал свое Евангелие в кожаном переплете.

— Пожалуйста, переведите это,— сказал он Нехлюдову.— Вы поссорились и подрались, а Христос, который умер за нас, дал нам другое средство разрешать наши ссоры. Спросите у них, знают ли они, как по закону Христа надо поступить с человеком, который обижает нас.

Нехлюдов перевел слова и вопрос англичанина.

— Начальству пожалиться, оно разберет? — вопросительно сказал один, косясь на величественного смотрителя.

— Вздуть его, вот он и не будет обижать,— сказал другой.

Послышалось несколько одобрительных смешков. Нехлюдов перевел англичанину их ответы.

— Скажите им, что по закону Христа надо сделать прямо обратное: если тебя ударили по одной щеке, подставь другую,— сказал англичанин, жестом как будто подставляя свою щеку.

Нехлюдов перевел.

— Он бы сам попробовал,— сказал чей-то голос.

— А как он по другой залепит, какую же еще подставлять? — сказал один из лежавших больных.

— Этак он тебя всего измочалит.

— Ну-ка, попробуй,— сказал кто-то сзади и весело засмеялся. Общий неудержимый хохот охватил всю камеру; даже избитый захохотал сквозь свою кровь и сопли. Смеялись и больные.

---

[1] За что они дрались? *(англ.)*

Англичанин не смутился и просил передать им, что то, что кажется невозможным, делается возможным и легким для верующих.

— А спросите, пьют ли они?

— Так точно,— послышался один голос и вместе с тем опять фырканье и хохот.

В этой камере больных было четверо. На вопрос англичанина, почему больных не соединяют в одну камеру, смотритель отвечал, что они сами не желают. Больные же эти не заразные, и фельдшер наблюдает за ними и оказывает пособие.

— Вторую неделю глаз не казал,— сказал голос.

Смотритель не отвечал и повел в следующую камеру. Опять отперли двери, и опять все встали и затихли, и опять англичанин раздавал Евангелия; то же было и в пятой, и в шестой, и направо, и налево, и по обе стороны.

От каторжных перешли к пересыльным, от пересыльных к общественникам и к добровольно следующим. Везде было то же самое: везде те же холодные, голодные, праздные, зараженные болезнями, опозоренные, запертые люди показывались, как дикие звери.

Англичанин, раздав положенное число Евангелий, уже больше не раздавал и даже не говорил речей. Тяжелое зрелище и, главное, удушливый воздух, очевидно, подавили и его энергию, и он шел по камерам, только приговаривая «All right» [1] на донесения смотрителя, какие были арестанты в каждой камере. Нехлюдов шел, как во сне, не имея силы отказаться и уйти, испытывая все ту же усталость и безнадежность.

XXVII

В одной из камер ссыльных Нехлюдов, к удивлению своему, увидал того самого странного старика, которого он утром видел на пароме. Старик этот, лохматый и весь в морщинах, в одной грязной, пепельного цвета, прорванной на плече рубахе, таких же штанах, босой, сидел на полу подле нар и строго-вопросительно смотрел на вошедших. Изможденное тело его, видневшееся в дыры грязной рубахи, было жалко и слабо, но лицо его было еще больше сосредоточенно и серьезно оживленно, чем на пароме. Все арестанты, как и в других камерах, вскочили и вытянулись при входе начальства; старик же продолжал сидеть. Глаза его блестели и брови гневно хмурились.

[1] Прекрасно *(англ.)*.

— Встать! — крикнул на него смотритель.

Старик не пошевелился и только презрительно улыбнулся.

— Перед тобой твои слуги стоят. А я не твой слуга. На тебе печать...— проговорил старик, указывая смотрителю на его лоб.

— Что-о-о? — угрожающе проговорил смотритель, надвигаясь на него.

— Я знаю этого человека,— поспешил сказать Нехлюдов смотрителю.— За что его взяли?

— Полиция прислала за бесписьменность. Мы просим не присылать, а они все шлют,— сказал смотритель, сердито косясь на старика.

— А ты, видно, тоже антихристова войска? — обратился старик к Нехлюдову.

— Нет, я посетитель,— сказал Нехлюдов.

— Что ж, пришли подивиться, как антихрист людей мучает? На вот, гляди. Забрал людей, запер в клетку войско целое. Люди должны в поте лица хлеб есть, а он их запер, как свиней, кормит без работы, чтоб они озверели.

— Что он говорит? — спросил англичанин.

Нехлюдов сказал, что старик осуждает смотрителя за то, что он держит в неволе людей.

— Как же, спросите, по его мнению, надо поступать с теми, которые не соблюдают закон? — сказал англичанин.

Нехлюдов перевел вопрос.

Старик странно засмеялся, оскалив сплошные зубы.

— Закон! — повторил он презрительно,— он прежде ограбил всех, всю землю, все богачество у людей отнял, под себя подобрал, всех побил, какие против него шли, а потом закон написал, чтобы не грабили да не убивали. Он бы прежде этот закон написал.

Нехлюдов перевел. Англичанин улыбнулся.

— Ну все-таки, как же поступать теперь с ворами и убийцами, спросите у него.

Нехлюдов опять перевел вопрос. Старик строго нахмурился.

— Скажи ему, чтобы он с себя антихристову печать снял, тогда и не будет у него ни воров, ни убийц. Так и скажи ему.

— He is crazy [1],— сказал англичанин, когда Нехлюдов перевел ему слова старика, и, пожав плечами, вышел из камеры.

— Ты делай свое, а их оставь. Всяк сам себе. Бог знает, кого казнить, кого миловать, а не мы знаем,— проговорил старик.— Будь сам себе начальником, тогда и начальников не нужно. Ступай, ступай,— прибавил он, сердито хмурясь и блестя глазами на

[1] Он полоумный *(англ.)*.

медлившего в камере Нехлюдова.— Нагляделся, как антихристовы слуги людьми вшей кормят. Ступай, ступай!

Когда Нехлюдов вышел в коридор, англичанин с смотрителем стоял у отворенной двери пустой камеры и спрашивал о назначении этой камеры. Смотритель объяснил, что это была покойницкая.

— О! — сказал англичанин, когда Нехлюдов перевел ему, и пожелал войти.

Покойницкая была обыкновенная небольшая камера. На стене горела лампочка и слабо освещала в одном углу наваленные мешки, дрова и на нарах направо — четыре мертвых тела. Первый труп в посконной рубахе и портках был большого роста человек с маленькой острой бородкой и с бритой половиной головы. Тело уже закоченело; сизые руки, очевидно, были сложены на груди, но разошлись; ноги босые тоже разошлись и торчали ступнями врозь. Рядом с ним лежала в белой юбке и кофте босая и простоволосая с редкой короткой косичкой старая женщина с сморщенным, маленьким, желтым лицом и острым носиком. За старушкой был еще труп мужчины в чем-то лиловом. Цвет этот что-то напомнил Нехлюдову.

Он подошел ближе и стал смотреть на него.

Маленькая, острая, торчавшая кверху бородка, крепкий красивый нос, белый высокий лоб, редкие вьющиеся волосы. Он узнавал знакомые черты и не верил своим глазам. Вчера он видел это лицо возбужденно-озлобленным, страдающим. Теперь оно было спокойно, неподвижно и страшно прекрасно.

Да, это был Крыльцов или, по крайней мере, тот след, который оставило его материальное существование.

«Зачем он страдал? Зачем он жил? Понял ли он это теперь?» — думал Нехлюдов, и ему казалось, что ответа этого нет, что ничего нет, кроме смерти, и ему сделалось дурно.

Не простясь с англичанином, Нехлюдов попросил надзирателя проводить его на двор, и, чувствуя необходимость остаться одному, чтобы обдумать все то, что он испытал в нынешний вечер, он уехал в гостиницу.

XXVIII

Не ложась спать, Нехлюдов долго ходил взад и вперед по номеру гостиницы. Дело его с Катюшей было кончено. Он был ненужен ей, и ему это было и грустно и стыдно. Но не это теперь мучало его. Другое его дело не только не было кончено, но сильнее, чем когда-нибудь, мучало его и требовало от него деятельности.

Все то страшное зло, которое он видел и узнал за это время и в особенности нынче, в этой ужасной тюрьме, все это зло, погубив-

шее и милого Крыльцова, торжествовало, царствовало, и не виделось никакой возможности не только победить его, но даже попять, как победить его.

В воображении его восстали эти запертые в зараженном воздухе сотни и тысячи опозоренных людей, запираемые равнодушными генералами, прокурорами, смотрителями, вспоминался странный, обличающий начальство свободный старик, признаваемый сумасшедшим, и среди трупов прекрасное мертвое восковое лицо в озлоблении умершего Крыльцова. И прежний вопрос о том, он ли, Нехлюдов, сумасшедший, или сумасшедшие люди, считающие себя разумными и делающие все это, с новой силой восстал перед ним и требовал ответа.

Устав ходить и думать, он сел на диван перед лампой и машинально открыл данное ему на память англичанином Евангелие, которое он, выбирая то, что было в карманах, бросил на стол. «Говорят, там разрешение всего»,— подумал он и, открыв Евангелие, начал читать там, где открылось. Матфея гл. XVIII.

1. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в царстве небесном? — читал он.

2. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них

3. И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царство небесное;

4. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в царстве небесном;

«Да, да, это так»,— подумал он, вспоминая, как он испытал успокоение и радость жизни только в той мере, в которой умалял себя.

5. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает;

6. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской.

«К чему тут: *кто примет* и куда примет? И что значит: *во имя мое?* — спросил он себя, чувствуя, что слова эти ничего не говорят ему.— И к чему жернов на шею и пучина морская? Нет, это что-то не то: неточно, неясно»,— подумал он, вспоминая, как он несколько раз в своей жизни принимался читать Евангелие и как всегда неясность таких мест отталкивала его. Он прочел еще 7-й, 8-й, 9-й и 10-й стихи о соблазнах, о том, что они должны прийти в мир, о наказании посредством геенны огненной, в которую ввергнуты будут люди, и о каких-то ангелах детей, которые видят лицо отца небесного. «Как жалко, что это так нескладно,— думал он,— а чувствуется, что тут что-то хорошее».

11. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее,— продолжал он читать.

12. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась; то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?

13. И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти не заблудившихся.

14. Так нет воли отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих.

«Да, не было воли отца, чтобы они погибли, а вот они гибнут сотнями, тысячами. И нет средств спасти их»,— подумал он.

21. Тогда Петр приступил к нему и сказал,— читал он дальше: *— Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?*

22. Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до семижды семидесяти раз.

23. Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими.

24. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов;

25. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить.

26. Тогда раб пал и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу.

27. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.

28. Раб же тот, вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.

29. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе.

30. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

31. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились и, пришедши, рассказали государю своему все бывшее.

32. Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня.

33. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?

— Да неужели только это? — вдруг вслух вскрикнул Нехлюдов, прочтя эти слова. И внутренний голос всего существа его говорил: «Да, только это».

И с Нехлюдовым случилось то, что часто случается с людьми, живущими духовной жизнью. Случилось то, что мысль, представ-

лявшаяся ему сначала как странность, как парадокс, даже как шутка, все чаще и чаще находя себе подтверждение в жизни, вдруг предстала ему как самая простая, несомненная истина. Так выяснилась ему теперь мысль о том, что единственное и несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми перед богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей. Ему ясно стало теперь, что все то страшное зло, которого он был свидетелем в тюрьмах и острогах, и спокойная самоуверенность тех, которые производили это зло, произошло только оттого, что люди хотели делать невозможное дело: будучи злы, исправлять зло. Порочные люди хотели исправлять порочных людей и думали достигнуть этого механическим путем. Но из всего этого вышло только то, что нуждающиеся и корыстные люди, сделав себе профессию из этого мнимого наказания и исправления людей, сами развратились до последней степени и не переставая развращают и тех, которых мучают. Теперь ему стало ясно, отчего весь тот ужас, который он видел, и что́ надо делать для того, чтобы уничтожить его. Ответ, которого он не мог найти, был тот самый, который дал Христос Петру: он состоял в том, чтобы прощать всегда, всех, бесконечное число раз прощать, потому что нет таких людей, которые бы сами не были виновны и потому могли бы наказывать или исправлять.

«Да не может быть, чтобы это было так просто»,— говорил себе Нехлюдов, а между тем несомненно видел, что, как ни странно это показалось ему сначала, привыкшему к обратному,— что это было несомненное и не только теоретическое, но и самое практическое разрешение вопроса. Всегдашнее возражение о том, что делать с злодеями,— неужели так и оставить их безнаказанными? — уже не смущало его теперь. Возражение это имело бы значение, если бы было доказано, что наказание уменьшает преступления, исправляет преступников; но когда доказано совершенно обратное, и явно, что не во власти одних людей исправлять других, то единственное разумное, что вы можете сделать, это то, чтобы перестать делать то, что не только бесполезно, но вредно и, кроме того, безнравственно и жестоко. «Вы несколько столетий казните людей, которых признаете преступниками. Что же, перевелись они? Не перевелись, а количество их только увеличилось и теми преступниками, которые развращаются наказаниями, и еще теми преступниками-судьями, прокурорами, следователями, тюремщиками, которые сидят и наказывают людей». Нехлюдов понял теперь, что общество и порядок вообще существуют не потому, что есть эти узаконенные преступники, судящие и наказывающие других людей, а потому, что, несмотря на такое развращение, люди все-таки жалеют и любят друг друга.

Надеясь найти подтверждение этой мысли в том же Евангелии, Нехлюдов с начала начал читать его. Прочтя нагорную проповедь, всегда трогавшую его, он нынче в первый раз увидал в этой проповеди не отвлеченные, прекрасные мысли и большею частью предъявляющие преувеличенные и неисполнимые требования, а простые, ясные и практически исполнимые заповеди, которые, в случае исполнения их (что было вполне возможно), устанавливали совершенно новое устройство человеческого общества, при котором не только само собой уничтожалось все то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но достигалось высшее доступное человечеству благо — царство божие на земле.

Заповедей этих было пять.

Первая заповедь (Мф. V, 21—26) состояла в том, что человек не только не должен убивать, но не должен гневаться на брата, не должен никого считать ничтожным, «рака», а если поссорится с кем-либо, должен мириться, прежде чем приносить дар богу, то есть молиться.

Вторая заповедь (Мф. V, 27—32) состояла в том, что человек не только не должен прелюбодействовать, но должен избегать наслаждения красотою женщины, должен, раз сойдясь с одной женщиной, никогда не изменять ей.

Третья заповедь (Мф. V, 33—37) состояла в том, что человек не должен обещаться в чем-нибудь с клятвою.

Четвертая заповедь (Мф. V, 38—42) состояла в том, что человек не только не должен воздавать око за око, но должен подставлять другую щеку, когда ударят по одной, должен прощать обиды и с смирением нести их и никому не отказывать в том, чего хотят от него люди.

Пятая заповедь (Мф. V, 43—48) состояла в том, что человек не только не должен ненавидеть врагов, не воевать с ними, но должен любить их, помогать, служить им.

Нехлюдов уставился на свет горевшей лампы и замер. Вспомнив все безобразие нашей жизни, он ясно представил себе, чем могла бы быть эта жизнь, если бы люди воспитывались на этих правилах, и давно не испытанный восторг охватил его душу. Точно он после долгого томления и страдания нашел вдруг успокоение и свободу.

Он не спал всю ночь и, как это случается со многими и многими, читающими Евангелие, в первый раз, читая, понимал во всем их значении слова, много раз читанные и незамеченные. Как губка воду, он впитывал в себя то нужное, важное и радостное, что открывалось ему в этой книге. И все, что он читал, казалось ему знакомо, казалось, подтверждало, приводило в сознание то, что он знал

уже давно, прежде, но не сознавал вполне и не верил. Теперь же он сознавал и верил.

Но мало того, что он сознавал и верил, что, исполняя эти заповеди, люди достигнут наивысшего доступного им блага, он сознавал и верил теперь, что всякому человеку больше нечего делать, как исполнять эти заповеди, что в этом — единственный разумный смысл человеческой жизни, что всякое отступление от этого есть ошибка, тотчас же влекущая за собой наказание. Это вытекало из всего учения и с особенной яркостью и силой было выражено в притче о виноградарях. Виноградари вообразили себе, что сад, в который они были посланы для работы на хозяина, был их собственностью; что все, что было в саду, сделано для них и что их дело только в том, чтобы наслаждаться в этом саду своею жизнью, забыв о хозяине и убивая тех, которые напоминали им о хозяине и об их обязанностях к нему.

«То же самое делаем мы,— думал Нехлюдов,— живя в нелепой уверенности, что мы сами хозяева своей жизни, что она дана нам для нашего наслажденья. А ведь это очевидно нелепо. Ведь если мы посланы сюда, то по чьей-нибудь воле и для чего-нибудь. А мы решили, что живем только для своей радости, и ясно, что нам дурно, как будет дурно работнику, не исполняющему воли хозяина. Воля же хозяина выражена в этих заповедях. Только исполняй люди эти заповеди, и на земле установится царствие божие, и люди получат наибольшее благо, которое доступно им.

Ищите царства божия и правды его, а остальное приложится вам. А мы ищем *остального* и, очевидно, не находим его.

Так вот оно, дело моей жизни. Только кончилось одно, началось другое».

С этой ночи началась для Нехлюдова совсем новая жизнь не столько потому, что он вступил в новые условия жизни, а потому, что все, что случилось с ним с этих пор, получало для него совсем иное, чем прежде, значение. Чем кончится этот новый период его жизни, покажет будущее.

16 декабря 1899 года

Конец

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет — все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая склянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится богу; где высокая тяжелая *маджара* на верблюдах со скрипом протащилась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена... Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов — дрова, мясо, туры, мука, железо и т. п.— кучей лежат около пристани; солдаты разных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом — солдатами, моряками, купцами, женщинами,— причаливают и отчаливают от пристани.

— На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте,— предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди —

старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, скрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырики, поднимаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...

— Ваше благородие! прямо под Кистентина [1] держите,— скажет вам старик матрос, оборотясь назад, чтобы поверить направление, которое вы даете лодке,— вправо руля.

— А на нем пушки-то еще все,— заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

— А то как же: он новый, на нем Корнилов жил,— заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

— Вишь ты, где разорвало! — скажет мальчик после долгого молчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

— Это *он* с новой батареи нынче палит,— прибавит старик, равнодушно поплевывая на руку.— Ну, навались, Мишка, баркас перегоним.— И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристает между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: *сбитень горячий,* и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядры, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные

[1] Корабль «Константин».

станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные ко́злы; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки,— везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но вглядитесь ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было — поить лошадей или таскать орудия,— так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидающихся на крыльце бывшего Собрания, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает чрез улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости,— ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам, описаниям и вида и звуков с Северной стороны. Но прежде чем сомневаться, сходите на бастионы, посмотрите защитников Севастополя на самом месте защиты или, лучше, зайдите прямо напротив в этот дом, бывший прежде Севастопольским собранием и на крыльце которого стоят солдаты с носилками,— вы увидите там защитников Севастополя, увидите там ужасные и грустные, великие и забавные, но изумительные, возвышающие душу зрелища.

Вы входите в большую залу Собрания. Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы,— это дурное чувство,— идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто пришли *смотреть* на страдальцев, не стыдитесь подойти и поговорить с ними: несчастные любят видеть человеческое сочувствующее лицо, любят рассказать про свои страдания и услышать слова любви и участия. Вы проходите посредине постелей и ищете лицо менее строгое и страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

— Ты куда ранен? — спрашиваете вы нерешительно и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сидя на койке, следит за вами добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страдания, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбить и высокое уважение к тому, кто перенесет их.

— В ногу,— отвечает солдат; но в это самое время вы сами замечаете по складкам одеяла, что у него ноги нет выше колена.— Слава богу теперь,— прибавляет он,— на выписку хочу.

— А давно ты уже ранен?

— Да вот шестая неделя пошла, ваше благородие!

— Что же, болит у тебя теперь?

— Нет, теперь не болит, ничего; только как будто в икре поет, когда непогода, а то ничего.

— Как же ты это был ранен?

— На пятом баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходить, этаким манером, к другой амбразуре, как *он* ударит меня по ноге, ровно как в яму оступился. Глядь, а ноги нет.

— Неужели больно не было в эту первую минуту?

— Ничего; только как горячим чем меня пхнули в ногу.

— Ну, а потом?

— И потом ничего; только как кожу натягивать стали, так садпило как будто. Оно первое дело, ваше благородие, *не думать много:* как не думаешь, оно тебе и ничего. Все больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходит женщина в сереньком полосатом платье и повязанная черным платком; она вмешивается в ваш разговор с матросом и начинает рассказывать про него, про его страдания, про отчаянное положение, в котором он был четыре недели, про то, как, бывши ранен, остановил носилки, с тем чтобы посмотреть на залп нашей батареи, как великие князья гово-

рили с ним и пожаловали ему двадцать пять рублей, и как он сказал им, что он опять хочет на бастион, с тем чтобы учить молодых, ежели уже сам работать не может. Говоря все это одним духом, женщина эта смотрит то на вас, то на матроса, который, отвернувшись и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, и глаза ее блестят каким-то особенным восторгом.

— Это хозяйка моя, ваше благородие! — замечает вам матрос с таким выражением, как будто говорит: «Уж вы ее извините. Известно, бабье дело — глупые слова говорит».

Вы начинаете понимать защитников Севастополя; вам становится почему-то совестно за самого себя перед этим человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком много, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; но вы не находите слов или недовольны теми, которые приходят вам в голову,— и вы молча склоняетесь перед этим молчаливым, бессознательным величием и твердостью духа, этой стыдливостью перед собственным достоинством.

— Ну, дай бог тебе поскорее поправиться,— говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больным, который лежит на полу и, как кажется, в нестерпимых страданиях ожидает смерти.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закинув назад левую руку, в положении, выражающем жестокое страдание. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрипящее дыхание; голубые оловянные глаза закачены кверху, и из-под сбившегося одеяла высунут остаток правой руки, обвернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильнее поражает вас, и пожирающий внутренний жар, проникающий все члены страдальца, проникает как будто и вас.

— Что̀, он без памяти? — спрашиваете вы у женщины, которая идет за вами и ласково, как на родного, смотрит на вас.

— Нет, еще слышит, да уж очень плох,— прибавляет она шепотом.— Я его нынче чаем поила — что ж, хоть и чужой, все надо жалость иметь,— так уж не пил почти.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашиваете вы его.

Раненый поворачивает зрачки на ваш голос, но не видит и не понимает вас.

— У сердце гхорить.

Немного далее вы видите старого солдата, который переменяет белье. Лицо и тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Руки у него совсем нет: она вылущена в плече. Он сидит бодро, он поправился; но по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе и морщинам лица вы видите, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизни.

С другой стороны вы увидите на койке страдальческое, бледное и нежное лицо женщины, на котором играет во всю щеку горячечный румянец.

— Это нашу матроску пятого числа в ногу задело бомбой,— скажет вам ваша путеводительница,— она мужу на бастион обедать носила.

— Что ж, отрезали?

— Выше колена отрезали.

Теперь, ежели нервы ваши крепки, пройдите в дверь налево: в той комнате делают перевязки и операции. Вы увидите там докторов с окровавленными по локти руками и бледными угрюмыми физиономиями, занятых около койки, на которой, с открытыми глазами и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова, лежит раненый под влиянием хлороформа. Доктора заняты отвратительным, но благодетельным делом ампутаций. Вы увидите, как острый кривой нож входит в белое здоровое тело; увидите, как с ужасным, раздирающим криком и проклятиями раненый вдруг приходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезанную руку; увидите, как на носилках лежит, в той же комнате, другой раненый и, глядя на операцию товарища, корчится и стонет не столько от физической боли, сколько от моральных страданий ожидания,— увидите ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войну не в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а увидите войну в настоящем ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...

Выходя из этого дома страданий, вы непременно испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в сознании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страданий почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нерешимости пойдете на бастионы...

«Что значат смерть и страдания такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смертями и столькими страданиями?» Но вид чистого неба, блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормальное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним настоящим.

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастионов, но это не наведет вас на прежние мысли;

похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки — весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте.

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную внутреннюю жизнью часть города. С обеих сторон вывески лавок, трактиров. Купцы, женщины в шляпках и платочках, щеголеватые офицеры — все говорит вам о твердости духа, самоуверенности, безопасности жителей.

Зайдите в трактир направо, ежели вы хотите послушать толки моряков и офицеров: там уж, верно, идут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело двадцать четвертого, про то, как дорого и нехорошо подают котлетки, и про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.

— Черт возьми, как нынче у нас плохо! — говорит басом белобрысенький безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.

— Где у нас? — спрашивает его другой.

— На четвертом бастионе,— отвечает молоденький офицер, и вы непременно с бóльшим вниманием и даже некоторым уважением посмотрите на белобрысенького офицера при словах: «на четвертом бастионе». Его слишком большая развязность, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам нахальством, покажутся вам тем особенным бретерским настроением духа, которое приобретают иные очень молодые люди после опасности; но все-таки вы подумаете, что он станет вам рассказывать, как плохо на четвертом бастионе от бомб и пуль: ничуть не бывало! плохо оттого, что грязно. «Пройти на батарею нельзя»,— скажет он, показывая на сапоги, выше икор покрытые грязью. «А у меня нынче лучшего комендора убили, прямо в лоб влепило»,— скажет другой. «Кого это? Митюхина?» — «Нет... Да что, дадут ли мне телятины? Вот канальи! — прибавит он к трактирному слуге.— Не Митюхина, а Абросимова. Молодец такой — в шести вылазках был».

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского вина, называемого «бордо», сидят два пехотных офицера: один, молодой, с красным воротником и с двумя звездочками на шинели, рассказывает другому, старому, с черным воротником и без звездочек, про альминское дело. Первый уже немного выпил, и по остановкам, которые бывают в его рассказе, по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно от-

клоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «Я иду на четвертый бастион»,— непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «Тебя бы поставить на четвертый бастион»; когда встречают носилки и спрашивают: «Откуда?» — большей частью отвечают: «С четвертого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели...

Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин-камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион... Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадаются капли крови, и непременно встретите тут четырех солдат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «Куда ранен?» — носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут:

в ногу или в руку, ежели он ранен легко; или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы и он уже умер или тяжело ранен.

Недалекий свист ядра или бомбы, в то самое время как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете, и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас,— вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались в гору, справа и слева вас начинают жужжать штуцерные пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более что вы видите, *все идут по дороге*. Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребами, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагороженным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где посередине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик, с ружьем переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи. Но везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль — жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна,— слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» — думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут — место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион,

возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, земляпки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею — на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папиросу из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффектации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам,— но только, ежели вы его расспросите,— про бомбардированье пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось восемь человек, и как все-таки на другое утро, шестого, он *палил*[1] из всех орудий; расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразуры батареи и траншеи неприятельские, которые не дальше здесь как в тридцати — сорока саженях. Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразуры, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель — *он,* как говорят солдаты и матросы.

Даже очень может быть, что морской офицер, из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. «Послать комендора и прислугу к пушке»,— и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в

[1] Моряки все говорят палить, а не стрелять.

ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского,— простоты и упрямства, но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные о́рганы, но все существо ваше, гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед за тем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может быть,— это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. «В самую *абразуру* попало; кажись, убило двух... вон понесли»,— услышите вы радостные восклицания. «А вот он рассерчает: сейчас пустит сюда»,— скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на брустверe, крикнет: «Пу-у-шка!» И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вкруг себя брызги и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: «Пушка!» — и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: «Маркела!» [1]— и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите черный шар, удар о землю, ощутительный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову, что снаряд этот убьет вас; но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью и смертью; вам хочется, чтобы еще и еще поближе упали около вас

[1] Мортира.

ядро или бомба. Но вот еще часовой прокричал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистыванье, удар и разрыв бомбы; но вместе с этим звуком вас поражает стон человека. Вы подходите к раненому, который, в крови и грязи, имеет какой-то странный нечеловеческий вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть груди. В первые минуты на забрызганном грязью лице его видны один испуг и какое-то притворное преждевременное выражение страдания, свойственное человеку в таком положении; но в то время как ему приносят носилки и он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выражением какой-то восторженности и высокой, невысказанной мысли: глаза горят ярче, зубы сжимаются, голова с усилием поднимается выше; и в то время как его поднимают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащим голосом говорит товарищам: «Простите, братцы!» — еще хочет сказать что-то, и видно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз: «Простите, братцы!» В это время товарищ-матрос подходит к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, и спокойно, равнодушно, размахивая руками, возвращается к своему орудию. «Это вот каждый день этак человек семь или восемь»,— говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лице, зевая и свертывая папиросу из желтой бумаги...

. . . . . .

Итак, вы видели защитников Севастополя на самом месте защиты и идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра и пули, продолжающие свистать по всей дороге до разрушенного театра,— идете с спокойным, возвысившимся духом. Главное, отрадное убеждение, которое вы вынесли,— это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа,— и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хитросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не поняли, но видели ее в глазах, речах, приемах, в том, что называется духом защитников Севастополя. То, что они делают, делают они так просто, так малонапряженно и усиленно, что, вы убеждены, они еще могут сделать во сто раз больше... они всё могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать их, не есть то чувство мелочности, тщеславия, забывчивости, которое испытывали вы сами, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало из них людей, так же спокойно живущих под ядрами, при ста случайностях смерти вместо одной, которой подвержены все люди, и живущих в этих условиях среди беспрерывного труда, бдения и грязи.

Из-за креста, из-за названия, из угрозы не могут принять люди эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого,— любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю,— о временах, когда этот герой, достойный древней Греции,— Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя»,— и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «Умрем! ура!» — только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразите себе тех людей, которых вы сейчас видели, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышались духом и с наслаждением готовились к смерти, не за город, а за родину. Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...

Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

Севастополь. 1855 года, 25 апреля.

ДВА ГУСАРА

ПОВЕСТЬ

Посвящается графине М. Н. Толстой

...Жомини да Жомини,
А об водке ни полслова...

Д. Давыдов

В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время,— в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики,— когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света,— в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных,— в губернском городе К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы.

— Ну, все равно, хоть в залу,— говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К.

— Съезд такой, батюшка ваше сиятельство, огромный,— говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его «ваше сиятельство».— Афремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать; так вот и изволите занять, как опростается, одиннадцатый нумер,— говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь.

В общей зале перед маленьким столом, подле почерневшего, во весь рост, портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек — *здешних* дворян, должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие, в синих шубах.

Войдя в комнату и зазвав туда *Блюхера,* огромную серую мелянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шипель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые, сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик водки, а потом тоже спросил бутылку, чтоб угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку.

— Сашка,— крикнул граф,— дай ему!

Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги.

— Что ж, батюшка васясо, как, кажется, старался твоей милости! полтинник обещал, а они четвертак пожаловали.

— Сашка! дай ему целковый!

Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика.

— Будет с него,— сказал он басом,— да у меня и денег нет больше.

Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел.

— Вот пригнал! — сказал граф,— последние пять рублей.

— По-гусарски, граф,— улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязности в ногах, очевидно, отставной кавалерист. Вы здесь долго намерены пробыть, граф?

— Денег достать нужно; а то бы я не остался. Да и нумеров нет. Черт их дери, в этом кабаке проклятом...

— Позвольте, граф,— возразил кавалерист,— да не угодно ли

ко мне? я вот здесь, в седьмом нумере. Коли не побрезгуете покамест пропочевать. А вы пробудьте у нас денька три. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был!

— Право, граф, погостите,— подхватил другой из собеседников, красивый молодой человек,— куда вам торопиться! А ведь это в три года раз бывает — выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф!

— Сашка! давай белье: поеду в баню,— сказал граф, вставая.— А оттуда, посмотрим, может, и в самом деле к предводителю дернуть.

Потом он позвал полового, поговорил о чем-то с ним, на что половой, усмехнувшись, ответил, «что все дело рук человеческих», и вышел.

— Так я, батюшка, к вам в нумер велю перенести чемодан,— крикнул граф из-за двери.

— Сделайте одолжение, осчастливите,— отвечал кавалерист, подбегая к двери.— Седьмой нумер! не забудьте.

Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал:

— А ведь это тот самый.

— Ну?

— Уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар,— ну, Турбин, известный. Он меня узнал, пари держу, что узнал. Как же, мы в Лебедяни с ним кутили вместе три недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была — мы вместе сотворили,— от этого он как будто ничего. А молодчина, а?

— Молодец. И какой он приятный в обращении! ничего так не заметно,— отвечал красивый молодой человек,— как мы скоро сошлись... Что, ему лет двадцать пять, не больше?

— Нет, оно так кажется; только ему больше. Да ведь надо знать, кто это? Мигунову кто увез? — он. Саблина он убил, Матнева он из окошка за ноги спустил, князя Нестерова он обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать! Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар — душа, уж истинно душа. Ведь только на нас слава, а коли бы понимал кто-нибудь, что́ такое значит гусар истинный. Ах, времечко было!

И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому, что графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку двумя годами раньше, чем граф поступил на службу, а во-вторых, потому, что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а четыре года служил самым скромным юнкером в Белевском полку и, как только был произве-

ден в прапорщики, вышел в отставку. Но десять лет тому назад, получив наследство, он ездил действительно в Лебедянь, прокутил там с ремонтерами семьсот рублей и сшил себе уже было уланский мундир с ранжевыми отворотами, с тем чтобы поступить в уланы. Желание поступить в кавалерию и три недели, проведенные с ремонтерами в Лебедяни, осталось самым светлым, счастливым периодом в его жизни, так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминание и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошедшее, что не мешало ему быть по мягкосердечию и честности истинно достойнейшим человеком.

— Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата.— Он сел верхом на стул и, выставив нижнюю челюсть, заговорил басом.— Едешь, бывало, перед эскадроном; под тобой черт, а не лошадь, в ланцадах вся; сидишь, бывало, этак чертом. Подъедет эскадронный командир на смотру. «Поручик, говорит, пожалуйста — без вас ничего не будет — проведите эскадрон церемониалом». Хорошо, мол, а уж тут — есть! Оглянешься, крикнешь, бывало, на усачей своих. Ах, черт возьми, времечко было!

Вернулся граф, весь красный и с мокрыми волосами, из бани и вошел прямо в седьмой нумер, в котором уже сидел кавалерист в халате, с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом размышлявший о том счастии, которое ему выпало на долю,— жить в одной комнате с известным Турбиным. «Ну, что,— приходило ему в голову,— как вдруг возьмет да разденет меня, голого вывезет за заставу да посадит в снег, или... дегтем вымажет, или просто... Нет, по-товарищески не сделает...» — утешал он себя.

— Блюхера накормить, Сашка! — крикнул граф.

Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно.

— Ты уж не утерпел, напился, капалья!.. Накормить Блюхера!

— И так не издохнет: вишь, какой гладкий! — отвечал Сашка, поглаживая собаку.

— Ну, не разговаривать! пошел накорми.

— Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, так и попрекаете.

— Эй, прибью! — крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах и кавалеристу даже стало немного страшно.

— Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь. Что ж, бейте, коли вам собака дороже человека,— проговорил Сашка. Но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на ларе в коридоре.

— Он мне зубы разбил,— ворчал Сашка, вытирая одной рукой

окровавленный нос, а другой почесывая спину облизывавшегося Блюхера,— он мне зубы разбил. Блюшка, а все он мой граф, и я за него могу пойти в огонь — вот что! Потому он мой граф, понимаешь, Блюшка? А есть хочешь?

Полежав немного, он встал, накормил собаку и, почти трезвый, пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу.

— Вы меня просто обидите,— говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели,— я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостью готов служить рублей двести. У меня теперь нет их, а только сто; но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф!

— Спасибо, батюшка,— сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста,— спасибо. Ну, так и на бал поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть: хорошенькие кто? кутит кто? в карты кто играет?

Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет; что кутит больше всех исправник Колков, вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только — малый добрый; что Илюшкин хор цыган здесь с начала выборов поет, Стешка запевает, и что нынче к ним *все* от предводителя собираются.

— И игра есть порядочная,— рассказывал он.— Лухнов, приезжий, играет с деньгами, и Ильин, что в восьмом нумере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось. Каждый вечер играют, и какой малый чудесный, я вам скажу, граф, Ильин этот: вот уж нескупой — последнюю рубашку отдаст.

— Так пойдем к нему. Посмотрим, что за народ такой,— сказал граф.

— Пойдемте, пойдемте! Они ужасно рады будут.

II

Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в восемь часов вечера и проиграл пятнадцать часов сряду, до одиннадцати утра. Он проиграл что-то много, но сколько именно, он не знал, потому что у него было тысячи три своих денег и пятнадцать тысяч казенных, которые он давно смешал вместе с своими и боялся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал,— что уже и казенных недоставало сколько-то. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого

проигрыша. Проснувшись в шесть часов вечера, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, и увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру и последнюю карту — валета, которую ему убили на пятьсот рублей, но, не веря еще хорошенько действительности, достал из-под подушки деньги и стал считать. Он узнал некоторые ассигнации, которые углами и транспортами несколько раз переходили из рук в руки, вспомнил весь ход игры. Своих трех тысяч уже не было, и из казенных недоставало уже двух с половиною тысяч.

Улан играл четыре ночи сряду.

Он ехал из Москвы, где получил казенные деньги. В К. его задержал смотритель под предлогом неимения лошадей, но, в сущности, по уговору, который он сделал давно с содержателем гостиницы,— задерживать на день всех проезжающих. Улан, молоденький, веселый мальчик, только что получивший в Москве от родителей три тысячи на обзаведение в полку, был рад пробыть во время выборов несколько дней в городе К. и надеялся тут на славу повеселиться. Один помещик семейный был ему знаком, и он сбирался поехать к нему, поволочиться за его дочерьми, когда кавалерист явился знакомиться к улану и в тот же вечер, без всякой дурной мысли, свел его с своими знакомыми, Лухновым и другими игроками, в общей зале. С того же вечера улан сел за игру и не только не ездил к знакомому помещику, но не спрашивал больше про лошадей и не выходил четыре дня из комнаты.

Одевшись и напившись чаю, он подошел к окну. Ему захотелось пройтись, чтобы прогнать неотвязчивые игорные воспоминания. Он надел шинель и вышел на улицу. Солнце уже спряталось за белые дома с красными крышами; наступали сумерки. Было тепло. На грязные улицы тихо падал хлопьями влажный снег. Ему вдруг стало невыносимо грустно от мысли, что он проспал весь этот день, который уже кончался.

«Уж этого дня, который прошел, никогда не воротишь»,— подумал он.

«Погубил я свою молодость»,— сказал он вдруг сам себе, не потому, чтобы он действительно думал, что он погубил свою молодость,— он даже вовсе и не думал об этом,— но так ему пришла в голову эта фраза.

«Что теперь я буду делать? — рассуждал он.— Занять у кого-нибудь и уехать». Какая-то барыня прошла по тротуару. «Вот так глупая барыня,— подумал он отчего-то.— Занять-то не у кого. Погубил я свою молодость». Он подошел к рядам. Купец в лисьей шубе стоял у дверей лавки и зазывал к себе. «Коли бы восьмерку я не снял, я бы отыгрался». Нищая старуха хныкала, следуя за

ним. «Занять-то не у кого». Какой-то господин в медвежьей шубе проехал, будочник стоит. «Что бы сделать такое необыкновенное? Выстрелить в них? Нет, скучно! Погубил я свою молодость. Ах, хомуты славные с набором висят. Вот бы на тройку сесть. Эх вы, голубчики! Пойду домой. Лухнов скоро придет, играть станем». Он вернулся домой, еще раз счел деньги. Нет, он не ошибся в первый раз: опять из казенных недоставало две с половиной тысячи рублей. «Поставлю первую двадцать пять, вторую — угол... на семь кушей... на пятнадцать, на тридцать, на шестьдесят... три тысячи. Куплю хомуты и уеду. Не даст, злодей! Погубил я свою молодость». Вот что происходило в голове улана в то время, как Лухнов действительно вошел к нему.

— Что, давно встали, Михайло Васильич? — спросил Лухнов, медлительно снимая с сухого носа золотые очки и старательно вытирая их красным шелковым платком.

— Нет, сейчас только. Отлично спал.

— Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского... не слыхали?

— Нет, не слыхал... А что же, еще никого нет?

— Зашли, кажется, к Пряхину. Сейчас придут.

Действительно, скоро вошли в нумер: гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший Лухнову; купец какой-то из греков с огромным горбатым носом коричневого цвета и впалыми черными глазами; толстый, пухлый помещик, винокуренный заводчик, игравший по целым ночам, всегда семпелями по полтиннику. Всем хотелось начать игру поскорее; но главные игроки ничего не говорили об этом предмете, особенно Лухнов чрезвычайно спокойно рассказывал о мошенничестве в Москве.

— Надо вообразить,— говорил он,— Москва — первопрестольный град, столица — и по ночам ходят с крюками мошенники, в чертей наряжены, глупую чернь пугают, грабят проезжих — и конец. Что полиция смотрит? Вот что мудрено.

Улан слушал внимательно рассказ о мошенниках, но в конце его встал и велел потихоньку подать карты. Толстый помещик первый высказался:

— Что ж, господа, золотое-то времечко терять! За дело, так за дело!

— Да, вы по полтинничкам натаскали вчера, так вам и нравится,— сказал грек.

— Точно, пора бы,— сказал гарнизонный офицер.

Ильин посмотрел на Лухнова. Лухнов продолжал спокойно, глядя ему в глаза, историю о мошенниках, наряженных в чертей с когтями.

— Будете метать? — спросил улан.

— Не рано ли?

— Белов! — крикнул улан, покраснев отчего-то,— принеси мне обедать... я еще не ел ничего, господа... шампанского принеси и карты подай.

В это время в нумер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин были одной дивизии. Они тотчас же сошлись, чокнувшись выпили шампанского и через пять минут уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя на него, и подтрунивал над его молодостью.

— Экой молодчина улан! — говорил он.— Усищи-то, усищи-то! У Ильина и пушок на губе был совершенно белый.

— Что, вы играть собираетесь, кажется? — сказал граф.— Ну, желаю тебе выиграть, Ильин! Ты, я думаю, мастер! — прибавил он, улыбаясь.

— Да вот, собираются,— отвечал Лухнов, раздирая дюжину карт,— а вы, граф, не изволите?

— Нет, нынче не буду. А то б я вас всех вздул. Я как пойду гнуть, так у меня всякий банк затрещит! Не на что. Проигрался под Волочком на станции. Попался мне там пехоташка какой-то, с перстнями, должно быть, шулер,— и облапошил дочиста.

— Разве ты долго сидел там на станции? — спросил Ильин.

— Двадцать два часа просидел. Памятна эта станция, проклятая! ну, да и смотритель не забудет.

— А что?

— Приезжаю, знаешь: выскочил смотритель, мошенницкая рожа, плутовская,— лошадей нет, говорит; а у меня, надо тебе сказать, закон: как лошадей нет, я не снимаю шубы и отправляюсь к смотрителю в комнату,— знаешь, не в казенную, а к смотрителю, и приказываю отворить настежь все двери и форточки: угарно будто бы. Ну, и тут то же. А морозы, помнишь, какие были в прошлом месяце — градусов двадцать было. Смотритель разговаривать было стал, я его в зубы. Тут старуха какая-то, девчонки, бабы писк подняли, похватали горшки и бежать было на деревню... Я к двери; говорю: давай лошадей, так уеду, а то не выпущу, всех заморожу!

— Вот так отличная манера! — сказал пухлый помещик, заливаясь хохотом,— это как тараканов вымораживают!

— Только не укараулил я как-то, вышел,— и удрал от меня смотритель со всеми бабами. Одна старуха осталась у меня под залог, на печке она все чихала и богу молилась. Потом уж мы переговоры вели: смотритель приходил и издалека все уговаривал, чтоб отпустить старуху, а я его Блюхером притравливал,— отлично берет смотрителей Блюхер. Так и не дал мерзавец лошадей до другого утра. Да тут подъехал этот пехоташка. Я ушел в другую комнату, и стали играть. Вы видели Блюхера?.. Блюхер!.. Фю!

Вбежал Блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься совершенно другим делом.

— Однако что же вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтоб я вам не мешал. Ведь я болтун,— сказал Турбин,— *любишь не любишь* — дело хорошее.

III

Лухнов придвинул к себе две свечи, достал огромный, наполненный деньгами коричневый бумажник, медлительно, как бы совершая какое-то таинство, открыл его на столе, вынул оттуда две сторублевые бумажки и положил их под карты.

— Так же, как вчера,— банку двести,— сказал он, поправляя очки и распечатывая колоду.

— Хорошо,— сказал, не глядя на него, Ильин между разговором, который он вел с Турбиным.

Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, изредка останавливаясь и неторопливо записывая или строго взглядывая сверх очков и слабым голосом говоря: «Пришлите». Толстый помещик говорил громче всех, делая сам с собой вслух различные соображения, и мусолил пухлые пальцы, загибая карты. Гарнизонный офицер молча, красиво подписывал под картой и под столом загибал маленькие уголки. Грек сидел сбоку банкомета и внимательно следил своими впалыми черными глазами за игрой, выжидая чего-то. Завальшевский, стоя у стола, вдруг весь приходил в движение, доставал из кармана штанов красненькую или синенькую, клал сверх нее карту, прихлопывал по ней ладонью, приговаривал: «Вывези, семерочка!», закусывал усы, переминался с ноги на ногу, краснел и приходил весь в движение, продолжавшееся до тех пор, пока не выходила карта. Ильин ел телятину с огурцами, поставленную подле него на волосяном диване, и, быстро обтирая руки о сюртук, ставил одну карту за другой. Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем дело. Лухнов не глядел вовсе на улана и ничего не говорил ему: только изредка его очки на мгновение направлялись на руки улана, но большая часть его карт проигрывала.

— Вот бы мне эту карточку убить,— приговаривал Лухнов про карту толстого помещика, игравшего по полтине.

— Вы бейте у Ильина, а мне-то что,— замечал помещик.

И действительно, Ильина карты бились чаще других. Он нервически раздирал под столом проигравшую карту и дрожащими руками выбирал другую. Турбин встал с дивана и попросил грека пустить его сесть подле банкомета. Грек пересел на другое место,

а граф, сев на его стул, не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова.

— Ильин! — сказал он вдруг своим обыкновенным голосом, который, совершенно невольно для него, заглушал все другие,— зачем рутерок держишься? Ты не умеешь играть!

— Уж как ни играй, все равно.

— Так ты наверно проиграешь. Дай я за тебя попонтирую.

— Нет, извини, пожалуйста: уж я всегда сам. Играй за себя, ежели хочешь.

— За себя, я сказал, что не буду играть; я за тебя хочу. Мне досадно, что ты проигрываешься.

— Уж, видно, судьба!

Граф замолчал и, облокотясь, опять так же пристально стал смотреть на руки банкомета.

— Скверно! — вдруг проговорил он громко и протяжно.

Лухнов оглянулся на него.

— Скверно, скверно! — проговорил он еще громче, глядя прямо в глаза Лухнову.

Игра продолжалась.

— Не-хо-ро-шо! — опять сказал Турбин, только что Лухнов убил большую карту Ильина.

— Что это вам не нравится, граф? — учтиво и равнодушно спросил банкомет.

— А то, что вы Ильину семпеля даете, а углы бьете. Вот что скверно.

Лухнов сделал плечами и бровями легкое движение, выражавшее совет во всем предаваться судьбе, и продолжал играть.

— Блюхер, фю! — крикнул граф, вставая,— узи его! — прибавил он быстро.

Блюхер, стукнувшись спиной об диван и чуть не сбив с ног гарнизонного офицера, выскочил оттуда, подбежал к своему хозяину и зарычал, оглядываясь на всех и махая хвостом, как будто спрашивая: «Кто тут грубит? а?»

Лухнов положил карты и со стулом отодвинулся в сторону.

— Этак нельзя играть,— сказал он,— я ужасно собак не люблю. Что ж за игра, когда целую псарню приведут!

— Особенно эти собаки: они пиявки называются, кажется,— поддакнул гарнизонный офицер.

— Что ж, будем играть, Михайло Васильич, или нет? — сказал Лухнов хозяину.

— Не мешай нам, пожалуйста, граф! — обратился Ильин к Турбину.

— Поди сюда на минутку,— сказал Турбин, взяв Ильина за руку, и вышел с ним за перегородку.

Оттуда были совершенно ясно слышны слова графа, говорившего своим обыкновенным голосом. А голос у него был такой, что его всегда слышно было за три комнаты.

— Что ты, ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках — шулер первой руки.

— Э, полно! что ты говоришь!

— Не полно, а брось, я тебе говорю. Мне бы все равно. В другой раз я бы сам тебя обыграл; да так, мне что-то жалко, что ты продуешься. Еще нет ли у тебя казенных денег?

— Нет; да и с чего ты выдумал?

— Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские приемы знаю; я тебе говорю, что в очках — это шулер. Брось, пожалуйста. Я тебя прошу, как товарища.

— Ну, вот я только одну талию, и кончу.

— Знаю как одну; ну, да посмотрим.

Вернулись. В одну талию Ильин поставил столько карт и столько их ему убили, что он проиграл много.

Турбин положил руки на середину стола.

— Ну, баста! Поедем.

— Нет, уж я не могу; оставь меня, пожалуйста,— сказал с досадой Ильин, тасуя гнутые карты и не глядя на Турбина.

— Ну, черт с тобой! проигрывай наверняка, коли тебе нравится, а мне пора! Завальшевский! поедем к предводителю.

И они вышли. Все молчали, и Лухнов не метал до тех пор, пока стук их шагов и когтей Блюхера не замер по коридору.

— Эка башка! — сказал помещик, смеясь.

— Ну, теперь не будет мешать,— прибавил торопливо и еще шепотом гарнизонный офицер.

И игра продолжалась.

IV

Музыканты, дворовые люди предводителя, стоя в буфете, очищенном на случай бала, уже заворотив рукава сюртуков, по данному знаку заиграли старинный польский «Александр, Елисавета» и при ярком и мягком освещении восковых свеч по большой паркетной зале начинали плавно проходить: екатерининский генерал-губернатор со звездой, под руку с худощавой предводительшей, предводитель под руку с губернаторшей и т. д.— губернские власти в различных сочетаниях и перемещениях, когда Завальшевский, в синем фраке с огромным воротником и буфами на плечах, в чулках и башмаках, распространяя вокруг себя запах жасминных духов, которыми были обильно спрыснуты его усы, лацкана и платок, вместе с красавцем гусаром в голубых обтянутых рейтузах и шитом

золотом красном ментике, на котором висели владимирский крест и медаль двенадцатого года, вошли в залу. Граф был невысок ростом, но отлично, красиво сложен. Ясно-голубые и чрезвычайно блестящие глаза и довольно большие, вьющиеся густыми кольцами, темно-русые волосы придавали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал был ожидаем: красивый молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил о том предводителя. Впечатление, произведенное этим известием, было различно, но вообще не совсем приятно. «Еще на смех подымет этот мальчишка»,— было мнение старух и мужчин. «Что, если он меня похитит?» — было более или менее мнение молодых женщин и барышень.

Как только польский кончился и пары взаимно раскланивались, снова отделяясь женщины к женщинам, мужчины к мужчинам, Завальшевский, счастливый и гордый, подвел графа к хозяйке. Предводительша, испытывая некоторый внутренний трепет, чтобы гусар этот не сделал с ней при всех какого-нибудь скандала, гордо и презрительно отворотясь, сказала: «Очень рада-с! надеюсь, будете танцевать? — и недоверчиво взглянула на него с выражением, говорившим: «Уж ежели ты женщину обидишь, то ты совершенный подлец после этого». Граф, однако, скоро победил это предубеждение своею любезностью, внимательностью и прекрасной веселой наружностью, так что чрез пять минут выражение лица предводительши уже говорило всем окружающим: «Я знаю, как вести этих господ: он сейчас понял, с кем говорит; вот и будет со мной весь вечер любезничать». Однако тут же подошел к графу губернатор, знавший его отца, и весьма благосклонно отвел его в сторону и поговорил с ним, что еще больше успокоило губернскую публику и возвысило в ее мнении графа. Потом Завальшевский подвел его знакомить к своей сестре — молодой полненькой вдовушке, с самого приезда графа впившейся в него своими большими черными глазами. Граф позвал вдовушку танцевать вальс, который заиграли в это время музыканты, и уже окончательно своим искусством танцевать победил общее предубеждение.

— А мастер танцевать! — сказала толстая помещица, следя за ногами в синих рейтузах, мелькавшими по зале, и мысленно считая: раз, два, три; раз, два, три...— мастер!

— Так и строчит, так и строчит,— сказала другая приезжая, считавшаяся дурного тона в губернском обществе,— как он шпорами не заденет! Удивительно, очень ловок!

Граф затмил своим искусством танцевать трех лучших танцоров в губернии: и высокого белобрысого адъютанта губернаторского, отличавшегося своею быстротой в танцах и тем, что он держал даму очень близко, и кавалериста, отличавшегося грациозным раскачиванием во время вальса и частым, но легким притоптыва-

нием каблучка; и еще другого, штатского, про которого все говорили, что он хотя и недалек по уму, но танцор превосходный и душа всех балов. Действительно, этот штатский с начала бала и до конца приглашал всех дам по порядку, как они сидели, не переставал танцевать ни на минуту и только изредка останавливался, чтоб обтереть сделавшимся совершенно мокрым батистовым платочком изнуренное, но веселое лицо. Граф затмил всех их и танцевал с тремя главными дамами: с большой — богатой, красивой и глупой, с средней — худощавой, не слишком красивой, но прекрасно одевающейся, и с маленькой — некрасивой, но очень умной дамой. Он танцевал и с другими, со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много. Но вдовушка, сестра Завальшевского, больше всех понравилась графу: с ней он танцевал и кадриль, и экосес, и мазурку. Он начал с того, когда они уселись в кадрили, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с Венерой, и с Дианой, и с розаном, и еще с каким-то цветком. На все эти любезности вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на свое белое кисейное платьице или из одной руки в другую перекладывая опахало. Когда же она говорила: «Полноте, граф, вы шутите» — и т. п., голос ее, немного горловой, звучал таким наивным простодушием и смешною глупостью, что, глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий бело-розовый пышный цветок без запаха, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле.

Такое странное впечатление производило на графа это соединение наивности и отсутствия всего условного с свежей красотой, что несколько раз в промежутки разговора, когда он молча смотрел ей в глаза или на прекрасные линии рук и шеи, ему приходило в голову с такой силой желание вдруг схватить ее на руки и расцеловать, что он серьезно должен был удерживаться. Вдовушка с удовольствием замечала впечатление, которое она производила; но что-то ее начинало тревожить и пугать в обращении графа, несмотря на то, что молодой гусар был вместе с заискивающею любезностью почтителен, по теперешним понятиям, до приторности. Он бегал ей за оршадом, подымал платок, вырвал стул из рук какого-то золотушного молодого помещика, который хотел тоже прислужить ей, чтобы подать его скорее, и т. д.

Заметив, что светская тогдашнего времени любезность мало действовала на его даму, он попробовал смешить ее, рассказывая ей забавные анекдоты: уверял, что он, если она прикажет, готов сейчас стать на голову, закричать петухом, выскочить в окно или броситься в прорубь. Это совершенно удалось: вдовушка развеселилась и как-то переливами смеялась, показывая чудные белые зуб-

ки, и была совершенно довольна своим кавалером. Графу же она с каждой минутой все более и более нравилась, так что под конец кадрили он был искренно влюблен в нее.

Когда после кадрили к вдовушке подошел ее давнишний восемнадцатилетний обожатель, неслужащий сын самого богатого помещика, золотушный молодой человек, тот самый, у которого вырвал стул Турбин, она приняла его чрезвычайно холодно, и в ней не было заметно и десятой доли того смущения, которое она испытывала с графом.

— Хороши вы,— сказала она ему, глядя в это время на спину Турбина и бессознательно соображая, сколько аршин золотого шнурка пошло на всю куртку,— хороши вы: обещали за мной заехать кататься и конфект мне привезти.

— Да я ведь приезжал, Анна Федоровна, а вас уже не было, и конфекты самые лучшие оставил,— сказал молодой человек, несмотря на высокий рост, очень тоненьким голоском.

— Вы найдете всегда отговорки! не нужно мне ваших конфект. Пожалуйста, не думайте...

— Я уж вижу, Анна Федоровна, как вы ко мне переменились, и знаю отчего. Только это нехорошо,— прибавил он, но, видимо, не докончив своей речи от какого-то внутреннего сильного волнения, заставившего весьма быстро и странно дрожать его губы.

Анна Федоровна не слушала его и продолжала следить глазами за Турбиным.

Предводитель, хозяин дома, величаво-толстый беззубый старик, подошел к графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить, ежели угодно. Как только Турбин вышел, Анна Федоровна почувствовала, что в зале совершенно нечего делать, и, взяв под руку старую, сухую барышню, свою приятельницу, вышла с ней в уборную.

— Ну, что? мил? — спросила барышня.

— Только ужасно как пристает,— отвечала Анна Федоровна, подходя к зеркалу и глядясь в него.

Лицо ее просияло, глаза засмеялись, она покраснела даже и вдруг, подражая балетным танцовщицам, которых видела на этих выборах, перевернулась на одной ножке, потом засмеялась своим горловым, но милым смехом и припрыгнула даже, поджав колени.

— Каков? он у меня сувенир просил,— сказала она приятельнице,— только ничего ему не бу-у-у-дет,— пропела она последнее слово и подняла один палец в лайковой, до локтя высокой перчатке...

В кабинете, куда привел предводитель Турбина, стояли разных сортов водки, наливки, закуски и шампанское. В табачном дыму сидели и ходили дворяне, разговаривая о выборах.

— Когда все благородное дворянство нашего уезда почтило его выбором,— говорил вновь выбранный исправник, уже значительно выпивший,— то он не должен был манкировать перед всем обществом, никогда не должен был...

Приход графа прервал разговор. Все стали с ним знакомиться, и особенно исправник обеими руками долго жал его руку и несколько раз просил, чтобы он не отказался ехать с ними в компании после бала в новый трактир, где он угащивает дворян и где цыгане петь будут. Граф обещал непременно быть и выпил с ним несколько бокалов шампанского.

— Что ж вы не танцуете, господа? — спросил он перед тем, как выходить из комнаты.

— Мы не танцоры,— отвечал исправник, смеясь,— мы больше насчет вина, граф... А впрочем, ведь это при мне повыросло, все эти барышни, граф! Я этак иногда тоже в экосесе пройдусь, граф... могу, граф...

— А пойдем теперь пройдемся,— сказал Турбин,— разгуляемся перед цыганами.

— Что ж, пойдемте, господа! потешим хозяина.

И человека три дворян, с самого начала бала пившие в кабинете, с красными лицами, надели кто черные, кто шелковые вязаные перчатки и вместе с графом уже собрались идти в залу, когда их задержал золотушный молодой человек, весь бледный и едва удерживая слезы, подошедший к Турбину.

— Вы думаете, что вы граф, так можете толкаться, как на базаре,— говорил он, с трудом переводя дыхание,— оттого, что это неучтиво...

Снова против его воли запрыгавшие губы остановили поток его речи.

— Что? — крикнул Турбин, вдруг нахмурившись.— Что? Мальчишка! — крикнул он, схватив его за руки и сжав так, что у молодого человека кровь в голову бросилась, не столько от досады, сколько от страха,— что́, вы стреляться хотите? Так я к вашим услугам.

Едва Турбин выпустил руки, которые он сжал так крепко, как уже двое дворян подхватили под руки молодого человека и потащили к задней двери.

— Что, вы с ума сошли? Вы напились, верно. Вот папеньке сказать. Что с вами? — говорили они ему.

— Нет, не напился, а он толкается и не извиняется. Он свинья! вот что! — пищал молодой человек, уже совершенно расплакавшись.

Однако его не послушали и увезли домой.

— Полноте, граф! — увещевали с своей стороны Турбина исправник и Завальшевский,— ведь ребенок, его секут еще, ему ведь шестнадцать лет. И что с ним сделалось, нельзя понять. Какая его муха укусила? И отец его почтенный такой человек, кандидат наш.

— Ну, черт с ним, коли не хочет...

И граф вернулся в залу и, так же как и прежде, весело танцевал экосес с хорошенькой вдовушкой и от всей души хохотал, глядя на па, которые выделывали господа, вышедшие с ним из кабинета, и залился звонким хохотом на всю залу, когда исправник поскользнулся и во весь рост шлепнулся посередине танцующих.

V

Анна Федоровна, в то время как граф ходил в кабинет, подошла к брату и, почему-то сообразив, что нужно притвориться весьма мало интересующеюся графом, стала расспрашивать: «Что это за гусар такой, что со мной танцевал? скажите, братец». Кавалерист объяснил сколько мог сестрице, какой был великий человек этот гусар, и при этом рассказал, что граф здесь остался потому только, что у него деньги дорогой украли и что он сам дал ему сто рублей взаймы, но этого мало, так не может ли сестрица ссудить ему еще рублей двести; но Завальшевский просил про это никому, и особенно графу, отнюдь ничего не говорить. Анна Федоровна обещала прислать нынче же и держать дело в секрете, но почему-то во время экосеса ей ужасно захотелось предложить самой графу сколько он хочет денег. Она долго сбиралась, краснела и наконец, сделав над собою усилие, таким образом приступила к делу.

— Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге несчастие было и денег теперь нет. А если нужны вам, не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была.

Но, выговорив это, Анна Федоровна вдруг чего-то испугалась и покраснела. Вся веселость мгновенно исчезла с лица графа.

— Ваш братец дурак! — сказал он резко.— Вы знаете, что когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются; а когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают, знаете ли вы?

У бедной Анны Федоровны покраснели шея и уши от смущения. Она потупилась и не отвечала.

— Женщину целуют при всех,— тихо сказал граф, нагнувшись, ей на ухо.— Мне позвольте хоть вашу ручку поцеловать,— потихоньку прибавил он после долгого молчания, сжалившись над смущением своей дамы.

— Ах, только не сейчас,— проговорила Анна Федоровна, тяжело вздыхая.

— Так когда же? Я завтра рано еду... А уж вы мне это должны.

— Ну, так, стало быть, нельзя,— сказала Анна Федоровна, улыбаясь.

— Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтоб поцеловать вашу руку. Я уж найду его.

— Да как же вы найдете?

— Это не ваше дело. Чтоб видеть вас, для меня все возможно... Так хорошо?

— Хорошо.

Экосес кончился; протанцевали еще мазурку, в которой граф делал чудеса, ловя платки, становясь на одно колено и прихлопывая шпорами как-то особенно, по-варшавски, так что все старики вышли из-за бостона смотреть в залу, и кавалерист, лучший танцор, сознал себя превзойденным. Поужинали, протанцевали еще гросфатер и стали разъезжаться. Граф во все время не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Прихоть ли, любовь ли, упорство ли, но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании — видеть и любить ее. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал в лакейскую, а оттуда, без шубы, на двор, к тому месту, где стояли экипажи.

— Анны Федоровны Зайцевой экипаж! — закричал он. Высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу.— Стой! — закричал он кучеру, по колено в снегу подбегая к карете.

— Чего надо? — отозвался кучер.

— В карету надо сесть,— отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть.— Стой же, черт! Дурень!

— Васька! Стой! — крикнул кучер на форейтора и остановил лошадей.— Что ж в чужую карету лезете? это барыни Анны Федоровны карета, а не вашей милости карета.

— Ну, молчи ж, болван! На тебе целковый да слезь закрой дверцы,— говорил граф. Но так как кучер не шевелился, то он сам подобрал ступеньки и, открыв окно, кое-как захлопнул дверцы. В карете, как и во всех старых каретах, в особенности обитых желтым басоном, пахло какой-то гнилью и горелой щетиной. Ноги графа были по колено в талом снегу и сильно зябли в тонких сапогах и рейтузах, да и все тело прохватывал зимний холод. Кучер ворчал на козлах и, кажется, сбирался слезть. Но граф ничего не слыхал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце его сильно стучало. Он напряженно схватился за желтый ремень, высунулся в

боковое окно, и вся жизнь его сосредоточилась в одном ожидании. Ожидание это продолжалось недолго. На крыльце закричали: «Зайцевой карету!», кучер зашевелил вожжами, кузов заколыхался на высоких рессорах, освещенные окна дома побежали одно за другим мимо окна кареты.

— Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь,— сказал граф, высовываясь в переднее окошко к кучеру,— я тебя вздую, а не скажешь — еще десять рублей.

Едва он успел опустить окно, как кузов уж снова сильнее закачался, и карета остановилась. Он прижался к углу, перестал дышать, даже зажмурился: так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились, одна за другой с шумом попадали ступеньки, зашумело женское платье, в затхлую карету ворвался запах жасминных духов, быстрые ножки взбежали по ступенькам, и Анна Федоровна, задев полой распахнувшегося салопа по ноге графа, молча, но тяжело дыша, опустилась на сиденье подле него.

Видела ли она его, или нет, этого никто бы не мог решить, даже сама Анна Федоровна; но когда он взял ее за руку и сказал: «Ну, уж теперь поцелую-таки вашу ручку»,— она очень мало изъявила испуга, ничего не отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыл поцелуями гораздо выше перчатки. Карета тронулась.

— Скажи ж что-нибудь. Ты не сердишься? — говорил он ей.

Она молча прижалась в свой угол, но вдруг отчего-то заплакала и сама упала головой к его груди.

VI

Вновь выбранный исправник с своей компанией, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф в медвежьей, крытой синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании.

— Батюшка ваше сиятельство! ждали не дождались! — говорил косой черный цыган, показывая свои блестящие зубы, встретив его еще в сенях и бросаясь снимать шубу.— С Лебедяни не видали... Стеша зачахла совсем по вас...

Стеша, стройная молоденькая цыганочка с кирпично-красным румянцем на коричневом лице, с блестящими, глубокими черными глазами, осененными длинными ресницами, выбежала тоже навстречу.

— А! графчик! голубчик! золотой! вот радость-то! — заговорила она сквозь зубы с веселой улыбкой.

Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. Старухи, бабы, девки повскакали с мест и окружили гостя. Кто считался кумовством, кто крестовым братством.

Молодых цыганок Турбин всех расцеловал в губы; старухи и мужчины целовали его в плечико и в ручку. Дворяне тоже были очень обрадованы приездом гостя, тем более что гульба, дойдя до своего апогея, теперь уже остывала. Каждый начинал испытывать пресыщение; вино, потеряв возбудительное действие на нервы, только тяготило желудок. Каждый уже выпустил весь свой заряд ухарства и приглядeлся один к другому; все песни были пропеты и перемешались в голове каждого, оставляя какое-то шумное, распущенное впечатление. Что бы кто ни сделал странного и лихого, всем начинало приходить в голову, что ничего тут нет любезного и смешного. Исправник, лежа в безобразном виде на полу у ног какой-то старухи, заболтал ногами и закричал:

— Шампанского!.. граф приехал!.. шампанского!.. приехал!.. ну, шампанского!.. ванну сделаю из шампанского и буду купаться... Господа дворяне! люблю благородное дворянское общество... Стешка! пой «Дорожку».

Кавалерист был тоже навеселе, но в другом виде. Он сидел на диване в уголке, очень близко рядом с высокой красивой цыганкой Любашей и, чувствуя, как хмель туманил его глаза, хлопал ими, помахивал головою и, повторяя одни и те же слова, шепотом уговаривал цыганку бежать с ним куда-то. Любаша, улыбаясь, слушала его так, будто то, что он ей говорил, было очень весело и вместе с тем несколько печально, бросала изредка взгляды на своего мужа, косого Сашку, стоявшего за стулом против нее, и в ответ на признание в любви кавалериста нагибалась ему на ухо и просила купить ей потихоньку, чтоб другие не видали, душков и ленту.

— Ура! — закричал кавалерист, когда вошел граф.

Красивый молодой человек, с озабоченным видом, старательно, твердыми шагами ходил взад и вперед по комнате и напевал мотивы из «Восстания в серале».

Старый отец семейства, увлеченный к цыганкам неотвязными просьбами господ дворян, которые говорили, что без него все расстроится и лучше не ехать, лежал на диване, куда он повалился тотчас, как приехал, и никто на него не обращал внимания. Какой-то чиновник, бывший тут же, сняв фрак, с ногами сидел на столе, ерошил свои волосы и тем сам доказывал, что он очень кутит. Как только вошел граф, он расстегнул ворот рубашки и подсел еще выше на стол. Вообще с приездом графа кутеж оживился.

Цыганки, разбредшиеся было по комнате, опять сели кружком. Граф посадил Стешку, запевалу, себе на колени и велел еще подать шампанского.

Илюшка с гитарой стал перед запевалой, и началась *пляска,* то есть цыганские песни: «Хожу ль я по улице», «Эй вы, гусары...», «Слышишь, разумеешь...» и т. д., в известном порядке. Стешка славно пела. Ее гибкий, звучный, из самой груди выливавшийся контральто, ее улыбки во время пенья, смеющиеся страстные глазки и ножка, шевелившаяся невольно в такт песни, ее отчаянное вскрикиванье при начале хора — все это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Видно было, что она вся жила только в той песне, которую пела. Илюшка, улыбкой, спиной, ногами, всем существом изображая сочувствие песне, аккомпанировал ей на гитаре и, впившись в нее глазами, как будто в первый раз слушая песню, внимательно, озабоченно, в такт песни наклонял и поднимал голову. Потом он вдруг выпрямлялся при последней певучей ноте и, как будто чувствуя себя выше всех в мире, гордо, решительно вскидывал ногой гитару, перевертывал ее, притопывал, встряхивал волосами и, нахмурившись, оглядывался на хор. Все его тело от шеи и до пяток начинало плясать каждой жилкой... И двадцать энергических, сильных голосов, каждый из всех сил стараясь страннее и необыкновеннее вторить один другому, переливались в воздухе. Старухи подпрыгивали на стульях, помахивая платочками и оскаливая зубы, вскрикивали, в лад и в такт, одна громче другой. Басы, склонив головы набок и напружив шеи, гудели, стоя за стульями.

Когда Стеша выводила тонкие ноты, Илюшка подносил к ней ближе гитару, как будто желая помочь ей, а красивый молодой человек в восторге вскрикивал, что теперь бемоли пошли.

Когда заиграли плясовую и, дрожа плечами и грудью, прошлась Дуняша и, развернувшись перед графом, поплыла дальше, Турбин вскочил с места, скинул мундир и, оставшись в одной красной рубахе, лихо прошелся с нею в самый раз и такт, выделывая ногами такие штуки, что цыгане, одобрительно улыбаясь, переглядывались друг с другом.

Исправник сел по-турецки, хлопнул себя кулаком по груди и закричал: «Виват!», а потом, ухватив графа за ногу, стал рассказывать, что у него было две тысячи рублей, а теперь всего пятьсот осталось, и что он может сделать все что захочет, ежели только граф позволит. Старый отец семейства проснулся и хотел уехать, но его не пустили. Красивый молодой человек упрашивал цыганку протанцевать с ним вальс. Кавалерист, желая похвастаться своей дружбой с графом, встал из своего угла и обнял Турбина.

— Ах ты, мой голубчик! — сказал он,— зачем ты только от нас уехал? А? — Граф молчал, видимо, думая о другом.— Куда ездил? Ах ты, плут, граф, уж я знаю, куда ездил.

Турбину отчего-то не понравилось это панибратство. Он, не улыбаясь, молча посмотрел в лицо кавалериста и вдруг пустил в упор на него такое страшное, грубое ругательство, что кавалерист огорчился и долго не знал, как ему принять такую обиду: в шутку или не в шутку. Наконец он решил, что в шутку, улыбнулся и пошел опять к своей цыганке, уверял ее, что он на ней непременно женится после святой. Запели другую песню, третью, еще раз поплясали, провеличали, и всем продолжало казаться весело. Шампанское не кончалось. Граф пил много. Глаза его как бы покрылись влагою, но он не шатался, плясал еще лучше, говорил твердо и даже сам славно подпевал в хоре и вторил Стеше, когда она пела «Дружбы нежное волненье». В середине пляски купец, содержатель трактира, пришел просить гостей ехать по домам, потому что уже был третий час утра.

Граф схватил купца за шиворот и велел ему плясать вприсядку. Купец отказывался. Граф схватил бутылку шампанского и, перевернув купца ногами кверху, велел его держать так и, к общему хохоту, медлительно вылил на него всю бутылку.

Уже рассветало. Все были бледны и изнурены, исключая графа.

— Однако мне пора в Москву,— сказал он вдруг, вставая.— Пойдем все ко мне, ребята. Проводите меня... и чаю напьемся.

Все согласились, исключая заснувшего помещика, который тут и остался, набились битком в трое саней, стоявших у подъезда, и поехали в гостиницу.

VII

— Закладывать! — крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыганами.— Сашка! не цыган Сашка, а мой, скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут. Да чаю давай нам! Завальшевский! распоряжайся чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он,— прибавил Турбин, и выйдя в коридор, направился в нумер улана.

Ильин только что кончил игру и, проиграв все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване из разорванной волосяной материи, один за одним выдергивая волосы, кладя их в рот, перекусывая и выплевывая. Две сальные свечи, из которых одна уже догорела до бумажки, стоя на ломберном, заваленном картами столе, слабо боролись с светом утра, проникавшим в окна. Мыслей в голове улана никаких не было: какой-то густой туман игорной страсти застилал все его душевные способности; даже раскаяния не было. Он попробовал раз подумать о том, что ему теперь делать, как выехать без копейки денег, как заплатить пятнадцать тысяч

проигранных казенных денег, что скажет полковой командир, что скажет его мать, что скажут товарищи,— и на него нашел такой страх и такое отвращение к самому себе, что он, желая забыться чем-нибудь, встал, стал ходить по комнате, стараясь ступать только на щели половиц, и снова начал припоминать себе все мельчайшие обстоятельства происходившей игры; он живо воображал, что уже отыгрывается и снимает девятку, кладет короля пик на две тысячи рублей, направо ложится дама, налево туз, направо король бубен,— и все пропало; а ежели бы направо шестерка, а налево король бубен, тогда совсем бы отыгрался, поставил бы еще всё на пе и выиграл бы тысяч пятнадцать чистых, купил бы себе тогда иноходца у полкового командира, еще пару лошадей, фаэтон купил бы. Ну, что же еще потом? да ну и славная, славная бы штука была!

Он опять лег на диван и стал грызть волосы.

«Зачем это поют песни в седьмом нумере? — подумал он.— Это, верно, у Турбина веселятся. Пойти нешто туда да выпить хорошенько».

В это время вошел граф.

— Ну что, продулся, брат, а? — крикнул он.

«Притворюсь, что сплю,— подумал Ильин,— а то надо с ним говорить, а мне уж спать хочется».

Однако Турбин подошел к нему и погладил его по голове.

— Ну что, дружок любезный, продулся? проигрался? говори.

Ильин не отвечал.

Граф дернул его за руку.

— Проиграл. Ну что тебе? — пробормотал Ильин сонным, равнодушно недовольным голосом, не переменяя положения.

— Всё?

— Ну да. Что ж за беда. Всё. Тебе что?

— Послушай, говори правду, как товарищу,— сказал граф, под влиянием выпитого вина расположенный к нежности, продолжая гладить его по волосам.— Право, я тебя полюбил. Говори правду: ежели проиграл казенные, я тебя выручу; а то поздно будет... Казенные деньги были?

Ильин вскочил с дивана.

— Уж ежели ты хочешь, чтоб я говорил, так не говори со мной, оттого что... и, пожалуйста, не говори со мной... пулю в лоб — вот что мне осталось одно! — проговорил он с истинным отчаянием, упав головой на руки и заливаясь слезами, несмотря на то, что за минуту перед этим преспокойно думал об иноходцах.

— Эх ты, красная девушка! Ну, с кем этого не бывало! Не беда: еще авось поправим. Подожди-ка меня тут.

Граф вышел из комнаты.

— Где стоит Лухнов, помещик? — спросил он у коридорного.

Коридорный вызвался проводить графа. Граф, несмотря на замечание лакея, что барин сейчас только пожаловали и раздеваться изволят, вошел в комнату. Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип ассигнаций, лежавших перед ним. На столе стояла бутылка рейнвейна, который он очень любил. С выигрыша он позволил себе это удовольствие. Лухнов холодно, строго, через очки, как бы не узнавая, поглядел на графа.

— Вы, кажется, меня не узнаете? — сказал граф, решительными шагами подходя к столу.

Лухнов узнал графа и спросил:

— Что вам угодно?

— Мне хочется поиграть с вами,— сказал Турбин, садясь на диван.

— Теперь?

— Да.

— В другой раз с моим удовольствием, граф! а теперь я устал и соснуть сбираюсь. Не угодно ли винца? доброе винцо.

— А я теперь хочу поиграть немножко.

— Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет, а я не буду, граф! Вы уж, пожалуйста, меня извините.

— Так не будете?

Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа.

— Ни за что не будете?

Опять тот же жест.

— А я вас очень прошу... Что ж, будете играть?..

Молчание.

— Будете играть? — второй раз спросил граф.— Смотрите!

То же молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа.

— Будете играть? — громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка рейнвейна упала и разлилась.— Ведь вы нечисто выиграли? Будете играть? третий раз спрашиваю.

— Я сказал, что нет. Это, право, странно, граф! и вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку,— заметил Лухнов, не поднимая глаз.

Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги,— и закричал таким пронзительно-отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда спокойной и всегда представительной фигуры. Турбин собрал лежащие на столе

остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал было на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты.

— Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам, в своем нумере еще пробуду полчаса,— прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова.

— Мошенник! грабитель!..— послышалось оттуда.— Под уголовный подведу!

Ильин все так же, не обратив никакого внимания на обещания графа выручить его, лежал у себя в нумере на диване, и слезы отчаяния давили его. Сознание действительности, которое сквозь странную путаницу чувств, мыслей и воспоминаний, наполнявших его душу, вызвала ласка участия графа, не покидало его. Богатая надеждами молодость, честь, общественное уважение, мечты любви и дружбы — все было навеки потеряно. Источник слез начинал высыхать, слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, и мысль о самоубийстве, уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще останавливала его внимание. В это время послышались твердые шаги графа.

На лице Турбина еще были видны следы гнева, руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство.

— На! отыграл! — сказал он, бросая на стол несколько кип ассигнаций.— Сочти, все ли? Да приходи скорей в общую залу, я сейчас еду,— прибавил он, как будто не замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице улана, и, насвистывая какую-то цыганскую песню, вышел из комнаты.

VIII

Сашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но требовал, чтоб сходить прежде взять графскую шинель, которая будто бы триста рублей с воротником стоит, и отдать поганую синюю шубу тому мерзавцу, который ее переменил на шинель у предводителя; но Турбин сказал, что искать шинели не нужно, и пошел в свой нумер переодеваться.

Кавалерист беспрестанно икал, сидя молча подле своей цыганки. Исправник, потребовав водки, приглашал всех господ ехать сейчас к нему завтракать, обещая, что его жена сама непременно пойдет плясать с цыганками. Красивый молодой человек глубокомысленно растолковывал Илюшке, что на фортепьянах души больше, а на гитаре бемолей нельзя брать. Чиновник грустно пил чай в уголку и, казалось, при дневном свете стыдился своего разврата. Цыгане спорили между собой по-цыгански и настаивали на том, чтоб повеличать еще господ, чему Стеша противилась, говоря, что

барорай (по-цыгански: граф или князь, или, точнее, большой барин) прогневается. Вообще уже догорала во всех последняя искра разгула.

— Ну, на прощанье еще песню и марш по домам,— сказал граф, свежий, веселый, красивый более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье.

Цыгане снова расположились кружком и только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа.

— У меня всего было пятнадцать тысяч казенных, а ты мне дал шестнадцать тысяч триста,— сказал он,— эти твои, стало быть.

— Хорошее дело! давай!

Ильин отдал деньги, робко глядя на графа, открыл было рот, желая сказать что-то, но только покраснел так, что даже слезы выступили на глаза, потом схватил руку графа и начал жать ее.

— Убирайся! Илюшка!.. слушай меня... на вот тебе деньги; только провожать меня с песнями до заставы.— И он бросил ему на гитару тысячу триста рублей, которые принес Ильин. Но кавалеристу граф так и забыл отдать сто рублей, которые занял у него вчера.

Уже было десять часов утра. Солнышко поднялось выше крыш, народ сновал по улицам, купцы давно отворили лавки, дворяне и чиновники ездили по улицам, барыни ходили по гостиному двору, когда ватага цыган, исправник, кавалерист, красивый молодой человек, Ильин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы. Был солнечный день и оттепель. Три ямские тройки с коротко подвязанными хвостами, шлепая ногами по жидкой грязи, подъехали к крыльцу, и вся веселая компания начала рассаживаться. Граф, Ильин, Стешка, Илюшка и Сашка-денщик сели в первые сани. Блюхер выходил из себя и, махая хвостом, лаял на коренную. В другие сани уселись другие господа, тоже с цыганками и цыганами. От самой гостиницы сани выравнялись, и цыгане затянули хоровую песню.

Тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы.

Немало дивились купцы и прохожие, незнакомые и особенно знакомые, видя благородных дворян, едущих среди белого дня по улицам с песнями, цыганками и пьяными цыганами.

Когда выехали за заставу, тройки остановились, и все стали прощаться с графом.

Ильин, выпивший довольно много на прощанье и все время правивший сам лошадьми, вдруг сделался печален, стал уговари-

вать графа остаться еще на денек, но когда убедился, что это было невозможно, совершенно неожиданно, со слезами, бросился целовать своего нового друга и обещал, что, как приедет, будет просить о переводе в гусары в тот самый полк, в котором служил Турбин. Граф был особенно весел, кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему «ты», толкнул в сугроб, исправника травил Блюхером, Стешку подхватил на руки и хотел увезти с собой в Москву и наконец вскочил в сани, усадил рядом с собой Блюхера, который все хотел стоять на середине, Сашка, попросив еще раз кавалериста отобрать-таки у *них* графскую шинель и прислать ее, тоже вскочил на козлы. Граф крикнул: «Пошел!», сняв фуражку, замахал ею над головой и по-ямски засвистал на лошадей. Тройки разъехались.

Далеко впереди виднелась однообразная снежная равнина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блестело на талом, прозрачной корой обледеневшем снегу и приятно пригревало лицо и спину. От потных лошадей валил пар. Колокольчик побрякивал. Какой-то мужичок с возом на раскатывающихся санишках, подергивая веревочными вожжами, торопливо сторонился, бегом шлепая промокнувшими лаптишками по оттаявшей дороге; толстая, красная крестьянская баба с ребенком за овчинной пазухой сидела на другом возу, погоняя концами вожжей белую шелохвостую клячонку. Графу вдруг вспомнилась Анна Федоровна.

— Назад! — крикнул он.

Ямщик не понял вдруг.

— Поворачивай назад! пошел в город! живо!

Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома госпожи Зайцевой. Граф быстро взбежал на лестницу, прошел переднюю, гостиную и, застав вдовушку еще спящею, взял ее на руки, приподнял с постели, поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна спросонков только облизывалась и спрашивала: «Что случилось?» Граф вскочил в сани, крикнул на ямщика и, уже не останавливаясь и даже не вспоминая ни о Лухнове, ни о вдовушке, ни о Стешке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города К.

IX

Прошло лет двадцать. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарелось, еще больше родилось и умерло мыслей; много прекрасного и много

дурного старого погибло, много прекрасного молодого выросло и еще больше недоросшего, уродливого молодого появилось на свет божий.

Граф Федор Турбин уже давно был убит на дуэли с каким-то иностранцем, которого он высек арапником на улице; сын, две капли воды похожий на него, был уже двадцатитрехлетний прелестный юноша и служил в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе не был похож на отца. Даже и тени в нем не было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных наклонностей прошлого века. Вместе с умом, образованием и наследственной даровитостью натуры любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд на людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительность были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славно: двадцати трех лет уже был поручиком... При открытии военных действий он решил, что выгоднее для производства перейти в действующую армию, и перешел в гусарский полк ротмистром, где и получил скоро эскадрон.

В мае месяце 1848 года С. гусарский полк проходил походом К. губернию, и тот самый эскадрон, которым командовал молодой граф Турбин, должен был ночевать в Морозовке, деревне Анны Федоровны. Анна Федоровна была жива, но уже так немолода, что сама не считала себя больше молодою, что много значит для женщины. Она очень растолстела, что, говорят, молодит женщину; но и на этой белой толщине были заметны крупные, мягкие морщины. Она уже не ездила никогда в город, с трудом даже влезала в экипаж, но так же была добродушна и все так же глупенька,— можно теперь сказать правду, когда она уже не подкупает своей красотой. С ней вместе жили ее дочь Лиза, двадцатитрехлетняя русская деревенская красавица, и братец, нам знакомый кавалерист, промотавший по добродушию все свое именьице и стариком приютившийся у Анны Федоровны. Волоса на голове его были седые совершенно; верхняя губа упала, но над нею усы тщательно были вычернены. Морщины покрывали не только его лоб и щеки, но даже нос и шею, спина согнулась; а все-таки в слабых кривых ногах видны были приемы старого кавалериста.

В небольшой гостиной старого домика, с открытыми балконной дверью и окнами на старинный звездообразный липовый сад, сидело все семейство и домашние Анны Федоровны. Анна Федоровна, с седой головой, в лиловой кацавейке, на диване перед круглым столом красного дерева раскладывала карты. Старый братец, расположившись у окна, в чистеньких белых панталончиках и синем сюртучке, вязал на рогульке снурочек из белой бумаги — занятие, которому его научила племянница и которое он очень полюбил, так как делать он уж ничего не мог и для чтения газеты,

любимого его занятия, глаза уже были слабы. Пимочка, воспитанница Анны Федоровны, подле него твердила урок под руководством Лизы, вязавшей вместе с тем на деревянных спицах чулки из козьего пуха для дяди. Последние лучи заходящего солнца, как и всегда в эту пору, бросали сквозь липовую аллею раздробленные косые лучи на крайнее окно и этажерку, стоявшую около него. В саду и в комнате было так тихо, что слышалось, как за окном быстро прошумит крыльями ласточка, или в комнате тихо вздохнет Анна Федоровна, или покряхтит старичок, перекладывая ногу на ногу.

— Как это кладется? Лизанька, покажи-ка. Я все забываю,— сказала Анна Федоровна, остановясь в раскладывании пасьянса.

Лиза, не переставая работать, подошла к матери и взглянула на карты.

— Ах, вы перепутали, голубушка мамаша! — сказала она, перекладывая карты,— вот так надо было. Все-таки сбудется, что вы загадали,— прибавила она, незаметно снимая одну карту.

— Ну, уж ты всегда меня обманываешь: говоришь, что вышло.

— Нет, право, значит удастся. Вышло.

— Ну, хорошо, хорошо, баловница! Да не пора ли чаю?

— Я уж велела разогревать самовар. Сейчас пойду. Вам сюда принести?.. Ну, кончай, Пимочка, скорей урок и пойдем бегать.

И Лиза вышла из двери.

— Лизочка! Лизанька! — заговорил дядя, пристально вглядываясь в свою рогульку,— опять, кажется, спустил петлю. Подними, голубчик!

— Сейчас, сейчас! только сахар отдам наколоть.

И действительно, она через три минуты вбежала в комнату, подошла к дяде и взяла его за ухо.

— Вот вам, чтобы не спускали петлей,— сказала она, смеясь,— урок и не довязали.

— Ну, полно, полно; поправь же, какой-то узелочек было видно.

Лиза взяла рогульку, вынула булавку у себя из косыночки, которую при этом распахнуло немного ветром из окна, и как-то булавочкой добыла петлю, протянула раза два и передала рогульку дяде.

— Ну, поцелуйте же меня за это,— сказала она, подставив ему румяную щечку и закалывая косынку,— вам с ромом нынче чаю? Нынче ведь пятница.

И она опять ушла в чайную.

— Дяденька, идите смотреть: гусары идут к нам! — послышался оттуда звучный голосок.

Анна Федоровна вместе с братцем вошли в чайную комнату, из которой окна были на деревню, посмотреть гусаров. Из окна очень мало было видно, заметно было только сквозь пыль, что какая-то толпа двигается.

— А жаль, сестрица,— заметил дядя Анне Федоровне,— жаль, что так тесно и флигель не отстроен еще: попросить бы к нам офицеров. Гусарские офицеры — ведь это все такая молодежь славная, веселая; посмотрел бы хоть на них.

— Что ж, я бы душой рада; да ведь вы сами знаете, братец, что негде: моя спальня, Лизина горница, гостиная да вот эта ваша комната — вот и всё. Где же их тут поместить, сами посудите. Им старостину избу очистил Михайло Матвеев; говорит — чисто тоже.

— А мы бы тебе, Лизочка, из них жениха приискали, славного гусара! — сказал дядя.

— Нет, я не хочу гусара; я хочу улана: ведь вы в уланах служили, дядя?.. А я этих знать не хочу. Они все отчаянные, говорят.

И Лиза покраснела немного, но снова засмеялась своим звучным смехом.

— Вот и Устюшка бежит; надо спросить ее, что видела,— сказала она.

Анна Федоровна велела позвать Устюшку.

— Нет того, чтоб посидеть за работой; какая надобность бегать на солдат смотреть,— сказала Анна Федоровна.— Ну, что, где поместились офицеры?

— У Еремкиных, сударыня. Два их, красавцы такие! Один граф сказывают.

— А фамилия как?

— Казаров ли, Турбинов ли; не запомнила, виновата-с.

— Вот дура, ничего и рассказать не умеет. Хоть бы узнала, как фамилия.

— Что ж, я сбегаю.

— Да уж я знаю, что ты на это мастерица,— нет, пускай Данило сходит; скажите ему, братец, чтобы он сходил да спросил, не нужно ли чего-нибудь офицерам-то; все учтивость надо сделать, что барыня, мол, спросить велела.

Старики снова уселись в чайную, а Лиза пошла в девичью положить в ящик наколотый сахар. Устюша рассказывала там про гусаров.

— Барышня, голубушка, вот красавчик этот граф-то,— говорила она,— просто херувимчик чернобровый. Вот бы вам такого женишка, так уж точно бы парочка была.

Другие горничные одобрительно улыбнулись; старая няня, сидевшая у окна с чулком, вздохнула и прочитала даже, втягивая в себя дух, какую-то молитву.

— Так вот как тебе понравились гусары,— сказала Лиза,— да ведь ты мастерица рассказывать. Принеси, пожалуйста, морсу, Устюша,— кисленьким гусаров поить.

И Лиза, смеясь, с сахарницей вышла из комнаты.

«А хотелось бы посмотреть, что это за гусар такой,— думала она,— брюнет или блондин? И он ведь рад бы был, я думаю, познакомиться с нами. А пройдет, так и не узнает, что я тут была и об нем думала. И сколько уж этаких прошло мимо меня. Никто меня не видит, кроме дяденьки да Устюши. Как бы я ни зачесалась, какие бы рукава ни надела, никто и не полюбуется,— подумала она, вздохнув, глядя на свою белую, полную руку.— Он должен быть высок ростом, большие глаза, верно, маленькие черные усики. Нет, вот уж двадцать два года минуло, а никто в меня не влюбился, кроме Ивана Ипатыча рябого; а четыре года тому назад я еще лучше была; и так, никому не на радость, прошла моя девичья молодость. Ах, я несчастная, несчастная деревенская барышня».

Голос матери, звавший ее разливать чай, вызвал деревенскую барышню из этой минутной задумчивости. Она встряхнула головкой и вошла в чайную.

Лучшие вещи всегда выходят нечаянно; а чем больше стараешься, тем выходит хуже. В деревнях редко стараются давать воспитание и потому нечаянно большею частию дают прекрасное. Так и случилось, в особенности с Лизой. Анна Федоровна по ограниченности ума и беззаботности нрава, не давала никакого воспитания Лизе: не учила ее ни музыке, ни столь полезному французскому языку, а нечаянно родила от покойного мужа здоровенькое, хорошенькое дитя — дочку, отдала ее кормилице и няньке, кормила ее, одевала в ситцевые платьица и козловые башмачки, посылала гулять и сбирать грибы и ягоды, учила ее грамоте и арифметике посредством нанятого семинариста — и нечаянно чрез шестнадцать лет увидела в Лизе подругу и всегда веселую, добродушную и деятельную хозяйку в доме. У Анны Федоровны, по добродушию ее, всегда бывали воспитанницы или из крепостных, или из подкидышей. Лиза с десяти лет уже стала заниматься ими: учить, одевать, водить в церковь и останавливать, когда они уже слишком шалили. Потом явился дряхлый, добродушный дядя, за которым надо было ходить, как за ребенком. Потом дворовые и мужики, обращавшиеся к молодой барышне с просьбами и с недугами, которые она лечила бузиной, мятой и камфарным спиртом. Потом домашнее хозяйство, перешедшее нечаянно все в ее руки. Потом неудовлетворенная потребность любви, находившая выражение в одной природе и религии. И из Лизы нечаянно вышла деятельная, добродушно-веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиоз-

ная женщина. Правда, были маленькие тщеславные страдания при виде соседок в модных шляпках, привезенных из К., стоящих рядом с ней в церкви; были досады до слез на старую, ворчливую мать за ее капризы; были и любовные мечты в самых нелепых и иногда грубых формах,— но полезная и сделавшаяся необходимостью деятельность разгоняла их, и в двадцать два года ни одного пятна, ни одного угрызения не запало в светлую, спокойную душу полной физической и моральной красоты развившейся девушки. Лиза была среднего роста, скорее полная, чем худая; глаза у ней были карие, небольшие, с легким темным оттенком на нижнем веке; длинная и русая коса. Походка у ней была широкая, с развальцем — уточкой, как говорится. Выражение лица ее, когда она была занята делом и ничто особенно не волновало ее, так и говорило всем, кто вглядывался в него: хорошо и весело жить тому на свете, у кого есть кого любить и совесть чиста. Даже в минуты досады, смущения, тревоги или печали сквозь слезу, нахмуренную левую бровку, сжатые губки так и светилось, как назло ее желанию, на ямках щек, на краях губ и в блестящих глазках, привыкших улыбаться и радоваться жизнью,— так и светилось не испорченное умом, доброе, прямое сердце.

X

Было еще жарко в воздухе, хотя солнце уже спускалось, когда эскадрон вступал в Морозовку. Впереди, по пыльной улице деревни, рысцой, оглядываясь и с мычаньем изредка останавливаясь, бежала отбившаяся от стада пестрая корова, никак не догадываясь, что надо было просто своротить в сторону. Крестьянские старики, бабы, дети и дворовые жадно смотрели на гусар, толпясь по обеим сторонам улицы. В густом облаке пыли, на вороных, замундштученных, изредка пофыркивающих конях, топая, двигались гусары. С правой стороны эскадрона, распущенно сидя на красивых вороных лошадях, ехали два офицера. Один был командир, граф Турбин, другой — очень молодой человек, недавно произведенный из юнкеров, Полозов.

Из лучшей избы вышел гусар в белом кителе и, сняв фуражку, подошел к офицерам.

— Где квартира для нас отведена? — спросил его граф.

— Для вашего сиятельства? — отвечал квартирьер, вздрогнув всем телом,— здесь, у старосты, избу очистил. Требовал на барском дворе, так говорят: нетути. Помещица такая злющая.

— Ну, хорошо,— сказал граф, слезая и расправляя ноги у старостиной избы,— а что, коляска моя приехала?

— Изволила прибыть, ваше сиятельство! — отвечал квартирьер, указывая фуражкой на кожаный кузов коляски, видневшийся в воротах, и бросаясь вперед в сени избы, набитой крестьянским семейством, собравшимся посмотреть на офицеров. Одну старушку он даже столкнул с ног, бойко отворяя дверь в очищенную избу и сторонясь перед графом.

Изба была довольно большая и просторная, но не совсем чистая. Немец-камердинер, одетый как барин, стоял в избе и, уставив железную кровать и постлав ее, разбирал белье из чемодана.

— Фу, мерзость какая квартира! — сказал граф с досадой.— Дяденко! разве нельзя было лучше отвести, у помещика где-нибудь?

— Коли ваше сиятельство прикажете, я пойду выгоню кого на барский двор,— отвечал Дяденко,— да домишко-то некорыстный, не лучше избы показывает.

— Теперь уж не надо. Ступай.

И граф лег на постель, закинув за голову руки.

— Иоган! — крикнул он на камердинера,— опять бугор посередине сделал! Как ты не умеешь постелить хорошенько.

Иоган хотел поправить.

— Нет, уж не надо теперь... А халат где? — продолжал он недовольным голосом.

Слуга подал халат.

Граф, прежде чем надевать его, посмотрел полу.

— Так и есть: не вывел пятна. То есть можно ли хуже тебя служить! — прибавил он, вырывая у него из рук халат и надевая его,— ты, скажи, это нарочно делаешь?.. Чай готов?..

— Я не мог успевать,— отвечал Иоган.

— Дурак!

После этого граф взял приготовленный французский роман и довольно долго молча читал его; а Иоган вышел в сени раздувать самовар. Видно было, что граф был в дурном расположении духа,— должно быть, под влиянием усталости, пыльного лица, узкого платья и голодного желудка.

— Иоган! — крикнул он снова,— подай счет десяти рублей. Что ты купил в городе?

Граф посмотрел поданный счет и сделал недовольные замечания насчет дороговизны покупок.

— К чаю рому подай.

— Рому не покупал,— сказал Иоган.

— Отлично! сколько раз я тебе говорил, чтоб был ром!

— Денег недоставало.

— Отчего же Полозов не купил? Ты бы у его человека взял.

— Корнет Полозов? не знаю. Они купили чаю и сахару.

— Скотина!.. Ступай!.. Только ты один умеешь меня выводить из терпения... знаешь, что я всегда пью чай в походе с ромом.

— Вот два письма из штаба к вам,— сказал камердинер.

Граф лежа распечатал письма и начал читать. Вошел с веселым лицом корнет, отводивший эскадрон.

— Ну что, Турбин? Тут, кажется, хорошо. А устал-таки я, признаюсь. Жарко было.

— Очень хорошо! Поганая вонючая изба и рому нет по твоей милости: твой болван не купил, и этот тоже. Ты бы хоть сказал.

И он продолжал читать. Дочитав до конца письмо, он смял его и бросил на пол.

— Отчего же ты не купил рому? — спрашивал в это время в сенях корнет шепотом у своего денщика,— ведь у тебя деньги были?

— Да что ж мы одни все покупать будем! И так все я расход держу; а ихний немец только трубку курит, да и все.

Второе письмо было, видно, не неприятно, потому что граф, улыбаясь, читал его.

— От кого это? — спросил Полозов, возвратясь в комнату и устраивая себе ночлег на досках подле печки.

— От Мины,— весело отвечал граф, подавая ему письмо.— Хочешь прочесть? Что это за прелесть женщина!.. Ну, право, лучше наших барышень... Посмотри, сколько тут чувства и ума, в этом письме!.. Одно нехорошо — денег просит.

— Да, это нехорошо,— заметил корнет.

— Я ей, правда, обещал; да тут поход, да и... впрочем, ежели прокомандую еще месяца три эскадроном, я ей пошлю. Не жалко, право! что за прелесть!.. а? — говорил он, улыбаясь, следя глазами за выражением лица Полозова, который читал письмо.

— Безграмотно ужасно, но мило, и кажется, что она точно тебя любит,— отвечал корнет.

— Гм! еще бы! Только эти женщины и любят истинно, когда уж любят.

— А то письмо от кого? — спросил корнет, передавая то, которое он читал.

— Так... это там есть господин один, дрянной очень, которому я должен по картам, и он уже третий раз напоминает... не могу я отдать теперь... глупое письмо! — отвечал граф, видимо огорченный этим воспоминанием.

Довольно долго после этого разговора оба офицера молчали. Корнет, видимо находившийся под влиянием графа, молча пил чай, изредка поглядывая на красивую отуманившуюся наружность

Турбина, пристально глядевшего в окно, и не решался начать разговора.

— А что, ведь может отлично выйти,— вдруг, обернувшись к Полозову и весело тряхнув головой, сказал граф,— ежели у нас по линии будет в нынешнем году производство, да еще в дело попадем, я могу своих ротмистров гвардии перегнать.

Разговор и за вторым стаканом чаю продолжался на эту тему, когда вошел старый Данило и передал приказание Анны Федоровны.

— Да еще приказали спросить, не сынок ли изволите быть графа Федора Иваныча Турбина? — добавил от себя Данило, узнавший фамилию офицера и помнивший еще приезд покойного графа в город К.— Наша барыня, Анна Федоровна, очень с ними знакомы были.

— Это мой отец был; да доложи барыне, что очень благодарен, ничего не нужно, только, мол, приказали просить, ежели бы можно, комнатку почище где-нибудь, в доме или где-нибудь.

— Ну, зачем ты это? — сказал Полозов, когда Данило вышел,— разве не все равно? одна ночь здесь разве не все равно; а они будут стесняться.

— Вот еще! Кажется, довольно мы пошлялись по курным избам!.. Сейчас видно, что ты непрактический человек... Отчего же не воспользоваться, когда можно хоть на одну ночь поместиться как людям? А они, напротив, ужасно довольны будут. Одно только противно: ежели эта барыня точно знала отца,— продолжал граф, открывая улыбкой свои белые, блестящие зубы,— как-то всегда совестно за *папашу* покойного: всегда какая-нибудь история скандальная или долг какой-нибудь. От этого я терпеть не могу встречать этих отцовских знакомых. Впрочем, тогда век такой был,— добавил он уже серьезно.

— А я тебе не рассказывал,— сказал Полозов,— я как-то встретил уланской бригады командира Ильина. Он тебя очень хотел видеть и без памяти любит твоего отца.

— Он, кажется, ужасная дрянь, этот Ильин. А главное, что все эти господа, которые уверяют, что знали моего отца, чтоб подделаться ко мне, и, как будто очень милые вещи, рассказывают про отца такие штуки, что слушать совестно. Оно правда, я не увлекаюсь и беспристрастно смотрю на вещи,— он был слишком пылкий человек, иногда и не совсем хорошие штуки делал. Впрочем, все дело времени. В наш век он, может быть, вышел бы и очень дельный человек, потому что способности-то у него были огромные, надо отдать справедливость.

Через четверть часа вернулся слуга и передал просьбу помещицы пожаловать ночевать в доме.

XI

Узнав, что гусарский офицер был сын графа Федора Турбина, Анна Федоровна захлопоталась.

— А, батюшки мои! голубчик он мой!.. Данило! скорей беги, скажи: барыня к себе просит,— заговорила она, вскакивая и скорыми шагами направляясь в девичью.— Лизанька! Устюшка! приготовить надо твою комнату, Лиза. Ты перейди к дяде; а вы, братец... братец! вы в гостиной уж ночуйте. Одну ночь ничего.

— Ничего, сестрица! я на полу лягу.

— Красавчик, я чай, коли на отца похож. Хоть погляжу на него, на голубчика... Вот ты посмотри, Лиза! А отец красавец был... Куда несешь стол? оставь тут,— суетилась Анна Федоровна,— да две кровати принеси — одну у приказчика возьми; да на этажерке подсвечник хрустальный возьми, что мне братец в именины подарил, и калетовскую свечу поставь.

Наконец все было готово. Лиза, несмотря на вмешательство матери, устроила по-своему свою комнатку для двух офицеров. Она достала чистое, надушенное резедой постельное белье и приготовила постели; велела поставить графин воды и свечи подле на столике; накурила бумажкой в девичьей и сама перебралась с своею постелькой в комнату дяди. Анна Федоровна успокоилась немного, уселась опять на свое место, взяла было даже в руки карты, но, не раскладывая их, оперлась на пухлый локоть и задумалась. «Времечко-то, времечко как летит! — шепотом про себя твердила она.— Давно ли, кажется? как теперь гляжу на него. Ах, шалун был! — И у нее слезы выступили на глаза.— Теперь Лизанька... но все она не то, что я была в ее года-то... хороша девочка, но нет, не то...»

— Лизанька, ты бы платьице муслин-де-леневое надела к вечеру.

— Да разве вы их будете звать, мамаша? Лучше не надо,— отвечала Лиза, испытывая непреодолимое волнение при мысли видеть офицеров,— лучше не надо, мамаша!

Действительно, она не столько желала их видеть, сколько боялась какого-то волнующего счастья, которое, как ей казалось, ожидало ее.

— Может быть, сами захотят познакомиться, Лизочка! — сказала Анна Федоровна, гладя ее по волосам и вместе с тем думая: «Нет, не те волоса, какие у меня были в ее годы... Нет, Лизочка, как бы я желала тебе...» И она точно чего-то очень желала для своей дочери; но женитьбы с графом она не могла предпола-

гать, тех отношений, которые были с отцом его, она не могла желать,— но чего-то такого она очень-очень желала для своей дочери. Ей хотелось, может быть, пожить еще раз в душе дочери той же жизнью, которою она жила с покойником.

Старичок кавалерист тоже был несколько взволнован приездом графа. Он вышел в свою комнату и заперся в ней. Через четверть часа он явился оттуда в венгерке и голубых панталонах и с смущенно-довольным выражением лица, с которым девушка в первый раз надевает бальное платье, пошел в назначенную для гостей комнату.

— Посмотрю на нынешних гусаров, сестрица! Покойник граф точно истинный гусар был. Посмотрю, посмотрю.

Офицеры пришли уже с заднего крыльца в назначенную для них комнату.

— Ну, вот видишь ли,— сказал граф, как был, в пыльных сапогах, ложась на приготовленную постель,— разве тут не лучше, чем в избе с тараканами!

— Лучше-то лучше, да как-то обязываться хозяевам...

— Вот вздор! Надо во всем быть практическим человеком. Они ужасно довольны, наверно... Человек! — крикнул он,— спроси чего-нибудь завесить это окошко, а то ночью дуть будет.

В это время вошел старичок знакомиться с офицерами. Он, хотя и краснея несколько, разумеется не преминул рассказать о том, что был товарищем покойного графа, что пользовался его расположением, и даже сказал, что он не раз был облагодетельствован покойником. Разумел ли он под благодеяниями покойного то, что тот так и не отдал ему занятых ста рублей, или то, что бросил его в сугроб, или что ругал его,— старичок не объяснил нисколько. Граф был весьма учтив с старичком кавалеристом и благодарил за помещение.

— Уж извините, что не роскошно, граф (он чуть было не сказал: ваше сиятельство,— так уж отвык от обращения с важными людьми), домик сестрицы маленький. А вот это сейчас завесим чем-нибудь, и будет хорошо,— прибавил старичок и, под предлогом занавески, но главное, чтоб рассказать поскорее про офицеров, шаркая, вышел из комнаты.

Хорошенькая Устюша с барыниной шалью пришла завесить окно. Кроме того, барыня приказала ей спросить, не угодно ли господам чаю.

Хорошее помещение, по-видимому, благоприятно подействовало на расположение духа графа: он, весело улыбаясь, пошутил с Устюшей, так что Устюша назвала его даже шалуном, расспросил ее, хороша ли их барышня, и на вопрос ее, не угодно ли чаю, отвечал, что чаю, пожалуй, пусть принесут, а главное, что свой ужин

еще не готов, так нельзя ли теперь водки, закусить чего-нибудь и хересу, ежели есть.

Дядюшка был в восторге от учтивости молодого графа и превозносил до небес молодое поколение офицеров, говоря, что нынешние люди не в пример авантажнее прежних.

Анна Федоровна не соглашалась — лучше графа Федора Иваныча никто не был,— и наконец уже серьезно рассердилась, сухо замечала только, что «для вас, братец, кто последний вас обласкал, тот и лучше. Известно, теперь, конечно, люди умнее стали, а что все-таки граф Федор Иваныч так танцевал экосес и так любезен был, что тогда все, можно сказать, без ума от него были; только он ни с кем, кроме меня, не занимался. Стало быть, и в старину были хорошие люди».

В это время пришло известие о требовании водки, закуски и хереса.

— Ну вот, как же вы, братец! Вы всегда не то сделаете. Надо было заказать ужинать,— заговорила Анна Федоровна.— Лиза! распорядись, дружок!

Лиза побежала в кладовую за грибками и свежим сливочным маслом, повару заказали битки.

— Только хересу у вас осталось, братец?

— Нету, сестрица! у меня и не было.

— Как же нету! а вы что-то пьете такое с чаем?

— Это ром, Анна Федоровна.

— Разве не все равно? Вы дайте этого, все равно — ром. Да уж не попросить ли их лучше сюда, братец? Вы всё знаете. Они, кажется, не обидятся?

Кавалерист объявил, что он ручается за то, что граф по доброте своей не откажется и что он приведет их непременно. Анна Федоровна пошла надеть для чего-то платье гро-гро и новый чепец; а Лиза так была занята, что и не успела снять розового холстинкового платья с широкими рукавами, которое было на ней. Притом она была ужасно взволнована: ей казалось, что ждет ее что-то поразительное, точно низкая черная туча нависла над ее душой. Этот граф-гусар, красавец, казался ей каким-то совершенно новым для нее, непонятным, но прекрасным существом. Его нрав, его привычки, его речи — все должно было быть такое необыкновенное, какого она никогда не встречала. Все, что он думает и говорит, должно быть умно и правда; все, что он делает, должно быть честно; вся его наружность должна быть прекрасна. Она не сомневалась в этом. Ежели бы он не только потребовал закуски и хересу, но ванну из шалфея с духами, она бы не удивилась, не обвинила бы его и была бы твердо уверена, что это так нужно и должно.

Граф тотчас же согласился, когда кавалерист выразил ему желание сестрицы, причесал волосы, надел шинель и взял сигарочницу.

— Пойдем же,— сказал он Полозову.

— Право, лучше не ходить,— отвечал корнет,— ils feront des frais pour nous recevoir [1].

— Вздор! это их осчастливит. Да я уж и навел справки: там дочка хорошенькая есть... Пойдем,— сказал граф по-французски.

— Je vous en prie, messieurs! [2] — сказал кавалерист только для того, чтобы дать почувствовать, что и он знает по-французски и понял то, что сказали офицеры.

XII

Лиза покраснела и, потупясь, будто бы занялась доливанием чайника, боясь взглянуть на офицеров, когда они вошли в комнату. Анна Федоровна, напротив, торопливо вскочила, поклонилась и, не отрывая глаз от лица графа, начала говорить ему, то находя необыкновенное сходство с отцом, то рекомендуя свою дочь, то предлагая чаю, варенья или пастилы деревенской. На корнета, по его скромному виду, никто не обращал внимания, чему он был очень рад, потому что, сколько возможно было прилично, всматривался и до подробностей разбирал красоту Лизы, которая, как видно, неожиданно поразила его. Дядя, слушая разговор сестры с графом, с готовой речью на устах выжидал случая порассказать свои кавалерийские воспоминания. Граф за чаем, закурив свою крепкую сигару, от которой с трудом сдерживала кашель Лиза, был очень разговорчив, любезен, сначала, в промежутки непрерывных речей Анны Федоровны, вставляя свои рассказы, а под конец один овладев разговором. Одно немного странно поражало его слушателей: в рассказах своих он часто говорил слова, которые, не считаясь предосудительными в его обществе, здесь были несколько смелы, причем Анна Федоровна пугалась немного, а Лиза до ушей краснела; но граф не замечал этого и был все так же спокойно прост и любезен. Лиза молча наливала стаканы, не подавая в руки гостям, ставила их поближе к ним и, еще не оправясь от волнения, жадно вслушивалась в речи графа. Его незамысловатые рассказы, запинки в разговоре понемногу успокоивали ее. Она не слышала от него предполагаемых ею очень умных вещей, не видела той изящности во всем, которую

[1] они израсходуются для того, чтобы принять нас *(франц.)*.

[2] Прошу вас, господа! *(франц.)*

она смутно ожидала найти в нем. Даже при третьем стакане чаю, после того как робкие глаза ее встретились раз с его глазами и он не опустил их, а как-то слишком спокойно продолжал, чуть-чуть улыбаясь, глядеть на нее, она почувствовала себя даже несколько враждебно расположенной к нему и скоро нашла, что не только ничего не было в нем особенного, но он нисколько не отличался от всех тех, кого она видела, что не стоило бояться его,— только ногти чистые, длинные, а даже и красоты особенной нет в нем. Лиза вдруг, не без некоторой внутренней тоски расставшись с своей мечтой, успокоилась, и только взгляд молчаливого корнета, который она чувствовала устремленным на себя, беспокоил ее. «Может быть, это не он, а он!» — думала она.

XIII

После чаю старушка пригласила гостей в другую комнату и снова уселась на свое место.

— Да вы отдохнуть не хотите ли, граф? — спрашивала она.— Так чем бы вас занять, дорогих гостей? — продолжала она после отрицательного ответа.— Вы играете в карты, граф? Вот бы вы, братец, заняли, партию бы составили во что-нибудь...

— Да ведь вы сами играете в преферанс,— отвечал кавалерист,— так уж вместе давайте. Будете, граф? и вы будете?

Офицеры изъявили согласие делать все то, что угодно будет любезным хозяевам.

Лиза принесла из своей комнаты свои старые карты, в которые она гадала о том, скоро ли пройдет флюс у Анны Федоровны, вернется ли нынче дядя из города, когда он уезжал, приедет ли сегодня соседка и т. д. Карты эти, хотя служили уже месяца два, были почище тех, в которые гадала Анна Федоровна.

— Только вы не станете по маленькой играть, может быть? — спросил дядя.— Мы играем с Анной Федоровной по полкопейки... И то она нас всех обыгрывает.

— Ах, по чем прикажете, я очень рад,— отвечал граф.

— Ну, так по копейке ассигнациями! уж для дорогих гостей идет: пускай они меня обыграют, старуху,— сказала Анна Федоровна, широко усаживаясь в своем кресле и расправляя свою мантилию.

«А может, и выиграю у них целковый»,— подумала Анна Федоровна, получившая под старость маленькую страсть к картам.

— Хотите, я вас выучу с табелькой играть,— сказал граф,— и с мизерами! Это очень весело.

Всем очень понравилась новая петербургская манера. Дядя уверял даже, что он ее знал, и это то же, что в бостон было, но забыл только немного. Анна же Федоровна ничего не поняла и так долго не понимала, что нашлась вынужденной, улыбаясь и одобрительно кивая головой, утверждать, что теперь она поймет и все для нее ясно. Немало было смеху в середине игры, когда Анна Федоровна с тузом и королем бланк говорила мизер и оставалась с шестью. Она даже начинала теряться, робко улыбаться и торопливо уверять, что не совсем еще привыкла по-новому. Однако на нее записывали, и много, тем более что граф, по привычке играть большую коммерческую игру, играл сдержанно, подводил очень хорошо и никак не понимал толчков под столом ногой корнета и грубых его ошибок в вистованье.

Лиза принесла еще пастилы, трех сортов варенья и сохранившиеся особенного моченья опортовые яблоки и остановилась за спиной матери, вглядываясь в игру и изредка поглядывая на офицеров и в особенности на белые с тонкими розовыми отделанными ногтями руки графа, которые так опытно, уверенно и красиво бросали карты и брали взятки.

Опять Анна Федоровна, с некоторым азартом перебивая у других, докупившись до семи, обремизилась без трех и, по требованию братца уродливо изобразив какую-то цифру, совершенно растерялась и заторопилась.

— Ничего, мамаша, еще отыграетесь!..— улыбаясь, сказала Лиза, желая вывести мать из смешного положения.— Вы дяденьку обремизите раз: тогда он попадется.

— Хоть бы ты мне помогла, Лизочка! — сказала Анна Федоровна, испуганно глядя на дочь.— Я не знаю, как это...

— Да и я не знаю по этому играть,— отвечала Лиза, мысленно считая ремизы матери.— А вы этак много проиграете, мамаша! и Пимочке на платье не останется,— прибавила она шутя.

— Да, этак легко можно рублей десять серебром проиграть,— сказал корнет, глядя на Лизу и желая вступить с ней в разговор.

— Разве мы не ассигнациями играем? — оглядываясь на всех, спросила Анна Федоровна.

— Я не знаю как, только я не умею считать ассигнациями,— сказал граф.— Как это? то есть что это ассигнации?

— Да теперь уж никто ассигнациями не считает,— подхватил дядюшка, который играл кремешком и был в выигрыше.

Старушка велела подать шипучки, выпила сама два бокала, раскраснелась и, казалось, на все махнула рукой. Даже одна прядь седых волос выбилась у ней из-под чепца, и она не поправляла ее. Ей, верно, казалось, что она проиграла миллионы и что она совсем пропала. Корнет все чаще и чаще толкал ногой графа. Граф спи-

сывал ремизы старушки. Наконец партия кончилась. Как ни старалась Анна Федоровна, кривя душою, прибавлять свои записи и притворяться, что она ошибается в счете и не может счесть, как ни приходила в ужас от величины своего проигрыша, в конце расчета оказалось, что она проиграла девятьсот двадцать призов. «Это ассигнациями выходит девять рублей?» — несколько раз спрашивала Анна Федоровна, и до тех пор не поняла всей громадности своего проигрыша, пока братец, к ужасу ее, не объяснил, что она проиграла тридцать два рубля с полтиной ассигнациями и что их нужно заплатить непременно. Граф даже не считал своего выигрыша, а тотчас по окончании игры встал и подошел к окну, у которого Лиза устанавливала закуску и выкладывала на тарелку грибки из банки к ужину, и совершенно спокойно и просто сделал то, чего весь вечер так желал и не мог сделать корнет,— вступил с ней в разговор о погоде.

Корнет же в это время находился в весьма неприятном положении. Анна Федоровна с уходом графа и особенно Лизы, поддерживавшей ее в веселом расположении духа, откровенно рассердилась.

— Однако как досадно, что мы вас так обыграли,— сказал Полозов, чтоб сказать что-нибудь.— Это просто бессовестно.

— Да еще бы, выдумали какие-то табели да мизеры! Я в них не умею; как же ассигнациями-то, сколько же выходит всего? — спрашивала она.

— Тридцать два рубля, тридцать два с полтинкой,— твердил кавалерист, находясь под влиянием выигрыша в игривом расположении духа,— давайте-ка денежки, сестрица... давайте-ка.

— И дам вам все; только уж больше не поймаете, нет! Это я и в жизнь не отыграюсь.

И Анна Федоровна ушла к себе, быстро раскачиваясь, вернулась назад и принесла девять рублей ассигнациями. Только по настоятельному требованию старичка она заплатила все.

На Полозова нашел некоторый страх, чтобы Анна Федоровна не выбранила его, ежели он заговорит с ней. Он молча потихоньку отошел от нее и присоединился к графу и Лизе, которые разговаривали у открытого окна.

В комнате на накрытом для ужина столе стояли две сальные свечи. Свет их изредка колыхался от свежего, теплого дуновения майской ночи. В окне, открытом в сад, было тоже светло, но совершенно иначе, чем в комнате. Почти полный месяц, уже теряя золотистый оттенок, всплывал над верхушками высоких лип и больше и больше освещал белые тонкие тучки, изредка застилавшие его. На пруде, которого поверхность, в одном месте посеребренная месяцем, виднелась сквозь аллеи, заливались лягушки.

В сиреневом душистом кусте под самым окном, изредка медленно качавшем влажными цветами, чуть-чуть перепрыгивали и встряхивались какие-то птички.

— Какая чудная погода! — сказал граф, подходя к Лизе и садясь на низкое окно,— вы, я думаю, много гуляете?

— Да,— отвечала Лиза, не чувствуя почему-то уже ни малейшего смущения в беседе с графом,— я по утрам, часов в семь, по хозяйству хожу, так и гуляю немножко с Пимочкой — маменькиной воспитанницей.

— Приятно в деревне жить! — сказал граф, вставив в глаз стеклышко, глядя то на сад, то на Лизу,— а по ночам, при лунном свете, вы не ходите гулять?

— Нет. А вот в третьем годе мы с дяденькой каждую ночь гуляли, когда луна была. На него странная какая-то болезнь — бессонница находила. Как полная луна, так он заснуть не мог. Комнатка же его, вот эта, прямо на сад, и окошко низенькое: луна прямо к нему ударяла.

— Странно,— заметил граф,— да ведь это ваша комнатка, кажется?

— Нет, я только нынче тут ночую. Мою комнатку вы занимаете.

— Неужели?.. Ах, боже мой!.. Век себе не прощу этого беспокойства,— сказал граф, в знак искренности чувства выбрасывая стеклышко из глаза,— ежели бы я знал, что я вас потревожу...

— Что за беспокойство! Напротив, я очень рада: дяденькина комнатка такая чудесная, веселенькая, окошечко низенькое; я буду там себе сидеть, пока не засну, или в сад перелезу, погуляю еще на ночь.

«Экая славная девочка! — подумал граф, снова вставив стеклышко, глядя на нее и, как будто усаживаясь на окне, стараясь погой тронуть ее ножку.— И как она хитро дала мне почувствовать, что я могу увидеть ее в саду у окна, коли захочу». Лиза даже потеряла в его глазах бóльшую часть прелести: так легка ему показалась победа над нею.

— А какое, должно быть, наслаждение,— сказал он, задумчиво вглядываясь в темные аллеи,— провести такую ночь в саду с существом, которое любишь.

Лиза смутилась несколько этими словами и повторенным, как будто нечаянным, прикосновением ноги. Она, прежде чем подумала, сказала что-то для того только, чтобы смущение ее не было заметно. Она сказала: «Да, славно в лунные ночи гулять». Ей становилось что-то неприятно. Она увязала банку, из которой выкладывала грибки, и собиралась уйти от окна, когда к ним подошел корнет, и ей захотелось узнать, что это за человек такой.

— Какая прелестная ночь! — сказал он.

«Однако только про погоду и разговаривают»,— подумала Лиза.

— Какой вид чудесный! — продолжал корнет,— только вам, я думаю, уж надоело,— прибавил он, по странной, свойственной ему склонности говорить вещи, немного неприятные людям, которые ему очень нравились.

— Отчего ж вы так думаете? кушанье одно и то же, платье — надоест, а сад хороший не надоест, когда любишь гулять, особенно когда месяц еще повыше поднимется. Из дяденькиной комнаты весь пруд виден. Вот я нынче буду смотреть.

— А соловьев у вас нет, кажется? — спросил граф, весьма недовольный тем, что пришел Полозов и помешал ему узнать положительные условия свиданья.

— Нет, у нас всегда были; только в прошлом году охотники одного поймали, и нынче на прошлой неделе славно запел было, да становой приехал с колокольчиком и спугнул. Мы, бывало, в третьем году, сядем с дяденькой в крытой аллее и часа два слушаем.

— Что эта болтушка вам рассказывает? — сказал дядя, подходя к разговаривающим,— закусить не угодно ли?

После ужина, во время которого граф похваливанием кушаний и аппетитом успел как-то рассеять несколько дурное расположение духа хозяйки, офицеры распрощались и пошли в свою комнату. Граф пожал руку дяде, к удивлению Анны Федоровны, и ее руку, не целуя, пожал только, пожал даже и руку Лизы, причем взглянул ей прямо в глаза и слегка улыбнулся своею приятной улыбкой. Этот взгляд снова смутил девушку.

«А очень хорош,— подумала она,— только уж слишком занимается собой».

XIV

— Ну, как тебе не стыдно? — сказал Полозов, когда офицеры вернулись в свою комнату,— я старался нарочно проиграть, толкал тебя под столом. Ну, как тебе не совестно? Ведь старушка совсем огорчилась.

Граф ужасно расхохотался.

— Уморительная госпожа! как она обиделась!

И он опять принялся хохотать так весело, что даже Иоган, стоявший перед ним, потупился и слегка улыбнулся в сторону.

— Вот те и сын друга семейства!.. ха, ха, ха! — продолжал смеяться граф.

— Нет, право, это нехорошо. Мне ее жалко даже стало,— сказал корнет.

— Вот вздор! Как ты еще молод! Что ж, ты хотел, чтоб я проиграл? Зачем же я бы проиграл? И я проигрывал, когда не умел. Десять рублей, братец, пригодятся. Надо смотреть практически на жизнь, а то всегда в дураках будешь.

Полозов замолчал; притом ему хотелось одному думать о Лизе, которая казалась ему необыкновенно чистым, прекрасным созданием. Он разделся и лег в мягкую и чистую постель, приготовленную для него.

«Что за вздор эти почести и слава военная! — думал он, глядя на завешенное шалью окно, сквозь которое прокрадывались бледные лучи месяца.— Вот счастье — жить в тихом уголке, с милой, умной, простой женою! Вот это прочное, истинное счастье!»

Но почему-то он не сообщал этих мечтаний своему другу и даже не упоминал о деревенской девушке, несмотря на то, что был уверен, что и граф о ней думал.

— Что ж ты не раздеваешься? — спросил он графа, который ходил по комнате.

— Не хочется еще спать что-то. Туши свечу, коли хочешь; я так лягу.

И он продолжал ходить взад и вперед.

— Не хочется еще спать что-то,— повторил Полозов, чувствуя себя после нынешнего вечера больше чем когда-нибудь недовольным влиянием графа и расположенным взбунтоваться против него. «Я воображаю,— рассуждал он, мысленно обращаясь к Турбину,— какие в твоей причесанной голове теперь мысли ходят! я видел, как тебе она понравилась. Но ты не в состоянии понять это простое, честное существо; тебе Мину надобно, полковничьи эполеты. Право, спрошу его, как она ему понравилась».

И Полозов было обернулся к нему, но раздумал: он чувствовал, что не только не в состоянии будет спорить с ним, если взгляд графа на Лизу тот, который он предполагал, но что даже не в силах будет не согласиться с ним,— так уж он привык подчиняться влиянию, которое становилось для него с каждым днем тяжелее и несправедливее.

— Куда ты? — спросил он, когда граф надел фуражку и подошел к двери.

— Пойду на конюшню, посмотрю: все ли в порядке.

«Странно!» — подумал корнет, но потушил свечу и, стараясь разогнать нелепо-ревнивые и враждебные к прежнему своему другу мысли, лезшие ему в голову, перевернулся на другой бок.

Анна Федоровна этим временем, перекрестив и расцеловав, по обыкновению, нежно брата, дочь и воспитанницу, тоже удалилась

в свою комнату. Давно уж в один день не испытывала старушка столько сильных впечатлений, так что и молиться она не могла спокойно: все грустно-живое воспоминание о покойном графе и о молодом франтике, который так безбожно обыграл ее, не выходило у нее из головы. Однако же, по обыкновению, раздевшись, выпив полстакана квасу, приготовленного у постели на столике, она легла в постель. Любимая ее кошка тихо вползла в комнату. Анна Федоровна подозвала ее и стала гладить, вслушиваясь в ее мурлыканье, и все не засыпала.

«Это кошка мешает»,— подумала она и прогнала ее. Кошка мягко упала на пол, медленно поворачивая пушистым хвостом, вскочила на лежанку; но тут девка, спавшая на полу в комнате, принесла стлать свой войлок, тушить свечку и зажигать лампадку. Наконец и девка захрапела; но сон все еще не приходил к Анне Федоровне и не успокаивал ее расстроенного воображения. Лицо гусара так и представлялось ей, когда она закрывала глаза, и, казалось, являлось в различных странных видах в комнате, когда она с открытыми глазами при слабом свете лампадки смотрела на комод, на столик, на висевшее белое платье. То ей казалось жарко в перине, то несносно били часы на столике и невыносимо носом храпела девка. Она разбудила ее и велела перестать храпеть. Опять мысли о дочери, о старом и молодом графе, преферансе странно перемешивались в ее голове. То она видела себя в вальсе с старым графом, видела свои полные белые плечи, чувствовала на них чьи-то поцелуи и потом видела свою дочь в объятиях молодого графа. Опять храпеть начала Устюшка...

«Нет, что-то не то теперь, люди не те. Тот в огонь за меня готов был. Да и было за что. А этот небось спит себе дурак дураком, рад, что выиграл; нет того, чтоб поволочиться. Как тот, бывало, говорит на коленях: «Что ты хочешь, чтоб я сделал: убил бы себя сейчас, и что хочешь?» — и убил бы, коли бы я сказала».

Вдруг чьи-то босые шаги раздались по коридору, и Лиза в одном накинутом платке, вся бледная и дрожащая, вбежала в комнату и почти упала к матери на постель...

Простясь с матерью, Лиза одна пошла в бывшую дядину комнату. Надев белую кофточку и спрятав в платок свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уже весь блестевший серебряным сияньем.

Все ее привычные занятия и интересы вдруг явились перед ней совершенно в новом свете: старая капризная мать, несудящая любовь к которой сделалась частью ее души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые, мужики, обожающие барышню, дойные коровы и телки; вся эта, все та же столько раз умиравшая и обновляв-

шаяся природа, среди которой с любовью к другим и от других она выросла, все, что давало ей такой легкий, приятный душевный отдых,— все это вдруг показалось не то, все это показалось *скучно, ненужно.* Как будто кто-нибудь сказал ей: «Дурочка, дурочка! двадцать лет делала вздор, служила кому-то, зачем-то и не знала, что такое жизнь и счастье!» Она это думала теперь, вглядываясь в глубину светлого, неподвижного сада, сильнее, гораздо сильнее, чем прежде ей случалось это думать. И что навело ее на эти мысли? нисколько не внезапная любовь к графу, как бы это можно было предположить. Напротив, он ей не нравился. Корнет мог бы скорее занимать ее; но он дурен, бедный, и молчалив как-то. Она невольно забывала его и с злобой и с досадой вызывала в воображении образ графа. «Нет, не то»,— говорила она сама себе. Идеал ее был так прелестен! Это был идеал, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог бы быть любимым,— идеал, ни разу не обрезанный для того, чтобы слить его с какою-нибудь грубою действительностью.

Сначала уединение и отсутствие людей, которые бы могли обратить ее внимание, сделали то, что вся сила любви, которую в душу каждого из нас одинаково вложило провидение, была еще цела и невозмутима в ее сердце; теперь же уже слишком долго она жила грустным счастием чувствовать в себе присутствие этого чего-то и, изредка открывая таинственный сердечный сосуд, наслаждаться созерцанием его богатств, чтобы необдуманно излить на кого-нибудь все то, что там было. Дай бог, чтобы она до гроба наслаждалась этим скупым счастием. Кто знает, не лучше ли и не сильнее ли оно? и не одно ли оно истинно и возможно?

«Господи боже мой! — думала она,— неужели я даром потеряла счастие и молодость, и уж не будет... никогда не будет? неужели это правда?» — и она вглядывалась в высокое, светлое около месяца небо, покрытое белыми волнистыми тучами, которые, застилая звездочки, подвигались к месяцу. «Если захватит месяц это верхнее белое облачко, значит правда»,— подумала она. Туманная дымчатая полоса пробежала по нижней половине светлого круга, и понемногу свет стал слабеть на траве, на верхушках лип, на пруде; черные тени деревь стали менее заметны. И, как будто вторя мрачной тени, осенившей природу, легкий ветерок пронесся по листьям и донес до окна росистый запах листьев, влажной земли и цветущей сирени.

«Нет, это неправда,— утешала она себя,— а вот если соловей запоет нынче ночью, то, значит, вздор все, что я думаю, и не надо отчаиваться»,— подумала она. И долго еще сидела молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова все осветилось и ожило

и снова несколько раз набегали на месяц тучки и все померкало. Она уже засыпала так, сидя у окна, когда соловей разбудил ее частой трелью, раздававшейся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять с новым наслаждением вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой, которая так спокойно и светло раскинулась перед ней. Она облокотилась на обе руки. Какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, и слезы чистой широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие, утешительные слезы налились в глаза ее. Она сложила руки на подоконник и на них положила голову. Любимая ее молитва как-то сама пришла ей в душу, и она так и задремала с мокрыми глазами.

Прикосновенье чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась. Но прикосновение это было легко и приятно. Рука сжимала крепче ее руку. Вдруг она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, весь облитый лунным светом, выбежала из комнаты...

XV

Действительно, это был граф. Услышав крик девушки и кряхтенье сторожа за забором, отозвавшегося на этот крик, он опрометью, с чувством пойманного вора, бросился бежать по мокрой, росистой траве в глубину сада. «Ах я дурак! — твердил он бессознательно.— Я ее испугал. Надо было тише, словами разбудить. Ах, я скотина неловкая!» Он остановился и прислушался: сторож через калитку прошел в сад, волоча палку по песчаной дорожке. Надо было спрятаться. Он спустился к пруду. Лягушки торопливо, заставляя его вздрагивать, побултыкали из-под его ног в воду. Здесь, несмотря на промоченные ноги, он сел на корточки и стал припоминать все, что он делал: как он перелез через забор, искал ее окно и наконец увидал белую тень; как несколько раз, прислушиваясь к малейшему шороху, он подходил и отходил от окна; как то ему казалось несомненно, что она с досадой на его медлительность ожидает его, то казалось, что это невозможно, чтобы она так легко решилась на свидание; как, наконец, предполагая, что она только от конфузливости уездной барышни притворяется, что спит, он решительно подошел и увидал ясно ее положение, но тут вдруг почему-то убежал опрометью назад и, только сильно устыдив трусостью самого себя, подошел к ней смело и тронул ее за руку. Сторож снова крякнул и, скрипнув калиткой, вышел из саду. Окно барышниной комнаты захлопнулось и заставилось ставешком изнутри. Графу это было ужасно досадно видеть. Он бы дорого дал,

чтобы только можно было начать опять все сначала: уж теперь бы он не поступил так глупо... «А чудесная барышня! свеженькая какая! просто прелесть! и так прозевал. Глупая скотина я!» Притом спать уже ему не хотелось, и он решительными шагами раздосадованного человека пошел наудачу вперед по дорожке крытой липовой аллеи.

И тут и для него эта ночь приносила свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви. Глинистая, кой-где с пробивающейся травкой или сухой веткой, дорожка освещалась кружками, сквозь густую листву лип, прямыми бледными лучами месяца. Какой-нибудь загнутый сук, как обросший белым мхом, освещался сбоку. Листья, серебрясь, шептались изредка. В доме потухли огни, замолкли все звуки; только соловей наполнял собой, казалось, все необъятное молчаливое и светлое пространство. «Боже, какая ночь! какая чудная ночь! — думал граф, вдыхая в себя пахучую свежесть сада.— Чего-то жалко. Как будто недоволен и собой, и другими, и всей жизнью недоволен. А славная, милая девочка. Может быть, она точно огорчилась...» Тут мечты его перемешались, он воображал себя в этом саду вместе с уездной барышней в различных, самых странных положениях; потом роль барышни заняла его любезная Мина. «Экой я дурак! Надо было просто ее схватить за талию и поцеловать». И с этим раскаянием граф вернулся в комнату.

Корнет не спал еще. Он тотчас повернулся на постели лицом к графу.

— Ты не спишь? — спросил граф.

— Нет.

— Рассказать тебе, что было?

— Ну?

— Нет, лучше не рассказывать... или расскажу. Подожми ноги.

И граф, махнув уже мысленно рукой на прозеванную им интрижку, с оживленною улыбкой подсел на постель товарища.

— Можешь себе представить, что ведь барышня эта мне назначила rendez-vous! [1]

— Что ты говоришь? — вскрикнул Полозов, вскакивая с постели.

— Ну, слушай.

— Да как же? Когда же? Не может быть!

— А вот, пока вы считали преферанс, она мне сказала, что будет ночью сидеть у окна и что в окно можно влезть. Вот что зна-

[1] свиданье! *(франц.)*

чит практический человек! Покуда вы там с старухой считали, я это дельце обделал. Да ведь ты слышал, она при тебе даже сказала, что она будет сидеть нынче у окна, на пруд смотреть.

— Да это она так сказала.

— Вот то-то я и не знаю, нечаянно или нет она это сказала. Может быть, и точно она еще не хотела сразу, только было похоже на то. Вышла-то странная штука. Я дураком совсем поступил! — прибавил он, презрительно улыбаясь на себя.

— Да что же? Где ты был?

Граф, исключая своих нерешительных неоднократных подступов, рассказал все, как было.

— Я сам испортил: надо было смелее. Закричала и убежала от окошка.

— Так она закричала и убежала,— сказал корнет с неловкой улыбкой, отвечая на улыбку графа, имевшую на него такое долгое и сильное влияние.

— Да. Ну, теперь спать пора.

Корнет повернулся опять спиной к двери и молча полежал минут десять. Бог знает, что делалось у него в душе; но когда он повернулся снова, лицо его выражало страдание и решительность.

— Граф Турбин! — сказал он прерывистым голосом.

— Что ты, бредишь или нет? — спокойно отозвался граф.— Что, корнет Полозов!

— Граф Турбин! вы подлец! — крикнул Полозов и вскочил с постели.

XVI

На другой день эскадрон выступил. Офицеры не видали хозяев и не простились с ними. Между собой они тоже не говорили. По приходе на первую дневку предположено было драться. Но ротмистр Шульц, добрый товарищ, отличнейший ездок, любимый всеми в полку и выбранный графом в секунданты, так успел уладить это дело, что не только не дрались, но никто в полку не знал об этом обстоятельстве, и даже Турбин и Полозов хотя не в прежних дружеских отношениях, но остались на «ты» и встречались за обедами и за партиями.

11 апреля 1856

I

Князю Нехлюдову было девятнадцать лет, когда он из 3-го курса университета приехал на летние ваканции в свою деревню и один пробыл в ней все лето. Осенью он неустановившейся ребяческой рукой написал к своей тетке, графине Белорецкой, которая, по его понятиям, была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире, следующее переведенное здесь французское письмо:

«Милая тетушка.

Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей жизни. Я выхожу из университета, чтоб посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод; может быть, точно я еще ребенок, но это не мешает мне чувствовать мое призвание, желать делать добро и любить его.

Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве. Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Если б вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана, и жизнь, которую они ведут с своими семействами, я уверен, что один вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу сказать вам, чтоб объяснить мое намерение. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастии этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать богу? Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным быть хорошим хозяином; а для того чтоб быть им, как я разумею это слово, не нуж-

но ни кандидатского диплома, ни чинов, которые вы так желаете для меня. Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых планов, привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша и, я чувствую, приведет меня к счастию. Я много и много передумал о своей будущей обязанности, написал себе правила действий, и, если только бог даст мне жизни и сил, я успею в своем предприятии.

Не показывайте письма этого брату Васе: я боюсь его насмешек; он привык первенствовать надо мной, а я привык подчиняться ему. Ваня если и не одобрит мое намерение, то поймет его».

Графиня отвечала ему следующим письмом, тоже переведенным здесь с французского:

«Твое письмо, милый Дмитрий, ничего мне не доказало, кроме того, что у тебя прекрасное сердце, в чем я никогда не сомневалась. Но, милый друг, наши добрые качества больше вредят нам в жизни, чем дурные. Не стану говорить тебе, что ты делаешь глупость, что поведение твое огорчает меня, но постараюсь подействовать на тебя одним убеждением. Будем рассуждать, мой друг. Ты говоришь, что чувствуешь призвание к деревенской жизни, что хочешь сделать счастие своих крестьян и что надеешься быть добрым хозяином. 1) Я должна сказать тебе, что мы чувствуем свое призвание только тогда, когда уж раз ошибемся в нем; 2) что легче сделать собственное счастие, чем счастие других, и 3) что для того, чтоб быть добрым хозяином, нужно быть холодным и строгим человеком, чем ты едва ли когда-нибудь будешь, хотя и стараешься притворяться таким.

Ты считаешь свои рассуждения непреложными и даже принимаешь их за правила в жизни; но в мои лета, мой друг, не верят в рассуждения и в правила, а верят только в опыт; а опыт говорит мпе, что твои планы — ребячество. Мне уже под пятьдесят лет, и я много знавала достойных людей, но никогда не слыхивала, чтоб молодой человек с именем и способностями, под предлогом делать добро, зарылся в деревне. Ты всегда хотел казаться оригиналом, а твоя оригинальность пе что иное, как излишнее самолюбие. И, мой друг! выбирай лучше торные дорожки: они ближе ведут к успеху, а успех, если уж не нужен для тебя как успех, то необходим для того, чтоб иметь возможность делать добро, которое ты любишь.

Нищета нескольких крестьян — зло необходимое, или такое зло, которому можно помочь, не забывая всех своих обязанностей к обществу, к своим родным и к самому себе. С твоим умом, с твоим сердцем и любовью к добродетели нет карьеры, в которой бы ты не имел успеха; но выбирай по крайней мере такую, которая бы тебя стоила и сделала бы тебе честь.

Я верю в твою искренность, когда ты говоришь, что у тебя нет честолюбия; но ты сам обманываешь себя. Честолюбие — добродетель в твои лета и с твоими средствами; но она делается недостатком и пошлостью, когда человек уже не в состоянии удовлетворить этой страсти. И ты испытаешь это, если не изменишь своему намерению. Прощай, милый Митя. Мне кажется, что я тебя люблю еще больше за твой нелепый, но благородный и великодушный план. Делай, как знаешь, но, признаюсь, не могу согласиться с тобой».

Молодой человек, получив это письмо, долго думал над ним и наконец, решив, что и гениальная женщина может ошибаться, подал прошение об увольнении из университета и навсегда остался в деревне.

II

У молодого помещика, как он писал своей тетке, были составлены правила действий по своему хозяйству, и вся жизнь и занятия его были распределены по часам, дням и месяцам. Воскресенье было назначено для приема просителей, дворовых и мужиков, для обхода хозяйства бедных крестьян и для подания им помощи с согласия мира, который собирался вечером каждое воскресенье и должен был решать, кому и какую помощь нужно было оказывать. В таких занятиях прошло более года, и молодой человек был уже не совсем новичок ни в практическом, ни в теоретическом знании хозяйства.

Было ясное июньское воскресенье, когда Нехлюдов, напившись кофею и пробежав главу «Maison rustique» [1], с записной книжкой и пачкой ассигнаций в кармане своего легонького пальто, вышел из большого с колоннадами и террасами деревенского дома, в котором занимал внизу одну маленькую комнатку, и по нечищеным, заросшим дорожкам старого английского сада направился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги. Нехлюдов был высокий, стройный молодой человек с большими, густыми, вьющимися темно-русыми волосами, с светлым блеском в черных глазах, свежими щеками и румяными губами, над которыми только показывался первый пушок юности. Во всех движеньях его и походке заметны были сила, энергия и добродушное самодовольство молодости. Крестьянский народ пестрыми толпами возвращался из церкви; старики, девки, дети, бабы с грудными младенцами, в праздничных одеждах, расходились по своим избам, низко кланяясь барину и обходя его. Войдя в улицу, Нехлюдов

[1] «Ферма» *(франц.)*.

остановился, вынул из кармана записную книжку и на последней, исписанной детским почерком странице прочел несколько крестьянских имен с отметками. «Иван Чурисенок — просил сошек»,— прочел он и, войдя в улицу, подошел к воротам второй избы справа.

Жилище Чурисенка составляли: полусгнивший, подопрелый с углов сруб, погнувшийся набок и вросший в землю так, что над самой навозной завалиной виднелись одно разбитое красное волоковое оконце с полуоторванным ставнем, и другое, волчье, заткнутое хлопком. Рубленые сени, с грязным порогом и низкой дверью, другой маленький срубец, еще древнее и еще ниже сеней, ворота и плетеная клеть лепились около главной избы. Все это было когда-то покрыто под одну неровную крышу; теперь же только на застрехе густо нависла черная, гниющая солома; наверху же местами видны были решетник и стропила. Перед двором был колодезь с развалившимся срубиком, остатком столба и колеса и с грязной, истоптанной скотиною лужей, в которой полоскались утки. Около колодца стояли две старые, треснувшие и надломленные ракиты с редкими бледно-зелеными ветвями. Под одной из этих ракит, свидетельствовавших о том, что кто-то и когда-то заботился об украшении этого места, сидела восьмилетняя белокурая девочка и заставляла ползать вокруг себя другую, двухлетнюю девчонку. Дворной щенок, вилявший около них, увидав барина, опрометью бросился под ворота и залился оттуда испуганным, дребезжащим лаем.

— Дома ли Иван? — спросил Нехлюдов.

Старшая девочка как будто остолбенела при этом вопросе и начала все более и более открывать глаза, ничего не отвечая; меньшая же открыла рот и собиралась плакать. Небольшая старушонка, в изорванной клетчатой поневе, низко подпоясанной стареньким красноватым кушаком, выглядывала из-за двери и тоже ничего не отвечала. Нехлюдов подошел к сеням и повторил вопрос.

— Дома, кормилец,— проговорила дребезжащим голосом старушонка, низко кланяясь и вся приходя в какое-то испуганное волнение.

Когда Нехлюдов, поздоровавшись с ней, прошел через сени на тесный двор, старуха подперлась ладонью, подошла к двери и, не спуская глаз с барина, тихо стала покачивать головой. На дворе бедно; кое-где лежал старый, невоженый, почерневший навоз; на навозе беспорядочно валялись прелая колода, вилы и две бороны. Навесы вокруг двора, под которыми с одной стороны стояли соха, телега без колеса и лежала куча свалепных друг на друга пустых, негодных пчелиных колодок, были почти все раскрыты, и одна сто-

рона их обрушилась, так что спереди перемёты лежали уже не на сохах, а на навозе. Чурисенок топором и обухом выламывал плетень, который придавила крыша. Иван Чурис был мужик лет пятидесяти, ниже обыкновенного роста. Черты его загорелого продолговатого лица, окруженного темно-русой с проседью бородою и такими же густыми волосами, были красивы и выразительны. Его темно-голубые полузакрытые глаза глядели умно и добродушно-беззаботно. Небольшой правильный рот, резко обозначавшийся из-под русых редких усов, когда он улыбался, выражал спокойную уверенность в себе и несколько насмешливое равнодушие ко всему окружающему. По грубости кожи, глубоким морщинам, резко обозначенным жилам на шее, лице и руках, по неестественной сутуловатости и кривому, дугообразному положению ног видно было, что вся жизнь его прошла в непосильной, слишком тяжелой работе. Одежда его состояла из белых посконных порток, с синими заплатками на коленях, и такой же грязной, расползавшейся на спине и руках рубахи. Рубаха низко подпоясывалась тесемкой с висевшим на ней медным ключиком.

— Бог помощь! — сказал барин, входя на двор.

Чурисенок оглянулся и снова принялся за свое дело. Сделав энергическое усилие, он выпростал плетень из-под навеса и тогда только воткнул топор в колоду и, оправляя поясок, вышел на средину двора.

— С праздником, ваше сиятельство! — сказал он, низко кланяясь и встряхивая волосами.

— Спасибо, любезный. Вот пришел твое хозяйство проведать,— с детским дружелюбием и застенчивостью сказал Нехлюдов, оглядывая одежду мужика.— Покажи-ка мне, на что тебе сохи, которые ты просил у меня на сходке.

— Сошки-то? Известно, на что сошки, батюшка ваше сиятельство. Хоть мало-мальски подпереть хотелось, сами изволите видеть; вот анадысь угол завалился; еще помиловал бог, что скотины в ту пору не было. Все-то еле-еле висит,— говорил Чурис, презрительно осматривая свои раскрытые кривые и обрушенные сараи.— Теперь и стропила, и откосы, и перемёты только тронь — глядишь, дерева дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? сами изволите знать.

— Так на что ж тебе пять сошек, когда один сарай уже завалился, а другие скоро завалятся? Тебе нужны не сошки, а стропила, перемёты, столбы,— все новое нужно,— сказал барин, видимо щеголяя своим знанием дела.

Чурисенок молчал.

— Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек; так и говорить надо было.

— Вестимо нужно, да взять-то негде: не все же на барский двор ходить! Коли нашему брату повадку дать к вашему сиятельству за всяким добром на барский двор кланяться, какие мы крестьяне будем? А коли милость ваша на то будет, насчет дубовых макушек, что на господском гумне так, без дела лежат,— сказал он, кланяясь и переминаясь с ноги на ногу,— так, може, я которые подмену, которые поурежу и из старого как-нибудь соорудую.

— Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старо и гнило; нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра и третий; так уж ежели делать, так делать все заново, чтоб недаром работа пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может твой двор простоять нынче зиму или нет?

— А кто е знает!

— Нет, ты как думаешь? завалится он — или нет?

Чурис на минуту задумался.

— Должон весь завалиться,— сказал он вдруг.

— Ну, вот видишь ли, ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе надо весь двор пристроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь тебе...

— Много довольны вашей милостью,— недоверчиво и не глядя на барина отвечал Чурисенок.— Мне хоть бы бревна четыре да сошек пожаловали, так я, может, сам управлюсь, а который негодный лес выберется, так в избу на подпорки пойдет.

— А разве у тебя и изба плоха?

— Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь,— равнодушно сказал Чурис.— Намедни и то накатина с потолка мою бабу убила!

— Как убила?

— Да так, убила, ваше сиятельство: по спине как полыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала.

— Что ж, прошло?

— Прошло-то прошло, да все хворает. Она точно и отроду хво́рая.

— Что ты, больна? — спросил Нехлюдов у бабы, продолжавшей стоять в дверях и тотчас же начавшей охать, как только муж стал говорить про нее.

— Все вот тут не пущает меня, да и шабаш,— отвечала она, указывая на свою грязную тощую грудь.

— Опять! — с досадой сказал молодой барин, пожимая плечами,— отчего же ты больна, а не приходила сказаться в больницу? Ведь для этого и больница заведена. Разве вам не повещали?

— Повещали, кормилец, да недосуг все: и на барщину, и дома, и ребятишки — все одна! Дело наше одинокое...

Нехлюдов вошел в избу. Неровные закопченные стены в черном углу были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образов и лавки. В середине этой черной, смрадной шестиаршинной избенки, в потолке, была большая щель, и, несмотря на то, что в двух местах стояли подпорки, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на минуту угрожал разрушением.

— Да, изба очень плоха,— сказал барин, всматриваясь в лицо Чурисенка, который, казалось, не хотел начинать говорить об этом предмете.

— Задавит нас, и ребятишек задавит,— начала слезливым голосом приговаривать баба, прислонившись к печи под полатями.

— Ты не говори! — строго сказал Чурис и с тонкой, чуть заметной улыбкой, обозначившейся под его пошевелившимися усами, обратился к барину: — И ума не приложу, что с ней делать, ваше сиятельство, с избой-то; и подпорки и подкладки клал — ничего нельзя исделать!

— Как тут зиму зимовать? Ох-ох-о! — сказала баба.

— Оно, коли еще подпорки поставить, новый накатник настлать,— перебил ее муж с спокойным, деловым выраженьем,— да кой-где перемёты переменить, так, может, как-нибудь пробьемся зиму-то. Прожить можно, только избу всю подпорками загородишь — вот что; а тронь ее, так щепки живой не будет; только поколи стоит, держится,— заключил он, видимо весьма довольный тем, что он сообразил это обстоятельство.

Нехлюдову было досадно и больно, что Чурис довел себя до такого положения и не обратился прежде к нему, тогда как он с самого своего приезда ни разу не отказывал мужикам и только того добивался, чтоб все прямо приходили к нему за своими нуждами. Он почувствовал даже некоторую злобу на мужика, сердито пожал плечами и нахмурился; но вид нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты спокойная и самодовольная наружность Чуриса превратили его досаду в какое-то грустное, безнадежное чувство.

— Ну, как же ты, Иван, прежде не сказал мне? — с упреком заметил он, садясь на грязную, кривую лавку.

— Не посмел, ваше сиятельство,— отвечал Чурис с той же чуть заметной улыбкой, переминаясь своими черными босыми ногами по неровному земляному полу; но он сказал это так смело и спокойно, что трудно было верить, чтоб он не посмел прийти к барину.

— Наше дело мужицкое: как мы смеем!..— начала было, всхлипывая, баба.

— Ну, гуторь,— снова обратился к ней Чурис.

— В этой избе тебе жить нельзя; это вздор! — сказал Нехлюдов, помолчав несколько времени.— А вот что мы сделаем, братец...

— Слушаю-с,— отозвался Чурис.

— Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом хуторе, что с пустыми стенами?

— Как не видать-с,— отвечал Чурис, открывая улыбкой свои еще целые, белые зубы,— еще немало дивились, ка́к клали-то их,— мудреные избы! Ребята смеялись, что не магазеи ли будут, от крыс в стены засыпать. Избы важные! — заключил он, с выраженьем насмешливого недоумения, покачав головой,— остроги словно.

— Да, избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны,— возразил барин, нахмурив свое молодое лицо, видимо недовольный насмешкой мужика.

— Неспорно, ваше сиятельство, избы важные.

— Ну, так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятнаршинная, с сенями, с клетью и совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам в долг за свою цену; ты когда-нибудь отдашь,— сказал барин с самодовольной улыбкой, которую он не мог удержать при мысли о том, что делает благодеяние.— Ты свою старую сломаешь,— продолжал он,— она на амбар пойдет: двор тоже перенесем. Вода там славная, огороды вырежу из новины, земли твои во всех трех клинах тоже там, под боком, вырежу. Отлично заживешь! Что ж, разве это тебе не нравится? — спросил Нехлюдов, заметив, что как только он заговорил о переселении, Чурис погрузился в совершенную неподвижность и, уже не улыбаясь, смотрел в землю.

— Воля вашего сиятельства,— отвечал он, не поднимая глаз.

Старушка выдвинулась вперед, как будто задетая заживо, и готовилась сказать что-то, но муж предупредил ее.

— Воля вашего сиятельства,— повторил он решительно и вместе с тем покорно, взглядывая на барина и встряхивая волосами,— а на новом хуторе нам жить не приходится.

— Отчего?

— Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы и здесь-то плохи, а там вам навек мужиками не будем. Какие мы там мужики будем? Да там и жить-то нельзя, воля ваша!

— Да отчего ж?

— Из последнего разоримся, ваше сиятельство.

— Отчего ж там жить нельзя?

— Какая же там жизнь? Ты посуди: место нежилое, вода неизвестная, выгона нетути. Конопляники у нас здесь искони навозные, а там что? Да и что там? голь! Ни плетней, ни овинов, ни сараев, ничего нетути. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас туда погонишь, вконец разоримся! Место новое, неизвестное...— повторил он задумчиво, но решительно покачивая головой.

Нехлюдов стал было доказывать мужику, что переселение, напротив, очень выгодно для него, что плетни и сараи там построят, что вода там хорошая, и т. д., но тупое молчание Чуриса смущало его, и он почему-то чувствовал, что говорит не так, как бы следовало. Чурисенок не возражал ему; но когда барин замолчал, он, слегка улыбнувшись, заметил, что лучше бы всего было поселить на этом хуторе стариков дворовых и Алешу-дурачка, чтоб они там хлеб караулили.

— Вот бы важно-то было! — заметил он и снова усмехнулся.— Пустое это дело, ваше сиятельство!

— Да что ж, что место нежилое? — терпеливо настаивал Нехлюдов,— ведь и здесь когда-то место было нежилое, а вот живут же люди; и там, вот, ты только первый поселись с легкой руки... Ты непременно поселись...

— И, батюшка ваше сиятельство, как можно сличить! — с живостью отвечал Чурис, как будто испугавшись, чтоб барин не принял окончательного решения,— здесь на миру место, место веселое, обычное: и дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли поить, и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы — вот, что мои родители садили; и дед и батюшка наши здесь богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буде милость твоя избу поправить — много довольны вашей милостью останемся; а нет, так и в старенькой своей век как-нибудь доживем. Заставь век бога молить,— продолжал он, низко кланяясь,— не сгоняй ты нас с гнезда нашего, батюшка!..

В то время как Чурис говорил, под полатями, в том месте, где стояла его жена, слышны были все усиливавшиеся и усиливавшиеся всхлипывания, и когда муж сказал «батюшка», жена его неожиданно выскочила вперед и, в слезах, ударилась в ноги барину.

— Не погуби, кормилец! Ты наш отец, ты наша мать! Куда нам селиться? Мы люди старые, одинокие. Как бог, так и ты...— завопила она.

Нехлюдов вскочил с лавки и хотел поднять старуху, но она с каким-то сладострастьем отчаяния билась головой о земляной пол и отталкивала руку барина.

— Что ты! встань, пожалуйста! Коли не хотите, так не надо; я принуждать не стану,— говорил он, махая руками и отступая к двери.

Когда Нехлюдов сел опять на лавку и в избе водворилось молчание, прерываемое только хныканьем бабы, снова удалившейся под полати и утиравшей там слезы рукавом рубахи, молодой помещик понял, что значила для Чуриса и его жены разваливающаяся избенка, обвалившийся колодезь с грязной лужей, гниющие хлевушки, сарайчики и треснувшие ветлы, видневшиеся перед кривым оконцем,— и ему стало что-то тяжело, грустно и чего-то совестно.

— Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что тебе нужна изба? Я теперь не знаю, как помочь тебе. Я говорил вам всем на первой сходке, что я поселился в деревне и посвятил свою жизнь для вас; что я готов сам лишить себя всего, лишь бы вы были довольны и счастливы,— и я перед богом клянусь, что сдержу свое слово,— говорил юный помещик, не зная того, что такого рода излияния не способны возбуждать доверия ни в каком, и в особенности в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотнике до выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных.

Но простодушный молодой человек был так счастлив тем чувством, которое испытывал, что не мог не излить его.

Чурис погнул голову на сторону и, медленно моргая, с принужденным вниманием слушал своего барина, как человека, которого нельзя не слушать, хотя он и говорит вещи не совсем хорошие и совершенно до нас не касающиеся.

— Но ведь я не могу всем давать все, что у меня просят. Если б я никому не отказывал, кто у меня просит леса, у меня самого скоро бы ничего не осталось, и я не мог бы дать тому, кто истинно нуждается. Затем-то я и отделил заказ, определил его для исправления крестьянского строения и совсем отдал миру. Лес этот теперь уж не мой, а ваш, крестьянский, и уже я им не могу распоряжаться, а распоряжается мир, как знает. Ты приходи нынче на сходку; я миру поговорю о твоей просьбе; коли он присудит тебе избу дать, так и хорошо, а у меня уж теперь лесу нет. Я от всей души желаю тебе помочь; но коли ты не хочешь переселиться, то дело уже не мое, а мирское. Ты понимаешь меня?

— Много довольны вашей милостью,— отвечал смущенный Чурис.— Коли на двор леску ублаготворите, так мы и так поправимся.— Что мир? Дело известное...

— Нет, ты приходи.

— Слушаю. Я приду. Отчего не прийти? Только уж я у мира просить не стану.

IV

Молодому помещику, видно, хотелось еще спросить что-то у хозяев; он не вставал с лавки и нерешительно поглядывал то на Чуриса, то в пустую, нетопленную печь.

— Что, вы уж обедали? — наконец спросил он.

Под усами Чуриса обозначилась насмешливая улыбка, как будто ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы; он ничего не ответил.

— Какой обед, кормилец? — тяжело вздыхая, проговорила баба.— Хлебушка поснедали — вот и обед наш. За сныткой нынче ходить нéколи было, так и щец сварить не из чего, а что квасу было, так ребятам дала.

— Нынче пост голодный, ваше сиятельство,— вмешался Чурис, поясняя слова бабы,— хлеб да лук — вот и пища наша мужицкая. Еще слава ти господи, хлебушка-то у меня, по милости вашей, по сю пору хватило, а то сплошь у наших мужиков и хлеба-то нет. Луку ныне везде незарод. У Михайла-огородника, анадысь посылали, за пучок по грошу берут, а покупать нашему брату неоткуда. С пасхи почитай что и в церкву божью не ходим, и свечку Миколе купить не на что.

Нехлюдов уж давно знал, не по слухам, не на веру к словам других, а на деле, всю ту крайнюю степень бедности, в которой находились его крестьяне; но вся действительность эта была так несообразна со всем воспитанием его, складом ума и образом жизни, что он против воли забывал истину, и всякий раз, когда ему, как теперь, живо, осязательно напоминали ее, у него на сердце становилось невыносимо тяжело и грустно, как будто воспоминание о каком-то свершенном, неискупленном преступлении мучило его.

— Отчего вы так бедны? — сказал он, невольно высказывая свою мысль.

— Да каким же нам и быть, батюшка ваше сиятельство, как не бедным? Земля наша какая — вы сами изволите знать: глина, бугры, да и то, видно, прогневили мы бога, вот уж с холеры, почитай, хлеба не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало: которые позаказали в экономию, которые тоже в барские поля попридрали. Дело мое одинокое, старое... где и рад бы похлопотал — сил моих нету. Старуха моя больная, что ни год, то девчонок рожает: ведь всех кормить надо. Вот один маюсь, а семь душ дома. Грешен господу богу, часто думаю себе: хоть бы прибрал которых бог поскорее,— и мне бы легче было, да и им-то лучше, чем здесь горе мыкать...

— О-ох! — громко вздохнула баба, как бы в подтверждение слов мужа.

— Вот моя подмога вся тут,— продолжал Чурис, указывая на белоголового шершавого мальчика лет семи, с огромным животом, который в это время робко, тихо скрипнув дверью, вошел в избу и, уставив исподлобья удивленные глаза на барина, обеими ручонками держался за рубаху Чуриса.— Вот и подсобка моя вся тут,— продолжал звучным голосом Чурис, проводя своей шершавой рукой по белым волосам ребенка,— когда его дождешься? а мне уж работа невмочь. Старость бы еще ничего, да грыжа меня одолела. В ненастье хоть криком кричи, а ведь уж мне давно с тягла, в старики пора. Вон Ермилов, Демкин, Зябрев — все моложе меня, а уж давно земли посложили. Ну, мне сложить не на кого,— вот беда моя. Кормиться надо: вот и бьюсь, ваше сиятельство.

— Я бы рад тебя облегчить, точно. Как же быть? — сказал молодой барин, с участием глядя на крестьянина.

— Да как облегчить? Известное дело, коли землей владать, то и барщину править надо,— уж порядки известные. Как-нибудь малого дождусь. Только, будет милость ваша, насчет училища его увольте: а то намедни земский приходил, тоже, говорит, и его ваше сиятельство требует в училищу. Уж его-то увольте: ведь какой у него разум, ваше сиятельство? Он еще млад, ничего не смыслит.

— Нет, уж это, брат, как хочешь,— сказал барин,— мальчик твой уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра говорю. Ты сам посуди, как он у тебя подрастет, хозяином станет, да будет грамоте знать и читать будет уметь, и в церкви читать — ведь все у тебя дома с божьей помощью лучше пойдет,— говорил Нехлюдов, стараясь выражаться как можно понятнее и вместе с тем почему-то краснея и заминаясь.

— Неспорно, ваше сиятельство,— вы нам худа не желаете, да дома-то побыть некому: мы с бабой на барщине — ну, а он, хоть и маленек, а все подсобляет, и скотину загнать и лошадей напоить. Какой ни есть, а все мужик,— и Чурисенок с улыбкой взял своими толстыми пальцами за нос мальчика и высморкал его.

— Все-таки ты присылай его, когда сам дома и когда ему время,— слышишь? непременно.

Чурисенок тяжело вздохнул и ничего не ответил.

V

— Да я еще хотел сказать тебе,— сказал Нехлюдов,— отчего у тебя навоз не вывезен?

— Какой у меня навоз, батюшка ваше сиятельство! И возить-то нечего. Скотина моя какая? кобыленка одна да жеребенок, а телушку осенью из телят дворнику отдал — вот и скотина моя вся.

— Так как же у тебя скотины мало, а ты еще телку из телят отдал? — с удивлением спросил барин.

— А чем кормить станешь?

— Разве у тебя соломы-то недостанет, чтоб корову прокормить? У других достает же.

— У других земли навозные, а моя земля — глина одна, ничего не сделаешь.

— Так вот и навозь ее, чтоб не было глины; а земля хлеб родит, и будет чем скотину кормить.

— Да и скотины-то нету, так какой навоз будет?

«Это странный cercle vicieux» [1],— подумал Нехлюдов, но решительно не мог придумать, что посоветовать мужику.

— Опять и то сказать, ваше сиятельство, не навоз хлеб родит, а все бог,— продолжал Чурис.— Вот у меня летось на пресном осьминнике шесть копен стало, а с навозкой и крестца не собрали. Никто как бог! — прибавил он со вздохом.— Да и скотина ко двору нейдет к нашему. Вот шестой год не живет. Летось одна телка издохла, другую продал: кормиться печем было; а в запрошлый год важная корова пала; пригнали из стада, ничего не было, вдруг зашаталась, зашаталась, и пар вон. Все мое несчастье!

— Ну, братец, чтоб ты не говорил, что у тебя скотины нет оттого, что корму нет, а корму нет оттого, что скотины нет, вот тебе на корову,— сказал Нехлюдов, краснея и доставая из кармана шаровар скомканную пачку ассигнаций и разбирая ее,— купи себе на мое счастье корову, а корм бери с гумна,— я прикажу. Смотри же, чтоб к будущему воскресенью у тебя была корова: я зайду.

Чурис так долго, с улыбкой переминаясь, не подвигал руку за деньгами, что Нехлюдов положил их на конец стола и покраснел еще больше.

— Много довольны вашей милостью,— сказал Чурис с своей обыкновенной, немного насмешливой улыбкой.

Старуха несколько раз тяжело вздохнула под полатями и как будто читала молитву.

Молодому барину стало неловко; он торопливо встал с лавки, вышел в сени и позвал за собой Чуриса. Вид человека, которому он сделал добро, был так приятен, что ему не хотелось скоро расстаться с ним.

— Я рад тебе помогать,— сказал он, останавливаясь у колодца,— тебе помогать можно, потому что, я знаю, ты не ленишься. Будешь трудиться — и я буду помогать: с божиею помощью и поправишься.

---

[1] порочный круг *(франц.)*.

— Уж не то, что поправиться, а только бы не совсем разориться, ваше сиятельство,— сказал Чурис, принимая вдруг серьезное, даже строгое выражение лица, как будто весьма недовольный предположением барина, что он может поправиться.— Жили при бачке с братьями, ни в чем нужды не видали; а вот как помёр он да как разошлись, так все хуже да хуже пошло. Все одиночество!

— Зачем же вы разошлись?

— Все из-за баб вышло, ваше сиятельство. Тогда уже дедушки вашего не было, а то при нем бы не посмели: тогда настоящие порядки были. Он, так же как и вы, до всего сам доходил,— и думать бы не смели расходиться. Не любил покойник мужикам повадку давать; а нами после вашего дедушки заведовал Андрей Ильич — не тем будь помянут — человек был пьяный, необстоятельный. Пришли к нему проситься раз, другой — нет, мол, житья от баб, позволь разойтись; ну, подрал, подрал, а наконец, тому дело вышло, все-таки поставили бабы на своем, врозь стали жить; а уж одинокий мужик известно какой! Ну да и порядков-то никаких не было: орудовал нами Андрей Ильич как хотел. «Чтоб было у тебя все»,— а из чего мужику взять, того не спрашивал. Тут подушные прибавили, столовый запас тоже сбирать больше стали, а земель меньше стало, и хлеб рожать перестал. Ну, а как межовка пришла, да как он у нас наши навозные земли в господский клин отрезал, злодей, и порешил нас совсем, хоть помирай! Батюшка ваш — царство небесное — барин добрый был, да мы его и не видали, почитай: все в Москве жил; ну, известно, и подводы туда чаще гонять стали. Другой раз распутица, кормов нет, а вези. Нельзя ж и барину без того. Мы этим обижаться не смеем; да порядков не было. Как теперь ваша милость до своего лица всякого мужичка допускаете, так и мы другие стали, и приказчик-то другой человек стал. Мы теперь знаем хошь, что у нас барин есть. И уж и сказать нельзя, как мужички твоей милости благодарны. А то в опеку настоящего барина не было: всякий барин был: и опекун барин, и Ильич барин, и жена его барыня, и писарь из стану тот же барин. Тут-то много — ух! много горя приняли мужички!

Опять Нехлюдов испытал чувство, похожее на стыд или угрызение совести. Он приподнял шляпу и пошел дальше.

VI

«Юхванка Мудреный хочет лошадь продать»,— прочел Нехлюдов в записной книжечке и перешел чрез улицу, ко двору Юхванки Мудреного. Юхванкина изба была тщательно покрыта соломой с барского гумна и срублена из свежего светло-серого осинового леса (тоже из барского заказа), с двумя выкрашенными

красными ставнями у окон и крылечком с навесом и с затейливыми, вырезанными из тесин перильцами. Сенцы и холодная изба были тоже исправные; но общий вид довольства и достатка, который имела эта связь, нарушался несколько пригороженной к воротищам клетью с недоплетенным забором и раскрытым навесом, видневшимся из-за нее. В то самое время, как Нехлюдов подходил с одной стороны к крыльцу, с другой подходили две крестьянские женщины с полным ушатом. Одна из них была жена, другая мать Юхванки Мудреного. Первая была плотная, румяная баба, с необыкновенно развитой грудью и широкими, мясистыми скулами. На ней была чистая, шитая на рукавах и воротнике рубаха, такая же занавеска, новая понева, коты, бусы и вышитая красной бумагой и блестками четвероугольная щегольская кичка.

Конец водоноса не покачивался, а плотно лежал на ее широком и твердом плече. Легкое напряжение, заметное в красном лице ее, в изгибе спины и мерном движении рук и ног, выказывали в ней необыкновенное здоровье и мужскую силу. Юхванкина мать, несшая другой конец водоноса, была, напротив, одна из тех старух, которые кажутся дошедшими до последнего предела старости и разрушения в живом человеке. Костлявый остов ее, на котором надета была черная изорванная рубаха и бесцветная понева, был согнут так, что водонос лежал больше на спине, чем на плече ее. Обе руки ее, с искривленными пальцами, которыми она, как будто ухватившись, держалась за водонос, были какого-то темно-бурого цвета и, казалось, не могли уж разгибаться; понурая голова, обвязанная каким-то тряпьем, носила на себе самые уродливые следы нищеты и глубокой старости. Из-под узкого лба, изрытого по всем направлениям глубокими морщинами, тускло смотрели в землю два красные глаза, лишенные ресниц. Один желтый зуб выказывался из-под верхней впалой губы и, беспрестанно шевелясь, сходился иногда с острым подбородком. Морщины на нижней части лица и горла похожи были на какие-то мешки, качавшиеся при каждом движении. Она тяжело и хрипло дышала; но босые искривленные ноги, хотя, казалось, чрез силу волочась по земле, мерно двигались одна за другою.

VII

Почти столкнувшись с барином, молодая баба бойко составила ушат, потупилась, поклонилась, потом блестящими глазами исподлобья взглянула на барина и, стараясь рукавом вышитой рубашки скрыть легкую улыбку, постукивая котами, взбежала на сходцы.

— Ты, матушка, водонос-то тетке Настасье отнеси,— сказала она, останавливаясь в двери и обращаясь к старухе.

Скромный молодой помещик строго, но внимательно посмотрел на румяную бабу, нахмурился и обратился к старухе, которая, выпростав корявыми пальцами водонос, взвалила его на плечи и покорно направилась было к соседней избе.

— Дома сын твой? — спросил барин.

Старуха, согнув еще более свой согнутый стан, поклонилась и хотела сказать что-то, но, приложив руки ко рту, так закашлялась, что Нехлюдов, не дождавшись, вошел в избу. Юхванка, сидевший в красном углу на лавке, увидев барина, бросился к печи, как будто хотел спрятаться от него, поспешно сунул на полати какую-то вещь и, подергивая ртом и глазами, прижался около стены, как будто давая дорогу барину. Юхванка был русый парень лет тридцати, худощавый, стройный, с молодой остренькой бородкой, довольно красивый, если б не бегающие карие глазки, неприятно выглядывавшие из-под сморщенных бровей, и не недостаток двух передних зубов, который тотчас бросался в глаза, потому что губы его были коротки и беспрестанно шевелились. На нем была праздничная рубаха с ярко-красными ластовиками, полосатые набойчатые портки и тяжелые сапоги с сморщенными голенищами. Внутренность избы Юхванки не была так тесна и мрачна, как внутренность избы Чуриса, хотя в ней так же было душно, пахло дымом и тулупом и так же беспорядочно было раскинуто мужицкое платье и утварь. Две вещи здесь как-то странно останавливали внимание: небольшой погнутый самовар, стоявший на полке, и черная рамка с остатком грязного стекла и портретом какого-то генерала в красном мундире, висевшая около икон. Нехлюдов, недружелюбно посмотрел на самовар, на портрет генерала и на полати, на которых торчал из-под какой-то ветошки конец трубки в медной оправе, обратился к мужику.

— Здравствуй, Епифан,— сказал он, глядя ему в глаза.

Епифан поклонился, пробормотал: «Здравия желаем, васясо»,— особенно нежно выговаривая последнее слово, и глаза его мгновенно обежали всю фигуру барина, избу, пол и потолок, не останавливаясь ни на чем; потом он торопливо подошел к полатям, стащил оттуда зипун и стал надевать его.

— Зачем ты одеваешься? — сказал Нехлюдов, садясь на лавку и, видимо, стараясь как можно строже смотреть на Епифана.

— Как же, помилуйте, васясо, разве можно? Мы, кажется, можем понимать...

— Я зашел к тебе узнать, зачем тебе нужно продать лошадь, и много ли у тебя лошадей, и какую ты лошадь продать хочешь? — сухо сказал барин, видимо повторяя приготовленные вопросы.

— Мы много довольны вашему сясу, что не побрезгали зайти ко мне, к мужику,— отвечал Юхванка, бросая быстрые взгляды на портрет генерала, на печку, на сапоги барина и на все предметы, исключая лица Нехлюдова,— мы всегда за вашего сяса богу молим...

— Зачем тебе лошадь продать? — повторил Нехлюдов, возвышая голос и прокашливаясь.

Юхванка вздохнул, встряхнул волосами (взгляд его опять обежал избу) и, заметив кошку, которая спокойно мурлыкала, лежа на лавке, крикнул на нее: «Брысь, подлая»,— и торопливо оборотился к барину:

— Лошадь, которая, васясо, негодная... Коли бы животина добрая была, я бы продавать не стал, васясо.

— А сколько у тебя всех лошадей?

— Три лошади, васясо.

— А жеребят нет?

— Как можно-с, васясо! И жеребенок есть.

VIII

— Пойдем, покажи мне своих лошадей; они у тебя на дворе?

— Так точно-с, васясо; как мне приказано, так и сделано, васясо. Разве мы можем ослушаться вашего сяса? Мне приказал Яков Ильич, чтоб, мол, лошадей завтра в поле не пущать: князь смотреть будут; мы и не пущали. Уж мы не смеем ослушаться вашего сяса.

Покуда Нехлюдов выходил в двери, Юхванка достал трубку с полатей и закинул ее за печку; губы его все так же беспокойно передергивались и в то время, как барин не смотрел на него.

Худая сивая кобыленка перебирала под навесом прелую солому; двухмесячный длинноногий жеребенок какого-то неопределенного цвета, с голубоватыми ногами и мордой, не отходил от ее тощего, засоренного репьями хвоста. Посередине двора, зажмурившись и задумчиво опустив голову, стоял утробистый гнедой меринок, с виду хорошая мужицкая лошадка.

— Так тут все твои лошади?

— Никак нет-с, васясо; вот еще кобылка, да вот жеребеночек,— отвечал Юхванка, указывая на лошадей, которых барин не мог не видеть.

— Я вижу. Так какую же ты хочешь продать?

— А вот евту-с, васясо,— отвечал он, махая полой зипуна на задремавшего мерипка и беспрестанно мигая и передергивая губами. Меринок открыл глаза и лениво повернулся к нему хвостом.

— Он не старый на вид и собой лошадка плотная,— сказал Нехлюдов.— Поймай-ка его да покажи мне зубы. Я узнаю, стара ли она.

— Никак не можно поймать-с одному, васясо. Вся скотина гроша не стоит, а норовистая — и зубом и передом, васясо,— отвечал Юхванка, улыбаясь очень весело и пуская глаза в разные стороны.

— Что за вздор! Поймай, тебе говорят.

Юхванка долго улыбался, переминался, и только тогда, когда Нехлюдов сердито крикнул: «Ну! что ж ты?» — бросился под навес, принес оброть и стал гоняться за лошадью, пугая ее и подходя сзади, а не спереди.

Молодому барину, видимо, надоело смотреть на это, да и хотелось, может быть, показать свою ловкость.

— Дай сюда оброть! — сказал он.

— Помилуйте! как можно васясу? не извольте...

Но Нехлюдов прямо с головы подошел к лошади и, вдруг ухватив ее за уши, пригнул к земле с такой силой, что меринок, который, как оказывалось, была очень смирная мужицкая лошадка, зашатался и захрипел, стараясь вырваться. Когда Нехлюдов заметил, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия, и взглянул на Юхванку, который не переставал улыбаться, ему пришла в голову самая обидная в его лета мысль, что Юхванка смеется над ним и мысленно считает его ребенком. Он покраснел, выпустил уши лошади и, без помощи оброти открыв ей рот, посмотрел в зубы, клыки были целы, чашки полные, что все уже успел выучить молодой хозяин,— стало быть, лошадь молодая.

Юхванка в это время отошел к навесу и, заметив, что борона лежала не на месте, поднял ее и, прислонив к плетню, поставил стоймя.

— Поди сюда! — крикнул барин с детски-раздосадованным выражением в лице и чуть не с слезами досады и злобы в голосе.— Что, эта лошадь старая?

— Помилуйте, васясо, очень стара, годов двадцать будет... которая лошадь...

— Молчать! Ты лгун и негодяй, потому что честный мужик не станет лгать: ему незачем! — сказал Нехлюдов, задыхаясь от гневных слез, которые подступали ему к горлу. Он замолчал, чтоб не осрамиться, расплакавшись при мужике. Юхванка тоже молчал и с видом человека, который сейчас заплачет, посапывал носом и слегка подергивал головой.— Ну, на чем же ты выедешь пахать, когда продашь эту лошадь? — продолжал Нехлюдов, успокоившись достаточно, чтоб говорить обыкновенным голосом: — Тебя на-

рочно посылают на пешие работы, чтоб ты поправлялся лошадьми к пахоте, а ты последнюю хочешь продать? а главное, зачем ты лжешь?

Как только барин успокоился, и Юхванка успокоился. Он стоял прямо и, все так же передергивая губами, перебегал глазами от одного предмета к другому.

— Мы вашему сясу,— отвечал он,— не хуже других на работу выедем.

— Да на чем же ты выедешь?

— Уж будьте покойны, вашего сяса работу справим,— отвечал он, нукая на мерина и отгоняя его.— Коли бы не нужны деньги, то стал бы разве продавать?

— Зачем же тебе нужны деньги?

— Хлеба нетути ничего, васясо, да и долги отдать мужичкам надо-ти, васясо.

— Как хлеба нету? Отчего же у других, у семейных, еще есть, а у тебя, бессемейного, нету? Куда ж он девался?

— Ели, вашего сияса, а теперь ни крохи нет. Лошадь я к осени куплю, васясо.

— Лошади продавать и думать не смей!

— Что ж, васясо, коли так, то какая же наша жизнь будет? и хлеба нету и продать ничего не смей,— отвечал он совсем на сторону, передергивая губы и кидая вдруг дерзкий взгляд прямо на лицо барина: — Значит, с голоду помирать надо.

— Смотри, брат! — закричал Нехлюдов, бледнея и испытывая злобное чувство личности против мужика,— таких мужиков, как ты, я держать не стану. Тебе дурно будет.

— На то воля вашего сясо,— отвечал он, закрывая глаза с притворно-покорным выраженьем,— коли я вам не заслужил. А кажется, за мной никакого пороку не замечено. Известно, уж коли я вашему сиясу не полюбился, то все в воле вашей состоит; только не знаю, за что я страдать должен.

— А вот за что: за то, что у тебя двор раскрыт, навоз не запахан, плетни поломаны, а ты сидишь дома да трубку куришь, а не работаешь; за то, что ты своей матери, которая тебе все хозяйство отдала, куска хлеба не даешь, позволяешь ее своей жене бить и доводишь до того, что она ко мне жаловаться приходила.

— Помилуйте, ваше сиясо, я и не знаю, какие эти трубки бывают,— смущенно отвечал Юхванка, которого, видно, преимущественно оскорбило обвинение в курении трубки.— Про человека все сказать можно.

— Вот ты опять лжешь! Я сам видел...

— Как я смею лгать вашему сиясу!

Нехлюдов замолчал и, кусая губу, стал ходить взад и вперед по двору. Юхванка, стоя на одном месте, не поднимая глаз, следил за ногами барина.

— Послушай, Епифан,— сказал Нехлюдов детски-кротким голосом, останавливаясь перед мужиком и стараясь скрыть свое волнение,— этак жить нельзя, и ты себя погубишь. Подумай хорошенько. Если ты мужиком хорошим хочешь быть, так ты свою жизнь перемени, оставь свои привычки дурные, не лги, не пьянствуй, уважай свою мать. Ведь я про тебя все знаю. Занимайся хозяйством, а не тем, чтоб казенный лес воровать да в кабак ходить. Подумай, что тут хорошего! Коли тебе в чем-нибудь нужда, то приди ко мне, попроси прямо, что нужно и зачем, и не лги, а всю правду скажи, и тогда я тебе не откажу ни в чем, что только могу сделать.

— Помилуйте, васясо, мы, кажется, можем понимать вашего сяса! — отвечал Юхванка, улыбаясь, как будто вполне понимая всю прелесть шутки барина.

Эта улыбка и ответ совершенно разочаровали Нехлюдова в надежде тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истинный. Притом ему все казалось, что неприлично ему, имеющему власть, усовещивать своего мужика и что все, что он говорит, совсем не то, что следует говорить. Он грустно опустил голову и вышел в сени. На пороге сидела старуха и громко стонала,— как казалось, в знак сочувствия словам барина, которые она слышала.

— Вот вам на хлеб,— сказал ей на ухо Нехлюдов, кладя в руку ассигнацию,— только сама покупай, а не давай Юхванке, а то он пропьет.

Старуха костлявой рукой ухватилась за притолоку, чтоб встать, и собралась благодарить барина; голова ее закачалась, но Нехлюдов уже был на другом конце улицы, когда она встала.

IX

«Давыдка Белый просил хлеба и кольев»,— значилось в записной книжке после Юхвана.

Пройдя несколько дворов, Нехлюдов при повороте в переулок встретился с своим приказчиком, Яковом Алпатычем, который, издалека увидев барина, снял клеенчатую фуражку и, достав фуляровый платок, стал обтирать толстое, красное лицо.

— Надень, Яков! Яков, надень же, я тебе говорю...

— Где изволили быть, ваше сиятельство? — спросил Яков, защищаясь фуражкою от солнца, но не надевая ее.

— Был у Мудреного. Скажи, пожалуйста, отчего он такой сделался? — сказал барин, продолжая идти вперед по улице.

— А что, ваше сиятельство? — отозвался управляющий, который в почтительном расстоянии следовал за барином и, надев фуражку, расправлял усы.

— Как что? он совершенный негодяй, лентяй, вор, лгун, мать свою мучит и, как видно, такой закоренелый негодяй, что никогда не исправится.

— Не знаю, ваше сиятельство, что он вам так не показался...

— И жена его,— перебил барин управляющего,— кажется, прегадкая женщина. Старуха хуже всякой нищей одета; есть нечего, а она разряженная, и он тоже. Что с ним делать — я решительно не знаю.

Яков заметно смутился, когда Нехлюдов заговорил про жену Юхванки.

— Что ж, коли он так себя попустил, ваше сиятельство,— начал он,— то надо меры изыскать. Он точно в бедности, как и все одинокие мужики, но он все-таки себя сколько-нибудь наблюдает, не так, как другие. Он мужик умный, грамотный и ничего, честный, кажется, мужик. При сборе подушных он всегда ходит. И старостой при моем уж управлении три года ходил, тоже ничем не замечен. В третьем годе опекуну угодно было его ссадить, так он и на тягле исправен был. Нешто как в городу на почте живал, то хмелем немного позашибется, так надо меры изыскать. Бывало, зашалит, постращаешь — он опять в свой разум приходит: и ему хорошо и в семействе лад; а как вам не угодно, значит, эти меры употреблять, то уж я и не знаю, что с ним будем делать. Он точно себя очень попустил. В солдаты опять не годится, потому, как изволили заметить, двух зубов нет. Да и не он один, осмелюсь вам доложить, что совершенно страху не имеют...

— Уж это оставь, Яков,— отвечал Нехлюдов, слегка улыбаясь,— про это мы с тобой говорили и переговорили. Ты знаешь, как я об этом думаю; и что ты мне ни говори, я все так же буду думать.

— Конечно, ваше сиятельство, вам это все известно,— сказал Яков, пожимая плечами и глядя сзади на барина так, как будто то, что он видел, не обещало ничего хорошего.— А что насчет старухи вы изволите беспокоиться, то это напрасно,— продолжал он,— оно, конечно, что она сирот воспитала, вскормила и женила Юхвана, и все такое; но ведь это вообще в крестьянстве, когда мать или отец сыну хозяйство передали, то уж хозяин сын и сноха, а старуха уж должна свой хлеб зарабатывать по силе по мочи. Они, конечно, тех чувств нежных не имеют, но уж в крестьянстве вообще так ведется. То и осмелюсь вам доложить, что напрасно старуха вас трудила. Она старуха умпая и хозяйка; да что ж господина из-за всего беспокоить? Ну, поссорилась с снохой, та, может быть,

ее и толкнула — бабье дело! и помирились бы опять, чем вас беспокоить. Уж вы и так слишком все изволите к сердцу принимать,— говорил управляющий, с некоторой нежностью и снисходительностью глядя на барина, который молча, большими шагами шел перед ним вверх по улице.— Домой изволите? — спросил он.

— Нет, к Давыдке Белому, или Козлу... как он прозывается?

— Вот тоже ляд-то, доложу вам. Уж эта вся порода Козлов такая. Чего-чего с ним ни делал — ничто не берет. Вчера по полю крестьянскому проехал, а у него и гречиха не посеяна; что прикажете делать с таким народцем? Хоть бы старик-то сына учил, а то такой же ляд: ни на себя, ни на барщину, все как через пень колоду валит. Уж что-что с ним ни делали и опекун и я: и в стан посылали и дома наказывали — вот что вы не изволите любить...

— Кого? не-уже-ли старика?

— Старика-с. Опекун сколько раз, и при всей сходке, наказывал; так верите ли, ваше сиятельство? хоть бы те что: встряхнется, пойдет, и все то же. И ведь Давыдка, доложу вам, мужик смирный, и неглупый мужик и не курит — не пьет то есть,— объяснил Яков,— а вот хуже пьяного другого. Одно, что в солдаты коли выйдет или на поселенье, больше делать нечего. Эта вся уж порода Козлов такая: и Матрюшка, что в черной живет, тоже ихней семьи, такая же ляд проклятый. Так я вам не нужен, ваше сиятельство? — прибавил управляющий, замечая, что барин не слушает его.

— Нет, ступай,— рассеянно отвечал Нехлюдов и направился к Давыдке Белому.

Давыдкина изба криво и одиноко стояла на краю деревни. Около нее не было ни двора, ни овина, ни амбара; только какие-то грязные хлевушки для скотины лепились с одной стороны; с другой стороны кучею навалены были приготовленные для двора хворост и бревна. Высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был двор. Никого, кроме свиньи, которая, лежа в грязи, визжала у порога, не было около избы.

Нехлюдов постучал в разбитое окно: но так как никто не отозвался ему, он подошел к сеням и крикнул: «Хозяева!» И на это никто не откликнулся. Он прошел сени, заглянул в пустые хлевушки и вошел в отворенную избу. Старый красный петух и две курицы, подергивая ожерельями и постукивая ногтями, расхаживали по полу и лавкам. Увидев человека, они с отчаянным кудахтаньем, распустив крылья, забились по стенам, и одна из них вскочила на печку. Шестиаршинную избенку всю занимали печь с разломанной трубой, ткацкий стан, который, несмотря на летнее время, не был вынесен, и почерневший стол с выгнутою, треснувшею доскою.

Хотя на дворе было сухо, однако у порога стояла грязная лужа, образовавшаяся в прежний дождь от течи в потолке и крыше. Полатей не было. Трудно было подумать, чтоб место это было жилое,— такой решительный вид запустения и беспорядка носила на себе как наружность, так и внутренность избы; однако в этой избе жил Давыдка Белый со всем своим семейством. В настоящую минуту, несмотря на жар июньского дня, Давыдка, свернувшись с головой в полушубок, крепко спал, забившись в угол печи. Испуганная курица, вскочившая на печь и еще не успокоившаяся от волнения, расхаживая по спине Давыдки, не разбудила его.

Не видя никого в избе, Нехлюдов хотел уже выйти, как протяжный, влажный вздох изобличил хозяина.

— Эй! кто тут? — крикнул барин.

С печки послышался другой протяжный вздох.

— Кто там? Поди сюда!

Еще вздох, мычанье и громкий зевок отозвались на крик барина.

— Ну, что ж ты?

На печи медленно зашевелилось, показалась пола истертого тулупа; спустилась одна большая нога в изорванном лапте, потом другая, и наконец показалась вся фигура Давыдки Белого, сидевшего на печи и лениво и недовольно большим кулаком протиравшего глаза. Медленно нагнув голову, он, зевая, взглянул в избу и, увидев барина, стал поворачиваться немного скорее, чем прежде, но все еще так тихо, что Нехлюдов успел раза три пройти от лужи к ткацкому стану и обратно, а Давыдка все еще слезал с печи. Давыдка Белый был действительно белый: и волоса, и тело, и лицо его — все было чрезвычайно бело. Он был высок ростом и очень толст, но толст, как бывают мужики,— то есть не животом, а телом. Толщина его, однако, была какая-то мягкая, нездоровая. Довольно красивое лицо его, с светло-голубыми спокойными глазами и с широкой окладистой бородой, носило на себе отпечаток болезненности. На нем не было заметно ни загара, ни румянца; оно все было какого-то бледного, желтоватого цвета, с легким лиловым оттенком около глаз и как будто все заплыло жиром или распухло. Руки его были пухлы, желтоваты, как руки людей, больных водяною, и покрыты тонкими белыми волосами. Он так разоспался, что никак не мог совсем открыть глаз и стоять не пошатываясь и не зевая.

— Ну, как же тебе не совестно,— начал Нехлюдов,— середь белого дня спать, когда тебе двор строить надо, когда у тебя хлеба нет?..

Как только Давыдка опомнился от сна и стал понимать, что перед ним стоит барин, он сложил руки под живот, опустил голо-

ву, склонив ее немного набок, и не двигался ни одним членом. Он молчал; но выражение лица его и положение всего тела говорило: «Знаю, знаю; уж мне не первый раз это слышать. Ну бейте же; коли так надо — я снесу». Он, казалось, желал, чтоб барин перестал говорить, а поскорее прибил его, даже больно прибил по пухлым щекам, но оставил поскорее в покое. Замечая, что Давыдка не понимает его, Нехлюдов разными вопросами старался вывести мужика из его покорно терпеливого молчания.

— Для чего же ты просил у меня лесу, когда он у тебя вот уж целый месяц лежит, и самое свободное время так лежит — а?

Давыдка упорно молчал и не двигался.

— Ну, отвечай же!

Давыдка промычал что-то и моргнул своими белыми ресницами.

— Ведь надо работать, братец: без работы что же будет? Вот теперь у тебя хлеба уж нет, а все это отчего? Оттого, что у тебя земля дурно вспахана, да не передвоена, да не вовремя засеяна,— все от лени. Ты просишь у меня хлеба; ну, положим, я тебе дам, потому что нельзя тебе с голоду умирать, да ведь этак делать не годится. Чей хлеб я тебе дам? как ты думаешь, чей? Ты отвечай: чей хлеб я тебе дам? — упорно допрашивал Нехлюдов.

— Господский,— пробормотал Давыдка, робко и вопросительно поднимая глаза.

— А господский-то откуда? рассуди-ка сам, кто под него вспахал? заскородил? кто его посеял, убрал? мужички? так? Так вот видишь ли: уж если раздавать хлеб господский мужикам, так надо раздавать тем больше, которые больше за ним работали, а ты меньше всех,— на тебя и на барщине жалуются,— меньше всех работал, а больше всех господского хлеба просишь. За что же тебе давать, а другим нет? Ведь коли бы все, как ты, на боку лежали, так мы давно все бы на свете с голоду умерли. Надо, братец, трудиться, а это дурно — слышишь, Давыд?

— Слушаю-с,— медленно пропустил он сквозь зубы.

X

В это время мимо окна мелькнула голова крестьянской женщины, несшей полотна на коромысле, и чрез минуту в избу вошла Давыдкина мать, высокая женщина лет пятидесяти, весьма свежая и живая. Изрытое рябинами и морщинами лицо ее было некрасиво, но прямой твердый нос, сжатые тонкие губы и быстрые серые глаза выражали ум и энергию. Угловатость плеч, плоскость груди, сухость рук и развитие мышц на черных босых ногах ее свидетель-

ствовали о том, что она уже давно перестала быть женщиной и была только работником. Она бойко вошла в избу, притворила дверь, обдернула поневу и сердито взглянула на сына. Нехлюдов что-то хотел сказать ей, но она отвернулась от него и начала креститься на выглядывавшую из-за ткацкого стана черную деревянную икону. Окончив это дело, она оправила грязный клетчатый платок, которым была повязана голова ее, и низко поклонилась барину.

— С праздником Христовым, ваше сиятельство,— сказала она,— спаси тебя бог, отец ты наш...

Увидав мать, Давыдка заметно смутился, согнул несколько спину и еще ниже опустил шею.

— Спасибо, Арина,— отвечал Нехлюдов.— Вот я сейчас с твоим сыном говорил о вашем хозяйстве.

Арина, или, как ее прозвали мужики еще в девках, Аришка Бурлак, подперла подбородок кулаком правой руки, которая опиралась на ладонь левой, и, не дослушав барина, начала говорить так резко и звонко, что вся изба наполнилась звуком ее голоса и со двора могло показаться, что вдруг говорят несколько бабьих голосов:

— Чего, отец ты мой, чего с ним говорить! Ведь он говорить-то не может как человек. Вот он стоит, олух,— продолжала она, презрительно указывая головой на жалкую, массивную фигуру Давыдки.— Какое *мое* хозяйство, батюшка ваше сиятельство? Мы голь; хуже нас во всей слободе у тебя нет: ни на себя, ни на барщину — срам! А все он довел. Родили, кормили, поили, не чаяли дождаться парня. Вот и дождались: хлеб лопает, а работы от него, как от прелой вон той колоды. Только знает на печи лежать, либо вот стоит, башку свою дурацкую скребет,— сказала она, передразнивая его.— Хоть бы ты его, отец, постращал бы, что ли. Уж я сама прошу: накажи ты его ради господа бога, в солдаты ли — один конец! Мóчи моей с ним не стало — вот что.

— Ну, как тебе не грешно, Давыдка, доводить до этого свою мать? — сказал Нехлюдов, с укоризной обращаясь к мужику.

Давыдка не двигался.

— Ведь добро бы мужик хворый был,— с тою же живостью и теми же жестами продолжала Арина,— а то ведь только смотреть на него, ведь словно боров с мельницы раздулся. Есть, кажись, чему бы работать, гладух какой! Нет, вот пропадает на печи лодырем. Возьмется за что, так не глядели бы мои глаза: коли поднимется, коли передвинется, коли что,— говорила она, растягивая слова и неуклюже поворачивая с боку на бок своими угловатыми плечами.— Ведь вот нынче старик сам за хворостом в лес уехал, а ему наказал ямы копать; так нет вот, и лопаты в руки не брал...

(На минуту она замолчала...) Загубил он меня, сироту! — взвизгнула она вдруг, размахнув руками и с угрожающим жестом подходя к сыну.— Гладкая твоя морда лядащая, прости господи! (Она презрительно и вместе отчаянно отвернулась от него, плюнула и снова обратилась к барину с тем же одушевлением и с слезами на глазах, продолжая размахивать руками.) Ведь все одна, кормилец. Старик-от мой хворый, старый, да и тоже проку в нем нет, а я все одна да одна. Камень, и тот треснет. Хоть бы помереть, так легче было б: один конец. Заморил он меня, подлец! Отец ты наш! мóчи моей уж нет! Невестка с работы извелась — и мне то же будет.

XI

— Как извелась? — недоверчиво спросил Нехлюдов.

— С натуги, кормилец, как бог свят, извелась. Взяли мы ее запрошлый год из Бабурина,— продолжала она, вдруг переменяя свое озлобленное выражение на слезливое и печальное,— ну, баба была молодая, свежая, смирная, родной. Дома-то у отца, за золовками, в холе жила, нужды не видала, и как к нам поступила, как нашу работу узнала — и на барщину, и дома, и везде. Она да я — только и было. Мне что? я баба привычная, она же в тяжести была, отец ты мой, да горе стала терпеть: а все через силу работала — ну, и надорвалась, сердечная. Летось, петровками, еще на беду мальчишку родила, а хлебушка не было, кой-что, кой-что ели, отец ты мой, работа же спешная подошла — у ней груди и пересохни. Детенок первенький был, коровенки нетути, да и дело наше мужицкое: где уж рожком выкормишь! Ну известно, бабья глупость,— она этим пуще убиваться стала. А как детенок помер, уж она с той кручины выла-выла, голосила-голосила, да нужда, да работа, все хуже да хуже: так извелась в лето, сердечная, что к покрову и сама кончилась. Он ее порешил, бестия! — снова с отчаянной злобой обратилась она к сыну...— Что я тебя просить хотела, ваше сиятельство,— продолжала она после небольшого молчания, понижая голос и кланяясь.

— Что? — рассеянно спросил Нехлюдов, еще взволнованный ее рассказом.

— Ведь он мужик еще молодой. От меня уж какой работы ждать: нынче жива, а завтра помру. Как ему без жены быть? Ведь он тебе не мужик будет. Обдумай ты нас как-нибудь, отец ты наш.

— То есть ты женить его хочешь? Что ж? это дело!

— Сделай божескую милость; вы наши отцы-матери.

И, сделав знак своему сыну, она с ним вместе грохнулась в ноги барину.

— Зачем ты в землю кланяешься? — говорил Нехлюдов, с досадой поднимая ее за плечи.— Разве нельзя так сказать? Ты знаешь, что я этого не люблю. Жени сына, пожалуйста; я очень рад, коли у тебя есть невеста на примете.

Старуха поднялась и стала рукавом утирать сухие глаза. Давыдка последовал ее примеру и, потерев глаза пухлым кулаком, в том же терпеливо-покорном положении продолжал стоять и слушать, что говорила Арина.

— Невесты-то есть, как не быть! Вот Васютка Михейкина, девка ничего, да ведь без твоей воли не пойдет.

— Разве она не согласна?

— Нет, кормилец, коли по согласию пойдет!

— Ну так что ж делать? Я принуждать не могу; поищите другую: не у себя, так у чужих; я выкуплю, только бы шла по своей охоте, а насильно выдать замуж нельзя. И закона такого нет, да и грех это большой.

— Э-э-эх, кормилец! да статочное ли дело, глядя на нашу жизнь да на нашу нищету, чтоб охотой пошла? Солдатка самая и та такой нужды на себя принять не захочет. Какой мужик девку к нам во двор отдаст? Отчаянный не отдаст. Ведь мы голь, нищета. Одну, скажут, почитай что с голоду заморили, так и моей то же будет. Кто отдаст,— прибавила она, недоверчиво качая головой,— рассуди, ваше сиятельство.

— Так что ж я могу сделать?

— Обдумай ты нас как-нибудь, родимый,— повторила убедительно Арина,— что ж нам делать?

— Да что ж я могу обдумать? Я тоже ничего не могу сделать для вас в этом случае.

— Кто ж нас обдумает, коли не ты? — сказала Арина, опустив голову и с выражением печального недоумения разводя руками.

— Вот хлеба вы просили, так я прикажу вам отпустить,— сказал барин после небольшого молчания, во время которого Арина вздыхала и Давыдка вторил ей.— А больше я ничего не могу сделать.

Нехлюдов вышел в сени. Мать и сын, кланяясь, вышли за барином.

XII

— О-ох, сиротство мое! — сказала Арина, тяжело вздыхая.

Она остановилась и сердито взглянула на сына. Давыдка тотчас повернулся и, тяжело перевалив через порог свою толстую ногу в огромном грязном лапте, скрылся в противоположной двери.

— Что я с ним буду делать, отец? — продолжала Арина, обращаясь к барину.— Ведь сам видишь, какой он! Он ведь мужик не плохой, не пьяный и смирный мужик, ребенка малого не обидит — грех напрасно сказать: худого за ним ничего нету, а уж и бог знает, что такое с ним попритчилось, что он сам себе злодей стал. Ведь он и сам тому не рад. Веришь ли, батюшка, сердце кровью обливается на него глядя, какую он муку принимает. Ведь какой ни есть, а моя утроба носила; жалею его, уж как жалею!.. Ведь он не то, чтоб супротив меня, али отца, али начальства что б делал, он мужик боязливый, сказать, что дитя малое. Как ему вдовцом быть? Обдумай ты нас, кормилец,— повторила она, видимо желая изгладить дурное впечатление, которое ее брань могла произвести на барина...— Я, батюшка ваше сиятельство,— продолжала она доверчивым шепотом,— и так клала и этак прикидывала: ума не приложу, отчего он такой. Не иначе, как испортили его злые люди. (Она помолчала немного.) Коли найти человека, его излечить можно.

— Какой вздор ты говоришь, Арина! как можно испортить?

— И, отец ты мой, так испортят, что и навек нечеловеком сделают! Мало ли дурных людей на свете! По злобе вынет горсть земли из-под следу... или что там... и навек нечеловеком сделает; долго ли до греха? Я так себе думаю, не сходить ли мне к Дундуку, старику, что в Воробьевке живет: он знает всякие слова, и травы знает, и порчу снимает, и с креста воду спущает; так не пособит ли он? — говорила баба,— може, он его излечит.

«Вот она, нищета-то и невежество! — думал молодой барин, грустно наклонив голову и шагая большими шагами вниз по деревне.— Что мне делать с ним? Оставить его в этом положении невозможно и для себя, и для примера других, и для него самого, невозможно,— говорил он себе, вычитывая на пальцах эти причины.— Я не могу видеть его в этом положении, а чем вывести его? Он уничтожает все мои лучшие планы в хозяйстве. Если останутся такие мужики, мечты мои никогда не сбудутся,— подумал он, испытывая досаду и злобу на мужика за разрушение его планов.— Сослать на поселенье, как говорит Яков, коли он сам не хочет, чтоб ему было хорошо, или в солдаты? точно: по крайней мере и от него избавлюсь и еще заменю хорошего мужика»,— рассуждал он.

Он думал об этом с удовольствием: но вместе с тем какое-то неясное сознание говорило ему, что он думает только одной стороной ума, и что-то нехорошо. Он остановился. «Постой, о чем я думаю,— сказал он сам себе,— да, в солдаты, на поселенье. За что? Он хороший человек, лучше многих, да и почем я знаю... Отпустить на волю? — подумал он, рассматривая вопрос не одной

стороной ума, как прежде,— несправедливо, да и невозможно». Но вдруг ему пришла мысль, которая очень обрадовала его; он улыбнулся с выражением человека, разрешившего себе трудную задачу. «Взять во двор,— сказал он сам себе,— самому наблюдать за ним, и кротостью, увещаниями, выбором занятий приучать к работам и исправлять его».

XIII

«Так и сделаю»,— с радостным самодовольством сказал сам себе Нехлюдов, и, вспомнив, что ему надо было еще зайти к богатому мужику Дутлову, он направился к высокой и просторной связи с двумя трубами, стоявшей посредине деревни. Подходя к ней, он столкнулся у соседней избы с высокой, ненарядной бабой лет сорока, шедшей ему навстречу.

— С праздником, батюшка,— сказала ему, нисколько не робея, баба, останавливаясь подле него и радушно улыбаясь и кланяясь.

— Здравствуй, кормилица,— отвечал он,— как поживаешь? Вот иду к твоему соседу.

— Так-с, батюшка ваше сиятельство, хорошее дело. А что, к нам не пожалуете? Уж как бы мой старик рад был!

— Что ж, зайду, потолкуем с тобой, кормилица. Это твоя изба?

— Эта самая, батюшка.

И кормилица побежала вперед. Войдя вслед за нею в сени, Нехлюдов сел на кадушку, достал и закурил папиросу.

— Там жарко; лучше здесь посидим, потолкуем,— отвечал он на приглашение кормилицы войти в избу. Кормилица была еще свежая и красивая женщина. В чертах лица ее и особенно в больших черных глазах было большое сходство с лицом барина. Она сложила руки под занавеской и, смело глядя на барина и беспрестанно виляя головой, начала говорить с ним:

— Что ж это, батюшка, зачем изволите к Дутлову жаловать?

— Да хочу, чтоб он у меня землю нанял, десятин тридцать, и свое бы хозяйство завел, да еще чтоб лес он купил со мной вместе. Ведь деньги у него есть, так что ж им так, даром лежать? Как ты об этом думаешь, кормилица?

— Да что ж? Известно, батюшка, Дутловы люди сильные; во всей вотчине, почитай, первый мужик,— отвечала кормилица, поматывая головой.— Летось другую связь из своего леса поставил, господ не трудили. Лошадей у них, окромя жеребят да подростков, троек шесть соберется, а скотины, коров да овец как с

поля гонят да бабы выйдут на улицу загонять, так в воротах их то сопрется, что беда; да и пчел-то колодок сотни две, не то больше живет. Мужик оченно сильный, и деньги должны быть.

— А как ты думаешь, много у него денег? — спросил барин.

— Люди говорят, известно — по злобе, может, что у старика деньги немалые; ну да про то он сказывать не станет и сыновьям не открывает, а должны быть. Отчего ему рощей не заняться? Нешто побоится славу про деньги пустить. Он тоже, годов пять тому, лугами был с Шкаликом-дворником в доле, по малости стал заниматься, да обманул, что ли, его Шкалик-то, так рублев триста пропало у старика; с тех пор и бросил. Да как им исправным не быть, батюшка ваше сиятельство,— продолжала кормилица,— при трех землях живут, семья большая, все работники, да и старик-от — что же худо говорить — сказать, что хозяин настоящий. Во всем-то ему задача, что дивится народ даже; и на хлеб, и на лошадей, и на скотину, и на пчел, и на ребят-то счастье. Теперь всех поженил. То у своих девок брал, а теперь Илюшку на вольной женил, сам откупил. И тоже баба хорошая вышла.

— Что ж они, ладно живут? — спросил барин.

— Как в дому настоящая голова есть, то и лад будет. Хоть бы Дутловы — известно, бабье дело; невестки за печкой полаются, полаются, а все под стариком-то и сыновья ладно живут.

Кормилица помолчала немного.

— Теперь старик большего сына, Карпа, слыхать, хочет хозяином в дому поставить. Стар, мол, уж стал, мое дело около пчел. Ну Карп-то и хороший мужик, мужик аккуратный, а все далеко против старика хозяином не выйдет. Уж того разума нету!

— Так вот Карп захочет, может быть, заняться и землей и рощами,— как ты думаешь? — сказал барин, желавший от кормилицы выпытать все, что она знала про своих соседей.

— Вряд ли, батюшка,— продолжала кормилица,— старик сыну денег не открывал. Пока сам жив да деньги у него в доме, значит все стариков разум орудует; да и они больше извозом займаются.

— А старик не согласится?

— Побоится.

— Чего ж он побоится?

— Да как же можно, батюшка, мужику господскому свои деньги объявить? Неравён случай, и всех денег решится! Вот с дворником в дела вошел, да и ошибся. Где же ему с ним судиться! Так и пропали деньги; а с помещиком-то уж и вовсе квит как раз будет.

— Да, от этого...— сказал Нехлюдов, краснея.— Прощай, кормилица.

— Прощайте, батюшка ваше сиятельство. Покорно благодарим.

XIV

«Нейти ли домой?» — подумал Нехлюдов, подходя к воротам Дутловых и чувствуя какую-то неопределенную грусть и моральную усталость.

Но в это время новые тесовые ворота со скрипом отворились перед ним, и красивый, румяный белокурый парень лет восьмнадцати, в ямской одежде, показался в воротах, ведя за собой тройку крепконогих, еще потных, косматых лошадей, и, бойко встряхнув белыми волосами, поклонился барину.

— Что, отец дома, Илья? — спросил Нехлюдов.

— На осике, за двором,— отвечал парень, проводя, одну за другою, лошадей в полуотворенные ворота.

«Нет, выдержу характер, предложу ему, сделаю, что от меня зависит»,— подумал Нехлюдов и, пропустив лошадей, вошел на просторный двор Дутлова. Видно было, что со двора недавно был вывезен навоз: земля была еще черная, потная, и местами, особенно в воротищах, валялись красные волокнистые клочья. На дворе и под высокими навесами в порядке стояло много телег, сох, саней, колодок, кадок и всякого крестьянского добра; голуби перепархивали и ворковали в тени под широкими, прочными стропилами; пахло навозом и дегтем. В одном углу Карп и Игнат прилаживали новую подушку под большую троечную окованную телегу. Все три сына Дутловы были почти на одно лицо. Меньшой, Илья, встретившийся Нехлюдову в воротах, был без бороды, поменьше ростом, румянее и наряднее старших; второй, Игнат, был повыше ростом, почернее, имел бородку клином и, хотя был тоже в сапогах, ямской рубахе и поярковой шляпе, не имел того праздничного, беззаботного вида, как меньшой брат. Старший, Карп, был еще выше ростом, носил лапти, серый кафтан и рубаху без ластовиков, имел окладистую рыжую бороду и вид не только серьезный, но почти мрачный.

— Прикажете батюшку послать, ваше сиятельство? — сказал он, подходя к барину и слегка и неловко кланяясь.

— Нет, я сам пройду к нему на осик, посмотрю его устройство там; а мне с тобой поговорить нужно,— сказал Нехлюдов, отходя в другую сторону двора, с тем чтоб Игнат не мог слышать того, что он намерен был говорить с Карпом.

Самоуверенность и некоторая гордость, заметная во всех приемах этих двух мужиков, и то, что сказала ему кормилица, так смущали молодого барина, что ему трудно было решиться говорить с ними о предполагаемом деле. Он чувствовал себя как будто виноватым, и ему казалось легче говорить с одним братом так, чтоб другой не слышал. Карп как будто удивился, зачем барин отводит его в сторону, но последовал за ним.

— Вот что,— начал Нехлюдов, заминаясь,— я хотел тебя спросить: много у вас лошадей?

— Троек пять наберется, жеребятки есть тоже,— развязно отвечал Карп, почесывая спину.

— Что, братья твои на почте ездят?

— Гоняем почту на трех тройках, а то Илюшка в извоз ходил; вот только вернулся.

— Что ж, это вам выгодно? Сколько вы этим зарабатываете?

— Да какая выгода, ваше сиятельство? По крайности кормимся с лошадьми — и то слава богу.

— Так зачем же вы другим чем-нибудь не займетесь? Ведь можно бы вам леса покупать или землю нанимать.

— Оно, конечно, ваше сиятельство, землю нанять можно, когда б где сподручная была.

— Я вот что хочу вам предложить: чем вам извозом заниматься, чтоб только кормиться, наймите вы лучше землю десятин тридцать у меня. Весь клин, что за Саповым, я вам отдам, да заведите свое хозяйство большое.

И Нехлюдов, увлеченный своим планом о крестьянской ферме, который он не раз сам с собою повторял и передумывал, уже не запинаясь стал объяснять мужику свое предположенье о мужицкой ферме.

Карп слушал очень внимательно слова барина.

— Мы много довольны вашей милостью,— сказал он, когда Нехлюдов, замолчав, посмотрел на него, ожидая ответа.— Известно, тут худого ничего нет. Землей заниматься мужику лучше, чем с кнутиком ездить. По чужим людям ходит, всякого народа видит, балуется наш брат. Самое хорошее дело, что землей мужику заниматься.

— Так как ты думаешь?

— Поколи батюшка жив, так я что ж думать могу, ваше сиятельство? На то воля его.

— Проведи-ка меня на осик; я поговорю с ним.

— Сюда пожалуйте,— сказал Карп, медленно направляясь к заднему сараю. Он отворил низенькую калитку, ведущую на осик, и, пропустив в нее барина и затворив ее, подошел к Игнату и молча принялся за прерванную работу.

XV

Нехлюдов, нагнувшись, прошел через низенькую калитку, из-под тенистого навеса, на находившийся за двором осик. Небольшое пространство, окруженное покрытыми соломой и просвечивающими плетнями, в котором симметрично стояли покрытые обрезками досок улья с шумно вьющеюся около них золотистою пчелою, было все залито горячими, блестящими лучами июньского солнца. От калитки протоптанная тропинка вела на середину к деревянному голубцу с стоявшим на нем фольговым образком, ярко блестевшим на солнце. Несколько молодых лип, стройно подымавших выше соломенной крыши соседнего двора свои кудрявые макушки, вместе с звуком жужжания пчел, чуть слышно колыхались своей темно-зеленой свежей листвой. Все тени, от крытого забора, от лип и от ульев, покрытых досками, черно и коротко падали на мелкую курчавую траву, пробивавшуюся между ульями. Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце, открытой седой головой и плешью виднелась около двери рубленого, крытого свежей соломой мшеника, стоявшего между липами. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и, отирая полой рубахи свое потное, загорелое лицо и кротко-радостно улыбаясь, пошел навстречу барину.

В пчельнике было так уютно, радостно, тихо, прозрачно; фигура седого старичка с лучеобразными частыми морщинками около глаз, в каких-то широких башмаках, надетых на босую ногу, который, переваливаясь и добродушно, самодовольно улыбаясь, приветствовал барина в своих исключительных владениях, была так простодушно-ласкова, что Нехлюдов мгновенно забыл тяжелые впечатления нынешнего утра, и его любимая мечта живо представилась ему. Он видел уже всех своих крестьян такими же богатыми, добродушными, как старик Дутлов, и все ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своим богатством и счастием.

— Не прикажете ли сетку, ваше сиятельство? Теперь пчела злая, кусает,— сказал старик, снимая с забора пахнущий медом грязный холстинный мешок, пришитый к лубку, и предлагая его барину.— Меня пчела знает, не кусает,— прибавил он с кроткой улыбкой, которая почти не сходила с его красивого загорелого лица.

— Так и мне не нужно. Что, роится уж? — спросил Нехлюдов, сам не зная чему, тоже улыбаясь.

— Коли роиться, батюшка Митрий Миколаич,— отвечал старик, выражая какую-то особенную ласку в этом названии барина по имени и отчеству,— вот только, только что брать зачала как след. Нынче весна холодная была, изволите знать.

— А вот я читал в книжке,— начал Нехлюдов, отмахиваясь от пчелы, которая, забившись ему в волоса, жужжала под самым ухом,— что коли вощина прямо стоит, по жердочкам, то пчела раньше роится. Для этого делают такие улья из досок... с перекладин...

— Вы не извольте махать, она хуже,— сказал старичок,— а то сетку не прикажете ли подать?

Нехлюдову было больно; но по какому-то детскому самолюбию ему не хотелось признаться в этом, и он, еще раз отказавшись от сетки, продолжал рассказывать старичку о том устройстве ульев, про которое он читал в «Maison rustique» и при котором, по его мнению, должно было в два раза больше роиться; но пчела ужалила его в шею, и он сбился и замялся в средине рассуждения.

— Оно точно, батюшка Митрий Миколаич,— сказал старик с отеческим покровительством, глядя на барина,— точно в книжке пишут. Да, может, это так, дурно писано,— что вот, мол, он сделает, как мы пишем, а мы посмеемся потом. И это бывает! Как можно пчелу учить, куда ей вощину крепить? Она сама по колодке норовит, другой раз поперек, а то прямо. Вот извольте посмотреть,— прибавил он, оттыкая одну из ближайших колодок и заглядывая в отверстие, покрытое шумящей и ползающей пчелой по кривым вощинам,— вот эта молодая; она, видать, в голове у ней матка сидит, а вощину она и прямо и вбок ведет, как ей по колодке лучше,— говорил старик, видимо увлекаясь своим любимым предметом и не замечая положения барина.— Вот нынче она с калошкой идет; нынче день теплый, все видать,— прибавил он, затыкая опять улей и прижимая тряпкой ползающую пчелу и потом огребая грубой ладонью несколько пчел с морщинистого затылка. Пчелы не кусали его; но зато Нехлюдов уж едва мог удерживаться от желания выбежать из пчельника; пчелы местах в трех ужалили его и жужжали со всех сторон около его головы и шеи.

— А много у тебя колодок? — спросил он, отступая к калитке.

— Что бог дал,— отвечал Дутлов, посмеиваясь,— считать не надо, батюшка: пчела не любит. Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел,— продолжал он, указывая на тоненькие колодки, стоящие у забора,— об Осипе, кормилицыном муже; хоть бы вы ему заказали: в своей деревне так дурно делать по соседству, нехорошо.

— Как дурно делать?.. Ах, однако, они кусают! — отвечал барин, уже взявшись за ручку калитки.

— Да вот что ни год свою пчелу на моих молодых напущает. Им бы поправляться, а чужая пчела у них вощину повытаскает да и подсекает,— говорил старик, не замечая ужимок барина.

— Хорошо, после, сейчас...— проговорил Нехлюдов и, не в си-

лах уже более терпеть, отмахиваясь обеими руками, рысью выбежал в калитку.

— Землей потереть: оно ничего,— сказал старик, выходя на двор вслед за барином. Барин потер землею то место, где был ужален, краснея быстро оглянулся на Карпа и Игната, которые не смотрели на него, и сердито нахмурился.

XVI

— Что я насчет ребят хотел просить, ваше сиятельство,— сказал старик, как будто, или действительно, не замечая грозного вида барина.

— Что?

— Да вот лошадками, слава те господи, мы исправны, и батрак есть, так барщина за нами не постоит.

— Так что ж?

— Коли бы милость ваша была, ребят на оброк отпустить, так Илюшка с Игнатом в извоз бы на трех тройках пошли на все лето: може, что бы и заработали.

— Куда ж они пойдут?

— Да как придется,— вмешался Илюшка, который в это время, привязав лошадей под навес, подошел к отцу.— Кадминские ребята на восьми тройках в Ромен ездили, так, говорят, прокормились да десятка по три на тройку домой привезли; а то и в Одест, говорят, кормы дешевые.

— Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой,— сказал барин, обращаясь к старику и желая половчее навести его на разговор о ферме.— Скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься?

— Когда не выгоднее, ваше сиятельство! — опять вмешался Илья, бойко встряхивая волосами,— дома-то лошадей кормить нечем.

— Ну, а сколько ты в лето выработаешь?

— Да вот с весны, на что корма дорогие были, мы в Киев с товаром ездили, в Курском опять до Москвы крупу наложили, так и сами прокормились, и лошади сыты были, да и пятнадцать рублев денег привез.

— Оно не беда заниматься честным промыслом, каким бы то ни было,— сказал барин, снова обращаясь к старику,— но мне кажется, что можно бы другое занятие найти; да и работа эта такая, что ездит молодой малый везде, всякий народ видит, избаловаться может,— прибавил он, повторяя слова Карпа.

— Чем же нашему брату, мужику, заниматься, как не изво-

зом? — возразил старик с своей кроткой улыбкой.— Съездишь хорошо — и сам сыт и лошади сыты; а что насчет баловства, так они у меня, слава ти господи, не первый год ездят, да и сам я езжал, и дурного ни от кого не видал, окроме доброго.

— Мало ли чем другим вы бы могли заняться дома: и землей и лугами...

— Как можно, ваше сиятельство! — подхватил Илюшка с одушевлением,— уж мы с этим родились, все эти порядки нам известные, способное для нас дело, самое любезное дело, ваше сиятельство, как нашему брату с рядой ездить!

— А что, ваше сиятельство, просим чести, в избу не пожалуете ли? На новоселье еще не изволили быть,— сказал старик, низко кланяясь и мигая сыну. Илюшка рысью побежал в избу, а вслед за ним, вместе с стариком, вошел и Нехлюдов.

XVII

Войдя в избу, старик еще раз поклонился, смахнул полой зипуна с лавки переднего угла и, улыбаясь, спросил:

— Чем вас просить, ваше сиятельство?

Изба была белая (с трубой), просторная, с полатями и нарами. Свежие осиновые бревна, между которыми виднелся недавно завядший мох, еще не почернели; новые лавки и полати не сгладились, и пол еще не убился. Одна молодая, худощавая, с продолговатым задумчивым лицом крестьянская женщина, жена Ильи, сидела на нарах и качала ногой зыбку, на длинном шесте привешенную к потолку. В зыбке, чуть заметно дыша и закрыв глазенки, раскинувшись, дремал грудной ребенок; другая, плотная, красношекая баба, хозяйка Карпа, засучив выше локтя сильные, загорелые выше кисти руки, перед печью крошила лук в деревянной чашке. Рябая беременная баба, закрываясь рукавом, стояла около печи. В избе, кроме солнечного жара, было жарко от печи и сильно пахло только что испеченным хлебом. С полатей с любопытством поглядывали вниз, на барина, белокурые головки двух парнишек и девочки, забравшихся туда в ожидании обеда.

Нехлюдову было радостно видеть это довольство и вместе с тем было почему-то совестно перед бабами и детьми, которые все смотрели на него. Он, краснея, сел на лавку.

— Дай мне горячего хлеба кусочек, я его люблю,— сказал он и покраснел еще больше.

Карпова хозяйка отрезала большой кусок хлеба и на тарелке подала его барину. Нехлюдов молчал, не зная, что сказать; бабы тоже молчали; старик кротко улыбался.

«Однако чего ж я стыжусь? точно я виноват в чем-нибудь,— подумал Нехлюдов,— отчего ж мне не сделать предложение о ферме? Какая глупость!» Однако он все молчал.

— Что ж, батюшка Митрий Миколаич, как насчет ребят-то прикажете? — сказал старик.

— Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их, а найти здесь им работу,— вдруг, собравшись с духом, выговорил Нехлюдов.— Я, знаешь, что тебе придумал: купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу да еще землю...

Кроткая улыбка вдруг исчезла на лице старика.

— Как же, ваше сиятельство, на какие же деньги покупать будем? — перебил он барина.

— Да ведь небольшую рощу, рублей в двести,— заметил Нехлюдов.

Старик сердито усмехнулся.

— Хорошо, кабы были, отчего бы не купить,— сказал он.

— Разве у тебя уж этих денег нет? — с упреком сказал барин.

— Ох, батюшка ваше сиятельство! — отвечал с грустью в голосе старик, оглядываясь к двери,— только бы семью прокормить, а уж нам не рощи покупать.

— Да ведь есть у тебя деньги, что ж им так лежать? — настаивал Нехлюдов.

Старик вдруг пришел в сильное волнение; глаза его засверкали, плечи стало подергивать.

— Може, злые люди про меня сказали,— заговорил он дрожащим голосом,— так, верите богу,— говорил он, одушевляясь все более и более и обращая глаза к иконе,— что вот лопни мои глаза, провались я на сем месте, коли у меня что есть, окроме пятнадцати целковых, что Илюшка привез, и то подушные платить надо,— вы сами изволите знать: избу поставили...

— Ну, хорошо, хорошо! — сказал барин, вставая с лавки.— Прощайте, хозяева.

XVIII

«Боже мой! боже мой! — думал Нехлюдов, большими шагами направляясь к дому по тенистым аллеям заросшего сада и рассеянно обрывая листья и ветви, попадавшиеся ему на дороге,— неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой; тогда как я воображал, что, раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно-удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти

мысли?» И он с необыкновенной живостью и ясностью перенесся воображением за год тому назад, к этой счастливой минуте.

Рано-рано утром он встал прежде всех в доме и, мучительно-волнуемый какими-то затаенными, невыраженными порывами юности, без цели вышел в сад, оттуда в лес, и среди майской, сильной, сочной, но спокойной природы долго бродил один, без всяких мыслей, страдая избытком какого-то чувства и не находя выражения ему. То со всею прелестью неизвестного юное воображение его представляло ему сладострастный образ женщины, и ему казалось, что вот оно, невыраженное желание. Но какое-то другое, высшее чувство говорило *не то* и заставляло его искать чего-то другого. То неопытный, пылкий ум его, возносясь все выше и выше, в сферу отвлечения, открывал, как казалось ему, законы бытия, и он с гордым наслаждением останавливался на этих мыслях. Но снова высшее чувство говорило *не то* и снова заставляло его искать и волноваться. Без мыслей и желаний, как это всегда бывает после усиленной деятельности, он лег на спину под деревом и стал смотреть на прозрачные утренние облака, пробегавшие над ним по глубокому, бесконечному небу. Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и, бог знает каким путем, ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением,— мысль, что любовь и добро есть истина и счастие, и одна истина и одно возможное счастие в мире. Высшее чувство не говорило *не то;* он приподнялся и стал поверять эту мысль. «Оно, оно, так! — говорил он себе с восторгом, меряя все прежние убеждения, все явления жизни на вновь открытую, ему казалось, совершенно новую истину.— Какая глупость все то, что я знал, чему верил и что любил,— говорил он сам себе.— Любовь, самоотвержение — вот одно истинное, независимое от случая счастие!» — твердил он, улыбаясь и размахивая руками. Со всех сторон прикладывая эту мысль к жизни и находя ей подтверждение и в жизни и в том внутреннем голосе, говорившем ему, что это *то,* он испытывал новое для него чувство радостного волнения и восторга. «Итак, я должен делать добро, чтоб быть счастливым»,— думал он, и вся будущность его уже не отвлеченно, а в образах, в форме помещичьей жизни живо рисовалась пред ним.

Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которую он посвятит на добро и в которой, следовательно, будет счастлив. Ему не надо искать сферы деятельности: она готова; у него есть прямая обязанность — у него есть крестьяне... И какой отрадный и благодарный труд представляется ему — «действовать на этот простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа, избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которым, по счастью, я пользуюсь, исправить их пороки, порожден-

ные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро... Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду делать это для собственного счастия, я буду наслаждаться благодарностью их, буду видеть, как с каждым днем я дальше и дальше иду к предположенной цели. Чудная будущность! Как мог я прежде не видеть этого?»

«И кроме этого,— в то же время думал он,— кто мне мешает самому быть счастливым в любви к женщине, в счастии семейной жизни?» И юное воображение рисовало ему еще более обворожительную будущность: «Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть с старухой теткой; у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение — добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; а она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает... Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я все знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы». . . . . .
. . . . . .

XIX

«Где эти мечты? — думал теперь юноша, после своих посещений подходя к дому.— Вот уже больше года, что я ищу счастия на этой дороге, и что ж я нашел? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольным собою; но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нет, я просто недоволен собой! Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастия, а желаю, страстно желаю счастия. Я не испытал наслаждений, а уже отрезал от себя все, что дает их. Зачем? за что? Кому от этого стало легче? Правду писала тетка, что легче самому найти счастие, чем дать его другим. Разве богаче стали мои мужики? образовались или развились они нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжеле и тяжеле. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность... но нет, я вижу ложную рутину, порок,

недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни»,— подумал он, и ему почему-то вспоминалось, что соседи, как он слышал от няни, называли его недорослем; что денег у него в конторе ничего уже не оставалось; что выдуманная им новая молотильная машина, к общему смеху мужиков, только свистела, а ничего не молотила, когда ее в первый раз, при многочисленной публике, пустили в ход в молотильном сарае; что со дня на день надо было ожидать приезда земского суда для описи имения, которое он просрочил, увлекшись различными новыми хозяйственными предприятиями. И вдруг так же живо, как прежде представлялась ему деревенская прогулка по лесу и мечта о помещичьей жизни, так же живо представилась ему его московская студенческая комнатка, в которой он поздно ночью сидит, при одной свечке, с своим товарищем и обожаемым шестнадцатилетним другом. Они часов пять сряду читали и повторяли какие-то скучные записки гражданского права и, окончив их, послали за ужином, сложились на бутылку шампанского и разговорились о будущности, которая ожидает их. Как совсем иначе представлялась будущность молодому студенту! Тогда будущность была полна наслаждений, разнообразной деятельности, блеска, успехов и несомненно вела их обоих к лучшему, как тогда казалось, благу в мире — к славе.

«Он уж идет и быстро идет по этой дороге,— подумал Нехлюдов про своего друга,— а я...»

Но в это время он уже подходил к крыльцу дома, около которого стояло человек десять мужиков и дворовых, с различными просьбами дожидавшихся барина, и от мечтаний он должен был обратиться к действительности.

Тут была и оборванная, растрепанная и окровавленная крестьянская женщина, которая с плачем жаловалась на свекора, будто бы хотевшего убить ее; тут были два брата, уж второй год делившие между собой свое крестьянское хозяйство и с отчаянной злобой смотревшие друг на друга; тут был и небритый седой дворовый с дрожащими от пьянства руками, которого сын его, садовник, привел к барину, жалуясь на его беспутное поведение; тут был мужик, выгнавший свою бабу из дома за то, что она целую весну не работала; тут была и эта больная баба, его жена, которая, всхлипывая и ничего не говоря, сидела на траве у крыльца и выказывала свою воспаленную, небрежно обвязанную каким-то грязным тряпьем, распухшую ногу...

Нехлюдов выслушал все просьбы и жалобы и, посоветовав одним, разобрав других и обещав третьим, испытывая какое-то смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния, прошел в свою комнату.

XX

В небольшой комнате, которую занимал Нехлюдов, стоял старый кожаный диван, обитый медными гвоздиками; несколько таких же кресел; раскинутый старинный бостонный стол с инкрустациями, углублениями и медной оправой, на котором лежали бумаги, и старинный желтенький, открытый английский рояль с истертыми, пожелтевшими узенькими клавишами. Между окнами висело большое зеркало в старой позолоченной резной раме. На полу, около стола, лежали кипы бумаг, книг и счетов. Вообще вся комната имела бесхарактерный и беспорядочный вид; и этот живой беспорядок составлял резкую противоположность с чопорным старинно-барским убранством других комнат большого дома. Войдя в комнату, Нехлюдов сердито бросил шляпу на стол и сел на стул, стоявший пред роялем, положив ногу на ногу и опустив голову.

— Что, завтракать будете, ваше сиятельство? — сказала вошедшая в это время высокая, худая, сморщенная старуха, в чепце, большом платке и ситцевом платье.

Нехлюдов оглянулся на нее и помолчал немного, как будто опоминаясь.

— Нет, не хочется, няня,— сказал он и снова задумался.

Няня сердито покачала на него головой и вздохнула:

— Эх, батюшка Дмитрий Николаич, что скучаете? И не такое горе бывает, все пройдет — ей-богу...

— Да я и не скучаю. С чего ты взяла, матушка Маланья Фиогеновна? — отвечал Нехлюдов, стараясь улыбнуться.

— Да как не скучать, разве я не вижу? — с жаром начала говорить няня,— день-деньской один-одинешенек. И все-то вы к сердцу принимаете, до всего сами доходите; уж и кушать почти ничего не стали. Разве это резон? Хоть бы в город поехали или к соседям; а то виданное ли дело? Ваши года молодые, так обо всем сокрушаться! Ты меня извини, батюшка, я сяду,— продолжала няня, садясь около двери,— ведь такую повадку дали, что уж никто не боится. Разве так господа делают? Ничего тут хорошего нет: только себя губишь, да и народ-то балуется. Ведь наш народ какой: он этого не чувствует, право. Хоть бы к тетеньке поехал: она правду писала...— усовещивала его няня.

Нехлюдову все становилось грустнее и грустнее. Правая рука его, опиравшаяся на колено, вяло дотронулась до клавишей. Вышел какой-то аккорд, другой, третий... Нехлюдов подвинулся ближе, вынул из кармана другую руку и стал играть. Аккорды, которые он брал, были иногда неподготовленны, даже не совсем правильны, часто были обыкновенны до пошлости и не показывали в нем никакого музыкального таланта, но ему доставляло это заня-

тие какое-то неопределенное, грустное наслаждение. При всяком изменении гармонии он с замиранием сердца ожидал, что из него выйдет, и когда выходило что-то, он смутно дополнял воображением то, чего недоставало. Ему казалось, что он слышит сотни мелодий: и хор и оркестр, сообразный с его гармонией. Главное же наслаждение доставляла ему усиленная деятельность воображения, бессвязно и отрывисто, но с поразительною ясностью представлявшего ему в это время самые разнообразные, перемешанные и нелепые образы и картины из прошедшего и будущего. То представляется ему пухлая фигура Давыдки Белого, испуганно мигающего белыми ресницами при виде черного жилистого кулака своей матери, его круглая спина и огромные руки, покрытые белыми волосами, одним терпением и преданностью судьбе отвечающие на истязания и лишения. То он видит бойкую, осмелившуюся на дворне кормилицу и почему-то воображает, как она ходит по деревням и проповедует мужикам, что от помещиков деньги прятать нужно, и он бессознательно повторяет сам себе: «Да, от помещиков деньги прятать нужно». То вдруг ему представляется русая головка его будущей жены, почему-то в слезах и в глубоком горе склоняющаяся к нему на плечо; то он видит добрые голубые глаза Чуриса, с нежностью глядящие на единственного пузатого сынишку. Да, он в нем, кроме сына, видит помощника и спасителя. «Вот это любовь!» — шепчет он. Потом вспоминает он о матери Юхванки, вспоминает о выражении терпения и всепрощения, которое, несмотря на торчащий зуб и уродливые черты, он заметил на старческом лице ее. «Должно быть, в семьдесят лет ее жизни я первый заметил это»,— думает он и шепчет: «Странно!» — продолжая бессознательно перебирать клавиши и вслушиваться в звуки. Потом он живо вспоминает свое бегство с пчельника и выражение лиц Игната и Карпа, которым, видимо, хочется смеяться, но которые как будто не смотрят на него. Он краснеет и невольно оглядывается на няню, которая продолжает сидеть около двери и молча, пристально глядеть на него, изредка покачивая седой головой. Вот вдруг ему представляется тройка потных лошадей и красивая, сильная фигура Илюшки с светлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок. Он вспоминает, как боялся Илюшка, чтоб его не пустили в извоз, и как горячо заступался за это любезное для него дело; и он видит серое, раннее туманное утро, подсклизлую шоссейную дорогу и длинный ряд высоко нагруженных и покрытых рогожами троечных возов с большими черными буквами. Толстоногие сытые кони, погрохивая бубенчиками, выгибая спину и натягивая постромки, дружно тянут в гору, напряженно цепляя длинными ши-

нами за склизкую дорогу. Навстречу обоза, под гору, шибко бежит почта, звеня колоколами, которые отзываются далеко по крупному лесу, тянущемуся с обеих сторон дороги.

— А-а-ай! — громко ребяческим голосом кричит передовой ямщик с бляхой на поярковой шляпе, подымая кнут над головой.

У переднего колеса первого воза тяжело шагает в огромных сапогах Карп, с своей рыжей бородой и угрюмым взглядом. На втором возу высовывается красивая голова Илюшки, который, под рогожей передка, славно пригрелся на зорьке. Три тройки, нагруженные чемоданами, с грохотом колес, звоном колокольчиков и криком пронеслись мимо; Илюшка снова прячет свою красивую голову под рогожу и засыпает. Вот и ясный теплый вечер. Перед усталыми, столпившимися у постоялого двора тройками скрипят тесовые ворота, и один за другим, подпрыгивая по доске, лежащей в воротах, скрываются высокие рогожные возы под просторными навесами. Илюшка весело здоровается с белолицей, широкогрудой хозяйкой, которая спрашивает: «Издалече ли? и много ли ужинать будут?», с удовольствием поглядывая на красивого парня своими блестящими сладкими глазами. Вот он, убрав коней, идет в жаркую, набитую народом избу, крестится, садится за полную деревянную чашку, ведя веселую речь с хозяйкой и товарищами. А вот и ночлег его под открытым звездным небом, виднеющимся из-под навеса, на пахучем сене, около лошадей, которые, переминаясь и похрапывая, перебирают корм в деревянных яслях. Он подошел к сену, повернулся на восток и, раз тридцать сразу перекрестив свою широкую, сильную грудь и встряхнув светлыми кудрями, прочел «Отче» и раз двадцать «Господи помилуй» и, увернувшись с головой в армяк, засыпает здоровым, беззаботным сном сильного, свежего человека. И вот видит он во сне города: Киев с угодниками и толпами богомольцев, Ромен с купцами и товарами, видит Одест и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми, чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше — и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами,— и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше...

«Славно!» — шепчет себе Нехлюдов; и мысль: зачем он не Илюшка — тоже приходит ему.

1856

ТРИ СМЕРТИ

РАССКАЗ

Была осень. По большой дороге скорой рысью ехали два экипажа. В передней карете сидели две женщины. Одна была госпожа, худая и бледная. Другая — горничная, глянцевито-румяная и полная. Короткие сухие волоса выбивались из-под полинявшей шляпки, красная рука в прорванной перчатке порывисто поправляла их. Высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем, быстрые черные глаза то следили через окно за убегающими полями, то робко взглядывали на госпожу, то беспокойно окидывали углы кареты. Перед носом горничной качалась привешанная к сетке барынина шляпка, на коленях ее лежал щенок, ноги ее поднимались от шкатулок, стоявших на полу, и чуть слышно подбарабанивали по ним под звук тряски рессор и побрякиванья стекол.

Сложив руки на коленях и закрыв глаза, госпожа слабо покачивалась на подушках, заложенных ей за спину, и, слегка наморщившись, внутренно покашливала. На голове ее был белый ночной чепчик и голубая косыночка, завязанная на нежной, бледной шее. Прямой ряд, уходя под чепчик, разделял русые, чрезвычайно плоские напомаженные волосы, и было что-то сухое, мертвенное в белизне кожи этого просторного ряда. Вялая, несколько желтоватая кожа неплотно обтягивала тонкие и красивые очертания лица и краснелась на щеках и скулах. Губы были сухи и неспокойны, редкие ресницы не курчавились, и дорожный суконный капот делал прямые складки на впалой груди. Несмотря на то, что глаза были закрыты, лицо госпожи выражало усталость, раздраженье и привычное страданье.

Лакей, облокотившись на свое кресло, дремал на козлах, почтовый ямщик, покрикивая бойко, гнал крупную потную четверку, изредка оглядываясь на другого ямщика, покрикивавшего сзади в

коляске. Параллельные широкие следы шин ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги. Небо было серо и холодно, сырая мгла сыпалась на поля и дорогу. В карете было душно и пахло одеколоном и пылью. Больная потянула назад голову и медленно открыла глаза. Большие глаза были блестящи и прекрасного темного цвета.

— Опять,— сказала она, первически отталкивая красивой худощавой рукой конец салопа горничной, чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге, и рот ее болезненно изогнулся. Матреша подобрала обеими руками салоп, приподнялась на сильных ногах и села дальше. Свежее лицо ее покрылось ярким румянцем. Прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной. Госпожа уперлась обеими руками о сиденье и также хотела приподняться, чтоб подсесть выше; но силы отказали ей. Рот ее изогнулся, и все лицо ее исказилось выражением бессильной, злой иронии.— Хоть бы ты помогла мне!.. Ах! ненужно! Я сама могу, только не клади за меня свои какие-то мешки, сделай милость!.. Да уж не трогай лучше, коли ты не умеешь! — Госпожа закрыла глаза и, снова быстро подняв веки, взглянула на горничную. Матреша, глядя на нее, кусала нижнюю красную губу. Тяжелый вздох поднялся из груди больной, но вздох, не кончившись, превратился в кашель. Она отвернулась, сморщилась и обеими руками схватилась за грудь. Когда кашель прошел, она снова закрыла глаза и продолжала сидеть неподвижно. Карета и коляска въехали в деревню. Матреша высунула толстую руку из-под платка и перекрестилась.

— Что это? — спросила госпожа.

— Станция, сударыня.

— Что ж ты крестишься, я спрашиваю?

— Церковь, сударыня.

Больная повернулась к окну и стала медленно креститься, глядя во все большие глаза на большую деревенскую церковь, которую объезжала карета больной.

Карета и коляска вместе остановились у станции. Из коляски вышли муж больной женщины и доктор и подошли к карете.

— Как вы себя чувствуете? — спросил доктор, щупая пульс.

— Ну, как ты, мой друг, не устала? — спросил муж по-французски,— не хочешь ли выйти?

Матреша, подобрав узелки, жалась в угол, чтобы не мешать разговаривать.

— Ничего, то же самое,— отвечала больная.— Я не выйду.

Муж, постояв немного, вошел в станционный дом. Матреша, выскочив из кареты, на цыпочках побежала по грязи в ворота.

— Коли мне плохо, это не резон, чтобы вам не завтракать,— слегка улыбаясь, сказала больная доктору, который стоял у окна.

«Никому им до меня дела нет,— прибавила она про себя, как только доктор, тихим шагом отойдя от нее, рысью взбежал на ступени станции.— Им хорошо, так и все равно. О! Боже мой!»

— Ну что, Эдуард Иванович,— сказал муж, встречая доктора и с веселой улыбкой потирая руки,— я велел погребец принести, вы как думаете насчет этого?

— Можно,— отвечал доктор.

— Ну, что она? — со вздохом спросил муж, понижая голос и поднимая брови.

— Я говорил: она не может доехать не только до Италии,— до Москвы дай бог. Особенно по этой погоде.

— Так что ж делать? Ах, боже мой! боже мой! — Муж закрыл глаза рукою.— Подай сюда,— прибавил он человеку, вносившему погребец.

— Оставаться надо было,— пожав плечами, отвечал доктор.

— Да скажите, что же я мог сделать? — возразил муж,— ведь я употребил все, чтобы удержать ее, я говорил и о средствах, и о детях, которых мы должны оставить, и о моих делах,— она ничего слышать не хочет. Она делает планы о жизни за границей, как бы здоровая. А сказать ей о ее положении — ведь это значило бы убить ее.

— Да она уже убита, вам надо знать это, Василий Дмитрич. Человек не может жить, когда у него нет легких, и легкие опять вырасти не могут. Грустно, тяжело, но что ж делать? Наше и ваше дело только в том, чтобы конец ее был сколь возможно спокоен. Тут духовник нужен.

— Ах, боже мой! да вы поймите мое положение, напоминая ей о последней воле. Пусть будет, что будет, а я не скажу ей этого. Ведь вы знаете, как она добра...

— Все-таки попробуйте уговорить ее остаться до зимнего пути,— сказал доктор, значительно покачивая головой,— а то дорогой может быть худо...

— Аксюша, а Аксюша! — визжала смотрительская дочь, накинув на голову кацавейку и топчась на грязном заднем крыльце,— пойдем ширкинскую барыню посмотрим, говорят, от грудной болезни за границу везут. Я никогда еще не видала, какие в чахотке бывают.

Аксюша выскочила на порог, и обе, схватившись за руки, побежали за ворота. Уменьшив шаг, они прошли мимо кареты и заглянули в опущенное окно. Больная повернула к ним голову, но, заметив их любопытство, нахмурилась и отвернулась.

— Мм-а-тушки! — сказала смотрительская дочь, быстро оборачивая голову.— Какая была красавица чудная, нынче что стало? Страшно даже. Видела, видела, Аксюша?

— Да, какая худая! — поддакивала Аксюша.— Пойдем еще посмотрим, будто к колодцу. Вишь, отвернулась, а я еще видела. Как жалко, Маша.

— Да и грязь же какая! — отвечала Маша, и обе побежали назад в ворота.

«Видно, я страшна стала,— думала больная.— Только бы поскорей, поскорей за границу, там я скоро поправлюсь».

— Что, как ты, мой друг? — сказал муж, подходя к карете и прожевывая кусок.

«Все один и тот же вопрос,— подумала больная,— а сам ест!»

— Ничего,— пропустила она сквозь зубы.

— Знаешь ли, мой друг, я боюсь, тебе хуже будет от дороги в эту погоду, и Эдуард Иваныч то же говорит. Не вернуться ли нам?

Она сердито молчала.

— Погода поправится, может быть, путь установится, и тебе бы лучше стало; мы бы и поехали все вместе.

— Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь в Берлине и была бы совсем здорова.

— Что ж делать, мой ангел, невозможно было, ты знаешь. А теперь, ежели бы ты осталась на месяц, ты бы славно поправилась; я бы кончил дела, и детей бы мы взяли...

— Дети здоровы, а я нет.

— Да ведь пойми, мой друг, что с этой погодой, ежели тебе сделается хуже дорогой... тогда по крайней мере дома.

— Что ж, что дома?.. Умереть дома? — вспыльчиво отвечала больная. Но слово *умереть,* видимо, испугало ее, она умоляюще и вопросительно посмотрела на мужа. Он опустил глаза и молчал. Рот больной вдруг детски изогнулся, и слезы полились из ее глаз. Муж закрыл лицо платком и молча отошел от кареты.

— Нет, я поеду,— сказала больная, подняла глаза к небу, сложила руки и стала шептать несвязные слова.— Боже мой! за что же? — говорила она, и слезы лились сильнее. Она долго и горячо молилась, но в груди так же было больно и тесно, в небе, в полях и по дороге было так же серо и пасмурно, и та же осенняя мга, ни чаще, ни реже, а все так же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиков, которые, переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету...

. . . . . .

II

Карета была заложена; но ямщик мешкал. Он зашел в ямскую избу. В избе было жарко, душно, темно и тяжело, пахло жильем, печеным хлебом, капустой и овчиной. Несколько человек ямщиков было в горнице, кухарка возилась у печи, на печи в овчинах лежал больной.

— Дядя Хведор! а дядя Хведор,— сказал молодой парень, ямщик в тулупе и с кнутом за поясом, входя в комнату и обращаясь к больному.

— Ты чаво, шабала, Федьку спрашиваешь? — отозвался один из ямщиков,— вишь, тебя в карету ждут.

— Хочу сапог попросить, свои избил,— отвечал парень, вскидывая волосами и оправляя рукавицы за поясом.— Аль спит? А дядя Хведор? — повторил он, подходя к печи.

— Чаво? — послышался слабый голос, и рыжее худое лицо пагнулось с печи. Широкая, исхудалая и побледневшая рука, покрытая волосами, натягивала армяк на острое плечо в грязной рубахе.— Дай испить, брат; ты чаво?

Парень подал ковшик с водой.

— Да что, Федя,— сказал он, переминаясь,— тебе, чай, сапог новых не надо теперь; отдай мне, ходить, чай, не будешь.

Больной, припав усталой головой к глянцевитому ковшу и макая редкие отвисшие усы в темной воде, слабо и жадно пил. Спутанная борода его была нечиста, впалые, тусклые глаза с трудом поднялись на лицо парня. Отстав от воды, он хотел поднять руку, чтобы отереть мокрые губы, но не мог и отерся о рукав армяка. Молча и тяжело дыша носом, он смотрел прямо в глаза парню, сбираясь с силами.

— Може, ты кому пообещал уже,— сказал парень,— так даром. Главное дело, мокреть на дворе, а мне с работой ехать, я и подумал себе: дай у Федьки сапог попрошу, ему, чай, не надо. Може, тебе самому надобны, ты скажи...

В груди больного что-то стало переливаться и бурчать; он перегнулся и стал давиться горловым, неразрешавшимся кашлем.

— Уж где надобны,— неожиданно сердито на всю избу затрещала кухарка,— второй месяц с печи не слезает. Вишь, надрывается, даже у самой внутренность болит, как слышишь только. Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут. А уж давно пора, прости господи согрешенье. Вишь, надрывается. Либо перевесть его, что ль, в избу в другую, или куда! Такие больницы, слышь, в городу есть; а то разве дело — занял весь угол, да и шабаш. Нет тебе простору никакого. А тоже, чистоту спрашивают.

— Эй, Серега! иди садись, господа ждут,— крикнул в дверь почтовый староста.

Серега хотел уйти, не дождавшись ответа, но больной глазами, во время кашля, давал ему знать, что хочет ответить.

— Ты сапоги возьми, Серега,— сказал он, подавив кашель и отдохнув немного.— Только, слышь, камень купи, как помру,— хрипя, прибавил он.

— Спасибо, дядя, так я возьму, а камень, ей-ей, куплю.

— Вот, ребята, слышали,— мог выговорить еще больной и снова перегнулся вниз и стал давиться.

— Ладно, слышали,— сказал один из ямщиков.— Иди, Серега, садись, а то вон опять староста бежит. Барыня, вишь, ширкинская больная.

Серега живо скинул свои прорванные, несоразмерно большие сапоги и швырнул под лавку. Новые сапоги дяди Федора пришлись как раз по ногам, и Серега, поглядывая на них, вышел к карете.

— Эк сапоги важные! дай помажу,— сказал ямщик с помазкою в руке, в то время как Серега, влезая на козлы, подбирал вожжи.— Даром отдал?

— Аль завидно? — отвечал Серега, приподнимаясь и повертывая около ног полы армяка.— Пущай! Эх вы, любезные! — крикнул он на лошадей, взмахнув кнутиком; и карета и коляска с своими седоками, чемоданами и важами, скрываясь в сером осеннем тумане, шибко покатились по мокрой дороге.

Больной ямщик остался в душной избе на печи и, не выкашлявшись, через силу перевернулся на другой бок и затих.

В избе до вечера приходили, уходили, обедали,— больного было не слышно. Перед ночью кухарка влезла на печь и через его ноги достала тулуп.

— Ты на меня не серчай, Настасья,— проговорил больной,— скоро опростаю угол-то твой.

— Ладно, ладно, что ж, ничаво,— пробормотала Настасья.— Да что у тебя болит-то, дядя? Ты скажи.

— Нутро все изныло. Бог его знает что.

— Небось и глотка болит, как кашляешь?

— Везде больно. Смерть моя пришла — вот что. Ох, ох, ох! — простонал больной.

— Ты ноги-то укрой вот так,— сказала Настасья, по дороге натягивая на него армяк и слезая с печи.

Ночью в избе слабо светил ночник. Настасья и человек десять ямщиков с громким храпом спали на полу и по лавкам. Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на печи. К утру он затих совершенно.

— Чудно́ что-то я нынче во сне видела,— говорила кухарка, в полусвете потягиваясь на другое утро.— Вижу я, будто дядя Хведор с печи слез и пошел дрова рубить. Дай, говорит, Настя, я тебе подсоблю; а я ему говорю: куда уж тебе дрова рубить, а он как схватит топор да и почнет рубить, так шибко, шибко, только щепки летят. Что ж, я говорю, ты ведь болен был. Нет, говорит, я здоров, да как замахнется, на меня страх и нашел. Как я закричу, и проснулась. Уж не помер ли? Дядя Хведор! а дядя!

Федор не откликался.

— И то, не помер ли? Пойти посмотреть,— сказал один из проспувшихся ямщиков.

Свисшая с печи худая рука, покрытая рыжеватыми волосами, была холодна и бледна.

— Пойти смотрителю сказать, кажись, помер,— сказал ямщик.

Родных у Федора не было — он был дальний. На другой день его похоронили на новом кладбище, за рощей, и Настасья несколько дней рассказывала всем про сон, который она видела, и про то, что она первая хватилась дяди Федора.

III

Пришла весна. По мокрым улицам города, между навозными льдинками, журчали торопливые ручьи; цвета одежд и звуки говора движущегося народа были ярки. В садиках за заборами пухнули почки деревь, и ветви их чуть слышно покачивались от свежего ветра. Везде лились и капали прозрачные капли... Воробьи нескладно подпискивали и подпархивали на своих маленьких крыльях. На солнечной стороне, на заборах, домах и деревьях, все двигалось и блестело. Радостно, молодо было и на небе, и на земле, и в сердце человека.

На одной из главных улиц, перед большим барским домом, была постелена свежая солома; в доме была та самая умирающая больная, которая спешила за границу.

У затворенных дверей комнаты стояли муж больной и пожилая женщина. На диване сидел священник, опустив глаза и держа что-то завернутым в епитрахили. В углу, в вольтеровском кресле, лежала старушка — мать больной — и горько плакала. Подле нее горничная держала на руке чистый носовой платок, дожидаясь, чтобы старушка спросила его; другая чем-то терла виски старушки и дула ей под чепчик в седую голову.

— Ну, Христос с вами, мой друг,— говорил муж пожилой женщине, стоявшей с ним у двери,— она такое имеет доверие к

вам, вы так умеете говорить с ней, уговорите ее хорошенько, голубушка, идите же.— Он хотел уже отворить ей дверь; но кузина удержала его, приложила несколько раз платок к глазам и встряхнула головой.

— Вот теперь кажется, я не заплакана,— сказала она и, сама отворив дверь, прошла в нее.

Муж был в сильном волнении и казался совершенно растерян. Он направился было к старушке; но, не дойдя несколько шагов, повернулся, прошел по комнате и подошел к священнику. Священник посмотрел на него, поднял брови к небу и вздохнул. Густая с проседью бородка тоже поднялась кверху и опустилась.

— Боже мой! Боже мой! — сказал муж.

— Что делать? — вздыхая, сказал священник, и снова брови и бородка его поднялись кверху и опустились.

— И матушка тут! — почти с отчаяньем сказал муж.— Она не вынесет этого. Ведь так любить, так любить ее, как она... я не знаю. Хоть бы вы, батюшка, попытались успокоить ее и уговорить уйти отсюда.

Священник встал и подошел к старушке.

— Точно-с, материнское сердце никто оценить не может,— сказал он,— однако бог милосерд.

Лицо старушки вдруг стало все подергиваться, и с ней сделалась истерическая икота.

— Бог милосерд,— продолжал священник, когда она успокоилась немного.— Я вам доложу, в моем приходе был один больной, много хуже Марьи Дмитриевны, и что же, простой мещанин травами вылечил в короткое время. И даже мещанин этот самый теперь в Москве. Я говорил Василью Дмитриевичу — можно бы испытать. По крайности утешенье для больной бы было. Для бога все возможно.

— Нет, уже ей не жить,—проговорила старушка,— чем бы меня, а ее бог берет.— И истерическая икота усилилась так, что чувства оставили ее.

Муж больной закрыл лицо руками и выбежал из комнаты.

В коридоре первое лицо, встретившее его, был шестилетний мальчик, во весь дух догонявший младшую девочку.

— Что ж детей-то, не прикажете к мамаше сводить? — спросила няня.

— Нет, она не хочет их видеть. Это расстроит ее.

Мальчик остановился на минуту, пристально всматриваясь в лицо отца, и вдруг подбрыкнул ногой и с веселым криком побежал дальше.

— Это она будто бы вороная, папаша! — прокричал мальчик, указывая на сестру.

Между тем в другой комнате кузина сидела подле больной и искусно веденным разговором старалась приготовить ее к мысли о смерти. Доктор у другого окна мешал питье.

Больная, в белом капоте, вся обложенная подушками, сидела на постели и молча смотрела на кузину.

— Ах, мой друг,— сказала она, неожиданно перебивая ее,— не приготавливайте меня. Не считайте меня за дитя. Я христианка. Я все знаю. Я знаю, что мне жить недолго, я знаю, что ежели бы муж мой раньше послушал меня, я бы была в Италии и, может быть,— даже наверно,— была бы здорова. Это все ему говорили. Но что ж делать, видно, богу было так угодно. На всех нас много грехов, я знаю это; но надеюсь на милость бога, всем простится, должно быть, всем простится. Я стараюсь понять себя. И на мне было много грехов, мой друг. Но зато сколько я выстрадала. Я старалась сносить с терпеньем свои страданья...

— Так позвать батюшку, мой друг? вам будет еще легче, причастившись,— сказала кузина.

Больная нагнула голову в знак согласья.

— Боже! прости меня грешную,— прошептала она.

Кузина вышла и мигнула батюшке.

— Это ангел! — сказала она мужу с слезами на глазах.

Муж заплакал, священник прошел в дверь, старушка все еще была без памяти, и в первой комнате стало совершенно тихо. Чрез пять минут священник вышел из двери и, сняв епитрахиль, оправил волосы.

— Слава богу, оне спокойнее теперь,—сказал он,— желают вас видеть.

Кузина и муж вышли. Больная тихо плакала, глядя на образ.

— Поздравляю тебя, мой друг,— сказал муж.

— Благодарствуй! Как мне теперь хорошо стало, какую непонятную сладость я испытываю,—говорила больная, и легкая улыбка играла на ее тонких губах.— Как бог милостив! Не правда ли, он милостив и всемогущ? — И она снова с жадной мольбой смотрела полными слез глазами на образ.

Потом вдруг как будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подозвала к себе мужа.

— Ты никогда не хочешь сделать, что я прошу,— сказала она слабым и недовольным голосом.

Муж, вытянув шею, покорно слушал ее.

— Что, мой друг?

— Сколько раз я говорила, что эти доктора ничего не знают, есть простые лекарки, они вылечивают... Вот батюшка говорил... мещанин... Пошли.

— За кем, мой друг?

— Боже мой! ничего не хочет понимать!..— И больная сморщилась и закрыла глаза.

Доктор, подойдя к ней, взял ее за руку. Пульс заметно бился слабее и слабее. Он мигнул мужу. Больная заметила этот жест и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и заплакала.

— Не плачь, не мучь себя и меня,— говорила больная,— это отнимает у меня последнее спокойствие.

— Ты ангел! — сказала кузина, целуя ее руку.

— Нет, сюда поцелуй, только мертвых целуют в руку. Боже мой! Боже мой!

В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома. В большой комнате с затворенными дверями сидел один дьячок и в нос, мерным голосом, читал песни Давида. Яркий восковой свет с высоких серебряных подсвечников падал на бледный лоб усопшей, на тяжелые восковые руки и окаменелые складки покрова, страшно поднимающегося на коленях и пальцах ног. Дьячок, не понимая своих слов, мерно читал, и в тихой комнате странно звучали и замирали слова. Изредка из дальней комнаты долетали звуки детских голосов и их топота.

«Сокроешь лицо твое — смущаются,—гласил псалтырь,— возьмешь от них дух — умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой — созидаются и обновляют лицо земли. Да будет господу слава вовеки».

Лицо усопшей было строго, спокойно и величаво. Ни в чистом холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?

IV

Через месяц над могилой усопшей воздвиглась каменная часовня. Над могилой ямщика все еще не было камня, и только светло-зеленая трава пробивала над бугорком, служившим единственным признаком прошедшего существования человека.

— А грех тебе будет, Серега,— говорила раз кухарка на станции,— коли ты Хведору камня не купишь. То говорил: зима, зима, а нынче что ж слова не держишь? Ведь при мне было. Он уж приходил к тебе раз просить, не купишь, еще раз придет, душить станет.

— Да что, я разве отрекаюсь,— отвечал Серега,— я камень куплю, как сказал, куплю, в полтора целковых куплю. Я не забыл, да ведь привезть надо. Как случай в город будет, так и куплю.

— Ты бы хошь крест поставил, вот что,— отозвался старый ямщик,— а то впрямь дурно. Сапоги-то носишь.

— Где его возьмешь, крест-то? из полена не вытешешь?

— Что говоришь-то? Из полена не вытешешь, возьми топор да в рощу пораньше сходи, вот и вытешешь. Ясенку ли, что ли, срубишь. Вот и голубец будет. А то, поди, еще объездчика пой водкой. За всякой дрянью поить не наготовишься. Вон я намедни вагу сломал, новую вырубил важную, никто слова не сказал.

Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел в рощу.

На всем лежал холодный матовый покров еще падавшей, не освещенной солнцем росы. Восток незаметно яснел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не шевелились. Только изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелеста по земле нарушали тишину леса. Вдруг странный, чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса. Но снова послышался звук и равномерно стал повторяться внизу около ствола одного из неподвижных деревьев. Одна из макуш необычайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево.

Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновенье все затихло, но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие, со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями.

Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки спеша разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых дерев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом.

1858

Посвящается памяти М. А. Стаховича [1]

ГЛАВА I

Все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее — лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржанье столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

— Но-о! успеешь! проголодались! — сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота.— Куда? — крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота.

Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку.

Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика, они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот, только одна старая караковая гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.

— Но-о! — еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора.

Из всех лошадей, находившихся на варке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую соху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий ме-

[1] Сюжет этот был задуман М. А. Стаховичем, автором «Ночного» и «Наездники», и передан автору А. А. Стаховичем.

рин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.

— Балуй! — опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник.

Пегий мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело, тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.

— Что вздыхаешь? — сказал Нестер.

Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбранили за это дрянью и стали стягивать подпруги. При этом мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трок, он еще раз приложил уши и даже оглянулся. Хотя он знал, что это не поможет, он все-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно и всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила, тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса.

Нестер по короткому стремени влез на мерина, размотал кнут, выпростал из-под колена казакин, уселся на седле особенной, кучерской, охотничьей, табунщичьей посадкой и дернул за поводья. Мерин поднял голову, изъявляя готовность идти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что, прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику Ваське и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать: «Васька! а Васька! Маток выпустил, что ль? Куда ты, лешой! Но! Аль спишь. Отворяй, пущай наперед матки пройдут» — и т. д.

Ворота заскрипели, Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить: молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно, по одной, в воротах пронося свои утробы. Молодые кобылки теснились иногда по двое, по трое, кладя друг другу головы через спины, и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток.

Молодая кобылка-шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и набок голову, взнесла задом и взвизгнула; но все-

таки не поспела забежать вперед серой старой, осыпанной гречкой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда впереди всех лошадей.

За несколько минут столь оживленный полный варок печально опустел; грустно торчали столбы под пустыми навесами, и виднелась одна измятая, унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения пегому мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трок, и, ковыляя своими погнутыми нерасходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера.

«Знаю: теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой,— думал мерин.— Я рад этому, потому что рано поутру, с росой, мне приятен этот запах и напоминает много приятного; досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком»,— рассуждал мерин и, осторожно ступая покороблеными ногами, шел посередине дороги.

ГЛАВА II

Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун между тем уже медленно стал разбираться по не сбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его.

Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза. «Любит, старый пес!» — проговорил Нестер. Мерин же нисколько не любил этого чесанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно, он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сиживал обыкновенно.

Поступок этот хотя и огорчил пегого мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и принюхиваясь к чему-то и только для рассеянья пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого вниманья на то, что выделывали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натощак, а потом уже есть, он выбрал где поотложее и просторнее берег и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким пегим хвостом с оголенной репицею.

Бурая кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом. Но пегий уж напился и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры отставляя ноги и не топча лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех четырех больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул.

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.

Мерин был роста большого — не мене двух аршин трех вершков. Мастью он был вороно-пегий. Таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялась из трех пятен: одно на голове с кривой, сбоку носа, лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота; третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, нестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клок еще длинный от челки висел сзади за ухом, открытый лоб был углублен и шершав, на просторных салазках мешками висела кожа. На шее и голове жилы связались узлами, вздрагивав-

шими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пежина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее; но стерты на ляжках, видимо давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая опухшая и гноящаяся болячка; черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе, около хвоста, была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса, другая рана-рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь.

Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные мослаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз — большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посереди росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржанье, взвизгиванье рассыпавшегося табуна.

ГЛАВА III

Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями, кое-где, около болотца и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку рожь, и пахло свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипываньем из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запозда-

лый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву, кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались понизу. Старые, пофыркивая, прокладывали по росе светлый следок и всё выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять старая Жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность идти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся, вороная Мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленами, ковылял около ней. Караковая холостая Ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая челка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой,— щипнет и бросит и стукнет мокрой от росы погой с пушистой щеткой. Один из старших сосунчиков, должно быть воображая себе какую-нибудь игру, уже двадцать шесть раз, подняв панашем коротенький кудрявый хвостик, обскакал кругом своей матки, которая спокойно щипала траву, успев уже привыкнуть к характеру своего сына, и только изредка косилась на него большим черным глазом. Один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами челкой и хвостиком, свернутым еще на ту сторону, на которую он был загнут в брюхе матери, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места, пристально смотрел на сосуна, который скакал и пятился, неизвестно, завидуя или осуждая, зачем он это делает. Которые сосут, подталкивая носом, которые, неизвестно почему, несмотря на зовы матерей, бегут маленькой, неловкой рысцой прямо в противуположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом, неизвестно для чего, останавливаются и ржут отчаянно-пронзительным голосом; которые лежат боком вповалку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом. Две еще жеребые кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, все еще едят. Видно, что их положение уважаемо другими, и никто из молодежи не решается подходить и мешать. Ежели и вздумает какая-нибудь шалунья подойти близко к ним, то одного движенья уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведенья.

Стригунки, годовалые кобылки притворяются уж большими и степенными и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженые шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими веничками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток-трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вме-

сте и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгиванье, ржанье, брыканье. Они сходятся, кладут головы друг другу через плечи, обнюхиваются прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полурысью, полутропотой гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие; куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположенье в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала валяться, потом дразнить старух тем, что заходила вперед их, потом отбила одного сосунка и начала бегать за ним, как будто желая укусить его. Мать испугалась и бросила есть, сосунчик кричал жалким голосом, но шалунья ничем даже не тронула его, а только попугала его и доставила зрелище товаркам, которые с сочувствием смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадке, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохою. Она остановилась, гордо, несколько набок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржанье. В нем было и желанье, и обещанье любви, и грусть по ней.

Вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу.

«И я и молода, и хороша, и сильна,— говорило ржанье шалуньи,— а мне не дано было до сей поры испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня».

И многозначащее ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил ее лаптем, но чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржанья и заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее вожжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела докончить своего ржанья и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика.

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, что бы было с ней, ежели бы

она видела всю красавицу шалунью, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее.

Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатленьями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать погой землю, а потом пошла будить и дразнить пегого мерина. Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутом этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?

ГЛАВА IV

Он был стар, они были молоды; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?.. Казалось бы, что нет. Но по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряженья дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбленья, грусти и негодованья, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода; пегий был пришлец, купленный три года тому назад за восемьдесят рублей ассигнациями на ярманке.

Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу пегого мерина и толкнула его. Он уж знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось, и он начал есть. Снова шалунья, сопутствуемая своими подругами, подошла к мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересали-

вать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя бы было ожидать от него, бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе пегий мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя, так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него.

Бог знает, о чем думал старик мерин, унося на своей спине старика Нестера. С горечью ли думал он о неотвязчивой и жестокой молодежи, или, с свойственной старикам презрительной и молчаливой гордостью, прощал своих обидчиков, только он ничем не проявил своих размышлений до самого дома.

В этот вечер к Нестеру приехали кумовья, и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор мерина и, крикнув Ваське, чтоб он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, Сметанкиной правнучке, «коростовой дрянью», купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего варка, или вследствие того, что мерин в высоком седле без седока представлял странно фантастическое для лошадей зрелище, только на варке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, с оскаленными зубами бегали за мерином, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелое кряхтение. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился посередине двора, на лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние; он приложил уши, и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Вязопуриха, понюхала мерина и вздохнула. Вздохнул и мерин.

. . . . . .

ГЛАВА V

Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижные и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него.

Вот что они узнали от него.

. . . . . .

НОЧЬ 1-я

— Да, я сын Любезного первого и Бабы. Имя мое по родословной Мужик первый. Я Мужик первый по родословной, я Холстомер по-уличному, прозванный так толпою за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда не узнали меня. Как не узнавала меня Вязопуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Вязопурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление. Но вы хотели этого. Да, я тот Холстомер, которого отыскивают и не находят охотники, тот Холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обежал его любимца Лебедя.

. . . . . .

Когда я родился, я не знал, что такое значит *пегий,* я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью, к утру я, уже облизанный матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось и все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денники у нас были в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под комягу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку.

— Ишь ты, Баба-то ожеребилась,— сказал он и стал отворять задвижку; он взошел по свежей постилке и обнял меня руками.— Глянь-ка, Тарас,— крикнул он,— пегой какой, ровно сорока.

Я рванулся от него и споткнулся на колени.

— Вишь, чертенок,— проговорил он.

Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тяжело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха

и стали смотреть меня. Один побежал объявить конюшему. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного пегого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложение и силу мою и тогда все хвалили.

— Вишь, какой шустрый,— говорил конюх,— не удержишь.

Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет, он даже казался огорченным.

— И в кого такая уродина,— сказал он,— генерал его теперь не оставит в заводе. Эх, Баба, посадила ты меня,— обратился он к моей матери.— Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого!

Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, опять вздохнула.

— И в какого черта он уродился, точно мужик,— продолжал он,— в заводе нельзя оставить, срам, а хорош, очень хорош,— говорил и он, говорили и все, глядя на меня. Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня, и опять все чему-то ужасались и бранили меня и мою мать за цвет моей шерсти. «А хорош, очень хорош»,— повторял всякий, кто только меня видел.

До весны мы жили в маточной все порознь, каждый при своей матери, только изредка, когда снег на крышах варков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних. Тут из разных дверей я видел, как выходили с своими сосунками все знаменитые кобылы того времени. Тут была старая Голанка, Мушка — Сметанкина дочь, Краснуха, верховая Доброхотиха, все знаменитости того времени, все собирались тут с своими сосунками, похаживали по солнышку, катались по свежей соломе и обнюхивали друг друга, как и простые лошади. Вид этого варка, наполненного красавицами того времени, я не могу забыть до сих пор. Вам странно думать и верить, что и я был молод и резов, но это так было. Тут была эта самая Вязопуриха, тогда еще годовалым стригунчиком — милой, веселой и резвой лошадкой; но, не в обиду будь ей сказано, несмотря на то, что она редкостью по крови теперь считается между вами, тогда она была из худших лошадей того приплода. Она сама вам подтвердит это.

Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям; все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Но скоро я узнал первое горе в моей жизни, и причиной его была мать. Когда уже начало таять,

воробьи чирикали под навесами и в воздухе сильнее начала чувствоваться весна, мать моя стала переменяться в обращении со мною. Весь нрав ее изменился; то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегая по двору, что совершенно не шло к ее почтенному возрасту; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкала в своих сестер-кобыл; то начинала обнюхивать меня и недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову через плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков. Один раз пришел конюший, велел надеть на нее недоуздок,— и ее повели из денника. Она заржала, я откликнулся ей и бросился за нею; но она и не оглянулась на меня. Конюх Тарас схватил меня в охапку, в то время как затворяли дверь за выведенной матерью. Я рванулся, сбил конюха в солому,— но дверь была заперта, и я только слышал все удалявшееся ржание матери. И в ржании этом я уже не слышал призыва, а слышал другое выражение. На ее голос далеко отозвался могущественный голос, как я после узнал, Доброго первого, который с двумя конюхами по сторонам шел на свидание с моею матерью. Я не помню, как вышел Тарас из моего денника: мне было слишком грустно. Я чувствовал, что навсегда потерял любовь своей матери. И все оттого, что я пегий, думал я, вспоминая слова людей о своей шерсти, и такое зло меня взяло, что я стал биться об стены денника головой и коленями— и бился до тех пор, пока не вспотел и не остановился в изнеможении.

Через несколько времени мать вернулась ко мне. Я слышал, как она рысцой и непривычным ходом подбегала к нашему деннику по коридору. Ей отворили дверь, я не узнал ее, как она помолодела и похорошела. Она обнюхала меня, фыркнула и начала гоготать. По всему выражению ее я видел, что она меня не любила. Она рассказывала мне про красоту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее.

Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потерю любви моей матери. У меня были подруги и товарищи, мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне все прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на все, что бы я ни сделал. Это продолжалось недолго. Тут скоро случилось со мной ужасное.— Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей.

Заря уже давно занялась. Заскрипели ворота, вошел Нестер. Лошади разошлись. Табунщик оправил седло на мерине и выгнал табун.

ГЛАВА VI

НОЧЬ 2-я

Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг пегого.

— В августе месяце нас разлучили с матерью,— продолжал пегий,— и я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана, и я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холодней к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли по двое и по трое,— и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил император, и его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок, с глянцевитой нежной шерстью, лебединой шейкой и, как струнки, ровными и тонкими ногами. Он был всегда весел, добродушен и любезен; всегда был готов играть, лизаться и подшутить над лошадью или человеком. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась во все время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И, на мое несчастье, я из самолюбия стал подражать ему; и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся.

Вязопуриха была старше меня одним годом, мы с нею были особенно дружны; но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня... ...Но я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви, она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменой в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник; я ржал целую ночь, как будто предчувствуя события завтрашнего дня.

Наутро пришли в коридор моего денника генерал, конюший, конюха и табунщики, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшего, конюший оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорет, а жеребчиков нельзя держать. Конюший обещался, что все исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне.

. . . . . .

На другой день после этого я уже навеки перестал ржать, я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто

мне не стало мило, я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне все было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить, а уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать; но сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И последние силы пропадали.

Один раз меня проваживали вечером, в то время как табун гнали с поля. Я издалека еще увидал облако пыли с неясными знакомыми очертаниями всех наших маток. Я услыхал веселое гоготанье и топот. Я остановился, несмотря на то, что веревка недоуздка, за который меня тянул конюх, резала мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрят на всегда потерянное и невозвратимое счастие. Они приближались, и я различал по одной — все мне знакомые, красивые, величавые, здоровые и сытые фигуры. Кое-кто из них тоже оглянулся на меня. Я не чувствовал боль от дерганья недоуздка конюха. Я забылся и невольно, по старой памяти, заржал и побежал рысью; но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. В табуне не засмеялись,— но я заметил, как многие из них из приличия отвернулись от меня. Им, видимо, и гадко, и жалко, и совестно, а главное — смешно было на меня. Им смешно было на мою тонкую невыразительную шею, большую голову (я похудел в это время), на мои длинные, неуклюжие ноги и на глупый аллюр рысцой, который я, по старой привычке, предпринял вокруг конюха. Никто не отозвался на мое ржание, все отвернулись от меня. Я вдруг все понял, понял, насколько я навсегда стал далек от всех их, и не помню, как пришел домой за конюхом.

Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию, теперь же во мне сделался решительный переворот. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное неожиданное несчастие и еще какое-то особенное положение мое на заводе, которое я чувствовал, но никак еще не мог объяснить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегий, я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви и зависимости ее от физических условий, и главное, я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми,— теми свойствами, из которых вытекала особенность моего положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности свойств людских, на которых она была основана, открылась мне по следующему случаю.

Это было зимою во время праздников. Целый день мне не давали корму и не поили меня. Как я после узнал, это происходило потому. что конюх был пьян. В этот же день конюший взошел ко

мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было, потом ушел. На другой день конюх с другим товарищем взошел в наш денник задавать нам сена, я заметил, что он особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее сострадание. Он сердито бросил сено за решетку; я сунулся было головой чрез его плечо; но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня сапогом по животу.

— Кабы не этот коростовый,— сказал он,— ничего бы не было.

— А что? — спросил другой конюх.

— Небось графских не ходит проведывать, а *своего* жеребенка по два раза в день наведывает.

— Разве отдали ему пегого-то? — спросил другой.

— Продали, подарили ли, пес их ведает. Графских хоть всех голодом помори — ничего, а вот как смел *его* жеребенку корму не дать. Ложись,— говорит,— и ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека, креста, видно, на нем нет, сам считал, варвар. Генерал так не парывал, всю спину исполосовал, видно, христианской души нет.

То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял,— но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: *своего, его* жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что *меня* называли собственностью человека. Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил — *мое*. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит *мое,* тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю, но это так. Я долго

прежде старался объяснить себе это какою-нибудь прямою выгодою; но это оказалось несправедливым.

Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они — те, которые называли меня своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие *мое* не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка сукон», например,— и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей *своими*. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди: деятельность людей — по крайней мере, тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же — делом. И вот это право говорить обо мне *моя* лошадь получил конюший и от этого высек конюха. Это открытие сильно поразило меня и вместе с теми мыслями и суждениями, которые вызывала в людях моя пегая масть, и с задумчивостью, вызванною во мне изменою моей матери, заставило меня сделаться тем серьезным и глубокомысленным мерином, которым я есмь.

Я был трижды несчастлив: я был пегий, я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшему.

Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уже было то, что меня держали отдельно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по третьему году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрячили мне губу. Они обвили меня

веревками, заводя в оглобли; они надели мне на спину широкий ременный крест и привязали его к оглоблям, чтоб я не бил задом; а я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду.

Они удивлялись, что я пошел, как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в беганье рысью. С каждым днем я делал бóльшие и бóльшие успехи, так что через три месяца сам генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело,— именно потому, что они воображали себе, что я не свой, а конюшего, ход мой получал для них совсем другое значение.

Жеребцов, моих братьев, проезжали на бегу, вымеряли их пропос, выходили смотреть на них, ездили в золоченых дрожках, накидывали на них дорогие попоны. Я ездил в простых дрожках конюшего по его делам в Чесменку и другие хутора. Все это происходило оттого, что я был пегий, а главное потому, что я был, по их мнению, не графский, а собственность конюшего.

Завтра, если будем живы, я расскажу вам, какое главное последствие имело для меня это право собственности, которое воображал себе конюший.

Весь этот день лошади почтительно обращались с Холстомером. Но обращение Нестера было так же грубо. Чалый жеребеночек мужика, уже подходя к табуну, заржал, и бурая кобылка опять кокетничала.

ГЛАВА VII

НОЧЬ 3-я

Народился месяц, и узенький серп его освещал фигуру Холстомера, стоявшего посредине двора. Лошади толпились около него.

— Главное удивительное последствие для меня того, что я был не графский, не божий, а конюшего,— продолжал пегий,— было то, что то, что составляет главную заслугу нашу,— резвый ход, сделалось причиной моего изгнания. Проезжали на кругу Лебедя, а конюший из Чесменки подъехал на мне и стал у круга. Лебедь прошел мимо нас. Он хорошо ехал, но он все-таки щеголял, не было в нем той спорости, которую я выработал в себе, того, чтобы мгновенно при прикосновении одной ноги отделялась другая и не тратилось бы ни малейшего усилия праздно, а всякое усилие двигало бы вперед. Лебедь прошел мимо нас. Я потянулся в круг, конюший не задержал меня. «А что, померять моего Пегаша?» — крикнул он, и когда Лебедь поравнялся другой раз, он пустил меня. У того уж была набрана скорость, и потому я отстал на первом заезде, но во второй я стал набирать на него, стал близиться к дрожкам, стал равняться, обходить и обошел. Попытали другой раз — то же самое. Я был резвее. И это привело всех в ужас. Решили, чтобы скорее продать меня подальше, чтобы и слуху не

было. «А то узнает граф — и беда!» Так говорили они. И меня продали барышнику в коренной. У барышника я пробыл недолго. Меня купил гусар, приезжавший за ремонтом. Все это было так несправедливо, так жестоко, что я был рад, когда меня вывели из Хреновой и навсегда разлучили со всем, что мне было родно и мило. Мне было слишком тяжело между ними. Им предстояли любовь, почести, свобода, мне — труд, унижения, унижения, труд, и до конца моей жизни! За что? За то, что я был пегий и что от этого я должен был сделаться чью-то лошадью.

Дальше в этот вечер Холстомер не мог рассказывать. На варке случилось событие, переполошившее всех лошадей. Купчиха, жеребая запоздавшая кобыла, слушавшая сначала рассказ, вдруг повернулась и медленно отошла под сарай и там начала кряхтеть так громко, что все лошади обратили на нее внимание, потом она легла, потом встала, опять легла. Старые матки поняли, что с ней, но молодежь пришла в волнение и, оставив мерина, окружила больную. К утру был новый жеребенок, качавшийся на ножках. Нестер кликнул конюшего, и кобылу с жеребенком отвели в денник, а лошадей погнали без нее.

ГЛАВА VIII

НОЧЬ 4-Я

Вечером, когда ворота затворили и все затихло, пегий продолжал так:

— Много наблюдений над людьми и лошадьми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. Дольше всего я был у двух хозяев: у князя, гусарского офицера, потом у старушки, жившей у Николы Явленного.

У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни.

Хотя он был причиной моей погибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его и люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши хорошие времена, я тем буду счастливее.

Он купил меня у барышника, которому за восемьсот рублей продал меня конюший. Он купил меня за то, что ни у кого не было пегих лошадей. Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день возил его к ней и се, и иногда возил их вместе. Любовница его была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец. И я всех их любил за это.

И мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так: с утра приходил конюх чистить меня, не сам кучер, а конюх. Конюх был молодой молодчик, взятый из мужиков. Он отворял дверь, выпускал пар лошадиный, выкидывал навоз, снимал попоны и начинал ерзать щеткой по телу и скребницей класть беловатые ряды плоти на избитый шипами канатник пола. Я шутливо покусывал его за рукав, я постукивал ногой. Потом подводили одного за другим к чану холодной воды, и малый любовался на гладкие своего труда пежины, на ногу, прямую, как стрела, с широким копытом, и на лоснящийся круп и спину, хоть спать ложись. За высокие решетки закладывали сено, всыпали овес в дубовые ясли. Приходил Феофан, старший кучер.

Хозяин и кучер были похожи. И тот и другой ничего не боялись и никого не любили, кроме себя, и за это все любили их. Феофан ходил в красной рубахе и плисовых штанах и поддевке. Я любил, когда он, бывало, в праздник, напомаженный, в поддевке, зайдет в конюшню и крикнет: «Ну, животина, забыла!» — и толканет рукояткой вилок меня по ляжке, но никогда не больно, а только для шутки. Я тотчас же понимал шутку и, прикладывая ухо, щелкал зубами.

Был у нас вороной жеребец из пары. Меня по ночам запрягали и с ним. Полкан этот не понимал шуток, а был просто зол, как черт. Я с ним рядом стоял, через стойло, и, бывало, серьезно грызся. Феофан не боялся его. Бывало, подойдет прямо, крикнет, кажется, убьет,— нет, мимо, и Феофан наденет оброть. Раз мы с ним в паре понесли вниз по Кузнецкому. Ни хозяин, ни кучер не испугались, оба смеялись, кричали на народ и сдерживали и поворачивали, так никого и не задавили.

В их службе я потерял лучшие свои качества и половину жизни. Тут меня и опоили и разбили на ноги. Но несмотря на то, это было лучшее время моей жизни. В двенадцать приходили, впрягали, мазали копыты, смачивали челку в гриву и вводили в оглобли.

Сани были камышовые плетеные бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые и одно время — филе. Запряжка была такая, что, когда все поводки, ремешки были прилажены и застегнуты, нельзя было разобрать, где кончается запряжка и начинается лошадь. Запрягут в сарае на развязке. Выйдет Феофан с задом шире плеч, в красном кушаке под мышки, оглядит запряжку, сядет, заправит кафтан, выставит ногу в стремя, пошутит что-нибудь всегда, привесит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет: «Пущай!» И, играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на

двор дрова, таращат глаза. Выедет, проедет и станет. Выйдут лакеи, подъедут кучера, и пойдут разговоры. Всё ждут, часа три иногда стоим у подъезда, изредка проезжаем, заворачиваем и опять становимся.

Наконец зашумят в дверях, выбежит во фраке седой Тихон с брюшком: «Подавай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить: «вперед», как будто я не знаю, что ездят не назад, а вперед. Чмокнет Феофан. Подъедет, и выходит торопливо-небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в лошади, ни в Феофане, который изогнет спину и вытянет руки так, как их, кажется, держать долго нельзя, выйдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрывающим румяное, чернобровое красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо, выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любуются все, кроме его. Чмокнет Феофан, я влягу в поводья, и честно, шагом подъедем, станем; я покошусь на князя, взмахну кровной головой и тонкой челкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном, Феофан ответит, чуть оборачивая красивую голову, и, не спуская рук, делает чуть заметное, понятное для меня движение вожжами, и раз-раз-раз, все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду. Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать: «О!» — как будто у кучера болит что-нибудь, а непонятное: «Пади берегись!» — «Пади берегись!» — покрикивает Феофан, и народ сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на красавца мерина, красавца кучера и красавца барина.

Любил я перегнать рысака. Когда, бывало, мы издалека завидим с Феофаном упряжь, достойную нашего усилия, и мы, летя, как вихрь, медленно начинаем наплывать ближе и ближе, уж я кидаю грязь в спинку саней, равняюсь с седоком и над головой фыркаю ему, равняюсь с седелкой, с дугой, уж не вижу его и слышу только сзади себя все удаляющиеся его звуки. А князь, и Феофан, и я — мы все молчим и делаем вид, что мы просто едем по своему делу, что мы и не замечаем тех, которые попадаются нам на пути на плохих лошадях. Любил я перегнать, но любил я также встретиться с хорошим рысаком; один миг, звук, взгляд, и мы уж разъехались и опять одиноко летим, каждый в свою сторону.

Заскрипели ворота, и послышались голоса Нестера и Васьки.

НОЧЬ 5-я

Погода начала изменяться. Было пасмурно, с утра и росы не было, но тепло, и комары липли. Как только табун загнали, лошади собрались вокруг пегого, и он так кончил свою историю:

— Счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только два года. В конце второй зимы случилось самое радостное для меня событие и вслед за ним самое большое мое несчастие. Это было на масленице, я повез князя на бег. На бегу ехали Атласный и Бычок. Не знаю, что он делал там в беседке, но знаю, что он вышел и велел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили, и поставили Атласного. Атласный ехал с поддужным, я, как был, в городских санках. В завороте я его кинул; и хохот и рев восторга приветствовали меня.

Когда меня проваживали, за мной ходила толпа. И человек пять предлагали князю тысячи. Он только смеялся, показывая свои белые зубы.

— Нет,— говорил он,— то не лошадь, а друг, горы золота не возьму. До свиданья, господа,— расстегнул полость, сел.

— На Стожинку! — Это была квартира его любовницы. И мы полетели. Это был наш последний счастливый день.

Мы приехали к ней. Он называл ее своею. А она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее на квартире. Было пять часов, и он, не отпрягая меня, поехал за ней. Чего никогда не было: меня стегали кнутом и пускали скакать. В первый раз я сделал сбой, и мне совестно стало, и я хотел поправиться; но вдруг я услыхал, князь кричал не своим голосом: «Валяй!» И свистнул кнут и резнул меня, и я поскакал, ударяя ногой в железо передка. Мы догнали ее за двадцать пять верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. Наутро мне дали воды. Я выпил и навек перестал быть той лошадью, какою я был. Я болел, меня мучали и калечили — лечили, как это называют люди. Сошли копыты, сделались наливы, и ноги согнулись, груди не стало, и появилась вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то и сделал из меня что-то совсем непохожее на меня, но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того, барышник мучал меня тем, что, как только приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал большим кнутом стегать и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирал рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездила она все к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу, потом я объелся пшеницы и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять болел. Цыган выменял меня. Он мучал меня ужасно и, наконец, продал здешнему приказчику. И вот я здесь.

Все молчали. Стал накрапывать дождь.

ГЛАВА IX

Возвращаясь домой в следующий вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем. Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры: один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой высокий, толстый обрюзгший военный. Старуха покосилась на людей и, признав, прошла подле него; остальные — молодежь — переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая.

— Вот эту я у Воейкова купил — серую в яблоках,— говорил хозяин.

— А эта молодая вороная белоножка чья? — хороша,— говорил гость. Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая. Заметили и бурую кобылку.

— Это от верховых хреновских осталась у меня порода,— сказал хозяин.

Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера, и старик, торопливо постукивая каблуками бока пегого, рысцой выбежал вперед. Пегий ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы, на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги.

— Вот лучше этой кобылы — я смело могу сказать — нет лошади в России,— сказал хозяин, указывая на одну из кобыл. Гость похвалил. Хозяин взволнованно заходил, забегал, показывал и рассказывал историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать хозяина, и он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим.

— Да, да,— говорил он рассеянно.

— Ты взгляни,— говорил хозяин, не отвечая,— ноги взгляни... Дорого досталась, да уж у меня третьяк от нее, и едет.

— Хорошо едет? — сказал гость.

Так перебрали почти всех лошадей, и показывать больше нечего было. И они замолчали.

— Ну что ж, пойдем?

— Пойдем.— Они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показыванье и что пойдут домой, где можно поесть, попить, покурить, и видимо повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя на пегом, ожидал еще приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу пегого.

— Вот расписной-то! — сказал он.— Такой-то у меня был пегий, помнишь, я тебе рассказывал.

Хозяин услыхал, что говорят не об его лошадях, и не слушал, а, оглядываясь, продолжал смотреть на табун.

Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое, старческое ржание. Это заржал пегий, не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржанье и прошли домой. Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Сергуховского.

ГЛАВА X

. . . . . .

Дождь продолжал моросить. На варке было пасмурно, а в барском доме было совсем другое. У хозяина был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяин, хозяйка и приезжий гость.

Хозяйка беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой, выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам, внутрь кротко и важно смотревшим большим глазам, сидела за самоваром.

Хозяин держал в руках ящик особенных десятилетних сигар, каких ни у кого не было, по его словам, и сбирался похвастать ими перед гостем. Хозяин был красавец лет двадцати пяти, свежий, холеный, расчесанный. Он дома был одет в свежую широкую, толстую пару, сделанную в Лондоне. На цепочке у него были крупные дорогие брелоки. Запонки рубашки были большие, тоже массивные, золотые, с бирюзой. Борода была á la Наполеон III, и мышиные хвостики были напомажены и торчали так, как только могли это произвести в Париже. На хозяйке было платье шелковой кисеи с большими пестрыми букетами, на голове большие золотые, какие-то особенные шпильки в густых русых, хоть и не вполне своих, но прекрасных волосах. На руках было много браслетов и колец, и всё дорогие. Самовар был серебряный, сервиз тоненький. Лакей, великолепный в своем фраке и белом жилете и галстуке, как статуя, стоял у двери, ожидая приказаний. Мебель была гнутая, изогнутая и яркая; обои темные, большими цветами. Около стола звенела серебряным ошейником левретка, необычайно тонкая, которую звали необычайно трудным аглицким именем, плохо выговариваемым обоими, не знавшими по-аглицки. В углу, в цветах, стояло фортепьяно incrusté [1]. От всего веяло новизной, роскошью и редкостностью. Все было очень хорошо, но на всем был особенный отпечаток излишка, богатства и отсутствия умственных интересов.

Хозяин был рысистый охотник, крепыш-сангвиник, один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое, с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, дают призы своего имени и содержат самую дорогую.

Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за сорок, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился, видимо, физически, и морально, и денежно.

На нем было столько долгов, что он должен был служить, чтобы его не посадили в яму. Он теперь ехал в губернский город начальником коннозаводства. Ему выхлопотали это его важные родные. Он был одет в военный китель и синие штаны. Китель и штаны были такие, каких бы никто себе не сделал, кроме богача, белье тоже, часы были тоже английские. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.

Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в два мильона и остался еще должен сто двадцать тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять. Лет десять уж проходили, и размах кончался, и Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, то есть хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Пить же, собственно, он никогда не начинал и не кончал. Более же всего заметно было его падение в беспокойстве взглядов (глаза его начинали бегать) и нетвердости интонаций и движений. Это беспокойство поражало тем, что оно, очевидно, недавно пришло к нему, потому что видно было, что он долго привык всю жизнь никого и ничего не бояться и что теперь, недавно только, он дошел тяжелыми страданиями до этого страха, столь несвойственного его натуре. Хозяин и хозяйка замечали это, переглядывались так, что, видимо, понимая друг друга, откладывали только до постели подробное обсуждение этого предмета и переносили бедного Никиту и даже ухаживали за ним. Вид счастья молодого хозяина унижал Никиту и заставлял его, вспоминая свое безвозвратное прошедшее, болезненно завидовать.

— Что, вам ничего сигары, Мари? — сказал он, обращаясь к даме тем особенным, неуловимым и приобретаемым только опытностью тоном — вежливым, приятельским, но не вполне уважительным, которым говорят люди, знающие свет, с содержанками, в отличие от жен. Не то чтобы он хотел оскорбить ее, напротив, теперь он, скорее, хотел подделаться к ней и ее хозяину, хотя ни за что сам себе ни признался бы в этом. Но он уж привык гово-

[1] с инкрустацией *(франц.)*.

рить так с такими женщинами. Он знал, что она сама бы удивилась, даже оскорбилась бы, ежели бы он с ней обходился, как с дамой. Притом надо было удержать за собой известный оттенок почтительного тона для настоящей жены своего равного. Он обращался с такими дамами всегда уважительно, но не потому, чтобы он разделял так называемые убеждения, которые проповедуются в журналах (он никогда не читал этой дряни) о уважении к личности каждого человека, о ничтожности брака и т. д., а потому, что так поступают все порядочные люди, а он был порядочный человек, хотя и упавший.

Он взял сигару. Но хозяин неловко взял горсть сигар и предложил гостю.

— Нет, ты увидишь, как хороши. Возьми.

Никита отклонил рукой сигары, и в глазах его мелькнуло чуть заметно оскорбление и стыд.

— Спасибо.— Он достал сигарочницу.— Попробуй моих.

Хозяйка была чуткая. Она заметила это и поспешила заговорить с ним:

— Я очень люблю сигары. Я бы сама курила, если бы не все курили вокруг меня.

И она улыбнулась своей красивой, доброй улыбкой. Он улыбнулся в ответ ей нетвердо. Двух зубов у него не было.

— Нет, ты возьми эту,— продолжал нечуткий хозяин.— Другие, те послабее. Фриц, bringen Sie noch *eine* Kasten,—сказал он,— dort zwei [1].

Немец-лакей принес другой ящик.

— Ты какие больше любишь? Крепкие? Эти очень хороши. Ты возьми все,— продолжал он совать. Он, видимо, был рад, что было перед кем похвастаться своими редкостями, и ничего не замечал. Серпуховской закурил и поспешил продолжать начатый разговор.

— Так во сколько тебе пришелся Атласный? — сказал он.

— Дорог пришелся, не меньше пяти тысяч, но, по крайней мере, уж я обеспечен. Какие дети, я тебе скажу!

— Едут? — спросил Серпуховской.

— Хорошо едут. Нынче сын его взял три приза: в Туле, Москве и в Петербурге бежал с воейковским Вороным. Каналья наездник сбил четыре сбоя, а то бы за флагом оставил.

— Сыр он немного. Голандщины много, вот что я тебе скажу,— сказал Серпуховской.

— Ну а матки-то на что? Я тебе покажу завтра. Добрыню я дал три тысячи. Ласковую — две тысячи.

---

[1] принесите еще *одну* ящик, там два *(искаж. нем.)*.

И опять хозяин начал перечислять свое богатство. Хозяйка видела, что Серпуховскому это тяжело и что он притворно слушает.

— Будете еще чай пить? — спросила она.

— Не буду,— сказал хозяин и продолжал рассказывать. Она встала, хозяин остановил ее, обнял и поцеловал.

Серпуховской начал было улыбаться, глядя на них и для них, ненатуральной улыбкой, но когда хозяин встал и, обняв ее, вышел с ней до портьеры — лицо Никиты вдруг изменилось, он тяжело вздохнул, и на обрюзгшем лице его вдруг выразилось отчаяние. Даже злоба была видна на нем.

ГЛАВА XI

Хозяин вернулся и, улыбаясь, сел против Никиты. Они помолчали.

— Да, ты говорил, у Воейкова купил,— сказал Серпуховской, как будто небрежно.

— Да — Атласного, ведь я говорил. Мне все хотелось кобыл у Дубовицкого купить. Да дрянь осталась.

— Он прогорел,—сказал Серпуховской и вдруг остановился и оглянулся кругом. Он вспомнил, что должен этому самому прогоревшему двадцать тысяч. И что если говорить про кого «прогорел», то уж, верно, про него говорят это. Он замолчал.

Оба опять долго молчали. Хозяин в голове перебирал, чем бы похвастаться перед гостем. Серпуховской придумывал, чем бы показать, что он не считает себя прогоревшим. Но у обоих мысли ходили туго, несмотря на то, что они старались подбодрять себя сигарами. «Что ж, когда выпить?» — думал Серпуховской. «Непременно надо выпить, а то с ним с тоски умрешь»,— думал хозяин.

— Так как же ты долго здесь пробудешь? — сказал Серпуховской.

— Да еще с месяц. Что ж, поужинаем, что ль? Фриц, готово?

Они вышли в столовую. В столовой под лампой стоял стол, уставленный свечами и самыми необыкновенными вещами: сифоны, куколки на пробках, вино необыкновенное в графинах, необыкновенные закуски, водки. Они выпили, съели, еще выпили, еще съели, и разговор завязался. Серпуховской раскраснелся и стал говорить, не робея.

Они говорили про женщин. У кого какая: цыганка, танцовщица, француженка.

— Ну что ж, ты оставил Матье? — спросил хозяин. Это была содержанка, которая разорила Серпуховского.

— Не я, а она. Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей

жизни! Теперь я рад, как заведутся тысяча рублев, рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. Ах, что говорить.

Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя — хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя — про свое блестящее прошедшее. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен завод так, как ни у кого не был прежде. И что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его.

— Я тебе хотел сказать, что в моем заводе...— начал было он. Но Серпуховской перебил его.

— Было время, могу сказать,— начал он,— что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь про езду, ну скажи, какая у тебя самая резвая лошадь?

Хозяин обрадовался случаю рассказать еще про завод, и он начал было; но Серпуховской опять перебил его.

— Да, да,— сказал он.— Ведь это у вас, у заводчиков, только для тщеславия, а не для удовольствий и для жизни. А у меня не так было. Вот я тебе говорил нынче, что у меня была ездовая лошадь, пегая, такие же пежины, как под твоим табунщиком. Ох, лошадь же была! Ты не мог знать; это было в сорок втором году, я только приехал в Москву; поехал к барышнику и вижу — пегий мерин. Ладов хороших. Мне понравился. Цена? Тысяча рублей. Мне понравился, я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет и не будет такой лошади. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был тогда, ты не мог знать, но ты слышал, я думаю. Вся Москва знала его.

— Да, я слышал,— неохотно сказал хозяин,— но я хотел тебе сказать про своих...

— Так ты слышал. Я купил его так, без породы, без аттестата; потом уж я узнал. Мы с Воейковым добирались. Это был сын Любезного первого, Холстомер. Холсты меряет. Его за пежину отдали с Хреновского завода конюшему, а тот выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок! Ах, время было. Ах ты, молодость! — пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть.— Эх, хорошее было время. Мне было двадцать пять лет, у меня было восемьдесят тысяч серебром дохода тогда, ни одного седого волоса, все зубы как жемчуг. За что ни возьмусь, все удается; и все кончилось.

— Ну, тогда не было той резвости,— сказал хозяин, пользуясь перерывом.— Я тебе скажу, что мои первые лошади стали ходить без...

— Твои лошади! Да тогда резвее были.

— Как резвее?

— Резвее. Я как теперь помню, выехал я раз в Москве на бег

на нем. Моих лошадей не было. Я не любил рысистых, у меня были кровные, Генерал, Шоле, Магомет. На пегом я ездил. Кучер у меня был славный малый, я любил его. Тоже спился. Так приехал я.— Серпуховской, когда,— говорят,— ты заведешь рысистых? — Мужиков-то ваших, черт их возьми, у меня извозчичий пегий всех ваших обежит.— Да вот не обегает.— Пари тысяча рублей.— Ударились. Пустили. На пять секунд обошел, тысячу рублей выиграл пари. Да это что. Я на кровных, на тройке, сто верст в три часа сделал. Вся Москва знает.

И Серпуховской начал врать так складно и так непрерывно, что хозяин не мог вставить ни одного слова и с унылым лицом сидел против него, только для развлечения подливая себе и ему вино в стаканы.

Стало уж светать. А они все сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал.

— Спать — так спать,— сказал Серпуховской, вставая и шатаясь, и, отдуваясь, пошел в отведенную комнату.

Хозяин лежал с любовницей.

— Нет, он невозможен. Напился и врет не переставая.

— И за мной ухаживает.

— Я боюсь, будет просить денег.

Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.

«Кажется, я много врал,— подумал он.— Ну все равно. Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая,— сказал он сам себе и захохотал.— То я содержал, то меня содержат. Да, Винклерша содержит — я у ней деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо! Однако раздеться, сапоги не снимешь».

— Эй! Эй! — крикнул он, но человек, приставленный к нему, ушел давно спать.

Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить, брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой — бился, бился, запыхался и устал. И так, с ногой в голенище, повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости.

ГЛАВА XII

Ежели Холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал, до утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадью. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался.

«Что-то больно чешется»,— думал он.

Прошло пять дней. Позвали коновала. Он с радостью сказал:

— Короста. Позвольте цыганам продать.

— Зачем? Зарежьте, только чтоб нынче его не было.

Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел страшный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черным кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод обротп, надетой на Холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: «Не к чему».

Драч и Васька, шедший сзади, пришли в лощинку за кирпичным сараем и, как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить о брусок. Мерин потянулся к поводу, хотел от скуки пожевать его, но далеко было, он вздохнул и закрыл глаза. Губа его повисла, открылись съеденные желтые зубы, и он стал задремывать под звуки точения ножа. Только подрагивала его больная с наплывом отставленная нога. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. Две собаки были перед ним. Одна нюхала по направлению к драчу, другая сидела, глядя на мерина, как будто ожидая чего-то именно от него. Мерин взглянул на них и стал тереть скулою о руку, которая держала его.

«Лечить, верно, хотят,— подумал он.— Пускай!»

И точно, он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока. И ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову — никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось все тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Все так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх. Но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись, он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. Драч подождал, пока прекратились судороги, отогнал собак, подвинувшихся ближе, и потом, взяв за ногу и отворотив мерина на спину и велев Ваське держать за ногу, начал свежевать.

— Тоже лошадь была,— сказал Васька.

— Кабы посытее, хороша бы кожа была,— сказал драч.

Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, что́ зацепила. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. Насилу могли отогнать ее.

На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волчепята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волченят. Волченята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив колено и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волченята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.

Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два мослака, остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти мослаки и череп и пустил их в дело.

Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже двадцать лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю было только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это, тотчас же загнившее, пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб, с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свезти его в Москву и там раскопать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землею.

1885

I

В Петербурге в сороковых годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь, с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его; для самого же князя Степана Касатского все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе.

Отец Степана Касатского, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было двенадцать лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники.

Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался

зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб: целым блюдом котлет пустил в экономa, бросился на офицера, и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его наверно бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал экономa.

Восемнадцати лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель-адъютантство. И Касатский сильно желал этого не только из честолюбия, но, главное, потому, что еще со времен корпуса страстно, именно страстно, любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус,— а он часто езжал к ним,— когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпяченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касатский испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней истории Касатского с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касатскому, но, когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, уезжая, сказал:

— Знайте, что все мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь.

Он показал на сердце.

Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтобы они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касатский, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами.

Когда Касатский вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касатский отдал сестре половину состояния. То, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил.

С внешней стороны Касатский казался самым обыкновенным

молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная, но в сущности все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. Было ли это ученье, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам, так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским, как русским; так он потом, занявшись шахматами, добился того, что, еще будучи в корпусе, стал отлично играть.

Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель, и, как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас же вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отличиться и, для того чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняло его жизнь. Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя и опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги, и добился того, чего хотел. Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе, выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им.

Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде состоит из четырех сортов людей: из 1) людей богатых и придворных; из 2) небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе; 3) из богатых людей, подделывающихся к придворным, и 4) из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касатский не принадлежал к первым. Касатский был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света — и неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали,

он был чужой; с ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои и он не свой. И Касатский захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом,— и он дожидался этого,— или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касатский не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой, она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе.

Касатский сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкости, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича.

II

За две недели до назначенного дня свадьбы Касатский сидел в Царском Селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Касатский принадлежал к тем людям сороковых годов, которых уже нет нынче, к людям, которые, сознательно допуская для себя и внутренно не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной, небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга, и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного в той распущенности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению женщин такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, видящих в каждой девушке ищущую себе дружку самку,— такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое обоготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касатский и так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувствен-

ности к невесте, напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое.

Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю.

— Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты,— сказал он, робко улыбаясь,— дала мне это!

Он был в том периоде, когда «ты» еще не сделалось привычно, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты» этому ангелу.

— Я себя узнал благодаря... тебе, узнал, что я лучше, чем я думал.

— Я давно это знаю. Я за то-то и полюбила вас.

Соловей защелкал вблизи, свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка.

Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел.

— Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно, я хотел установить связи с светом, но потом... Как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это?

Она не отвечала и только тронула рукой его руку.

Он понял, что это значило: «Нет, не сержусь».

— Да, ты вот сказала...— он замялся, ему показалось это слишком дерзко,— ты сказала, что полюбила меня, но, прости меня, я верю, но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это?

«Да, теперь или никогда,— подумала она.— Все равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно!»

И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая и, если бы не императорство, не променяла бы этого на того.

— Послушайте. Я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила.

Она положила свою руку на его умоляющим жестом.

Он молчал.

— Вы хотите знать, кого? Да, его, государя.

— Мы все любим его, я воображаю, вы в институте...

— Нет, после. Это было увлеченье, но потом прошло. Но я должна сказать...

— Ну, так что же?

— Нет, я не просто.

Она закрыла лицо руками.

— Как? Вы отдались ему?

Она молчала.

— Любовницей?

Она молчала.

Он вскочил и бледный как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его.

— Боже мой, что я сделала, Стива!

— Не трогайте, не трогайте меня. О, как больно!

Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать.

— Вы что, князь? Я...— Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо.

— Вы знали это и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были женщины,— вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею, и, повернувшись, убежал.

Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его, но это был обожаемый царь.

На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню.

Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил в него монахом.

Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его.

Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в Мэри (невесте), которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию, а отчаяние куда? — к богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем.

III

В день Покрова Касатский поступил в монастырь.

Игумен монастыря был дворянин, ученый писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касатский.

Кроме того чувства сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касатский в монастыре, Касатский, так же как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным: трудящимся всегда, воздержным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество, или совершенство, облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемом, не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось послушанием: не мое дело рассуждать, мое дело нести назначенное послушание, будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе, или ведение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братии, но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. «Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них». Старец сказал ему, что как нужна материальная пища для поддержания жизни, так нужна духовная пища — молитва церковная — для поддержания духовной жизни. Он верил в это, и действительно служба церковная, на которую он с трудом поднимался иногда поутру, давала ему несомненное успокоение и радость. Радость давало сознание смирения и несомненности поступков, всех определенных старцем. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал в монастырь и не жалел его, лености у него не было. Смирение перед низшими

было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касатский радовался, что был свободен от него.

Мучало его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую покаявшуюся жену.

В хорошие минуты Касатского не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним, он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминание и — ужасно сказать — раскаяние в своем обращении охватывало его.

Спасенье в этом положении было послушание — работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два и потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касатский чувствовал, что он не в своей и не в божьей власти, а в чьей-то чужой. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще за все это время Касатский жил не по своей воле, а по воле старца, и в этом послушании было особенное спокойствие.

Так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, семь лет. В конце третьего года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался; теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это все более и более притуплялось, и когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело, но осталась привычка.

Вообще на седьмой год своей жизни в монастыре Сергию стало скучно. Все то, чему надо было учиться, все то, чего надо было достигнуть,— он достиг, и больше делать было нечего.

Но зато состояние усыпления становилось все сильнее и сильнее. За это время он узнал о смерти своей матери и о выходе замуж

Мэри. Оба известия он принял равнодушно. Все внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни.

На четвертом году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь. Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь.

Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это.

В прежнем монастыре соблазн женский мало мучал Сергия, здесь же соблазн этот поднялся с страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму. Была известная своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать в Сергии. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергий отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что написал о том старцу, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоряя стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и послушаний.

Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергий, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось.

Это было уже на второй год пребывания его в новом монастыре. И случилось это вот как. В Покров всенощная шла в большой церкви. Много было приезжего народа. Служил сам игумен. Отец Сергий стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время служб, особенно в большой церкви, когда он не служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, не замечать всего того, что делалось: не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов — часто его даже и известного красавца монаха. Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не видеть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служащих; не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов молитв, и не испытывать никакого другого чувства, кроме того самозабвения в сознании исполнения долж-

ного, которое он испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слышанные молитвы.

Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда ризничий, отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия,— Никодим, которого он невольно упрекал в подделыванье и лести к игумну,— подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Отец Сергий обдернул мантию, надел клобук и пошел осторожно через толпу.

— Lise, regardez à droite, c'est lui [1],— послышался ему женский голос.

— Où, où? Il n'est pas tellement beau [2].

Он знал, что это говорили про него. Он слышал и, как всегда в минуты искушения, твердил слова: «И не введи нас во искушение»,— и, опустив голову и глаза, прошел мимо амвона и, обойдя канонархов в стихарях, проходивших в это время мимо иконостаса, вошел в северные двери. Войдя в алтарь, он, по обычаю, крестно поклонился, перегибаясь надвое, перед иконой, потом поднял голову и взглянул на игумена, которого фигуру рядом с другой блестящей чем-то фигурой он видел углом глаза, не обращаясь к ним.

Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом, и, растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что-то с военным в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергий своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка. Теперь он, очевидно, занимал важное положение, и отец Сергий тотчас же заметил, что игумен знает это и рад этому, и оттого так сияет его красное толстое лицо с лысиной. Это оскорбило и огорчило отца Сергия, и чувство это еще усилилось, когда он услыхал от игумна, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был нужен, как на то, чтобы удовлетворить любопытству генерала увидать своего прежнего сослуживца, как он выразился.

— Очень рад видеть вас в ангельском образе,— сказал генерал, протягивая руку,— надеюсь, что вы не забыли старого товарища.

Все лицо игумна, среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от

---

[1] Лиза, взгляни направо, это он *(франц.)*.

[2] Где, где? Он не так уж красив *(франц.)*.

его бакенбард — все это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумну и сказал:

— Ваше преподобие изволили звать меня? — И он остановился, всем выражением лица и позы спрашивая: зачем?

Игумен сказал:

— Да, повидаться с генералом.

— Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов,— сказал он, бледнея и с трясущимися губами.— За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме божием.

— Иди, иди,— вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен.

На другой день отец Сергий просил прощенья у игумна и братии за свою гордость, но вместе с тем после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца. И каялся в своем грехе гордости. С следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла оттого, что он смирился, отказавшись от духовных почестей, не ради бога, а ради своей гордости, что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог перенести поступка игумна. Я всем пренебрег для бога, а меня показывают, как зверя. «Если бы ты пренебрег славой для бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергий, и молился, и вот что о тебе бог внушил мне: живи по-прежнему и покорись. В это время стало известно, что в скиту помер святой жизни затворник Илларион. Он жил там восемнадцать лет. Игумен тамбинский спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут твое письмо. Ступай к отцу Паисию в Тамбинский монастырь, я напишу ему, а ты просись занять Илларионову келью. Не то, чтобы ты мог заменить Илариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя бог».

Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и, испросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в Тамбинскую пустынь.

В Тамбинской пустыни настоятель, прекрасный хозяин, из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Илариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Илларион. В задней пещере был похоронен Илларион, в ближней была ниша для спанья, с соломенным

матрацем, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка; на эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря.

И отец Сергий стал затворником.

IV

На масленице шестого года жизни Сергия в затворе из соседнего города, после блинов с вином, собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая — помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками.

Погода была прекрасная, дорога как пол. Проехали верст десять за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать: назад или дальше.

— Да куда ведет эта дорога? — спросила Маковкина, разводная жена, красавица.

— В Тамбино, отсюда двенадцать верст,— сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной.

— Ну, а потом?

— А потом на Л. через монастырь.

— Там, где отец Сергий этот живет?

— Да.

— Касатский? Этот красавец пустынник?

— Да.

— Медам! Господа! Едемте к Касатскому. В Тамбине отдохнем, закусим.

— Но мы не поспеем ночевать домой.

— Ничего, ночуем у Касатского.

— Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина.

— Нет, я у Касатского буду ночевать.

— Ну, уж это даже с вашим всемогуществом невозможно.

— Невозможно? Пари.

— Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите.

— A discrétion [1].

— А вы тоже!

— Ну, да. Едемте.

---

[1] Пари на что угодно *(франц.)*.

Ямщикам подносили вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили, кому ехать передом, и один, молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул,— и залились колокольчики, и завизжали полозья.

Сани чуть подрагивали и покачивались, пристяжная ровно и весело скакала с своим круто подвязанным хвостом над наборной шлеей, ровная, масленая дорога быстро убегала назад, ямщик ухарски пошевеливал вожжами, адвокат, офицер, сидя напротив, что-то врали с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала: «Все одно и то же, и все гадкое: красные, глянцевитые лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и все вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Я не могу. Мне скучно. Мне нужно что-нибудь такое, что бы все это расстроило, перевернуло. Ну, хоть бы как те, в Саратове, кажется, поехали и замерзли. Ну, что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да наверно подло. Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы себя. Но я, по крайней мере, хороша. Они-то знают это. Ну, а этот монах? Неужели он этого уже не понимает? Неправда. Это одно они понимают. Как осенью с этим кадетом. И какой он дурак был...»

— Иван Николаич! — сказала она.

— Что прикажете?

— Да ему сколько лет?

— Кому?

— Да Касатскому.

— Кажется, лет за сорок.

— И что же, он принимает всех?

— Всех, но не всегда.

— Закройте мне ноги. Не так. Какой вы неловкий! Ну, еще, еще, вот так. А ног моих жать не нужно.

Так они доехали до леса, где стояла келья.

Она вышла и велела им уехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она, в своей белой собачьей шубе, пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть.

V

Отец Сергий жил шестой год в затворе. Ему было сорок девять лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которой он никак не ожидал. Источников борьбы было два: сомнение и плотская похоть.

И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомненье, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь.

«Боже мой! боже мой! — думал он.— За что не даешь ты мне веры. Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера. Они имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн? Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радостей мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть.— Сказал он себе и ужаснулся, омерзился на самого себя.— Гадина! Гадина! Хочешь быть святым»,— начал он бранить себя. И стал на молитву. Но только что он начал молиться, как ему живо представился он сам, каким он бывал в монастыре: в клобуке, в мантии, в величественном виде. И он покачал головой. «Нет, это не то. Это обман. Но других я обману, а не себя и не бога. Не величественный я человек, а жалкий, смешной». И он откинул пòлы рясы и посмотрел на свои жалкие ноги в подштанниках. И улыбнулся.

Потом он опустил пòлы и стал читать молитвы, креститься и клапяться. «Неужели одр сей мне гроб будет?» — читал он. И как бы дьявол какой шепнул ему: «Одр одинокий и то гроб. Ложь». И он увидал в воображении плечи вдовы, с которой он жил. Он отряхнулся и продолжал читать. Прочтя правила, он взял Евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он часто твердил и знал наизусть: «Верую, господи, помоги моему неверию». Он убрал назад все выступающие сомнения. Как устанавливают предмет неустойчивого равновесия, он установил опять свою веру на колеблющейся ножке и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять, и он успокоился. Он повторил свою детскую молитву: «Господи, возьми, возьми меня»,— и ему не только легко, но радостно-умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою подстилочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчики. Он не знал, наяву ли это было, или во сне. Но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе. Но стук повторился. Да, это был стук близкий, в его двери, и женский голос.

«Боже мой! Да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины... Да, это голос женщины. И голос нежный, робкий и милый! Тьфу! — он плюнул.— Нет, мне кажется»,— сказал он и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустился на колена тем привычным правильным движением, в котором, в движении в самом, он находил утешение и удовольствие.

Он опустился, волосы повисли ему на лицо, и прижал оголявшийся уже лоб к сырой, холодной полосушке. (В полу дуло.)

...читал он псалом, который, ему говорил старичок отец Пимен, помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтоб слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадушку, поставленную под угол. На дворе была мга, туман, съедавший снег. Было тихо, тихо. И вдруг зашуршало у окна, и явственно голос — тот же нежный, робкий голос, такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил:

— Пустите. Ради Христа...

Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет бог и расточатся врази...»

— Да я не дьявол...— и слышно было, что улыбались уста, говорившие это.— Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась — не в переносном, а в прямом смысле (она засмеялась), измерзла и прошу приюта...

Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. Туман, мга, дерево, а вот направо. Она. Да, она, женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым, милым, добрым испуганным лицом, тут, в двух вершках от его лица, пригнувшись к нему. Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда друг друга: они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они (особенно он) почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было.

— Как вы? Зачем вы? — сказал он.

— Да отоприте же,— с капризным самовластьем сказала она.— Я измерзла. Говорю вам, заблудилась.

— Да ведь я монах, отшельник.

— Ну, так и отоприте. А то хотите, чтоб я замерзла под окном, пока вы будете молиться.

— Да как вы...

— Не съем же я вас. Ради бога, пустите. Я озябла наконец.

Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом.

Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. «Господи, помоги мне, господи, помоги мне»,— проговорил он, крестясь и кланяясь в пояс, и подошел к двери, отворил ее в сенцы. В сенях ощупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери. «Ай!» — вдруг

вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекшую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок.

— Да что же вы, пустите же. Я вся измокла. Я замерзла. Вы об спасении души думаете, а я замерзла.

Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь внаружу так, что толкнул ее.

— Ах, извините! — сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее, привычное обращение с дамами.

Она улыбнулась, услыхав это «извините». «Ну, он не так еще страшен»,— подумала она.

— Ничего, ничего. Вы простите меня,— сказала она, проходя мимо его.— Я бы никогда не решилась. Но такой особенный случай.

— Пожалуйте,— проговорил он, пропуская ее мимо. Сильный запах, давно не слышанный им, тонких духов поразил его. Она прошла через сени в горницу. Он захлопнул наружную дверь, не накидывая крючка, прошел сени и вошел в горницу.

— «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешного, господи, помилуй мя грешного»,— не переставая молился он не только внутренно, но и невольно наружно шевеля губами.

— Пожалуйте,— сказал он.

Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разглядывала его. Глаза ее смеялись.

— Простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но видите, в каком я положении. Произошло это оттого, что мы из города поехали кататься, и я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города, но тут сбилась с дороги и вот, если бы не набрела на вашу келью...— начала она лгать. Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его, но он был прекрасен в ее глазах. Вьющиеся с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее.

Он видел, что она лжет.

— Да, так,— сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза.— Я пройду сюда, а вы располагайтесь.

И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в каморочку за перегородкой, и она слышала, как он что-то стал двигать там. «Вероятно, запирается чем-нибудь от меня»,— подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтоб он пустил ее. Но у

двери она, точно, попала в лужу, и левая нога была мокра до икры, и ботинок и ботик полон воды. Она села на его койку — доску, только покрытую ковриком,— и стала разуваться. Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в три горенка, длиной аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В горенке была только койка, на которой она сидела, над ней полочка с книгами. В углу аналойчик. У двери гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венке и лампадка. Пахло страшно: маслом, по́том и землей. Все нравилось ей. Даже этот запах.

Мокрые ноги, особенно одна, беспокоили ее, и она поспешно стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, что смутила его — этого прелестного, поразительного, странного, привлекательного мужчину. «Ну, не ответил, ну что же за беда»,— сказала она себе.

— Отец Сергий! Отец Сергий! Так ведь вас звать?

— Что вам надо? — отвечал тихий голос.

— Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю. Я вся мокрая, ноги как лед.

— Простите меня,— отвечал тихий голос,— я ничем не могу служить.

— Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета.

Он не отвечал. И она слышала, что он шепчет что-то,— очевидно, молится.

— Вы не взойдете сюда? — спросила она улыбаясь.— А то мне надо раздеться, чтобы высушиться.

Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы.

«Да, это человек»,— думала она, с трудом стаскивая шлюпающий ботик. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но, зная, что он слышит ее смех и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче, и смех этот, веселый, натуральный, добрый, действительно подействовал на него, и именно так, как она этого хотела.

«Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза. И это простое, благородное и — как он ни бормочи молитвы — и страстное лицо! — думала она.— Нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал»,— говорила она, сняв, наконец, ботик и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было подпять юбки. Ей совестно стало, и она проговорила:

— Не входите.

Но из-за степы не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звук движения. «Верно, он кланяется в землю,— думала она.— Но не откланяется он,— проговорила она.— Он обо мне думает. Так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах»,— говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. «Да эта пустыня, эта тишина. И никто никогда не узнал бы...»

Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было два часа. «Наши должны подъехать около трех». Оставалось не больше часа.

«Что ж, я так просижу тут одна. Что за вздор! Не хочу я. Сейчас позову его».

— Отец Сергий! Отец Сергий! Сергей Дмитрич, князь Касатский!

За дверью было тихо.

— Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас. Если бы мне не нужно было. Я больна. Я не знаю, что со мною,— заговорила она страдающим голосом.— Ох, ах! — застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что все болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка.

— Послушайте, помогите мне. Я не знаю, что со мной. Ох! Ох! — Она расстегнула платье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки.— Ох! Ох!

Все это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все вечерние молитвы, он теперь стоял неподвижно, устремив глаза на кончик носа, и творил умную молитву, духом повторяя: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя».

Но он все слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу; он слышал, как она терла себе рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому не переставая молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти не оглядываясь. Так и Сергий слышал, чуял, что опасность, погибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. В то же мгновение она сказала:

— Послушайте, это бесчеловечно. Я могу умереть.

«Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни нет». Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть, и довольно долго ему казалось, что он не чувствует, но вдруг — он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. «Нет, я не могу этого».

— Ради бога! Ох, подите ко мне! Я умираю, ох!

«Так что же, я погибну? Так нет же».

— Сейчас я приду к вам,— проговорил он и, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене.

— Сейчас,— сказал он и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и ударил по нем ниже второго сустава. Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на край чурбана и потом на пол.

Он услыхал этот звук прежде, чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом рясы и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустив глаза, тихо спросил:

— Что вам?

Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и накинула на себя, закуталась в нее.

— Да, мне было больно... я простудилась... я... Отец Сергий... я...

Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим радостным светом, и сказал:

— Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит... Молись, чтобы бог простил нас.

Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услыхала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь.

— Что вы сделали с рукой? — Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидала на полу окровавленный палец. Бледнее его она вернулась и хотела сказать ему; но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь.

— Простите меня,— сказала она.— Чем выкуплю я грех свой?

— Уйди.
— Дайте я перевяжу вам рану.
— Уйди отсюда.

Торопливо и молча оделась она. И готовая, в шубе, сидела, ожидая. С надворья послышались бубенцы.

— Отец Сергий. Простите меня.
— Уйди. Бог простит.
— Отец Сергий. Я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня.
— Уйди.
— Простите и благословите меня.
— Во имя отца и сына и святого духа,— послышалось из-за перегородки.— Уйди.

Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел ей навстречу.

— Ну, проиграл, нечего делать. Куда ж вы сядете?
— Все равно.

Она села и до дома не сказала ни одного слова.

Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководительством затворника Арсения, который изредка писал ей письма.

VI

В затворе прожил отец Сергий еще семь лет. Спачала отец Сергий принимал многое из того, что ему приносили: и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего излишнего, и, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба один раз в неделю. Все то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему.

Все время свое отец Сергий проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых все становилось больше и больше. Выходил отец Сергий только в церковь раза три в год, и за водой, и за дровами, когда была в том нужда.

После пяти лет такой жизни случилось то, ставшее скоро везде известным событие с Маковкиной, ее ночное посещение, совершившаяся в ней после этого перемена и ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. Посетителей стало приходить все больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. Слава про отца Сергия, как всегда, преувеличивая его подвиги, шла все дальше и

дальше. Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их.

Первое исцеление было на восьмой год его жизни в затворе. Это было исцеление четырнадцатилетнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он наложил на него руки. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости; но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила: за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну, просила ради Христа. На утверждение отца Сергия, что только бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергий отказался и ушел в свою келью. Но на другой день (это было осенью, и уже ночи были холодные) он, выйдя из кельи за водой, увидал опять ту же мать с своим сыном, четырнадцатилетним бледным, исхудавшим мальчиком, и услыхал те же мольбы. Отец Сергий вспомнил притчу о неправедном судье и, прежде не имевши сомнений в том, что он должен отказать, почувствовал сомнение, а почувствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить требование женщины, что вера ее может спасти ее сына; сам же он, отец Сергий, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное богом.

И, выйдя к матери, отец Сергий исполнил ее желание, положил руку на голову мальчика и стал молиться.

Мать уехала с сыном, и через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные. И, не отказав одним, он не мог отказывать и другим, и накладывал руку и молился, и исцелялись многие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше.

Так прошло девять лет в монастыре и тринадцать в уединении. Отец Сергий имел вид старца: борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые.

VII

Отец Сергий уже несколько недель жил с одной неотступною мыслью: хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в которое он не столько сам стал, сколько поставили его архимандрит и игумен. Началось это после выздоровевшего четырнадцатилетнего мальчика, с тех пор с каждым месяцем, неделей, днем Сер-

гий чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу.

Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали все, что ему могло быть нужно, и требовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал. Устроили приемную для мужчин и место, огороженное перилами так, что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посетительницы,— место, где он мог благословлять приходящих. Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим, но, по мере того как он отдавался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой, как то, что он делал, он делал все больше и больше для людей, а не для бога.

Говорил ли он наставления людям, просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света истины, горящего в нем. «Насколько то, что я делаю, для бога и насколько для людей?» — вот вопрос, который постоянно мучал его и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для бога деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что как прежде ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души он радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его.

Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже все обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика солдата, как он ходит, как подают и пускают.

Солдат рассказал, как и где лучше подают и пускают, и вот так и хотел сделать отец Сергий. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо: оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства.

С каждым днем все больше и больше приходило к нему людей и все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что он стал подобен месту, где прежде был ключ. «Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была истинная жизнь, когда «она» (он всегда с восторгом вспоминал эту ночь и ее. Теперь мать Агнию) соблазняла его. Она вкусила той чистой воды. Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли все, осталась одна грязь». Так думал он в редкие светлые минуты; но самое обыкновенное состояние его было: усталость и умиление перед собой за эту усталость.

Была весна, канун праздника преполовения. Отец Сергий служил всенощную в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек двадцать. Это всё были господа и купцы — богатые. Отец Сергий пускал всех, но эту выборку делали монах, приставленный к нему, и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек в восемьдесят странников, в особенности баб, толпилась наружи, ожидая выхода отца Сергия и его благословения. Отец Сергий служил и, когда он вышел, славя... к гробу своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за дьякона, не подхватили его.

— Что с вами? Батюшка! Отец Сергий! Голубчик! Господи! — заговорили голоса женщин.— Как платок стали.

Но отец Сергий тотчас же оправился и, хотя и очень бледный, отстранил от себя купца и дьякона и продолжал петь. Отец Серапион, дьякон, и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившая всегда при затворе и ухаживавшая за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу.

— Ничего, ничего,— улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергий,— не прерывайте службу.

«Да, так святые делают»,— подумал он.

— Святой! Ангел божий! — послышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал служить. Опять тес-

нясь, все прошли коридорчиками назад к маленькой церкви, и там, хотя немного и сократив ее, отец Сергий дослужил всенощную.

Тотчас после службы отец Сергий благословил бывших тут и вышел на лавочку под вяз у входа в пещеры. Он хотел отдохнуть, подышать свежим воздухом, чувствовал, что ему это необходимо, но только что он вышел, как толпа народа бросилась к нему, прося благословенья и спрашивая советов и помощи. Тут были странницы, всегда ходящие от святого места к святому месту, от старца к старцу и всегда умиляющиеся перед всякой святыней и всяким старцем. Отец Сергий знал этот обычный, самый нерелигиозный, холодный, условный тип; тут были странники, большей частью из отставных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие и большей частью запивающие старики, шляющиеся из монастыря в монастырь, только чтобы кормиться; тут были и серые крестьяне и крестьянки с своими эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сомнений о самых практических делах: о выдаче дочери, о найме лавочки, о покупке земли или о снятии с себя греха заспанного или прижитого ребенка. Все это было давно знакомо и неинтересно отцу Сергию. Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословение, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе с тем была приятна ему. Отец Серапион стал было отгонять их, говоря, что отец Сергий устал, но он, вспомнив при том слова Евангелия: «Не мешайте им (детям) приходить ко мне» — и умилившись на себя при этом воспоминании, сказал, чтобы их пустили.

Он встал, подошел к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря на желание, принять их всех он не мог: опять у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он почувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг вспыхнул.

— Да, видно, до завтра. Я не могу нынче,— сказал он и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил.

— Отец! — послышалось в толпе.— Отец! Батюшка! Не покинь ты нас. Пропали мы без тебя!

Купец, усадив отца Сергия на лавочку под вязом, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергий не мог слышать его, но говорил решительно и сердито:

— Убирайтесь, убирайтесь. Благословил, ну, чего же вам еще? Марш. А то, право, шею намну. Ну, ну! Ты, тетка, черные

опучи, ступай, ступай. Ты куда лезешь? Сказано, шабаш. Что завтра бог даст, а нынче весь отошел.

— Батюшка, только из глазка на личико его взглянуть,— говорила старушка.

— Я те взгляну, куда лезешь?

Отец Сергий заметил, что купец что-то строго действует, и слабым голосом сказал келейнику, чтоб он не гнал народ. Отец Сергий знал, что он все-таки прогонит, и очень желал остаться один и отдохнуть, но послал келейника сказать, чтобы произвести впечатление.

— Хорошо, хорошо. Я не гоню, я усовещиваю,— отвечал купец,— ведь они ради доконать человека. У них жалости ведь нет, они только себя помнят. Нельзя, сказано. Иди. Завтра.

И купец прогнал всех.

Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им, и главное потому, что отец Сергий ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, не шедшая замуж, и он за тысячу четыреста верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергий излечил ее. Он лечил эту дочь за два года ее болезни уж в разных местах. Сначала в губернском университетском городе в клинике — не помогли; потом возил ее к мужику в Самарскую губернию — немножко полегчало; потом возил к московскому доктору, заплатил много денег — ничего не помог. Теперь ему сказали, что отец Сергий излечивает, и вот он привез ее. Так что, когда купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал:

— Отец святый, благослови дщерь мою болящую исцелить от боли недуга. Дерзаю прибегнуть к святым стопам твоим.— И он сложил горсточкой руку на руку. Все это он сделал и сказал так, как будто он делал нечто ясно и твердо определенное законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным способом надо и должно просить об исцелении дочери. Он сделал это с такою уверенностью, что даже и отцу Сергию показалось, что все это именно так и должно говорить и делать. Но он все-таки велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рассказал, что дочь его, девица двадцати двух лет, заболела два года тому назад, после скоропостижной смерти матери, ахнула, как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за тысячу четыреста верст, и она ждет в гостинице, когда отец Сергий прикажет привесть ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца.

— Что же, она очень слаба? — сказал отец Сергий.

— Нет, слабости она особой не имеет и корпусна, а только нерастениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал, отец Сергий, привесть ее, я бы духом слетал. Отец святый, оживите сердце родителя; восстановите род его — молитвами своими спасите болящую дщерь его.

И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись боком головой над двумя руками горсточкой, замер. Отец Сергий опять велел ему встать и, подумав о том, как тяжела его деятельность и как, несмотря на то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал:

— Хорошо, приведите ее вечером. Я помолюсь о ней, но теперь я устал.— И он закрыл глаза.— Я пришлю тогда.

Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только громче скрипели, удалился, и отец Сергий остался один.

Вся жизнь отца Сергия была полна службами и посетителями, но нынче был особенно трудный день. Утром был приезжий важный сановник, долго беседовавший с ним; после него была барыня с сыном. Сын этот был молодой профессор, неверующий, которого мать, горячо верующая и преданная отцу Сергию, привезла сюда и упросила отца Сергия поговорить с ним. Разговор был очень тяжелый. Молодой человек, очевидно, не желал вступать в спор с монахом, соглашался с ним во всем, как с человеком слабым, но отец Сергий видел, что молодой человек не верит и что, несмотря на то, ему хорошо, легко и спокойно. Отец Сергий с неудовольствием вспоминал теперь этот разговор.

— Покушать, батюшка,— сказал келейник.

— Да, что-нибудь принесите.

Келейник ушел в келейку, построенную в десяти шагах от входа в пещеры, а отец Сергий остался один.

Давно уже прошло то время, когда отец Сергий жил один и сам все делал для себя, и питался одной просвирой и хлебом. Уже давно ему доказали, что он не имеет права пренебрегать своим здоровьем, и его питали постными, но здоровыми кушаньями. Он употреблял их мало, но гораздо больше, чем прежде, и часто ел с особенным удовольствием, а не так, как прежде, с отвращением и сознанием греха. Так это было и теперь. Он поел кашку, выпил чашку чая и съел половину белого хлеба.

Келейник ушел, и он остался один на лавочке под вязом.

Был чудный майский вечер, лист только что разлопушился на березах, осинах, вязах, черемухах и дубах. Черемуховые кусты за вязом были в полном цвету и еще не осыпались. Соловьи, один совсем близко и другие два или три внизу в кустах у реки, щелкали и заливались. С реки слышалось далеко пенье возвращавшихся, верно с работы, рабочих; солнце зашло за лес и брызгало раз-

бившимися лучами сквозь зелень. Вся сторона эта была светло-зеленая, другая, с вязом, была темная. Жуки летали и хлопались и падали.

После ужина отец Сергий стал творить умственную молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас»,— а потом стал читать псалом, и вдруг, среди псалма, откуда ни возьмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая и попрыгивая, подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больною дочерью: она интересовала его. Она интересовала его тем, что это было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее и она считали его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он отрекался от этого, но он в глубине души сам считал себя таким.

Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касатскому, довелось быть таким необыкновенным угодником и прямо чудотворцем, но то, что он был такой, не было никакого сомнения: он не мог не верить тем чудесам, которые он сам видел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве.

Как ни странно это было, это было так. Так купцова дочь интересовала его тем, что она была новое лицо, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. «За тысячу верст приезжают, в газетах пишут, государь знает, в Европе, в неверующей Европе знают»,— думал он. И вдруг ему стало совестно своего тщеславия, и он стал опять молиться богу. «Господи, царю небесный, утешителю, душе истины, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, блаже, души наша. Очисти от скверны славы людской, обуревающей меня»,— повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом и как тщетны были до сих пор в этом отношении его молитвы: молитва его делала чудеса для других, но для себя он не мог выпросить у бога освобождения от этой ничтожной страсти.

Он вспомнил молитвы свои в первое время затвора, когда он молился о даровании ему чистоты, смирения и любви, и о том, как ему казалось тогда, что бог услышал его молитвы, он был чист и отрубил себе палец, и он поднял сморщенный сборками отрезок пальца и поцеловал его; ему казалось, что он и был смирен тогда, когда он постоянно гадок был себе своей греховностью, и ему казалось, что он имел тогда и любовь, когда вспоминал, с каким умилением он встретил тогда старика, зашедшего к нему пьяного солдата, требовавшего денег, и ее. Но теперь? И он спросил себя: любит ли он кого, любит ли Софью Ивановну, отца Серапиона, ис-

пытал ли он чувство любви ко всем этим лицам, бывшим у него нынче, к этому ученому юнопше, с которым он так поучительно беседовал, заботясь только о том, чтобы показать ему свой ум и неотсталость от образования. Ему приятна, нужна любовь от них, но к пим любви он не чувствовал. Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты.

Ему было приятно узнать, что купцовой дочери двадцать два года, и хотелось знать, красива ли она. И, спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть, или нет.

«Неужели я так пал? — подумал он.— Господи, помоги мпе, восстанови меня, господь и бог мой». И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома... Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот — соловьи, жуки, природа. Юноша прав, может быть». И он стал громко молиться, и долго молился, до тех пор пока мысли эти исчезли и он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь.

Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же ушел.

Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно кроткая девушка, с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами. Отец Сергий остался на лавочке у входа. Когда проходила девушка и остановилась подле него и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. По лицу ее он увидал, что она чувственна и слабоумна. Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожидаясь его.

Когда он взошел, она встала.

— Я к папаше хочу,— сказала она.

— Не бойся,— сказал он.— Что у тебя болит?

— Все у меня болит,— сказала она, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой.

— Ты будешь здорова,— сказал он.— Молись.

— Что молиться, я молилась, ничего не помогает.— И она все улыбалась.— Вот вы помолитесь да руки на меня наложите. Я во сне вас видела.

— Как видела?

— Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь.— Она взяла его руку и прижала ее к своей груди.— Вот сюда.

Он отдал ей свою правую руку.

— Как тебя звать? — спросил он, дрожа всем телом и чувствуя, что он побежден, что похоть ушла уже из-под руководства.

— Марья. А что?

Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвила его за пояс и прижимала к себе.

— Что ты? — сказал он.— Марья. Ты дьявол.

— Ну, авось ничего.

И она, обнимая его, села с ним на кровать.

На рассвете он вышел на крыльцо.

«Неужели все это было? Отец придет. Она расскажет. Она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил палец». Он схватил топор и пошел в келью.

Келейник встретил его.

— Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор.

Он отдал топор. Вошел в келью. Она лежала и спала. С ужасом взглянул он на нее. Прошел в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по тропинке под гору к реке, у которой он не был четыре года.

Вдоль реки шла дорога; он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву.

Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Все было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. «Да, надо кончить. Нет бога. Как покончить? Броситься? Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак, на суку». Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся. Хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотившись на руку. И вдруг он почувствовал такую потребность сна, что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, положил на нее голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался только мгновение; он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать.

И вот видит он себя почти ребенком, в доме матери в деревне. И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходят: дядя Николай Сергеевич, с огромной, лопатой, черной бородой, и с ним худенькая девочка Пашенька с большими кроткими глазами и жалким, робким лицом. И вот им, в их компанию мальчиков, приводят эту Пашеньку. И надо с ней играть, а скучно. Она глупая. Кончается тем, что ее поднимают на смех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывает на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами и становится жалкой, такой жалкой, что совестно и что никогда за-

быть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергий, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим все ее состояние и бившим ее. У нее было двое детей: сын и дочь. Сын умер маленьким.

Сергий вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре вдовой. Она была такая же — не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом. И они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе и что она очень бедна. «И зачем я думаю о ней? — спрашивал он себя. Но не мог перестать думать о ней.— Где она? Что с ней? Так ли она все несчастна, как была тогда, когда показывала, как плавают по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо».

И опять ему страшно стало, и опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке.

Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидал ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение».

Он проснулся и, решив, что это было виденье от бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет,— это было за триста верст,— и пошел туда.

VIII

Пашенька уже давно была не Пашенька, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикьева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью: и дочь, и самого больного, неврастеника зятя, и пятерых внучат. А кормила она тем, что давала уроки музыки купцовым дочкам, по пятьдесят за час. В день было иногда четыре, иногда пять часов, так что в месяц зарабатывалось около шестидесяти рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию. Но письмо это не застало его.

Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепостной повар у ее папаши. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат.

Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим, старшие, мальчик и девочка, были в школе. Сам зять не спал ночь и теперь заснул. Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смягчить гнев дочери на мужа.

Она видела, что зять — слабое существо, не мог говорить и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут, и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтоб не было упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми. Ей так ясно было, что от этого ничто не может стать лучше, а все будет хуже. Да этого даже она не думала, она просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха, резкого шума, ударов по телу.

Она только что самодовольно учила Лукерью, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фартучке, на кривых ножках, в штопаных чулочках, прибежал на кухню с испуганным лицом.

— Бабушка, старик страшный тебя ищет.

Лукерья выглянула.

— И то, странник какой-то, барыня.

Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один о другой и руки об фартук и пошла было в дом за кошельком подать пять копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба и вернулась к шкапу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела, и, приказав Лукерье отрезать ломоть, сама пошла сверх того за гривенником. «Вот тебе наказанье,— сказала она себе,— вдвое подай».

Она подала, извиняясь, и то и другое страннику, и когда подавала, не только уж не гордилась своей щедростью, а, напротив, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был у странника.

Несмотря на то, что он триста верст прошел Христовым именем, и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же, несмотря на то, что он смиренно кланялся, у Сергия был все тот же значительный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не видав его почти тридцать лет.

— Не взыщите, батюшка. Может, поесть хотите?

Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит, а смотрит на нее.

— Пашенька. Я к тебе пришел. Прими меня.

И черные прекрасные глаза пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами. И под седеющими усами жалостно дрогнули губы.

Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника.

— Да не может быть! Степа! Сергий! Отец Сергий.

— Да, он самый,— тихо проговорил Сергий.— Только не Сергий, не отец Сергий, а великий грешник Степан Касатский, погибший великий грешник. Прими, помоги мне.

— Да не может быть, да как же вы это так смирились? Дä пойдемте же.

Она протянула руку; но он не взял ее и пошел за нею.

Но куда вести? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик, для нее, но потом и этот чуланчик она отдала дочери. И теперь там сидела Маша, укачивая грудного.

— Сядьте сюда, сейчас,— сказала она Сергию, указывая на лавку в кухне.

Сергий тотчас же сел и снял, очевидно уже привычным жестом, сначала с одного, потом с другого плеча сумку.

— Боже мой, боже мой, как смирился, батюшка! Какая слава и вдруг так...

Сергий не отвечал и только кротко улыбнулся, укладывая подле себя сумку.

— Маша, это знаешь кто?

И Прасковья Михайловна шепотом рассказала дочери, кто был Сергий, и они вместе вынесли и постель и люльку из чулана, опростав его для Сергия.

Прасковья Михайловна привела Сергия в каморку.

— Вот тут отдохните. Не взыщите. А мне идти надо.

— Куда?

— Уроки у меня тут, совестно и говорить — музыке учу.

— Музыке — это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна, я ведь к вам за делом пришел. Когда я могу поговорить с вами?

— За счастье почту. Вечером можно?

— Можно, только еще просьба: не говорите обо мне, кто я. Я только вам открылся. Никто не знает, куда я ушел. Так надо.

— Ах, а я сказала дочери.

— Ну, попросите ее не говорить.

Сергий снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессонной ночи и сорока верст ходу.

Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергий сидел в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья.

— Что же ты раньше пришла обещанного? — сказал Сергий.— Теперь можно поговорить?

— И за что мне такое счастье, что такой посетитель? Я уж пропустила урок. После... Я мечтала все съездить к вам, писала вам, и вдруг такое счастье.

— Пашенька! Пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед богом. Пашенька! Я не святой человек, даже не простой, рядовой человек: я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник, хуже, не знаю, всех ли, по хуже самых худых людей.

Пашенька смотрела сначала выпучив глаза; она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала:

— Стива, может быть, ты преувеличиваешь?

— Нет, Пашенька. Я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик.

— Боже мой! Что ж это? — проговорила Прасковья Михайловна.

— Но надо жить. И я, который думал, что все знаю, который учил других, как жить,— я ничего не знаю, и я тебя прошу научить.

— Что ты, Стива. Ты смеешься. За что вы всегда смеетесь надо мной?

— Ну, хорошо, я смеюсь; только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь?

— Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь бог наказывает меня, и поделом, и живу так дурно, так дурно...

— Как же ты вышла замуж? Как жила с мужем?

— Все было дурно. Вышла — влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела, вышла. И замужем, вместо того чтобы помогать мужу, я мучала его ревностью, которую не могла в себе победить.

— Он пил, я слышал.

— Да, но я-то не умела успокоить его. Упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться, а я теперь вспоминаю, как я не давала ему. И у нас были ужасные сцены.

И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоминании глазами на Касатского.

Касатский вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касатский видел теперь, глядя на ее худую, высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых, полурусых волос, как будто видел, как это происходило.

— Потом я осталась одна с двумя детьми и без всяких средств.

— Да ведь у вас было именье.

— Это еще при Васе мы продали и все... прожили. Надо было жить, а я ничего не умела — как все мы, барышни. Но я особенно плоха, беспомощна была. Так проживали последнее, я учила детей — сама немножко подучилась. А тут Митя заболел уже в четвертом классе, и бог взял его. Манечка полюбила Ваню — зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он больной.

— Мамаша,— перебила ее речь дочь.— Возьмите Мишу, не могу я разорваться.

Прасковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вернулась с двухлетним мальчиком на руках, который валился назад и схватился ручонками за ее косынку.

— Да, так на чем я остановилась? Ну вот, было у него место тут хорошее — и начальник такой милый, но Ваня не мог и вышел в отставку.

— Чем же он болен?

— Неврастенией, это ужасная болезнь. Мы советовались, но надо бы ехать, но средств нет. Но я все надеюсь, что так пройдет. Особенных болей у него нет, но...

— Лукерья! — послышался его голос, сердитый и слабый.— Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша!..

— Сейчас,— опять перебила себя Прасковья Михайловна.— Он не обедал еще. Он не может с нами.

Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая загорелые худые руки.

— Так вот и живу. И всё жалуемся, и всё недовольны, а, слава богу, внуки все славные, здоровые, и жить еще можно. Да что про меня говорить.

— Ну, чем же вы живете?

— А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой, а теперь как она мне пригодилась.

Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, и, как упражнения, перебирала худыми пальцами.

— Что же вам платят за уроки?

— Платят и рубль, и пятьдесят копеек, есть и тридцать копеек. Они все такие добрые ко мне.

— И что же, успехи делают? — чуть улыбаясь глазами, спросил Касатский.

Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности вопроса и вопросительно взглянула ему в глаза.

— Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника дочь. Добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочная женщина, то, разумеется, по папашиным связям, я бы могла найти место зятю. А то я ничего не умела и вот довела их всех до этого.

— Да, да,— говорил Касатский, наклоняя голову.— Ну, а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете? — спросил он.

— Ах, не говорите. Уж так дурно, так запустила, с детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей посылаю.

— А отчего же не бываете сами?

— Да правду сказать,— она покраснела,— да оборванной идти совестно перед дочерью, внучатами, а новенького нет. Да просто ленюсь.

— Ну, а дома молитесь?

— Молюсь, да что за молитва, так, машинально. Знаю, что не так надо, да нет настоящего чувства, только и есть, что знаешь всю свою гадость...

— Да, да, так, так,— как бы одобряя, подговаривал Касатский.

— Сейчас, сейчас,— ответила она на зов зятя и, поправив на голове косичку, вышла из комнаты.

На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, Касатский сидел в том же положении, опершись локтями на колена и опустив голову. Но сумка его была надета на спину.

Когда она вошла с жестяной, без колпака, лампочкой, он поднял на нее свои прекрасные, усталые глаза и глубоко, глубоко вздохнул.

— Я им не сказала, кто вы,— начала она робко,— а только сказала, что странник из благородных и что я знала. Пойдемте в столовую, чаю.

— Нет...

— Ну, я сюда принесу.

— Нет, ничего не надо. Спаси тебя бог, Пашенька. Я пойду. Если жалеешь, не говори никому, что видела меня. Богом живым заклинаю тебя: не говори никому. Спасибо тебе. Я бы поклонился тебе в ноги, да знаю, что это смутит тебя. Спасибо, прости Христа ради.

— Благословите.

— Бог благословит. Прости Христа ради.

И он хотел идти, но она не пустила его и принесла ему хлеба, баранок и масла. Он взял все и вышел.

Было темно, и не отошел он двух домов, как она потеряла его из вида и узнала, что он идет, только по тому, что протопопова собака залаяла на него.

«Так вот что значил мой сон. Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, она живет для бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело, чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже облагодетельствованных мною для людей. Но ведь была доля искреннего желания служить богу?» — спрашивал он себя, и ответ был: «Да, но все это было загажено, заросло славой людской. Да, нет бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его».

И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, сходясь и расходясь с странниками и странницами и прося Христа ради хлеба и ночлега. Изредка его бранила злая хозяйка, ругал выпивший мужик, но большей частью его кормили, поили, давали даже на дорогу. Его господское обличье располагало некоторых в его пользу. Некоторые, напротив, как бы радовались на то, что вот господин дошел также до нищеты. Но кротость его побеждала всех.

Он часто, находя в доме Евангелие, читал его, и люди всегда, везде все умилялись и удивлялись, как новое и вместе с тем давно знакомое слушали его.

Если удавалось ему послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодарности, потому что уходил. И понемногу бог стал проявляться в нем.

Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане, запряженном рысаком, и мужчина и дама верховые остановили их. Муж барыни ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала барыня с, очевидно, путешественником-французом.

Они остановили их, чтобы показать ему les pélérins [1], которые, по свойственному русскому народу суеверию, вместо того чтобы работать, ходят из места в место.

Они говорили по-французски, думая, что не понимают их.

— Demandez leur,— сказал француз,— s'ils sont bien sûrs de ce que leur pélérinage est agréable à dieu [2].

Их спросили. Старушки отвечали:

— Как бог примет. Ногами-то были, сердцем будем ли.

Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда. Спросили Касатского, кто он?

— Раб божий.

— Qu'est ce qu'il dit? Il ne répond pas.

---

[1] странников *(франц.)*.

[2] Спросите у них, твердо ли они уверены, что их паломничество угодно богу *(франц.)*.

— Il dit qu'il est un serviteur de dieu.

— Cela doit être un fils de prêtre. Il a de la race. Avez-vous de la petite monnaie? [1]

У француза нашлась мелочь. И он всем роздал по двадцать копеек.

— Mais dites leur que ce n'est pas pour des cierges que je leur donne, mais pour qu'ils se régalent de thé; чай, чай,— улыбаясь,— pour vous, mon vieux [2],— сказал он, трепля рукой в перчатке Касатского по плечу.

— Спаси Христос,— ответил Касатский, не надевая шапки и кланяясь своей лысой головой.

И Касатскому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое — взял смиренно двадцать копеек и отдал их товарищу, слепому нищему. Чем меньше имело значения мнение людей, тем сильнее чувствовался бог.

Восемь месяцев проходил так Касатский, на девятом месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками, и как беспаспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у него нет, а что он раб божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь.

В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными.

1898

---

[1] — Что он сказал? Он не отвечает.

— Он сказал, что он слуга божий.

— Должно быть, это сын священника. Чувствуется порода. Есть у вас мелочь? *(франц.)*

[2] Скажите им, что я даю им не на свечи, а чтобы они полакомились чаем... вам, дедушка *(франц.)*.

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие цветы повилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татарином» и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало того что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку,— он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия и сила жизни,— подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок.— Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным черноземным полем. Я шел наизволок по пыльной черноземной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень большое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще не скороженного пара. Пахота была хорошая, и нигде по полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки,— все было черно. «Экое разрушительное, жестокое существо человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, растений для поддержания своей жизни»,— думал я, невольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же «татарина», которого цветок я напрасно сорвал и бросил.

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то были красные, теперь же были черные. Один стебель был сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все стоит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братий кругом его.

«Экая энергия! — подумал я.— Все победил человек, миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая.

I

Это было в конце 1851-го года.

В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирнóй аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и блеяния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана.

Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком в сопровождении десятков мюридов, джигитовавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей.

Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал не по улице, ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей никого не было, на крыше же за свежесмазанной глиняной трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тронул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся, рваном бешмете. Глаза старика, без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить их, мигал ими. Хаджи-Мурат проговорил обычное: «Селям алейкум»,— и открыл лицо.

— Алейкум селям,— улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи-Мурата, и, поднявшись на свои худые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел в рукава пагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь и слезая, старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загорелой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи-Мурата и правое стремя. Но быстро слезший с своей лошади ловкий, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстранив старика, заменил его.

Хаджи-Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, вошел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.

— Беги в мечеть, зови отца,— приказал ему старик и, опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из внутренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина, в красном бешмете на желтой рубахе и синих шароварах, неся подушки.

— Приход твой к счастью,— сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для сидения гостя.

— Сыновья твои да чтобы живы были,— ответил Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их старику.

Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбеленной стене.

Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи-Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды.

— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: «что нового?»

— Хабар иок — «нет нового»,— отвечал старик, глядя не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными безжизненными глазами.— Я на пчельнике живу, нынче только пришел сына проведать. Он знает.

Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка кивнув головой, не стал больше спрашивать.

— Хорошего нового ничего нет,— заговорил старик.— Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов прогнать. А орлы всё рвут то одного, то другого. На прошлой неделе русские собаки у мичицких сено сожгли, раздерись их лицо,— злобно прохрипел старик.

Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими шагами своих сильных ног по земляному полу, так же как Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на себе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвозди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.

— Он кто? — спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на вошедшего.

— Мюрид мой. Элдар имя ему,— сказал Хаджи-Мурат.

— Хорошо,— сказал старик и указал Элдару место на войлоке, подле Хаджи-Мурата.

Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими красивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося старика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого послали в Ведено к Шамилю. Хаджи-Мурат рассеянно слушал, поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрипнула, и вошел хозяин.

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчика, его сына, ко-

торый бегал за ним и вместе с отцом вошел в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, зарастающей черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас же сел против Хаджи-Мурата на корточки.

Так же как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится ослушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным.

— У меня в доме,— сказал Садо,— моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.

Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал головой. Когда Садо кончил, он сказал:

— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.

— Брата Бату пошлю,— сказал Садо.— Позови Бату,— обратился он к сыну.

Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и быстро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем в разлезающейся желтой черкеске с оборванными бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах. Хаджи-Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также не теряя лишних слов, коротко сказал:

— Можешь свести моего мюрида к русским?

— Можно,— быстро, весело заговорил Бата.— Все можно. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я могу.

— Ладно,— сказал Хаджи-Мурат. За труды получишь три,— сказал он, выставляя три пальца.

Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но прибавил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он русских свиней бил.

— Хорошо,— сказал Хаджи-Мурат. — Веревка хороша длинная, а речь короткая.

— Ну, молчать буду,— сказал Бата.

— Где Аргун заворачивает, против кручи, поляна в лесу, два стога стоят. Знаешь?

— Знаю.

— Там мои три конные меня ждут,— сказал Хаджи-Мурат.

— Айя! — кивая головой, говорил Бата.

— Спросишь Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову, князю. Можешь?

— Сведу.

— Свести и назад привести. Можешь?

— Можно.

— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.

— Все сделаю,— сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел.

— Еще человека в Гехи послать надо,— сказал Хаджи-Мурат хозяину, когда Бата вышел.— В Гехах надо вот что,— начал было он, взявшись за один из хозырей черкески, но тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в саклю двух женщин.

Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая женщина, которая укладывала подушки. Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебряный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть строгим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурèк — тонко раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце.

Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во все время, пока женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую трубочкой записку.

— Сыну отдать,— сказал он, показывая записку.

— Куда ответ? — спросил Садо.

— Тебе, а ты мне доставишь.

— Будет сделано,— сказал Садо и переложил записку в хозырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган, он придвинул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешмета на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. Пока гости ели, Садо сидел против них и не-

сколько раз благодарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбался, как бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кинжала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.

— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед: и много и хорош,— сказал старик, видимо довольный тем, что Хаджи-Мурат ел его мед.

— Спасибо,— сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.

Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган.

Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи-Муратом было объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не принимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую минуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смущало, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать гостя — кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.

— Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто тебе ничего не сделает,— повторил он Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжественно сказал:

— Да получишь ты радость и жизнь.

Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за доброе слово.

Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то отделение сакли, где жило все его семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных гостях, которые ночевали у них в кунацкой.

II

В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской, в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал Хаджи-Мурат, вышли из укрепления за Чахгиринские ворота три солдата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папахах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, пройдя шагов пятьсот, свернули с нее и, шурша сапогами по сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо

и остановились у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет.

Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам деревьев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко блестя между оголенных ветвей деревьев.

— Спасибо — сухо,— сказал унтер-офицер Панов, снимая с плеча длинное с штыком ружье, и, брякнув им, прислонил его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.

— А ведь и есть — потерял,— сердито проворчал Панов,— либо забыл, либо выскочила дорогой.

— Чего ищешь-то? — спросил один из солдат бодрым, веселым голосом.

— Трубку, черт ее знает куда запропала!

— Чубук-то цел? — спросил бодрый голос.

— Чубук — вот он.

— А в землю прямо?

— Ну, где там.

— Это мы наладим живо.

Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти не секрет, а скорее передовой караул, который высылался затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению, и Панов не считал нужным лишать себя курения и потому согласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ямку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Серничок загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял приятный запах загоревшейся махорки.

— Наладил? — сказал он, поднимаясь на ноги.

— А то как же.

— Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый. Ну-ка?

Авдеев отвалился набок, давая место Панову и выпуская дым изо рта.

Накурившись, между солдатами завязался разговор.

— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проигрался, вишь,— сказал один из солдат ленивым голосом.

— Отдаст,— сказал Панов.

— Известно, офицер хороший,— подтвердил Авдеев.

— Хороший, хороший,— мрачно продолжал начавший разговор,— а по моему совету, надо роте поговорить с ним: коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь.

— Как рота рассудит,— сказал Панов, отрываясь от трубки.

— Известное дело, мир — большой человек,— подтвердил Авдеев.

— Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справить, денежки нужны, а как он их забрал...— пастаивал недовольный.

— Говорю, как рота хочет,— повторил Панов.— Не в первый раз: возьмет и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама через своих выборных всем хозяйством. Она получала деньги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадьми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от которого были у ротного командира, и случалось часто, что ротный командир брал взаймы из ротного ящика. Так было и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный солдат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов и Авдеев считали, что этого не нужно было.

После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только слышно было, как ветер шевелил высоко над головами макушки дерев. Вдруг из-за этого неперестающего тихого шелеста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.

— Вишь, проклятые, как заливаются,— сказал Авдеев.

— Это они с тебя смеются, что у тебя рожа набок,— сказал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.

Опять все затихло, только ветер шевелил сучья дерев, то открывая, то закрывая звезды.

— А что, Антоныч,— вдруг спросил веселый Авдеев Панова,— бывает тебе когда скучно?

— Какая же скука? — неохотно отвечал Панов.

— А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, кажись, и сам не знаю, что бы над собою сделал.

— Вишь ты! — сказал Панов.

— Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Накатило, накатило на меня. Думаю: дай пьян нарежусь.

— А бывает, с вина еще хуже.

— И это было. Да куда денешься?

— Да с чего ж скучаешь-то?

— Я-то? Да по дому скучаю.

— Что ж — богато жили?

— Не то что богачи, а жили справно. Хорошо жили.

И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рассказывал тому же Панову.

— Ведь я охотой за брата пошел,— рассказывал Авдеев.—

У него ребята сам-пят! А меня только женили. Матушка просить стала. Думаю: что мне! Авось попомнят мое добро. Сходил к барину. Барин у нас хороший, говорит: «Молодец! — ступай». Так и пошел за брата.

— Что ж, это хорошо,— сказал Панов.

— А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, то хуже. Такой грех, видно.

Авдеев помолчал.

— Аль покурим опять? — спросил Авдеев.

— Ну что ж, налаживай!

Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ветра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и толкнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял шинель. Поднялся и третий — Бондаренко.

— А я, братцы, какой сон видел...

Авдеев шикнул на Бондаренку, и солдаты замерли, прислушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, приближались. Все явственнее и явственнее слышалось в темноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался говор на том особенном, гортанном языке, которым говорят чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидали две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна тень была пониже, другая — повыше. Когда тени поравнялись с солдатами, Панов, с ружьем на руку, вместе с своими двумя товарищами выступил на дорогу.

— Кто идет? — крикнул он.

— Чечен мирная,— заговорил тот, который был пониже. Это был Бата.— Ружье иок, шашка иок,— говорил он, показывая на себя.— Кинезь надо.

Тот, который был повыше, молча стоял подле своего товарища. На нем тоже не было оружия.

— Лазутчик. Значит — к полковому,— сказал Панов, объясняя своим товарищам.

— Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо,— говорил Бата.

— Ладно, ладно, сведем,— сказал Панов.— Что ж, веди, что ли, ты с Бондаренкой,— обратился он к Авдееву,— а сдашь дежурному, приходи опять. Смотри,— сказал Панов,— осторожней, впереди себя вели идти. А то ведь эти гололобые — ловкачи.

— А что это? — сказал Авдеев, сделав движение ружьем с штыком, как будто он закалывает.— Пырну разок — и дар вон.

— Куда ж он годится, коли заколешь,— сказал Бондаренко.— Ну, марш!

Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов и Никитин вернулись на свое место.

— И черт их носит по ночам! — сказал Никитин.

— Стало быть, нужно,— сказал Панов.— А свежо стало,— прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву.

Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.

— Что же, сдали? — спросил Панов.

— Сдали. А у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие,— продолжал Авдеев.— Ей-богу! Я с ними как разговорился.

— Ты, известно, разговоришься,— недовольно сказал Никитин.

— Право, совсем как российские. Один женатый. Марушка, говорю, бар? — Бар, говорит.— Баранчук, говорю, бар? — Бар.— Много? — Парочка, говорит.— Так разговорились хорошо. Хорошие ребята.

— Как же, хорошие,— сказал Никитин,— попадись ему только один на один, он тебе требуху выпустит.

— Должно, скоро светать будет,— сказал Панов.

— Да, уж звездочки потухать стали,— сказал Авдеев, усаживаясь.

И солдаты опять затихли.

III

В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было темно, но в одном из лучших домов крепости светились еще все окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Марьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как никто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.

Теперь, в двенадцать часов ночи, в большой гостиной, с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портьерами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свечами, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из играющих был сам хозяин, длинполицый белокурый полковник с флигель-адъютантскими вензелями и аксельбантами, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского университета, недавно выписанный княгиней Во-

ронцовой учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера: один — широколицый, румяный, перешедший из гвардии, ротный командир Полторацкий, и, очень прямо сидевший, с холодным выражением красивого лица, полковой адъютант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большеглазая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, касаясь его ног своим кринолином и заглядывая ему в карты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех движениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме сознания ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более и более раздражая своего партнера.

— Нет, это невозможно! Опять просолил туза! — весь покраснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул туза.

Полторацкий, точно проснувшись, не понимая глядел своими добрыми, широко расставленными черными глазами на недовольного адъютанта.

— Ну простите его! — улыбаясь, сказала Марья Васильевна.— Видите, я вам говорила,— обратилась она к Полторацкому.

— Да вы совсем не то говорили,— улыбаясь, сказал Полторацкий.

— Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, стал мешать их.

— Не тебе мешать,— строго сказал адъютант и стал своей белой, с перстнем, рукой сдавать карты, так, как будто он только хотел поскорее избавиться от них.

В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что князя требует дежурный.

— Извините, господа,— сказал Воронцов, с английским акцентом говоря по-русски.— Ты за меня, Marie, сядешь.

— Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей сияющей улыбкой счастливой женщины.

— Я всегда на все согласен,— сказал адъютант, очень довольный тем, что против него играет теперь совершенно не умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел руками, улыбаясь.

Роббер кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он пришел особенно веселый и возбужденный.

— Знаете, что я вам предложу?

— Ну?

— Выпьемте шампанского.

— На это я всегда готов,— сказал Полторацкий.

— Что же, это очень приятно,— сказал адъютант.

— Василий! подайте,— сказал князь.

— Зачем тебя звали? — спросила Марья Васильевна.

— Был дежурный и еще один человек.

— Кто? Что? — поспешно спросила Марья Васильевна.

— Не могу сказать,— пожав плечами, сказал Воронцов.

— Не можешь сказать,— повторила Марья Васильевна.— Это мы увидим.

Принесли шампанского. Гости выпили по стакану и, окончив игру и разочтясь, стали прощаться.

— Ваша рота завтра назначена в лес? — спросил князь Полторацкого.

— Моя. А что?

— Так мы увидимся завтра с вами,— сказал князь, слегка улыбаясь.

— Очень рад,— сказал Полторацкий, хорошенько не понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Марьи Васильевны.

Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, но и сильно тряхнула руку Полторацкого. И еще раз напомнив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой и значительной улыбкой.

Полторацкий шел домой в том восторженном настроении, которое могут понимать только люди, как он, выросшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев уединенной военной жизни, вновь встречают женщину из своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня Воронцова.

Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал барабанить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послышались шаги, и Вавило, крепостной дворовый человек Полторацкого, откинул крючок.

— С чего вздумал запирать?! Болван!

— Да разве можно, Алексей Владимир...

— Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно...

Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал.

— Ну, черт с тобой. Свечу зажги.

— Сею минутую.

Вавило был действительно выпивши, а выпил он потому, что был на именинах у каптенармуса. Вернувшись домой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью Ивана Макеича, каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавило же был мальчиком взят в верх, то есть

в услужение господам, и вот уже ему было сорок с лишком лет, а он не женился и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была жизнь! «Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. Да куда же мне идти с вольной. Собачья жизнь!» — думал Вавило. И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок и заснул.

Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с товарищем Тихоновым.

— Ну что, проигрался? — сказал проснувшийся Тихонов.

— Ан нет, семнадцать рублей выиграл, и клико бутылочку распили.

— И на Марью Васильевну смотрел?

— И на Марью Васильевну смотрел,— повторил Полторацкий.

— Скоро уж вставать,— сказал Тихонов,— и в шесть надо уж выступать.

— Вавило,— крикнул Полторацкий.— Смотри, хорошенько буди меня завтра в пять.

— Как же вас будить, когда вы деретесь.

— Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?

— Слушаю.

Вавило ушел, унося сапоги и платье.

А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил папироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою улыбающееся лицо Марьи Васильевны.

У Ворощовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед ним, строго сказала:

— Eh bien, vous aller me dire ce que c'est?

— Mais, ma chère...

— Pas de «ma chère»! C'est un émissaire, n'est-ce pas?

— Quand même je ne puis pas vous le dire.

— Vous ne pouvez pas? Alors c'est moi qui vais vous le dire!

— Vous? [1]

— Хаджи-Мурат? да? — сказала княгиня, слыхавшая уже несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предполагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат.

---

[1] — Ну, ты скажешь мне, в чем дело?
— Но, дорогая...
— При чем тут «дорогая»! Это, конечно, лазутчик?
— Тем не менее я не могу тебе сказать.
— Не можешь? Ну, так я тебе скажу!
— Ты? *(франц.)*

Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, объявивший, что Хаджи-Мурат завтра выедет к нему в то место, где назначена рубка леса.

Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцовы — и муж и жена — были очень рады этому событию. Поговорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж с женой в третьем часу легли спать.

IV

После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. Он спал не раздеваясь, облокотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от него, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув широко свои сильные, молодые члены, так что высокая грудь его с черными хозырями на белой черкеске была выше откинувшейся свежебритой, синей головы, свалившейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть покрывавшим ее пушком верхняя губа его точно прихлебывала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хаджи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился почник.

В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи-Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел Садо.

— Что надо? — спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто никогда не спал.

— Думать надо,— сказал Садо, усаживаясь на корточки перед Хаджи-Муратом.— Женщина с крыши видела, как ты ехал,— сказал он,— и рассказала мужу, а теперь весь аул знает. Сейчас прибегала к жене соседка, сказывала, что старики собрались у мечети и хотят остановить тебя.

— Ехать надо,— сказал Хаджи-Мурат.

— Кони готовы,— сказал Садо и быстро вышел из сакли.

— Элдар,— прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услыхав свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи-Мурат надел оружие и бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, пробежал какой-то человек в гору к мечети.

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше других здание мечети с минаретом в верхней части аула. От мечети доносился гул голосов.

Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в узкое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслышно сел на высокую подушку седла.

— Бог да воздаст вам! — сказал он, обращаясь к хозяину, отыскивая привычным движением правой ноги другое стремя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, плетью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторонился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади; Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону узкой улицы. У выезда, через дорогу, показалась движущаяся тень, потом — другая.

— Стой! Кто едет? Остановись! — крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу.

Вместо того чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат продолжал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он остановил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послышался приближающийся лошадиный топот и говор позади Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же ровным прòездом.

Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. Их было человек двадцать верховых. Это были жители аула, решившие задержать Хаджи-Мурата или по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, что стали видны в темноте, Хаджи-Мурат остановился, бросив поводья, и, привычным движением левой руки отстегнув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал то же.

— Чего надо? — крикнул Хаджи-Мурат.— Взять хотите? Ну, бери! — И он поднял винтовку. Жители аула остановились.

Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда Хаджи-Мурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие за ним верховые

закричали ему, чтобы он выслушал то, что они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он остановил ее, погони за ним уже не слышно было; не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Черная стена леса была совсем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился и, забрав много воздуху в легкие, засвистал и потом затих, прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Проехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидал сквозь стволы деревьев костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины освещенную огнем стреноженную лошадь в седле.

Один из сидевших у костра людей быстро встал и подошел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был аварец Ханефи, названый брат Хаджи-Мурата, заведующий его хозяйством.

— Огонь потушить,— сказал Хаджи-Мурат, слезая с лошади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие сучья.

— Был здесь Бата? — спросил Хаджи-Мурат, подходя к расстеленной бурке.

— Был, давно ушли с Хан-Магомой.

— По какой дороге пошли?

— По этой,— отвечал Ханефи, указывая на противоположную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.

— Ладно,— сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал заряжать ее.— Поберечься надо, гнались за мной,— сказал он, обращаясь к человеку, тушившему огонь.

Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи-Мурат. Элдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высоко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом, так же как Гамзало, с винтовкой за плечами стал на другой край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже таким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но светились звезды.

Поглядев на звезды, на Стожары, поднявшиеся уже на половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было далеко за полночь и что давно уже была пора ночной молитвы. Он спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумах, и, надев бурку, пошел к воде.

Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув пальцами

уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы.

Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были переметные сумы, и, сев на бурку, облокотил руки на колена и, опустив голову, задумался.

Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастие. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче,— и все удавалось ему. Так это было, за редкими исключениями, во все продолжение его бурной военной жизни. Так, он надеялся, что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, и он опять будет управлять не только Аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул.

Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью и криком «Хаджи-Мурат идет», летит на Шамиля и захватывает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его жены. Он проснулся. Песня «Ля илляха», и крики: «Хаджи-Мурат идет», и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хохот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял голову, взглянул на светлевшееся уже сквозь стволы дерев небо на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида о Хан-Магоме. Узнав, что Хан-Магома еще не возвращался, Хаджи-Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал.

Разбудил его веселый голос Хан-Магомы, возвращавшегося с Батою из своего посольства. Хан-Магома тотчас же подсел к Хаджи-Мурату и стал рассказывать, как солдаты встретили их и проводили к самому князю, как он говорил с самим князем, как князь радовался и обещал утром встретить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком, на Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотоварища, вставляя свои подробности.

Хаджи-Мурат расспросил подробно о том, какими именно словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи-Мурата выйти к русским. И Хан-Магома и Бата в один голос говорили, что князь обещал принять Хаджи-Мурата как гостя и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи-Мурат расспросил еще про дорогу, и когда Хан-Магома заверил его, что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи-Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные три рубля; своим же велел достать из переметных сум свое с золотой насечкой оружие и папаху с чалмою, самим же мюридам почиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. Пока чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, стало совсем светло, и потянул предрассветный ветерок.

V

Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами, под командой Полторацкого, вышли за десять верст за Чахгиринские ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К восьми часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещащих на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес, прежде за пять шагов не видавшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры, и завалённую деревьями дорогу, шедшую через лес; солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке, поодаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с своим субалтерн-офицером Тихоновым, два офицера 3-й роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по Пажескому корпусу, барон Фрезе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго, беззаботного веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и никогда нигде не бывает той рубки врукопашную шашками, которая всегда предполагается и описывается (а если и бывает такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют всегда только бегущих), эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая, так же как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждение их ожидания в середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий, красивый звук винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел.

— Эге! — крикнул веселым голосом Полторацкий,— ведь это

в цепи! Ну, брат Костя,— обратился он к Фрезе,— твое счастие. Иди к роте. Мы сейчас такое устроим сражение, что прелесть! И представление сделаем.

Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та сторона ее были ясно видны.

Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло из-за тумана, и на противоположной стороне балки, у другого начинавшегося там мелкого леса, сажен за сто, виднелось несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые преследовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к русским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад, и стрельба прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он велел стрелять, и только что была передана команда, по всей линии цепи послышался непрерывный веселый, бодрящий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившимися дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились заряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, почувствовали задор и, выскакивая вперед, один за другим выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авдеев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в животе, и равномерно покачивался.

— Только стал ружье заряжать, слышу — чикнуло,— говорил солдат, бывший с ним в паре.— Смотрю, а он ружье выпустил.

Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним.

— Что, брат, попало? — сказал он.— Куда?

Авдеев не отвечал.

— Только стал заряжать, ваше благородие,— заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым,— слышу — чикнуло, смотрю — он ружье выпустил.

— Те-те,— пощелкал языком Полторацкий.— Что же, больно, Авдеев?

— Не больно, а идти не дает. Винца бы, ваше благородие.

Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил крышку рукой.

— Не примает душа,— сказал он.— Пей сам.

Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева.

— Ваше благородие, полковник едет,— сказал фельдфебель Полторацкому.

— Ну ладно, распорядись ты,— сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову.

Воронцов ехал на своем английском, кровном рыжем жеребце, сопутствуемый адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком.

— Что это у вас? — спросил он Полторацкого.

— Да вот выехала партия, напала на цепь,— отвечал ему Полторацкий.

— Ну-ну, и всё вы затеяли.

— Да не я, князь, — улыбаясь, сказал Полторацкий,— сами лезли.

— Я слышал, солдата ранили?

— Да, очень жаль. Солдат хороший.

— Тяжело?

— Кажется, тяжело,— в живот.

— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.

— Не знаю.

— Неужели не догадываетесь?

— Нет.

— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.

— Не может быть!

— Вчера лазутчик от него был,— сказал Воронцов, с трудом сдерживая улыбку радости.— Сейчас должен ждать меня на Шалинской поляне; так вы рассыпьте стрелков до поляны и потом приезжайте ко мне.

— Слушаю,— сказал Полторацкий, приложив руку к папахе, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сторону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. Раненого между тем четыре солдата унесли в крепость.

Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидал сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остановился и подождал их.

Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат. Он подъехал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а

давно знакомым приятелем. Только одно было в нем особенное: это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям.

Свита Хаджи-Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот Хан-Магома, который нынче ночью ходил к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век, яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый волосатый человек с сросшимися бровями. Этот был тавлинец Ханефи, заведующий всем имуществом Хаджи-Мурата. Он вел с собой заводную лошадь с туго наполненными переметными сумами. Особенно же выделялись из свиты два человека: один — молодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах, с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньими глазами,— это был Элдар, и другой, кривой на один глаз, без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой и шрамом через нос и лицо,— чеченец Гамзало.

Полторацкий указал Хаджи-Мурату на показавшегося по дороге Воронцова. Хаджи-Мурат направился к нему и, подъехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:

— Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, говорит, послужить ему. Давно хотел, говорит. Шамиль не пускал.

Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в замшевой перчатке Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на эту руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще сказал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова.

— Он, говорит, ни к кому не хотел выходить, а только к тебе, потому ты сын сардаря. Тебя уважал крепко.

Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. Хаджи-Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту.

— Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, как и он, служить русским.

Воронцов огляпулся на них, кивнул и им головой.

Веселый, черноглазый, без век, Хан-Магома, также кивая головой, что-то, должно быть, смешное проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы. Рыжий же Гамзало только блеснул на мгновение одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставился на уши своей лошади.

Когда Воронцов и Хаджи-Мурат, сопутствуемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания:

— Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его ублаготворять будут,— сказал один.

— А то как же. Первый камандер у Шмеля был. Теперь, небось...

— А молодчина, что говорить, джигит.

— А рыжий-то, рыжий,— как зверь, косится.

— Ух, собака, должно быть.

Все особенно заметили рыжего.

Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его.

— Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты знаешь, кто это? — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова с своим аглицким акцентом.

— Никак нет, ваше сиятельство.

— Хаджи-Мурат,— слыхал?

— Как не слыхать, ваше сиятельство, били его много раз.

— Ну, да и от него доставалось.

— Так точно, ваше сиятельство,— отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником.

Хаджи-Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.

VI

Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, удалось выманить и принять главного, могущественнейшего, второго после Шамиля, врага России. Одно было неприятно: командующий войсками в Воздвиженской был генерал Меллер-Закомельский, и, по-настоящему, надо было через него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отравляла немного удовольствие Воронцова.

Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому адъютанту мюридов Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе в дом.

Княгиня Марья Васильевна, парадная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной, и Хаджи-Мурат, приложив свои руки к груди, несколько торжественно сказал через переводчика, который вошел с ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. И наружность и манеры Хаджи-Мурата понравились Марье Васильевне. То же, что он вспыхнул, покрас-

пел, когда она подала ему свою большую белую руку, еще более расположило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив его, пьет ли он кофей, велела подать. Хаджи-Мурат, однако, отказался от кофея, когда ему подали его. Он немного понимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя подле матери, не спускал глаз с Хаджи-Мурата, про которого он слышал как про необыкновенного воина.

Оставив Хаджи-Мурата у жены, Воронцов пошел в канцелярию, чтобы сделать распоряжение об извещении начальства о выходе Хаджи-Мурата. Написав донесение начальнику левого фланга, генералу Козловскому, в Грозную, и письмо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хаджи-Мурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он будет отдавать всякому купаку ту свою вещь, которую кунак этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму...

Хаджи-Мурат при входе князя снял с колена удивленного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же переменив игривое выражение лица на строгое и серьезное. Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая разговор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что такой их закон, что все, что понравилось купаку, то надо отдать купаку.

— Твоя сын — кунак,— сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колено.

— Он прелестен, твой разбойник,— по-французски сказала Марья Васильевна мужу.— Булька стал любоваться его кинжалом — он подарил его ему.

Булька показал кинжал отчиму.

— C'est un objet de prix [1],— сказала Марья Васильевна.

— Il faudra trouver l'occasion de lui faire cadeau [2],— сказал Воронцов.

Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал:

— Джигит, джигит.

---

[1] Это ценная вещь *(франц.)*.

[2] Надо будет найти случай отдарить его *(франц.)*.

— Прекрасный кинжал, прекрасный,— сказал Воронцов, вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине.— Благодарствуй.

— Спроси его, чем я могу услужить ему,— сказал Воронцов переводчику.

Переводчик передал, и Хаджи-Мурат тотчас же отвечал, что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его теперь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи-Мурата.

Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение удовольствия и то ласковости, то торжественности, и выступило выражение озабоченности.

Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо лучше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офицерам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закуют и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был настороже.

Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюридов, где лошади и не отобрали ли у них оружие.

Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей поместили в сарае, оружие оставили при них и переводчик угащивает их едою и чаем.

Хаджи-Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздевшись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с ногами на тахту, дожидаясь того, что будет.

В пятом часу его позвали обедать к князю.

За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого места, из которого взяла себе Марья Васильевна.

— Он боится, чтобы мы не отравили его,— сказала Марья Васильевна мужу.— Он взял, где я взяла.— И тотчас обратилась к Хаджи-Мурату через переводчика, спрашивая, когда он теперь опять будет молиться. Хаджи-Мурат поднял пять пальцев и показал на солнце.

— Стало быть, скоро.

Воронцов вынул брегет и прижал пружинку,— часы пробили четыре и одну четверть. Хаджи-Мурата, очевидно, удивил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть часы.

— Voilà l'occasion. Donnez-lui la montre [1],— сказала Марья Васильевна мужу.

---

[1] Вот случай. Подари ему часы *(франц.)*.

Воронцов тотчас предложил часы Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал головой.

После обеда князю доложили об адъютанте Меллера-Закомельского.

Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе Хаджи-Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доложено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи-Мурат сейчас же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание генерала будет исполнено, и, через переводчика передав Хаджи-Мурату требование генерала, попросил его идти вместе с ним к Меллеру.

Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъютант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом может произойти неприятность, и, несмотря на все отговоры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи-Муратом к генералу.

— Vous feriez beaucoup mieux de rester; c'est mon affaire, mais pas la vôtre.

— Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller voir madame la générale [1].

— Можно бы в другое время.

— А я хочу теперь.

Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли все трое.

Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью проводил Марью Васильевну к жене, адъютанту же велел проводить Хаджи-Мурата в приемную и не выпускать никуда до его приказания.

— Прошу,— сказал он Воронцову, отворяя дверь в кабинет и пропуская в нее князя вперед себя.

Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не прося его сесть, сказал:

— Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы не донесли мне о выходе Хаджи-Мурата?

— Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи-Мурата отдаться мне,— отвечал Воронцов, бледнея от волнения, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вместе с тем заражаясь его гневом.

— Я спрашиваю, почему не донесли мне?

— Я намеревался сделать это, барон, но...

— Я вам не барон, а ваше превосходительство.

---

[1] Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась; это мое дело, а не твое.

— Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу *(франц.)*.

И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздражение барона. Он высказал все, что давно накипело у него в душе.

— Я не затем двадцать семь лет служу своему государю, чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользуясь своими родственными связями, у меня под носом распоряжались тем, что их не касается.

— Ваше превосходительство! Я прошу вас не говорить того, что несправедливо,— перебил его Воронцов.

— Я говорю правду и не позволю...— еще раздражительнее заговорил генерал.

В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера-Закомельского.

— Ну, полноте, барон, Simon не хотел вам сделать неприятности,— заговорила Марья Васильевна.

— Я, княгиня, не про то говорю...

— Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете: худой спор лучше доброй ссоры. Что я говорю...— Она засмеялась.

И сердитый генерал покорился обворожительной улыбке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.

— Я признаю, что я был неправ,— сказал Воронцов,— но...

— Ну, и я погорячился,— сказал Меллер и подал руку князю.

Мир был установлен, и решено было на время оставить Хаджи-Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику левого фланга.

Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять: что они спорили о нем, и что его выход от Шамиля есть дело огромной важности для русских, и что поэтому, если только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер-Закомельский, хотя и начальник, не имеет того значения, которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен Воронцов, а не важен Меллер-Закомельский; и поэтому, когда Меллер-Закомельский позвал к себе Хаджи-Мурата и стал расспрашивать его, Хаджи-Мурат держал себя гордо и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы служить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его сардарю, то есть главнокомандующему, князю Воронцову, в Тифлисе.

VII

Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в небольшом крытом тесом доме на выезде из крепости, и положили в общую палату на одну из пустых коек. В палате было четверо

больных: один — метавшийся в жару тифозный, другой — бледный, с синевой под глазами, лихорадочный, дожидавшийся пароксизма и непрестанно зевавший, и еще два раненных в набеге три недели тому назад — один в кисть руки (этот был на ногах), другой в плечо (этот сидел на койке). Все, кроме тифозного, окружили принесенного и расспрашивали принесших.

— Другой раз палят, как горохом осыпают, и — ничего, а тут всего раз пяток выстрелили,— рассказывал один из принесших.

— Кому что назначено!

— Ох,— громко крякнул, сдерживая боль, Авдеев, когда его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахмурился и не стонал больше, но только не переставая шевелил ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел перед собой.

Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы посмотреть, не вышла ли пуля сзади.

— Это что ж? — спросил доктор, указывая на перекрещивающиеся белые рубцы на спине и заду.

— Это старок, ваше высокоблагородие,— кряхтя, проговорил Авдеев.

Это были следы его наказания за пропитые деньги.

Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Перевязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень удивлявшее его.

Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серёгин. Авдеев все так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотрели прямо на них.

— Ты, Пётра, чего домой приказать не хочешь ли? — сказал Панов.

Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову.

— Я говорю, домой приказать не хочешь ли чего? — опять спросил Панов, трогая его за холодную ширококостую руку.

Авдеев как будто очнулся.

— А, Антоныч пришел!

— Да вот пришел. Не прикажешь ли чего домой? Серёгин напишет.

— Серёгин,— сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на Серёгина,— напишешь?.. Так вот отпиши: «Сын, мол, ваш Петруха долго жить приказал». Завиствовал брату. Я тебе понче сказывал.

А теперь, значит, сам рад. Не замай живет. Дай бог ему, я рад. Так и пропиши.

Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Панова.

— Ну, а трубку нашел? — вдруг спросил он.

Панов покачал головой и не отвечал.

— Трубку, трубку, говорю, нашел? — повторил Авдеев.

— В сумке была.

— То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать буду,— сказал Авдеев.

В это время пришел Полторацкий проведать своего солдата.

— Что, брат, плохо? — сказал он.

Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не ответил и только опять повторил, обращаясь к Панову:

— Свечку дай. Помирать буду.

Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и ее вложили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, и пять минут после его ухода фельдшер приложил ухо к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился.

Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тифлис, описывалась следующим образом: «23 ноября две роты Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. В середине дня значительное скопище горцев внезапно атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли около ста человек убитыми и ранеными».

VIII

В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воздвиженском госпитале, его старик отец, жена брата, за которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, девка-невеста, молотили овес на морозном току. Накануне выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик проснулся еще с третьими петухами и, увидав в замерзшем окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, шапку и пошел на гумно. Проработав там часа два, старик вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда бабы и девки пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопата стояла воткнутой в белый сыпучий снег и рядом с нею метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разостланы в два ряда, волоть с волотью, длинной веревкой по чистому току. Разобрали цепы и стали молотить, равномерно ладя тремя ударами. Старик крепко

бил тяжелым цепом, разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха отворачивала.

Месяц зашел, и начинало светать; и уже кончали веревку, когда старший сын, Аким, в полушубке и шапке вышел к работающим.

— Ты чего лодырничаешь? — крикнул на него отец, останавливаясь молотить и опираясь на цеп.

— Лошадей убрать надо же.

— Лошадей убрать,— передразнил отец.— Старуха уберет. Бери цеп. Больно жирен стал. Пьяница!

— Ты, что ли, меня поил? — пробурчал сын.

— Чаго? — нахмурившись и пропуская удар, грозно спросил старик.

Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепа: трап, та-па-тап, трап, та-па-тап... Трап! — ударял после трех раз тяжелый цеп старика.

— Загривок-то, глянь, как у барина доброго. Вот у меня так портки не держатся,— проговорил старик, пропуская свой удар и только, чтобы не потерять такту, переворачивая в воздухе цепинкой.

Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому.

— Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солдатах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых таких, как ты, стоил.

— Ну, будет, батюшка,— сказала сноха, откидывая разбитые свясла.

— Да, корми вас сам-шёст, а работы и от одного нету. Петруха, бывало, за двоих один работает, не то что...

По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, подошла старуха. Мужики сгребали невеяное зерно в ворох, бабы и девка заметали.

— Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить,— сказала старуха.— Я завтракать собрала. Идите, что ль.

— Ладно. Чалого запряги и ступай,— сказал старик Акиму.— Да смотри, чтоб не так, как намедни, отвечать за тебя. Попомнишь Петруху.

— Как он был дома, его ругал,— огрызнулся теперь Аким на отца,— а нет его, меня глодаешь.

— Значит, сто́ишь,— так же сердито сказала мать.— Не с Петрухой тебя сменять.

— Ну, ладно! — сказал сын.

— То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь: ладно.

— Про старые дрожжи поминать двожды,— сказала сноха, и все, положив цепы, пошли к дому.

Нелады между отцом и сыном начались уже давно, почти со

времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почувствовал, что он променял кукушку на ястреба. Правда, что по закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти за семейного. У Акима было четверо детей, у Петра никого, но работник Петр был такой же, как и отец: ловкий, сметливый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же как и делывал старик, он тотчас же брался помогать — или пройдет ряда два с косой, или навьет воз, или срубит дерево, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было нечего. Солдатство было как смерть. Солдат был отрезанный ломоть, и поминать о нем — душу бередить — незачем было. Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался.

Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припрятаны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть отложенного. Теперь, когда старуха услыхала, что он поминает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы при продаже овса послать сыну хоть рублик. Так она и сделала. Оставшись вдвоем с стариком, после того как молодые ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег послать рубль Петрухе. Так что, когда из провеянных ворохов двенадцать четвертей овса были насыпаны на веретья в трое саней и веретья аккуратно зашпилены деревянными шпильками, она дала старику написанное под ее слова дьячком письмо, и старик обещал в городе приложить к письму рубль и послать по адресу.

Старик, одетый в новую шубу и кафтан и в чистых белых шерстяных онучах, взял письмо, уложил его в кошель и, помолившись богу, сел на передние сани и поехал в город. На задних санях ехал внук. В городе старик велел дворнику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно слушал его.

В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти крестного и под конец известие о том, что Аксинья (жена Петра) «не захотела с нами жить и пошла в люди. Слышно, что живет хорошо и честно». Упоминалось о гостинце, рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя, и слово в слово, пригорюнившаяся старуха, со слезами на глазах, велела написать дьяку:

«А еще, милое мое дитятко, голубок ты мой Петрушенька, выплакала я свои глазушки, о тебе сокрушаючись. Солнушко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил...» На этом месте старуха завыла, заплакала и сказала:

— Так и будет.

Так и осталось в письме, по Петрухе не суждено было получить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вернулись назад с известием, что Петруха убит на войне, «защищая царя, отечество и веру православную». Так написал военный писарь.

Старуха, получив это известие, повыла, покуда было время, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она пошла в церковь и раздала кусочки просвирок «добрым людям для поминания раба божия Петра».

Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти «любимого мужа, с которым» она «пожила только один годочек». Она жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И в своем вытье поминала «и русые кудри Петра Михайловича, и его любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой», и горько упрекала «Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожалел ее горькую, по чужим людям скитальщицу».

В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.

IX

Воронцов, Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын русского посла, был среди русских высших чиновников человек редкого в то время европейского образования, честолюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не понимал жизни без власти и без покорности. Он имел все высшие чины и ордена и считался искусным военным, даже победителем Наполеона под Красном. Ему в 51-м году было за семьдесят лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и приятного ума, направленного на поддержание своей власти и утверждение и распространение своей популярности. Он владел большим богатством — и своим и своей жены, графини Браницкой,— и огромным получаемым содержанием в качестве наместника и тратил бо́льшую часть своих средств на устройство дворца и сада на южном берегу Крыма.

Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пыли офицер, привезший от генерала Козловского известие о выходе к русским Хаджи-Мурата, разминая ноги, вошел мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. Было шесть часов вечера, и Во-

ронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера не откладывая и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу, человек тридцать, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьевны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись лицом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и белым крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.

Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Орбельяни, сорокапятилетней, восточного склада, полной, высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезжему рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский князь подал руку графине Шуазёль, приятельнице княгини. Доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафтанах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья садящимся; метрдотель торжественно разливал дымящийся суп из серебряной миски.

Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была его дама, красавица Орбельяни, налево — стройная, черная, румяная, в блестящих украшениях, княжна-грузинка, не переставая улыбавшаяся.

— Excellentes, chère amie,— отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером.— Simon a eu de la chance [1].

И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все сидящие за столом, поразительную новость,— для него одного это не было вполне новостью, потому что переговоры велись уже давно,— о том, что знаменитый, храбрейший помощник Шамиля Хаджи-Мурат передался русским и нынче-завтра будет привезен в Тифлис.

Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то тихо смеявшиеся, все затихли и слушали.

— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спросила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетинистыми усами, когда князь перестал говорить.

— И не раз, княгиня.

---

[1] Превосходные, милый друг. Семену повезло *(франц.)*.

И генерал рассказал про то, как Хаджи-Мурат в 43-м году, после взятия горцами Гергебиля, наткнулся на отряд генерала Пассека и как он, на их глазах почти, убил полковника Золотухина.

Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевидно довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение.

Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.

— Ведь это он,— говорил генерал,— вы изволите помнить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию засаду на выручке.

— Где? — переспросил Воронцов, щуря глаза.

Дело было в том, что храбрый генерал называл «выручкой» то дело в несчастном Даргинском походе, в котором действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, командовавшим им, если бы его не выручили вновь подошедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский поход, под начальством Воронцова, в котором русские потеряли много убитых и раненых и несколько пушек, был постыдным событием, и потому если кто и говорил про этот поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что это был блестящий подвиг русских войск. Словом же «выручка» прямо указывалось на то, что это был не блестящий подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это, и одни делали вид, что не замечают значения слов генерала, другие испуганно ожидали, что будет дальше; некоторые, улыбаясь, переглянулись.

Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ничего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно ответил:

— На выручке, ваше сиятельство.

И раз заведенный на любимую тему, генерал подробно рассказал, как «этот Хаджи-Мурат так ловко разрезал отряд пополам, что, не приди нам на выручку,— он как будто с особенной любовью повторял слово «выручка»,— тут бы все и остались, потому...»

Генерал не успел досказать все, потому что Манана Орбельяни, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспрашивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на него,— и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, замолчал и стал поспешно есть, не жуя, лежавшее у него на тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и даже вкуса.

Всем стало неловко, но неловкость положения исправил грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий и искус-

ный льстец и придворный, сидевший по другую сторону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи-Муратом вдовы Ахметхана Мехтулинского:

— Ночью вошел в селенье, схватил, что ему нужно было, и ускакал со всей партией.

— Зачем же ему нужна была именно женщина эта? — спросила княгиня.

— А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до самой смерти хана не мог встретить, так вот он отомстил на вдове.

Княгиня перевела это по-французски своей старой приятельнице, графине Шуазёль, сидевшей подле грузинского князя.

— Quelle horreur! [1] — сказала графиня, закрывая глаза и покачивая головой.

— О нет,— сказал Воронцов улыбаясь,— мне говорили, что он с рыцарским уважением обращался с пленницей и потом отпустил ее.

— Да, за выкуп.

— Ну разумеется, но все-таки он благородно поступил.

Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хаджи-Мурата. Придворные поняли, что чем больше приписывать значения Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю Воронцову.

— Удивительная смелость у этого человека. Замечательный человек.

— Как же, в сорок девятом году он среди бела дня ворвался в Темир-Хан-Шуру и разграбил лавки.

Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время в Темир-Хан-Шуре, рассказал про подробности этого подвига Хаджи-Мурата.

Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи-Мурате. Все наперерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть пленных; но и на это было обычное возражение:

— Что делать! A la guerre comme à la guerre [2].

— Это большой человек.

— Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы новый Наполеон,— сказал глупый грузинский князь, имеющий дар лести.

Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за победу над которым Воронцов носил белый крест на шее, было приятно князю.

---

[1] Какой ужас! *(франц.)*

[2] На войне как на войне *(франц.)*.

— Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский генерал — да,— сказал Воронцов.

— Если не Наполеон, то Мюрат.

— И имя его — Хаджи-Мурат.

— Хаджи-Мурат вышел, теперь конец и Шамилю,— сказал кто-то.

— Они чувствуют, что им теперь (это теперь значило: при Воронцове) не выдержать,— сказал другой.

— Tout cela est grâce à vous [1],— сказала Манана Орбельяни.

Князь Воронцов старался умерить волны лести, которые начинали уже заливать его. Но ему было приятно, и он повел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем расположении духа.

После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь особенно ласков был со всеми и, подойдя к генералу с рыжими щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заметил его неловкости.

Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл только в старинную игру — ломбер. Партнерами князя были: грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся у камердинера князя играть в ломбер, и четвертый,— знаменитый по своей власти,— доктор Андреевский.

Поставив подле себя золотую табакерку с портретом Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел разостлать их, когда вошел камердинер, итальянец Джовани, с письмом на серебряном подносе.

— Еще курьер, ваше сиятельство.

Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал и стал читать.

Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи-Мурата и столкновение с Меллер-Закомельским.

Княгиня подошла и спросила, что пишет сын.

— Все о том же. Il a eu quelques désagréments avec le commandant de la place. Simon a eu tort [2]. But all is well what ends well [3],— сказал он, передавая жене письмо, и, обращаясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил брать карты.

Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку и сделал то, что он делывал, когда был в особенно хорошем расположении духа: достал старчески сморщенными белыми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу и высыпал.

---

[1] Все это благодаря вам *(франц.)*.

[2] У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. Семен был неправ *(франц.)*.

[3] Но все хорошо, что хорошо кончается *(англ.)*.

X

Когда на другой день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, приехавший откланяться; тут был и полковой командир, которому угрожали судом за злоупотребления по продовольствованию полка; тут был армянин-богач, покровительствуемый доктором Андреевским, который держал на откупе водку и теперь хлопотал о возобновлении контракта; тут была, вся в черном, вдова убитого офицера, приехавшая просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет; тут был разорившийся грузинский князь в великолепном грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное церковное поместье; тут был пристав с большим свертком, в котором был проект о новом способе покорения Кавказа; тут был один хан, явившийся только затем, чтобы рассказать дома, что он был у князя.

Все дожидались очереди и один за другим были вводимы красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя.

Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая, Хаджи-Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал в разных концах шепотом произносимое его имя.

Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску на коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике, бешмете. На ногах его были черные поговицы и такие же чувяки, как перчатка обтягивающие ступни, на бритой голове — папаха с чалмой,— той самой чалмой, за которую он, по доносу Ахмет-Хана, был арестован генералом Клюгенау и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи-Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачиваясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели.

Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи-Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи-Мурат отказался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, продолжал стоять, презрительно оглядывая присутствующих.

Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи-Мурату и заговорил с ним. Хаджи-Мурат неохотно, отрывисто отвечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи-Мурата, подвел его к двери кабинета и пропустил в нее.

Воронцов принял Хаджи-Мурата, стоя у края стола. Старое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбающееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное.

Войдя в большую комнату с огромным столом и большими ок-

нами с зелеными жалузи, Хаджи-Мурат приложил свои небольшие, загорелые руки к тому месту груди, где перекрещивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почтительно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо говорил, опустив глаза, сказал:

— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови служить белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, врагом моим и вашим.

Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Мурата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова.

Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг другу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что говорил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Мурат, что он знает, что он — враг всему русскому, всегда останется таким и теперь покоряется только потому, что принужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уверял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-Мурату то, что считал нужным для успеха войны.

— Скажи ему,— сказал Воронцов переводчику (он говорил «ты» молодым офицерам),— что наш государь так же милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе простит его и примет в свою службу. Передал? — спросил он, глядя на Хаджи-Мурата.— До тех же пор, пока получу милостивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным.

Хаджи-Мурат еще раз прижал руки к середине груди и что-то оживленно заговорил.

Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, когда он управлял Аварией, в 39-м году, он верно служил русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его, Ахмет-Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед генералом Клюгенау.

— Знаю, знаю,— сказал Воронцов (хотя он если и знал, то давно забыл все это).— Знаю,— сказал он, садясь и указывая Хаджи-Мурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджи-Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он не решается сидеть в присутствии такого важного человека.

— И Ахмет-Хан и Шамиль, оба — враги мои,— продолжал он, обращаясь к переводчику.— Скажи князю: Ахмет-Хан умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не умру, не отплатив ему,— сказал он, нахмурив брови и крепко сжав челюсти.

— Да, да,— спокойно проговорил Воронцов.— Как же он хочет отплатить Шамилю? — сказал он переводчику.— Да скажи ему, что он может сесть.

Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на переданный ему вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы помочь им уничтожить Шамиля.

— Хорошо, хорошо,— сказал Воронцов.— Что же именно он хочет делать? Садись, садись...

Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет держаться.

— Это хорошо. Это можно,— сказал Воронцов.— Я подумаю.

Переводчик передал Хаджи-Мурату слова Воронцова. Хаджи-Мурат задумался.

— Скажи сардарю,— сказал он еще,— что моя семья в руках моего врага; и до тех пор, пока семья моя в горах, я связан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или умру, или уничтожу Шамиля.

— Хорошо, хорошо,— сказал Воронцов.— Подумаем об этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и подробно изложит ему свое положение, свои намерения и желания.

Тем кончилось первое свидание Хаджи-Мурата с Воронцовым.

В тот же день, вечером, в новом, в восточном вкусе отделанном театре шла итальянская опера. Воронцов был в своей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромого Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с приставленным к нему адъютантом Воронцова Лорис-Меликовым и поместился в первом ряду. С восточным, мусульманским достоинством, не только без выражения удивления, но с видом равнодушия, просидев первый акт, Хаджи-Мурат встал и, спокойно оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех зрителей.

На другой день был понедельник, обычный вечер у Воронцовых. В большой, ярко освещенной зале играла скрытая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена «сардаря» тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыбаясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в театре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хаджи-Мурату и дру-

гие обнаженные женщины, и все, не стыдясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов, в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевидно уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджи-Мурат отвечал и Воронцову то, что отвечал всем: что у них этого нет,— не высказывая того, что хорошо или дурно то, что этого нет у них.

Хаджи-Мурат попытался было заговорить и здесь, на бале, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Лорис-Меликов же сказал потом Хаджи-Мурату, что здесь не место говорить о делах.

Когда пробило одиннадцать часов и Хаджи-Мурат поверил время на своих, подаренных ему Марьей Васильевной, часах, он спросил Лорис-Меликова, можно ли уехать. Лорис-Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. Несмотря на это, Хаджи-Мурат не остался и уехал на данном в его распоряжение фаэтоне в отведенную ему квартиру.

XI

На пятый день пребывания Хаджи-Мурата в Тифлисе Лорис-Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению главнокомандующего.

— И голова и руки рады служить сардарю,— сказал Хаджи-Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, наклонив голову и прикладывая руки к груди.— Прикажи,— сказал он, ласково глядя в глаза Лорис-Меликову.

Лорис-Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи-Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слушать то, что Лорис-Меликов говорил ему. Лорис-Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи-Мурата, желает от него самого узнать всю его историю.

— Ты расскажи мне,— сказал Лорис-Меликов,— а я запишу, переведу потом по-русски, и князь пошлет государю.

Хаджи-Мурат помолчал (он не только никогда не перебивал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще чего), потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улыбнулся той особенной, детской улыбкой, которой он пленил еще Марью Васильевну.

— Это можно,— сказал он, очевидно польщенный мыслью о том, что его история будет прочтена государем.

— Расскажи мне (по-татарски нет обращения на вы) все с начала, не торопясь,— сказал Лорис-Меликов, доставая из кармана записную книжку.

— Это можно, только много, очень много есть чего рассказывать. Много дела было,— сказал Хаджи-Мурат.

— Не успеешь в один день, в другой день доскажешь,— сказал Лорис-Меликов.

— С начала начинать?

— Да, с самого начала: где родился, где жил.

Хаджи-Мурат опустил голову и долго просидел так; потом взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала с слоновой ручкой, оправленной золотом, острый, как бритва, булатный ножик и начал им резать палочку и в одно и то же время рассказывать:

— Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах,— начал он.— Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя мать кормила старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок к ханам. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан, мой брат названый, и Булач-Хан, меньшой, тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными шашками и кричали: «Мусульмане, хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. Я был как брат ханам: что хотел, то делал, и стал богат. Были у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Кази-Муллу убили и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что, если они не примут хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала меня с сыном, с вторым, с Умма-Ханом, в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни Умма-Хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты с Умма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места возили его, и он проиграл им в карты все, что у него было. Он был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и оружие, если бы я не увез его. После Тифлиса мысли мои переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават.

— Отчего ж переменились мысли? — спросил Лорис-Меликов,— не понравились русские?

Хаджи-Мурат помолчал.

— Нет, не понравились,— решительно сказал он и закрыл глаза.— И еще было дело такое, что я захотел принять хазават.

— Какое же дело?

— А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мюридами: два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я подошел к нему, чтоб снять оружие, он был жив еще. Он поглядел на меня. «Ты, говорит, убил меня. Мне хорошо. А ты мусульманин, и молод и силен, прими хазават. Бог велит».

— Что ж, и ты принял?

— Не принял, а стал думать,— сказал Хаджи-Мурат и продолжал свой рассказ.— Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы послали к нему стариков и велели сказать, что согласны принять хазават, только бы он прислал ученого человека растолковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и отослать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать шейха, чтобы научить нас хазавату, но только с тем, чтобы ханша прислала к нему аманатом своего меньшого сына. Ханша поверила и послала Булач-Хана к Гамзату. Гамзат принял хорошо Булач-Хана и прислал к нам звать к себе и старших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина слабая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и послала одного Умма-Хана. Я поехал с ним. Нас за версту встретили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-Хана и принял его, как хана. Он сказал: «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей к хазавату. А я буду служить вам со всем моим войском, как отец мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, что хотите». Умма-Хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в Хунзах. Ханша и хан с почетом примут его. Но мне не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же, подле имама. «Не тебя спрашивают, а хана»,— сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Умма-Хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел измену и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщины ума в голове — сколько на яйце волос. Ханша поверила и велела сыну ехать. Абунунцал не хотел. Тогда она сказала: «Видно, ты боишься». Она, как пчела, знала, в какое место больнее ужалить его. Абунунцал загорелся, не стал больше говорить с ней и велел

седлать. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-Хана. Он сам выехал навстречу за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, пели «Ля илляха иль алла», стреляли, джигитовали. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку. А я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в луже крови, а Абупунцал бился с мюридами. Половина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал.

Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело, и глаза налились кровью.

— На меня нашел страх, и я убежал.

— Вот как? — сказал Лорис-Меликов.— Я думал, что ты никогда ничего не боялся.

— Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся.

XII

— А теперь довольно. Молиться надо,— сказал Хаджи-Мурат, достал из внутреннего, грудного кармана черкески брегет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив набок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы прозвонили двенадцать ударов и четверть.

— Кунак Воронцов пешкеш,— сказал он, улыбаясь.— Хороший человек.

— Да, хороший,— сказал Лорис-Меликов.— И часы хорошие. Так ты молись, а я подожду.

— Якши, хорошо,— сказал Хаджи-Мурат и ушел в спальню.

Оставшись один, Лорис-Меликов записал в своей книжечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи-Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед по комнате. Подойдя к двери, противоположной спальне, Лорис-Меликов услыхал оживленные голоса по-татарски быстро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это были мюриды Хаджи-Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним.

В комнате стоял тот особенный, кислый, кожаный запах, который бывает у горцев. На полу на бурке, у окна, сидел кривой рыжий Гамзало, в оборванном, засаленном бешмете, и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым голосом, но при входе Лорис-Меликова тотчас же замолчал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. Против него стоял веселый Хан-Магома

и, скаля белые зубы и блестя черными, без ресниц, глазами, повторял все одно и то же. Красавец Элдар, засучив рукава на своих сильных руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ханефи, главного работника и заведующего хозяйством, не было в комнате. Он на кухне варил обед.

— О чем это вы спорили? — спросил Лорис-Меликов у Хан-Магомы, поздоровавшись с ним.

— А он все Шамиля хвалит,— сказал Хан-Магома, подавая руку Лорису.— Говорит, Шамиль — большой человек. И ученый, и святой, и джигит.

— Как же он от него ушел, а все хвалит?

— Ушел, а хвалит,— скаля зубы и блестя глазами, проговорил Хан-Магома.

— Что же, и считаешь его святым? — спросил Лорис-Меликов.

— Кабы не был святой, народ бы не слушал его,— быстро проговорил Гамзало.

— Святой был не Шамиль, а Мансур,— сказал Хан-Магома.— Это был настоящий святой. Когда он был имамом, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ выходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, и клялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все люди жили, как святые,— не курили, не пили, не пропускали молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во всем, а не так, как теперь,— говорил Хан-Магома.

— И теперь в горах не пьют и не курят,— сказал Гамзало.

— Ламорой твой Шамиль,— сказал Хан-Магома, подмигивая Лорис-Меликову.

«Ламорой» было презрительное название горцев.

— Ламорой — горец. В горах-то и живут орлы,— отвечал Гамзало.

— А молодчина! Ловко срезал,— оскаливая зубы, заговорил Хан-Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.

Увидав серебряную папиросочницу в руке Лорис-Меликова, он попросил себе покурить. И когда Лорис-Меликов сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним глазом, мотнув головой на спальню Хаджи-Мурата, и сказал, что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не затягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда выпускал дым.

— Нехорошо это,— строго сказал Гамзало и вышел из комнаты. Хан-Магома подмигнул и на него и, покуривая, стал расспрашивать Лорис-Меликова, где лучше купить шелковый бешмет и папаху белую.

— Что же, у тебя разве так денег много?

— Есть, достанет,— подмигивая, отвечал Хан-Магома.

— Ты спроси у него, откуда у него деньги,— сказал Элдар, поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Лорису.

— А выиграл,— быстро заговорил Хан-Магома, он рассказал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрел на кучку людей, русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Кон был большой: три золотых и серебра много. Хан-Магома тотчас же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.

— Как же на все? Разве у тебя было? — спросил Лорис-Меликов.

— У меня всего было двенадцать копеек,— оскаливая зубы, сказал Хан-Магома.

— Ну, а если бы проиграл?

— А вот.

И Хан-Магома указал на пистолет.

— Что же, отдал бы?

— Зачем отдавать? Убежал бы, а кто бы задержал, убил бы. И готово.

— Что же, и выиграл?

— Айя, собрал все и ушел.

Хан-Магому и Элдара Лорис-Меликов вполне понимал. Хан-Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть избыток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий своею и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью вышедший теперь к русским и точно так же завтра из-за этой игры могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже вполне понятен: это был человек, вполне преданный своему мюршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был для Лорис-Меликова только рыжий Гамзало. Лорис-Меликов видел, что человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, гадливость и ненависть ко всем русским; и потому Лорис-Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорис-Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми начальствующими лицами, что выход Хаджи-Мурата и его рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел только, чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. И Гамзало всем своим существом подтверждал это предположение. «Те и сам Хаджи-Мурат,— думал Лорис-Меликов,— умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей нескрываемой ненавистью».

Лорис-Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, косясь своим одним глазом на Лорис-Меликова, хрипло и отрывисто прорычал:

— Нет, не скучно.

И так же отвечал на все другие вопросы.

Пока Лорис-Меликов был в комнате нукеров, вошел и четвертый мюрид Хаджи-Мурата, аварец Ханефи, с волосатым лицом и шеей и мохнатой, точно мехом обросшей, выпуклой грудью. Это был нерассуждающий, здоровенный работник, всегда поглощенный своим делом, без рассуждения, как и Элдар, повинующийся своему хозяину.

Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис-Меликов остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хаджи-Мурата.

— Пять лет,— отвечал Ханефи на вопрос Лорис-Меликова.— Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они хотели убить меня,— сказал он, спокойно из-под сросшихся бровей глядя в лицо Лорис-Меликова.— Тогда я попросил принять меня братом.

— Что значит: принять братом?

— Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и пришел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Патимат дала мне грудь, и я стал его братом.

В соседней комнате послышался голос Хаджи-Мурата. Элдар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко шагая, поспешно пошел в гостиную.

— Зовет к себе,— сказал он, возвращаясь.

И, дав еще папироску веселому Хан-Магоме, Лорис-Меликов пошел в гостиную.

XIII

Когда Лорис-Меликов вошел в гостиную, Хаджи-Мурат с веселым лицом встретил его.

— Что же, продолжать? — сказал он, усаживаясь на тахту.

— Да, непременно,— сказал Лорис-Меликов.— А я заходил к твоим нукерам, поговорил с ними. Один — веселый малый,— прибавил Лорис-Меликов.

— Да, Хан-Магома — легкий человек,— сказал Хаджи-Мурат.

— А понравился мне молодой, красивый.

— А, Элдар. Этот молод, а тверд, железный.

Они помолчали.

— Так говорить дальше?

— Да, да.

— Я сказал, как ханов убили. Ну, убили их, и Гамзат въехал в Хунзах и сел в ханском дворце,— начал Хаджи-Мурат.— Оставалась мать-ханша. Гамзат призвал ее к себе. Она стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельдеру, и тот сзади ударил, убил ее.

— Зачем же он убил ее-то? — спросил Лорис-Меликов.

— А как же быть: перелез передними ногами, перелезай и задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. Шамиль меньшого убил, сбросил с кручи. Вся Авария покорилась Гамзату, только мы с братом не хотели покориться. Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что покорились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посоветовались с дедом и решили выждать время, когда он выедет из дворца, и из засады убить его. Кто-то подслушал нас, сказал Гамзату, и он призвал к себе деда и сказал: «Смотри, если правда, что твои внуки задумывают худое против меня, висеть тебе с ними на одной перекладине. Я делаю дело божье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал». Дед пришел домой и сказал нам. Тогда мы решили не ждать, сделать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отказались,— остались мы с братом. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с тридцатью мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид,— тот самый, который отрубил голову ханше. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его и бросился к Гамзату. Но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было тридцать человек, нас — двое. Они убили брата Османа, а я отбился, выскочил в окно и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся, и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили.

Хаджи-Мурат остановился и тяжело перевел дух.

— Это все было хорошо,— продолжал он,— потом все испортилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских; если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе.

— Отчего же ты не пошел к нему? — спросил Лорис-Меликов.

Хаджи-Мурат нахмурился и не сейчас ответил.

— Нельзя было. На Шамиле была кровь и брата Османа и Абунунцал-Хана. Я не пошел к нему. Розен-генерал прислал мне чин офицера и велел быть начальником Аварии. Все бы было хорошо, но Розен назначил над Аварией сначала хана казикумыхского, Магомет-Мирзу, а потом Ахмет-Хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши, Салтанет. Ее не отдали ему, и он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и подсылал своих нукеров убить меня, но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Клюгенау, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Он сказал ему еще, что я надел чалму, вот эту,— сказал

Хаджи-Мурат, указывая на чалму на папахе,— и что это значит, что я передался Шамилю. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмет-Хан сделал по-своему: с ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. Шесть суток держали меня так. На седьмые сутки отвязали и повели в Темир-Хан-Шуру. Вели сорок солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали подходить, подле Моксоха тропка была узкая, направо кручь сажен в пятьдесят, я перешел от солдата направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под кручь и потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руки, ногу — все поломал. Пополз было — и не мог. Закружилась голова, и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух увидал. Позвал народ, снесли меня в аул. Ребры, голова зажили, зажила и нога, только стала короткая.

И Хаджи-Мурат вытянул кривую ногу.

— Служит, и то хорошо,— сказал он.— Народ узнал, стал ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими,— с спокойной, уверенной гордостью сказал Хаджи-Мурат.— И я согласился.

Хаджи-Мурат быстро встал. И, достав в переметных сумах портфель, вынул оттуда два пожелтевшие письма и подал их Лорис-Меликову. Письма были от генерала Клюгенау. Лорис-Меликов прочел. В первом письме было:

«Прапорщик Хаджи-Мурат! Ты служил у меня — я был доволен тобою и считал тебя добрым человеком. Недавно генерал-майор Ахмет-Хан уведомил меня, что ты изменник, что ты надел чалму, что ты имеешь сношения с Шамилем, что ты научил народ не слушать русского начальства. Я приказал арестовать тебя и доставить тебя ко мне, ты — бежал; не знаю, к лучшему ли это, или к худшему, потому что не знаю — виноват ли ты, или нет. Теперь слушай меня. Ежели совесть твоя чиста противу великого царя, если ты не виноват ни в чем, явись ко мне. Не бойся никого — я твой защитник. Хан тебе ничего не сделает; он сам у меня под начальством, так и нечего тебе бояться».

Дальше Клюгенау писал о том, что он всегда держал свое слово и был справедлив, и еще увещевал Хаджи-Мурата выйти к нему.

Когда Лорис-Меликов кончил первое письмо, Хаджи-Мурат достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки Лорис-Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое письмо.

— Я написал ему, что чалму я носил, но не для Шамиля, а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не могу, потому что через него убиты мои отец, братья и родственники, но

что и к русским не могу выйти, потому что меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан, один негодяй на...л на меня. И я не могу выйти к вам, пока человек этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмет-Хана. Тогда генерал прислал мне это письмо,— сказал Хаджи-Мурат, подавая Лорис-Меликову другую пожелтевшую бумажку.

«Ты мне отвечал на мое письмо, спасибо,— прочитал Лорис-Меликов.— Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, но бесчестие, нанесенное тебе одним гяуром, запрещает это; а я тебя уверяю, что русский закон справедлив, и в глазах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскорбить,— я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджи-Мурат. Я имею право быть недовольным на тебя, потому что ты не веришь мне и моей чести, но я прощаю тебе, зная недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист совестью, если чалму ты надевал, собственно, только для спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому правительству и мне в глаза; а тот, кто тебя обесчестил, уверяю, будет наказан, *имущество твое будет возвращено,* и ты увидишь и узнаешь, что значит русский закон. Тем более что русские иначе смотрят на все; в глазах их ты не уронил себя, что тебя какой-нибудь мерзавец обесчестил. Я сам позволил гимринцам чалму носить и смотрю на их действия как следует; следовательно, повторяю, тебе нечего бояться. Приходи ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю; он мне верен, *он не раб твоих врагов,* а друг человека, который пользуется у правительства особенным вниманием».

Дальше Клюгенау опять уговаривал Хаджи-Мурата выйти.

— Я не поверил этому,— сказал Хаджи-Мурат, когда Лорис-Меликов кончил письмо,— и не поехал к Клюгенау. Мне, главное, надо было отомстить Ахмет-Хану, а этого я не мог сделать через русских. В это же время Ахмет-Хан окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У меня было слишком мало народа, я не мог отбиться от него. И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-Хана и убить его и давал мне в управление всю Аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю. И вот с тех пор я не переставая воевал с русскими.

Тут Хаджи-Мурат рассказал все свои военные дела. Их было очень много, и Лорис-Меликов отчасти знал их. Все походы и набеги его были поразительны по необыкновенной быстроте переходов и смелости нападений, всегда увенчивавшихся успехами.

— Дружбы между мной и Шамилем никогда не было,— докончил свой рассказ Хаджи-Мурат,— но он боялся меня, и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спросили, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом будет тот, у кого

шашка востра. Это сказали Шамилю, и он захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань. Я поехал, отбил тысячу баранов, триста лошадей. Но он сказал, что я не то сделал, и сменил меня с наибства и велел прислать ему все деньги. Я послал тысячу золотых. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое имение. Он требовал меня к себе; я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи сардарю: пока семья там, я ничего не могу делать.

— Я скажу,— сказал Лорис-Меликов.

— Хлопочи, старайся. Что мое, то твое, только помоги у князя. Я связан, и конец веревки — у Шамиля в руке.

Этими словами закончил Хаджи-Мурат свой рассказ Лорис-Меликову.

XIV

Двадцатого декабря Воронцов писал следующее военному министру Чернышеву. Письмо было по-французски.

«Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджи-Муратом, и чувствуя себя два-три дня не совсем здоровым. В моем последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи-Мурата: он приехал в Тифлис 8-го; на следующий день я познакомился с ним, и дней восемь или девять я говорил с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впоследствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит со всеми знаками полной откровенности, что, пока его семейство в руках Шамиля, он парализован и не в силах услужить нам и доказать свою благодарность за ласковый прием и прощение, которые ему оказали. Неизвестность, в которой он находится насчет дорогих ему особ, вызывает в нем лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы жить с ним здесь, уверяют меня, что он не спит по ночам, почти что ничего не ест, постоянно молится и только просит позволения покататься верхом с несколькими казаками,— единственно для него возможное развлечение и движение, необходимое вследствие долголетней привычки. Каждый день он приходил ко мне узнавать, имею ли я какие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предложить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне все повторял: спасите мое семейство и потом

дайте мне возможность услужить вам (лучше всего на лезгинской линии, по его мнению), и если по истечении месяца я не окажу вам большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным.

Я ему ответил, что все это кажется мне весьма справедливым и что у нас найдется даже много лиц, которые не поверили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, а не у нас в качестве залога; что я сделаю все возможное для сбора на наших границах пленных и что, не имея права, по нашим уставам, дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, которые он достанет сам, я, может быть, найду другие средства помочь ему. После этого я ему сказал откровенно мое мнение о том, что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему семейства, что он, может быть, прямо объявит ему это, обещает ему полное прощение и прежние должности, погрозит, если он не вернется, погубить его мать, жену и шестерых детей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля. Хаджи-Мурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что всё в руках бога, но что он никогда не отдастся в руки своему врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не простит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касается истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль поступит так легкомысленно: во-первых, чтобы не сделать его врагом еще отчаяннее и опаснее; а во-вторых, есть в Дагестане множество лиц очень даже влиятельных, которые отговорят его от этого. Наконец он повторил мне несколько раз, что какая бы ни была воля бога для будущего, но что его теперь занимает только мысль о выкупе семейства; что он умоляет меня, во имя бога, помочь ему и позволить ему вернуться в окрестности Чечни, где бы он, через посредство и с дозволения наших начальников, мог иметь сношения с своим семейством, постоянные известия о его настоящем положении и о средствах освободить его; что многие лица и даже некоторые наибы в этой части неприятельской страны более или менее привязаны к нему; что во всем этом населении, уже покоренном русскими или нейтральном, ему легко будет иметь, с нашей помощью, сношения, очень полезные для достижения цели, преследовавшей его днем и ночью, исполнение которой так его успокоит и даст ему возможность действовать для нашей пользы и заслужить наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную, с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, которые бы служили ему для защиты от врагов, а нам — для ручательства в истине высказанных им намерений.

Вы поймете, любезный князь, что все это очень озадачило меня, так как, что ни сделай, большая ответственность лежит на мне. Было бы в высшей степени неосторожно вполне доверять

ему; но если бы мы хотели отнять у него средства для бегства, то мы должны были бы запереть его; а это, по моему мнению, было бы и несправедливо и неполитично. Такая мера, известие о которой скоро распространилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, отнимая охоту у всех тех (а их много), которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдаться в наши руки. Раз что мы поступили бы с Хаджи-Муратом, как с пленным, весь благоприятный эффект его измены Шамилю пропал бы для нас.

Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе, как поступил, чувствуя, однако, что можно будет обвинить меня в большой ошибке, если бы вздумалось Хаджи-Мурату уйти снова. В службе и в таких запутанных делах трудно, чтобы не сказать невозможно, идти по одной прямой дороге, не рискуя ошибиться и не принимая на себя ответственности; но раз что дорога кажется прямою, надо идти по ней,— будь что будет.

Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмотрение его величеству государю императору, и я буду счастлив, если августейший наш повелитель соизволит одобрить мой поступок. Все, что я вам писал выше, я также написал генералам Завадовскому и Козловскому, для непосредственных сношений Козловского с Хаджи-Муратом, которого я предупредил о том, что он без одобрения последнего ничего сделать и никуда выехать не может. Я ему объявил, что для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конвоем, а то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджи-Мурата взаперти; но при этом я взял с него обещание, что он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, которому он сперва сдался и которого считает своим кунаком (приятелем), не начальник этого места, и могли бы произойти недоразумения. Впрочем, Воздвиженское слишком близко от многочисленного враждебного нам населения, между тем как для сношений, которые он желает иметь со своими поверенными, Грозная удобна во всех отношениях.

Кроме двадцати избранных казаков, которые, по его же просьбе, ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра Лорис-Меликова, достойного, отличного и очень умного офицера, говорящего по-татарски, знающего хорошо Хаджи-Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Десять дней, которые Хаджи-Мурат провел здесь, он, впрочем, жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, начальником Шушинского уезда, находящимся здесь по делам службы; это истинно достойный человек, и я ему вполне доверяю. Он также заслужил доверие Хаджи-

Мурата, и через него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы рассуждали о самых деликатных и секретных делах.

Я советовался с Тархановым насчет Хаджи-Мурата, и он совершенно согласился со мной в том, что или следовало поступить, как я поступил, или заключить Хаджи-Мурата в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими мерами,— потому что уже раз обращаться с ним худо, его не легко стеречь,— или же удалить его совсем из страны. Но эти две последние меры не только бы уничтожили всю выгоду, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи-Муратом и Шамилем, но приостановили бы неизбежно всякое развитие ропота и возможность возмущения горцев против власти Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в правдивости Хаджи-Мурата и что Хаджи-Мурат не сомневается в том, что Шамиль никогда его не простит и велит казнить, несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, которая могла озаботить Тарханова в его сношениях с Хаджи-Муратом, это — его привязанность к своей религии, и он не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не убедит Хаджи-Мурата в том, что не лишит его жизни или сейчас, или спустя несколько времени после его возвращения.

Вот все, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет этого эпизода здешних дел».

XV

Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря. Накануне же нового, 52-го года, фельдъегерь, загнав десяток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков, доставил его к князю Чернышеву, тогдашнему военному министру.

И 1 января 1852 года Чернышев повез к императору Николаю в числе других дел и это донесение Воронцова.

Чернышев не любил Воронцова — и за всеобщее уважение, которым пользовался Воронцов, и за его огромное богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, а Чернышев все-таки parvenu [1], главное — за особенное расположение императора к Воронцову. И потому Чернышев пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Воронцову. В прошлом докладе о кавказских делах Чернышеву удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за то, что по небрежности начальства был горцами почти весь истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намеревался представить с невыгодной стороны распоряжение Ворон-

[1] выскочка *(франц.)*.

цова о Хаджи-Мурате. Он хотел внушить государю, что Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий покровительство и даже послабление туземцам, оставив Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоразумно; что, по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что поэтому лучше отправить Хаджи-Мурата в центр России и воспользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена из гор и можно будет увериться в его преданности.

Но план этот не удался Чернышеву только потому, что в это утро 1 января Николай был особенно не в духе и не принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было предложение только из чувства противоречия; тем более он не был склонен принять предложение Чернышева, которого он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, но, зная его старания погубить в процессе декабристов Захара Чернышева и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом. Так что благодаря дурному расположению духа Николая Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судьба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если бы Чернышев делал свой доклад в другое время.

Было половина десятого, когда в тумане двадцатиградусного мороза толстый, бородатый кучер Чернышева, в лазоревой бархатной шапке с острыми концами, сидя на козлах маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Николай Павлович, подкатил к малому подъезду Зимнего дворца и дружески кивнул своему приятелю, кучеру князя Долгорукого, который, ссадив барина, уже давно стоял у дворцового подъезда, подложив под толстый ваточный зад вожжи и потирая озябшие руки.

Чернышев был в шинели с пушистым седым бобровым воротником и в треугольной шляпе с петушиными перьями, надетой по форме. Откинув медвежью полость, он осторожно выпростал из саней свои озябшие ноги без калош (он гордился тем, что не знал калош) и, бодрясь, позванивая шпорами, прошел по ковру в почтительно отворенную перед ним дверь швейцаром. Скинув в передней на руки подбежавшего старого камер-лакея шинель, Чернышев подошел к зеркалу и осторожно снял шляпу с завитого парика. Поглядев на себя в зеркало, он привычным движеньем старческих рук подвил виски и хохол и поправил крест, аксельбанты и большие с вензелями эполеты и, слабо шагая плохо повинующимися старческими ногами, стал подниматься вверх по ковру отлогой лестницы.

Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей подобострастно кланявшихся ему камер-лакеев, Чернышев вошел в приемную. Дежурный, вновь назначенный флигель-адъютант, сияющий новым мундиром, эполетами, аксельбантами и румяным, еще

не истасканным лицом с черными усиками и височками, зачесанными к глазам так же, как их зачесывал Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Василий Долгорукий, товарищ военного министра, с скучающим выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбардами, усами и висками, какие носил Николай, встал навстречу Чернышева и поздоровался с ним.

— L'empereur? [1] — обратился Чернышев к флигель-адъютанту, вопросительно указывая глазами на дверь кабинета.

— Sa Majesté vient de rentrer [2],— очевидно с удовольствием слушая звук своего голоса, сказал флигель-адъютант и, мягко ступая, так плавно, что полный стакан воды, поставленный ему на голову, не пролился бы, подошел к беззвучно отворявшейся двери и, всем существом своим выказывая почтение к тому месту, в которое он вступал, исчез за дверью.

Долгорукий между тем раскрыл свой портфель, проверяя находящиеся в нем бумаги.

Чернышев же, нахмурившись, прохаживался, разминая ноги и вспоминая все то, что надо было доложить императору. Чернышев был подле двери кабинета, когда она опять отворилась и из нее вышел еще более, чем прежде, сияющий и почтительный флигель-адъютант и жестом пригласил министра и его товарища к государю.

Зимний дворец после пожара был давно уже отстроен, и Николай жил в нем еще в верхнем этаже. Кабинет, в котором он принимал с докладом министров и высших начальников, была очень высокая комната с четырьмя большими окнами. Большой портрет императора Александра I висел на главной стене. Между окнами стояли два бюро. По стенам стояло несколько стульев, в середине комнаты — огромный письменный стол, перед столом кресло Николая, стулья для принимаемых.

Николай, в черном сюртуке без эполет, с полупогончиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго перетянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим безжизненным взглядом смотрел на входивших. Длинное белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из-за приглаженных височков, искусно соединенных с париком, закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и неподвижно. Глаза его, всегда тусклые, смотрели тусклее обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых кверху усов, и подпертые высоким воротником ожиревшие свежевыбритые щеки с оставленными правильными колбасиками бакенбард, и прижимаемый к воротнику подбородок придавали его лицу

---

[1] Император? *(франц.)*

[2] Его величество только что вернулись *(франц.)*.

выражение недовольства и даже гнева. Причиной этого настроения была усталость. Причина же усталости было то, что накануне он был в маскараде и, как обыкновенно, прохаживаясь в своей кавалергардской каске с птицей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонившейся от его огромной и самоуверенной фигуры публикой, встретил опять ту маску, которая в прошлый маскарад, возбудив в нем своей белизной, прекрасным сложением и нежным голосом старческую чувственность, скрылась от него, обещая встретить его в следующем маскараде. Во вчерашнем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. Он повел ее в ту специально для этой цели державшуюся в готовности ложу, где он мог наедине остаться с своей дамой. Дойдя молча до двери ложи, Николай оглянулся, отыскивая глазами капельдинера, но его не было. Николай нахмурился и сам толкнул дверь ложи, пропуская вперед себя свою даму.

— Il y a quelqu'un [1],— сказала маска, останавливаясь. Ложа действительно была занята. На бархатном диванчике, близко друг к другу, сидели уланский офицер и молоденькая, хорошенькая белокуро-кудрявая женщина в домино, с снятой маской. Увидав выпрямившуюся во весь рост и гневную фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась маской, уланский же офицер, остолбенев от ужаса, не вставая с дивана, глядел на Николая остановившимися глазами.

Как ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, этот ужас был ему всегда приятен, и он любил иногда поразить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.

— Ну, брат, ты помоложе меня,— сказал он окоченевшему от ужаса офицеру,— можешь уступить мне место.

Офицер вскочил и, бледнея и краснея, согнувшись вышел молча за маской из ложи, и Николай остался один с своей дамой.

Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней невинной девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта рассказала Николаю, как она с детства еще, по портретам, влюбилась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она говорила, ей ничего больше не нужно было. Девица эта была свезена в место обычных свиданий Николая с женщинами, и Николай провел с ней более часа.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на узкую, жесткую постель, которой он гордился, и покрылся своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог заснуть. Он то вспоминал испу-

[1] Здесь кто-то есть *(франц.)*.

ганное и восторженное выражение белого лица этой девицы, то могучие, полные плечи своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение между тою и другою. О том, что распутство женатого человека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всегда успокаивало его: о том, какой он великий человек.

Несмотря на то, что он поздно заснул, он, как всегда, встал в восьмом часу, и, сделав свой обычный туалет, вытерев льдом свое большое, сытое тело и помолившись богу, он прочел обычные, с детства произносимые молитвы: «Богородицу», «Верую», «Отче наш», не приписывая произносимым словам никакого значения,— и вышел из малого подъезда на набережную, в шинели и фуражке.

Посредине набережной ему встретился такого же, как он сам, огромного роста ученик училища правоведения, в мундире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не любил за вольнодумство, Николай Павлович нахмурился, но высокий рост, и старательная вытяжка, и отдавание чести с подчеркнуто выпяченным локтем ученика смягчило его неудовольствие.

— Как фамилия? — спросил он.

— Полосатов! ваше императорское величество.

— Молодец!

Ученик все стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.

— Хочешь в военную службу?

— Никак нет, ваше императорское величество.

— Болван! — и Николай, отвернувшись, пошел дальше и стал громко произносить первые попавшиеся ему слова. «Копервейн, Копервейн,— повторял он несколько раз имя вчерашней девицы.— Скверно, скверно». Он не думал о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием к тому, что говорил. «Да, что бы была без меня Россия,— сказал он себе, почувствовав опять приближение недовольного чувства.— Да, что бы была без меня не Россия одна, а Европа». И он вспомнил про шурина, прусского короля, и его слабость и глупость и покачал головой.

Подходя назад к крыльцу, он увидал карету Елены Павловны, которая с красным лакеем подъезжала к Салтыковскому подъезду. Елена Павловна для него была олицетворением тех пустых людей, которые рассуждали не только о науках, поэзии, но и об управлении людей, воображая, что они могут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими. Он знал, что, сколько он ни давил этих людей, они опять выплывали и выплывали наружу. И он

вспомнил недавно умершего брата Михаила Павловича. И досадное и грустное чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять стал шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать, только когда вошел во дворец. Войдя к себе и пригладив перед зеркалом бакенбарды и волоса на висках и накладку на темени, он, подкрутив усы, прямо пошел в кабинет, где принимались доклады.

Первого он принял Чернышева. Чернышев тотчас же по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, понял, отчего это происходило. Холодно поздоровавшись и пригласив сесть Чернышева, Николай уставился на него своими безжизненными глазами.

Первым делом в докладе Чернышева было дело об открывшемся воровстве интендантских чиновников; потом было дело о перемещении войск на прусской границе; потом назначение некоторым лицам, пропущенным в первом списке, наград к Новому году; потом было донесение Воронцова о выходе Хаджи-Мурата и, наконец, неприятное дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора.

Николай, молча сжав губы, поглаживал своими большими белыми руками, с одним золотым кольцом на безымянном пальце, листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не спуская глаз со лба и хохла Чернышева.

Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязанность.

— Видно, у нас в России один только честный человек,— сказал он.

Чернышев тотчас же понял, что этот единственный честный человек в России был сам Николай, и одобрительно улыбнулся.

— Должно быть, так, ваше величество,— сказал он.

— Оставь, я положу резолюцию,— сказал Николай, взяв бумагу и переложив ее на левую сторону стола.

После этого Чернышев стал докладывать о наградах и о перемещении войск. Николай просмотрел список, вычеркнул несколько имен и потом кратко и решительно распорядился о передвижении двух дивизий к прусской границе.

Николай никак не мог простить прусскому королю данную им после 48-го года конституцию, и потому, выражая шурину са-

мые дружеские чувства в письмах и на словах, он считал нужным иметь на всякий случай войска на прусской границе. Войска эти могли понадобиться и на то, чтобы в случае возмущения народа в Пруссии (Николай везде видел готовность к возмущению) выдвинуть их в защиту престола шурина, как он выдвинул войско в защиту Австрии против венгров. Нужны были эти войска на границе и на то, чтобы придавать больше весу и значения своим советам прусскому королю.

«Да, что было бы теперь с Россией, если бы не я»,— опять подумал он.

— Ну, что еще? — сказал он.

— Фельдъегерь с Кавказа,— сказал Чернышев и стал докладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.

— Вот как,— сказал Николай.— Хорошее начало.

— Очевидно, план, составленный вашим величеством, начинает приносить свои плоды,— сказал Чернышев.

Эта похвала его стратегическим способностям была особенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился своими стратегическими способностями, в глубине души он сознавал, что их не было. И теперь он хотел слышать более подробные похвалы себе.

— Ты как же понимаешь? — спросил он.

— Понимаю так, что если бы давно следовали плану вашего величества — постепенно, хотя и медленно, подвигаться вперед, вырубая леса, истребляя запасы, то Кавказ давно бы уж был покорен. Выход Хаджи-Мурата я отношу только к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя.

— Правда,— сказал Николай.

Несмотря на то, что план медленного движения в область неприятеля посредством вырубки лесов и истребления продовольствия был план Ермолова и Вельяминова, совершенно противоположный плану Николая, по которому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля и разорить это гнездо разбойников и по которому была предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая стольких людских жизней,— несмотря на это, Николай приписывал план медленного движения, последовательной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже себе. Казалось, что, для того чтобы верить в то, что план медленного движения, вырубки лесов и истребления продовольствия был его план, надо было скрывать то, что он именно настаивал на совершенно противоположном военном предприятии 45-го года. Но он не скрывал этого и гордился и тем планом своей экспедиции 45-го года и планом медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили один другому. Постоянная, явная, противная очевидности лесть окружающих его людей довела его до

того, что он не видел уже своих противоречий, не сообразовал уже свои поступки и слова с действительностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несогласны между собою, становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между собой только потому, что он их делал.

Таково было и его решение о студенте медико-хирургической академии, о котором после кавказского доклада стал докладывать Чернышев.

Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не выдержавший экзамен, держал третий раз, и когда экзаменатор опять не пропустил его, болезненно-нервный студент, видя в этом несправедливость, схватил со стола перочинный ножик и в каком-то припадке исступления бросился на профессора и нанес ему несколько ничтожных ран.

— Как фамилия? — спросил Николай.

— Бжезовский.

— Поляк?

— Польского происхождения и католик,— отвечал Чернышев.

Николай нахмурился.

Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того зла, которое он сделал им.

— Подожди немного,— сказал он и, закрыв глаза, опустил голову.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что, когда ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, и что тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собою самое верное, как бы какой-то внутренний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал теперь о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к полякам, которое в нем расшевелилось историей этого студента, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почерком: *«Заслуживает смертной казни. Но, слава богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз скрозь тысячу человек. Николай»*,— подписал он с своим неестественным, огромным росчерком.

Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была не только верная, мучительная смерть, но излишняя жестокость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы убить самого силь-

ного человека. Но ему приятно было быть неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет смертной казни.

Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее Чернышеву.

— Вот,— сказал он.— Прочти.

Чернышев прочел и, в знак почтительного удивления мудрости решения, наклонил голову.

— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присутствовали при наказании,— прибавил Николай.

«Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, вырву с корнем»,— подумал он.

— Слушаю,— сказал Чернышев и, помолчав несколько и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу.

— Так как прикажете написать Михаилу Семеновичу?

— Твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набегами,— сказал Николай.

— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чернышев.

— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на Кавказе.

— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, избегая взгляда Николая.— Михаил Семенович, боюсь, слишком доверчив.

— А ты что думал бы? — резко переспросил Николай, подметив намерение Чернышева выставить в дурном свете распоряжение Воронцова.

— Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию.

— Ты думал,— насмешливо сказал Николай.— А я не думаю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.

— Слушаю,— сказал Чернышев и, встав, стал откланиваться.

Откланялся и Долгорукий, который во все время доклада сказал только несколько слов о перемещении войск на вопросы Николая.

После Чернышева был принят приехавший откланяться генерал-губернатор Западного края, Бибиков. Одобрив принятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хотевших переходить в православие, он приказал ему судить всех неповинующихся военным судом. Это значило приговаривать к прогнанию сквозь строй. Кроме того, он приказал еще отдать в солдаты редактора газеты, напечатавшего сведения о перечислении нескольких тысяч душ государственных крестьян в удельные.

— Я делаю это потому, что считаю это нужным,— сказал он.— А рассуждать об этом не позволяю.

Бибиков понимал всю жестокость распоряжения об униатах и всю несправедливость перевода государственных, то есть единст-

венных в то время свободных людей, в удельные, то есть в крепостные царской фамилии. Но возражать нельзя было. Не согласиться с распоряжением Николая — значило лишиться всего того блестящего положения, которое он приобретал сорок лет и которым пользовался. И потому он покорно наклонил свою черную седеющую голову в знак покорности и готовности исполнения жестокой, безумной и нечестной высочайшей воли.

Отпустив Бибикова, Николай с сознанием хорошо исполненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел одеваться для выхода. Надев на себя мундир с эполетами, орденами и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек мужчин в мундирах и женщин в вырезных нарядных платьях, расставленные все по определенным местам, с трепетом ожидали его выхода.

С безжизненным взглядом, с выпяченною грудью и перетянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху и снизу животом, он вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгляды с трепетным подобострастием обращены на него, он принял еще более торжественный вид. Встречаясь глазами с знакомыми лицами, он, вспоминая кто — кто, останавливался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски несколько слов и, пронизывая их холодным, безжизненным взглядом, слушал, что ему говорили.

Приняв поздравления, Николай прошел в церковь.

Бог через своих слуг, так же как и мирские люди, приветствовал и восхвалял Николая, и он как должное, хотя и наскучившее ему, принимал эти приветствия, восхваления. Все это должно было так быть, потому что от него зависело благоденствие и счастье всего мира, и хотя он уставал от этого, он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда в конце обедни великолепный расчесанный дьякон провозгласил «многая лета» и певчие прекрасными голосами дружно подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, заметил стоявшую у окна Нелидову с ее пышными плечами и в ее пользу решил сравнение с вчерашней девицей.

После обедни он пошел к императрице и в семейном кругу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом он через Эрмитаж зашел к министру двора Волконскому и, между прочим, поручил ему выдавать из своих особенных сумм ежегодную пенсию матери вчерашней девицы. И от него поехал на свою обычную прогулку.

Обед в этот день был в Помпейском зале; кроме меньших сыновей, Николая и Михаила, были приглашены: барон Ливен, граф Ржевусский, Долгорукий, прусский посланник и флигель-адъютант прусского короля.

Дожидаясь выхода императрицы и императора, между прусским посланником и бароном Ливен завязался интересный раз-

говор по случаю последних тревожных известий, полученных из Польши.

— La Pologne et le Caucase, ce sont les deux cautères de la Russie,— сказал Ливен.— Il nous faut cent mille hommes á peu près dans chacun de ces deux pays [1].

Посланник выразил притворное удивление тому, что это так.

— Vous dites la Pologne,— сказал он.

— Oh, oui, c'était un coup de maitre de Maeternich de nous en avoir laissé d'ambarras... [2]

В этом месте разговора вошла императрица с своей трясущейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай.

За столом Николай рассказал о выходе Хаджи-Мурата и о том, что война кавказская теперь должна скоро кончиться вследствие его распоряжения о стеснении горцев вырубкой лесов и системой укреплений.

Посланник, перекинувшись беглым взглядом с прусским флигель-адъютантом, с которым он нынче утром еще говорил о несчастной слабости Николая считать себя великим стратегом, очень хвалил этот план, доказывающий еще раз великие стратегические способности Николая.

После обеда Николай ездил в балет, где в трико маршировали сотни обнаженных женщин. Одна особенно приглянулась ему, и, позвав балетмейстера, Николай благодарил его и велел подарить ему перстень с брильянтами.

На другой день при докладе Чернышева Николай еще раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы теперь, когда вышел Хаджи-Мурат, усиленно тревожить Чечню и сжимать ее кордонной линией.

Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, поскакал в Тифлис.

XVI

Во исполнение этого предписания Николая Павловича, тотчас же, в январе 1852 года, был предпринят набег в Чечню.

Отряд, назначенный в набег, состоял из четырех батальонов пехоты, двух сотен казаков и восьми орудий. Колонна шла дорогой. По обеим же сторонам колонны непрерывной цепью, спуска-

---

[1] Польша и Кавказ — это две болячки России. Нам нужно по крайней мере сто тысяч человек в каждой из этих стран *(франц.)*.

[2] — Вы говорите, Польша.

— О да, это был искусный ход Меттерниха, чтобы причинить нам затруднения... *(франц.)*

ясь и поднимаясь по балкам, шли егеря в высоких сапогах, полушубках и папахах, с ружьями на плечах и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по неприятельской земле, соблюдая возможную тишину. Только изредка на канавках позвякивали встряхнутые орудия, или не понимающая приказа о тишине фыркала или ржала артиллерийская лошадь, или хриплым сдержанным голосом кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за то, что цепь или слишком растянулась, или слишком близко или далеко идет от колонны. Один раз только тишина нарушилась тем, что из небольшой куртинки колючки, находившейся между цепью и колонной, выскочила коза с белым брюшком и задом и серой спинкой и такой же козел с небольшими, на спину закинутыми рожками. Красивые испуганные животные большими прыжками, поджимая передние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые солдаты с криками и хохотом побежали за ними, намереваясь штыками заколоть их, но козы поворотили назад, проскочили сквозь цепь и, преследуемые несколькими конными и ротными собаками, как птицы, умчались в горы.

Еще была зима, но солнце начинало ходить выше, и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошел уже верст десять, пригревало так, что становилось жарко, и лучи его были так ярки, что больно было смотреть на сталь штыков и на блестки, которые вдруг вспыхивали на меди пушек, как маленькие солнца.

Позади была только что перейденная отрядом быстрая чистая речка, впереди — обработанные поля и луга с неглубокими балками, еще впереди — таинственные черные горы, покрытые лесом, за черными горами — еще выступающие скалы, и на высоком горизонте — вечно прелестные, вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снеговые горы.

Впереди пятой роты шел, в черном сюртуке, в папахе и с шашкой через плечо, недавно переведший из гвардии высокий красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чувство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и желания деятельности и сознания причастности к огромному, управляемому одной волей целому. Бутлер нынче во второй раз выходил в дело, и ему радостно было думать, что вот сейчас начнут стрелять по ним и что он не только не согнет головы под пролетающим ядром или не обратит внимания на свист пуль, но, как это уже и было с ним, выше поднимет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищей и солдат и заговорит самым равнодушным голосом о чем-нибудь постороннем.

Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на малоезженую, шедшую среди кукурузного жнивья, и стал подходить к лесу, когда — не видно было, откуда — с зловещим свистом пролетело

ядро и ударилось в середине обоза, подле дороги, в кукурузное поле, взрыв на нем землю.

— Начинается,— весело улыбаясь, сказал Бутлер шедшему с ним товарищу.

И действительно, вслед за ядром показалась из-за леса густая толпа конных чеченцев с значками. В середине партии был большой зеленый значок, и старый фельдфебель роты, очень дальнозоркий, сообщил близорукому Бутлеру, что это должен быть сам Шамиль. Партия спустилась под гору и показалась на вершине ближайшей балки справа и стала спускаться вниз. Маленький генерал в теплом черном сюртуке и папахе с большим белым курпеем подъехал на своем иноходце к роте Бутлера и приказал ему идти вправо против спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как услышал сзади себя один за другим два орудийные выстрела. Он оглянулся: два облака сизого дыма поднялись над двумя орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно не ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала стрелять вдогонку горцам, и вся лощина закрылась пороховым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их казаков. Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне второй балки открылся аул.

Бутлер с своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь хлеб, сено и самые сакли. По всему аулу стелился едкий дым, и в дыму этом шныряли солдаты, вытаскивая из саклей, что находили, главное же — ловили и стреляли кур, которых не могли увезти горцы. Офицеры сели подальше от дыма и позавтракали и выпили. Фельдфебель принес им на доске несколько сотов меда. Чеченцев не слышно было. Немного после полдня велено было отступать. Роты построились за аулом в колонну, и Бутлеру пришлось быть в арьергарде. Как только тронулись, появились чеченцы и, следуя за отрядом, провожали его выстрелами.

Когда отряд вышел на открытое место, горцы отстали. У Бутлера никого не ранило, и он возвращался в самом веселом и бодром расположении духа.

Когда отряд, перейдя назад вброд перейденную утром речку, растянулся по кукурузным полям и лугам, песенники по ротам выступили вперед, и раздались песни. Ветру не было, воздух был свежий, чистый и такой прозрачный, что снеговые горы, отстоявшие за сотню верст, казались совсем близкими и что, когда песенники замолкали, слышался равномерный топот ног и побрякивание орудий, как фон, на котором зачиналась и останавливалась

песня. Песня, которую пели в пятой роте Бутлера, была сочинена юнкером во славу полка и пелась на плясовой мотив с припевом: «То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!»

Бутлер ехал верхом рядом с своим ближайшим начальником, майором Петровым, с которым он и жил вместе, и не мог нарадоваться на свое решение выйти из гвардии и уйти на Кавказ. Главная причина его перехода из гвардии была та, что он проигрался в карты в Петербурге, так что у него ничего не осталось. Он боялся, что не будет в силах удержаться от игры, оставаясь в гвардии, а проигрывать уже нечего было. Теперь все это было кончено. Была другая жизнь, и такая хорошая, молодецкая. Он забыл теперь и про свое разорение и свои неоплатные долги. И Кавказ, война, солдаты, офицеры, пьяный и добродушный храбрец майор Петров — все это казалось ему так хорошо, что он иногда не верил себе, что он не в Петербурге, не в накуренных комнатах загибает углы и понтирует, ненавидя банкомета и чувствуя давящую боль в голове, а здесь, в этом чудном краю, среди молодцов-кавказцев.

«То ли дело, то ли дело, егеря, егеря!» — пели его песенники. Лошадь его веселым шагом шагала под эту музыку. Ротный мохнатый серый Трезорка, точно начальник, закрутив хвост, с озабоченным видом бежал перед ротой Бутлера. На душе было бодро, спокойно и весело. Война представлялась ему только в том, что он подвергал себя опасности, возможности смерти и этим заслуживал и награды, и уважение и здешних товарищей, и своих русских друзей. Другая сторона войны: смерть, раны солдат, офицеров, горцев, как ни странно это сказать, и не представлялась его воображению. Он даже бессознательно, чтобы удержать свое поэтическое представление о войне, никогда не смотрел на убитых и раненых. Так и нынче — у нас было три убитых и двенадцать раненых. Он прошел мимо трупа, лежавшего на спине, и только одним глазом видел какое-то странное положение восковой руки и темно-красное пятно на голове и не стал рассматривать. Горцы представлялись ему только конными джигитами, от которых надо было защищаться.

— Так вот как-с, батюшка,— говорил майор в промежутке песни.— Не так-с, как у вас в Питере: равненье направо, равненье налево. А вот потрудились — и домой. Машурка нам теперь пирог подаст, щи хорошие. Жизнь! Так ли? Ну-ка, «Как возпялась заря»,— скомандовал он свою любимую песню.

Майор жил супружески с дочерью фельдшера, сначала Машкой, а потом Марьей Дмитриевной. Марья Дмитриевна была красивая белокурая, вся в веснушках, тридцатилетняя бездетная женщина. Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной

подругой майора, ухаживала за ним, как нянька, а это было нужно майору, часто напивавшемуся до потери сознания.

Когда пришли в крепость, все было, как предвидел майор. Марья Дмитриевна накормила его и Бутлера и еще приглашенных из отряда двух офицеров сытным, вкусным обедом, и майор наелся и напился так, что не мог уже говорить и пошел к себе спать. Бутлер, также усталый, но довольный и немного выпивший лишнего чихиря, пошел в свою комнатку, и едва успел раздеться, подложив ладонь под красивую курчавую голову, заснул крепким сном без сновидений и просыпания.

XVII

Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.

Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены развалившейся сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.

Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до ве-

лика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения.

Перед жителями стоял выбор: оставаться на местах и восстановить с страшными усилиями все с такими трудами заведенное и так легко и бессмысленно уничтоженное, ожидая всякую минуту повторения того же, или, противно религиозному закону и чувству отвращения и презрения к русским, покориться им.

Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного.

XVIII

На третий день после набега Бутлер вышел уже не рано утром с заднего крыльца на улицу, намереваясь пройтись и подышать воздухом до утреннего чая, который он пил обыкновенно вместе с Петровым. Солнце уже вышло из-за гор, и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть налево, на удаляющиеся и возвышающиеся, покрытые лесом черные горы и на видневшуюся из-за ущелья матовую цепь снеговых гор, как всегда старавшихся притвориться облаками.

Бутлер смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он, и на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он так хорошо вчера вел себя в деле и при наступлении и в особенности при отступлении, когда дело было довольно жаркое, радовался и воспоминанию о том, как вчера, по возвращении их из похода, Маша, или Марья Дмитриевна, сожительница Петрова, угощала их и была особенно проста и мила со всеми, но в особенности, как ему казалось, была к нему ласкова. Марья Дмитриевна, с ее толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и сияющей улыбкой покрытого веснушками доброго лица, невольно влекла Бутлера, как сильного, молодого холостого человека, и ему казалось даже, что она желает его. Но он считал, что это было бы дурно по отношению доброго, простодушного товарища, и держался с Марьей Дмитриевной самого простого, почтительного обращения, и радовался на себя за это. Сейчас он думал об этом.

Мысли его развлек услышанный им перед собой частый топот многих лошадиных копыт по пыльной дороге, точно скакало не-

сколько человек. Он поднял голову и увидал в конце улицы подъезжавшую шагом кучку всадников. Впереди десятков двух казаков ехали два человека: один — в белой черкеске и высокой папахе с чалмой, другой — офицер русской службы, черный, горбоносый, в синей черкеске, с изобилием серебра на одежде и на оружии. Под всадником с чалмой был рыже-игреневый красавец конь с маленькой головой, прекрасными глазами; под офицером была высокая щеголеватая карабахская лошадь. Бутлер, охотник до лошадей, тотчас же оценил бодрую силу первой лошади и остановился, чтобы узнать, кто были эти люди. Офицер обратился к Бутлеру:

— Это воинский начальник дом? — спросил он, выдавая и несклоняемой речью и выговором свое нерусское происхождение и указывая плетью на дом Ивана Матвеевича.

— Этот самый,— сказал Бутлер.

— А это кто же? — спросил Бутлер, ближе подходя к офицеру и указывая глазами на человека в чалме.

— Хаджи-Мурат это. Сюда ехал, тут гостить будет у воинский начальник,— сказал офицер.

Бутлер знал про Хаджи-Мурата и про выход его к русским, но никак не ожидал увидать его здесь, в этом маленьком укреплении.

Хаджи-Мурат дружелюбно смотрел на него.

— Здравствуйте, кошкольды,— сказал он выученное им приветствие по-татарски.

— Саубул,— ответил Хаджи-Мурат, кивая головой. Он подъехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть.

— Начальник? — сказал он.

— Нет, начальник здесь, пойду позову его,— сказал Бутлер, обращаясь к офицеру и входя на ступеньки и толкая дверь.

Но дверь «парадного крыльца», как его называла Марья Дмитриевна, была заперта. Бутлер постучал, но, не получив ответа, пошел кругом через задний вход. Крикнув своего денщика и не получив ответа и не найдя ни одного из двух денщиков, он зашел в кухню. Марья Дмитриевна, повязанная платком и раскрасневшаяся, с засученными рукавами над белыми полными руками, разрезала скатанное такое же белое тесто, как и ее руки, на маленькие кусочки для пирожков.

— Куда денщики подевались? — сказал Бутлер.

— Пьянствовать ушли,— сказала Марья Дмитриевна.— Да вам что?

— Дверь отпереть; у вас перед домом целая орава горцев. Хаджи-Мурат приехал.

— Еще выдумайте что-нибудь,— сказала Марья Дмитриевна, улыбаясь.

— Я не шучу. Правда. Стоят у крыльца.

— Да неужели вправду? — сказала Марья Дмитриевна.

— Что ж мне вам выдумывать. Подите посмотрите, они у крыльца стоят.

— Вот так оказия,— сказала Марья Дмитриевна, опустив рукава и ощупывая рукой шпильки в своей густой косе.— Так я пойду разбужу Ивана Матвеевича,— сказала она.

— Нет, я сам пойду. А ты, Бондаренко, дверь поди отопри,— сказал Бутлер.

— Ну, и то хорошо,— сказала Марья Дмитриевна и опять взялась за свое дело.

Узнав, что к нему приехал Хаджи-Мурат, Иван Матвеевич, уже слышавший о том, что Хаджи-Мурат в Грозной, нисколько не удивился этому, а, приподнявшись, скрутил папироску, закурил и стал одеваться, громко откашливаясь и ворча на начальство, которое прислало к нему «этого черта». Одевшись, он потребовал от денщика «лекарства». И денщик, зная, что лекарством называлась водка, подал ему.

— Нет хуже смеси,— проворчал он, выпивая водку и закусывая черным хлебом.— Вот вчера выпил чихиря, и болит голова. Ну, теперь готов,— закончил он и пошел в гостиную, куда Бутлер уже провел Хаджи-Мурата и сопутствующего ему офицера.

Офицер, провожавший Хаджи-Мурата, передал Ивану Матвеевичу приказание начальника левого фланга принять Хаджи-Мурата и, дозволяя ему иметь сообщение с горцами через лазутчиков, отнюдь не выпускать его из крепости иначе как с конвоем казаков.

Прочтя бумагу, Иван Матвеевич поглядел пристально на Хаджи-Мурата и опять стал вникать в бумагу. Несколько раз переведя таким образом глаза с бумаги на гостя, он остановил, наконец, свои глаза на Хаджи-Мурате и сказал:

— Якши, бек-якши. Пускай живет. Так и скажи ему, что мне приказано не выпускать его. А что приказано, то свято. А поместим его — как думаешь, Бутлер? — поместим в канцелярии?

Бутлер не успел ответить, как Марья Дмитриевна, пришедшая из кухни и стоявшая в дверях, обратилась к Ивану Матвеевичу:

— Зачем в канцелярию? Поместите здесь. Кунацкую отдадим да кладовую. По крайней мере на глазах будет,— сказала она и, взглянув на Хаджи-Мурата и встретившись с ним глазами, поспешно отвернулась.

— Что же, я думаю, что Марья Дмитриевна права,— сказал Бутлер.

— Ну, ну, ступай, бабам тут нечего делать,— хмурясь, сказал Иван Матвеевич.

Во все время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть презрительно улыбался. Он сказал, что ему все равно, где жить. Одно, что ему нужно и что разрешено ему сардарем, это то, чтобы иметь сношения с горцами, и потому он желает, чтобы их допускали к нему. Иван Матвеевич сказал, что это будет сделано, и попросил Бутлера занять гостей, пока принесут им закусить и приготовят комнаты, сам же он пойдет в канцелярию написать нужные бумаги и сделать нужные распоряжения.

Отношение Хаджи-Мурата к его новым знакомым сейчас же очень ясно определилось. К Ивану Матвеевичу Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним почувствовал отвращение и презрение и всегда высокомерно обращался с ним. Марья Дмитриевна, которая готовила и приносила ему пищу, особенно нравилась ему. Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности, и бессознательно передававшееся ему ее влечение к нему. Он старался не смотреть на нее, не говорить с нею, но глаза его невольно обращались к ней и следили за ее движениями.

С Бутлером же он тотчас же, с первого знакомства, дружески сошелся и много и охотно говорил с ним, расспрашивая его про его жизнь и рассказывая ему про свою и сообщая о тех известиях, которые приносили ему лазутчики о положении его семьи, и даже советуясь с ним о том, что ему делать.

Известия, передаваемые ему лазутчиками, были нехороши. В продолжение четырех дней, которые он провел в крепости, они два раза приходили к нему, и оба раза известия были дурные.

XIX

Семья Хаджи-Мурата вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведено и содержалась там под стражею, ожидая решения Шамиля. Женщины — старуха Патимат и две жены Хаджи-Мурата — и их пятеро малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида, сын же Хаджи-Мурата, восемнадцатилетний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой, более сажени, яме, вместе с четырьмя преступниками, ожидавшими, так же как и он, решения своей участи.

Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде. Он был в походе против русских.

6 января 1852 года Шамиль возвращался домой в Ведено после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Ведено; по его же мнению и мнению всех мюридов, одержал победу и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватя шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мюриды удержали его. Два из них тут же подле Шамиля были убиты.

Был полдень, когда Шамиль, окруженный партией мюридов, джигитовавших вокруг него, стрелявших из винтовок и пистолетов и не переставая поющих «Ля илляха иль алла», подъехал к своему месту пребывания.

Весь народ большого аула Ведено стоял на улице и на крышах, встречая своего повелителя, и в знак торжества также стрелял из ружей и пистолетов. Шамиль ехал на арабском белом коне, весело попрашивавшем поводья при приближении к дому. Убранство коня было самое простое, без украшений золота и серебра: тонко выделанная, с дорожкой посередине, красная ременная уздечка, металлические, стаканчиками, стремена и красный чепрак, видневшийся из-под седла. На имаме была покрытая коричневым сукном шуба с видневшимся около шеи и рукавов черным мехом, стянутая на тонком и длинном стане черным ремнем с кинжалом. На голове была надета высокая с плоским верхом папаха с черной кистью, обвитая белой чалмой, от которой конец спускался за шею. Ступни ног были в зеленых чувяках, и икры обтянуты черными поговицами, обшитыми простым шнурком.

Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его, в одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел производить в народе. Бледное, окаймленное подстриженной рыжей бородой лицо его с постоянно сощуренными маленькими глазами было, как каменное, совершенно неподвижно. Проезжая по аулу, он чувствовал на себе тысячи устремленных глаз, но его глаза не смотрели ни на кого. Жены Хаджи-Мурата с детьми тоже вместе со всеми обитателями сакли вышли на галерею смотреть въезд имама. Одна старуха Патимат — мать Хаджи-Мурата, не вышла, а осталась сидеть, как она сидела, с растрепанными седеющими волосами, на полу сакли, охватив длинными руками свои худые колени, и, мигая своими жгучими черными глазами, смотрела на догорающие ветки в камине. Она, так же как и сын ее, всегда ненавидела Шамиля, теперь же еще больше, чем прежде, и не хотела видеть его.

Не видал также торжественного въезда Шамиля и сын Хаджи-Мурата. Он только слышал из своей темной вонючей ямы выстрелы и пение и мучался, как только мучаются молодые, полные жизни люди, лишенные свободы. Сидя в вонючей яме и видя все одних и тех же несчастных, грязных, изможденных, с ним вместе заключенных, большей частью ненавидящих друг друга людей, он страстно завидовал теперь тем людям, которые, пользуясь воздухом, светом, свободой, гарцевали теперь на лихих конях вокруг повелителя, стреляли и дружно пели «Ля илляха иль алла».

Проехав аул, Шамиль въехал в большой двор, примыкавший к внутреннему, в котором находился сераль Шамиля. Два вооруженные лезгина встретили Шамиля у отворенных ворот первого двора. Двор этот был полон народа. Тут были люди, пришедшие из дальних мест по своим делам, были и просители, были и вытребованные самим Шамилем для суда и решения. При въезде Шамиля все находившиеся на дворе встали и почтительно приветствовали имама, прикладывая руки к груди. Некоторые стали на колени и стояли так все время, пока Шамиль проезжал двор от одних, внешних, ворот до других, внутренних. Хотя Шамиль и узнал среди дожидавшихся его много неприятных ему лиц и много скучных просителей, требующих забот о них, он с тем же неизменно каменным лицом проехал мимо них и, въехав во внутренний двор, слез у галереи своего помещения, при въезде в ворота налево.

После напряжения похода, не столько физического, сколько духовного, потому что Шамиль, несмотря на гласное признание своего похода победой, знал, что поход его был неудачен, что много аулов чеченских сожжены и разорены, и переменчивый, легкомысленный народ, чеченцы, колеблются, и некоторые из них, ближайшие к русским, уже готовы перейти к ним,— все это было тяжело, против этого надо было принять меры, но в эту минуту Шамилю ничего не хотелось делать, ни о чем не хотелось думать. Он теперь хотел только одного: отдыха и прелести семейной ласки любимейшей из жен своих восемнадцатилетней черноглазой, быстроногой кистинки Аминет.

Но не только нельзя было и думать о том, чтобы видеть теперь Аминет, которая была тут же за забором, отделявшим во внутреннем дворе помещение жен от мужского отделения (Шамиль был уверен, что даже теперь, пока он слезал с лошади, Аминет с другими женами смотрела в щель забора), но нельзя было не только пойти к ней, нельзя было просто лечь на пуховики отдохнуть от усталости. Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, к которому он не имел теперь ни малейшего расположения, но неисполнение которого было не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было для него са-

мого так же необходимо, как ежедневная пища. И он совершил омовение и молитву. Окончив молитву, он позвал дожидавшихся его.

Первым вошел к нему его тесть и учитель, высокий седой благообразный старец с белой, как снег, бородой и красно-румяным лицом, Джемал-Эдин, и, помолившись богу, стал расспрашивать Шамиля о событиях похода и рассказывать о том, что произошло в горах во время его отсутствия.

В числе всякого рода событий — об убийствах по кровомщению, о покражах скота, об обвиненных в несоблюдении предписаний тариката: курении табаку, питии вина,— Джемал-Эдин сообщил о том, что Хаджи-Мурат высылал людей для того, чтобы вывести к русским его семью, но что это было обнаружено, и семья привезена в Ведено, где и находится под стражей, ожидая решения имама. В соседней кунацкой были собраны старики для обсуждения всех этих дел, и Джемал-Эдин советовал Шамилю нынче же отпустить их, так как они уже три дня дожидались его.

Поев у себя обед, который принесла ему остроносая, черная, неприятная лицом и нелюбимая, но старшая жена его Зайдет, Шамиль пошел в кунацкую.

Шесть человек, составляющие совет его, старики с седыми, серыми и рыжими бородами, в чалмах и без чалм, в высоких папахах и новых бешметах и черкесках, подпоясанные ремнями с кинжалами, встали ему навстречу. Шамиль был головой выше всех их. Все они, так же как и он, подняли руки ладонями кверху и, закрыв глаза, прочли молитву, потом отерли лицо руками, спуская их по бородам и соединяя одну с другою. Окончив это, все сели, Шамиль посередине, на более высокой подушке, и началось обсуждение всех предстоящих дел.

Дела обвиняемых в преступлениях лиц решали по шариату: двух людей приговорили за воровство к отрублению руки, одного к отрублению головы за убийство, троих помиловали. Потом приступили к главному делу: к обдумыванию мер против перехода чеченцев к русским. Для противодействия этим переходам Джемал-Эдином было составлено следующее провозглашение:

«Желаю вам вечный мир с богом всемогущим. Слышу я, что русские ласкают вас и призывают к покорности. Не верьте им и не покоряйтесь, а терпите. Если не будете вознаграждены за это в этой жизни, то получите награду в будущей. Вспомните, что было прежде, когда у вас отбирали оружие. Если бы не вразумил вас тогда, в 1840 году, бог, вы бы уже были солдатами и ходили вместо кинжалов со штыками, а жены ваши ходили бы без шаровар и были бы поруганы. Судите по прошедшему о будущем. Лучше умереть во вражде с русскими, чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкою приду к вам и поведу вас против русских.

Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским».

Шамиль одобрил это провозглашение и, подписав его, решил разослать его.

После этих дел было обсуждаемо и дело Хаджи-Мурата. Дело это было очень важное для Шамиля. Хотя он и не хотел признаться в этом, он знал, что, будь с ним Хаджи-Мурат с своей ловкостью, смелостью и храбростью, не случилось бы того, что случилось теперь в Чечне. Помириться с Хаджи-Муратом и опять пользоваться его услугами было хорошо; если же этого нельзя было, все-таки нельзя было допустить того, чтобы он помогал русским. И потому во всяком случае надо было вызвать его и, вызвав, убить его. Средство к этому было или то, чтобы подослать в Тифлис такого человека, который бы убил его там, или вызвать его сюда и здесь покончить с ним. Средство для этого было одно — его семья, и главное — его сын, к которому, Шамиль знал, что Хаджи-Мурат имел страстную любовь. И потому надо было действовать через сына.

Когда советники переговорили об этом, Шамиль закрыл глаза и умолк.

Советники знали, что это значило то, что он слушает теперь говорящий ему голос пророка, указывающий то, что должно быть сделано. После пятиминутного торжественного молчания Шамиль открыл глаза, еще более прищурил их и сказал:

— Приведите ко мне сына Хаджи-Мурата.

— Он здесь,— сказал Джемал-Эдин.

И действительно, Юсуф, сын Хаджи-Мурата, худой, бледный, оборванный и вшивый, но все еще красивый и своим телом и лицом, с такими же жгучими, как у бабки Патимат, черными глазами, уже стоял у ворот внешнего двора, ожидая призыва.

Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего, или знал, но, не пережив его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желающему только одного: продолжения той легкой, разгульной жизни, какую он, как сын наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. В отпор и противоречие отцу, он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в купацкую и, остановившись у двери, встретился с упорным сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую, с длинными пальцами белую руку.

— Ты сын Хаджи-Мурата?

— Я, имам.
— Ты знаешь, что он сделал?
— Знаю, имам, и жалею об этом.
— Умеешь писать?
— Я готовился быть муллой.
— Так напиши отцу, что, если он выйдет назад ко мне теперь, до байрама, я прощу его и все будет по-старому. Если же нет и он останется у русских, то,— Шамиль грозно нахмурился,— я отдам твою бабку, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову.

Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа, он наклонил голову в знак того, что понял слова Шамиля.

— Напиши так и отдай моему посланному.

Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа.

— Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а выколю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди.

Юсуф казался спокойным в присутствии Шамиля, но когда его вывели из кунацкой, он бросился на того, кто вел его, и, выхватив у него из ножен кинжал, хотел им зарезаться, но его схватили за руки, связали их и отвели опять в яму.

В этот вечер, когда кончилась вечерняя молитва и смеркалось, Шамиль надел белую шубу и вышел за забор в ту часть двора, где помещались его жены, и направился к комнате Аминет. Но Аминет не было там. Она была у старших жен. Тогда Шамиль, стараясь быть незаметным, стал за дверь комнаты, дожидаясь ее. Но Аминет была сердита на Шамиля за то, что он подарил шелковую материю не ей, а Зайдет. Она видела, как он вышел и как входил в ее комнату, отыскивая ее, и нарочно не пошла к себе. Она долго стояла в двери комнаты Зайдет и, тихо смеясь, глядела на белую фигуру, то входившую, то уходившую из ее комнаты. Тщетно прождав ее, Шамиль вернулся к себе уже ко времени полуночной молитвы.

XX

Хаджи-Мурат прожил неделю в укреплении в доме Ивана Матвеевича. Несмотря на то, что Марья Дмитриевна ссорилась с мохнатым Ханефи (Хаджи-Мурат взял с собой только двух: Ханефи и Элдара) и вытолкала его раз из кухни, за что тот чуть не зарезал ее, она, очевидно, питала особенные чувства и уважения и симпатии к Хаджи-Мурату. Она теперь уже не подавала ему обедать, передав эту заботу Элдару, но пользовалась всяким случаем увидать его и угодить ему. Она принимала также самое жи-

вое участие в переговорах об его семье, знала, сколько у него жен, детей, каких лет, и всякий раз после посещения лазутчиков допрашивала, кого могла, о последствиях переговоров.

Бутлер же в эту неделю совсем сдружился с Хаджи-Муратом. Иногда Хаджи-Мурат приходил в его комнату, иногда Бутлер приходил к нему. Иногда они беседовали через переводчика, иногда же собственными средствами, знаками и, главное, улыбками. Хаджи-Мурат, очевидно, полюбил Бутлера. Это видно было по отношению к Бутлеру Элдара. Когда Бутлер входил в комнату Хаджи-Мурата, Элдар встречал Бутлера, радостно оскаливая свои блестящие зубы, и поспешно подкладывал ему подушки под сиденье и снимал с него шашку, если она была на нем.

Бутлер познакомился и сошелся также и с мохнатым Ханефи, названым братом Хаджи-Мурата, Ханефи знал много горских песен и хорошо пел их. Хаджи-Мурат, в угождение Бутлеру, призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был высокий тенор, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно правилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим торжественно-грустным напевом. Бутлер попросил переводчика пересказать ее содержание и записал ее.

Песня относилась к кровомщению — тому самому, что было между Ханефи и Хаджи-Муратом.

Песня была такая:

«Высохнет земля на могиле моей — и забудешь ты меня, моя родная мать! Порастет кладбище могильной травой — заглушит трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.

Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отомстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя копем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами и, когда она кончилась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня.

Поэзия особенной, энергической горской жизни, с приездом Хаджи-Мурата и сближением с ним и его мюридами, еще более охватила Бутлера. Он завел себе бешмет, черкеску, ноговицы, и ему казалось, что он сам горец и что живет такою же, как и эти люди, жизнью.

В день отъезда Хаджи-Мурата Иван Матвеевич собрал несколько офицеров, чтобы проводить его. Офицеры сидели кто у чайного стола, где Марья Дмитриевна разливала чай, кто у другого стола — с водкой, чихирем и закуской, когда Хаджи-Мурат, одетый по-дорожному и в оружии, быстрыми мягкими шагами вошел, хромая, в комнату.

Все встали и по очереди за руку поздоровались с ним. Иван Матвеевич пригласил его на тахту, но он, поблагодарив, сел на стул у окна. Молчание, воцарившееся при его входе, очевидно, нисколько не смущало его. Он внимательно оглядел все лица и остановил равнодушный взгляд на столе с самоваром и закусками. Бойкий офицер Петроковский, в первый раз видевший Хаджи-Мурата, через переводчика спросил его, понравился ли ему Тифлис.

— Айя,— сказал он.

— Он говорит, что да,— отвечал переводчик.

— Что же понравилось ему?

Хаджи-Мурат что-то ответил.

— Больше всего ему понравился театр.

— Ну, а на бале у главнокомандующего понравилось ему?

Хаджи-Мурат нахмурился.

— У каждого народа свои обычаи. У нас женщины так не одеваются,— сказал он, взглянув на Марью Дмитриевну.

— Что же ему не понравилось?

— У нас пословица есть,— сказал он переводчику,— угостила собака ишака мясом, а ишак собаку сеном,— оба голодные остались.— Он улыбнулся.— Всякому народу свой обычай хорош.

Разговор дальше не пошел. Офицеры кто стал пить чай, кто закусывать. Хаджи-Мурат взял предложенный стакан чаю и поставил его перед собой.

— Что ж? Сливок? Булку? — сказала Марья Дмитриевна, подавая ему.

Хаджи-Мурат наклонил голову.

— Так что ж, прощай! — сказал Бутлер, трогая его по колену.— Когда увидимся?

— Прощай! прощай,— улыбаясь, по-русски сказал Хаджи-Мурат.— Кунак булур. Крепко кунак твоя. Время — айда пошел,— сказал он, тряхнув головой как бы тому направлению, куда надо ехать.

В дверях комнаты показался Элдар с чем-то большим белым через плечо и с шашкой в руке. Хаджи-Мурат поманил его, и Элдар подошел своими большими шагами к Хаджи-Мурату и подал ему белую бурку и шашку. Хаджи-Мурат встал, взял бурку и, перекинув ее через руку, подал Марье Дмитриевне, что-то сказав переводчику. Переводчик сказал:

— Он говорит: ты похвалила бурку, возьми.

— Зачем это? — сказала Марья Дмитриевна, покраснев.

— Так надо. Адат так,— сказал Хаджи-Мурат.

— Ну, благодарю,— сказала Марья Дмитриевна, взяв бурку.— Дай бог вам сына выручить. Улан якши,— прибавила она.— Переведите ему, что желаю ему семью выручить.

Хаджи-Мурат взглянул на Марью Дмитриевну и одобрительно кивнул головой. Потом он взял из рук Элдара шашку и подал Ивану Матвеевичу. Иван Матвеевич взял шашку и сказал переводчику:

— Скажи ему, чтобы мерина моего бурого взял, больше нечем отдарить.

Хаджи-Мурат помахал рукой перед лицом, показывая этим, что ему ничего не нужно и что он не возьмет, а потом, показав на горы и на свое сердце, пошел к выходу. Все пошли за ним. Офицеры, оставшиеся в комнатах, вынув шашку, разглядывали клинок на ней и решили, что эта была настоящая гурда.

Бутлер вышел вместе с Хаджи-Муратом на крыльцо. Но тут случилось то, чего никто не ожидал и что могло кончиться смертью Хаджи-Мурата, если бы не его сметливость, решительность и ловкость.

Жители кумыцкого аула Таш-Кичу, питавшие большое уважение к Хаджи-Мурату и много раз приезжавшие в укрепление, чтобы только взглянуть на знаменитого наиба, за три дня до отъезда Хаджи-Мурата послали к нему послов просить его в пятницу в их мечеть. Кумыцкие же князья, жившие в Таш-Кичу и ненавидевшие Хаджи-Мурата и имевшие с ним кровомщение, узнав об этом, объявили народу, что они не пустят Хаджи-Мурата в мечеть. Народ взволновался, и произошла драка народа с княжескими сторонниками. Русское начальство усмирило горцев и послало Хаджи-Мурату сказать, чтобы он не приезжал в мечеть. Хаджи-Мурат не поехал, и все думали, что дело тем и кончилось.

Но в самую минуту отъезда Хаджи-Мурата, когда он вышел на крыльцо и лошади стояли у подъезда, к дому Ивана Матвеевича подъехал знакомый Бутлеру и Ивану Матвеевичу кумыцкий князь Арслан-Хан.

Увидав Хаджи-Мурата и выхватив из-за пояса пистолет, он направил его на Хаджи-Мурата. Но не успел Арслан-Хан выстрелить, как Хаджи-Мурат, несмотря на свою хромоту, как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-Хану. Арслан-Хан выстрелил и не попал. Хаджи-Мурат же, подбежав к нему, одной рукой схватил его лошадь за повод, другой выхватил кинжал и что-то по-татарски крикнул.

Бутлер и Элдар в одно и то же время подбежали к врагам и схватили их за руки. На выстрел вышел и Иван Матвеевич.

— Что же это ты, Арслан, у меня в доме затеял такую гадость! — сказал он, узнав, в чем дело.— Нехорошо это, брат. В поле две воли, а что же у меня резню такую затевать.

Арслан-Хан, маленький человечек с черными усами, весь бледный и дрожащий, сошел с лошади, злобно поглядел на Хаджи-Мурата и ушел с Иваном Матвеевичем в горницу. Хаджи-Мурат же вернулся к лошадям, тяжело дыша и улыбаясь.

— За что он его убить хотел? — спросил Бутлер через переводчика.

— Он говорит, что такой у нас закон,— передал переводчик слова Хаджи-Мурата.— Арслан должен отомстить ему за кровь. Вот он и хотел убить.

— Ну, а если он догонит его дорогой? — спросил Бутлер.

Хаджи-Мурат улыбнулся.

— Что ж,— убьет, значит, так алла хочет. Ну, прощай,— сказал он опять по-русски и, взявшись за холку лошади, обвел глазами всех провожавших его и ласково встретился взглядом с Марьей Дмитриевной.

— Прощай, матушка,— сказал он, обращаясь к ней,— спасиб.

— Дай бог, дай бог семью выручить,— повторила Марья Дмитриевна.

Он не понял слов, но понял ее участие к нему и кивнул ей головой.

— Смотри, не забудь купака,— сказал Бутлер.

— Скажи, что я верный друг ему, никогда не забуду,— ответил он через переводчика и, несмотря на свою кривую ногу, только что дотронулся до стремени, как быстро и легко перенес свое тело на высокое седло и, оправив шашку, ощупав привычным движением пистолет, с тем особенным гордым, воинственным видом, с которым сидит горец на лошади, поехал прочь от дома Ивана Матвеевича. Ханефи и Элдар также сели на лошадей и, дружелюбно простившись с хозяевами и офицерами, поехали рысью за своим мюршидом.

Как всегда, начались толки об уехавшем.

— Молодчина!

— Ведь как волк бросился на Арслан-Хана, совсем лицо другое стало.

— А надует он. Плут большой должен быть,— сказал Петроковский.

— Дай бог, чтобы побольше русских таких плутов было,— вдруг с досадой вмешалась Марья Дмитриевна.— Неделю у нас

прожил; кроме хорошего, ничего от него не видали,— сказала она.— Обходительный, умный, справедливый.

— Почем вы это всё узнали?

— Стало быть, узнала.

— Втюрилась, а? — сказал вошедший Иван Матвеевич.— Уж это как есть.

— Ну и втюрилась. А вам что? Только зачем осуждать, когда человек хороший. Он татарин, а хороший.

— Правда, Марья Дмитриевна,— сказал Бутлер.— Молодец, что заступились.

XXI

Жизнь обитателей передовых крепостей на чеченской линии шла по-старому. Были с тех пор две тревоги, на которые выбегали роты и скакали казаки и милиционеры, но оба раза горцев не могли остановить. Они уходили и один раз в Воздвиженской угнали восемь лошадей казачьих с водопоя и убили казака. Набегов со времени последнего, когда был разорен аул, не было. Только ожидалась большая экспедиция в Большую Чечню вследствие назначения нового начальника левого фланга, князя Барятинского.

Князь Барятинский, друг наследника, бывший командир Кабардинского полка, теперь, как начальник всего левого фланга, тотчас по приезде своем в Грозную собрал отряд, с тем чтобы продолжать исполнять те предначертания государя, о которых Чернышев писал Воронцову. Собранный в Воздвиженской отряд вышел из нее на позицию по направлению к Куринскому. Войска стояли там и рубили лес.

Молодой Воронцов жил в великолепной суконной палатке, и жена его, Марья Васильевна, приезжала в лагерь и часто оставалась ночевать. Ни от кого не были секретом отношения Барятинского с Марьей Васильевной, и потому непридворные офицеры и солдаты грубо ругали ее за то, что благодаря ее присутствию в лагере их рассылали в ночные секреты. Обыкновенно горцы подвозили орудия и пускали ядра в лагерь. Ядра эти большею частью не попадали, и потому в обыкновенное время против этих выстрелов не принималось никаких мер; но для того чтобы горцы не могли выдвигать орудия и пугать Марью Васильевну, высылались секреты. Ходить же каждую ночь в секреты для того, чтобы не напугать барыню, было оскорбительно и противно, и Марью Васильевну нехорошими словами честили солдаты и не принятые в высшее общество офицеры.

В этот отряд, чтобы повидать там собравшихся своих однокашников по Пажескому корпусу и однополчан, служивших в

Куринском полку и адъютантами и ординарцами при начальстве, приехал в отпуск и Бутлер из своего укрепления. С начала его приезда ему было очень весело. Он остановился в палатке Полторацкого и нашел тут много радостно встретивших его знакомых. Он пошел и к Воронцову, которого он знал немного, потому что служил одно время в одном с ним полку. Воронцов принял его очень ласково и представил князю Барятинскому и пригласил его на прощальный обед, который он давал бывшему до Барятинского начальнику левого фланга, генералу Козловскому.

Обед был великолепный. Были привезены и поставлены рядом шесть палаток. Во всю длину их был накрыт стол, уставленный приборами и бутылками. Все напоминало петербургское гвардейское житье. В два часа сели за стол. В середине стола сидели: по одну сторону Козловский, по другую Барятинский. Справа от Козловского сидел муж, слева жена Воронцова. Во всю длину с обеих сторон сидели офицеры Кабардинского и Куринского полков. Бутлер сидел рядом с Полторацким, оба весело болтали и пили с соседями-офицерами. Когда дело дошло до жаркого и денщики стали разливать по бокалам шампанское, Полторацкий с искренним страхом и сожалением сказал Бутлеру:

— Осрамится наш «как».

— А что?

— Да ведь ему надо речь говорить. А что же он может?

— Да, брат, это не то, что под пулями завалы брать. А еще тут рядом дама да эти придворные господа. Право, жалко смотреть на него,— говорили между собою офицеры.

Но вот наступила торжественная минута. Барятинский встал и, подняв бокал, обратился к Козловскому с короткой речью. Когда Барятинский кончил, Козловский встал и довольно твердым голосом начал:

— По высочайшей его величества воле, я уезжаю от вас, расстаюсь с вами, господа офицеры,— сказал он.— Но считайте меня всегда, как, с вами... Вам, господа, знакома, как, истина — один в поле не воин. Поэтому все, чем я на службе моей, как, награжден, всё, как, чем осыпан, великими щедротами государя императора, как, всем положением моим и, как, добрым именем — всем, всем решительно, как...— здесь голос его задрожал,— я, как, обязан одним вам и одним вам, дорогие друзья мои! — И морщинистое лицо сморщилось еще больше. Он всхлипнул, и слезы выступили ему на глаза.— От всего сердца приношу вам, как, мою искреннюю задушевную признательность...

Козловский не мог говорить дальше и, встав, стал обнимать офицеров, которые подходили к нему. Все были растроганы. Княгиня закрыла лицо платком. Князь Семен Михайлович, скривя

рот, моргал глазами. Многие из офицеров тоже прослезились. Бутлер, который очень мало знал Козловского, тоже не мог удержать слез. Все это ему чрезвычайно правилось. Потом начались тосты за Барятинского, за Воронцова, за офицеров, за солдат, и гости вышли от обеда опьяненные и выпитым вином, и военным восторгом, к которому они и так были особенно склонны.

Погода была чудная, солнечная, тихая, с бодрящим свежим воздухом. Со всех сторон трещали костры, слышались песни. Казалось, все праздновали что-то. Бутлер в самом счастливом, умиленном расположении духа пошел к Полторацкому. К Полторацкому собрались офицеры, раскинули карточный стол, и адъютант заложил банк в сто рублей. Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой кошелек, но, наконец, не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать.

И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок. Он проиграл так много, что уж боялся счесть то, что было за ним записано. Он, не считая, знал, что, отдав все жалованье, которое он мог взять вперед, и цену своей лошади, он все-таки не мог заплатить всего, что было за ним записано незнакомым адъютантом. Он бы играл и еще, но адъютант с строгим лицом положил своими белыми чистыми руками карты и стал считать меловую колонну записей Бутлера. Бутлер сконфуженно просил извинить его за то, что не может заплатить сейчас всего того, что проиграл, и сказал, что он пришлет из дому, и когда он сказал это, он заметил, что всем стало жаль его и что все, даже Полторацкий, избегали его взгляда. Это был последний его вечер. Стоило ему не играть, а пойти к Воронцову, куда его звали, «и все бы было хорошо»,— думал он. А теперь было не только не хорошо, но было ужасно.

Простившись с товарищами и знакомыми, он уехал домой и, приехав, тотчас же лег спать и спал восемнадцать часов сряду, как спят обыкновенно после проигрыша. Марья Дмитриевна по тому, что он попросил у нее полтинник, чтобы дать на чай провожавшему его казаку, и по его грустному виду и коротким ответам поняла, что он проигрался, и напала на Ивана Матвеевича, зачем он отпускал его.

На другой день Бутлер проснулся в двенадцатом часу и, вспомнив свое положение, хотел бы опять нырнуть в забвение, из которого только что вышел, но нельзя было. Надо было принять меры, чтобы выплатить четыреста семьдесят рублей, которые

он остался должен незнакомому человеку. Одна из этих мер состояла в том, что он написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз пятьсот рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем владении. Потом он написал своей скупой родственнице, прося ее дать ему на каких она хочет процентах те же пятьсот рублей. Потом он пошел к Ивану Матвеевичу и, зная, что у него или, скорее, у Марьи Дмитриевны есть деньги, просил его дать ему взаймы пятьсот рублей.

— Я бы дал,— сказал Иван Матвеевич,— сейчас отдал бы, да Машка не даст. Они, эти бабы, очень уж прижимисты, черт их знает. А надо, надо выкрутиться, черт его возьми. У того черта, у маркитанта, нет ли?

Но у маркитанта нечего было и пробовать занимать. Так что спасение Бутлера могло прийти только от брата или от скупой родственницы.

XXII

Не достигнув своей цели в Чечне, Хаджи-Мурат вернулся в Тифлис и каждый день ходил к Воронцову и, когда его принимали, умолял его собрать горских пленных и выменять на них его семью. Он опять говорил, что без этого он связан и не может, как он хотел бы, служить русским и уничтожить Шамиля. Воронцов неопределенно обещал сделать, что может, но откладывал, говоря, что он решит дело, когда приедет в Тифлис генерал Аргутинский и он переговорит с ним. Тогда Хаджи-Мурат стал просить Воронцова разрешить ему съездить на время и пожить в Нухе, небольшом городке Закавказья, где он полагал, что ему удобнее будет вести переговоры с Шамилем и с преданными ему людьми о своей семье. Кроме того, в Нухе, магометанском городе, была мечеть, где он более удобно мог исполнять требуемые магометанским законом молитвы. Воронцов написал об этом в Петербург, а между тем все-таки разрешил Хаджи-Мурату переехать в Нуху.

Для Воронцова, для петербургских властей, так же как и для большинства русских людей, знавших историю Хаджи-Мурата, история эта представлялась или счастливым оборотом в кавказской войне, или просто интересным случаем; для Хаджи-Мурата же это был, особенно в последнее время, страшный поворот в его жизни. Он бежал из гор, отчасти спасая себя, отчасти из ненависти к Шамилю, и, как ни трудно было это бегство, он достиг своей цели, и в первое время его радовал его успех и он действительно обдумывал планы нападения на Шамиля. Но оказалось,

что выход его семьи, который, он думал, легко устроить, был труднее, чем он думал. Шамиль захватил его семью и, держа ее в плену, обещал раздать женщин по аулам и убить или ослепить сына. Теперь Хаджи-Мурат переезжал в Нуху с намерением попытаться через своих приверженцев в Дагестане хитростью или силой вырвать семью от Шамиля. Последний лазутчик, который был у него в Нухе, сообщил ему, что преданные ему аварцы собираются похитить его семью и выйти вместе с семьею к русским, но людей, готовых на это, слишком мало, и что они не решаются сделать этого в месте заключения семьи, в Ведено, но сделают это только в том случае, если семью переведут из Ведено в другое место. Тогда на пути они обещаются сделать это. Хаджи-Мурат велел сказать своим друзьям, что он обещает три тысячи рублей за выручку семьи.

В Нухе Хаджи-Мурату был отведен небольшой дом в пять комнат, недалеко от мечети и ханского дворца. В том же доме жили приставленные к нему офицеры и переводчик и его нукеры. Жизнь Хаджи-Мурата проходила в ожидании и приеме лазутчиков из гор и в разрешенных ему прогулках верхом по окрестностям Нухи.

Вернувшись 8 апреля с прогулки, Хаджи-Мурат узнал, что в его отсутствие приехал чиновник из Тифлиса. Несмотря на все желание узнать, что привез ему чиновник, Хаджи-Мурат, прежде чем идти в ту комнату, где его ожидали пристав с чиновником, пошел к себе и совершил полуденную молитву. Окончив молитву, он вышел в другую комнату, служившую гостиной и приемной. Приехавший из Тифлиса чиновник, толстенький статский советник Кириллов, передал Хаджи-Мурату желание Воронцова, чтоб он к двенадцатому числу приехал в Тифлис для свидания с Аргутинским.

— Якши,— сердито сказал Хаджи-Мурат.

Чиновник Кириллов не понравился ему.

— А деньги привез?

— Привез,— сказал Кириллов.

— За две недели теперь,— сказал Хаджи-Мурат и показал десять пальцев и еще четыре.— Давай.

— Сейчас дадим,— сказал чиновник, доставая кошелек из своей дорожной сумки.— И на что ему деньги? — сказал он по-русски приставу, полагая, что Хаджи-Мурат не понимает, но Хаджи-Мурат понял и сердито взглянул на Кириллова. Доставая деньги, Кириллов, желая разговориться с Хаджи-Муратом, с тем чтобы иметь что передать по возвращении своем князю Воронцову, спросил у него через переводчика, скучно ли ему здесь. Хаджи-Мурат сбоку взглянул презрительно на маленького толстого человечка в

штатском и без оружия и ничего не ответил. Переводчик повторил вопрос.

— Скажи ему, что я не хочу с ним говорить. Пускай даст деньги.

И, сказав это, Хаджи-Мурат опять сел к столу, собираясь считать деньги.

Когда Кириллов выпул золотые и разложил семь столбиков по десять золотых (Хаджи-Мурат получал по пять золотых в день), он подвинул их к Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат ссыпал золотые в рукав черкески, поднялся и совершенно неожиданно хлопнул статского советника по плеши и пошел из комнаты. Статский советник привскочил и велел переводчику сказать, что он не должен сметь этого делать, потому что он в чине полковника. То же подтвердил и пристав. Но Хаджи-Мурат кивнул головой в знак того, что он знает, и вышел из комнаты.

— Что с ним станешь делать,— сказал пристав.— Пырнет кинжалом, вот и все. С этими чертями не сговоришь. Я вижу, он беситься начинает.

Как только смерклось, пришли из гор обвязанные до глаз башлыками два лазутчика. Пристав провел их в комнаты к Хаджи-Мурату. Один из лазутчиков был мясистый черный тавлинец, другой — худой старик. Известия, принесенные ими, были для Хаджи-Мурата нерадостные. Друзья его, взявшиеся выручить семью, теперь прямо отказывались, боясь Шамиля, который угрожал самыми страшными казнями тем, кто будут помогать Хаджи-Мурату. Отслушав рассказ лазутчиков, Хаджи-Мурат облокотил руки на скрещенные ноги и, опустив голову в папахе, долго молчал. Хаджи-Мурат думал, и думал решительно. Он знал, что думает теперь в последний раз, и необходимо решение. Хаджи-Мурат поднял голову и, достав два золотых, отдал лазутчикам по одному и сказал:

— Идите.

— Какой будет ответ?

— Ответ будет, какой даст бог. Идите.

Лазутчики встали и ушли, а Хаджи-Мурат продолжал сидеть на ковре, опершись локтями на колени. Он долго сидел так и думал.

«Что делать? Поверить Шамилю и вернуться к нему? — думал Хаджи-Мурат.— Он лисица — обманет. Если же бы он и не обманул, то покориться ему, рыжему обманщику, нельзя было. Нельзя было потому, что он теперь, после того как я побыл у русских, уже не поверит мне»,— думал Хаджи-Мурат.

И он вспомнил сказку тавлинскую о соколе, который был пойман, жил у людей и потом вернулся в свои горы к своим. Он

вернулся, но в путах, и на путах остались бубенцы. И соколы не приняли его. «Лети,— сказали они,— туда, где надели на тебя серебряные бубенцы. У нас нет бубенцов, нет и пут». Сокол не хотел покидать родину и остался. Но другие соколы не приняли и заклевали его.

«Так заклюют и меня»,— думал Хаджи-Мурат.

«Остаться здесь? Покорить русскому царю Кавказ, заслужить славу, чины, богатство?»

«Это можно»,— думал он, вспоминая про свои свидания с Воронцовым и лестные слова старого князя.

«Но надо сейчас решить, а то он погубит семью».

Всю ночь Хаджи-Мурат не спал и думал.

XXII

К середине ночи решение его было составлено. Он решил, что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью. Выведет ли он семью назад к русским, или бежит с нею в Хунзах и будет бороться с Шамилем,— Хаджи-Мурат не решал. Он знал только то, что сейчас надо было бежать от русских в горы. И он сейчас стал приводить это решение в исполнение. Он взял из-под подушки свой черный ватный бешмет и пошел в помещение своих нукеров. Они жили через сени. Как только он вышел в сени с отворенной дверью, его охватила росистая свежесть лунной ночи и ударили в уши свисты и щелканье сразу нескольких соловьев из сада, примыкавшего к дому.

Пройдя сени, Хаджи-Мурат отворил дверь в комнату нукеров. В комнате этой не было света, только молодой месяц в первой четверти светил в окна. Стол и два стула стояли в стороне, и все четыре нукера лежали на коврах и бурках на полу. Ханефи спал на дворе с лошадьми. Гамзало, услыхав скрип двери, поднялся, оглянулся на Хаджи-Мурата и, узнав его, опять лег. Элдар же, лежавший подле, вскочил и стал надевать бешмет, ожидая приказаний. Курбан и Хан-Магома спали. Хаджи-Мурат положил бешмет на стол, и бешмет стукнул о доски стола чем-то крепким. Это были зашитые в нем золотые.

— Зашей и эти,— сказал Хаджи-Мурат, подавая Элдару полученные нынче золотые.

Элдар взял золотые и тотчас же, выйдя на светлое место, достал из-под кинжала ножичек и стал пороть подкладку бешмета. Гамзало приподнялся и сидел, скрестив ноги.

— А ты, Гамзало, вели молодцам осмотреть ружья, пистолеты, приготовить заряды. Завтра поедем далеко,— сказал Хаджи-Мурат.

— Порох есть, пули есть. Будет готово,— сказал Гамзало и зарычал что-то непонятное.

Гамзало понял, для чего Хаджи-Мурат велел зарядить ружья. Он с самого начала, и что дальше, то сильнее и сильнее, желал одного: побить, порезать, сколько можно, русских собак и бежать в горы. И теперь он видел, что этого самого хочет и Хаджи-Мурат, и был доволен.

Когда Хаджи-Мурат ушел, Гамзало разбудил товарищей, и все четверо всю ночь пересматривали винтовки, пистолеты, затравки, кремни, переменяли плохие, подсыпали на полки свежего пороху, затыкали хозыри с отмеренными зарядами пороха, пулями, обернутыми в масленые тряпки, точили шашки и кинжалы и мазали клинки салом.

Перед рассветом Хаджи-Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи-Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи-Мурату песню. Хаджи-Мурат остановился и стал слушать.

В песне говорилось о том, как джигит Гамзат угнал с своими молодцами с русской стороны табун белых коней. Как потом его настиг за Тереком русский князь и как он окружил его своим, как лес, большим войском. Потом пелось о том, как Гамзат порезал лошадей и с молодцами своими засел за кровавым завалом убитых коней и бился с русскими до тех пор, пока были пули в ружьях и кинжалы на поясах и кровь в жилах. Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны».

Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хан-Магомы, который при самом конце песни громко закричал: «Ля илляха иль алла» — и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмоканье и свист из сада и равномерное шипение

и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери.

Хаджи-Мурат так задумался, что не заметил, как нагнул кувшин, и вода лилась из него. Он покачал на себя головой и вошел в свою комнату.

Совершив утренний намаз, Хаджи-Мурат осмотрел свое оружие и сел на свою постель. Делать было больше нечего. Для того чтобы выехать, надо было спроситься у пристава. А на дворе еще было темно, и пристав еще спал.

Песня Ханефи напомнила ему другую песню, сложенную его матерью. Песня эта рассказывала то, что действительно было,— было тогда, когда Хаджи-Мурат только что родился, но про что ему рассказывала его мать.

Песня была такая:

«Булатный кинжал твой прорвал мою белую грудь, а я приложила к ней мое солнышко, моего мальчика, омыла его своей горячей кровью, и рана зажила без трав и кореньев, не боялась я смерти, не будет бояться и мальчик-джигит».

Слова этой песни обращены были к отцу Хаджи-Мурата, и смысл песни был тот, что, когда родился Хаджи-Мурат, ханша родила тоже своего другого сына, Умма-Хана, и потребовала к себе в кормилицы мать Хаджи-Мурата, выкормившую старшего ее сына, Абунунцала. Но Патимат не захотела оставить этого сына и сказала, что не пойдет. Отец Хаджи-Мурата рассердился и приказывал ей. Когда же она опять отказалась, ударил ее кинжалом и убил бы ее, если бы ее не отняли. Так она и не отдала его и выкормила, и на это дело сложила песню.

Хаджи-Мурат вспомнил свою мать, когда она, укладывая его спать с собой рядом, под шубой, на крыше сакли, пела ему эту песню, и он просил ее показать ему то место на боку, где остался след от раны. Как живую, он видел перед собой свою мать — не такою сморщенной, седой и с решеткой зубов, какою он оставил ее теперь, а молодой, красивой и такой сильной, что она, когда ему было уже лет пять и он был тяжелый, носила его за спиной в корзине через горы к деду.

И вспомнился ему и морщинистый, с седой бородкой, дед, серебряник, как он чеканил серебро своими жилистыми руками и заставлял внука говорить молитвы. Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах и вкус дыма и кислого молока, когда он шел за матерью в сарай, где она доила корову и топила молоко. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову и как в блестящем медном тазу,

висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку.

И, вспомнив себя маленьким, он вспомнил и об любимом сыне Юсуфе, которому он сам в первый раз обрил голову. Теперь этот Юсуф был уже молодой красавец джигит. Он вспомнил сына таким, каким видел его последний раз. Это было в тот день, как он выезжал из Цельмеса. Сын подал ему коня и попросил позволения проводить его. Он был одет и вооружен и держал в поводу свою лошадь. Румяное, молодое, красивое лицо Юсуфа и вся высокая, тонкая фигура его (он был выше отца) дышали отвагой молодости и радостью жизни. Широкие, несмотря на молодость, плечи, очень широкий юношеский таз и тонкий, длинный стан, длинные сильные руки и сила, гибкость, ловкость во всех движениях всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном.

— Лучше оставайся. Ты один теперь в доме. Береги и мать и бабку,— сказал Хаджи-Мурат.

И Хаджи-Мурат помнил то выраженье молодечества и гордости, с которым, покраснев от удовольствия, Юсуф сказал, что, пока он жив, никто не сделает худого его матери и бабке. Юсуф все-таки сел верхом и проводил отца до ручья. От ручья он вернулся назад, и с тех пор Хаджи-Мурат уже не видал ни жены, ни матери, ни сына.

И вот этого-то сына хотел ослепить Шамиль! О том, что сделают с его женою, он не хотел и думать.

Мысли эти так взволновали Хаджи-Мурата, что он не мог более сидеть. Он вскочил и, хромая, быстро подошел к двери и, отворив ее, кликнул Элдара. Солнце еще не всходило, но было совсем светло. Соловьи не замолкали.

— Поди скажи приставу, что я желаю ехать на прогулку, и седлайте коней,— сказал он.

XXIV

Единственным утешением Бутлера была в это время воинственная поэзия, которой он предавался не только на службе, но и в частной жизни. Он, одетый в черкесский костюм, джигитовал верхом и ходил два раза в засаду с Богдановичем, хотя в оба раза эти они никого не подкараулили и никого не убили. Эта смелость и дружба с известным храбрецом Богдановичем казалась Бутлеру чем-то приятным и важным. Долг свой он уплатил, заняв деньги у еврея на огромные проценты, то есть только отсрочил и отдалил неразрешенное положение. Он старался не думать о своем положении и, кроме воинственной поэзии, старался забыться еще ви-

ном. Он пил все больше и больше и со дня на день все больше и больше нравственно слабел. Он теперь уже не был прекрасным Иосифом по отношению к Марье Дмитриевне, а, напротив, стал грубо ухаживать за ней, но, к удивлению своему, встретил решительный отпор, сильно пристыдивший его.

В конце апреля в укрепление пришел отряд, который Барятинский предназначал для нового движения через всю считавшуюся непроходимой Чечню. Тут были две роты Кабардинского полка, и роты эти, по установившемуся кавказскому обычаю, были приняты как гости ротами, стоящими в Куринском. Солдаты разобрались по казармам и угащивались не только ужином, кашей, говядиной, но и водкой, и офицеры разместились по офицерам, и, как и водилось, здешние офицеры угащивали пришедших.

Угощение кончилось попойкой с песенниками, и Иван Матвеевич, очень пьяный, уже не красный, но бледно-серый, сидел верхом на стуле и, выхватив шашку, рубил ею воображаемых врагов и то ругался, то хохотал, то обнимался, то плясал под любимую свою песню: «Шамиль начал бунтоваться в прошедшие годы, трай-рай-рататай, в прошедшие годы».

Бутлер был тут же. Он старался видеть и в этом воспную поэзию, но в глубине души ему жалко было Ивана Матвеевича, но остановить его не было никакой возможности. И Бутлер, чувствуя хмель в голове, потихоньку вышел и пошел домой.

Полный месяц светил на белые домики и на камни дороги. Было светло так, что всякий камушек, соломинка, помет были видны на дороге. Подходя к дому, Бутлер встретил Марью Дмитриевну, в платке, покрывавшем ей голову и плечи. После отпора, данного Марьей Дмитриевной Бутлеру, он, немного совестясь, избегал встречи с нею. Теперь же, при лунном свете и от выпитого вина, Бутлер обрадовался этой встрече и хотел опять приласкаться к ней.

— Вы куда? — спросил он.

— Да своего старика проведать,— дружелюбно отвечала она. Она совершенно искренно и решительно отвергала ухаживанье Бутлера, но ей неприятно было, что он все последнее время сторонился ее.

— Что же его проведывать, придет.

— Да придет ли?

— А не придет — принесут.

— То-то, нехорошо ведь это,— сказала Марья Дмитриевна.— Так не ходить?

— Нет, не ходите. А пойдем лучше домой.

Марья Дмитриевна повернулась и пошла домой рядом с Бутлером. Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы. Бутлер смотрел на это сияние около своей головы и собирался сказать ей, что она все так же нравится ему, но не знал, как начать. Она ждала, что он скажет. Так, молча, они совсем уже подходили к дому, когда из-за угла выехали верховые. Ехал офицер с конвоем.

— Это кого бог несет? — сказала Марья Дмитриевна и посторонилась.

Месяц светил взад приезжему, так что Марья Дмитриевна узнала его только тогда, когда он почти поравнялся с ними. Это был офицер Каменев, служивший прежде вместе с Иваном Матвеевичем, и потому Марья Дмитриевна знала его.

— Петр Николаевич, вы? — обратилась к нему Марья Дмитриевна.

— Я самый,— сказал Каменев.— А, Бутлер! Здравствуйте! Не спите еще? Гуляете с Марьей Дмитриевной? Смотрите, Иван Матвеевич вам задаст. Где он?

— А вот слышите,— сказала Марья Дмитриевна, указывая в ту сторону, из которой неслись звуки тулумбаса и песни.— Кутят.

— Это что же, ваши кутят?

— Нет, пришли из Хасав-Юрта, вот и угощаются.

— А, это хорошее дело. И я поспею. Я к нему ведь только на минуту.

— Что же, дело есть? — спросил Бутлер.

— Есть маленькое дельце.

— Хорошее или дурное?

— Кому как! Для нас хорошее, кое для кого скверное,— и Каменев засмеялся.

В это время и пешие и Каменев подошли к дому Ивана Матвеевича.

— Чихирев! — крикнул Каменев казаку.— Подъезжай-ка.

Донской казак выдвинулся из остальных и подъехал. Казак был в обыкновенной донской форме, в сапогах, шинели и с переметными сумами за седлом.

— Ну, достань-ка штуку,— сказал Каменев, слезая с лошади.

Казак тоже слез с лошади и достал из переметной сумы мешок с чем-то. Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку.

— Так показать вам новость? Вы не испугаетесь? — обратился он к Марье Дмитриевне.

— Чего же бояться,— сказала Марья Дмитриевна.

— Вот она,— сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца.— Узнаете?

Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженой бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское доброе выражение.

Марья Дмитриевна посмотрела и, ничего не сказав, повернулась и быстрыми шагами ушла в дом.

Бутлер не мог отвести глаз от страшной головы. Это была голова того самого Хаджи-Мурата, с которым он так недавно проводил вечера в таких дружеских беседах.

— Как же это? Кто его убил? Где? — спросил он.

— Удрать хотел, поймали,— сказал Каменев и отдал голову казаку, а сам вошел в дом вместе с Бутлером.

— И молодцом умер,— сказал Каменев.

— Да как же это все случилось?

— А вот погодите, Иван Матвеевич придет, я все подробно расскажу. Ведь я затем послан. Развожу по всем укреплениям, аулам, показываю.

Было послано за Иваном Матвеевичем, и он, пьяный, с двумя также сильно выпившими офицерами, вернулся в дом и принялся обнимать Каменева.

— А я к вам,— сказал Каменев.— Хаджи-Мурата голову привез.

— Врешь! Убили?

— Да, бежать хотел.

— Я говорил, что надует. Так где же она? Голова-то? Покажи-ка.

Кликнули казака, и он внес мешок с головой. Голову вынули, и Иван Матвеевич пьяными глазами долго смотрел на нее.

— А все-таки молодчина был,— сказал он.— Дай я его поцелую.

— Да, правда, лихая была голова,— сказал один из офицеров.

Когда все осмотрели голову, ее отдали опять казаку. Казак положил голову в мешок, стараясь опустить на пол так, чтобы она как можно слабее стукнула.

— А что ж ты, Каменев, приговариваешь что, когда показываешь? — говорил один офицер.

— Нет, дай я его поцелую. Он мне шашку подарил,— кричал Иван Матвеевич.

Бутлер вышел на крыльцо. Марья Дмитриевна сидела на второй ступеньке. Она оглянулась на Бутлера и тотчас же сердито отвернулась.

— Что вы, Марья Дмитриевна? — спросил Бутлер.

— Все вы живорезы. Терпеть не могу. Живорезы, право,— сказала она, вставая.

— То же со всеми может быть,— сказал Бутлер, не зная, что говорить.— На то война.

— Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна.— Какая война? Живорезы, вот и всё. Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право,— повторила она и сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход.

Бутлер вернулся в гостиную и попросил Каменева рассказать подробно, как было все дело.

И Каменев рассказал.

Дело было вот как.

XXV

Хаджи-Мурату было разрешено кататься верхом вблизи города и непременно с конвоем казаков. Казаков всех в Нухе была полусотня, из которой разобраны были по начальству человек десять, остальных же, если их посылать, как было приказано, по десять человек, приходилось бы наряжать через день. И потому в первый день послали десять казаков, а потом решили посылать по пять человек, прося Хаджи-Мурата не брать с собой всех своих нукеров, но 25 апреля Хаджи-Мурат выехал на прогулку со всеми пятью. В то время как Хаджи-Мурат садился на лошадь, воинский начальник заметил, что все пять нукеров собирались ехать с Хаджи-Муратом, и сказал ему, что ему не позволяется брать с собой всех, но Хаджи-Мурат как будто не слыхал, тронул лошадь, и воинский начальник не стал настаивать. С казаками был урядник, георгиевский кавалер, в скобку остриженный, молодой, кровь с молоком, здоровый русый малый, Назаров. Он был старший в бедной старообрядческой семье, выросший без отца и кормивший старую мать с тремя дочерьми и двумя братьями.

— Смотри, Назаров, не пускай далеко! — крикнул воинский начальник.

— Слушаю, ваше благородие,— ответил Назаров и, поднимаясь на стременах, тронул рысью, придерживая за плечом винтовку, своего доброго, крупного, рыжего, горбоносого мерина. Четыре казака ехали за ним: Ферапонтов, длинный, худой, первый вор и добытчик,— тот самый, который продал порох Гамзале; Игнатов, отслуживающий срок, немолодой человек, здоровый мужик,

хваставшийся своей силой; Мишкин, слабосильный малолеток, над которым все смеялись, и Петраков, молодой, белокурый, единственный сын у матери, всегда ласковый и веселый.

С утра был туман, но к завтраку погода разгулялась, и солнце блестело и на только что распустившейся листве, и на молодой девственной траве, и на всходах хлебов, и на ряби быстрой реки, видневшейся налево от дороги.

Хаджи-Мурат ехал шагом. Казаки и его нукеры, не отставая, следовали за ним. Выехали шагом по дороге за крепостью. Встречались женщины с корзинами на головах, солдаты на повозках и скрипящие арбы на буйволах. Отъехав версты две, Хаджи-Мурат тронул своего белого кабардинца; он пошел прóездом, так, что его нукеры шли большой рысью. Так же ехали и казаки.

— Эх, лошадь добра под ним,— сказал Ферапонтов.— Кабы в ту пору, как он не мирной был, ссадил бы его.

— Да, брат, за эту лошадку триста рублей давали в Тифлисе.

— А я на своем перегоню,— сказал Назаров.

— Как же, перегонишь,— сказал Ферапонтов.

Хаджи-Мурат все прибавлял хода.

— Эй, кунак, нельзя так. Потише! — прокричал Назаров, догоняя Хаджи-Мурата.

Хаджи-Мурат оглянулся и, ничего не сказав, продолжал ехать тем же прóездом, не уменьшая хода.

— Смотри, задумали что, черти,— сказал Игнатов.— Вишь, лупят.

Так прошли с версту по направлению к горам.

— Я говорю, нельзя! — закричал опять Назаров.

Хаджи-Мурат не отвечал и не оглядывался, только еще прибавлял хода и с прóезда перешел на скок.

— Врешь, не уйдешь! — кричал Назаров, задетый за живое.

Он ударил плетью своего крупного рыжего мерина и, привстав на стременах и нагнувшись вперед, пустил его во весь мах за Хаджи-Муратом.

Небо было так ясно, воздух так свеж, силы жизни так радостно играли в душе Назарова, когда он, слившись в одно существо с доброю, сильною лошадью, летел по ровной дороге за Хаджи-Муратом, что ему и в голову не приходила возможность чего-нибудь недоброго, печального или страшного. Он радовался тому, что с каждым скоком набирал на Хаджи-Мурата и приближался к нему. Хаджи-Мурат сообразил по топоту крупной лошади казака, приближающегося к нему, что он накоротко должен настигнуть его, и, взявшись правой рукой за пистолет, левой стал слегка сдерживать своего разгорячившегося и слышавшего за собой лошадиный топот кабардинца.

— Нельзя, говорю! — крикнул Назаров, почти равняясь с Хаджи-Муратом и протягивая руку, чтобы схватить за повод его лошадь. Но не успел он схватиться за повод, как раздался выстрел.

— Что ж это ты делаешь? — закричал Назаров, хватаясь за грудь.— Бей их, ребята,— проговорил он и, шатаясь, повалился на луку седла.

Но горцы прежде казаков взялись за оружие и били казаков из пистолетов и рубили их шашками. Назаров висел на шее несшей его вокруг товарищей испуганной лошади. Под Игнатовым упала лошадь, придавив ему ногу. Двое горцев, выхватив шашки, не слезая, полосовали его по голове и рукам. Петраков бросился было к товарищу, но тут же два выстрела, один в спину, другой в бок, сожгли его, и он, как мешок, кувырнулся с лошади.

Мишкин повернул лошадь назад и поскакал к крепости. Ханефи с Хан-Магомой бросились за Мишкиным, но он был уже далеко впереди, и горцы не могли догнать его.

Увидав, что они не могут догнать казака, Ханефи с Хан-Магомой вернулись к своим. Гамзало, добив кинжалом Игнатова, прирезал и Назарова, свалив его с лошади. Хан-Магома снимал с убитых сумки с патронами. Ханефи хотел взять лошадь Назарова, но Хаджи-Мурат крикнул ему, что не надо, и пустился вперед по дороге. Мюриды его поскакали за ним, отгоняя от себя бежавшую за ними лошадь Петракова. Они были уже версты за три от Нухи среди рисовых полей, когда раздался выстрел с башни, означавший тревогу.

Петраков лежал навзничь с взрезанным животом, и его молодое лицо было обращено к небу, и он, как рыба всхлипывая, умирал.

— Батюшки, отцы мои родные, что наделали! — вскрикнул, схватившись за голову, начальник крепости, когда узнал о побеге Хаджи-Мурата.— Голову сняли! Упустили, разбойники! — кричал он, слушая донесение Мишкина.

Тревога дана была везде, и не только все бывшие в наличности казаки были посланы за бежавшими, но собраны были и все, каких можно было собрать, милиционеры из мирных аулов. Объявлено было тысячу рублей награды тому, кто привезет живого или мертвого Хаджи-Мурата. И через два часа после того, как Хаджи-Мурат с товарищами ускакали от казаков, больше двухсот человек конных скакали за приставом отыскивать и ловить бежавших.

Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдержал своего тяжело дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелись сакли и минарет аула Беланджика, налево были поля, и в конце их виднелась река.

Несмотря на то, что путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону, влево, рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно направо. Он же, и без дороги переправясь через Алазань, выедет на большую дорогу, где его никто не будет ожидать, и проедет по ней до леса и тогда уже, вновь переехав через реку, лесом проберется в горы. Решив это, он повернул влево. Но доехать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле, через которое надо было ехать, как это всегда делается весной, было только что залито водой и превратилось в трясину, в которой выше бабки вязли лошади. Хаджи-Мурат и его нукеры брали направо, налево, думая, что найдут более сухое место, но то поле, на которое они попали, было все равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопания пробки вытаскивали утопающие ноги в вязкой грязи и, пройдя несколько шагов, тяжело дыша, останавливались.

Так они бились так долго, что начало смеркаться, а они всё еще не доехали до реки. Влево был островок с распустившимися листиками кустов, и Хаджи-Мурат решил въехать в эти кусты и там, дав отдых измученным лошадям, пробыть до ночи.

Въехав в кусты, Хаджи-Мурат и его нукеры слезли с лошадей и, стреножив их, пустили кормиться, сами же поели взятого с собой хлеба и сыра. Молодой месяц, светивший сначала, зашел за горы, и ночь была темная. Соловьев в Нухе было особенно много. Два было и в этих кустах. Пока Хаджи-Мурат с своими людьми шумел, въезжая в кусты, соловьи замолкли. Но когда затихли люди, они опять защелкали, перекликаясь. Хаджи-Мурат, прислушиваясь к звукам ночи, невольно слушал их.

И их свист напомнил ему ту песню о Гамзате, которую он слушал нынче ночью, когда выходил за водой. Он всякую минуту теперь мог быть в том же положении, в котором был Гамзат. Ему подумалось, что это так и будет, и ему вдруг стало серьезно на душе. Он разостлал бурку и совершил намаз. И едва только окончил его, как послышались приближающиеся к кустам звуки. Это были звуки большого количества лошадиных ног, шлепавших по трясине. Быстроглазый Хан-Магома, выбежав на один край кустов, высмотрел в темноте черные тени конных и пеших, приближавшихся к кустам. Ханефи увидал такую же толпу с другой стороны. Это был Карганов, уездный воинский начальник, с своими милиционерами.

«Что ж, будем биться, как Гамзат»,— подумал Хаджи-Мурат.

После того как дана была тревога, Карганов с сотней милиционеров и казаков бросился в догоню Хаджи-Мурата, но нигде не нашел ни его, ни следов его. Карганов уже возвращался безнадежно домой, когда перед вечером ему встретился старик тата-

рин. Карганов спросил у старика, не видал ли он шестерых конных? Старик отвечал, что видел. Он видел, как шесть конных кружились по рисовому полю и въехали в кусты, в которых он собирал дрова. Карганов, захватив с собой старика, вернулся назад и, по виду стреноженных лошадей уверившись, что Хаджи-Мурат был тут, ночью уже окружил кусты и стал дожидаться утра, чтобы взять Хаджи-Мурата живого или мертвого.

Поняв, что он окружен, Хаджи-Мурат высмотрел в середине кустов старую канаву и решил засесть в ней и отбиваться, пока будут заряды и силы. Он сказал это своим товарищам и велел им делать завал на канаве. И нукеры тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи-Мурат работал вместе с ними.

Как только стало светать, как к кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал:

— Эй! Хаджи-Мурат! Сдавайся! Нас много, а вас мало.

В ответ на это из канавы показался дымок, щелкнула винтовка, и пуля попала в лошадь милиционера, которая шарахнулась под ним и стала падать. Вслед за этим затрещали винтовки милиционеров, стоявших на опушке кустов, и пули их, свистя и жужжа, обивали листья и сучья и попадали в завал, но не попадали в людей, сидевших за завалом. Только одна отбившаяся лошадь Гамзалы была подбита ими. Лошадь была ранена в голову. Она не упала, но, разорвав треногу, треща по кустам, бросилась к другим лошадям и, прижавшись к ним, поливала кровью молодую траву. Хаджи-Мурат и его люди стреляли только тогда, когда кто-либо из милиционеров выдавался вперед, и редко миновали цели. Три человека из милиционеров были ранены, и милиционеры не только не решались броситься на Хаджи-Мурата и его людей, но всё более и более отдалялись от них и стреляли только издалека, наобум.

Так продолжалось более часа. Солнце взошло в полдерева, и Хаджи-Мурат уже думал сесть на лошадей и попытаться пробиться к реке, когда послышались крики вновь прибывшей большой партии. Это был Гаджи-Ага мехтулинский с своими людьми. Их было человек двести. Гаджи-Ага был когда-то кунак Хаджи-Мурата и жил с ним в горах, но потом перешел к русским. С ним же был Ахмет-Хан, сын врага Хаджи-Мурата. Гаджи-Ага, так же как Карганов, начал с того, что закричал Хаджи-Мурату, чтобы он сдавался, но, так же как и в первый раз, Хаджи-Мурат ответил выстрелом.

— В шашки, ребята! — крикнул Гаджи-Ага, выхватив свою, и послышались сотни голосов людей, с визгом бросившихся в кусты.

Милиционеры вбежали в кусты, но из-за завала затрещало один за другим несколько выстрелов. Человека три упало, и нападавшие остановились, и на опушке кустов тоже стали стрелять. Они стреляли и вместе с тем понемногу приближались к завалу, перебегая от куста к кусту. Некоторые успевали перебегать, некоторые же попадали под пули Хаджи-Мурата и его людей. Хаджи-Мурат бил без промаха, точно так же редко выпускал выстрел даром Гамзало и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали. Курбан сидел с краю канавы и пел «Ля илляха иль алла» и не торопясь стрелял, но попадал редко. Элдар же дрожал всем телом от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, беспрестанно оглядываясь на Хаджи-Мурата и высовываясь из-за завала. Волосатый Ханефи, с засученными рукавами, и тут исполнял должность слуги. Он заряжал ружья, которые передавали ему Хаджи-Мурат и Курбан, старательно загоняя железным шомполом обернутые в намасленные хлюсты пульки и подсыпая из натруски сухого пороха на полки. Хан-Магома же не сидел, как другие, в канаве, а перебегал из канавы к лошадям, загоняя их в более безопасное место, и не переставая визжал и стрелял с руки без подсошек. Его первого ранили. Пуля попала ему в шею, и он сел назад, плюя кровью и ругаясь. Потом ранен был Хаджи-Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи-Мурат вырвал из бешмета вату, заткнул себе рану и продолжал стрелять.

— Бросимся в шашки,— в третий раз говорил Элдар.

Он высунулся из-за завала, готовый броситься на врагов, но в ту же минуту пуля ударила в него, и он зашатался и упал навзничь, на ногу Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на него. Бараньи прекрасные глаза пристально и серьезно смотрели на Хаджи-Мурата. Рот с выдающеюся, как у детей, верхней губой дергался, не раскрываясь. Хаджи-Мурат выпростал из-под него ногу и продолжал целиться. Ханефи нагнулся над убитым Элдаром и стал быстро выбирать нерасстрелянные заряды из его черкески. Курбан между тем все пел, медленно заряжая и целясь.

Враги, перебегая от куста к кусту с гиканьем и визгом, придвигались все ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи-Мурату в левый бок. Он лег в канаву и опять, вырвав из бешмета кусок ваты, заткнул рану. Рана в бок была смертельна, и он чувствовал, что умирает. Воспоминания и образы с необыкновенной быстротой сменялись в его воображении одно другим. То он видел перед собой силача Абунунцал-Хана, как он, придерживая рукою отрубленную, висящую щеку, с кинжалом в руке бросился на врага; то видел слабого, бескровного старика Воронцова с его хитрым белым лицом и слышал его мягкий голос; то видел сына Юсуфа, то

жену Софиат, то бледное, с рыжей бородой и прищуренными глазами, лицо врага своего Шамиля.

И все эти воспоминания пробегали в его воображении, не вызывая в нем никакого чувства: ни жалости, ни злобы, ни какого-либо желания. Все это казалось так ничтожно в сравнении с тем, что начиналось и уже началось для него. А между тем его сильное тело продолжало делать начатое. Он собрал последние силы, поднялся из-за завала и выстрелил из пистолета в подбегавшего человека и попал в него. Человек упал. Потом он совсем вылез из ямы и с кинжалом пошел прямо, тяжело хромая, навстречу врагам. Раздалось несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось им мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался.

Он не двигался, но еще чувствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не мог понять, кто это делает и зачем. Это было последнее его сознание связи с своим телом. Больше он уже ничего не чувствовал, и враги топтали и резали то, что не имело уже ничего общего с ним. Гаджи-Ага, наступив ногой на спину тела, с двух ударов отсек голову и осторожно, чтобы не запачкать в кровь чувяки, откатил ее ногою. Алая кровь хлынула из артерий шеи и черная из головы и залила траву.

И Карганов, и Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все милиционеры, как охотник над убитым зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей (Ханефи, Курбана и Гамзалу связали) и, в пороховом дыму стоявшие в кустах, весело разговаривая, торжествовали свою победу.

Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко и потом другие на дальнем конце.

Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля.

1904

I

В 1830 году весною к пану Ячевскому в его родовое имение Рожанку приехал единственный сын его умершего друга молодой Иосиф Мигурский. Ячевский был шестидесятипятилетний широколобый, широкоплечий, широкогрудый старик с длинными белыми усами на кирпично-красном лице, патриот времен второго раздела Польши. Он юношей вместе с Мигурским-отцом служил под знаменами Костюшки и всеми силами своей патриотической души ненавидел апокалипсическую, как он называл ее, блудницу Екатерину II и изменника, мерзкого ее любовника Понятовского, и так же верил в восстановление Речи Посполитой, как верил ночью, что к утру опять взойдет солнце. В 12-м году он командовал полком в войсках Наполеона, которого он обожал. Погибель Наполеона огорчила его, но он не отчаивался в восстановлении хотя и искалеченного, но все-таки царства Польского. Открытие сейма в Варшаве Александром I оживило его надежды, но Священный Союз, реакция во всей Европе, самодурство Константина отдаляло осуществление заветного желания. С 25-го года Ячевский поселился в деревне и безвыездно жил в своей Рожанке, занимая время хозяйством, охотой и чтением газет и писем, посредством которых он все-таки горячо следил за политическими событиями в своем отечестве. Он был женат вторым браком на бедной красивой шляхтенке, и брак этот был несчастлив. Он не любил и не уважал этой своей второй жены, тяготился ею, дурно, грубо обращался с нею, как будто вымещая на ней свою ошибку второго брака. Детей от второй жены не было. От первой же жены было две дочери: старшая, Ванда, величавая красавица, знавшая цену своей красоты и скучавшая в деревне, и меньшая, Альбина, любимица отца, живая, костлявая девочка, с вьющимися белокурыми воло-

сами и широко, как у отца, расставленными большими блестящими голубыми глазами.

Альбине было пятнадцать лет, когда приехал Иосиф Мигурский. Мигурский и прежде, студентом, бывал у Ячевских в Вильно, где они жили по зимам, и ухаживал за Вандой, теперь же в первый раз уже вполне взрослым, свободным человеком приехал к ним в деревню. Приезд молодого Мигурского был приятен всем жителям Рожапки. Старику Иозё Мигурский был приятен тем, что напоминал ему друга, его отца, в то время, как они оба были молоды, и еще тем, что с жаром и самыми розовыми надеждами рассказывал о революционном брожении не только в Польше, но и за границей, откуда он только что приехал. Пани Ячевской Мигурский был приятен тем, что при гостях старик Ячевский сдерживался и не бранил ее за все, как обыкновенно. Ванде он был приятен потому, что она была уверена, что Мигурский приехал для нее и намеревается ей сделать предложение; она готовилась дать ему согласие, но намеревалась, как она сама с собой говорила: lui tenir la dragée haute[1]. Альбина была рада тому, что все были рады. Не одна Ванда была уверена в том, что Мигурский приехал с намерением сделать ей предложение. Это думали все в доме — от старика Ячевского до няни Лудвики, хотя никто и не говорил этого.

И это была правда. Мигурский приехал с этим намерением, но, пробыв неделю, он, чем-то смущенный и расстроенный, уехал, не сделав предложения. Все были удивлены этим неожиданным отъездом, и никто, кроме Альбины, не понимал его причины. Альбина знала, что причиной этого странного отъезда была она. Во все время пребывания его в Рожанке она замечала, что Мигурский был особенно возбужден и весел только с нею. Он обращался с ней, как с ребенком, шутил с ней, дразнил ее, но она женским чутьем чуяла, что в этом обращении его с нею было не отношение взрослого к ребенку, а мужчины к женщине. Она видела это в том любующемся взгляде и ласковой улыбке, с которыми он встречал ее, когда она входила в комнату, и провожал, когда она выходила. Она не отдавала себе ясного отчета о том, что такое это было, но это его отношение к ней веселило ее, и она невольно старалась делать то, что нравилось ему. Нравилось же ему все, что она бы ни делала. И потому она в его присутствии с особенным возбуждением делала все, что делала. Ему нравилось, как она наперегонки бегала с прекрасным хортым (борзая собака), прыгавшим на нее и лизавшим ее в раскрасневшееся сияющее лицо; нравилось, как она при малейшем поводе заливалась зара-

[1] помучить его, чтобы он это оценил *(франц.)*.

зительно звонким смехом; нравилось, как она, продолжая весело смеяться глазами, принимала серьезный вид при скучной проповеди ксендза; нравилось, как с необыкновенной верностью и комизмом представляла то старую няню, то пьяного соседа, то его самого, Мигурского, мгновенно переходя от изображения одного к изображению другого. Нравилась, главное, ее восторженная жизнерадостность, точно как будто она только что сейчас узнала вполне всю прелесть жизни и спешила воспользоваться ею. Ему нравилась эта особенная ее жизнерадостность, а жизнерадостность эта возбуждалась и усиливалась именно тем, что она знала, что эта жизнерадостность восхищает его. И потому одна Альбина знала, отчего Мигурский, приехавший, чтобы сделать предложение Ванде, уехал, не сделав его. Хотя она никому не решилась бы сказать этого, не говорила этого ясно и сама себе, она в глубине души знала, что он хотел полюбить сестру, и полюбил ее, Альбину. Альбина очень удивлялась этому, считая себя вполне ничтожной в сравнении с умной, образованной, красавицей Вандой, но не могла не знать, что это так, и не могла не радоваться этому, потому что сама всеми силами своей души полюбила Мигурского, полюбила так, как любят только в первый раз и только один раз в жизни.

II

В конце лета газеты принесли известие о парижской революции. Вслед за этим стали приходить известия о готовящихся беспорядках в Варшаве. Ячевский с страхом и надеждой ожидал с каждой почтой известия об убийстве Константина и начале революции. Наконец в ноябре получились в Рожанке сначала весть о нападении на бельведер, о бегстве Константина Павловича, потом о том, что сейм объявил династию Романовых лишенной польского престола, что Хлопицкий объявлен диктатором и польский народ опять свободен. Восстание не дошло еще до Рожанки, но все обитатели ее следили за ходом его, ожидали его у себя и готовились к нему. Старик Ячевский переписывался с старым знакомым, одним из главарей восстания, принимал таинственных евреев-факторов, не по хозяйственным, а по революционным делам, и готовился присоединиться к восстанию, когда настанет время. Пани Ячевская не только как всегда, но еще более, чем всегда, заботилась о материальных удобствах мужа и, как всегда, этим самым все больше и больше раздражала его. Ванда отослала свои брильянты подруге в Варшаву, с тем чтобы вырученные деньги отдать в революционный комитет. Альбина интересовалась только тем, что делает Мигурский. Через отца она знала,

что он поступил в отряд Дверницкого, и старалась узнать все то, что касалось этого отряда. Мигурский писал два раза: один раз извещал о том, что он поступил в войско, другой раз, в половине февраля, писал восторженное письмо о победе поляков при Сточеке, где взяли шесть русских орудий и пленных. «Zwycięstwo Polakòw i klęska Moskali! Wiwat!» [1] — заканчивал он письмо. Альбина была в восторге. Она рассматривала карту, рассчитывала, где и когда должны быть окончательно побеждены москали, и бледнела, и дрожала, когда отец медленно распечатывал привезенные с почты пакеты. Один раз мачеха, зайдя в ее комнату, застала ее перед зеркалом в панталонах и конфедератке. Альбина готовилась в мужском платье бежать из дома, чтобы присоединиться к польскому войску. Мачеха сказала отцу. Отец призвал дочь к себе и, скрывая свое сочувствие ей, даже восхищение перед ней, сделал ей строгий выговор, требуя, чтобы она выбросила из головы глупые мысли об участии в войне. «У женщины есть другое дело: любить и утешать тех, которые жертвуют собой за отчизну»,— сказал он ей. Теперь она нужна ему, составляя его радость и утешение, а придет время, она так же нужна будет мужу. Он знал, чем подействовать на нее. Он намекнул ей на то, что он одинок и несчастен, и поцеловал ее. Она прижалась к нему лицом, скрывая слезы, которые все-таки намочили рукав его халата, и обещала ему ничего не предпринимать без его согласия.

III

Только люди, испытавшие то, что испытали поляки после раздела Польши и подчинения одной части ее власти ненавистных немцев, другой — власти еще более ненавистных москалей, могут понять тот восторг, который испытывали поляки в 30-м и 31-м году, когда после прежних несчастных попыток освобождения новая надежда освобождения казалась осуществимою. Но надежда эта продолжалась недолго. Силы были слишком несоразмерны, и революция опять была задавлена. Опять бессмысленно повинующиеся десятки тысяч русских людей были пригнаны в Польшу и под начальством то Дибича, то Паскевича и высшего распорядителя — Николая I, сами не зная, зачем они делают это, пропитав землю кровью своей и своих братьев поляков, задавили их и отдали опять во власть слабых и ничтожных людей, не желающих ни свободы, ни подавления поляков, а только одного: удовлетворения своего корыстолюбия и ребяческого тщеславия.

---

[1] Да здравствуют поляки, погибель москалям! Ура! *(польск.)*

Варшава была взята, отдельные отряды разбиты. Сотни, тысячи людей были расстреляны, забиты палками, сосланы. В числе сосланных был и молодой Мигурский. Имение его было конфисковано, а сам он определен солдатом в линейный батальон в Уральск.

Ячевские жили зиму 1832 года в Вильне для здоровья старика, после 31-го года страдавшего болезнью сердца. Здесь пришло к ним письмо от Мигурского из крепости. Он писал, что, как ни тяжело для него было то, что он перенес и что предстоит ему, он рад тому, что ему пришлось пострадать за отчизну, что он не отчаивается в том святом деле, за которое он отдал часть своей жизни и готов отдать остаток ее, и что если бы завтра явилась новая возможность, он поступил бы так же. Читая письмо вслух, старик зарыдал на этом месте и долго не мог продолжать. В остальной части письма, которую вслух прочла Ванда, Мигурский писал, что, *какие бы ни были его планы и мечты* в тот последний его приезд, который останется вечно самой светлой точкой во всей его жизни, он теперь и не может и не хочет говорить про них.

Ванда и Альбина поняли каждая по-своему значение этих слов, но никому не объяснили того, как они поняли их. В конце письма Мигурский посылал приветствия всем и, между прочим, с тем же игривым тоном, с которым он обращался с Альбиной во время своего приезда, обращался к ней и в письме, спрашивая ее, так же ли она быстро бегает, перегоняя хортых, и так ли хорошо передразнивает всех. Он желал здоровья старику, успеха в хозяйственных делах матери, достойного мужа Ванде и продолжения той же жизнерадостности Альбине.

IV

Здоровье старика Ячевского шло все хуже и хуже, и в 1833 году вся семья переехала за границу. Ванда встретила в Бадене богатого польского эмигранта и вышла за него замуж. Болезнь старика быстро ухудшалась, и в начале 1833 года он умер за границей на руках Альбины. Жену он не допускал ходить за собой и до последней минуты не мог простить ей той ошибки, которую он сделал, женившись на ней. Пани Ячевская вернулась с Альбиной в деревню. Главный интерес жизни Альбины был Мигурский. В ее глазах это был величайший герой и мученик, служению которому она решила посвятить свою жизнь. Еще до отъезда за границу она начала переписываться с ним, сначала по поручению отца, потом от себя. После смерти отца она, вернувшись в Россию, продолжала переписываться с ним и, когда ей минуло восемнадцать лет, объявила мачехе, что она решила ехать в

Уральск к Мигурскому, с тем чтобы выйти там за него замуж. Мачеха стала упрекать Мигурского за то, что он эгоистически хочет облегчить свое тяжелое положение тем, чтобы, увлекши богатую девушку, заставить ее разделить его несчастье. Альбина рассердилась и объявила мачехе, что только она одна может приписывать такие подлые мысли человеку, пожертвовавшему всем для своего народа, что Мигурский, напротив, отказывался от той помощи, которую она предлагала ему, и что она бесповоротно решила ехать к нему и выйти за него замуж, если он только захочет дать ей это счастье. Альбина была совершеннолетняя, и деньги у нее были,— те триста тысяч злотых, которые покойник дядя оставил двум племянницам. Так что ничего не могло задержать ее.

В ноябре 1833 года Альбина простилась с домашними, как на смерть, со слезами провожавшими ее в дальний, неведомый край варварской Московии, села с старой преданной няней Лудвикой, которую она брала с собой, в отцовский, вновь исправленный для дальней дороги возок и пустилась в дальнюю дорогу.

V

Мигурский жил не в казармах, а на своей отдельной квартире. Николай Павлович требовал, чтобы разжалованные поляки не только несли всю тяжесть суровой солдатской жизни, но и терпели все те унижения, которым подвергались в это время рядовые солдаты; но большинство тех простых людей, которые должны были исполнять эти его распоряжения, понимали всю тяжесть положения этих разжалованных и, несмотря на опасность неисполнения его воли, где могли, не исполняли ее. Полуграмотный, выслужившийся из солдат командир того батальона, в который был зачислен Мигурский, понимал положение бывшего богатого, образованного молодого человека, лишившегося всего, жалел его и уважал и делал ему всякого рода послабления. И Мигурский не мог не оценить добродушия подполковника с белыми бакенбардами на одутловатом солдатском лице и, чтобы отплатить ему, согласился учить его сыновей, готовящихся в корпус, математике и французскому языку.

Жизнь Мигурского в Уральске, тянувшаяся уже седьмой месяц, была не только однообразная, унылая и скучная, но и тяжелая. Знакомств, кроме батальонного командира, с которым он старался держаться как можно дальше, у него был только один сосланный поляк, малообразованный и пронырливый, неприятный человек, занимавшийся здесь торговлей рыбой. Главная же тяжесть жизни Мигурского состояла в том, что ему трудно было при-

выкать к нужде. Средств у него после конфискации его имения не было никаких, и он перебивался продажей золотых вещей, которые у него остались.

Единственная и большая радость его жизни после его ссылки была переписка с Альбиной, поэтическое, милое представление о которой со времени посещения его Рожанки осталось у него в душе и становилось теперь в изгнании все прекраснее и прекраснее. В одном из первых писем своих она, между прочим, спрашивала его, что значат слова его давнишнего письма: «какие бы ни были мои желания и мечты». Он отвечал ей, что теперь он может признаться ей, что мечты его были о том, чтобы назвать ее своей женой. Она ответила ему, что любит его. Он ответил, что лучше бы она не писала этого, потому что ему ужасно думать о том, что могло бы быть и теперь невозможно. Она ответила, что это не только возможно, но что это непременно будет. Он отвечал ей, что не может принять ее жертвы, что в теперешнем положении его это невозможно. Вскоре после этого своего письма он получил повестку на две тысячи злотых. По штемпелю конверта и почерку он узнал, что это было прислано от Альбины, и вспомнил, что в одном из первых писем он в шуточном тоне описывал ей то удовольствие, которое он испытывает теперь, уроками зарабатывая все, что ему нужно,— денег на чай, табак и даже книги. Переложив деньги в другой конверт, он отослал их назад с письмом, в котором он просил ее не портить их святых отношений деньгами. У него всего было довольно, писал он, и он вполне счастлив, зная, что имеет такого друга, как она. На этом остановилась их переписка.

В ноябре Мигурский сидел у подполковника, давая урок мальчикам, когда послышался звук приближающегося почтового колокольца и заскрипели по морозному снегу полозья саней и остановились у подъезда. Дети вскочили, чтобы узнать, кто приехал. Мигурский остался в комнате, глядя на дверь и ожидая возвращения детей, но в дверь вошла сама подполковница.

— А к вам, пан, какие-то барыни приехали, вас спрашивают,— сказала она.— Должно, с вашей стороны, похоже — полячки.

Если бы Мигурского спросили: считает ли он возможным приезд к нему Альбины, он бы сказал, что это немыслимо; в глубине же души он ждал ее. Кровь прилила ему к сердцу, и он, задыхаясь, выбежал в переднюю. В передней развязывала платок на голове толстая рябая женщина. Другая женщина входила в дверь квартиры полковника. Услыхав за собой шаги, она оглянулась. Из-под капора сияли жизнерадостные, широко расставленные, блестящие голубые глаза с заиндевевшими ресницами Альбины. Он остолбенел и не знал, как встретить ее, как здороваться. «Юзё!» — вскрикнула она, назвав его так, как называл его отец и как сама

с собой она называла его, обхватила руками его шею, прильнула к его лицу своим зардевшимся холодным лицом и засмеялась и заплакала.

Узнав, кто такая Альбина и зачем она приехала, добрая полковница припяла ее и поместила до свадьбы у себя.

VI

Добродушный подполковник выхлопотал разрешение высшего начальства. Из Оренбурга выписали ксендза и обвенчали Мигурских. Жена батальонного командира была посаженой матерью, один из учеников нес образ, а Бржозовский, сосланный поляк, был шафером.

Альбина, как ни странно это может казаться, страстно любила своего мужа, но совсем не знала его. Она теперь только знакомилась с ним. Само собой разумеется, что она нашла в живом человеке с плотью и кровью много такого обыденного и непоэтического, чего не было в том образе, который она носила и растила в своем воображении; но зато, именно потому, что это был человек с плотью и кровью, она нашла в нем много такого простого, хорошего, чего не было в том отвлеченном образе. Она слышала от знакомых и друзей про его храбрость на войне и знала про его мужество при потере состояния и свободы и представляла себе его героем, всегда живущим возвышенной героической жизнью; в действительности же, с своей необыкновенной физической силой и храбростью, он оказался кротким, смирным ягненком, самым простым человеком, с добродушными шутками, с той самой детской улыбкой чувственного рта, окруженного белокурой бородкой и усами, которая прельстила ее еще в Рожанке, и с неугасимой трубкой, которая была ей особенно тяжела во время беременности.

Мигурский тоже только теперь узнал Альбину, и в Альбине в первый раз узнал женщину. По тем женщинам, которых он знал до женитьбы, он не мог знать женщин. И то, что он узнал в Альбине, как в женщине вообще, удивило его и скорее могло бы разочаровать его в женщине вообще, если бы он не чувствовал к Альбине, как к Альбине, особенно нежного и благодарного чувства. К Альбине, как к женщине вообще, он чувствовал ласковое, несколько ироническое снисхождение, к Альбине же, как к Альбине, не только нежную любовь, но и восхищение, и сознание неоплатного долга за ее жертву, давшую ему незаслуженное счастье.

Мигурские были счастливы тем, что, направив всю силу своей любви друг на друга, они испытывали среди чужих людей чувство

двух заблудившихся зимой, замерзающих и отогревающих друг друга. Радостной жизни Мигурских содействовало и участие в их жизни рабски, самоотверженно преданной своей панюсе, добродушно-ворчливой, комической, влюбляющейся во всех мужчин, няни Лудвики. Мигурские были счастливы и детьми. Через год родился мальчик. Через полтора года — девочка. Мальчик был повторением матери: те же глаза и та же резвость и грация. Девочка была здоровый красивый зверок.

Несчастливы же Мигурские были удалением от родины и, главное, тяжестью своего непривычно-униженного положения. Особенно страдала за это унижение Альбина. Он, ее Юзё, герой, идеал человека, должен был вытягиваться перед всяким офицером, делать ружейные приемы, ходить в караул и безропотно повиноваться.

Кроме того, известия из Польши получались самые печальные. Почти все близкие родные, друзья были или сосланы, или, лишившись всего, бежали за границу. Для самих же Мигурских не предвиделось какого-либо конца этому положению. Все попытки ходатайствовать о прощении или хотя бы об улучшении положения, о производстве в офицеры, не достигали цели. Николай Павлович делал смотры, парады, учения, ходил по маскарадам, заигрывал с масками, скакал без надобности по России из Чугуева в Новороссийск, Петербург и Москву, пугая народ и загоняя лошадей, и когда какой-нибудь смельчак решался просить смягчения участи ссыльных декабристов или поляков, страдавших из-за той самой любви к отечеству, которая им же восхвалялась, он, выпячивая грудь, останавливал на чем попало свои оловянные глаза и говорил: «Пускай служат. Рано». Как будто он знал, когда будет не рано, а когда будет время. И все приближенные: генералы, камергеры и их жены, кормившиеся около него, умилялись перед необычайной прозорливостью и мудростью этого великого человека.

В общем, все-таки в жизни Мигурских было больше счастья, чем несчастья.

Так прожили они пять лет. Но вдруг обрушилось на них неожиданное, страшное горе. Заболела сначала девочка, через два дня заболел мальчик: горел три дня и, без помощи врачей (никого нельзя было найти), на четвертый день умер. Через два дня после него умерла и девочка.

Альбина не утопилась в Урале только потому, что не могла без ужаса представить себе положения мужа при известии об ее самоубийстве. Но жить ей было трудно. Всегда прежде деятельная и заботливая, она теперь, предоставив все свои заботы Лудвике, сидела часами без дела, молча глядя на то, что попадалось

под глаза, а то вдруг вскакивала и убегала в свою каморку и там, не отвечая на утешения мужа и Лудвики, тихо плакала, только качая головой, прося их уйти и оставить ее одну. Летом она уходила на могилу детей и там сидела, раздирая себе сердце воспоминаниями о том, что было и что могло бы быть. Особенно мучила ее мысль о том, что дети могли бы остаться живы, если бы они жили в городе, где могла бы быть подана медицинская помощь. «За что? За что? — думала она.— И Юзё и я — мы ничего ни от кого не хотим, кроме того, чтоб ему жить так, как он родился и жили его деды и прадеды, а мне только — чтобы жить с ним, любить его, любить моих крошек, воспитывать их. И вдруг его мучают, ссылают, а у меня отнимают то, что мне дороже света. Зачем? За что?» — задавала она этот вопрос людям и богу. И не могла представить себе возможности какого-нибудь ответа.

А без этого ответа не было жизни. И жизнь ее остановилась. Бедная жизнь в изгнании, которую она прежде умела украшать своим женским вкусом и изяществом, стала теперь невыносима не только ей, но и Мигурскому, страдавшему за нее и не знавшему, чем помочь ей.

VII

В это самое тяжелое для Мигурских время прибыл в Уральск поляк Росоловский, замешанный в грандиозном плане возмущения и побега, устроенного в то время в Сибири сосланным ксендзом Сироцинским.

Росоловский, так же как и Мигурский, так же как и тысячи людей, наказанных ссылкою в Сибирь за то, что они хотели быть тем, чем родились,— поляками, был замешан в этом деле, наказан за это розгами и отдан в солдаты в тот же батальон, где был Мигурский. Росоловский, бывший учитель математики, был длинный, сутуловатый, худой человек с впалыми щеками и нахмуренным лбом.

В первый же вечер своего пребывания Росоловский, сидя за чаем у Мигурских, стал, естественно, рассказывать своим медленным, спокойным басом про то дело, за которое он так жестоко пострадал. Дело состояло в том, что Сироцинский организовал по всей Сибири тайное общество, цель которого состояла в том, чтобы с помощью поляков, зачисленных в казачьи и линейные полки, взбунтовать солдат и каторжных, поднять поселенцев, захватить в Омске артиллерию и всех освободить.

— Да разве это было возможно? — спросил Мигурский.

— Очень возможно, все было готово,— сказал Росоловский, мрачно хмурясь, и медленно, спокойно рассказал весь план осво-

бождения и все принятые меры для успеха дела и, в случае неуспеха, для спасения заговорщиков. Успех был верный, если бы не изменили два злодея. Сироцинский, по словам Росоловского, был человек гениальный и великой душевной силы. Он и умер героем и мучеником. И Росоловский ровным, спокойным басом стал рассказывать подробности казни, на которой он, по приказанию начальства, должен был присутствовать вместе со всеми судившимися по этому делу.

— Два батальона солдат стояли в два ряда, длинной улицей, у каждого солдата в руке была гибкая палка такой высочайше утвержденной толщины, чтобы три только могли входить в дуло ружья. Первым повели доктора Шакальского. Два солдата вели его, а те, которые были с палками, били его по оголенной спине, когда он равнялся с ними. Я видел это только тогда, когда он подходил к тому месту, где я стоял. То я слышал только дробь барабана, но потом, когда становился слышен свист палок и звук ударов по телу, я знал, что он подходит. И я видел, как его тянули за ружья солдаты, и он шел, вздрагивая и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону. И раз, когда его проводили мимо нас, я слышал, как русский врач говорил солдатам: «Не бейте больно, пожалейте». Но они всё били; когда его провели мимо меня второй раз, он уже не шел сам, а его тащили. Страшно было смотреть на его спину. Я зажмурился. Он упал, и его унесли. Потом повели второго. Потом третьего, потом четвертого. Все падали, всех уносили — одних замертво, других еле живыми, и мы всё должны были стоять и смотреть. Продолжалось это шесть часов — от раннего утра и до двух часов пополудни. Последнего повели самого Сироцинского. Я давно не видал его и не узнал бы, так он постарел. Все в морщинах бритое лицо его было бледно-зеленоватое. Тело обнаженное было худое, желтое, ребра торчали над втянутым животом. Он шел так же, как и все, при каждом ударе вздрагивая и вздергивая голову, но не стонал и громко читал молитву Miserere mei Deus secundam magnam misericordiam tuam [1].

— Я сам слышал,— быстро прохрипел Росоловский и, закрыв рот, засопел носом.

Лудвика, сидевшая у окна, рыдала, закрыв лицо платком.

— И охота вам расписывать! Звери — звери и есть! — вскрикнул Мигурский и, бросив трубку, вскочил со стула и быстрыми шагами ушел в темную спальню. Альбина сидела как окаменевшая, уставив глаза в темный угол.

---

[1] Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей *(лат.)*.

VIII

На другой день Мигурский, придя домой с ученья, был удивлен видом жены, которая, как в старину, легкими шагами, с сияющим лицом встретила его и повела в спальню.

— Ну, Юзё, слушай.

— Слушаю. Что?

— Я всю ночь думала о том, что рассказал Росоловский. И я решилась: я не могу жить так, не могу жить тут. Не могу! Я умру, но не останусь здесь.

— Да что же делать?

— Бежать.

— Бежать? Как?

— Я все обдумала. Слушай.

И она рассказала ему тот план, который она придумала сегодня ночью. План был такой: он, Мигурский, уйдет из дома вечером и оставит на берегу Урала свою шинель и на шинели письмо, в котором напишет, что лишает себя жизни. Поймут, что он утопился. Будут искать тело, будут посылать бумаги. А он спрячется. Она так спрячет его, что никто не найдет. Можно будет прожить так хоть месяц. А когда все уляжется, они убегут.

Затея ее в первую минуту показалась Мигурскому неисполнимой, но к концу дня, когда она с такой страстью и уверенностью убеждала его, он стал соглашаться с нею. Кроме того, он был склонен согласиться еще и потому, что наказание за неудавшийся побег, такое же наказание, как то, про которое рассказывал Росоловский, падало на него, Мигурского, успех же освобождал ее, а он видел, как после смерти детей тяжела ей была жизнь здесь.

Росоловский и Лудвика были посвящены в замысел, и после долгих совещаний, изменений, поправок план побега был выработан. Сначала хотели сделать так, чтобы Мигурский, после того как он будет признан утонувшим, бежал бы один, пешком. Альбина же выедет в экипаже и в условленном месте встретит его. Такой был первый план. Но потом, когда Росоловский рассказал про все неудавшиеся попытки побегов последних пяти лет в Сибири (за все время убежал и спасся только один счастливец), Альбина предложила другой план, тот, чтобы Юзё, спрятанный в экипаже, ехал с нею и Лудвикой до Саратова. В Саратове же ему, переодетому, идти вниз по берегу Волги, в условленном месте сесть в лодку, которую она наймет в Саратове и в которой поплывет вместе с Альбиной и Лудвикой вниз по Волге до Астрахани и через Каспийское

море в Персию. План был этот одобрен всеми и главным устроителем Росоловским, но представлялась трудность устройства такого помещения в экипаже, которое не обратило бы на себя внимания начальства, а между тем могло бы вместить в себя человека. Когда же Альбина после поездки на могилу детей сказала Росоловскому, как ей больно оставлять прах детей на чужой стороне, он, подумав, сказал:

— Просите начальство о разрешении взять с собой гробы детей, вам разрешат.

— Нет, я не хочу, не хочу этого! — сказала Альбина.

— Просите. В этом всё. Мы не возьмем гробов, а для них сделаем большой ящик и в ящик положим Юзефа.

В первую минуту Альбина отвергла это предложение, так ей неприятно было связывать обман с воспоминанием о детях, но когда Мигурский весело одобрил этот проект, она согласилась.

Так что окончательный план выработался такой: Мигурский сделает все то, что должно убедить начальство, что он утопился. Когда смерть его будет признана, Альбина подаст прошение о том, чтобы ей после смерти мужа разрешено было вернуться на родину и взять с собой и прах детей. Когда же ей дадут и это разрешение, будет сделано подобие того, что могилы раскопаны и гробы взяты, но гробы оставят на месте, а вместо детских гробов в приготовленном для этого ящике поместится Мигурский. Ящик поставят в тарантас и так доедут до Саратова. От Саратова они сядут на лодку. В лодке Юзё выйдет из ящика, и они поплывут до Каспийского моря. А там Персия или Турция и — свобода.

IX

Прежде всего Мигурские купили тарантас под предлогом отправления Лудвики на родину. Потом началось устройство в тарантасе такого ящика, в котором, не задохнувшись, можно бы было, хотя и скорчившись, лежать и из которого можно бы было скоро и незаметно выходить и опять влезать. Втроем, Альбина, Росоловский и сам Мигурский, придумывали и прилаживали ящик. В особенности важна была помощь Росоловского, который был хороший столяр. Ящик был сделан так, что, утвержденный на дрожины позади кузова, он плотно приходился к кузову, и стенка, приходившаяся к кузову, отваливалась так, что человек, вынув стенку, мог лежать частью в ящике, частью на дне тарантаса. Кроме того, в ящике были провернуты дыры для воздуха, и сверху и с боков ящик должен был быть покрыт рогожей и увязан веревками. Вхо-

дить и выходить из него можно было через тарантас, в котором было сделано сиденье.

Когда тарантас и ящик были готовы, еще до исчезновения мужа, Альбина, чтобы приготовить начальство, пошла к полковнику и заявила, что муж ее впал в меланхолию и покушался на самоубийство и она боится за него и просит на время отпустить его. Способность ее к драматическому искусству пригодилась ей. Выражаемые ею беспокойство и страх за мужа были так естественны, что полковник был тронут и обещал сделать все, что может. После этого Мигурский сочинил письмо, которое должно было быть найдено за обшлагом его шинели на берегу Урала, и в условленный день, вечером, он пошел к Уралу, дождался темноты, положил на берегу одежду, шинель с письмом и тайно вернулся домой. На чердаке, запиравшемся замком, было приготовлено для него место. Ночью Альбина послала Лудвику к полковнику заявить о муже, что он, выйдя из дома двадцать часов назад, не возвращался. Утром ей принесли письмо мужа, и она с выражением сильного отчаяния, в слезах, отнесла его полковнику.

Через неделю Альбина подала прошение об отъезде на родину. Горе, выражаемое Мигурской, поражало всех, видевших ее. Все жалели несчастную мать и жену. Когда отъезд ее был разрешен, она подала другое прошение — о позволении откопать трупы детей и взять их с собою. Начальство подивилось на эту сентиментальность, но разрешило и это.

На другой день после получения и этого разрешения вечером Росоловский с Альбиной и Лудвикой в наемной телеге с ямщиком, в который должны были быть вложены гробы детей, приехали на кладбище, к могиле детей. Альбина, опустившись на колени у могил детей, помолилась и скоро встала и, нахмурившись, обращаясь к Росоловскому, сказала:

— Делайте то, что надо, а я не могу,— и отошла в сторону.

Росоловский с Лудвикой сдвинули надгробный камень и вскопали лопатой верхние части могилы так, что могила имела вид раскопанный. Когда все было сделано, они кликнули Альбину и с ящиком, наполненным землей, вернулись домой.

Наступил назначенный день отъезда. Росоловский радовался успеху доведенного почти до конца предприятия, Лудвика напекла на дорогу печений и пирожков и, приговаривая свою любимую поговорку: «Jak mamç kocham», говорила, что у ней сердце разрывается от страха и радости. Мигурский радовался и своему освобождению с чердака, на котором он просидел больше месяца,

и больше всего — оживлению и жизнерадостности Альбины. Она как будто забыла все прежнее горе и все опасности и, как в девичье время, прибегая к нему на чердак, сияла восторженной радостью.

В три часа утра пришел казак провожать, и привел казак-ямщик тройку лошадей. Альбина с Лудвикой и собачкой сели в тарантас на подушки, покрытые ковром. Казак и ямщик сели на козлы. Мигурский, одетый в крестьянское платье, лежал в кузове тарантаса.

Выехали из города, и добрая тройка понесла тараптас по гладкой, как камень, убитой дороге между бесконечной, непаханой, поросшей прошлогодним серебристым ковылем степью.

X

Сердце замирало в груди Альбины от надежды и восторга. Желая поделиться своими чувствами, она изредка, чуть улыбаясь, указывала Лудвике головой то на широкую спину казака, сидевшего на козлах, то на дно тарантаса. Лудвика с значительным видом неподвижно смотрела перед собой и только чуть-чуть морщила губы. День был ясный. Со всех сторон расстилалась безграничная пустынная степь, блестящая серебристым ковылем на косых лучах утреннего солнца. Только то с той, то с другой стороны жесткой дороги, по которой, как по асфальту, гулко звучали некованые быстрые ноги башкирских коней, виднелись бугорки насыпанной земли сусликов; на заду сидел сторожевой зверок и, предупреждая об опасности, пронзительно свистел и скрывался в нору. Редко встречались проезжие: обоз казаков с пшеницей или конные башкиры, с которыми казак бойко перекидывался татарскими словами. На всех станциях лошади были свежие, сытые, и полтинники на водку, которые давала Альбина, делали то, что ямщики гнали, как они говорили, по-фельдъегерски — вскачь всю дорогу.

На первой же станции, в то время как прежний ямщик увел, а новый не приводил еще лошадей и казак вошел во двор, Альбина, перегнувшись, спросила мужа, как он себя чувствует, не нужно ли ему чего.

— Превосходно, покойно. Ничего не нужно. Легко пролежу хоть двое суток.

К вечеру приехали в большое село Дергачи. Для того чтобы муж мог расправить члены и освежиться, Альбина остановилась не на почтовом, а на постоялом дворе и тотчас же, дав деньги казаку, послала его купить ей яиц и молока. Тарантас стоял под

навесом, на дворе было темно, и, поставив Лудвику караулить казака, Альбина выпустила мужа, накормила его, и до возвращения казака он опять влез в свое потаенное место. Послали опять за лошадьми и поехали дальше. Альбина чувствовала все больший и больший подъем духа и не могла удержать своего восторга и веселости. Говорить ей было больше не с кем, как с Лудвикой, казаком и Трезоркой, и она забавлялась ими.

Лудвика, несмотря на свою некрасивость, при всяком отношении с мужчиной тотчас же подозревавшая в этом мужчине любовные на нее виды, подозревала теперь это самое по отношению к здоровенному добродушному казаку-уральцу с необыкновенно ясными и добрыми голубыми глазами, который провожал их и который был особенно приятен обеим женщинам своей простотою и добродушной ласковостью. Кроме Трезорки, на которого Альбина грозилась, не позволяя ему нюхать под сидением, она теперь забавлялась Лудвикой и ее комическим кокетством с не подозревающим приписываемые ему намерения, добродушно улыбающимся на все, что ему говорили, казаком. Альбина, возбужденная и опасностью, и начинающим осуществляться успехом дела, и чудной погодой, и степным воздухом, испытывала давно не испытанное ею чувство детского восторга и веселья. Мигурский слышал ее веселый говор и тоже, несмотря на скрываемую им физическую тяжесть своего положения (особенно жарко ему было, и жажда его мучила), забывая о себе, радовался на ее радость.

К вечеру второго дня стало виднеться что-то в тумане. Это был Саратов и Волга. Казак своими степными глазами видел и Волгу, и мачты и указывал их Лудвике. Лудвика говорила, что видела тоже. Но Альбина ничего не могла разобрать. И только нарочно громко, чтобы слышал муж, говорила:

— Саратов, Волга,— как будто разговаривая с Трезором, рассказывала мужу Альбина все то, что она видела.

XI

Не въезжая в Саратов, Альбина остановилась на левой стороне Волги, в слободе Покровской, против самого города. Здесь она надеялась в продолжение ночи успеть переговорить с мужем и даже вывести его из ящика. Но казак во всю короткую весеннюю ночь не отходил от тарантаса и сидел подле него в стоявшей под навесом пустой телеге. Лудвика, по распоряжению Альбины, сидела в тарантасе и, будучи вполне уверена, что казак ради нее не отходит от тарантаса, мигала, смеялась и закрывала свое рябое лицо платком. Но Альбина не видела уж в этом ничего веселого и

все больше и больше тревожилась, не понимая, для чего казак так неотлучно держался около тарантаса.

Несколько раз в короткую майскую ночь с зарей, сливающейся с зарей, Альбина выходила из горницы постоялого двора мимо вонючей галереи на заднее крыльцо. Казак все еще не спал и, спустив ноги, сидел на стоявшей подле тарантаса пустой телеге. Только перед рассветом, когда петухи уже проснулись и перекликались со двора на двор, Альбина, сойдя вниз, нашла время переговорить с мужем. Казак храпел, развалившись в телеге. Она осторожно подошла к тарантасу и толкнула ящик.

— Юзё! — Ответа не было.— Юзё, Юзё! — с испугом, громче проговорила она.

— Что ты, милая, что? — сонным голосом проговорил Мигурский из ящика.

— Что ты не отвечал?

— Спал,— проговорил он, и она по звуку голоса узнала, что он улыбался.— Что же, выходить? — спросил он.

— Нельзя, казак тут,— и, сказав это, она взглянула на казака, спящего в телеге.

И удивительное дело, казак храпел, но глаза его, добрые голубые глаза, были открыты. Он смотрел на нее и, только встретившись с ней взглядом, закрыл глаза.

«Показалось это мне или точно он не спал? — спросила себя Альбина.— Верно, показалось»,— подумала она и опять обратилась к мужу.

— Потерпи еще немного,— сказала она.— Поесть хочешь?

— Нет. Курить хочу.

Альбина опять взглянула на казака. Он спал. «Да, это показалось мне»,— подумала она.

— Я теперь поеду к губернатору.

— Ну, час добрый...

И Альбина, достав из чемодана платье, пошла в горницу одеваться.

Переодевшись в свое лучшее вдовье платье, Альбина переехала Волгу. На набережной она взяла извозчика и поехала к губернатору. Губернатор принял ее. Хорошенькая, мило улыбающаяся вдова-полька, прекрасно говорящая по-французски, очень понравилась молодящемуся старику губернатору. Он все разрешил ей и просил ее приехать еще завтра к нему, чтобы получить от него приказ к городничему в Царицын. Радуясь и успеху своего ходатайства, и тому действию ее привлекательности, которое она видела в манере губернатора, Альбина, счастливая и полная надежд, возвращалась под гору по немощеной улице на долгушке к пристани. Солнце взошло уже выше леса и косыми лучами играло на

рябящей воде огромного разлива. Справа и слева по горе виднелись, как белые облака, облитые пахучим цветом яблони. Лес мачт виднелся у берега, и паруса белели по играющему на солнце, рябящему от ветерка разливу. На пристани, разговорившись с извозчиком, Альбина спросила, можно ли нанять лодку до Астрахани, и десятки шумливых, веселых лодочников предложили ей свои услуги и лодки. Она сговорилась с одним из лодочников, больше других понравившимся ей, и пошла смотреть его лодку-косовушку, стоявшую в тесноте других лодок у пристани. На лодке была устанавливающаяся небольшая мачта с парусом, так что можно было идти ветром. В случае безветрия были весла и два здоровые, веселые бурлака-гребцы, сидевшие на солнце в лодке. Веселый, добродушный лоцман советовал не оставлять тарантас, а, сняв с него колеса, поставить на лодку. «Как раз уставится, и вам покойней сидеть будет. Даст бог погодку, дней в пяток до Астрахани добежим».

Альбина сторговалась с лодочником и велела ему прийти в Покровскую слободу, на Логинов постоялый двор, чтобы посмотреть тарантас и получить задаток. Все удалось лучше, чем она ожидала. В самом восторженно-счастливом состоянии Альбина переехала Волгу и, разочтясь с извозчиком, направилась к постоялому двору.

XII

Казак Данило Лифанов был из Стрелецкого Умета на Общем Сырту. Ему было тридцать четыре года, и он отслуживал последний месяц своего срока казацкой службы. У него в семье был старик, девяностолетний дед, помнящий еще Пугачева, два брата, сноха старшего брата, за старую веру сосланного в каторгу в Сибирь, жена, две дочери и два сына. Отец его был убит на войне с французами. Он был старшим в доме. У них во дворе было шестнадцать коней, два цабана быков и было распахано и засеяно пшеницей своей вольной земли пятнадцать сотенников. Он, Данило, служил в Оренбурге, в Казани и теперь кончал срок. Он твердо держался старой веры, не курил, не пил и не ел из одной посуды с мирскими и также строго держался присяги. Во всех своих делах он был медлительно-твердо обстоятелен и на то, что ему поручено было делать от начальства, употреблял все свое внимание и не забывал ни на минуту, пока не исполнил всего, как он понимал, своего назначения. Теперь ему велено было проводить до Саратова двух полячек с гробами так, чтобы над ними дорогой ничего худого не сделали, чтобы они ехали смирно, никаких шалостей не делали, и в Саратове честь честью сдать их начальству.

Так он и доставил их до Саратова и с собачонкой, и со всеми с гробами ихними. Бабы были смирные, ласковые, хотя и полячки, а пичего худого не делали. Но тут, в Покровской слободе, ввечеру, он, проходя мимо тарантаса, увидал, что собачонка вспрыгнула в тарантас и там стала визжать и хвостом махать, и из-под сидения тарантаса ему показался чей-то голос. Одна из полячек, старая, увидав собачку в тарантасе, испугалась чего-то, схватила собачонку и унесла.

«Что-то тут есть»,— подумал казак и стал примечать. Когда молодая полячка вышла ночью к тарантасу, он притворился, что спит, и явственно услыхал мужской голос из ящика. Рано утром он пошел в полицию и заявил о том, что полячки, какие ему поручены, не добром едут, а вместо мертвых везут какого-то живого человека в ящике.

Когда Альбина в своем восторженно-веселом настроении, уверенная в том, что теперь все кончено и они через несколько дней будут свободны, подошла к постоялому двору, она с удивлением увидала у ворот щегольскую пару с пристяжкой на отлете и двух казаков. В воротах толпился народ, заглядывая во двор.

Она была так полна надежды и энергии, что ей и в голову не пришла мысль о том, что эта пара и толпившийся народ имеют отношение к ней. Она вошла во двор и, в одно и то же время взглянув под тот навес, где стоял ее тарантас, увидала, что народ толпится именно около ее тарантаса, и в то же мгновение услыхала отчаянный лай Трезорки. Случилось то самое ужасное, что только могло случиться. Перед тарантасом, блестя своим чистым мундиром, с сияющими на солнце пуговицами и полупогонами и лаковыми сапогами, стоял осанистый, с черными бакенбардами человек и говорил что-то громко, хриплым повелительным голосом. Перед ним, между двумя солдатами, в крестьянском наряде, с сеном в спутанных волосах, стоял ее Юзё и, как бы недоумевая о том, что вокруг него делалось, поднимал и опускал свои могучие плечи. Трезорка, не зная того, что он был причиной всего несчастья, ощетинившись, бесполезно озлобленно лаял на полицмейстера. Увидав Альбину, Мигурский вздрогнул, хотел подойти к ней, но солдаты удержали его.

— Ничего, Альбина, ничего! — проговорил Мигурский, улыбаясь своей кроткой улыбкой.

— А вот и барынька сама! — проговорил полицмейстер.— Пожалуйте сюда. Гробы ваших младенцев? А? — сказал он, подмигивая на Мигурского.

Альбина не отвечала и только, схватившись за грудь, раскрыв рот, с ужасом смотрела на мужа.

Как это бывает в предсмертные и вообще решительные в жизни минуты, она в одно мгновение перечувствовала и передумала бездну чувств и мыслей и вместе с тем не понимала еще, не верила своему несчастью. Первое чувство было знакомое ей давно — чувство оскорбленной гордости при виде ее героя-мужа, униженного перед теми грубыми, дикими людьми, которые держали его теперь в своей власти. «Как смеют они держать *его,* этого лучшего из всех людей, в своей власти?» Другое чувство, одновременно с этим охватившее ее, было сознание совершившегося несчастия. Сознание же несчастия вызвало в ней воспоминание о главном несчастье ее жизни, о смерти детей. И сейчас же возник вопрос: за что? за что отняты дети? Вопрос же: за что отняты дети? вызвал вопрос: за что теперь гибнет, мучается любимый, лучший из людей, ее муж? И тут же она вспомнила о том, какое ждет его позорное наказание, и то, что она, она одна виновата в этом.

— Кто он вам? Муж он вам? — повторил полицмейстер.

— За что, за что? — вскрикнула она и, закатившись истерическим хохотом, упала на снятый теперь с козел и стоявший у тарантаса ящик. Вся трясущаяся от рыданий, с залитым слезами лицом Лудвика подошла к ней.

— Паненка, милая паненка! Як бога кохам, ничего не будет, ничего,— говорила она, бессмысленно водя по ней руками.

На Мигурского надели наручники и повели со двора. Увидав это, Альбина побежала за ним.

— Прости, прости меня,— говорила она.— Все я! Я одна виновата.

— Там разберут, кто виноват. И до вас дело дойдет,— сказал полицмейстер и рукою отстранил ее.

Мигурского повели к переправе, и Альбина, сама не зная, зачем она делала это, шла за ним и не слушала уговаривающую ее Лудвику.

Казак Данило Лифанов во все это время стоял у колес тарантаса и мрачно взглядывал то на полицмейстера, то на Альбину, то себе на ноги.

Когда Мигурского увели, оставшийся один Трезорка, махая хвостиком, стал ласкаться к нему. Он привык к нему во время дороги. Казак вдруг отслонился от тарантаса, сорвал с себя шапку, швырнул ее изо всех сил наземь, откинул ногой от себя Трезорку и пошел в харчевню. В харчевне он потребовал водки и пил день и ночь, пропил все, что было у него и на нем, и только на другую ночь, проснувшись в канаве, перестал думать о мучившем его вопросе: хорошо ли он сделал, донеся начальству о полячкином муже в ящике?

Мигурского судили и приговорили за побег к прогнанию сквозь тысячу палок. Его родные и Ванда, имевшая связи в Петербурге, выхлопотали ему смягчение наказания, и его сослали на вечное поселение в Сибирь. Альбина поехала за ним.

Николай же Павлович радовался тому, что задавил гидру революции не только в Польше, но и во всей Европе, и гордился тем, что он не нарушил заветов русского самодержавия и для блага русского народа удержал Польшу во власти России. И люди в звездах и золоченых мундирах так восхваляли его за это, что он искренно верил, что он великий человек и что жизнь его была великим благом для человечества и особенно для русских людей, на развращение и одурение которых были бессознательно направлены все его силы.

1906

Настоящий том вместе с томами «Библиотеки всемирной литературы», включающими романы «Война и мир» (№ 113, 114) и «Анна Каренина» (№ 115), представляют читателю лучшие произведения Льва Толстого, созданные на разных этапах его творческого пути.

Повести и рассказы расположены в хронологическом порядке и датируются временем их завершения. Ссылки на Полное (юбилейное) собрание сочинений Л. Н. Толстого в девяноста томах даются в сокращении: указываются том и страница.

Тексты печатаются по изданию: Л. Н. Толстой, Собрание сочинений в двадцати томах, издательство «Художественная литература». М., 1960—1965.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Сюжет романа был подсказан Толстому в июне 1887 г. Анатолием Федоровичем Кони (1844—1927), гостившим в Ясной Поляне. Кони рассказал Толстому случай из своей судебной практики (см. вступит. статью, с. 14). Об истинной подоплеке этой трагической истории Кони узнал лишь через три месяца после смерти Розалии Они. Она была дочерью вдовца-чухонца, который пристроил ее в богатый дом, где она до 16 лет содержалась в девичьей, «покуда на нее не обратил внимание только что окончивший курс в одном из высших привилегированных заведений молодой человек — родственник хозяйки... Гостя у нее на даче, он соблазнил несчастную девочку, а когда сказались последствия соблазна, возмущенная дама выгнала с негодованием вон... не родственника, как бы следовало, а Розалию. Брошенная затем своим соблазнителем, она родила, сунула ребенка в воспитательный дом и стала спускаться со ступеньки на ступеньку, покуда, наконец, не очутилась в притоне около Сенной. А молодой человек... переселился в Петербург и тут вступил в общую колею деловой и умственной жизни. И вот в один прекрасный день судьба послала ему быть присяжным в окружном суде, и в несчастной проститутке, обвиняемой в краже, он узнал жертву своей молодой и эгоистической страсти» (А. Ф. Кони. Собр. соч. в восьми томах, т. 6. М., 1968, с. 478). История эта произвела большое впечатление на Толстого, который посоветовал Кони написать рассказ на этот сюжет, но изложить события в хронологическом порядке. В апреле 1888 г. Толстой поинтересовался, начал ли Кони писать рассказ,— «а если нет, то

отдаст ли он мне тему этого рассказа. Очень хороша и нужна» (т. 33, с. 331). А. Ф. Кони тут же уступил Толстому сюжет «с горячею просьбою не покидать этой мысли» (там же).

Работе над «Воскресением» Толстой отдал десять лет жизни и создал *шесть* его редакций.

К «Коневской повести» Толстой приступил в декабре 1889 г. и работал с перерывами около полугода — до июня 1890 г., причем писал в хронологическом порядке,— как рекомендовал Кони, то есть с приезда героя. (первоначально звавшегося Валерьяном Юшкиным) к своим тетушкам и встречи его с Катюшей. Отрывок кончался появлением Юшкина в зале суда.

Прервав на этом работу, 18 июня 1890 г. Толстой записал в дневнике: «Надо Коневскую начать с сессии суда ...Надо тут же выказать всю бессмыслицу суда... *Надо начать с заседания. И тут же юридическая ложь и потребность его правдивости*» (т. 33, с. 335).

15 декабря 1890 г. Толстой начал повесть заново,— не по хронологии, а со встречи Нехлюдова с Катюшей в суде, то есть так, как эту историю узнал и передал ему А. Ф. Кони. Название «Воскресение», которое Толстой дал повести, а также характеристика Нехлюдова, как человека глубоко неудовлетворенного и крайне опустошенного, свидетельствовали о том, что замысел Толстого стал углубляться и приобретать бо́льшую нравственную и обличительную силу.

Однако, написав всего несколько страниц, Толстой, занятый главным образом публицистикой (статьями о голоде, о вегетарианстве, книгой «Царство божие внутри вас»), отложил «Воскресение» на несколько лет.

11 апреля 1895 г. он посетил Московский окружной суд и сделал в записной книжке пространную запись о порядке судебной процедуры: «Вход подсудимых. Вход присяжных. Вход суда. Перекличка. Речь попа. Присяга. Речь председателя» и т. д. (т. 53, с. 245). В мае 1895 г. Толстой записал в дневнике: «...уяснил себе Нехлюдова... Он должен был желать жениться и опроститься». В июне замысел еще более проясняется: «...уяснилось важное для Коневской: именно двойственность настроения — два человека: один робкий, совершенствующийся, одинокий, робкий реформатор, и другой поклонник предания, живущий по инерции и поэтизирующий ее». В повести,— писал Толстой,— «будут два предела истинной любви с серединой ложной». «Только та и любовь, которая не получает награды: Нехлюдов бьется о том, чтобы она поняла свое положение и его. И — награда» (т. 53, с. 34, 35, 252). В июле Толстой, со слов Н. В. Давыдова, близкого знакомого семьи, прокурора Тульского окружного суда, делает подробную запись судебного заседания по уголовному отделению. Таким образом, работа идет по двум направлениям: все более углубленного и напряженного обдумывания «нравственного идеала» произведения и — скрупулезного следования фактическим подробностям.

В результате к июлю 1895 г., то есть менее чем за три месяца, Толстым была создана *первая* (завершенная) *редакция* «Воскресения» — около четы-

рех авторских листов. В ней Нехлюдов, убежденный в «преступности землевладения» и нравственно возрожденный по сравнению с тем временем, когда соблазнил Катюшу, после ее осуждения женится на ней и едет за нею в Сибирь; она много читает и учится; деятельность Нехлюдова, связанная с земельным вопросом, вызывает недовольство правительства; он бежит с женой за границу и поселяется в Лондоне, где усердно работает «в деле уяснения и распространения идеи единой подати».

Это был, в сущности, лишь конспект грандиозного замысла. В августе 1895 г. Толстой прочитал написанное в Ясной Поляне небольшому кругу людей; среди них были С. И. Танеев, А. П. Чехов, Н. Н. Страхов и др. Танеев справедливо нашел «натянутым» конец повести; по мнению Страхова, «лицо Нехлюдова остается бледным и совершенно общим» (т. 33, с. 346). Сам Толстой лучше всех понимал несовершенство своего произведения. «Я очень недоволен им теперь и хочу или бросить или переделать»,— записывает он 7 сентября 1895 г. А в октябре заносит в дневник: «Брался за «Воскресение» и убедился, что это все скверно, что центр тяжести не там, где должен быть, что земельный вопрос развлекает, ослабляет то́ и сам выйдет слабо. Думаю, что брошу. И если буду писать, то начну все сначала». При этом Толстой продолжает все же переделывать повесть, хотя работает с напряжением и неудовлетворением. В течение второй половины 1895 — начала 1896 г. он создает *вторую* ее *редакцию,* с добавлением новых действующих лиц и психологических подробностей, однако с тем же концом, что и в первой редакции. 5 ноября он записывает: «Сейчас ходил гулять и ясно понял, отчего у меня не идет «Воскресенье». Ложно начато... Надо начать с *нее*» (т. 53, с. 51, 62, 69).

Но не только недовольством собой объясняется такая трудность работы Толстого. «Нынче вечером решил,— пишет он осенью 1895 г.— ...что не могу писать с увлечением для господ — их ничем не проберешь: у них и философия, и богословие, и эстетика, которыми они, как латами, защищены от всякой истины, требующей следования ей». В октябре того же года: «...противно писать для этой никуда, ни на что не годной паразитской интеллигенции, от которой никогда ничего, кроме суеты, не было и не будет» (т. 33, с. 348). Кроме того, Толстым владела мысль, что недопустимо тратить время на «писание художественного», в то время как надо успеть возможно больше внушить людям истины и нравственности. «Жить остается на коротке, а сказать страшно хочется так много. Хочется сказать и про то, во что мы можем, должны, не можем не верить, и про жестокость обмана, которому подвергают сами себя люди — обман экономический, политический, религиозный, и про соблазн одурения себя — вина, и считающегося столь невинным табака, и про брак, и про воспитанье. И про ужасы самодержавия. Все назрело и хочется сказать» (т. 53, с. 67).

С февраля 1896 по июль 1898 г.— снова перерыв в работе над «Воскресением». В это время Толстой работал над «Отцом Сергием», «Хаджи-Муратом», трактатом «Что такое искусство?» и другими произведениями. Но под-

спудная мысль о «Воскресении» не покидала его. В январе 1897 г. он записал в дневнике: «Начал перепечатывать «Воскресенье» и, дойдя до *его* решения жениться, с отвращением бросил. Все неверно, выдумано, слабо. Трудно исправлять испорченное. Для того, чтобы поправить, нужно: ...попеременно описывать ее и его чувства и жизнь. И положительно и серьезно ее, и отрицательно и с усмешкой его. Едва ли кончу. Очень все испорчено» (т. 53, с. 129). Однако вскоре после этого Толстой выписывает в записную книжку вопросы, которые ему надлежит выяснить для «Воскресения»: «Вход в Сенат. Где дожидаются. Где приходят сенаторы. Их мундир? Обер-прокурор, секретарь где сидят?.. Обсуживают ли вслух в Сенате? Много ли всех сенаторов? Грязные истории сенаторов. Приемная Победоносцева. Канцелярия Синода. Выход партии из острога. Какие телеги везут? Сколько в партии выходит? 300, 800. В каком порядке идут?.. Какие рубахи у женщин?.. Последствия брака каторжной» (т. 53, с. 300).

Толчком к возобновлению работы летом 1898 г. послужило горячее желание Толстого помочь переселиться в Канаду сектантам-духоборам, преследуемым русским правительством за отказ нести военную службу. Вопреки давнему обычаю не брать гонорара за свои произведения, он решил «продать на самых выгодных условиях» в России и за границей «Воскресение» и «Отца Сергия». В июле — августе 1898 г. Толстой коренным образом переработал «Воскресение» и создал его *третью редакцию,* по объему гораздо больше первых двух.

Здесь появилось подробное сатирическое описание богослужения, близкое к окончательному тексту. «Попеременное», как хотел Толстой, описание чувств и жизни Нехлюдова и Катюши не получилось. Подробно обрисован только он,— притом не «отрицательно» и не «с усмешкой», а с большой силой психологического проникновения. «Нельзя было думать и помнить о своем грехе и быть самодовольным. А ему надо было быть самодовольным, чтобы жить, и потому он не думал, забыл»,— записывает Толстой в дневнике (т. 53, с. 209). Писатель вкладывает в Нехлюдова стремление «совершенствоваться в любви. ... Любовь же не в исключительных привязанностях, а в добром, не злом отношении ко всякому живому существу» (т. 53, с. 172). Нехлюдов входит в интересы заключенных (правда, только уголовных), хлопочет о них. Образ Катюши психологически разработан очень мало; она отказывается выйти замуж за Нехлюдова и выходит в Сибири за «политического». У Нехлюдова же, расставшегося с Катюшей, стала потухать вспышка нравственного подъема, и он сделался опять самодовольным, изнеженным человеком, каким был в молодости. Вопрос о том, что победит впоследствии в Нехлюдове — новый «нравственный толчок» или «паутина» жизни,— Толстой оставлял открытым.

Написанное опять не удовлетворило Толстого; без всякого перерыва он начал новую редакцию повести, которая росла «не по дням, а по часам».

Торопясь поскорее издать «Воскресение», Толстой вел переговоры с русскими издателями и еще в сентябре 1898 г. послал начальные главы в Англию

для опубликования на русском и в переводе. В октябре 1898 г. он заключил соглашение с издателем журнала «Нива» А. Ф. Марксом о печатании «Воскресения» в «Ниве» по тысяче рублей за лист и получил аванс в двенадцать тысяч, который отдал на переселение духоборов. По предложению А. Ф. Маркса «Воскресение» стало именоваться не повестью, а романом. Для того чтобы другие журналы и газеты пиратски не перехватили роман Толстого, сотрудники «Нивы» прибегли к хитрости: первая страница рукописи была переписана заново и на ней поставлено заглавие: «Ожидание. Повесть В. Короленко».

В ноябре 1898 г. стали приходить корректуры. *Четвертая редакция* «Воскресения» создавалась, вплоть до середины января 1899 г., в основном в непрерывных исправлениях и переделках Толстым корректур, присылавшихся «Нивой» в том количестве, которое было ему необходимо.

По-прежнему Толстой стремился к максимальной точности в фактах. Осенью 1898 г. по его просьбе в Ясную Поляну приехал молодой юрист А. А. Цуриков, приятель его сына Сергея Львовича, чтобы проверить верность некоторых фактических подробностей в романе. Цуриков вспоминал о своем приезде: «Прямо припялся за чтение черновиков повести «Воскресение». Старик все подходил, смотрел, где я читаю, какое место. Просил прямо в тексте делать поправки, подчеркивать и надписывать. Крупные ошибки в статье закона: обвинение должно быть по 4 и 5 пп. 1453 ст. Уложения, вопросы по этим признакам преступления, а у него отдельно кража денег и отдельно отравление и в обвинительном акте, и в вопросах присяжным, и в их прениях в совещательной комнате, и в их ответах. Пришлось переделать. ... Одежду арестантки пришлось изменить. Светлую заутреню — также. Слова церковных песнопений неточно были переданы, как например, «Радуйтеся людие» вместо «Людие веселитеся» и т. д. Третьей части еще не читал и обещал вернуться в Ясную на этих днях, дочесть и написать обвинительный акт... Надо было некоторые места вычеркнуть, как напр., что председатель на другой день не разъяснил присяжным их обязанностей. (Между тем как этот закон обнародован в 90-х годах, а дело слушается в 80-х, и т. п. подробности.) Очень был ласков и любовен. Много рассказывал, много спорил, так и сыпал ослепительными молниями» (С. Л. Толстой. Очерки былого. М., 1956, с. 194—195). Тою же осенью (1898 г.) Толстой ездил смотреть орловскую тюрьму, собирая сведения о быте и режиме заключенных для описания условий, в которых содержалась Маслова.

С увеличением размеров романа, с прибавлением действующих лиц и отдельных сцен усиливалось социально-политическое его звучание. Так, в четвертой редакции возникла фигура Топорова, прототипом которого послужил ненавидимый Толстым обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев (1827—1907). Образ Топорова Толстой создал под непосредственным впечатлением рассказа и записи в дневнике своей дочери Татьяны Львовны, ездившей в феврале 1898 г. на прием к Победоносцеву хлопотать о преследуемых правительством сектантах. «Отвратительным, бессердечным, бессо-

вестным ... злодеем ... человеком отсталым, хитрым, упрямым и жестоким» называл Толстой Победоносцева (т. 72, с. 516, 519). В четвертой редакции появляются политические заключенные, с которыми Маслова знакомится (в отличие от окончательной редакции) еще до отправки в Сибирь и которые влияют на ее нравственное перерождение. В роман введено множество новых эпизодов, связанных с «воскресением» Нехлюдова; в частности, поездка его в Петербург и хлопоты о сектантах, встреча с разными лицами. Это описание имело автобиографическую подоплеку: хлопоты самого Толстого в 1897 г. о самарских молоканах, у которых властями были отняты дети во избежание пагубного влияния на них родительской веры. Почти каждое из новых действующих лиц романа имело свой прототип. Например, образ Марии Павловны подсказан был Толстому письмами сосланной на каторгу революционерки Н. А. Армфельд. Образ Крыльцова (в четвертой редакции — Семенова) внушен был личностью Л. А. Дмоховского, приговоренного в 70-е гг. к каторжным работам за распространение революционных прокламаций. Прототипом графини Чарской послужила графиня Е. И. Шувалова, которую знал Толстой; прообразом проповедника Кизеветера — доктор Бедекер, живший в Англии и выступавший со своими проповедями в Петербурге и в сибирских тюрьмах. Образ барона Кригсмута навеян встречей Толстого в 80-е гг. с комендантом Петропавловской крепости бароном Е. И. фон Майделем.

Сюжет четвертой редакции развивается так же, как и сюжет третьей. Катюша категорически отказывается выйти замуж за Нехлюдова и выходит за «политического» по фамилии Вильгельмсон (будущий Симонсон). Нехлюдов уезжает в Москву и работает над книгой об уголовном законе; жизнь постепенно затягивает его в свою «паутину», и нравственное будущее его оказывается под вопросом.

С середины января по 17 декабря 1899 г., в непрерывном труде над корректурами, Толстой создал еще две редакции романа. Если для первых двадцати восьми глав потребовался новый набор, то начиная с главы XXIX, новых наборов бывало по три, по четыре и более, так как некоторые куски текста заново переписывались. Записей в дневниках, подобных тем, что делались Толстым в 1889—1895 гг., где отражены его сомнения, колебания и размышления — как и на чем сделать упор, теперь встречается все меньше. Новые сведения и факты он, не колеблясь, вставлял в роман: каждая подробность о ссыльных, гонимых и арестованных лишь подкрепляла твердо устоявшуюся в сознании писателя идею произведения. За два месяца до окончания романа Толстой в дневнике записывает мысль, обусловившую «воскресение» Нехлюдова: «Война, суды, казни, угнетение рабочих, проституция и многое другое— все это необходимое, неизбежное последствие и условие того языческого строя жизни, в котором мы живем, и изменить что-либо одно или многое из этого невозможно.— Что же делать? Изменять самый строй этой жизни, то, на чем он стоит. Чем? Тем, чтобы, во-первых, не участвовать в этом строе, в том, что поддерживает его: в военщине, в судах, податях, ложном учении и т. п., и, во-вторых, делать то, в чем одном

человек всегда совершенно свободен: в душе своей заменить себялюбие и все, что вытекает из него — злобу, корысть, насилие и пр.— любовью и всем тем, что вытекает из нее: разумностью, смирением, милосердием и пр. Как колеса машины нельзя повернуть силой, они все связаны с шестернями и другими колесами, а пустить или не пустить пар, который задвигает их, легко, так точно страшно трудно изменить самые внешние условия жизни, но быть добрым или злым легко. А это: быть добрым или злым — изменяет все внешние условия жизни» (т. 53, с. 230—231).

Пятая редакция «Воскресения» представляет собою окончательно исправленную корректуру первых двадцати восьми глав и лишь начерно исправленные остальные. В ней Толстому пришлось изменить последовательность событий и перенести знакомство Масловой с политическими в Сибирь, так как в тюрьме это знакомство не могло состояться ввиду запрета общения уголовных с политическими. Обо всем этом Толстой узнал лишь в январе 1899 г. от надзирателя Бутырской тюрьмы в Москве И. М. Виноградова, с которым неоднократно встречался и со слов которого записал некоторые подробности тюремного быта. Летом 1899 г. Толстой встретился с надзирателем Тульской тюрьмы и узнал от него правила свиданий с заключенными и обстановку свиданий. В пятой редакции появилась Вера Богодуховская как действующее лицо; в последней главе был подробно описан быт уголовных арестантов. В эпилоге Нехлюдов узнает от Катюши о ее решении выйти замуж за Вильгельмсона; о дальнейшей судьбе всех троих не сказано ничего.

Последняя, *шестая редакция* романа представляет собою двадцать восемь глав, соответствующие пятой редакции, и остальные, дополненные и исправленные окончательно. Теперь роман поделен на три части. Более подробно и углубленно описаны переживания Нехлюдова; дополнены характеристики Крыльцова, Симонсона; появились образы Кондратьева, Новодворова. Написана XXI глава третьей части: сцена на пароме со стариком сектантом. Прообразом его послужил Андрей Васильевич Власов, принадлежавший к секте «бегунов». За отказ от «всякого земного общества и от всех религиозных убеждений, от имени, отчества и фамилии», за непризнавание никаких властей Власов привлекался к суду. В 1899 г. он познакомился с произведениями Толстого и написал ему большое письмо, в котором рассказал о своем миропонимании, о том, что «здравый ум и чистая совесть никому худа не делает» и что он «сам себе царь». Не зная лично Власова, Толстой воспользовался его письмом. В 1908 г. он напечатал XXI главу в «Круге чтения» под названием «Свободный человек».

Для работы над пятой и шестой редакциями «Воскресения» Толстой знакомился с книгами, в которых был описан быт заключенных в сибирских тюрьмах, в частности, с книгой Н. М. Ядринцева «Русская община в тюрьме и ссылке», СПб., 1872, Л. Мельшина (П. Ф. Якубовича) «В мире отверженных», СПб., 1896. Много сведений почерпнул Толстой из книги Джорджа Кеннана «Сибирь», Лондон, 1891.

«Воскресение» с иллюстрациями Л. О. Пастернака печаталось в 1899 г. в «Ниве». Задержка некоторых номеров была сознательной,— иначе «Нива» опередила бы заграничные публикации. Перерыв же в последних номерах объяснялся тем, что третью часть «Воскресения» Толстой, в сущности, написал заново; по договоренности с А. Ф. Марксом печатание ее было отложено на десять номеров.

Почти сразу же вслед за появлением глав «Воскресения» в «Ниве», несмотря на опубликованное в одиннадцатом номере журнала предупреждение редакции, запрещающее перепечатку романа Толстого, некоторыми газетами были все же предприняты эти «пиратские» перепечатки. В результате подписчики газет получали текст «Воскресения» раньше, чем подписчики «Нивы». По просьбе А. Ф. Маркса Толстой обратился в редакции газет с письмом, в котором просил прекратить перепечатки.

«Воскресение» было опубликовано в «Ниве» с многочисленными цензурными искажениями. Предвидя вмешательство цензуры и торопясь издать роман, Толстой в письме к А. Ф. Марксу от 7 ноября 1898 г. писал: «В повести есть много мест нецензурных, и чем дальше я над ней работаю, тем этих нецензурных мест становится больше. Но это не должно препятствовать помещению повести в «Ниве». Для этого нужно поручить просмотр повести литератору, знающему требования цензуры, с тем чтобы этот литератор-редактор исключил все те места, которые он считает совсем нецензурными, и изменял сомнительные места так, чтобы они не представляли препятствий в цензурном отношении» (т. 33, с. 399). «Чистка» романа осуществлялась редактором «Нивы» Р. И. Сементковским, который превысил свои права до такой степени, что не стеснялся даже редактировать Толстого, исправлять его стиль; одних лишь чисто редакционных «поправок» Сементковского в «нивском» тексте насчитывается свыше тысячи. Помимо него, роман просматривала и официальная цензура; в результате в тексте «Воскресения» оказалось более пятисот цензурных искажений и пропусков. Целиком выпущены главы XXXIX и XL в первой части (от описания богослужения в тюремной церкви остались лишь слова: «Началось богослужение»). Исключены из «нивского» текста также главы XXVII второй части (визит Нехлюдова к Топорову), глава VI третьей части (рассказ Крыльцова о казни Лозинского и Розовского), глава XIX (размышления Нехлюдова об ужасах тюремной системы) и др. Цензура исключала все, что прямо или косвенно задевало авторитет русских официальных властей, светских и церковных. В интересах «благопристойности» были вычеркнуты такие слова, как «проститутка», «дома терпимости», «испражнения», а слово «соблазнил» заменено словами «обманул», «увлек» и т. п. Цензурой были изъяты также две иллюстрации Пастернака к третьей части: политические на этапе и раздача англичанином Евангелий в камере каторжных.

С теми же цензурными искажениями и пропусками «Воскресение» было перепечатано в двух изданиях Маркса — с иллюстрациями Пастернака и неиллюстрированном, вышедших следом за «Нивой».

Всю работу, связанную с изданием «Воскресения» за границей, с переводами его на французский, немецкий и английский, с пересылкой частями, по мере его подготовки, русского оригинала на места, взял на себя друг и последователь Толстого В. Г. Чертков (1854—1936), живший в Англии и осуществлявший к тому же публикацию «Воскресения» на русском языке в возглавляемом им издании «Свободное слово» в Лондоне. Черткову высылались из России рукописи романа, а после первых шестидесяти глав — исправленные гранки; он же организовывал переписку текста и отправлял его переводчикам. Согласно договору Черткова с иностранными издателями, печатание романа Толстого в России и за границей должно было происходить одновременно, что осуществить было, конечно, невозможно. Возникла также и живо волновавшая всех издателей проблема максимальной достоверности и полноты текста, который, во-первых, заключал бы в себе самые последние поправки Толстого, а во-вторых, не был бы искажен цензурой. Отсюда — конфликты между А. Ф. Марксом и В. Г. Чертковым, между Чертковым и иностранными издателями и волнение Толстого, уже начавшего раскаиваться, что он затеял это «денежное дело». Роман вышел за границей с неизбежными искажениями и пропусками. В 1899—1900 гг. «Воскресение» было издано во Франции (более десяти раз), в Англии, в Германии и в Америке.

В июле 1904 г., предполагая писать «Нехлюдова деревенского», Толстой записал в дневнике: «Захотелось написать 2-ю часть Нехлюдова. Его работа, усталость, просыпающееся барство, соблазн женский, падение, ошибка, и всё на фоне Робинзоновской общины» (т. 55, с. 66). Замысел осуществлен не был.

Стр. 30. *«Revue de deux Mondes»* — французский литературно-художественный и общественно-публицистический журнал.

Стр. 33. *Спенсер Герберт* (1820—1903) — английский социолог, с трудами которого был знаком Толстой. «Social statics» («Социальная статика», 1850) — одна из наиболее популярных книг Спенсера, в которой доказывается несправедливость земельной собственности; эту мысль Толстой разделял.

Джордж Генри (1839—1897) — американский общественный деятель и экономист. В трудах «Прогресс и бедность», «Великая общественная форма» и др. развивал теорию Г. Спенсера, изложенную в «Социальной статике». «Можно себе представить по проекту Генри Джорджа освобождение земли от права личной собственности и потому уничтожение первой из причин, загоняющих людей в рабство»,— писал Толстой (т. 34, с. 170).

Стр. 44. *...со времени открытия судов* — то есть с 1864 г., когда, согласно судебной реформе, были введены суды присяжных и, следовательно, гласность разбирательства уголовных дел.

Стр. 82. *Ломброзо* Чезаре (1835—1909) — итальянский криминалист, видевший причину преступности не в социальных условиях, а во врожденных свойствах личности.

Стр. 82. *Тард* Габриэль (1843—1904) — французский социолог и криминалист.

Шарко Жан (1825—1893) — французский невропатолог и гипнотизер.

Стр. 171. *Клементи* Муцио (1752—1832) — итальянский пианист и композитор, этюды которого входили в программу обучения пианистов.

Стр. 236. *Говард* Джон (1826—1890) — английский филантроп, ратовавший за смягчение тюремного режима.

Стр. 238. *Первого марта* 1881 года народовольцы убили Александра II.

Стр. 259. *Диффамация* — разглашение в печати порочащих сведений.

Стр. 267. *Вольтер* Франсуа Мари Аруэ (1694—1778) — великий французский просветитель; *Шопенгауэр* Артур (1788—1860) — немецкий философ-идеалист; *Конт* Огюст (1798—1857) — французский философ-позитивист; *Гегель* Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий философ-диалектик; *Вине* Александр — швейцарский богослов; *Хомяков* А. С. (1804—1860) — русский писатель-славянофил.

Стр. 280. *...насильно признанных к православию униатов.*— В 1596 г., после захвата Польшей (называемой тогда Речью Посполитой) западных окраин русских земель, произошло объединение (уния) католических и православных церквей. После раздела Польши в 1839 г. на территории Украины и Белоруссии, отошедшей к России, господствующей религией снова стало православие, которое насильственно насаждалось среди бывших униатов.

Стр. 283. *«Dame aux camélias»* («Дама с камелиями») — драма по одноименному роману французского писателя Александра Дюма-сына (1824—1895).

Стр. 286. *Слова... Торо...*— Из статьи «О гражданском неповиновении» американского писателя Генри Торо (1817—1862), выступавшего против буржуазного государства и рабства.

Стр. 294. *Гарофало* Рафаэле, *Ферри* Энрико — итальянские криминалисты, последователи Ломброзо; *Лист* Фридрих (1789—1846) — немецкий экономист; *Маудслей* (1835—1918) — английский психолог.

Стр. 304. *Пенитенциарная система* — система, определяющая меру наказания и тюремный режим.

Стр. 307. *Общественники* — арестанты, осужденные по приговору крестьянского «общества», «мира».

Стр. 339. *...он избил не покорившегося сразу арестанта.*— По признанию Толстого, этот факт он взял из очерка «По этапу» Д. А. Линева (псевдоним Далин, 1853—1920), беллетриста и публициста.

Стр. 364. *...Бог был для него, как и для Араго, гипотезой, в которой он не встречал надобности.*— В дневнике от 4 мая 1905 г. Толстой записал: «Кто-то, математик, сказал Наполеону о Боге: «я никогда не нуждался в этой гипотезе». Толстой приписал эти слова французскому физику Доминику Араго (1786—1853), в то время как «гипотеза» относительно существования бога приписывается обычно французскому математику и астроному Пьеру Лапласу (1749—1827).

Стр. 378. *...Герцен говорил...* — В «Письме к императору Александру II (по поводу книги барона Корфа)» (А. И. Герцен. Собр. соч. в тридцати томах, т. VIII, М., 1958, с. 42).

Стр. 396. *Тонкинская экспедиция* — колониальная война, которую вела Франция в Тонкине — провинции Индокитая — в 1882—1898 гг.

Гладстон Вильям (1809—1898) — английский политический деятель.

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ

Рассказ написан во время пребывания Толстого в осажденном Севастополе. Толстой прибыл туда 7 ноября 1854 г. и был прикомандирован к легкой батарее артиллерийской бригады. В то время он был полон напряженных духовных исканий, стремлением к собственному совершенствованию, поисков истины и справедливости, писал «Юность», обдумывал «Роман русского помещика». В армии его поразил контраст условий, в которых содержались русские крепостные солдаты и солдаты союзников (англичане, французы). «Грустное положение — и войска, и государства,— записывает Толстой в дневник 23 ноября.— Я часа два провел, болтая с ранеными французами и англичанами. Каждый солдат горд своим положением и ценит себя; ибо чувствует себя действительной пружиной в войске. Хорошее оружие, искусство действовать им, молодость, общие понятия о политике и искусствах дают ему сознание своего достоинства. У нас бессмысленные ученья о нóсках и хватках, бесполезное оружие, забитость, старость, необразование, дурное содержание и пища убивают внимание, последнюю искру гордости и даже дают им слишком высокое понятие о враге» (т. 47, с. 31). Толстым за время пребывания в Севастополе было составлено несколько записок о переформировании войск, в которых он обличал крепостническую армию Николая I. Совместно с другими офицерами он задумал издание прогрессивного военного журнала «Солдатский вестник» или «Военный листок». Однако это издание было правительством запрещено, а офицерам предложено направлять свои труды в «Русский инвалид». Тогда Толстой решил посылать свои очерки о Севастопольской обороне Некрасову в «Современник».

Работа над очерками о Севастополе началась после участия Толстого (с 10 на 11 марта 1855 г.) в одной из вылазок. К 27 марта у него было написано начало произведения под названием «Севастополь днем и ночью». Полтора месяца, до 15 мая 1855 г., Толстой нес службу на знаменитом Четвертом бастионе. «Держимся мы не только хорошо, но так, что защита эта должна очевидно доказать неприятелю невозможность когда бы то ни было взять Севастополь»,— записал он в дневнике 2 апреля 1855 г. (т. 47, с. 41). 12 апреля Толстой сделал такую запись: «Нынче окончил «Севастополь днем и ночью». ... Постоянная прелесть опасности, наблюдения над сол-

датами, с которыми живу, моряками и самим образом войны так приятны, что мне не хочется уходить отсюда, тем более, что хотелось бы быть при штурме, ежели он будет» (т. 47, с. 42).

25 апреля 1855 г., окончательно исправив «Севастополь днем и ночью» и назвав его «Севастополь в декабре месяце», Толстой отправил рассказ в Петербург.

Стр. 414. *Бон* — заграждение на воде, защищающее вход в гавань от неприятельских судов.

Корнилов В. А. (1806—1854) — знаменитый адмирал, погибший при обороне Севастополя.

Стр. 415. *Фурштатский солдат* — солдат из обозной части.

Стр. 419. *Дело двадцать четвертого...* — 24 октября 1854 г. в Инкерманском сражении, по вине нерадивого генерала Данненберга, русские войска потерпели жестокое поражение.

Альминское дело — сражение на реке Альме 8 сентября 1854 г., первое столкновение русских войск с союзниками.

Стр. 422. *...про бомбардированье пятого числа* — 5 октября 1854 г. первая бомбардировка Севастополя союзными войсками.

ДВА ГУСАРА

Рассказ, первоначально названный «Отец и сын», был написан за один месяц: с 12 марта по 11 апреля 1856 г., и «по совету Некрасова» назван «Два гусара» (т. 47, с. 68).

Прототипом главного героя, Турбина-отца, послужил двоюродный дядя Л. Н. Толстого Федор Иванович Толстой (1782—1846), которого писатель видел лишь однажды в детстве, но прекрасно знал по рассказам. Жизнь Ф. И. Толстого была причудлива и необычна. Человек бесшабашного права, с авантюристическими наклонностями, картежник и дуэлянт, он участвовал в 1803—1806 гг. в первом русском кругосветном плавании, возглавляемом Крузенштерном; за недостойное поведение был высажен на берег в районе Алеутских островов (за что получил прозвище «Американец») и через Сибирь вернулся в Петербург. «Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом, и крепко на руку не чист»,— писал о нем Грибоедов в «Горе от ума». Одно время Толстой-«Американец» был в дружеских отношениях с Пушкиным; после того как он распространил о поэте сплетню, Пушкин высмеял его в эпиграмме и в стихотворении «Чаадаеву», назвав «картежным вором». Л. Н. Толстой относился к своему двоюродному дядюшке более снисходительно. «Помню его прекрасное лицо, бронзовое, бритое, с густыми бакенбардами до углов рта, а также белые курчавые волосы,— вспоминал он.— Много хотелось бы рассказать про этого необыкновенного, преступного и привлекательного человека» (т. 3, с. 329).

Стр. 426. *Толстая* Мария Николаевна (1830—1912) — сестра Л. Н. Толстого.

Эпиграф — из «Песни старого гусара» Д. В. Давыдова, партизана и поэта (1784—1839). *Жомини* Генрих (1779—1869) — швейцарский стратег и военный писатель, участвовал в войнах Наполеона.

Мартинисты — от имени французского философа-мистика Сен-Мартена (1743—1803); разновидность масонства.

Тугендбунд (нем. Tugendbund) — «союз доблести» — патриотическое общество, созданное в Германии в 1803 г. для поддержания духа немцев во время наполеоновской оккупации Германии.

Милорадович М. А. (1771—1825) — генерал, участник войны 1812 г.

Стр. 427. *...Блюхера, огромную... собаку.*— Кличка дана собаке по имени знаменитого прусского фельдмаршала Блюхера (1742—1819), ненавидевшего Наполеона и прозванного за свою решительность Маршал-«Вперед».

Стр. 444. *«Восстание в серале»* — балет с участием знаменитой итальянской танцовщицы М. Тальони (1804—1884), поставленный в Москве в 1840 г.

УТРО ПОМЕЩИКА

Рассказ представляет собою первую часть задуманного Толстым «помещичьего» романа, который он мыслил «полезной и доброй книгой» и которому придавал большое социально-нравственное значение. Замысел этого произведения, первоначально названного «Романом русского помещика», возник в июле 1852 г., когда Толстой записал в дневнике: «Обдумываю план помещичьего романа с целью». «В романе своем я изложу зло правления русского... Основания романа русского помещика: *Герой ищет осуществления идеала счастия и справедливости в деревенском быту. Не находя его, он, разочарованный, хочет искать его в семейном. Друг его, она, наводит его на мысль, что счастие состоит не в идеале,* а в постоянном, жизненном труде, имеющем целью — счастие — других» (т. 46, с. 145, 137, 146). Толстой ставил себе четкую задачу, готовясь писать программную, «догматическую» (как он сам выразился) вещь. Он так увлекся идеей будущего романа о помещике, что записал в дневнике: «Решительно совестно мне заниматься такими глупостями, как мои рассказы, когда у меня начата такая чудная вещь, как Роман помещика. Зачем деньги, дурацкая литературная известность. Лучше с убеждением и увлечением писать хорошую и полезную вещь...» (т. 46, с. 152).

С 23 сентября по конец декабря 1852 г. был написан первый вариант «Утра помещика». В нем встречались прямолинейно-назидательные, «догматические» фразы, говорившие о заданной *цели* произведения, например: «Больно смотреть, как иностранные артисты, девки, магазинщики, художники за вещи, не имеющие никакой положительной ценности, получают через руки наших помещиков трудом и потом добытые кровные деньги русского народа и, самодовольно посмеиваясь, увозят их за море, к своим соотечественникам». Или слова, относящиеся к Давыдке Белому: «...но родись он в другой сфере, в которой беспрерывный тяжелый труд не есть сущест-

венная необходимость, кто знает, чем бы он был?.. Давыдку забили» (т. 4, с. 314, 349).

1 ноября 1853 г. Толстой сделал запись, говорившую о том, что он намеревался наделить героя автобиографическими чертами: «Бывают лица, к числу которых принадлежит и мое, и каким я хочу выставить героя романа русского помещика, которые чувствуют, что они должны казаться гордыми, и чем более стараются выказать на своем лице выражение равнодушия, тем более кажутся надменными» (т. 46, с. 190).

В декабре 1853 г. мысль романа еще более прояснилась, и 22 декабря Толстой написал «Предисловие не для читателя, а для автора», свидетельствующее о широте замысла. «Главное, основное чувство,— говорилось в «Предисловии»,— которое будет руководить меня в этом романе,— любовь к деревенской помещичьей жизни.— Сцены столичные, губернские и кавказские все должны быть проникнуты этим чувством — тоской по этой жизни. Но прелесть деревенской жизни, которую я хочу описать, состоит не в спокойствии, не в идиллических красотах, но в прямой цели, которую она представляет,— посвятить жизнь свою *добру*,— и в простоте, *ясности* ее. Главная мысль сочинения: счастие есть добродетель. ... Побочная мысль: как трудно делать добро и как его нужно делать...»

Главный герой — «человек добрый, благородный и восприимчивый, увлекающийся всем и до того пылкой, что даже добрые начала приносят вред ему».

По плану, которым завершалось «Предисловие», после обхода молодым помещиком деревни должна была развернуться картина его жизни, его любовь, непонимание теткой, его ошибочные стремления «найти мудрость в советах мужиков-стариков», ибо он соприкасается с ними лишь урывками, а не «в постоянном сожитии» (т. 4, с. 363—364).

Но свой «догматический» замысел Толстой осуществлять не стал, он лишь переделал немного первые главы, затем отложил работу над произведением. Лишь 1 августа 1855 г. он заносит в дневник: «Сегодня, разговаривая со Сталыпиным[1] о рабстве в России, мне еще ясней, чем прежде, пришла мысль сделать мои *4 эпохи истории русского помещика, и сам я буду этим героем в Хабаровке*. Главная мысль романа должна быть *невозможность жизни правильной помещика образованного нашего века с рабством*. Все нищеты его должны быть выставлены и средства исправить указаны» (т. 47, с. 58) (курсив мой.— *А. С.*).

В этих словах сливаются воедино два толстовских замысла. Первый — написать цикл автобиографических произведений, которые Толстой называл «Четыре эпохи развития», из которого было уже написано «Детство» и «Отрочество», оканчивалась «Юность» и обдумывалась «Молодость». Из приведенной записи видно, что Толстой решил «Молодость» и сделать романом

---

[1] А. Д. Столыпин (1821—1899) — участник Севастопольской обороны, приятель Толстого.

о молодом помещике, теперь уже не различая «догматическое» и «недогматическое» назначение его.

В 1856 г., приехав из Севастополя, он познакомился с издателем журнала «Отечественные записки» А. А. Краевским (1810—1889) и обещал дать ему в журнал написанное начало романа о русском помещике. В связи с этим он опять начал его обдумывать и летом 1856 года занес в записную книжку наброски дальнейшего его замысла: «Как ему сначала все показалось трудно, потом немного омерзительно, потом приятно, легко, вследствие будто одоленных трудностей, а потом невозможно» (т. 47, с. 182).

С 11 по 27 ноября 1856 г. Толстой лишь исправил написанное в 1852 и переделанное в 1854 г. и назвал произведение «Утром помещика». Все это время он думал о продолжении его; 18 ноября 1856 г. записал: «К роману русского помещика. Он мечтает о счастии семейном, жена в белом капоте, потом едет трепаться по Русской жизни» (т а м ж е, с. 199). И, спустя уже несколько месяцев после опубликования «Утра помещика», Толстым было записано: «Никакая мне мысль столько не улыбалась, как роман русской помещичьей жизни» (т а м ж е, с. 215). Однако «помещичьего» романа Толстой так и не написал.

В главе V рассказа Толстой изобразил А. И. Соболева, вольноотпущенного крестьянина, управляющего Ясной Поляной, горького пьяницу; в главе XIII вывел свою кормилицу, А. Н. Зябреву (ум. 1868), жену яснополянского крестьянина О. Н. Зябрева, приказчика и управляющего усадьбой Толстого, а также и его самого.

Стр. 477. *«Maison rustique»* — Толстой имеет в виду трактат французского ученого Ж.-А. Биксио (1808—1865) «Maison rustique du XIX siècle» («Ферма XIX столетия»), вышедший в свет в 1837 г.

Стр. 482. *Герардовские избы* — избы, построенные по типу, изобретенному сельским хозяином А. И. Герардом (ум. 1830).

Стр. 488. *Столовый запас* — податная повинность крепостных доставлять помещику корм для скота.

ТРИ СМЕРТИ

Рассказ был написан за несколько дней в январе 1858 г. Идею его Толстой истолковал в письме от 1 мая 1858 г. к своей тетке, А. А. Толстой (1817—1904). Возражая на то, что она смотрит на рассказ «с христианской точки зрения», Толстой писал: «Моя мысль была: три существа умерли — барыня, мужик и дерево.— Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. Зачем умирать, когда хочется жить? В обещания будущие христианства она верит воображением и умом, а все существо ее становится на дыбы, и другого успокоенья (кроме ложно-христианского) нету,— а место занято. Она гадка и жалка.

Мужик умирает спокойно, именно потому что он не христианин. Его религия другая, хотя он, по обычаю, и исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо, просто смотрел ему в глаза. ...Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красиво,— потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет.— Вот моя мысль...» (т. 60, с. 265—266).

ХОЛСТОМЕР

Главный «герой» этой повести имел своего реального «прототипа». Как вспоминает близкий знакомый семьи Толстых, орловский помещик и коннозаводчик А. А. Стахович, в начале пятидесятых гг. ему рассказывали о «необыкновенной резвости Холстомера, пробегавшего 200 сажен в 30 секунд, еще в начале восьмисотых годов в Москве на Шабловском бегу графа А. Г. Орлова-Чесменского» (т. 26, с. 663). Брат А. А. Стаховича, писатель М. А. Стахович, собирался написать о Холстомере повесть; смерть в 1858 г. помешала ему это сделать. В предполагавшейся повести должно было говориться о том, «как покупает Холстомера на Хреновском аукционе богач московский купец... потом переходит он к лихому гвардейцу времен императора Александра Павловича, который дарит знаменитого пегого столь же знаменитому Илье, главе цыганского хора. Возил «Холстомер» и цыганку Танюшу, восхищавшую своим пением А. С. Пушкина, потом попадает он к удалу молодцу-разбойничку, а под старость, уже разбитый жизнью — к сельскому попу, потом в борону мужика и умирает под табунщиком». Это и было рассказано Толстому. «В 1859 или в 1860 году ехал я с Львом Николаевичем на почтовых из Москвы в Ясную Поляну. Дорóгой рассказал я сюжет повести «Похождения пегого мерина», которую не успел дописать покойный брат, и мне показалось, что мой рассказ заинтересовал графа» (т. 26, с. 663, 664).

За «историю лошади» Толстой принялся в 1861 г.; работа шла довольно вяло; в 1863 г. он признавался, что «мерин не пишется, фальшиво». Тем не менее первая редакция повести, под названием «Хлыстомер», была в 1863 г. написана, однако не напечатана.

Лишь в 1885 г. Софья Андреевна, жена Толстого, предпринявшая пятое издание собрания его сочинений, включила повесть в третий том. За несколько недель Толстой переработал повесть и создал вторую ее редакцию. По сюжету она совпадает с первой (за исключением смерти Серпуховского,— в редакции 1863 г. он уезжает); однако в ней усилено обличительное звучание. Так, например, размышлениям Холстомера о преступной и несправедливой собственности у людей дана характерная для позднего Толстого философская окраска. Изменился образ Серпуховского. Если в первой редакции он — обаятельный и беспечный весельчак («кто счастлив, тот и прав»,— как записал Толстой в дневнике 1863 г.), то в ре-

дакции 1885 г. это уже ничтожный прожигатель жизни, нравственный урод. Его старость — грязна, а смерть — отвратительна, в противоположность жалкой, но трогательной старости и гибели Холстомера.

ОТЕЦ СЕРГИЙ

Произведение создавалось в два приема: в 1890—1891 гг. и в 1898 г. Впервые Толстой упомянул в дневнике о своем желании написать «историю жития» и «соблазнения», о том, что «рука сжигается пустынником», в феврале 1890 г. Весной 1890 г., обдумывая этот замысел, писатель посетил Оптину пустынь, откуда вынес отрицательное впечатление. Он записал в дневнике о монахах: «Горе их, что они живут чужим трудом. Это святые, воспитанные рабством» (т. 51, с. 23).

В 1890 г. Толстой сделал первый краткий набросок повести и послал его В. Г. Черткову, который все время побуждал его писать «житие». В этой первоначальной редакции бегло рассказывалось о судьбе Касатского, о его уходе в монастырь; оканчивалась она приездом веселящейся компании к келье отца Сергия. «Надо рассказать все, что было у него в душе,— записывает он в дневнике в октябре 1890 г.,— зачем и как он пошел в монахи. Большое самолюбие (Кузминский и Урусов), честолюбие и потребность безукоризненности» (т. 51, с. 98). Толстой упоминает А. М. Кузминского (1843—1917), мужа сестры С. А. Толстой, Т. А. Берс, а также своего друга, тульского вице-губернатора Л. Д. Урусова (ум. 1885), которых он хорошо знал и от которых взял некоторые черты для своего героя.

К началу 1891 г. Толстому стало ясно, что идейный упор повести должен быть сделан не на «соблазнении», как ему первоначально представлялось, а на борьбе с человеческим тщеславием. «Борьба с похотью тут эпизод, или скорее одна ступень; главная борьба с другим — с славой людской»,— пишет он Черткову 16 февраля 1891 г. (т. 87, с. 71). На прояснение идеи «Отца Сергия» оказала влияние работа Толстого над книгой «Царство божие внутри вас», которую он в то время вел. 10 июня 1891 г. Толстой сделал в дневнике важнейшую запись: «К Отцу Сергию. Он узнал, что значит полагаться на бога только тогда, когда совсем безвозвратно погиб в глазах людей (во второй редакции отец Сергий, согрешив с купеческой дочерью, убивает ее.— *А. С.*). Только тогда он узнал твердость, полную жизни. Явилось полное равнодушие к людям и их действиям. Его берут, судят, допрашивают, спасают,— ему все равно.— Два состояния: первое — славы людской — тревога, второе — преданность воле божьей, полное спокойствие» (т. 52, с. 39). Эта мысль сохранилась в последней редакции «Отца Сергия».

Спустя семь лет, 17 июля 1898 г., Толстой сделал запись, в которой отражена окончательная идея произведения: «К отцу Сергию. Один хорош — с людьми падает. Какое очевидное заблуждение: жить для целей земных... Нет успокоения ни тому, который живет для мирских целей среди людей, ни

тому, который живет для духовной цели один. Успокоение только тогда, когда человек живет для служения богу среди людей» (т. 53, с. 204).

В редакции 1898 г. Толстой развил повествование о невесте Касатского, убрал сцену убийства Марьи, ввел эпилог. Но все же он не отдал в печать «Отца Сергия», так как считал, что повесть доведена до той стадии, когда в ней все «связано и последовательно. Но хочется отделывать»,— как он писал в письме к Черткову от 31 августа 1902 г. (т. 88, с. 274). Этого намерения Толстой не осуществил. В. Г. Чертков издал «Отца Сергия» после смерти Толстого, в 1911 г.

Стр. 566. *Проскомидия* — первая часть православной литургии.

Стр. 568. *Канонарх* — дьякон.

Стр. 581. *Преполовение* — праздник между пасхой и троицей.

ХАДЖИ-МУРАТ

Хаджи-Мурат (ок. 1812—1852) — один из самых энергичных и бесстрашных борцов национально-освободительного движения на Кавказе, возглавляемого Шамилем (1798—1871), против колониальной политики русского правительства. Судьба и характер Хаджи-Мурата были исполнены сложнейших противоречий. Родился он в Аварии; в 1834 г. принял участие в убийстве Гамзат-бека (1789—1834), предводителя дагестанских горцев и предшественника Шамиля, мстя ему за убийство своего молочного брата. После этого Хаджи-Мурат был принят на службу в русскую армию с чином прапорщика и назначен правителем Аварии. Однако, по ошибочному подозрению в измене и в сношениях с Шамилем, он был арестован, бежал и в 1838 г. перешел к Шамилю, который сделал его своим наибом (наместником) в Аварии. В ноябре 1851 г. Хаджи-Мурат поссорился с Шамилем и перешел на сторону русских.

Обо всем этом, а также о приезде Хаджи-Мурата в Тифлис, Толстой, в то время также находившийся в Тифлисе, узнал из газет и назвал его поступок подлостью (т. 35, с. 583).

Желая спасти свою семью, оставшуюся в плену у Шамиля, Хаджи-Мурат в апреле 1852 г. бежал от русских и был убит. События последних месяцев жизни Хаджи-Мурата и легли в основу толстовской повести.

Работа над «Хаджи-Муратом» занимает совершенно особое место в творчестве Толстого. Эта «кавказская история» не оставляла воображение писателя, по его признанию, долгие годы. Создание этого небольшого произведения заняло (с перерывами) восемь лет. Не говоря о множестве устных и рукописных свидетельств и воспоминаний, о массе выписок, делавшихся по просьбе Толстого, а также материалов, которые собирались для него друзьями и близкими из архивов и библиотек, им самим было просмотрено свыше восьмидесяти печатных исторических источников и использовано из них около сорока. Уже написав повесть, но не переставая мысленно возвращаться к ней, Толстой не прекращал изуче-

ния исторических материалов. Рукопись «Хаджи-Мурата», которую он так и не считал отделанной до конца, он до последнего дня держал при себе, надеясь, по-видимому, вернуться к работе над нею.

За повесть Толстой принялся летом 1896 г. О том, что побудило его начать эту работу, говорит запись в дневнике от 19 июля 1896 г.: «Вчера иду по передвоенному черноземному пару. Пока глаз окинет — ничего кроме черной земли — ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст татарина (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, черный стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в серединке краснеется.— Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее» (т. 53, с. 99—100). Эта запись легла в основу пролога к повести, который Толстой сохранял на всех этапах работы над нею. 14 августа 1896 г. Толстой окончил *первый вариант* повести, которую назвал «Репей». Это — небольшой рассказ, повествующий о пребывании Хаджи-Мурата в крепости Таш-Кичу; в нем выведены фигуры Ивана Матвеевича и Марьи Дмитриевны; появляется Каменев, товарищ Ивана Матвеевича, с отрубленной головой Хаджи-Мурата; рассказ о его гибели (общий сюжет которого совпадает с историческими фактами и с окончательной редакцией повести). Других действующих лиц в «Репье» нет; образ Хаджи-Мурата очерчен весьма бегло, так как в то время Толстой располагал довольно скудными сведениями о нем.

Написанным Толстой остался недоволен и занялся изучением материалов, для чего просил помощи у критика В. В. Стасова (1824—1906), присылавшего ему книги из Петербургской публичной библиотеки. «Главное нужно мне историю, географию, этнографию Аварского ханства в нынешнем столетии»,— писал он Стасову (т. 35, с. 588). Стасов сам сделал выписки для Толстого из 20-томного «Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа». Много необходимого почерпнул Толстой из книг А. Л. Зиссермана «Двадцать пять лет на Кавказе».

Помимо задуманного Толстым расширения повествования, по мере знакомства его с бытом, историей, религией горцев, он продолжал размышлять над образом главного героя, над истоками контрастов его характера, уже далеко не однозначно относясь к его измене Шамилю, как в 1851 г. «Вчера думал очень хорошо о Хаджи-Мурате,— писал он в дневнике от 4 апреля 1897 г.,— о том, что в нем, главное, надо выразить обман веры» (т. 53, с. 144).

В октябре — ноябре 1897 г. Толстой написал начало (4 главы) *второй* (незаконченной) *редакции* «Репья». Здесь появился новый эпизод: выход солдат в секрет, выведен молодой Воронцов и его жена, описана ссора Воронцова с Меллер-Закомельским, обрисован Полторацкий (1828—1889), генерал-майор, участвовавший в экспедициях и сражениях в Большой и Малой Чечне в 1847—1854 гг., чьими воспоминаниями пользовался Толстой.

Спустя несколько дней после окончания этих глав Толстой записал в дневнике: «Думал в pendant к Хаджи-Мурату написать другого русского разбойника... чтоб он видел всю незаконность жизни богатых» (т. 53, с. 161) (этот замысел был осуществлен в рассказе «Фальшивый купон»).

В ноябре 1897 — январе 1898 г. были написаны незаконченный *третий* вариант повести и наброски *четвертого* и *пятого*. В четвертой редакции повесть названа «Хаджи-Мурат»; в нее введены новые действующие лица и новые эпизоды: прием Воронцовым Хаджи-Мурата, рассказ Хаджи-Мурата Лорис-Меликову о своем прошлом и др. Одновременно Толстой не переставал собирать и изучать материалы по Кавказу.

К февралю 1898 г. относится *шестой* вариант «Хаджи-Мурата», являющий собою извлечения из первой, второй и пятой редакций. Толстой предполагал напечатать более или менее готовые отрывки из повести в заграничном издании В. Г. Черткова «Свободное слово», выпускавшем запрещенные в России произведения. Этому варианту Толстой дал название «Хазават»; Хаджи-Мурат был выведен тут как фанатик-мусульманин, следующий хазавату — священной борьбе против иноверцев. Четырежды переделав «Хазават», Толстой так и не послал его Черткову.

В феврале — марте 1898 г. Толстой сделал важнейшую дневниковую запись, которая во многом предопределила дальнейшую работу над образом Хаджи-Мурата: «Одно из самых обычных заблуждений состоит в том, чтобы считать людей добрыми, злыми, глупыми, умными. Человек течет и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал добр и наоборот. В этом величие человека. И от этого нельзя судить человека. Какого? Ты осудил, а он уже другой. Нельзя и сказать: не люблю. Ты сказал, а оно другое...» (т. 53, с. 179).

После этого работа над «Хаджи-Муратом» прервалась.

Спустя три года, в феврале 1901 г., Толстой взялся за «Хаджи-Мурата» по просьбе С. А. Толстой, которая хотела прочитать на благотворительном вечере новую его художественную вещь. Вместо того чтобы дать отрывок из уже написанного, Толстой, увлекшись, стал переделывать первую редакцию — «Репей». Две переписки «Репья» с новыми добавлениями составили *седьмой* и *восьмой* варианты повести; оба были возвращением назад, ибо ни Воронцова, ни других исторических лиц здесь не было, и произведение носило более частный характер. Изменения, которые Толстой сделал в повести, он сам находил «скверными», ибо взялся за них «не по своей воле» (т. 54, с. 90).

Как это бывало не однажды, не удовлетворивший Толстого вариант завершался выводом, который писатель применял при последующих подступах к произведению. Так и вскоре после неудачи с «Хазаватом» Толстому открылись новые возможности лепки характеров. В мае 1901 г. он записал: «Я в первый раз понял ту силу, какую приобретают типы от смело накладываемых теней. Сделаю это на Хаджи-Мурате и Марье Дмитриевне» (т. 54, с. 97),— что и было осуществлено в последующих редакциях.

Более года после того Толстой не работал над «Хаджи-Муратом», хотя и не оставлял мысли о нем. Характерны такие слова писателя из письма его от 18 марта 1902 г.: «...совершенно неожиданно для меня все обдумываю самую неинтересную для меня вещь — Хаджи-Мурата» (т. 73, с. 228). Не прекращал Толстой и изучения источников, в частности, книги Е. Вердеревского «Плен у Шамиля», СПб., 1856.

Летом 1902 г. он заново приступил к работе над повестью, для чего пересмотрел все ее рукописи, и приблизительно за месяц создал *девятый* ее вариант. В повесть были введены новые подробности о главном герое, впоследствии отброшенные.

В августе — сентябре 1902 г., отобрав отрывки из предыдущих рукописей повести, Толстой создал *десятую* — основную — редакцию «Хаджи-Мурата». Заново были написаны, в частности, главы XV — о Николае и XX — о Шамиле. Много работал Толстой над речью Хаджи-Мурата, что трудно давалось ему, так как он не знал, говорил ли Хаджи-Мурат по-русски, и не имел возможности воссоздать его речь по историческим документам, в которых она записана протокольно-канцелярским языком. В это время Толстому потребовались подробная карта Чечни и Дагестана, биография Воронцова и самое главное — материалы о Николае I. Глава о нем была написана, но не завершена за недостатком материалов. В ожидании их (Толстой просил о присылке нескольких человек) он приостановил работу над «Хаджи-Муратом», решив не печатать его при своей жизни. Он предвидел, что главы о Воронцове и особенно о Николае, над которыми он еще собирался работать, цензура не пропустит.

Однако вчерне повесть была завершена, и слухи об этом, а также и о намерении автора не печатать ее, проникли в газеты.

В ноябре 1902 г. Толстой сильно правил десятую редакцию, особенно главу о Николае I, к которой ему по-прежнему недоставало источников; о присылке их он просил, в частности, В. В. Стасова. Затем работа над повестью прервалась (Толстой болел), но изучение материалов не прекратилось. 10 декабря 1902 г. Толстой сделал в дневнике запись, из которой вырос образ Николая: «Вся жизнь его, от того страшного часа, когда люди присягали ему, и до того часа, когда он лежал с отпуском грехов по голову,— была сплошным неперестающим рядом прегрешений» (т. 54, с. 336). Однако в конце декабря Толстой обдумывает не образ Николая, а сосредотачивается на личности Хаджи-Мурата. Поводом послужило письмо И. И. Корганова (сына уездного начальника города Нухи, в чьем доме жил Хаджи-Мурат перед бегством) с предложением описать все, что ему, тогда десятилетнему мальчику, запомнилось о Хаджи-Мурате. Толстой горячо откликнулся на его письмо: «Простите, что вместо того, чтобы быть просто благодарным вам за вашу любезность, я еще позволяю себе заявлять свои желания, но когда я пишу историческое, я люблю быть до малейших подробностей верным действительности. На всякий случай выпишу несколько вопросов... 1) Жил ли Хаджи-Мурат в отдельном доме или в доме вашего отца? Уст-

ройство дома. 2) Отличалась ли чем-нибудь его одежда от одежды обыкновенных горцев? 3) В тот день, как он бежал, выехал ли он и его нукеры с винтовками за плечами или без них?.. Чем больше сообщите мне подробностей, как бы незначительны они ни казались вам, тем более буду благодарен» (т. 73, с. 353). В ответ И. И. Корганов прислал свои воспоминания, в которых, в частности, писал: «...Хаджи-Мурат был большого роста, плотно сложенный, красавец, с остриженной черной бородой, конечно, крашеной, ходил в белой черкеске, щеголем... Он жил у нас в казенном двухэтажном доме, в нижнем этаже, ежедневно обедал с нами за общим столом, ел мало, ничего не пил (из вин). Жидкой пищи не ел. Когда подавали ему, как гостю, первому, он ни за что не брал с блюда первым, ждал, когда возьмет моя мать, сидевшая рядом, и он с блюда пилава (который готовился ежедневно) брал заметно из того самого места, с которого брала моя мать... мне объяснили, что это обычай на востоке из боязни быть *отравленным*... Послеобеденные прогулки совершались ежедневно... В день бегства мы отъехали более версты, у самой опушки леса Хаджи-Мурат выхватил пистолет и на месте выстрелом убил одного из казаков... Отец мой выступил с двумя ротами солдат около шести часов вечера и, благодаря тому, что он, как инженер, знал хорошо топографию уезда и все тропинки... перерезал ему дорогу и настиг в лесу, где началась огнестрельная перестрелка... Рассказывали, что Хаджи-Мурат получил четырнадцать пуль в грудную область и все еще не сдавался. После каждой пули он затыкал дыру каким-то удивительным восточным пластырем и как будто не чувствовал раны. Так живьем он не дался» (т. 74, с. 8—9). Корганов посоветовал Толстому обратиться к его матери, обладающей хорошей памятью, и 8 января 1903 г. Толстой написал А. А. Коргановой письмо с такими вопросами о Хаджи-Мурате: «1) Говорил ли он хоть немного по-русски? 2) Чьи были лошади, на которых он хотел бежать? Его собственные или данные ему? И хорошие ли это были лошади и какой масти? 3) Заметно ли он хромал? 4) Дом, в котором жили вы наверху, а он внизу, имел ли при себе сад? 5) Был ли он строг в исполнении магометанских обрядов: пятикратной молитвы и др.?.. 6) Какие были и чем отличались те мюриды, которые были и бежали с Хаджи-Муратом?.. 7) Когда они бежали, были ли на них ружья?» (там же, с. 10—11). То немногое, что вспомнила А. А. Корганова, она передала Толстому через С. Н. Шульгина (1861—1929), педагога и историка, собиравшего для Толстого в тифлисских архивах материалы к «Хаджи-Мурату».

Параллельно с этим Толстой усиленно работает над образом Николая I. «Я пишу не биографию Николая, но несколько сцен из его жизни мне нужны в моей повести «Хаджи-Мурат»,— писал Толстой 26 января 1903 г. своей родственнице А. А. Толстой, лично знавшей Николая, в ответ на ее предложение помочь ему.— А так как я люблю писать только то, что я хорошо понимаю ... то мне надо совершенно, насколько могу, овладеть ключом к его характеру» (т. 74, с. 24). Интересовали Толстого также

распоряжения Николая I, касающиеся Хаджи-Мурата, и «вообще о ведении Кавказской войны во время наместничества Воронцова. Сколько я знаю, Николай сначала в 45 году требовал решительных действий, а потом, противореча сам себе и не замечая этого, требовал медленного воздействия на горцев вырубкой лесов и набегами» (там же, с. 50).

В 1903—1904 гг. Толстой просмотрел огромное количество исторических материалов об эпохе Николая I и о нем самом. Им были изучены и использованы выписки, сделанные для него В. В. Стасовым из камер-фурьерских журналов конца 1851—1852 гг. (потом Толстой потребовал журналы и просматривал их сам); томы журналов «Русская старина» и «Исторический вестник» со статьями, относящимися к царствованию Николая; «Свод законов 1852 г.», книга Н. К. Шильдера «Император Николай, его жизнь и царствование». СПб., 1903, и другие.

Дело в том, что во время работы над XV главой «Хаджи-Мурата» (т. е. с августа — сентября 1902 г.), у Толстого возник замысел: изобразить *психологию деспотизма*. Летом 1903 г. в письме к П. И. Бирюкову он сообщал: «...бьюсь над главою о Николае Павловиче, которая если и будет непропорциональна, но мне очень кажется важна, служа иллюстрацией моего понимания власти» (т. 74, с. 140). Более подробно Толстой поделился своими мыслями с приезжавшим к нему летом 1903 г. С. Н. Шульгиным, который так передает его слова: «Меня здесь занимает не один Хаджи-Мурат с его трагической судьбой, но и крайне любопытный параллелизм двух главных противников той эпохи — Шамиля и Николая. ... В частности же в Николае поражает одна черта — он сам себе часто противоречит, совсем того не замечая и считая себя всегда безусловно правым. Так, видно, воспитала его окружающая среда, дух разлитого вокруг него подобострастного угодничества!» («Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», т. II. М., 1955, с. 162—163).

Толстой изучил так много материалов о Николае I, что у него возникла мысль обрисовать его не только в поздний, но и в ранний период жизни; ему казалось, что написанное о царе (чем он, правда, не был удовлетворен) выльется в отдельное произведение. Так, 7 мая 1904 г. он делает в своем дневнике запись: «Мне всё больше и больше кажется, что нужно и есть что сказать о причинах подавления духовной жизни людей и средствах избавления. Все то же старое: причина всего — насилие, и средство избавления: религия, т. е. сознание своего отношения к Богу. То же хочется выразить в художественной форме. Николай I и декабристы. Читаю много хорошего по этому» (т. 55, с. 32). На следующий день в письме к В. В. Стасову он пишет: «...занят Николаем I и вообще деспотизмом, психологией деспотизма, которую хотелось бы художественно изобразить в связи с декабристами» (т. 75, с. 103). Замысел этот остался неосуществленным; не было создано и отдельного произведения о николаевской эпохе из того, что было написано в связи с XV главой. Глава эта была оставлена в том виде, в каком Толстой решил ее дать летом 1903 г.

С осени 1902 г. Толстой несколько раз вносил исправления в десятую редакцию повести. Последний раз он исправлял ее (воспоминания Хаджи-Мурата о своем сыне Юсуфе) в декабре 1904 г. и больше к работе над рукописью не возвращался.

Однако интереса к судьбе Хаджи-Мурата Толстой не утратил. 28 января 1905 г. он продиктовал С. А. Толстой: «История Хаджи-Мурада такая. Это был храбрый аварец, который одно время служил русскому правительству. Генералу Клюгенау, стоявшему с русскими войсками в Аварии, было донесено, что Хаджи-Мурад изменяет русскому правительству: Клюгенау велел арестовать и заковать Хаджи-Мурада и привезти его к себе. Но на пути Хаджи-Мурад спрыгнул с высокой скалы, увлекши за собой ведшего его солдата, который убился насмерть; сам же он остался жив, но разбился и сломал ногу. ... Был один из самых смелых и храбрых наибов, делал блестящие набеги на русские владения...

Так как он внушал большой страх кавказским жителям, голову его возили и показывали в разных местах Кавказа» (т. 35, с. 556).

Летом 1905 г. Толстой получил от П. А. Картавова, комиссионера Публичной библиотеки в Петербурге, портрет, сделанный по рисунку Коррадини с головы мертвого Хаджи-Мурата. «Такого я его себе представлял,— сказал Толстой.—...Хаджи-Мурат — это мое личное увлечение» (т. 75, с. 256).

Стр. 601. *Воронцов* С. М. (1823—1882) — флигель-адъютант, в 1851 г. командир Куринского егерского полка.

Стр. 618. *Меллер-Закомельский* П. П. (1806—1869) — командир Куринского егерского полка; в 1851 г.— начальник войск в крепости Воздвиженской.

Стр. 627. *Воронцов* М. С. (1782—1856) — наместник Николая I на Кавказе, пользовавшийся неограниченной властью.

Стр. 631. *Мюрат* Иоахим (1771—1815) — маршал Наполеона.

Стр. 632. *Клюки-фон-Клюгенау* В. К. (1791—1851) — генерал, в 40-е гг. командующий войсками Северного Дагестана.

Стр. 634. *Лорис-Меликов* М. Т. (1825—1888) — в 50-х гг. адъютант М. С. Воронцова.

Стр. 636. *Кази-мулла* (1795—1832) — первый имам Чечни, проповедник хазавата.

Стр. 645. *Воронцов писал... Чернышеву.*— Толстым приводится подлинное письмо Воронцова (в переводе с французского) А. И. Чернышеву (1786—1857), военному министру.

Стр. 649. *Чернышев* Захар (1797—1862) — декабрист, член Северного тайного общества. Несмотря на то, что в событиях 14 декабря 1825 г. не участвовал, был приговорен к каторге и затем к ссылке на поселение,— как считали современники, из-за интриги его однофамильца, военного министра А. И. Чернышева, пытавшегося завладеть его наследством.

Стр. 650. *Долгорукий* В. А. (1804—1868) — в 1848—1853 гг. товарищ военного министра.

Стр. 654. *Ермолов* А. П. (1777—1861) — генерал, командир Отдельного кавказского корпуса.

Вельяминов А. А. (1785—1838) — при Ермолове начальник штаба Отдельного кавказского корпуса.

Стр. 657. *Волконский* П. М. (1776—1852) — министр двора и уделов.

Ливен В. К. (1800—1880) — генерал-адъютант, прибалтийский генерал-губернатор.

Стр. 659. *Бутлер.*— Прототипом его послужил Ф. Ф. Кутлер (1828—1858), офицер Куринского полка.

Стр. 676. *Барятинский* А. И. (1814—1879) — генерал, в 1851—1853 гг. начальник левого фланга кавказской линии, впоследствии — главнокомандующий кавказской армией, принудивший в 1859 г. к сдаче Шамиля.

Стр. 677. *Козловский* В. М. (1796—1873) — генерал, исполнявший в 1851 г. должность командующего войсками левого фланга кавказской армии.

ЗА ЧТО?

Рассказ «За что?» был написан для издаваемого Толстым в 1905—1908 гг. сборника «Круг чтения». Туда Толстой включал не только свои произведения, но и произведения (и отрывки из них) великих мыслителей, художников и философов мира на социально-исторические, нравственные, религиозные и философские темы и таким образом подбирал их, чтобы составить чтение «на каждый день». «Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира»,— говорил он (т. 42, с. 575).

О драматической истории ссыльного поляка Мигурского и его жены Альбины Толстой узнал из книги С. М. Максимова «Сибирь и каторга» и, под сильнейшим ее впечатлением, сразу же приступил к работе над рассказом на этот сюжет. Как обычно при работе над историческими произведениями, Толстому нужны были мельчайшие достоверные подробности: например, точная длина пути от Уральска до Саратова, нужно ли переезжать при этом реку Урал; о пределах местности, где происходило польское восстание 1831 г., захватило ли оно Гродненскую губернию и т. п. Помощь в подборе материалов Толстому оказывали критик В. В. Стасов, профессор-языковед И. А. Бодуэн де Куртенэ, академик А. А. Шахматов. «Надо прочесть много книг, чтобы написать пять строк, разбросанных по всему рассказу»,— говорил Толстой (т а м ж е, с. 627).

Первоначально Толстой назвал рассказ «Непоправимо». Он переделывал его пятнадцать раз, все более углубляя психологическую характеристику главных героев. Из книги Максимова Толстой взял основной сюжет, главных действующих лиц, описание, как прогнали сквозь строй ссыльных поляков в Сибири за попытку к восстанию. По сравнению с очерком Максимова Толстой ввел новые действующие лица: семью Альбины, ссыльного поляка Росоловского, а также подробно описал совершившего низость и раскаявшегося казака, везшего Мигурских.

Толстой работал над рассказом с января 1906 г., а в апреле уже держал корректуру.

Уже после смерти Толстого, в 1910 г., за второе издание «Круга чтения» осуществлявший его близкий друг Толстого И. И. Горбунов-Посадов (1864—1940) был предан суду, а второй том «Круга чтения» (куда вошел рассказ «За что?») был арестован Московским комитетом по делам печати за то, что в книгу входили произведения, «возбуждающие к ниспровержению существующего в России государственного и общественного строя» (т. 42, с. 579). И. И. Горбунов-Посадов был присужден к заключению в крепости на год.

Стр. 696. *Второй раздел Польши* между Пруссией и Россией произошел в 1793 г.

Костюшко Тадеуш Андрей Бонавентура (1746—1817) — выдающийся деятель польского национально-освободительного движения; руководил восстанием в 1794 г., направленным против раздела Польши (Речи Посполитой).

Понятовский Станислав Август (1732—1798) — польский король.

Открытие сейма... Александром I... Священный Союз... самодурство Константина.— В ноябре 1815 г. Александр I подписал польскую конституцию, по которой Королевство Польское получило (на бумаге) самоуправление (сейм) и свое правительство во главе с польским наместником. Однако фактическим наместником стал великий князь Константин Павлович. В том же ноябре 1815 г. Александр I вместе с прусским королем и австрийским императором подписал договор об образовании «Священного Союза» — международной реакционной организации.

Стр. 698. *...известие о парижской революции... нападение на бельведер... бегство Константина...*— Июльская революция 1830 г. во Франции послужила толчком к польскому восстанию 1830—1831 гг. В ноябре 1830-го восставшие напали на дворец Константина Павловича (бельведер), и он бежал из Польши.

Хлопницкий Григорий Иосиф (1771—1854) — польский генерал, один из руководителей восстания 1830 г.

Стр. 699. *Дверницкий* Иосиф (1779—1857) — польский генерал, участник польского восстания 1830 г.

Дибич-Забалканский И. И. (1785—1831) — фельдмаршал, в 1830 г. подавлял польское восстание.

Паскевич И. Ф. (1782—1856) — генерал-фельдмаршал, в 1831 г. подавлял польское восстание.

А. Саакянц

СОДЕРЖАНИЕ

Н. Ломунов. Толстой ранний и поздний. Общее и особенное 5

ВОСКРЕСЕНИЕ

Часть первая 21
Часть вторая 193
Часть третья 337

ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ

Севастополь в декабре месяце 413
Два гусара 426
Утро помещика 475
Три смерти 518
Холстомер 529
Отец Сергий 559
Хаджи-Мурат 596
За что? 696

Примечания *А. Саакянц* 717

На суперобложке:
иллюстрации *Л. Пастернака* к «Воскресению»,
А. Кокорина — к «Севастопольским рассказам».

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 116

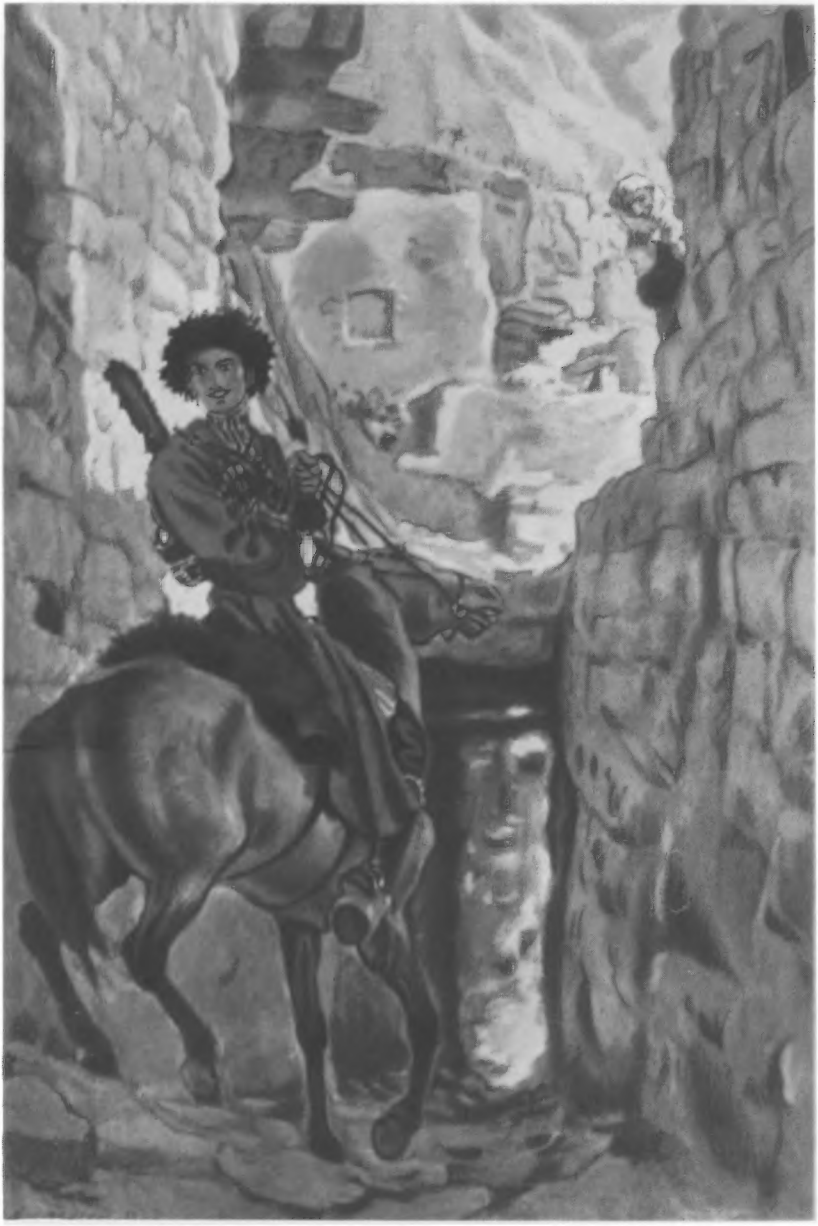
Лев Николаевич Толстой
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПОВЕСТИ. РАССКАЗЫ.

*

Редактор И. Чеховская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Каялитовская
Технический редактор
Т. Таржанова
Корректоры
Г. Киселева и О. Наренкова
*

Сдано в набор 30/VII 1975 г. Подписано к печати 1/III 1976 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 46,5 печ. л. 43,39 усл. печ. л. 48,12+1 вкл. + 6 накидок = 48,75 уч.-изд. л. Заказ 4811. Тираж 303 000 (1—153 000) экз. Цена 2 р. 28 к.

Издательство
«Художественная литература»,
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16